

A E





СЕРИЯ
«ПОЛЯРНАЯ
ЗВЕЗДА»

Документы
и материалы



А. Е. РОЗЕН

ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТА

Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство
1984

Издание подготовлено
Г. А. НЕВЕЛЕВЫМ

Ответственный редактор тома
М. Д. СЕРГЕЕВ

Рецензент *А. Н. Цамутали*

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

Главный редактор

акад. *М. В. НЕЧКИНА*

Ю. И. Бурыкин, С. В. Житомирская (зам. главного редактора), Б. И. Каптелов, С. Ф. Коваль (зам. главного редактора), М. Д. Сергеев (отв. секретарь), Р. В. Филиппов, В. П. Шахеров, Н. Я. Эйдельман

АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ РОЗЕН И ЕГО «ЗАПИСКИ ДЕКАБРИСТА»

«Записки декабриста» А. Е. Розена принадлежат к важнейшим историческим памятникам декабризма. Это один из немногих декабристских мемуаров, в которых с такой полнотой и достоверностью рассказана судьба поколения людей 20-х гг. XIX в., ставших первыми русскими революционерами. Ненавидевшие деспотизм и рабство, мечтавшие о свободной России и потерпевшие жестокое поражение, они не примирились с постигшей их неудачей, не согнулись под тяжестью испытаний и, осознавая ответственность перед историей, оставили после себя значительное литературное наследие.

Андрею Евгеньевичу Розену складывавшимися жизненными обстоятельствами, казалось бы, с самого начала была уготована обычная судьба выходца из среды эстляндского дворянства: гвардейский офицер или чиновник на государственной службе, по выходе в отставку возвращающийся в свое родовое имение, где в занятиях хозяйством и в заботах о семье проходит остаток жизни. Он родился 3 ноября 1799 г. в семье эстляндского барона Е. О. Розена. До двенадцати лет воспитывался в доме родителей, а потом в Нарвском народном училище. В 1815 г. Розен был отвезен в Петербург и определен в 1-й Кадетский корпус, из которого был выпущен в апреле 1818 г. в чине прапорщика с назначением в л.-гв. Финляндский полк.

В военной службе Розен проявил себя добросовестным и умелым офицером. Он пользовался любовью и уважением нижних чинов, вызывал к себе дружеские чувства со стороны офицеров-однополчан и неизменно получал похвалу начальства. В 1820 г., опередив многих по

службе, он был произведен в подпоручики и позднее назначен полковым адъютантом. Особенных успехов достиг он в строевой подготовке солдат. «Казалось, — вспоминал Розен, — сама природа создала меня быть экзерцирмейстером, потому что эта наука не стоила мне ни труда, ни больших приготовлений, как большей части моих сослуживцев. Глаз, привыкший с малолетства к порядку и к симметрии, рост мой и телосложение, звучный голос, знание устава, а всего больше — любовь и привязанность ко мне солдат сделали из моей учебной команды одну из лучших». С такими «достоинствами и знаниями можно было в то время легко выйти в люди и получить значение»[1]. В полку Розен сблизился с штабс-капитаном И. В. Малиновским и вскоре стал женихом одной из его сестер Анны Васильевны, или Annette. 19 апреля 1825 г. в полковой церкви в присутствии всех офицеров было совершено бракосочетание Розена, к этому времени уже поручика, и дочери первого директора Царскосельского лицея девицы Анны Васильевны Малиновской. Розены поселились на 3-й линии Васильевского острова, недалеко от казарм полка. Квартира была небольшая, «требования <...> были скромны», имелось лишь «одно желание взаимного счастья». Жизнь устраивалась вполне благополучно: Розен был удачлив в службе, обещавшей чины и награды, и в любви, обещавшей «беспрерывное счастье».

Розен был вовлечен в деятельность Северного тайного общества накануне восстания 14 декабря 1825 г. На следствии он решительно отрицал свою принадлежность к обществу. В Следственной комиссии по этому поводу было проведено специальное расследование, но никто из декабристов принадлежность Розена к тайному обществу не подтвердил. К. Ф. Рылеев на вопрос следствия о Розене ответил: «Принадлежал ли к числу членов тайного общества поручик барон Розен, мне неизвестно. За несколько дней до 14 декабря был он у меня, и потом видел я его у князя Оболенского; но при нем говорено было только о средствах, как заставить солдат не присягать вновь; о цели же общества, т. е. чтобы сим случаем воспользоваться для перемены образа правления, я не упо-

[1] Наст. изд., с. 109, 111.

минал, и потому я полагаю, что он в общество принят не был»[2].

С. П. Трубецкой показал: «<...> не помню, чтобы я слышал его имя в числе членов общества». П. Г. Каховский сообщил следствию, что не знает Розена и ему «неизвестно, принадлежал ли он к тайному обществу». Н. И. Пущин отвечал, что «Розен <...> к тайному обществу не принадлежит». Е. П. Оболенский утверждал: «Барон Розен членом общества принят не был и известился о существовании оного только 11 декабря, если Репин накануне ничего не объяснял ему, что мне неизвестно», и включал его в число посторонних обществу лиц, «известных о намерениях 14 декабря и принимавших участие в оном». Штабс-капитан л.-гв. Финляндского полка Н. П. Репин сообщил следствию: «Утвердительно сказать, кем и когда поручик барон Розен был принят в общество, я не могу, <...> но предполагаю, что сие было почти в одно время со мною, то есть дня за два до происшествия. Особенных рассуждений о цели и намерениях общества он со мною лично не имел, но говорил один раз, что ему известно намерение многих не присягать и что он со своей стороны не отказывается сделать то же»[3].

Таким образом, принадлежность Розена к тайному обществу осталась недоказанной, и правитель дел Следственной комиссии А. Д. Боровков в справке о нем писал, несколько смягчая, правда, в пользу Розена собранные на него показания: «Членом не был и о существовании тайного общества не знал, но пред 14 декабря находился у Рылеева и Оболенского, и при нем говорили о средствах поднять солдат»[4].

В «Записках декабриста» Розен сообщает обстоятельства, при которых он узнал о тайном обществе и готовящемся восстании. 10 декабря 1825 г., вечером, он получил записку от Н. П. Репина, в которой тот просил «немедленно приехать к нему». Розен «тотчас поехал» и «застал его одного в тревожном состоянии». Н. П. Репин «в кратких и ясных словах изложил <...> цель восстания, удобный случай действовать для отвращения гибельных

---

[2] Восстание декабристов, т. 15, с. 211—212 (далее: ВД).
[3] Там же, с. 212, 213, 215; т. 1, с. 236.
[4] Там же, т. 8, с. 165.

междоусобий»[5]. Хотя на следствии Репин показал, что «в то же время слышал от Розена о том, что ему все сие известно. <...> Но, не зная, кто именно сообщил ему об оных, уличить его в том, что он есть действительно член общества, не могу»[6], но, судя по всему, именно от Репина 10 декабря Розен впервые узнал если не о существовании тайного общества, то во всяком случае о его намерениях и «коренной» цели. По свидетельству Е. П. Оболенского, «обязанность» Н. П. Репина, узнавшего о существовании общества еще в начале 1825 г. от П. Н. Свистунова[7], но привлеченного к его делам лишь за три дня до 14 декабря И. И. Пущиным[8], «состояла в том, чтобы в Финляндском полку произвесть то же самое, что и в других полках», т. е. «стараться распространить действия общества»: «О намерениях 14 декабря сообщено им было поручику барону Розену и еще нескольким офицерам, коих фамилий не упомню, которых, однако же, членами общества не принял»[9].

По версии «Записок декабриста», в тот же вечер 10 декабря Розен с Н. П. Репиным поехали к К. Ф. Рылееву, куда «вскоре приехали Бестужевы и князь Щепин-Ростовский»[10]. По утверждению Д. А. Щепина-Ростовского, он был у К. Ф. Рылеева 11 декабря вместе с М. А. Бестужевым, штабс-капитаном В. Ф. Волковым и подпоручиком М. Ф. Кудашевым[11]. М. А. Бестужев показал на следствии, что был у Рылеева вместе с Д. А. Щепиным-Ростовским 12 декабря[12]. Однако по свидетельству А. А. Бестужева, М. А. Бестужев был у Рылеева 9 декабря, «назавтра он привез Щепина, а потом на другой день Волкова и князя Кудашева»[13]. Итак, 10 декабря 1825 г. А. и М. Бестужевы и Д. А. Щепин-Ростовский действительно были у К. Ф. Рылеева, и, следовательно, свидетельство Розена в «Записках декабриста» о посещении им в тот день Рылеева справедливо. Н. П. Репин

---

[5] Наст. изд., с. 122.
[6] ВД, т. 15, с. 214.
[7] Там же, т. 2, с. 366.
[8] Там же, с. 464.
[9] Там же, т. 1, с. 236.
[10] Наст. изд., с. 122.
[11] ВД, т. 1, с. 401—402.
[12] Там же, с. 487—488.
[13] Там же, с. 447.

первоначально утверждал, что впервые был у Рылеева вечером 11 декабря и «до сего времени» с членами тайного общества «никакого знакомства не имел и ни они у меня, ниже я у них никогда прежде сего не бывал»[14]. Но после представленного ему Следственным комитетом свидетельства Е. П. Оболенского: «<...> 10 декабря вечером мы приехали к Рылееву <...>»[15] — он изменил свои показания: «<...> бывши в первый раз у Рылеева (10 или 11-го числа в точности не упомню) и встретившись там с князем Оболенским <...>»[16].

На следствии Розен показал, что приезжал к Рылееву только 11 декабря: «<...> в пятницу 11-го числа декабря <...> поехал я с штабс-капитаном Репиным навестить Рылеева. <...> Во время разговора приезжали Кавалергардского полка корнет Муравьев и офицер, мне незнакомый <...>»[17]. А. М. Муравьев писал: «10 или 11 декабря приехал я <...> поздно вечером к господину Рылееву, где нашел я поручика барона Розена, лейб-гв. Финляндского полка, и другого офицера того же полка, но мне неизвестного»[18] (т. е. Н. П. Репина. — *Г. Н.*). И А. М. Муравьев и Розен в своих показаниях следствию сообщали, что у Рылеева они были накануне совещания у Оболенского, которое состоялось 12 декабря. Таким образом, документально подтверждаются и сведения «Записок декабриста» и показания Розена на следствии. Обе версии являются, очевидно, равнодостоверными: Розен был у Рылеева и 10 и 11 декабря.

Сопоставление свидетельств позволяет восстановить события этих дней. 10 декабря, утром или днем, на совещании у К. Ф. Рылеева С. П. Трубецкой известил присутствовавших, «что по всему видно, что император отказывается от престола»[19]. После этого все разъехались по полкам «приготовить членов к действию в случае новой присяги и стараться распространить действия обще-

---

[14] Там же, т. 2, с. 362.
[15] Там же, с. 368. Ср.: ВД, т. 1, с. 246—247.
[16] Там же, т. 2, с. 369.
[17] Там же, т. 15, с. 209.
[18] Рылеев на следствии. Из неопубликованных следственных дел о декабристах. — Литературное наследство. М., 1954, т. 59, кн. 1, с. 220 (далее: ЛН).
[19] ВД, т. 1, с. 246.

ства в полках»[20]. Е. П. Оболенский и И. И. Пущин отправились в л.-гв. Финляндский полк. Оболенский заехал к полковнику А. Ф. Моллеру и полковнику А. Н. Тулубьеву, а Пущин к Н. П. Репину «с тем, чтобы узнать, нет ли надежды, что Финляндский полк не присягнет»[21]. И. И. Пущин объявил Н. П. Репину, «что есть намерение воспользоваться днем присяги для произведения предположенного переворота, а для подробнейшего узнания привез его к Рылееву»[22]. Там они застали вернувшегося раньше Е. П. Оболенского и С. П. Трубецкого. Пущин вскоре уехал. Репин «остался и говорил с князем Трубецким»[23]. Из последующего разговора с Рылеевым Репин «удостоверился о действительном существовании общества, о намерениях оного на 14 декабря[24]. Однако Рылеев Репина в тайное общество не принимал, полагая, что его привез Пущин «уже как члена»[25]. По словам Е. П. Оболенского, Н. П. Репин попросил его приехать к нему на другой день, «дабы увидеться с офицерами и более утвердить их в намерении общества, им известном». По свидетельству Репина, Оболенский сам вызвался быть у него[26]. Возвратившись к себе вечером, Репин послал записку Розену. «Это было в 8 часов». Открыв ему план и цели тайного общества, Репин «просил <...> содействия»[27]. По свидетельству Репина, Розен «был на сие согласен»[28]. Затем они отправились к К. Ф. Рылееву, к которому вскоре приехали А. и М. Бестужевы и Д. А. Щепин-Ростовский.

11 декабря Розен был у Н. П. Репина на совещании офицеров л.-гв. Финляндского полка, на котором выступил Е. П. Оболенский. По словам Оболенского, он получил согласие офицеров полка на «их содействие к сей цели»[29]. По показанию Розена, в конце совещания Оболен-

---

[20] Там же.
[21] Там же, т. 2, с. 364.
[22] Там же.
[23] Там же.
[24] Там же, с. 366, 368.
[25] Там же, с. 367. Так же считал и Е. П. Оболенский, сообщивший следствию, что Н. П. Репин был принят в общество И. И. Пущиным «за два дни до 14 декабря» (ВД, т. 1, с. 235).
[26] Там же, т. 1, с. 246—247; т. 2, с. 369.
[27] Наст. изд., с. 121—122.
[28] ВД, т. 15, с. 213.
[29] Там же, т. 1, с. 247.

ский сказал: «Что мы не одни в сем согласны, могу вам доказать завтра, приезжайте ко мне один или двое и убедитесь, увидя офицеров других полков»[30]. Однако Е. П. Оболенский рассказывал об этом несколько иначе: «Барон Розен представил мне, что они, жертвуя всем для пользы отечества в столь важном случае, каков ныне предстоит, желают быть сколь возможно более уверенными в содействии прочих членов, и потому предложил мне собрать по одному члену от всех полков, которые согласны действовать к общей цели, для общего совещания. Я согласился на его предложение и назначил ему быть на другой день у меня»[31]. «Князь Оболенский, — показывал Розен на следствии, — тотчас уехал, прочие, напившись чаю, разъехались скоро». После совещания Розен и Репин отправились к К. Ф. Рылееву, к которому «во время разговора» приезжали А. М. Муравьев и офицер, «одетый в сюртук с красным воротником». По свидетельству Розена, совещание у Репина началось в пять вечера; по словам Оболенского, он там «просидел два часа»[32]. Следовательно, Розен и Репин могли поехать к Рылееву в восьмом часу вечера.

12 декабря Розен и подпоручик А. И. Богданов в качестве представителей л.-гв. Финляндского полка присутствовали на совещании у Е. П. Оболенского. На этом совещании была объявлена политическая программа тайного общества, был принят план восстания и «постановлено» о дальнейших мерах по «основанию нового правления». По свидетельству Розена, «все из присутствовавших были готовы действовать, все были восторженны, все надеялись на успех»[33]. По словам Е. П. Оболенского, «всякой из членов представлял большую или меньшую возможность, которую каждый имел поднять роты и действовать на солдат»[34]. Розен, впрочем, сказал К. Ф. Рылееву и Е. П. Оболенскому, что привести войска на Сенатскую площадь могут только полковой или батальонные командиры. «Так пусть офицеры одни, верные государю своему, явятся на площадь», — возразили они, а

---

[30] Там же, т. 15, с. 209.
[31] Там же, т. 1, с. 247.
[32] Там же, т. 15, с. 209; т. 2, с. 373.
[33] Наст. изд., с. 123.
[34] ВД, т. 1, с. 247.

на вопрос мой: «Что будет там со стадом без пастыря?» — ответили мне: «Все там будет, увидите и узнаете»[35]. В «Записках декабриста» этот эпизод совещания у Оболенского изложен несколько иначе: «Принятые меры к восстанию были неточны и неопределительны, почему на некоторые мои возражения и замечания князь Оболенский и Булатов сказали с усмешкою: «Ведь нельзя же делать репетиции!»[36].

Возражения Розена привели в смущение некоторых присутствовавших, в том числе Д. А. Щепина-Ростовского, который, по свидетельству А. А. Бестужева, «начал колебаться»[37]. К. Ф. Рылеев «решительно объявил им, что они собрались ныне для того более, чтобы взаимным честным словом обязаться быть на площади в день присяги с тем числом войск, которое каждый может привести, в противном случае находиться на площади самому. <...> Все, прекратя разговор, обязались честным словом действовать сообразно сему и разъехались»[38]. Очевидно, именно в этот момент, под конец совещания, к Розену подошел поразивший его «совершенным самоотвержением» К. Ф. Рылеев и «спросил <...> наедине: можно ли положиться наверно на содействие л-гв. Финляндского полка, и когда Розен «представил ему все препятствия, затруднения, почти невозможность, то он с особенным выражением в лице и в голосе сказал <...>: «да, мало видов на успех, но все-таки надо начать; начало и пример принесут плоды»[39]. После совещания Розен сразу поехал к Репину, пересказал ему «слышанное и виденное», а на другой день, в воскресенье 13 декабря, сообщил то же полковнику А. Н. Тулубьеву и другим офицерам[40], пришедшим навестить его по случаю пол-

[35] Там же, т. 15, с. 209.

[36] Наст. изд., с. 123.

[37] ВД, т. 1, с. 447. Это свидетельство А. А. Бестужева: Д. А. Щепин-Ростовский 12 декабря «у Оболенского, увидев Финля[ндского] полка Розена, который сомневался, — и сам начал колебаться. Но мы его перед товарищами подстрекнули, и он снова загорелся» — оказалось включенным в «Выписку показаний на поручика барона Розена» в следующем виде: «А. Бестужев. У Оболенского видел б[арона] Розена, который сомневался и сам начал колебаться, но они его перед товарищами подстрекнули, и он снова загорелся» (ВД, т. 15, с. 216).

[38] Там же, т. 1, с. 247 (показания Е. П. Оболенского).

[39] Наст. изд., с. 123.

[40] ВД, т. 15, с. 209—210.

кового праздника. «На вопрос их, как следует поступить тому, кто в день восстания будет в карауле», Розен ответил «положительно и кратко, что тот для общей безопасности и порядка должен держаться на занимаемом посту»[41].

13 декабря, во второй половине дня, Н. А. Бестужев и К. Ф. Рылеев поехали в казармы Финляндского полка к Н. П. Репину, у которого хотели «узнать об успехе сделанного ему поручения преклонить офицеров своего полка не делать новой присяги», разыскали его на квартире сестры и привезли к Н. А. Бестужеву. К. Ф. Рылеев и Н. А. Бестужев «начали убеждать Н. П. Репина, чтобы он употребил все усилия к склонению офицеров своего полка не делать новой присяги». Н. П. Репин, «хотя представил несколько отговорок, что он сказывается больным и потому не может выйти к фронту, сверх того, что рота его стоит в деревне, но со всем тем обещал действовать на офицеров, сколько будет в его возможности», но добавил: «Моллер и Тулубьев, который еще поутру с энтузиазмом дал свое слово, оба отказываются: Моллер по своим расчетам, Тулубьев — следуя ему. Я не могу ручаться ни за одного солдата»[42].

После разговора с Н. П. Репиным К. Ф. Рылеев уехал, дав слово возвратиться вечером и известить «об окончательных намерениях к завтрашним действиям». В десять вечера Рылеев приехал с Пущиным и объявил, что «в завтрашний день, при принятии присяги, должно поднимать войска, на которые есть надежда <...>»[43].

К вечеру 13 декабря офицерам л.-гв. Финляндского полка разослали уведомления «о назначении следующего дня к принятию присяги». Ночью Розену принесли приказ прибыть к полковому командиру в 8 часов утра. Розен не стал скрывать от жены предстоящих опасностей — он «мог ей совершенно открыться — ее ум и сердце все понимали»[44]. Командир полка Н. Ф. Воропанов приехал в девять утра и прочел собравшимся у него на квартире офицерам письмо Константина к Александру I с отречением, манифест 16 марта 1823 г. о передаче прав

---

[41] Наст. изд., с. 123.
[42] ВД, т. 2, с. 83; Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951, с. 35 (далее: Бестужевы).
[43] Бестужевы, с. 35.
[44] Наст. изд., с. 124.

на престол вел. кн. Николаю Павловичу, два письма Константина от 26 ноября 1825 г. с «повторным» отречением и манифест 12 декабря 1825 г. о восшествии на престол Николая I. Розен выступил вперед и сказал: «Если все <...> письма и бумаги верны с подлинниками, в чем не имею никакой причины сомневаться, то почему 27 ноября не дали нам прямо присягнуть Николаю?»[45]. Однако попытка Розена задержать приведение полка к присяге не была успешной и не получила поддержки других офицеров. 1-й батальон полковника А. Н. Тулубьева (кроме взвода Розена, который накануне держал караул в Галерной гавани и еще не успел смениться) присягнул в казарме. 2-й батальон полковника А. Ф. Моллера в девять утра занял караулы по второму отделению — от Зимнего дворца до Адмиралтейства.

Из казарм Розен отправился в Зимний дворец к разводу 2-го батальона, назначенному на десять утра, и по пути заехал к Н. П. Репину (по причине болезни не находившемуся на службе) с известием, что «читали манифест» и полк присягнул[46]. Возвратившись домой, Розен нашел записку К. Ф. Рылеева, который извещал, что его ожидают в казармах л-гв. Московского полка. В «Записках декабриста» Розен пишет: «Было 10 часов утра, лошади мои стояли запряженные. Въехав на Исаакиевский мост, увидел густую толпу народа на другом конце моста, а на Сенатской площади каре Московского полка. Я пробился сквозь толпу, прошел прямо к каре, стоявшему по ту сторону памятника, и был встречен громким «ура!»[47]. В связи с преобладанием источников, указывающих другое время прихода л.-гв. Московского полка на Сенатскую площадь — около 11 часов утра, М. В. Нечкина отмечает: «Необходимо ввести небольшую поправку к свидетельству Розена о том, что он в десять часов утра выехал из дому и с Исаакиевского моста уже увидел построенное каре. Розен не мог ехать почти час от Финляндских казарм, где квартировал, разве что он задержался дорогой или ехал из какого-либо другого места»[48].

---

[45] Там же.
[46] ВД, т. 15, с. 210.
[47] Наст. изд., с. 124.
[48] Нечкина М. В. Движение декабристов. М., 1955, т. 2, с. 479 (далее: Нечкина).

Ошибка мемуариста очевидна. На следствии Розен показал следующее: «Во втором часу оделся, чтобы ехать во дворец к назначенному выходу. В сие время приехал ко мне подпоручик Базин, говоря, что на площади множество войска и народу. Я в полной форме поехал с ним. Доезжая до конца моста, нельзя было дальше ехать от тесноты. Мы соскочили из саней, не знаю, куда пошел подпоручик Базин, но я, видя на площади войско с знаменами, вошел в ближайшее каре л[ейб]-г[вардии] Московского полка <...>»[49]. Замечание «во втором часу» и этом свидетельстве следует читать как «в одиннадцатом часу», так как точкой отсчета времени в данном случае для Розена было 9 часов утра, когда полковой командир объявил офицерам полка о восшествии на престол нового императора[50]. И подпоручик И. А. Базин приехал к Розену в тот момент, когда тот готовился ехать во дворец «к выходу», т. е. к торжественному молебствию, первоначально назначенному на 11 часов утра. Неверное указание времени выезда Розена из дому в «Записках декабриста»: «было 10 часов утра» — объясняется тем, что изложение событий дня 14 декабря сдвинуто здесь на один час раньше. Так, начиная рассказ о дне восстания, Розен сообщает в своих мемуарах: «<...> всем офицерам велено было собраться в квартире полкового командира в 7 часов утра»[51], тогда как в действительности офицеры полка были собраны на квартире Н. Ф. Воропанова в 8 часов утра[52].

Итак, в 11 часов утра Розен отправился на Сенатскую площадь, пробился сквозь толпу, «вошел» в каре л.-гв. Московского полка «и был встречен громким «ура!»[53]. В рапорте командира л.-гв. Финляндского полка Н. Ф. Воропанова этот эпизод изложен так: «Поручик Розен при первом появлении Московского полка рот приехал на санях и бросился в каре, где пробыл не более

---

[49] ВД, т. 15, с. 210.

[50] Такой же принцип исчисления времени употребил в своих показаниях И. И. Пущин: 14 декабря «я поехал с Рылеевым на Дворцовую площадь, ходил по бульвару все в ожидании войск; долго ходивши и не видя никого, мы возвратились домой <...>. Потом часу во 2-м пошли опять <...>» (ВД, т. 2, с. 212).

[51] Наст. изд., с. 124.

[52] ВД, т. 15, с. 210; ГПБ, ф. 859, карт. 37, д. 23, л. 46.

[53] Наст. изд., с. 124.

пяти минут»[54]. Здесь Розен увидел Д. А. Щепина-Ростовского, М. А. Бестужева и И. И. Пущина. На вопрос Розена, где Трубецкой, Пущин ответил: «Пропал или спрятался; если можно, то достань еще помощи, в противном случае и без тебя тут довольно жертв»[55]. И. И. Пущин уже знал о положении в л.-гв. Финляндском полку от Н. П. Репина, который, получив от Розена известие о том, что присяга в полку прошла успешно, сразу отправился на Сенатскую площадь. Пущин видел Репина около каре и, расспросив, что делается в л.-гв. Финляндском полку, по свидетельству А. А. Бестужева, сказал, «чтобы он без солдат и не являлся». Н. П. Репин уехал, «обнадеживая, что это будет»[56]. Когда Розен приехал в казармы полка, где находился 1-й батальон и куда только перед тем вернулся из караула его стрелковый взвод, Репин был уже там[57]. Розен вбежал первый во двор казарм и закричал: «Выходи!» Потом прошел по всем ротам, приказал солдатам одеться, вложить кремни, взять патроны и выстроиться на улице, «говоря, что должно идти на помощь нашим братьям». Офицерам Розен сказал, «что был в каре возмутившихся, что все полки идут к площади и что нам должно туда идти». Командир 1-го батальона полковник А. Н. Тулубьев «согласился»[58]. Прибывшие к этому времени бригадный командир генерал-майор Е. А. Головин, получивший соответствующий приказ от командующего Гвардейским корпусом генерал-лейтенанта А. Л. Воинова, и генерал-адъютант Е. Ф. Комаровский, посланный Николаем I за батальоном, повели

---

[54] ВД, т. 2, с. 358.

[55] Наст. изд., с. 125.

[56] ВД, т. 1, с. 447. И. И. Пущин, впоследствии спрошенный об этом эпизоде, показал: 14 декабря «точно спрашивал» у Н. П. Репина «о полке, но не помню, чтобы он обнадеживал привести оный и чтобы я ему говорил: «без солдат не приходите» (ВД, т. 2, с. 364). Судя по всему, А. А. Бестужев в данном случае приписал И. И. Пущину слова, сказанные им позднее Розену. В этом, в частности, убеждает замечание А. А. Бестужева о том, что Н. П. Репин «уехал» с площади, тогда как «уехал» после разговора с И. И. Пущиным именно Розен, а Н. П. Репин, по свидетельству того же И. И. Пущина, «сказав мне, что в полку есть беспорядок», «пошел к Исаакиевскому мосту» (там же).

[57] ВД, т. 2, с. 358.

[58] Там же, т. 15, с. 210; наст. изд., с. 125.

выстроившуюся поротно колонну на Сенатскую площадь[59].

На середине Исаакиевского моста батальон остановили и приказали зарядить ружья. В этот момент у Розена был план пробиться сквозь стоявший впереди карабинерный взвод и роту преображенцев под командой капитана П. Н. Игнатьева, занявшую всю ширину моста со стороны Сенатской площади. Сделать это было вполне возможно. В своих солдатах Розен был уверен. Во время движения колонны от казарм полка к мосту Розен убеждал их «не идти против бунтовщиков»[60]. Первый карабинерный взвод, стоявший впереди и явно не желавший двигаться дальше (что впоследствии и выявилось), под давлением сзади расступился бы. Пройти через первую роту л.-гв. Преображенского полка, заграждавшую проход от Исаакиевского моста на площадь, также не составило бы большого труда. Так, эта рота чуть позднее пропустила на площадь пришедших по льду Невы лейб-гренадер поручика А. Н. Сутгофа, причем, по свидетельству командира роты капитана П. Н. Игнатьева, «когда лейб-гренадеры отдельными командами, всходя с Невы, беспрепятственно бежали возле на присоединение к своим, чтоб стать в ряды мятежников, солдаты роты его величества приподнимали их сумы и, удостоверяясь по их тяжести, что полное число боевых патронов в них заключалось, острились между собою, уверяя, что их пули не попадут»[61]. Преображенцы были настроены по отношению к восставшим весьма миролюбиво, а «из мятежнической толпы высылали к роте неоднократно нижних чинов л.-гв. Московского полка для переговоров»[62].

Так же были настроены и финляндцы. Сохранилось свидетельство чиновника Н. С. Щукина, находившегося 14 декабря на Сенатской площади и видевшего солдат

---

[59] ВД, т. 15, с. 210. По версии «Записок декабриста», Е. Ф. Комаровский присоединился к колонне только у Морского кадетского корпуса (паст. изд., с 125).

[60] ВД, т. 2, с. 370—371.

[61] ГПБ, ф. 859, карт. 37, д. 23, л. 94 об. Свидетельство П. Н. Игнатьева позволяет ответить на вопрос, заданный М. В. Нечкиной: «Как же пробилась рота Сутгофа, поднявшись прямо по берегу реки перед мостом, на площадь? Или она не пробилась, а конногвардейцы просто пропустили ее к восставшим? Точным ответом мы не располагаем <...>» (Нечкина, с. 312).

[62] ГПБ, ф. 859, карт. 37, д. 23, л. 94об.

2-го батальона л.-гв. Финляндского полка, державших караул на Сенатской гауптвахте: «<...> на углу дома Кусовникова подле канавы мимо меня прошли солдаты, сменившиеся с Сенатской гауптвахты. «Кричите, ребята, — сказал один из них московским, — вот мы отобедаем и придем пособлять вам. Кричите!»[63]

Однако Розен отказался от своего первоначального плана. Он убедился в том, что «восстание не имело начальника» и не было «единства в предприятии», и не хотел «напрасно жертвовать людьми»[64]. Но, «не будучи в состоянии оставаться в рядах противной стороны», Розен принял вполне оправданное с военной точки зрения решение — остановить свой взвод и шедшие за ним три роты полка и перекрыть таким образом продвижение правительственных войск по Исаакиевскому мосту на Сенатскую площадь. В тот момент, когда генерал-адъютант Е. Ф. Комаровский и генерал-майор Е. А. Головин скомандовали батальону: «Вперед!» — взвод Розена по приказу своего командира громко повторил: «Стой!» Стоявший впереди карабинерный взвод «тронулся с места в большом замешательстве»[65], но капитану А. С. Вяткину удалось вывести его на площадь. Командир третьей роты капитан Д. Н. Белевцов отвел свою роту назад по мосту и затем по льду Невы вышел с ней к Английской набережной. В показаниях следствию Розен писал, что на вопрос генерал-адъютанта Е. Ф. Комаровского, «отчего они не следуют за первым взводом», его «взвод отвечал: «Мы не знаем, куда и на что нас ведут. Ружья заряжены, сохрани бог убить своего брата, мы присягали государю Константину Павловичу, при присяге и у обедни целовали крест!»[66] По воспоминаниям самого Е. Ф. Комаровского, взвод Розена ему отвечал: «Мы не присягали, худого ничего не делаем, по своим стрелять не будем»[67]. Когда генерал-майор Е. А. Головин «приказал людям идти вперед, то несколько голосов из фронта

---

[63] Невелев Г. А. Запретная рукопись о 14 декабря. — Дружба народов, 1975, № 12, с. 278.

[64] Наст. изд., с. 125. Находясь на мосту, Розен получал информацию о том, что происходило в рядах восставших, от Н. П. Репина, выполнявшего роль связного.

[65] ВД, т. 15, с. 210.

[66] Там же, с. 210—211.

[67] Комаровский Е. Ф. Записки. СПб., 1914, с. 241.

отозвались: «Да куда же вы нас ведете? Это наши». — «Они бунтовщики». — «Если они бунтовщики, то мы их перевяжем; зачем нам стрелять по своим; да мы еще не присягали новому государю»[68].

Когда стрелковый взвод первой карабинерной роты л.-гв. Финляндского полка остановился на середине Исаакиевского моста, отмечает Розен в «Записках декабриста», «был уже второй час пополудни», следовательно, третий час. С этого момента и до первых выстрелов картечью по восставшим в начале пятого «с лишком два часа» стоял Розен «неподвижно, в самой мучительной внутренней борьбе, выжидая атаки на площади, чтобы поддержать ее тремя с половиною ротами», готовыми следовать за ним повсюду[69]. «Решение Розена остановить полк на мосту, — отмечает М. В. Нечкина, — требовало сильной воли и ясного сознания необходимости помочь восставшим. Так действия этого «нечлена» тайного общества стали элементом существенной помощи восставшим <...>»[70].

Н. П. Репин предвидел положение, в котором оказался во время восстания Розен, когда накануне, 13 декабря, говорил К. Ф. Рылееву: «Во всем полку один только Розен отвечает за себя, но я не знаю, что он будет в состоянии сделать»[71]. В каре восставших знали о событиях на Исаакиевском мосту. По показанию солдат взвода Розена, Н. П. Репин «подходил к ним и одобрял их поведение», а унтер-офицер Ф. Волков, стоявший в карауле на Сенатской гауптвахте, видел, как он потом «несколько раз ходил на Петровскую площадь к сборищу мятежников и опять назад возвращался»[72]. Поведение Розена 14 декабря не вызвало сомнения ни у кого из декабристов и было ими понято правильно. Так, И. Д. Якушкин отмечал в своих «Записках»: «Поручик Розен, честнейший немец и во всем преданный товарищ, не пришел, однако, на площадь; может быть, он надеялся, оставшись при полку, действительнее споспешествовать начатому пред-

---

[68] ГПБ, ф. 859, карт. 37, д. 6, л. 111—111об.

[69] Наст. изд., с. 126. Для точности, впрочем, отметим, что Розен мог располагать только двумя с половиною ротами, так как рота Д. Н. Белевцова была с моста уведена.

[70] Нечкина М. В. Предисловие. — ВД, т. 15, с. 10.

[71] Бестужевы, с. 35.

[72] ВД, т. 2, с. 370.

приятию своих товарищей»[73]. Лишь Д. И. Завалишин в 1881 г. в своей неопубликованной статье «Событие 14 декабря 1825 года и беспристрастное суждение о нем» писал: «Нельзя также не сделать здесь заметки относительно одного показания барона Розена, что он не повел Финляндский полк на присоединение к восставшим оттого, что считал дело проигранным, но тем же оправдывались и другие, даже в таких полках, где было и много членов общества. Таким образом, вместо того, чтобы делать дело как следует, соответственно тому предприятию, в котором участвовали, все самовольно распоряжались по своему усмотрению, и дело было проиграно оттого, что думали наперед уже, что оно проиграно, и ничего не делали, чтоб его выиграть»[74].

К исходу пятого часа восстание было разгромлено. Розен попросил подошедшего к взводу Репина навестить жену и «успокоить на его счет», развернул свой взвод (пропустив мимо два эскадрона конногвардейцев), провел его по мосту на Васильевский остров и поставил возле манежа 1-го Кадетского корпуса. В это время к взводу подъехал генерал-адъютант А. Х. Бенкендорф. В его воспоминаниях этот эпизод описан весьма карикатурно: «Рота, остановившаяся близ 1-го Кадетского корпуса и чувствовавшая за собою наибольшую вину, хотела также занять свое место в строю и идти с прочими, но, знав уже о ее поведении во время бунта, я приказал ей построиться особо и объявил, что честь принести присягу новому императору, от которой она отказалась утром, ей должно заслужить отыскиванием преступников и приведением их ко мне обезоруженными. Рота тотчас повиновалась этому приказанию и побежала ловить участвовавших в бунте»[75]. В действительности все обстояло несколько иначе. Когда собрался весь батальон и приехал полковой священник Н. В. Музовский, Розену приказали отойти от взвода. «Солдаты сомкнулись в круг, священник стал их расспрашивать и готовить к присяге»[76]. Тогда Розен «быстро ворвался в круг и громко, во всеуслышание

---

[73] Якушкин И. Д. Записки, статьи, письма. М., 1951, с. 154 (далее: Якушкин).

[74] ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, д. 1059, л. 55 об.

[75] ГПБ, ф. 859, карт. 3, д. 6, л. 6. А. Х. Бенкендорф, очевидно, полагал, что вся карабинерная рота не присягала.

[76] Наст. изд., с. 132.

объявил священнику, что солдаты мои ни в чем не виноваты, они слушались своего начальника»[77]. Взвод Розена присягнул, и его «назначили занять Андреевский рынок и караулить тамошний небольшой гостиный двор». Утром следующего дня Розен сменился в карауле и на два часа приехал домой.

По версии «Записок декабриста», он был арестован 15 декабря рано утром, по следственным показаниям — «в 4 часа пополудни»[78]. Первоначально содержался в караульном помещении л.-гв. Кавалергардского полка, затем на дворцовой гауптвахте, а 5 января 1826 г. помещен в каземат № 13 Кронверкской куртины Петропавловской крепости.

В следственном деле Розена — материалы двух допросов. Первый допрос снял 22 декабря генерал-адъютант В. В. Левашов в присутствии Николая I. Розен отвечал на «вопросные пункты» осторожно и уклончиво. Он «не мог сказать всю правду, не хотел назвать никого из членов тайного общества и из зачинщиков 14 декабря»[79]. Он объявил, что «обществу тайному не принадлежал» и «никаких слухов насчет 14-го числа» и о замыслах «бунтовщиков» не слышал; происшествие на Исаакиевском мосту днем 14 декабря во время продвижения 1-го батальона л.-гв. Финляндского полка на Сенатскую площадь для участия в подавлении восстания объяснял тем, что его взвод не был приведен к присяге новому императору и, оставшись верен присяге Константину, отказался идти вперед. Его действия как командира взвода — остановка тронувшихся было вперед унтер-офицера и двух рядовых — были вызваны только опасением, «чтоб сие не привело неустройства всему взводу»[80].

И еще один раз, вечером 8 января 1826 г., Розен был допрошен в Следственном комитете. Ему вновь были заданы вопросы о его принадлежности к тайному обществу, но он решительно подтвердил ранее данные им показания: «а) Никогда и никем не был принят в тайное общество, никогда никакому не принадлежал и потому никого в какое-либо тайное общество принять не мог.

---

[77] Там же.
[78] Там же; ВД, т. 15, с. 211.
[79] Наст. изд., с. 142.
[80] ВД, т. 15, с. 206—207.

b) Никогда не имел никаких побуждений, чтоб вступить в тайное общество. с) Не зная сего общества, не знал и цели его, ни средства к достижению оной»[81]. Полученные от комитета 9 января 1826 г. «вопросные пункты» для письменного ответа убедили Розена, что следствие предупреждено во многих отношениях и что скрывать свои действия в день 14 декабря нет смысла. В своих письменных показаниях Розен описал их довольно подробно и, в частности, сообщил, что после того, как от взвода отъехал Е. Ф. Комаровский, «хотели идти вперед унтер-офицеры Кухтиков и Степанов и четыре человека с правого фланга», он «подбежал к этим людям, возвратил их на свои места, угрожая заколоть шпагою того, кто тронется с места». Когда до взвода начали долетать пули и «люди было осадили», он «их остановил, говоря: «Стой смирно и в порядке, вы оттого не идете вперед, что верны присяге, данной государю, так стой же; я должен буду отвечать за вас; я имею жену беременную, имение, следовательно, жертвую гораздо большим, чем кто-либо, а стою вперед вас; пуля, которая мимо кого просвистела, того не убивает»[82]. Сложнее было дать ответ на «вопросный пункт», «кто именно из членов, где и в какое время имел совещание о возмущении 14 декабря», и при этом не назвать и не подвергнуть опасности никого из принимавших участие в совещаниях 11 декабря у Н. П. Репина и 12 декабря у Е. П. Оболенского. Умело составленные Розеном ответы были причиной одной только очной ставки между ним и подпоручиком л.-гв. Финляндского полка А. И. Богдановым, состоявшейся 24 апреля 1826 г. Розену удалось убедить следствие, что хотя А. И. Богданов и присутствовал 12 декабря у Е. П. Оболенского, но в совещании практически не участвовал и «во время разговора уехал»[83]. На этом следствие для Розена закончилось. Позднее, в «Записках декабриста» он мог с удовлетворением отметить: «Я был так счастлив, что никто за меня даже не был арестован, никто из моих солдат не был наказан, ни удален на Кавказ»[84].

19 июня 1826 г., когда процесс по делу декабристов подходил к концу, у Розена родился сын, названный в

[81] Там же, с. 209.
[82] Там же, с. 211.
[83] Там же, с. 209.
[84] Наст. изд., с. 154.

честь дедушки, отца декабриста, Евгением, или сокращенно по отголоску Эмми. 12 июля 1826 г. был объявлен приговор. Верховный уголовный суд признал Розена виновным в том, что он «лично действовал в мятеже, остановив свой взвод, посланный для усмирения мятежников»[85]. Розен был отнесен судом к пятому разряду «государственных преступников» и приговорен к «ссылке в каторжную работу на 10 лет, а потом на поселение»[86]. Николай I утвердил приговор Верховного уголовного суда Розену без изменений. Высочайшим указом от 22 августа 1826 г. было повелено «оставить его в работе на шесть лет, а потом обратить на поселение в Сибирь»[87]. 3 февраля 1827 г. во время последнего свидания в крепости Розен умолял жену не следовать за ним, пока сын «не укрепится после прорезывания зубов, пока не заговорит, не будет тверд на ногах, чтобы мог перенести и дальний путь и неизвестное жилье»[88]. Через два дня, вечером 5 февраля, Розена заковали в ножные кандалы, и фельдъегерская тройка зимней петербургской ночью увезла его на каторгу в читинскую тюрьму. Комендант Петропавловской крепости генерал-адъютант А. Я. Сукин в тот же вечер доложил военному министру генералу от инфантерии А. И. Татищеву: «<...> сего 5 февраля пополудни в 11 часов для препровождения по назначению сданы присланному <...> из инспекторского департамента Главного штаба его императорского величества фельдъегерю Яковлеву с жандармами» «государственные преступники» Розен, Н. П. Репин, М. Н. Глебов и М. К. Кюхельбекер[89].

Восстание 14 декабря 1825 года на Сенатской площади в Петербурге, ставшее историческим символом декабризма как революционного явления, было высшей и заключительной точкой развития декабристского движения и одновременно началом новой жизни участников тайных обществ, наполненной иными духовными ценностями и особым историческим смыслом. Во время политического процесса, в долгие годы заточения и изгнания узники постигали подлинный исторический смысл собы-

[85] ВД, т. 17, с. 232.
[86] Там же.
[87] Там же, т. 8, с. 165.
[88] Наст. изд., с. 209.
[89] ЦГИА, ф. 1280, оп. 1, д. 9, л. 33.

тий, приведших их в «каторжные норы» Сибири. Декабристы все более осознавали себя как исторических деятелей, провозгласивших идеи, рожденные эпохой. «В разговорах, — вспоминал И. Д. Якушкин, — очень часто речь склонялась к общему делу, и, слушая ежедневно часами рассказы, сличая эти рассказы и поверяя их один другим, с каждым днем становилось все более понятным все то, что относилось до этого дела, все более и более пояснялось значение нашего общества, существовавшего девять лет вопреки всем препятствиям, встречавшимся при его действиях; пояснялось также и значение 14 декабря, а вместе с тем становились известными все действия комитета при допросе подсудимых и уловки его при составлении доклада, в котором очень немного лжи, но зато который весь не что иное, как обман»[90].

Осознание декабристами исторического значения своей революционной борьбы приводило их к убеждению в том, что и в Сибири, в условиях каторги они «призваны словом и примером служить делу, которому себя посвятили»[91]. Свою важнейшую обязанность декабристы видели теперь в том, чтобы сохранить истину, опровергнуть ложь правительственных сообщений, донести до современников и потомков правду о 14 декабря 1825 г. «Всякая преследуемая истина, — писал А. М. Муравьев, — есть сила, которая накопляется, есть подготовляемый день торжества»[92]. Стремление «огласить правду» и подготовить «день торжества» истины было главным стимулом литературной деятельности узников сибирской каторги.

По свидетельству Д. И. Завалишина, замысел создания коллективной «истории 14 декабря» возник еще в читинской тюрьме, вероятно, в 1828 г. Для этого была создана специальная комиссия, приступившая к собиранию исторических материалов. В Чите и Петровском Заводе многие декабристы писали воспоминания, в большинстве своем до нас не дошедшие[93]. Из декабристских мемуаров, написанных во время сибирской каторги, из-

---

[90] Якушкин, с. 109.

[91] Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1933, т. 2, с. 294 (далее: Воспоминания).

[92] Муравьев А. М. Записки. Пг., 1922, с. 26.

[93] Азадовский М. К. Затерянные и утраченные произведения декабристов. — ЛН, т. 59, кн. 1, с. 748.

вестно «Воспоминание о Рылееве» Н. А. Бестужева, которое считается самым ранним и единственным дошедшим до нас мемуарным произведением, созданным, по словам М. К. Азадовского, «не в одиночестве, не в тиши дарованного судьбой последнего уединения», но возникшим в декабристской среде и подвергшимся «предварительной критике и проверке декабристского коллектива»[94].

К числу «каторжных» мемуаров следует, очевидно, отнести и «Записки декабриста» Розена. «Я составил краткие очерки или таблицы моих записок, — отмечал он, — в 1828, 1829, 1830-х годах, начал писать их подробно в сороковых годах и снова переписал и дополнил их с наступлением 1866 года»[95]. В отличие от большинства мемуаров участников тайных обществ, написанных в Сибири или после амнистии и ретроспективно отразивших взгляд на события 14 декабря в какой-то момент или период жизни их авторов, «Записки декабриста» создавались около 40 лет. Их начал писать в читинской тюрьме молодой человек, оказавшийся причастным к важнейшему событию русской истории первой половины XIX в., и завершил умудренный жизнью старик, переживший многих своих соузников и в 70—80-е гг. явившийся одним из «последних декабристов», хранителем их наследства. «Записки декабриста» создавались, таким образом, не как воспоминание о прожитой жизни, а как хроника происходящей жизни, как записки и размышления современника.

Идейные судьбы участников тайных обществ и декабризм как революционное движение и идеологическая система развивались не синхронно. Декабристы к моменту 14 декабря находились на разных этапах своего развития, различались по степени и формам проявления революционности, но их объединял характер революционности, тип личности и тип социального поведения. В отличие от таких мемуаристов, как М. А. и Н. А. Бестужевы, Е. П. Оболенский, И. И. Пущин, С. П. Трубецкой, И. Д. Якушкин и другие, сыгравших выдающуюся роль в декабристском движении, Розен был представителем так называемых рядовых декабристов, становление революционной личности которых началось незадолго до 14 декабря 1825 г. Розен был «рядовым» и в этом

---

[94] Бестужевы, с. 582.
[95] Наст. изд., с. 166.

смысле глубоко типичным декабристом, индивидуальная судьба которого, при всей кажущейся случайности его принадлежности к декабристским обществам и ограниченном участии в восстании на Сенатской площади, отразила историю жизни и идейной эволюции значительного числа малоизвестных или даже безвестных участников движения. Именно о них писал К. Ф. Рылеев в своих «собственноручных показаниях», данных вечером 14 декабря 1825 г. в Зимнем дворце: «Открыв откровенно и решительно, что мне известно, я прошу одной милости — пощадить молодых людей, вовлеченных в общество, и вспомнить, что дух времени такая сила, пред которою они не в состоянии были устоять»[96].

Поручик л.-гв. Финляндского полка, вовлеченный событиями бурного времени междуцарствия в деятельность тайного общества и ставший участником восстания на Сенатской площади скорее в силу внешних обстоятельств, чем по внутреннему революционному убеждению, Розен стал декабристом в полном смысле этого слова уже после 14 декабря, оказавшись в обстановке «споров, прений, рассказов», в «кипучем водовороте духовной жизни», которая, по свидетельству М. А. Бестужева, царила в казематах читинского острога и Петровского Завода[97]. Каторга явилась для Розена, как и для многих других его сознников, «школой и основой <...> умственного и духовного воспитания»[98]. Если дух времени, слабо осознанные оппозиционные настроения и стремительный порыв благородных чувств, основанных на глубоко усвоенных представлениях о чести, дружбе и незыблемости данного слова, привели Розена в ряды заговорщиков, определили его участие в восстании и его поведение во время процесса по делу 14 декабря, то декабристская среда Читы и Петровского Завода помогла Розену, говоря словами Н. А. Добролюбова, «удержаться сознательно на той высоте, на которую его поставило непосредственное чувство»[99]. Позднее, в 1868 г., Розен говорил

---

[96] ВД, т. 1, с. 152.

[97] Бестужевы, с. 150.

[98] Беляев А. П. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805—1850. СПб., 1882, с. 256 (далее: Беляев).

[99] Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. М., 1934, т. 1, с. 350.

лейпцигскому журналисту Ю. Экардту, «что осознание того, что страдаешь во имя высокой цели в обществе благороднейших людей, облегчает тяжелые испытания ссылки и что он охотно вернулся бы в тюрьму холодной Читы, если бы смог вернуть своих старых, давно умерших друзей. Никогда, — добавил он взволнованно, — не был я в лучшем обществе»[100]. Эта мысль пронизывает главы «Записок декабриста», посвященные сибирской каторге и ссылке.

Розен узнал историю движения, к которому примкнул лишь за несколько дней до восстания, и близко познакомился с виднейшими деятелями тайных обществ в тюремных казематах, где, по словам В. С. Толстого, «все, не стесняясь, рассуждали и подробно рассказывали друг другу как о жизни тайных обществ, так и обо всех подробностях, случившихся при снятии показаний в Следственной комиссии»[101]. Потребность осмыслить происшедший в его жизни переворот и «по истине выставить сущность исторического факта» 14 декабря заставила Розена взяться за перо. Понимая, что является участником и очевидцем важнейших исторических событий, он поставил целью жизни собрать и сделать достоянием потомков достоверные «сведения о стремлениях и об участи его друзей и товарищей», «совестливым образом передать то, что <...> сам испытал, видел и слышал и что почерпнул из самых верных источников»[102]. Отправляясь из тюрьмы Петровского Завода на поселение в Курган в 1832 г., он написал на портрете, выполненном с него Н. А. Бестужевым: «Воспоминание есть единственный рай, из которого ни в коем случае нет изгнания. Андрей Розен»[103].

Личность мемуариста, поражавшего современников своей «бодростью, свежестью ума, энергией» даже в тяжелейшие моменты жизни, не романтическим типом поведения, столь характерным для большинства декабристов, но рационализмом и серьезностью, подчас доходившими до педантизма, прочностью нравственных правил

---

[100] Eckardt J. von. Lebenserinnerungen. Leipzig, 1910, vol. 1, s. 156—157.

[101] Толстой В. С. Воспоминания. — В кн.: Декабристы. Новые материалы. М., 1955, с. 28 (далее: Толстой).

[102] Наст. изд., с. 60.

[103] Зильберштейн И. С. Художник-декабрист Николай Бестужев. Изд. 2-е. М., 1977, с. 260.

трудовой жизни, «верой в свои духовные силы»[104], и общественное значение деятельности историка позволили создать столь содержательное и глубоко правдивое в основе своей мемуарное произведение, каким являются «Записки декабриста». «Это был человек рыцарского характера, прямой, правдивый, всегда важный, серьезный и неуклонно точный в исполнении всего, что у него положено было для каждого часа, <...> бодрый, энергичный, со светлым умом и памятью, он проводит время в непрестанных трудах, сочиняет, переводит»,— вспоминал о Розене его соузник А. П. Беляев[105]. Г. П. Данилевский, познакомившийся с Розеном в 1865 г., характеризуя его деятельность на посту мирового посредника Изюмского уезда Харьковской губернии, писал: «Бодрый, высокий и румяный старец, с седою бородою, он ежедневно объезжает свои волости в некрытом фургоне без рессор; оставаясь дома, либо за полночь ежедневно стоит, не разгибаясь, за письменной конторкой, либо верхом, с переломленной в тяжкие годы испытаний ногою, объезжает свое степное хозяйство, делает удачные опыты травосеяния, с любовью следит за литературой и ведет огромную служебную и частную переписку»[106].

«Записки декабриста», в полной мере отразившие черты и самый тип личности их автора, написаны не в стиле романтического повествования о прошлом, но представляют собой строгое по форме и добросовестное по исполнению историческое описание, отличающееся обстоятельностью и полнотой сообщаемых сведений. Однако определить жанр «Записок декабриста» как мемуаров или хроники явно недостаточно и неточно. Это скорее историческая автобиография, в основу которой, помимо воспоминаний автора, положены многочисленные и разнообразные документальные материалы. Прежде всего, это не дошедшие до нас мемуарные свидетельства декабристов, записанные Розеном в казематах Читы и Петровского Завода, на поселении в Кургане и на Кавказе. В Чите и Петровском Заводе «мы были вместе 85 чело-

---

[104] [Семевский М. И.] Барон Андрей Евгеньевич Розен.— Русская старина, 1884, № 6, с. 657.

[105] Беляев, с. 230—231.

[106] Данилевский Г. П. Украинская старина: Материалы для истории украинской литературы и народного образования. Харьков, 1866, с. 354.

век, — отмечал он, — с 20-ю другими встретился на поселении и на Кавказе»[107]. По словам Розена, декабристы знали о составлении им «Записок»[108]. «В Чите, в Петровском Заводе, в Кургане, на Кавказе, за границею и везде при благоприятных встречах» он знакомил их со своими воспоминаниями, пользовался их памятью и советами[109]. Осенью 1869 г. Розен читал главы «Записок декабриста» П. Н. Свистунову, М. А. Бестужеву и М. И. Муравьеву-Апостолу, «которые выслушали его чтение с большим удовольствием и отозвались о его труде с искреннею похвалою»[110]. В работе над «Записками» он использовал современную ему статистику, русскую и заграничную периодическую печать, мемуарную литературу, исторические сочинения. «Записки декабриста» по своему характеру, содержанию и источникам представляют собой историко-мемуарное произведение и в известном смысле являются результатом коллективного творчества. Однако свойственный Розену исторический фатализм, усиленный фатализмом религиозным, не позволил ему превратить его «Записки» в собственно историческое исследование. Рассматривая происшедшее как исторически необходимое и единственно возможное, Розен неизбежно вставал на путь исторического оправдания «зла» и примирения «врагов». То, что стало историей, по его мнению, не могло быть предметом восхваления или осуждения. Свой долг историка он видел лишь в «доставлении верных сведений», полагая, что историческая правда неизбежно раскрывается в достоверных исторических фактах. «Толковые и беспристрастные читатели сами найдут правду»[111], — писал он Д. И. Завалишину 22 апреля 1873 г.

«Записки декабриста» состоят из трех частей. Первая часть, посвященная детским и юношеским воспоминаниям, восстанию на Сенатской площади в Петербурге, процессу по делу 14 декабря 1825 г. и декабристской ка-

---

[107] Розен А. Е. Записки декабриста/ Ред. П. Е. Щеголева. СПб., 1907, с. 108.

[108] Воспоминания, т. 2, с. 274. П. Н. Свистунов, впрочем, сомневался в справедливости этого свидетельства: «Ни я, ни те из товарищей, с которыми я встречался в течение многих лет, не слыхали о существовании этих записок» (там же, с. 287).

[109] Там же, с. 274.

[110] Там же, с. 287.

[111] Там же, с. 244—245.

торге, является в полном и точном смысле этого слова мемуарами. «Вторая часть моих Записок, — писал Розен в предисловии к своему труду в феврале 1870 г., — касается моей родины; а третья часть — некоторых из важных современных вопросов, новейших великих событий и громадных преобразований в моем отечестве»[112]. Вторая и третья части «Записок декабриста» представляют собой обширные историко-публицистические очерки по истории Эстляндии, истории России второй четверти XIX в. и, особенно подробно и обстоятельно, истории общественных реформ начала 60-х гг. Эти исторические очерки придавали воспоминаниям декабриста о прожитой жизни характер публицистических размышлений современника, очевидца и участника исторических событий века.

Нам известны лишь хронологические рамки работы Розена над «Записками декабриста», указанные им самим: 1828 г. и 1866 г. Розен не оставил прямых или косвенных свидетельств, которые позволили бы точно датировать написание отдельных глав или частей его воспоминаний и установить источники сообщаемых в них сведений. Ограничимся поэтому предположительной реконструкцией творческой истории «Записок декабриста».

В 1828—1830 гг., находясь в читинской тюрьме, Розен «составил краткие очерки или таблицы» услышанных им рассказов о тайных обществах, восстаниях в Петербурге и на юге, следствии и суде над декабристами. Возможно, это были конспекты («краткие очерки») рассказов и хронологические «таблицы». Рассказчиками явились читинские соузники Розена. По приезде в Читу в конце марта 1827 г. Розен и прибывшие с ним в одной партии Н. П. Репин, М. Н. Глебов и М. К. Кюхельбекер стали первыми жильцами так называемого дьячковского каземата. В конце августа — начале сентября 1827 г. они переселились в новый острог — «большой» каземат, имевший «четыре большие комнаты, в каждой из оных жили от 10 до 17 человек»[113]. Е. П. Оболенский писал из Читы 12 марта 1830 г.: «Нас в одном доме или в четырех больших комнатах 42 человека»[114]. И. Д. Якушкин вспо-

---

[112] Наст. изд., с. 58.

[113] Сыроечковский Б. Е. Письмо декабриста А. Е. Розена. — В кн.: Декабристы на каторге и в ссылке. М., 1925, с. 283.

[114] ГПБ, ф. 859, карт. 18, д. 4, л. 39.

минал, что «большой каземат был невообразимо дурно построен; окна с железными решетками были вставлены прямо в стену без колод, и стекла были всегда зимой покрыты толстым льдом»[115]. В комнатах было и холодно и темно. В однообразной тюремной жизни, когда «один день походил на другой, год на год, не было новых, внешних впечатлений», все занятия и размышления Розена сосредоточились на «внутреннем усовершенствовании». Вспоминая жизнь в Чите, Розен писал в своих «Записках»: «В часы, досужные от работ, имели мы самое занимательное и поучительное чтение; кроме всех журналов и газет, русских, французских, английских и немецких, дозволенных цензурою, имели мы хорошие библиотеки Н. М. Муравьева, С. Г. Волконского и С. П. Трубецкого»[116]. Свободные часы Розен проводил в беседах с товарищами, в чтении книг, на лекциях «каторжной академии», в занятиях русской словесностью с А. И. Одоевским. «Образованность умных товарищей имела большое влияние на тех из нас, которые прежде не имели ни времени, ни средств обогатиться познаниями»[117], — писал впоследствии Розен о значении читинской тюрьмы для его умственного и духовного становления после 14 декабря 1825 г.

Одновременно с конспектированием рассказов своих новых товарищей Розен, очевидно, набрасывал и собственные воспоминания о детских годах, воспитании в Кадетском корпусе, службе в л.-гв. Финляндском полку, времени междуцарствия, восстании 14 декабря 1825 г., аресте и последующем процессе. При этом возникла возможность сопоставления воспоминаний, проверки и уточнения сообщаемых фактов. Приведем пример. На следствии Розен показал, что вечером 11 декабря 1825 г. вместе с Н. П. Репиным он отправился к К. Ф. Рылееву, «которого застали больного и читающего всеобщую историю»[118]. В «Записках декабриста» этот эпизод изложен так: «С Репиным поехал я к К. Ф. Рылееву <...>. Мы застали его одного, сидевшего с книгою в руках — «Русский ратник», — и с большим шерстяным платком, обвер-

---

[115] Якушкин, с. 108.
[116] Наст. изд., с. 233.
[117] Там же, с. 234.
[118] ВД, т. 15, с. 209.

нутым вокруг шеи по причине болезни горла»[119]. Здесь Розен уже сообщает уточненные, возможно тем же Н. П. Репиным, крайне интересные сведения о том, что К. Ф. Рылеев накануне восстания читал книгу Т. С. Мальгина «Российский ратник, или Общая военная повесть о государственных войнах, неприятельских нашествиях, уронах, бедствиях, победах и приобретениях от древности до наших времен по 1805 год».

По свидетельству Розена, составление «кратких очерков», или «таблиц», было закончено в 1830 г., но, очевидно, записи делались и позднее. В августе 1830 г. узников Читинского острога перевели в новую тюрьму, построенную при Петровском чугуноплавильном заводе. Во время пешего перехода из Читы в Петровский Завод Розен находился в особенном волнении. Еще в Чите он получил письмо от жены с известием о ее скором приезде. Прошение на высочайшее имя о разрешении следовать за мужем на жительство в Сибирь А. В. Розен подала 20 декабря 1828 г.[120]. Разрешение на отъезд она получила 23 августа 1829 г.[121], но ей было объявлено о невозможности ехать вместе с сыном. А. В. Розен обратилась к А. Х. Бенкендорфу, но он подтвердил объявленную ей высочайшую волю.

М. В. Малиновская, младшая сестра А. В. Розен, согласилась взять мальчика на воспитание. 17 июня 1830 г. А. В. Розен выехала из Москвы. 31 июля она была уже в Иркутске. Подписав требуемые бумаги о лишении всех прав состояния, А. В. Розен отправилась дальше. 27 августа в деревне Онинский бор, в 167 верстах от Верхнеудинска, она соединилась с мужем. В письме к А. Ф. Бриггену от 11 мая 1834 г. Розен вспоминал: «Свидание наше <...> было трогательно и вообще доставило мне случай убедиться в любви и участии ко мне добрых моих товарищей, бывших свидетелями нашего свидания; многие из них плакали в первый раз в зрелом возрасте»[122]. А. В. Розен проделала огромный путь в 5,5 тыс. верст, проходивший через 11 губерний и 27 городов России. Приезд ее в Сибирь не являлся для нее актом самопожертвования. «Жизнь несколькими градуса-

---

[119] Наст. изд., с. 122.
[120] ЦГАОР, ф. 1708, оп. 1, д. 7.
[121] ВД, т. 8, с. 388.
[122] Русская старина, 1903, № 3, с. 548.

ми севернее или южнее не есть большая разница для людей, не поставляющих своего блаженства в одних только чувственных наслаждениях»[123], — писала она брату, И. В. Малиновскому, 2 июля 1831 г. И в тюрьме Петровского Завода, и в последующем на поселении А. В. Розен была «совершенно счастлива, как только можно того желать»[124].

По выходе на поселение в июле 1832 г., в Кургане, круг декабристского общения Розена уменьшился. Его постоянными собеседниками здесь были М. А. Назимов, М. М. Нарышкин, И. Ф. Фохт, Н. И. Лорер, В. Н. Лихарев, А. Ф. Бригген. Вспоминая жизнь в Кургане, Розен писал: «Я старался употребить мои досуги на приготовление быть наставником и учителем детей моих: много читал, писал, сочинял <...>, сундук большой наполнен был моими рукописями»[125]. Это свидетельствует о том, что работа над мемуарами продолжалась и в Кургане. Не случайно в «Записках декабриста» встречается замечание: «Воспоминания мои написаны были в тридцатых годах»[126], а в письме к М. А. Назимову от 1 января 1875 г. Розен писал о своей мемуарной работе: «Если бы я не начал ее тому 40 лет назад, то теперь была бы невозможна»[127].

21 июня 1837 г. военный министр А. И. Чернышев сообщил секретно в III Отделение А. Х. Бенкендорфу и командующему Отдельным Кавказским корпусом Г. В. Розену о состоявшемся высочайшем повелении «находящихся на поселении государственных преступников Нарышкина, Лорера, Лихарева, Назимова, Розена и Фохта определить рядовыми в Отдельный Кавказский корпус, назначив их в разные батальоны под строгий присмотр и с тем, чтобы они непременно несли строевую службу по их званию и без всяких облегчений[128]. А. В. Розен и Е. П. Нарышкина получили разрешение следовать за своими мужьями.

---

[123] Из переписки декабристов. Бар. А. Е. Розен и А. В. Розен — И. В. Малиновскому. — Голос минувшего, 1915, № 7—8, с. 172.
[124] Там же, с. 175.
[125] Наст. изд., с 125.
[126] Там же, с. 135.
[127] ИРЛИ. Р I, оп. 24, д. 49, л. 44 об.
[128] ЛН. М., 1956, т. 60, кн. 1, с. 507.

Вначале Розен был определен в Мингрельский егерский полк под Тифлисом, но по состоянию здоровья был назначен на службу в 3-й Кавказский линейный батальон, расположенный в Кисловодске.

На Кавказе Розен пробыл недолго. 20 ноября 1838 г. он подал прошение об отставке. В январе 1839 г. Розен был уволен от службы по «расстроенному здоровью» и получил высочайшее разрешение покинуть Кавказ и жить «безвыездно на родине под надзором полиции»[129].

По свидетельству Розена, писать подробно «Записки декабриста» он начал в 40-х гг. Эти годы он провел на своей родине, в Ментаке, и потом в Большой Солдине, небольшом поместье под Нарвой. Здесь, на основе составленных в читинской тюрьме «кратких очерков», или «таблиц», более поздних записей, Розен написал первую часть своих воспоминаний. В конце 1840-х — начале 1850-х гг. в работе наступил перерыв. Вспоминая об этом времени, Розен писал: «В течение восьми лет я не продолжал записок моих, даже не перечитывал их»[130]. В 1856 г. Розены навсегда покинули Прибалтику и переселились в Каменку, имение жены в Изюмском уезде Харьковской губернии. В Каменке Розен был школьным учителем, основал крестьянский банк, избирался присяжным заседателем окружного суда, шесть лет состоял мировым посредником 2-го участка Изюмского уезда. В конце 1850-х — начале 1860-х гг. возобновилась работа над «Записками». В эти годы были написаны вторая и третья части «Записок декабриста». С наступлением 1866 г. Розен снова переписал и дополнил свои мемуары[131].

---

[129] Минувшие годы, 1908, № 11, с. 212—213.

[130] Розен А. Е. Записки декабриста, с. 314.

[131] По мнению С. Г. Исакова, вторая и третья части «Записок декабриста» были написаны во второй половине 1860-х гг. (Исаков С. Г. «Записки декабриста» А. Е. Розена и полемика по остзейскому вопросу.— Уч. зап. Тартуского гос. ун-та, 1965, вып. 164, с. 140—141; ср.: Волк С. С. Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958, с. 222). В своей датировке С. Г. Исаков исходит из содержания второй части, где имеются ссылки на исторические и политические произведения 1868 г., и третьей части, в которой описываются события, связанные с подготовкой и проведением в жизнь крестьянской реформы, и изложение доводится до 1868 г. Мы основываемся на свидетельстве Розена о том, что в 1866 г. основной текст «Записок» был готов, а в последующие годы они лишь дополнялись и уточнялись.

Необходимость дополнений была вызвана, в частности, публикацией в конце 50-х — начале 60-х гг. мемуарных и мемуарно-публицистических произведений декабристов. В изданиях Вольной русской типографии А. И. Герцена и Н. П. Огарева увидели свет воспоминания Н. А. Бестужева, сочинения М. С. Лунина, отрывки из воспоминаний И. И. Пущина, И. Д. Якушкина и Н. Р. Цебрикова. В русской заграничной демократической печати были опубликованы записки М. А. Фонвизина и Е. П. Оболенского. В России были напечатаны отрывки из воспоминаний И. И. Пущина, Н. В. Басаргина, статьи Д. И. Завалишина. Вышли книги М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I», Е. П. Ковалевского «Граф Блудов и его время», в Париже анонимно на французском языке издана «Правда об императоре Николае» Н. И. Сазонова. Эти сочинения также заставили Розена вновь вернуться к своим воспоминаниям о междуцарствии, восстании на Сенатской площади, процессе по делу 14 декабря, сибирской каторге, солдатчине на Кавказе. Хотя Розен называет 1866 г. как заключительный этап своей работы над «Записками декабриста», он просматривал текст и вносил в него изменения вплоть до 3 февраля 1870 г., когда написал предисловие и поставил последнюю точку в «Записках» перед тем, как в первый раз в полном виде отдать их в печать.

В первой, декабристской части мемуаров Розена наиболее полно и глубоко отразились прогрессивные черты его мировоззрения. Из глав воспоминаний, рассказывающих об истории движения, восстании 14 декабря 1825 г., годах заточения и изгнания, предстает революционная личность декабриста.

Во второй и третьей частях «Записок», посвященных Эстляндии и проблемам общественной жизни России 50—60-х гг. XIX в., проявились сословная ограниченность мемуариста, умеренность и неглубокость его революционности, сравнительно быстро эволюционизировавшей от декабризма к остзейскому дворянскому либерализму. В значительной степени это было связано, вероятно, с тем, что эти части создавались в 40 — 60-е гг., когда их автор, бывший каторжник, вернулся на родину и стал помещиком. Мировоззрение Розена этого периода определялось уже не столько его декабристским прошлым, сколько новым общественным положением

и социальной принадлежностью к остзейскому дворянству. В своем поместье Большая Болдина Розен отказался от барщины, перевел крестьян на оброк и затем отдал землю им в аренду. Опыт хозяйствования в 40 — 50-е гг. определил характер аграрных взглядов мемуариста. Введенную им систему арендного хозяйства Розен рассматривал как наиболее совершенный тип крестьянского устройства, а безземельное освобождение крестьян считал основой решения аграрного вопроса в России.

В конце 50-х гг., когда началась подготовка крестьянской реформы, Розен создает свой проект освобождения крестьян. Основой проекта явилась остзейская реформа безземельного освобождения крестьян. В письме к Е. П. Оболенскому от 13 июля 1858 г. Розен писал: «Труд мой есть компиляция из Прибалтийских трех уложений, прежних и новейших»[132]. К началу 60-х гг. позиция Розена изменилась. Он не мог не видеть негативные стороны эстляндского способа безземельного освобождения: «Тут крестьяне получили только личную свободу, без земли, отчего оставались в некоторой зависимости от владельца земли, или подвергались участи бездомного работника, или увеличивали собою число пролетариев»[133]. Понимая необходимость освобождения крестьян с землей, Розен с энтузиазмом встретил крестьянскую реформу 1861 г. и в роли мирового посредника был активным участником ее проведения в жизнь, полагая, что в этом состоит его гражданский долг. Объясняя мотивы своей общественной деятельности в годы крестьянской реформы, он писал: «Во мне таится сила и стремление 120 товарищей, которые желали содействовать к освобождению крестьян, но были сосланы после 14 декабря и не дожили»[134]. Однако русский способ решения аграрного вопроса не представлялся Розену универсальным. Реформа 19 февраля 1861 г., по его мнению, была неприемлема для Эстляндии, где не было крестьянской общины и часть земель была уже выкуплена крестьянами и стала их собственностью.

Подчеркивая экономические и социальные особенно-

---

[132] ИРЛИ, ф. 606, д. 21, л. 86.
[133] Розен А. Е. Записки декабриста, с. 366.
[134] Там же, с. 383.

сти Прибалтики, Розен пытался защитить остзейский край, подвергавшийся резкой критике в русской прессе 60-х гг. «Но в своем стремлении защитить остзейцев Розен иногда шел дальше своих подлинных убеждений, оправдывая и то, в целесообразности и оправданности чего он уже не был уверен до конца»[135]. Это обстоятельство во многом объясняет противоречивость позиции Розена в остзейском вопросе, которому посвящена вторая часть его «Записок». Она открывается «Кратким очерком истории моей родины». По мнению С. С. Волка, этот очерк восходит к декабристской традиции в освещении прошлого Прибалтики[136]. Более правильным представляется мнение С. Г. Исакова, полагающего, что наряду с влиянием декабристских идей Розен испытал сильное воздействие идей немецко-прибалтийской историографии. Причем его понимание истории Прибалтики ближе к либерально-помещичьей концепции остзейской прессы, чем к прогрессивной прибалтийской историографии[137].

С этих же позиций Розен подходил и к полемике по остзейскому вопросу в России в 60-е гг. Защищая остзейский край от нападок консервативно-либеральной печати, требовавшей установления внутригосударственного единообразия и обвинявшей остзейцев в сепаратизме, Розен доказывал «исторически законное основание» учреждений и привилегий местного рыцарства[138]. Остзейские порядки, не лишенные недостатков, представлялись ему более совершенными, чем общерусские. «В прибалтийских губерниях, — писал он, — от сильно развитого в них принципа самоуправления, все еще обретается значительное превосходство, которое не должно быть уничтожено самовольно, насильственно»[139]. В полемике по остзейскому вопросу Розен решительно выступил против русской шовинистической печати. Но он не был апологетом остзейского порядка. Ему были чужды консерватизм и реакционность, проявленные лагерем остзейцев в развернувшейся полемике. Он стремился к политическому

---

[135] Исаков С. Г. «Записки декабриста» А. Е. Розена и полемика по остзейскому вопросу, с. 137.

[136] Волк С. С. Исторические взгляды декабристов, с. 267.

[137] Исаков С. Г. «Записки декабриста» А. Е. Розена и полемика по остзейскому вопросу, с. 152, 157.

[138] Розен А. Е. Записки декабриста, с. 320.

[139] Там же.

компромиссу и охотно допускал использование русского опыта и традиций в Прибалтике. Защищая остзейцев, Розен объективно выражал взгляды либеральной части местного дворянства, заинтересованной в сохранении и прогрессивном развитии остзейского общественно-политического уклада[140]. Вторая и третья части «Записок декабриста», насыщая мемуары Розена современным материалом, придавали им большую политическую актуальность и общественное звучание.

В самом начале составления «Записок декабриста» Розен не предназначал их для «печатного станка». Он начал писать воспоминания для узкого круга современников — «своих детей, родных и товарищей, с которыми <...> провел примечательнейшую часть своей жизни»[141], — и для потомков. Обращенность к будущим поколениям, являющаяся одной из важнейших особенностей декабристских мемуаров, была основана на убеждении, что «за скальпель истины возьмется будущий век»[142]. Но «Записки декабриста», вопреки первоначальному замыслу их автора, быстро преодолели рамки «исторических» мемуаров. История под пером мемуариста перерастала в современность, а воспоминания из дополняющего жизнь литературного занятия становились главным делом его жизни.

Осенью 1856 г. в Европейскую Россию начали возвращаться амнистированные декабристы. Они сразу оказались в центре общественного внимания. Интерес к истории первого революционного выступления в России и судьбе его участников был одним из проявлений назревавшей в России революционной ситуации. Мемуарные и мемуарно-публицистические произведения декабристов, публикация которых началась в конце 50-х — начале 60-х гг. XIX в., воспринимались как своеобразное политическое завещание, оставленное современному поколению борцов их предшественниками.

В середине 60-х гг. Розен решил опубликовать «Записки декабриста», полагая, что для этого наступило время. Формальное снятие цензурного запрета на печата-

---

[140] Исаков С. Г. «Записки декабриста» А. Е. Розена и полемика по остзейскому вопросу, с. 157—159.

[141] Наст. изд., с. 58.

[142] Общественные движения в России в первую половину XIX века. Т. 1. Декабристы. СПб., 1905, с. 468.

ние декабристских материалов давало, кроме того, возможность ответить на возражения и полемические замечания, вызванные прижизненным изданием воспоминаний, и таким образом отстоять истину. Понимая, однако, сложность издания «Записок декабриста» в России, Розен в 1865 г. посетил Париж и Брюссель, где вел переговоры с издательствами о возможности опубликования своих мемуаров[143]. Подробности этих переговоров неизвестны. Но, судя по всему, они не были успешными. Возвратившись в Россию, Розен подготовил немецкий перевод своих «Записок» и в начале сентября 1868 г. в надежде найти издателя приехал в Лейпциг. В Лейпциге его познакомили с двумя виднейшими представителями либеральной журналистики и книжного дела города — с Г. Фрейтагом, писателем, редактором известного лейпцигского журнала «Die Grenzboten», и К. Гейбелем, книгопродавцем и владельцем крупнейшей издательской фирмы «Dunker et Humblot». По совету К. Гейбеля, в конце сентября 1868 г. Розен встретился с молодым лейпцигским журналистом, изучавшим право в Дерптском университете и хорошо знавшим Эстляндию, Ю. Экардтом. Позднее, став известным историком и дипломатом, Ю. Экардт вспомнит в своих мемуарах: «С письмом моего друга, издателя К. Гейбеля, осенним скучным днем ко мне вошел пожилой, но все еще хорошо выглядевший человек и представился: «Андрей Розен, один из последних оставшихся в живых декабристов»[144]. Ю. Экардт с большим интересом познакомился с воспоминаниями Розена, но нашел немецкий перевод их неудачным. С согласия Розена Ю. Экардт существенно сократил рукопись и практически заново перевел ее (по его словам, «фраза за фразой») на немецкий язык. «Записки декабриста» в переводе Ю. Экардта появились в отрывках и без указания автора в последних номерах за 1868 г. журнала «Die Grenzboten»[145], в котором Ю. Экардт был по-

---

[143] ИРЛИ, ф. 293, оп. 3, д. 204, л. 1 об. (письмо А. Е. Розена в редакцию «Вестника Европы», 9 апр. 1871 г.); об истории издания «Записок декабриста» см.: Исаков С. Г. «Записки декабриста» А. Е. Розена и полемика по остзейскому вопросу, с. 142—151.

[144] Eckardt J. von. Lebenserinnerungen, s. 156—157.

[145] Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen. — Die Grenzboten, 1868, S. 2, B. 2, s. 100—115, 134—146, 168—186, 249—263, 298—312, 341—352, 425—437.

мощником редактора и имел долю капитала. Эта публикация имела огромный успех у подписчиков и еще более укрепила общественную репутацию журнала Г. Фрейтага[146].

По возвращении из Лейпцига в конце 1868 г. Розен предпринял попытку издания своих воспоминаний в России. Он отнес рукопись «Записок декабриста» издателю «Русского вестника» и «Московских ведомостей» М. Н. Каткову, который, прочитав, вернул рукопись со словами: «Много интересного и нового, но для печати неудобно»[147]. Разговор с М. Н. Катковым убедил Розена в невозможности опубликования его произведения в России. Весной 1869 г. Розен вновь приехал в Лейпциг и заключил договор с книгоиздательством С. Гирцеля. В начале лета 1869 г. первая часть воспоминаний Розена в переводе Ю. Экардта вышла анонимно в Лейпциге отдельным изданием на немецком языке[148].

Книга «Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen» (Из мемуаров русского декабриста) была издана тиражом в 30 тысяч экземпляров. Она вызвала большой читательский интерес, разошлась быстро, и С. Гирцель, по словам Розена, имел большой доход[149]. Приобрести ее, по-видимому, было непросто. А. И. Герцен сообщал Н. П. Огареву 31 (19) июля 1869 г.: «Книгу декабриста достал». В этот же день он написал А. А. Герцену: «Я теперь читаю «Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen». Это писал барон Розен, бывший в Сибири, интересно — и я пришлю Ольге»[150]. 19(7) сентября 1869 г. А. И. Герцен сообщил Н. П. Огареву, что Н. А. Тучкова-Огарева «перевела страниц 50 Розена на французское»[151].

Воспоминаниями Розена заинтересовался редактор парижского журнала «Revue des Deux Mondes» Ш. де Ма-

---

[146] Eckardt J. von. Lebenserinnerungen, s. 156—157.

[147] Архив села Карабихи. Письма Н. А. Некрасова и к Некрасову. М., 1916, с. 162. По свидетельству П. Н. Свистунова, впрочем, рукопись «Записок декабриста» была представлена М. Н. Каткову в 1869 г. (см.: Воспоминания, т. 2, с. 286—287).

[148] Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen. Beiträge zur Geschichte des St. — Petersburger Militäraufstandes vom 14(26) December 1825 und seiner Theilnehmer. Leipzig, 1869.

[149] ГПБ, ф. 73, д. 1212, л. 4.

[150] Герцен А. И. Собр. соч. М., 1964, т. 30, кн. 1, с. 155, 158. Ольга — О. А. Герцен.

[151] Там же, с. 196. Судьба этого перевода неизвестна.

зад, который предполагал начать их публикацию в своем журнале[152]. Обзор книги Розена появился в английском журнале «Edinburgh Review»[153]. Этот обзор под названием «Заговор и ссылка декабристов» был опубликован также на французском языке в журнале «Revue Britannique»[154]. Обе публикации в английских журналах принадлежали переводчице и литератору Ф. Ле-Бретон, выступавшей в печати под псевдонимом Хефелл[155]. В 1872 г. книга Розена вышла на английском языке в Лондоне. Ее перевел и «роскошно издал» лондонский издатель Э.-Д. Милдмей, поддерживавший деловые связи с лейпцигскими издательскими фирмами[156]. Лондонская газета «The Athenaeum» откликнулась рецензией на это издание[157]. Об английском переводе «Записок» Розена сообщил русским читателям журнал «Русский архив»[158]. В 1874 г. в Лейпциге вышло второе издание немецкой книги Розена. «Записки» Розена явились для европейской общественности первым мемуарным произведением на немецком и английском языках, автор которого был участником восстания на Сенатской площади в Петербурге и провел долгие годы в Сибири. Книга Розена была одним из наиболее известных и популярных произведений о России на европейском книжном рынке конца 60-х — начала 70-х гг.

Немецкие издания «Записок» Розена не остались незамеченными в России. В октябре 1868 г. «Биржевые ведомости» перепечатали из «Die Grenzboten» главу воспоминаний Розена, посвященную восстанию 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади, под заголовком «Из записок декабриста». Во вступительной заметке к публикации была дана краткая характеристика «Записок декабриста» и был указан источник текста: «Мы заимствуем содержание этого рассказа из одного полученного нами

---

[152] ГПБ, ф. 73, д. 1212, л. 4 об.

[153] Aus den Memoiren eines Russischen Dekabristen. — Edinburgh Review, 1870, vol. 132, № 270, p. 363—381.

[154] La conspiration et l'exile des dekabristes. — Revue Britannique, 1871, № 10, p. 265—283.

[155] Об этих и других откликах иностранной печати на свои воспоминания Розен не знал.

[156] Russian conspirators in Siberia. A personal narrative by Baron R., a Russian Dekabrist. London, 1872.

[157] The Athenaeum, 1873, 18 jan., № 2360, p. 77—78.

[158] Русский архив, 1873, № 1, стб. CXXV.

сегодня немецкого журнала»[159]. В июньской книге «Вестника Европы» за 1869 г. А. Н. Пыпин, работавший в это время над исследованием «Общественное движение в России при Александре I» и внимательно следивший за европейской литературой, поместил небольшую заметку о лейпцигском издании мемуаров Розена. Заметка А. Н. Пыпина содержала попытку раскрыть авторство «Записок декабриста»: «По нашей догадке, этот автор едва ли не то лицо, о котором другие воспоминания тогдашних людей говорят, что это был Р., «честнейший немец»[160], и обещание: «Если представится возможность, мы постараемся познакомить наших читателей с названными мемуарами»[161]. Такая возможность представилась довольно скоро. В октябрьской книжке журнала редактор-издатель «Вестника Европы» М. М. Стасюлевич напечатал подробное изложение воспоминаний Розена под названием «Мемуары из прошлого времени (1825—1838 гг.)». «Автор записок, — отмечал М. М. Стасюлевич, — не выставил своего имени на книге, но в самом тексте объясняется вполне, кому принадлежат мемуары»[162]. М. А. Бестужев сообщал М. И. Семевскому в октябре 1869 г. о «Записках» Розена: «Немецкие экземпляры, кажется, есть в продаже у московских и петербургских книгопродавцев»[163]. По свидетельству Розена, в 1872 г. немецкое издание его «Записок» с дозволения русской цензуры продавалось «в императорском книжном магазине Шминдорфа на Невском проспекте № 5 сотнями экземпляров»[164].

29 сентября 1869 г. петербургская газета «Голос» поместила объявление: «Печатаются и в непродолжительном времени выйдут в свет Записки русского декабриста. Материал для истории военного возмущения 14

---

[159] Биржевые ведомости, 1868, 11 окт., № 269, с. 1; 16 окт. № 274, с. 1—2.

[160] А. Н. Пыпин имел в виду характеристику Розена, данную ему И. Д. Якушкиным (см.: Якушкин, с. 154).

[161] [Пыпин] А. Н. Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen (Из записок русского декабриста). Leipzig, bei 5, Hirzel, 1869. — Вестник Европы, 1869, № 6, стб. 939—944.

[162] [Стасюлевич] М. М. Мемуары из прошлого времени (1825—1838 гг.). — Вестник Европы, 1869, № 10, с. 771.

[163] Бестужевы, с. 469.

[164] ГПБ, ф. 73, д. 1212, л. 4 об; ЦГИА, ф. 776, оп. 11, д. 71, л. 1 об.

декабря 1825 года и соучастников его»[165]. Розен пытался протестовать. В письме к издателю-редактору «Голоса» А. А. Краевскому он писал, что «никому не передал права печатать свою книгу воспоминаний» и поэтому находит «действие переводчика и издателя незаконным»[166].

Однако III Отделение с. е. и. в. канцелярии опередило Розена. 14 октября 1869 г. главноуправляющий III Отделением П. А. Шувалов в письме на имя министра внутренних дел А. Е. Тимашева обратил внимание на появившееся в «Голосе» объявление о выходе в свет книги «Записки декабриста» в связи с тем, «что такое объявление не могло появиться без испрошения предварительного высочайшего повеления»[167]. Начальник Главного управления по делам печати 23 октября 1869 г. распорядился «донести <...> немедленно, в какой типографии печатается означенная книга и кто издатель оной»[168].

Из С.-Петербургского цензурного комитета сообщили, что книга «Записки декабриста», изданная редактором петербургской газеты «Русский мир» А. С. Гиероглифовым и отпечатанная без предварительной цензуры в типографии Н. А. Неклюдова в количестве 1800 экземпляров, поступила 24 октября 1869 г. в цензурный комитет, но не было «принято никаких мер к задержанию этой книги, так как содержание ее, несмотря на дозволенные себе автором указания на произвол, имевший место во время произнесения приговора над политическими преступниками, едва ли дает повод применить к книге ст. 14 разд. III высочайше утвержденного 6 апреля 1865 г. мнения Государственного совета». 25 октября 1869 г. П. А. Шувалов объявил А. Е. Тимашеву о состоявшемся «высочайшем повелении о приостановлении распространения в публике отпечатанной на днях книги под заглавием «Записки декабриста». В тот же день обер-полицмейстер Петербурга сделал «распоряжение о невыпуске экземпляров сей книги из типографии»[169].

---

[165] Голос, 1869, 29 сент. (11 окт.), № 269, с. 2.
[166] Архив села Карабихи, с. 163.
[167] ЦГИА, ф. 776, оп. 4, д. 278, л. 1—1 об.
[168] Там же, л. 3.
[169] Там же, оп. 11, д. 71, л. 14; ф. 777, оп. 2, д. 60, л. 5 об.

26 октября 1869 г. арестованные экземпляры книги «в листах» были «сданы на хранение фактору типографии Н. А. Неклюдова И. И. Блюмквисту, с ручательством за целость». 10 сброшюрованных экземпляров были отправлены в Главное управление по делам печати. 27 октября 1869 г. И. И. Блюмквист обратился с просьбой в С.-Петербургский цензурный комитет «о взятии запечатанных листов «Записок декабриста» из типографии Н. А. Неклюдова, так как при типографии нет «удобного помещения». Из материалов Главного управления по делам печати устанавливается, что 23 декабря 1869 г. оставшиеся 1779 экземпляров были арестованы в типографии и переданы А. С. Гиероглифову. В тот же день А. С. Гиероглифов сдал их в Главное управление по делам печати[170].

Существует, однако, и другая версия о судьбе этих экземпляров. «Книга «Записки декабриста» барона Розена, — писал в своих «Воспоминаниях» В. Н. Никитин, — была цензурою задержана, спрятана в типографский сарай, который был запечатан, но через год, когда последовало распоряжение сжечь книгу, — в сарае нашли только 10 из 2000 экземпляров, хотя стены сарая, печати и замок оказались ничуть не поврежденными. Как, кто и когда растащил все экземпляры книги и куда их подевали — долго, тщательно доискивались, да так и отступились»[171].

«Записки» Розена были отпечатаны А. С. Гиероглифовым под названием «Записки декабриста. Материал для истории возмущения 14 декабря 1825 и его участников. Перевод с немецкого (с приложением Донесения Следственной комиссии по этому делу)», на обложке и титульном листе годом издания обозначен 1870 г.[172]. Книжке была предпослана заметка «От издателя», в которой раскрывался автор воспоминаний, далее был помещен перевод немецких «Записок русского декабриста»

---

[170] Там же, ф. 777, оп. 2, д. 60, л. 8, 10; ф. 776, оп. 4, д. 278, л. 11, 20, 21.

[171] Русская старина, 1906, № 10, с. 113.

[172] Добровольский Л. М. Запрещенные книги о декабристах. — В кн.: Декабристы и их время. М.; Л., 1951, с. 256; он же. Запрещенная книга в России. 1825—1904. М., 1962, с. 68—69; Сводный каталог нелегальной и запрещенной печати XIX века. М., 1971, ч. 4, с. 545—546.

и в качестве приложения с особой пагинацией Донесение Следственной комиссии. Из отправленных в Главное управление по делам печати полностью сброшюрованных 10 экземпляров (или из оставшихся неарестованными и, вероятно, уже реализованных к этому времени А. С. Гиероглифовым 11 экземпляров) книги известен только один, хранящийся в Государственной публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. В других сохранившихся экземплярах книги текст Донесения Следственной комиссии обрывается на 64-й странице, причем эти книжки по-разному сброшюрованы: в одних Донесение помещено перед «Записками декабриста», в других — после основного текста воспоминаний. Возможно, эти экземпляры были кем-то сброшюрованы из «листов», либо сданных в Главное управление по делам печати и подлежавших уничтожению, либо, если свидетельство В. Н. Никитина достоверно, что маловероятно, похищенных со склада типографии. Газета «Голос» сообщила о судьбе ранее объявленного издания: «<...> книга эта была представлена в здешний цензурный комитет, который во исполнение последовавшего предписания высшего начальства сделал распоряжение о невыпуске этой книги из типографии впредь до нового распоряжения»[173]. Из появившейся в февральской тетради «Русского архива» за 1870 г. заметки П. И. Бартенева о лейпцигских «Записках» Розена русский читатель также мог узнать о несостоявшемся издании А. С. Гиероглифова: «Автор этих записок барон Розен, один из сосланных вследствие мятежа 1825 года, сообщает много интересных подробностей о следствии над заговорщиками и особенно о пребывании сосланных в Сибирь. Книга эта должна была появиться и в переводе на русский язык, но задержана по распоряжению цензурного управления»[174].

Убедившись в невозможности опубликования «Записок» в России, Розен заключил в Лейпциге договор с издательской фирмой «Dunker et Humblot» и отдал в печать полный текст своих воспоминаний на русском языке. Книга вышла в свет, очевидно, весной 1870 г.[175]. Автор в книге не указан, однако авторство Розена было

[173] Голос, 1869, 28 окт. (9 нояб.), № 293, с. 2.
[174] Русский архив, 1870, № 2, стб. 512—513.
[175] Записки декабриста. 3 части в одной книге. Лейпциг, тип. Бера и Германа, 1870.

уже раскрыто в печати и не являлось секретом для читателей. Лейпцигские «Записки декабриста» 1870 г. несмотря на цензурные запрещения получили широкую известность. Особенный интерес они вызвали среди оставшихся к этому времени в живых декабристов. М. А. Бестужев считал, что «Записки декабриста» — «правдивые», но при этом иронически добавлял: «Полны даже слишком, а особенно, где он без надобности распространяется о своих домашних делах или отстаивает баронов прибалтийского края»[176].

В. С. Толстой оставил на полях и в тексте принадлежавшего ему экземпляра книги Розена многочисленные пометы, замечания, поправки. Позднее, в 1872 г., он написал автобиографические записки, озаглавленные им «К воспоминаниям декабриста Розена». В. С. Толстой сообщил ряд новых фактов, касающихся истории декабристов, в некоторых случаях поправил Розена. Но в своих дополнениях он не всегда точен, его оценки подчас односторонни, характеристики поверхностны и резки. Мнение С. В. Житомирской о том, что концепция Толстого «ближе к истине, нежели Розена»[177], — преувеличение. Их взгляды несколько различны, но при этом равноудалены от исторической истины.

Наибольшие возражения вызвала у В. С. Толстого вторая часть «Записок декабриста», посвященная остзейскому вопросу. Толстой был сторонником русификации остзейского края (хотя и осуждал ее насильственные меры) и с неприязнью относился к остзейским немцам. В своей критике Розена он проводил мысль консервативной прессы о том, что остзейцы служат престолу, а не русскому отечеству. Он выступал против особых «прав» и «преимуществ», служивших «для немецкого наплыва, а не для аборигенов», и осуждал Розена за его восхваление остзейского дворянства. Споря с Розеном, В. С. Толстой повторял основные доводы антиостзейской русской печати 60-х гг., переосмысливая в демократическом плане либеральные и консервативные взгляды на положение в Прибалтике[178].

Обстоятельный критический разбор «Записок декаб-

---

[176] Бестужевы, с. 469.
[177] Толстой, с. 17.
[178] Там же, с. 79—84; Исаков С. Г. «Записки декабриста» А. Е. Розена и полемика по остзейскому вопросу, с. 163—167.

риста» был дан в статье П. Н. Свистунова «Несколько замечаний по поводу новейших книг и статей о событии 14 декабря и о декабристах», напечатанной в «Русском архиве». П. Н. Свистунов, в частности, писал: «Нельзя не признать, что рассказ о том, чему автор был очевидцем или в чем лично участвовал, заслуживает полного доверия. Тут высказано много правды без прикрасы и без утайки; но, к сожалению, все то, что дошло до него по слухам, принято им на слово без надлежащей проверки и потому во многих случаях не согласуется с действительностью»[179]. П. Н. Свистунов справедливо оспорил некоторые мнения Розена (в частности, о причинах возникновения декабристского движения), уточнил ряд фактов (история Северного тайного общества, деятельность М. М. Сперанского в Сибири, биографические сведения о М. С. Лунине, Ф. Б. Вольфе, А. М. Муравьеве). Но многие критические замечания П. Н. Свистунова отличались субъективизмом и нетерпимостью. Так, вопреки истине, он отвергал федерализм «Конституции» Н. М. Муравьева, отрицал идею П. И. Пестеля об автономии Польши, полагал, что заглавие книги воспоминаний Розена не оправдывается ни ее содержанием, ни личностью мемуариста. Последнее утверждение касалось, главным образом, остзейских взглядов Розена. Они вызвали у П. Н. Свистунова искреннее возмущение и протест. «Упорная защита средневековых сословных привилегий нашей Балтийской окраины, — писал он, — равно и отчуждение (может быть, и не сознательное) от великой русской семьи изобличают в сочинителе человека вовсе чуждого по духу обществу людей, прозванных декабристами <...>. Во имя правды долгом считаю заявить, что мнения и чувства, выраженные автором «Записок декабриста» во второй части его книги, принадлежат лично ему, и ответственность за них не должна падать на существовавший некогда Тайный союз, хотя заглавие книги дает повод предполагать, что этим мнениям и стремлениям сочувствовали декабристы»[180].

Розен не согласился со многими из указанных рецензентом «неверностей». В своем «Ответе» П. Н. Свистунову он, однако, приветствовал возникшую полемику и

---

[179] Русский архив, 1870, № 8—9, стб. 1645.
[180] Там же, стб. 1642, 1644.

«печатные толки» вокруг «Записок декабристов»: «<...> они-то и необходимы, особенно пока еще в живых несколько лиц действовавших, и свидетелей, и зрителей действия»[181].

П. Н. Свистунов опубликовал «Отповедь», но Розен на нее не ответил. В письме к Д. И. Завалишину от 22 апреля 1873 г. Розен объяснил свою позицию: «Что же касается выходки Свистунова в «Русском архиве» против моих записок <...>, то вижу в ней только суетное желание поважничать знанием всех дел Тайного общества, между тем как сам же обнаружил свое неведение и окончательно зарапортовался отрицанием фактов. Относительно его замечания в «Отповеди» о моем авторстве, о национальности, вероисповедании, о любви к отечеству, одним словом, о моем образе мыслей, это нисколько не относится к делам Тайного общества, а только обнаруживает какую-то стачку со сторонниками и издателем «Русского архива» (П. И. Бартеневым. — *Г. Н.*) и явно выставляет обоих вовсе некомпетентными судьями былого времени и новых вопросов дня. Признаюсь, что не стоило отвечать на такую школьную «Отповедь», напоминающую манеру старинной «Северной пчелы»[182].

Кроме печатных были, конечно, и устные «толки». Запрещенное цензурой лейпцигское издание «Записок декабриста» 1870 г. вызвало большой интерес читающей России. Сын декабриста Е. И. Якушкин, читавший статью П. Н. Свистунова в рукописи, в ноябре 1870 г. писал ему: «Книгу Розена я читаю теперь, — она имеет большое достоинство. Это первая книга, представившая дело в цельной картине; рассказ Розена о происшествиях, которых он был очевидцем, доставит будущему историку богатый материал.<...> Не можете ли вы достать мне записки Розена, которые я имел в руках только на короткое время. Мне хотелось бы написать введение к запискам Басаргина[183], и для этого книга Розена мне необходима»[184].

---

[181] Воспоминания, т. 2, с. 272.

[182] Там же, с. 245.

[183] Е. И. Якушкин готовил записки Н. В. Басаргина для публикации в издававшемся П. И. Бартеневым сборнике «XIX век» (кн. 1. М., 1872).

[184] Летописи Государственного литературного музея. Кн. 3. Декабристы. М., 1938, с. 311—312.

П. А. Вяземский писал П. И. Бартеневу 24 февраля 1871 г.: «А что ни говори, книга Розена очень любопытна и едва ли не лучший рассказ из всех известных рассказов действователей той эпохи»[185]. Н. С. Лесков несколько раз читал «Записки декабриста» с карандашом в руках. Он делал отметки на полях книги, подчеркивал отдельные строки текста[186]. В 1878 г. М. И. Семевский прислал «Записки декабриста» Л. Н. Толстому, который вновь перечитывал их в 1904—1905 гг.[187]. «Записки декабриста» послужили Н. А. Некрасову одним из исторических источников для создания поэм «Дедушка» и «Княгиня Трубецкая»[188]. В 1872 г. Н. А. Некрасов послал Розену экземпляр своих стихотворений и предложил ему напечатать в «Отечественных записках» «хотя бы листов десять» из его воспоминаний. Розен в письме к М. И. Семевскому от 7 июля 1872 г., прося передать Н. А. Некрасову благодарность за доставленный экземпляр стихотворений, писал: «Тотчас по получении такого милого подарка поручил я издателю моих записок в Лейпциге — Дункеру и Гумблоту — выслать вам и Н. А. Некрасову по экземпляру «Записок декабриста» через господина Исакова или как они знают лучше и скорее»[189].

29 марта 1873 г. Розен писал М. А. Назимову: «Из Птб. были мне сделаны два предложения относительно моих Записок от Некрасова и Семевского, условия мои сообщены обоим, но они нерешительны, не уверены, а потому <...> и затрудняются»[190]. О широком распространении воспоминаний Розена свидетельствует также агентурное донесение, поступившее в III Отделение в апреле 1875 г., в котором, в частности, сообщалось: «В

---

[185] Там же, с. 493.

[186] Книги из библиотеки Лескова в Государственном музее И. С. Тургенева. — ЛН. М., 1977, т. 87, с. 151—152.

[187] Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1936, т. 17, с. 502, 554; М., 1935, т. 54, с. 524; М., 1937, т. 55, с. 413; Толстая С. А. Моя жизнь. — Новый мир, 1978, № 8, с. 38.

[188] Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений. В 3-х т. Л., 1967, т. 2, с. 653.

[189] Тимощук В. В. М. И. Семевский, его жизнь и деятельность. СПб, 1895, прилож., с. 6—7. Этот экземпляр находился в библиотеке Н. А. Некрасова в усадьбе Карабиха (см.: Библиотека Некрасова. — ЛН. М., 1949, т. 53—54, с. 410).

[190] ИРЛИ, Р I, оп. 24, д. 49, л. 20.

настоящее время в обращении появилось большое количество экземпляров «Записок декабриста» бар. Розена, изданных за границей и наполненных, как известно, глубочайшего порицания покойному императору Николаю Павловичу»[191].

В начале сентября 1873 г. Розен приехал в Лейпциг. В письме к М. А. Назимову от 1(13) октября 1873 г. он сообщал: «<...> получил я манускрипт моей французской книги, за исключением трех глав, погибших в Париже в 1871 году от керосина». Вероятно, речь шла о рукописи, отправленной в 1869 г. в Париж к Ш. де Мазаду. Розену предстояло восстановить утраченные главы и пересмотреть весь текст. 22 октября (3 ноября) 1873 г. он писал М. А. Назимову: «Работа не дает получасика досужного, а силы и глаза уже далеко не те, кои мне помогали в 1869 г.» Работа над французской рукописью длилась весь ноябрь. 8(22) ноября 1873 г. он писал из Лейпцига: «Сижу за приготовлением французского издания после того, как в немецком и английском от тройных переводов вкрались ошибки и изуродованы имена». 23 ноября (5 декабря) 1873 г. Розен «подписал последнюю бумагу» и на следующий день покинул Лейпциг[192]. Однако французское издание в свет так и не вышло, и судьба его неизвестна[193].

По возвращении в Россию Розен вновь предпринял попытку издать «Записки декабриста» на родине. 14 декабря 1873 г. он обратился к начальнику Главного управления по делам печати М. Н. Лонгинову с ходатайством, в котором писал: «Прошу разрешения Вашего Превосходительства на печатание нового издания моих Записок, в коих я исключил все главы, относящиеся до моей личности, до моей родины, до царствования императора Николая и до новейших великих реформ 1861 года»[194]. 6 апреля 1874 г. Главное управление по делам печати объявило Розену, что «так как напечатанное в Рос-

---

[191] Невелев Г. А. Неизвестные письма декабристов. — Новый мир, 1975, № 12, с. 204.

[192] ИРЛИ, Р I, оп. 24, д. 49, л. 14об., 16, 18, 21.

[193] Рукопись французской книги Розен сохранил и в 1883 г. пытался издать ее в Петербурге, в частности, обращался с этим предложением к А. А. Краевскому (ГПБ, ф. 73, д. 1212, л. 4—4 об.).

[194] ЦГИА, ф. 776, оп. 11, д. 3, л. 18.

сии в 1869 г. издание «Записок декабриста» <...> задержано по распоряжению высшего правительства, то настоящему ходатайству просителя не может быть дано никакого движения»[195]. Розен, однако, продолжал работу по подготовке нового издания своих «Записок». Текст воспоминаний был существенно переработан. «Все частное, семейное и личное» было «выпущено, а прибавлено все, что в течение последних пяти лет было <...> доставлено от товарищей, от вдов их и родных»[196]. В письме к М. А. Назимову от 1 января 1875 г. Розен сообщал: «<...> готовлю новое издание моих Записок, в коем выброшу из первого главы I и II, о моей молодости и прежней службе, сливаю главы XIV, XV, XVI в одну со значительными сокращениями и более внимательными дополнениями. Выбрасываю главы XVII, XVIII, XIX <...>. Сливаю главы XX до XXIV в одну сокращенную, потому что огромное преобразование с 1861 года, в течение 14 лет, описано гораздо полнее и лучше меня. От этого книга моя ничего не потеряет, кроме объема, вместо 645 страниц будет 400, но зато с интересными дополнениями»[197]. Замысел подготовки нового издания состоял еще и в том, чтобы представить на рассмотрение цензуры как бы совершенно новую рукопись «Записок декабриста», не связанную с предыдущими изданиями, подвергшимися запрету.

Весной 1875 г., когда работа уже близилась к концу, Розен получил переданное через М. А. Назимова предложение Н. А. Некрасова напечатать воспоминания в «Отечественных записках» — «отдельными главами и потом отдельно книгою»[198]. Розен ответил согласием. В письме к Некрасову от 25 мая 1875 г. он писал: «Желаю, чтобы новое издание было напечатано в России; желаю, чтобы вы, уважаемый Николай Алексеевич, приняли на себя редакцию по вашему умению и по вашей прозорливости. Даю вам право выбирать и забраковывать все, что хотите, из старого и из нового издания и

---

[195] Там же, л. 33—36об.
[196] Архив села Карабихи, с. 164—165.
[197] ИРЛИ, Р I, оп. 24, д. 49, л. 44об. Сохранился проспект подготовленного Розеном в 1873—1875 гг. издания «Записок декабриста» — «Содержание моей книги для нового издания» (там же, ф. 265, оп. 2, д. 2246).
[198] Архив села Карабихи, с. 162.

только в нужных случаях, при пропусках, поставить каждый раз пять точек»[199].

14 июня 1875 г. Розен обратился в Главное управление по делам печати с новым ходатайством о разрешении опубликовать свои воспоминания в «Отечественных записках»[200]. Рассмотрев представленную Розеном рукопись и отметив в тексте подлежащие исключению места, С.-Петербургский цензурный комитет выразил сомнение в возможности издания «Записок декабриста», так как их автор относился к «политическим преступникам», чьи сочинения по высочайшему повелению от 12 февраля 1871 г. не допускались к печатанию в России[201]. Дело было передано на высочайшее рассмотрение. 26 января 1876 г. начальник III Отделения А. Л. Потапов уведомил министра внутренних дел А. Е. Тимашева о том, что Александр II «соизволил разрешить барону Розену напечатать помянутые «Записки», но с соблюдением цензурных правил[202]. Н. А. Некрасов сообщил об этом Розену телеграммой. По договору, заключенному 16 октября 1875 г., Розен предоставил Некрасову право напечатать «Записки декабриста» с теми сокращениями, которые потребуются по условиям цензуры. По завершении публикации в журнале Н. А. Некрасов должен был отпечатать две тысячи экземпляров отдельно, за счет Розена[203]. При цензуровании рукописи было изъято десять глав, «зачеркнуты красным карандашом сотни стра-

---

[199] Там же, с. 165.

[200] ЦГИА, ф. 776, оп. 11, д. 71, л. 1—1 об.

[201] Там же, л. 15—15 об.

По цензурному заключению можно составить представление о рукописи, поданной Розеном летом 1875 г. в С.-Петербургский цензурный комитет. Она состояла из 20 глав, разделенных на 4 части. В отличие от лейпцигского издания 1870 г. не было I, II и III глав, «все остальное в рукописи тождественно с заграничным изданием». Рукопись имела, кроме того, приложение, в которое были включены статьи М. С. Лунина «Разбор Донесения, представленного российскому императору Тайной комиссией в 1826 году» и «Взгляд на тайное общество в России (1816—1826)», воспоминания П. И. Фаленберга, письмо В. И. Штейнгеля к Николаю I из Петропавловской крепости (там же, л. 4—9об.; ИРЛИ, ф. 265, оп. 2, д. 2246).

[202] ЦГИА, ф. 776, оп. 11, д. 71, л. 15 об.

[203] Гаркави А. М. Из архивных разысканий о Н. А. Некрасове. — Уч. зап. Калининградского гос. пед. ин-та, 1958, вып. 4, с. 126.

ниц»[204]. Кроме того, было признано необходимым, «чтобы придать «Запискам» частный характер»[205], добавить I и II главы из лейпцигского издания 1870 г. Публикация «Записок декабриста» началась в февральской книжке «Отечественных записок» за 1876 г., продолжалась до ноября и затем приостановилась. Причина этого не была известна и Розену. «Не знаю, поправилось ли здоровье Н. А. Некрасова и почему прекратилось печатание продолжения моих Записок, разрешенного цензурою, в коем главы о наших кавказцах и об уничтожении крепостного состояния», — недоумевал он в письме к М. А. Назимову от 21 ноября 1877 г.[206]. 27 декабря 1877 г. Н. А. Некрасов скончался, и издательский договор, заключенный между ним и Розеном, прекратил свое действие.

В 1878 г. Розен вновь перерабатывает текст своих «Записок». 19 сентября 1878 г. он писал М. А. Назимову: «Теперь готовлю четвертое издание моих Записок, а в числе прибавлений будет новая глава под заглавием «Декабристы на Кавказе». Но работать становилось все труднее. Болели глаза, «все печатное и письменное» расплывалось, врач запретил ему читать и писать, «а это все равно, что дышать», — грустно замечает Розен в одном из писем. «Новых работ теперь предпринять не могу, — писал он М. А. Назимову 8 ноября 1878 г., — память и глаза не дают, а поправляю и дополняю прежние». Летом 1880 г. Розен приехал в Петербург с целью заключить договор о новом издании «Записок декабриста», но «ничего не мог устроить с журналистами, с книгопродавцами и с типографщиками»[207]. Переговоры с Г. П. Данилевским и А. А. Краевским о приобретении ими рукописи для последующего опубликования также окончились ничем. В 1881 г. к Розену с предложением обратилась парижская издательская фирма «Mr Plon et C», но возникли финансовые трудности, и дело расстроилось[208].

Жизнь подходила к концу. Еще в 1877 г. Розен пи-

---

[204] ГПБ, ф. 73, д. 1212, л. 5.
[205] ИРЛИ, Р I, оп. 24, д. 49, л. 51об.
[206] Там же, л. 64.
[207] Там же, л. 65, 73—73об., 78—78об., 92—92об.
[208] ГПБ, ф. 73, д. 1212, л. 4—5об.

сал: «Небольшой литературный труд мой кончен. «Записки декабриста» напечатаны на 3 языках. «Очерк фамильной истории» на двух языках[209]. И еще напечатал «Шесть десятилетий моей жизни»[210], описанных отцом моим»[211]. В конце 1877 — начале 1878 г. он работал над «Взглядами на русскую периодическую прессу и на влиятельные партии в России». В 1879 г. переводит с немецкого сочинение «Об истинной и ложной авторитетности, с отношением к событиям настоящего времени». 17 ноября 1879 г. Розен сообщал М. А. Назимову: «На днях кончаю разбор о славянофильстве относительно России и о действиях периодической русской прессы. Это мой последний труд[212]. В 1882 г. вышло в свет подготовленное Розеном при участии Г. П. Данилевского «Полное собрание стихотворений» А. И. Одоевского[213]. Его перу принадлежали многочисленные заметки и статьи о декабристах, опубликованные на страницах «Русской старины» и «Русского архива». В письме к редактору «Русской старины» М. И. Семевскому от 20 августа 1870 г. он писал: «С вниманием читаю ваш журнал и не пропускаю ни единого слова, когда повествование касается моих отшедших товарищей. Поэтому считаю обязанностью отнестись к вам каждый раз, когда мною замечены будут или ошибка, или опечатка, или пропуски. Крепко стою за память отшедших товарищей»[214].

Литературная и публицистическая деятельность Розена 70-х — начала 80-х гг. снискала ему известность и авторитет хранителя декабристского наследства. 19 сен-

---

[209] Rosen A. E. Skizze zu einer Familien-Geschichte der Freiherren und Grafen von Rosen. 992—1876. Leipzig, 1876; на русском языке книга вышла в сокращенном виде; Розен А. Е. Очерк фамильной истории баронов фон Розен. 992—1876. СПб., 1876.

[210] Rosen E Die sechs Decennen meines Lebens oder mein 61 — ster Geburstag: seinen Kindern und Freunden gewidmet. Riga, 1877.

[211] ИРЛИ, Р I, оп. 24, д. 49, л. 66—66об. (письмо М. А. Назимову от 19 дек. 1877 г.).

[212] Там же, л. 66об., 82, 85.

[213] Полное собрание стихотворений Александра Ивановича Одоевского (декабриста). Собрал барон А. Е. Розен. С дополнениями и примечаниями издателей, портретом и facsimile князя Одоевского. СПб., 1882 (на обл.: 1883).

[214] Тимощук В. В. М. И. Семевский, его жизнь и деятельность, прилож., с. 6.

тября 1883 г. Розен с гордостью писал М. А. Назимову: «Меня прозвали историографом дела декабристов»[215].

В последние годы жизни к Розену особенно часто обращались с «вопросами и выведываниями о давно прошедшем времени». В письме к М. А. Назимову от 1 мая 1883 г. он писал: «Меня в особенности теперь с каждою почтою мучают литераторы обоего пола и, прочитав мою книжечку на немецком и английском языке и отрывки из «Отечественных записок» Некрасова, добираются до обширных лейпцигских и до новых сведений и facsimile. Главное — до давно прошедших исторических подробностей времен до 1825 года»[216].

«Записки декабриста» Розена способствовали росту общественного интереса к декабристам и декабризму, оказывали идейное и нравственное влияние на формирование исторического и политического сознания людей 70-х — начала 80-х гг. Для них старый декабрист был не только участником восстания на Сенатской площади в Петербурге, сибирским узником, источником исторических сведений. Он был олицетворением революционного поколения 20-х гг., живым свидетельством преемственности исторического развития. История его жизни являлась примером благородного общественного служения и вызывала, говоря словами А. И. Герцена, «беспредельное уважение к доблестным сподвижникам Пестеля и Рылеева»[217]. «Образованный, вечно идущий вперед по пути духовного развития, необыкновенно гуманный, мягкий в обращении, этот высокий, красивый, стройный, всегда, как только мы его знали, бодрый старик вызывал с первой минуты знакомства с ним чрезвычайно к себе симпатию, — писал о Розене близко его знавший М. И. Семевский, — это чувство оставалось к нему неизменным во все последующие годы знакомства с ним, — оно, вместе с чувством полного уважения к его высоконравственной личности, умрет лишь с теми, кто только имел счастье лично знать этого достойнейшего человека»[218].

Розен испытывал чувство глубокого нравственного

---

[215] ИРЛИ, Р I, оп. 24, д. 49, л. 134.
[216] Там же, л. 142.
[217] Герцен А. И. Собр. соч. М., 1958, т. 13, с. 71.
[218] Русская старина, 1884, № 6, с. 658.

удовлетворения от прожитой жизни. Он был благодарен судьбе, приведшей его в ряды лучших людей России, и был счастлив, выполнив долг перед памятью своих товарищей. В течение всей жизни Розен сумел сохранить «бодрость духа и веру непоколебимую, с коими, — писал он Е. П. Оболенскому 21 января 1845., — можно переносить всякое место и всякий род жизни, с коими лучше жить в Ялуторовске, нежели с недостатками в Неаполе»[219]. В старости, живя «воспоминаниями прошедшего времени», он видел историческое подтверждение истинности идей 14 декабря и постепенное общественное признание правоты декабристов, но, по праву историографа, еще большего ожидал от будущего и труд жизни — «Записки декабриста», — так и не изданный им в полном виде в России, рассматривал как связь времен. В письме к И. И. Пущину, написанном в день «декабрьской годовщины», 14 декабря 1858 г., Розен писал: «Сегодня при многих воспоминаниях особенно вспоминаю тебя, любезный друг Пущин. Этот день ведет дальше и дальше — и за все слава богу. Теперь как-то отраднее вспоминать этот день, и как-то знаменательнее отзываются памятные слова Рылеева, когда он, предвидя возможность неудачи, сказал мне: «А все-таки надо». Истина берет свое»[220].

Последние годы жизни Розен и его жена Анна Васильевна, разделившая с мужем все постигшие его невзгоды и испытания и оставшаяся верным и преданным другом, провели в уединении, в урочище Викнино, вблизи Изюма. Анна Васильевна скончалась 24 декабря 1883 года. Через четыре месяца, 19 апреля 1884 г., в памятный день свадьбы, умер Андрей Евгеньевич. Он был похоронен на викнинском кладбище рядом с женой. По завещанию, на могиле был поставлен «простой деревянный крест»[221]. В одном из писем к И. И. Пущину И. Д. Якушкин, вспомнив о Розене, заметил: «Это один из тех людей, которых зная, нет возможности не уважать душевно»[222].

После смерти мемуариста в печати появились сооб-

---

[219] ИРЛИ, ф. 606, д. 21, л. 10.

[220] Ланский Л. Неизданное... затерянное... забытое. — Наука и жизнь, 1974, № 10, с. 125.

[221] ГПБ, ф. 124, д. 3699.

[222] Из переписки декабристов (письма Н. А. Бестужева и И. Д. Якушкина). — В кн.: Декабристы. Новые материалы, с. 277.

щения о том, что в личном архиве декабриста «остались сочинения, которые, согласно духовному завещанию, вероятно, выйдут в свет[223]. Судьба этих сочинений неизвестна. Известно лишь, что в 1898 г. внук декабриста Л. Е. Розен предпринял попытку издать в России лейпцигские «Записки декабриста» 1870 г. Однако начальник Главного управления по делам печати М. П. Соловьев объявил, что «появление в свет «Записок декабриста» может быть разрешено лишь в тех пределах, в которых сочинение это уже появлялось в печати»[224]. На этом основании Московский цензурный комитет выдал разрешение Л. Е. Розену «на печатание «Записок декабриста» в пределах издания 1876 года в «Отечественных записках»[225]. В этих «пределах» «Записки декабриста» были изданы Л. Е. Розеном дважды, в 1899 и 1900 гг.[226]. Это были коммерческие издания, наспех составленные, с многочисленными неисправностями и к тому же с произвольной композицией текста воспоминаний. Утверждение издателя в предисловии к книге о том, что «часть воспоминаний записана из устных рассказов» Розена, также носило рекламный характер и не отражало действительности[227]. Возможность полного издания «Записок декабриста» в России появилась лишь в годы первой русской революции. В 1907 г. воспоминания Розена, подготовлен-

---

[223] Свет, 1884, 4(16) мая, № 98, с. 2.

[224] ЦГИА, ф. 776, оп. 11, д. 71, л. 17.

[225] Там же, л. 20.

[226] Одиссея недавних дней: в ссылку. Приложение: Самоубийство нового рода. Сочинение Андрея Розена (декабриста). М., Издание наследников, 1899; В ссылку (Записки декабриста). Сочинение барона Андрея Розена (декабриста). 1825—1900. Изданне наследников. Изд. 2-е с значительными добавлениями. М., 1900.

[227] Очевидно, внуку декабриста принадлежит «заслуга» в появлении еще одного (не зарегистрированного в декабристской библиографии) «казусного» издания. В 1901 г. в Софии под именем Розена были опубликованы на болгарском языке отдельной книжкой воспоминания декабриста П. И. Фаленберга (Барон А. Е. Розен. Разкривание заговора за убийството на русския император. Сждение и изпращание на заточение в Сибирь. Издава книгоиздателското дружество «Просвещение». София. Печатница К. Г. Чиков, 1901. О записках П. И. Фаленберга см.: Воспоминания, т. 1, с. 205—243). Рукопись этих воспоминаний А. Е. Розен получил в 1872 г., снял с нее копию и предполагал опубликовать в качестве приложения к полному русскому изданию своих «Записок». Этой копией, по всей видимости, и воспользовался Л. Е. Розен для болгарского издания.

ные к печати по тексту лейпцигского издания 1870 г. П. Е. Щеголевым, вышли в свет в петербургском издательстве «Общественная польза». Во вступительной статье к книге П. Е. Щеголев кратко изложил историю жизни декабриста и опубликовал его следственное дело. В виде приложения к «Запискам декабриста» в издании 1907 г. были помещены наиболее важные статьи и заметки Розена, появившиеся в печати после 1870 г.

Настоящее издание является первым комментированным изданием «Записок декабриста».

Из обширных «Записок декабриста» в настоящем издании воспроизводится только первая часть, посвященная собственно декабристскому периоду жизни автора. Вторая и третья части мемуаров, посвященные истории Эстляндии, истории России с 1825 по 1855 г. и общественным реформам начала 60-х гг., не перепечатываются. В 60-е гг. Розен составил на основе доступных в то время литературных источников очерк «Масонские, литературные и тайные общества от 1815 до 1825 года» и включил его в качестве третьей главы в состав первой части своих «Записок». Этот исторический очерк, не имеющий мемуарного характера, в данном издании не воспроизводится. В виде приложения к первой части своих воспоминаний Розен поместил составленные им в 50 — 60-е гг. «Некролог товарищей, умерших в изгнании, убитых на Кавказе, скончавшихся по возвращении на родину» и «Некролог жен, следовавших за мужьями в заточение и изгнание, погребенных в Сибири, умерших по возвращении на родину». Эти некрологические списки, однако, содержат преимущественно ошибочные или неточные сведения о времени и месте кончины декабристов и их жен и поэтому также не приводятся.

Издательская деятельность Л. Е. Розена в конце XIX — начале XX в. позволяет предположить, что он, возможно, располагал рукописью «Записок» своего деда. Однако ее поиски, предпринятые в советских[228] и зару-

[228] В центральных архивохранилищах сохранились лишь разрозненные части эпистолярного наследия декабриста. В ЦГИА Эстонской ССР, ЦГИА Украинской ССР и Харьковском областном государственном архиве, в котором хранится личный фонд И. В. Малиновского, рукописей Розена нами не обнаружено.

бежных[229] архивах, не привели к обнаружению манускрипта. Прижизненные издания «Записок декабриста» Розена остаются поэтому единственным авторитетным источником текста его воспоминаний.

Текст воспоминаний в настоящей книге воспроизводится по авторскому изданию: Записки декабриста. 3 части в одной книге. Лейпциг, тип. Бера и Германа, 1870.

Г. А. Невелев

---

[229] Barratt G. The Rebel on the Bridge: A Life of the Decembrist Baron Andrey Rosen. 1800—1884. Athens, 1975.

Любезным моим соузникам
и соизгнанникам
посвящает сочинитель

Предисловие

При самом начале составления этих Записок в заточении, в изгнании, на переходе из одной тюрьмы в другую, во время переезда из одной страны изгнания в другую сочинитель имел в виду не многочисленную публику, но своих детей, родных и товарищей, с которыми он провел примечательнейшую часть своей жизни — годы заточения и изгнания в Сибири и на Кавказе.

Между тем времена и отношения и события изменились так быстро и так широко, что эти страницы могут представить занимательность и для круга посторонних читателей. Из лиц, бывших нашими судьями, все уже скончались: из числа ста двадцати одного товарищей, осужденных за заговор 1825 года, осталось в живых только четырнадцать, а между нами только трое из декабристов[1]. Это событие представляет теперь только историческую занимательность, и воспоминание о нем не может казаться ни предосудительным для правительства, ни революционным или опасным для публики. Ныне дело только в том, чтобы по истине выставить сущность исторического факта и доставить принимающим участие в жребии декабристов некоторые достоверные сведения относительно их характера и участи.

Вторая часть моих Записок касается моей родины; а третья часть — некоторых из важных современных вопросов, новейших великих событий и громадных преобразований в моем отечестве.

Доныне, в журналах и газетах, русских и иностран-

ных, напечатаны были только отрывки воспоминаний нескольких моих товарищей: Е. П. Оболенского и Н. А. Бестужева о Рылееве, И. И. Пущина о Царскосельском лицее, И. Д. Якушкина о допросах Следственной комиссии, Никиты М[ихайловича] Муравьева о действиях комиссии, М. С. Лунина о влиянии тайных обществ, Н. В. Басаргина об училище колонновожатых[2]. Н. И. Тургенев, постоянный поборник за свободу крестьян, обнародовал на французском языке полное сочинение в трех томах: «La Russie et les Russes»[3]. В первом томе автор разбирает Донесение Следственной комиссии с преднамеренной целью — облегчить участь сосланных товарищей; в двух остальных томах автор совершенно верно и разительно изображает состояние России и быт русских до времени своего выезда за границу летом 1824 года, с весьма важными документами и очень поучительными указаниями на деятелей русских в первой четверти текущего столетия.

Из писателей, не принадлежавших к тайному обществу, барон М. А. Корф описал восшествие на престол императора Николая I[4], согласно с Донесением Следственной комиссии, с записками членов императорской фамилии и высокопоставленных лиц по государственному управлению.

Е. Ковалевский в своей книге «Граф Блудов и его время» коснулся только Донесения Следственной комиссии 1826 года[5].

В «Русском вестнике» 1868 года за июнь напечатаны заметки о некоторых моих товарищах из записок Н. И. Греча[6].

Происшествие 14 декабря 1825 года искажено до невероятности: в доказательство привожу письмо государственного секретаря А. Н. Оленина к дочери своей от 24 декабря 1825 года из Петербурга; письмо это напечатано в 4 № «Русского архива» за 1869 год[7]. Если муж, достойный общего уважения и занимавший такое важное место, мог передать совершенно ложные вести об этом происшествии, то чего ожидать от людей, выдающих за истину все, что передавалось тогда и после по слухам и пересудам?

Из иностранных писателей, находившихся тогда или около того времени в России и в Петербурге, И. Г. Шницлер, хорошо ознакомившийся с Россиею, всех вернее и

подробнее описал действия тайных обществ и происшествие 14 декабря в своем сочинении «Тайная история России в царствование Александра I и Николая I». Автор довольно верно определяет главный ход происшествия и выводит правдивое заключение из всего дела[8].

Неудовлетворительнее отзывы других писателей, как-то: Ancelot. Six mois en Russie; Lesur. Annuaire de 1825; Dupré de St. Maure. Pétersbourg, Moscou, les Provinces; D'un Anglais anonime. Revelations of Russia; Custine. La Russie en 1839, этот писатель смешал обстоятельства восстания 14 декабря 1825 года с возмущением на Сенной во время холеры в Петербурге и с восстанием в Старой Руссе в 1831 году в военных поселениях[9].

Большая часть моих товарищей могла бы гораздо обстоятельнее и занимательнее передать все события того времени, но их давно уже не стало, а из малого числа оставшихся в живых успеет ли кто исполнить это? — не знаю. Такие обстоятельства заставили меня употребить небольшой остаток дней моих, чтобы совестливым образом передать то, что я сам испытал, видел и слышал и что почерпнул из самых верных источников.

Предупреждаю моих читателей, что я старался быть беспристрастным, что я не сохранил никакой горечи или вражды за претерпенные испытания и припоминаю с благодарностью все добро, оказанное мне и моим товарищам в течение всего этого времени, трудного и печального[10].

Я очень хорошо знаю, что характер и действия большей части людей определяются духом времени и обстоятельствами, среди коих они развиваются, и потому не питаю злобы даже против тех, которые поступили с нами жестоко и несправедливо. Поэтому прошу родных и друзей названных мною лиц не сетовать на меня, если в моих Записках ваш родственник или друг выставлен мною не так, как вы того желали или ожидали, или каким вы его знали сами, или как слышали о нем от других, или, наконец, если я не сумел достойно оценить его характер, его слова и действия.

Особенно прошу тех из моих читателей, которыми может овладеть чувство негодования или грусти при чтении различных мною описанных обстоятельств, чтобы они хорошо взвешивали и припоминали себе различные отно-

шения, под влиянием коих мы были преданы суду и подвергнуты осуждению, — тогда вы будете иметь довольно оснований, чтобы объяснить и извинить причины, по коим поступлено было с нами так, а не иначе.

Желаю опровергнуть все ложные суждения о декабристах и об их противниках. Особенно теперь, в наши дни, свидетельствующие о величайших политических и административных преобразованиях, совершавшихся в России с 1856 года[11], будет занимательно узнать примечательную часть истории предшествовавшего времени во всех отдельных частях: тогда легко убедятся читатели, что сочинитель Записок ничего другого не имел в виду, как только доставление верных сведений о стремлениях и об участи его друзей и товарищей.

Дух времени, степень образования, сила убеждений и обстоятельств порознь и в совокупности сильно влияют на поступки и действия самых лучших из людей и снимают укоризну с их памяти.

В заключение остается еще предупредить моих читателей, что отрывки моих Записок были в 1868 году напечатаны в немецком переводе в журнале «Die Grenzboten» и потом в отдельной книжке «Aus den Memoiren eines Russischen Dekabristen». Две главы были переведены обратно на русский язык с немецкого и напечатаны в «Биржевых ведомостях» в конце 1868 года и в «Вестнике Европы» в конце 1869 года[12] без ведома и согласия сочинителя. Чтобы устранить всякое искажение смысла, почти неизбежное при обратных переводах, я решился напечатать подлинник моих Записок без отлагательства, пока еще в живых несколько товарищей, с которыми я делил заточение и изгнание.

Лейпциг, 3 февраля 1870

Глава первая

ДЕТСТВО И МОЛОДОСТЬ

Детство.— Ректор Радекер и школа.— Определение в Кадетский корпус. — М. Клингер и М. С. Перский. — Выпуск. — Лейб-гвардии Финляндский полк. — Отпуск и брат мой Отто. — П. И. Греч. — Восстание лейб-гвардии Семеновского полка. — И. В. Васильчиков. — Поход Гвардейского корпуса. — Лемзаль. — Креславль. — Полоцк. — Бешенковицы. — Ищелна. — Минск. — Вильно. — Литва. — Другая дорога. — Луга

В Эстляндской губернии, в родовом имении Ментак, родился я в 1800 году[13]. Издав уже часть Записок отца моего[14], считаю излишним здесь распространяться о родителях моих. Скажу только, что с чувством самой искренней благодарности и благоговения вспоминаю их ежедневно: они сделали все, что возможно было по их средствам, для моего воспитания. До двенадцатилетнего возраста учился я дома у гувернантки из Дерпта, Шарлотты Заамен, которая добросовестно и довольно успешно обучала меня начальным основаниям учебных предметов, так что при вступлении моем в Нарвское народное училище я был в числе старательных и знающих учеников.

Родители мои, особенно незабвенная для меня нежная и благоразумная мать[15], имевшая больше досуга, чем отец, занятый службою по выборам и управлявший своими поместьями, внушили мне с младенчества святую веру и нравственность. Религиозные понятия, так часто изменяющиеся в течение жизни от обстоятельств, от общества, от чтения, от сомнений, были глубоко запечатлены в сердце моем, не от молитв, вытверженных наизусть, не от чтения и толкования Священного писания, но от ежечасного живого примера благочестия в практической жизни моих родителей, от всегдашней покорности их воле божией, от обходительности их с людьми и прислугою.

С тех пор я не переставал молиться; с тех пор сохранял я религиозное чувство, вопреки всем треволнениям в юности, в возмужалости и в старчестве; с тех пор я не расставался с этим сокровищем, без которого невозможно быть постоянно спокойным и довольным. Куда идти, когда в болезни совещание самых опытных врачей определяет, что нет надежды на возвращение здоровья? Что делать, когда отлучают человека от семьи и от общества и запирают его в тесноте и в темноте? К кому обратить-

ся, когда человек правый, по подозрению или по злобе человека влиятельного и коварного, терпит гонение и разорение? К кому прибегнуть, когда в своей семье позор или обида, по коим нет ни гражданского, ни уголовного иска, нет заступничества от общества? Всегда и во всех случаях — прямо к Спасителю: Он спасет непременно, а до окончательного спасения Он успокоит и укрепит вас. Спросите у всех, много потерпевших и пострадавших, они скажут вам то же; спросите и у счастливцев, обращающихся к Господу с благодарностью, они скажут вам то же, что их счастье скрепляется от веры и молитвы.

В 1812 году, когда гвардия двинулась на достославную битву против Наполеона, был я помещен в Нарвское народное училище, где учился с ровесниками из всех сословий, цехов и гильдий. Ректор Радекер, ученый классик, преподавал неутомимо, с любовью к своему высокому призванию. Нельзя без особенного уважения вспоминать этого совестливого труженика. Он учил в народном училище языкам латинскому, немецкому, истории и географии. Каждый день уроки начинались в 7 часов утра хоральным пением псалма или молитвы и объяснением катехизиса. Кроме 6 часов в день в народном училище давал он частные уроки у себя на квартире два часа до обеда и два часа вечером. Беспрерывные занятия повредили его зрение; за постоянные труды свои имел он только необходимо нужное для содержания своего семейства и никогда не роптал, никогда не просил прибавки жалованья, никогда не пропускал урока. Каждый ученик платил ему в год пять рублей и одну сажень дров. Какое могло быть возмездие для него? Разве успехи благонравных учеников? — но разве множество забот от большого числа ленивцев и шалунов не превышало радостей от учеников хороших?

Добрый, честный Радекер! твоя награда в твоей душе и в мире внутреннем от сознания строгого исполнения обязанностей учителя. У тебя не было карманных часов, ты не мог глядеть на минутную стрелку, да и она и не позвала бы тебя на развлечение, она не указала бы тебе, сколько ты выработал целковых; — ты переходил от урока к уроку по звону часов колокольных. Дайте на каждый уезд по десяти Радекеров, которые кроме науки передали бы ученикам своим исполнение обязанностей, совестливость во всем, — и в десяток лет увидели бы

деятелей нового поколения, которые щедро вознаградили бы труды и обеспечили бы охотно все нужды полезнейшего класса людей — наставников и учителей.

В Нарве жил я в доме купца Г. Гетте, тогда известном по светской обходительности хозяйки, по истинной любезности и образованности ее пяти дочерей и единственного сына, моего соученика. Жители городские, приезжие из соседних поместий, офицеры проходящих войск охотно посещали этот дом. Праздники Рождества и Пасхи и каникулы проводил я у родителей в деревне, в Ментаке. Поездки эти для меня очень памятны: летом случалось путешествовать с обратными подводами, доставлявшими вино в Нарву, а мне поручено было получить деньги. Для большей предосторожности просил я зашить эти деньги в боковой карман моей куртки, которую не снимал до прибытия домой. Ночлег бывал под шатром небесным, близ большой дороги, где местность позволяла иметь подножный корм. Вокруг огромного костра помещался я с мужиками; огонь, звезды, предстоящая радость скорого свидания удаляли сон, хотя монотонный напев эстонца «ай-ду, ай-ду, ай-ду» с малыми переливами голоса и его монотонная беседа могли легко клонить ко сну. Всегдашний разговор крестьян, тогда еще крепостных людей, имел главным и исключительным предметом живот и пищу. По приезде домой после нежных лобзаний с родителями и сестрами отец приносил ножницы, разрезывал нитки зашитого кармана, поверял деньги и благодарил за исполнение поручения.

Деревня летом для мальчика, родившегося и выросшего в этой деревне, лучше и краше Неаполя и Ниццы — для взрослого. После обеда отец отдыхал с час, и, пока не засыпал, я должен был читать ему или газету, или из книги, большею частью из Вольтера. По вечерам, пред ужином, он слегка экзаменовал меня и рассказывал, как он шесть лет учился в Лейпцигском университете и кто были лучшие его профессоры и лучшие товарищи. Каникулы мои исчезали как дым в поле.

В 1814 году отец мой отвез меня в Петербург для определения в корпус; но поездка наша была безуспешна по случаю продолжавшейся войны и отсутствия главных начальников. Я возвратился на прежнее место в Нарву. В соседстве города, в Сале, жил наш родственник, барон И. О. Корф; с двумя его младшими сыновьями учился

я вместе и по субботам иногда езжал с ними в Салу на воскресенье. Старик, радушный хлебосол, словоохотный, смеялся над неудачею моего определения и сказал: «Если хочешь, я определю тебя чрез сына моего Николая Ивановича», — служившего тогда в Варшаве еще молодым офицером в гвардейской конной артиллерии, — «только с условием: ты пришлешь мне к Пасхе сотню свежих яиц». По рукам. Это было в конце января 1815 года, и в первых числах марта я получил уведомление о зачислении моем в 1-й Кадетский корпус.

Родители мои жили тогда в Ревеле, после пожара, истребившего двухэтажный дом в деревне. Мне нужно было спешить в Ревель, чтобы застать там генерала Федора Федоровича барона Розена и адъютанта его, родного брата моего Отто; они возвращались из Парижа, ехали на зимние квартиры в Финляндию и по дороге отвезли меня в Петербург, где и сдали без малейших затруднений. Чрез несколько часов брат навестил меня и в коридоре светлом, встретившись со мною, не узнал меня: я был уже обстрижен под гребенку и в мундире.

Сначала мне было трудно по слабому знанию русского языка, но этому всего скорее можно было выучиться в корпусе, где считалось, с малолетним отделением, до 1000 кадетов, в каждой роте по 200. На другой день, за обедом, лишь только взялся за пирог с кашей, как сосед локтем ткнул меня в бок и сказал: «Урод, разве не видишь, что у нас *столбовой!*» Я ответил ему таким же толчком; дежурный офицер это заметил, разобрал дело и сделал выговор соседу моему за грубость. А дело было очень просто: шалунов и лентяев в наказание оставляли без обеда и во время стола ставили их к столбам обеденного зала: отделение в 20 кадет прятало в таком случае пироги за рукав или ватрушки за пазухи и по окончании стола тайно передавали голодному товарищу; оттого и название *столбовых*.

Директором корпуса был тогда генерал Максимилиан Клингер, глубокомысленный ученый писатель, скептик, знаменитый классический писатель Германии, но плохой директор: угрюмый в обращении, скупой на слова, медленный в походке, почему прозвали его белым медведем. Хорошо помню его, когда через два года, быв уже унтер-офицером и дежурным по корпусу, приходилось рапортовать ему до пробития вечерней зори. Строго было при-

казано входить к нему без доклада, осторожно без шуму отпирать и запирать за собою двери, коих было до полдюжины до его кабинета. Всякий раз заставал его с трубкой с длинным чубуком, в белом халате с колпаком, полулежачего в вольтеровских креслах, с закинутым пюпитром и с пером в руке. Может статься, он сочинял тогда своих «Братьев-близнецов»[16], приписываемых одно время гениальному Гете. Бывало, медленно повернет голову, выслушает рапорт, кивнет головой и продолжает писать.

Душою управления и обучения в корпусе был инспектор классов, полковник, флигель-адъютант Михаил Степанович Перский, который соединял в себе все условия образованного и способного человека по всем отраслям государственной службы. В молодости был он адъютантом великого князя цесаревича Константина Павловича, во время итальянского похода Суворова. Быв сам воспитан в 1-м Кадетском корпусе, он знал все недостатки этого заведения, и если он после, быв директором[17], не довел его до совершенства, то причиною тому были слабые денежные средства, отпускаемые тогда на старинные военно-учебные заведения, между тем как на новые, на инженерное, на артиллерийское училище, на императорский Царскосельский лицей, щедро отпускаемы были деньги, даже вводили удобства с роскошью. По этому случаю главный директор всех корпусов, граф Коновницын, и директор Перский часто повторяли, когда им ставили в пример новые заведения: «1-й Кадетский корпус беден средствами, но честен!» Перский знал состояние корпуса и во время директорства принца Ангальта особенно старался о введении в употребление французского языка, поощрял кадет и учителей, сам говорил с кадетами по-французски, когда посещал их в роте и в классах. Бывали забавные выходки, когда он поутру приходил в роту и кадеты стояли в строю после общей молитвы и разносили им булки: он подходил к некоторым, кланялся и вежливо расспрашивал о разных разностях. Когда сказал: «Bon jour, Monsieur Костюрин, comment ça va?»* — тот спокойно ответил: «Я не сова, Михаил Степанович!» Кадеты вообще трунили над теми, которым он говорил «bon jour!», и называли это маслом к булке.

---

* Здравствуйте, господин Костюрин, как дела? (франц.)

Дознано, что везде, даже в самом посредственном учебном заведении, можно многому научиться: то же самое можно сказать положительно о 1-м Кадетском корпусе, хотя в мою бытность там бывали учителя, получавшие не более 150 рублей ассигнациями жалованья в год. К лучшему устройству корпуса недоставало хороших учителей, надзирателей, наставников. Перский мог выбирать и назначать из офицеров артиллерии и армии, из числа лучших прежних питомцев корпуса, но откуда было взять хороших учителей? Однако, несмотря на все это, много славных сынов отечества получили свое образование в 1-м Кадетском корпусе. Деятельность ума и тела, умеренность и простота в пище, единодушие в товариществе — вот главные рычаги на подъем и перенесение житейских тяжестей, к этому всему с детства приучаются офицеры из кадет. В кругу, таком многочисленном, разноправных и разноплеменных юношей, открывается в малом виде вся предстоящая жизнь общественная. Уже тогда безошибочно можно было предугадывать и предвидеть способности и качества юных товарищей, моих ровесников, которые на дальнем поприще оправдали о себе мое мнение. И. Ф. Веймари и Фрейтаг старший не отличались ни ростом, ни красотою лица, ни красивою наружностью, но по способностям своим умственным, по твердости духа могли идти далеко впереди. Желательно, чтобы воспитанников отдавали в корпус не раньше 14-летнего возраста, с запасом религиозных и нравственных правил, потому что военные наставники и учителя не имеют ни случая, ни времени заняться этою важною частью воспитания: они ограничиваются внешним соблюдением форм и приемов, преподаванием наук и довольствуются безотчетным послушанием страха ради.

С искреннейшею признательностью вспоминаю еще теперь М. С. Перского, А. Х. Шмита — учителя фортификации и артиллерии, М. И. Талызина — учителя русской словесности и истории, ротных моих командиров И. И. Хатова и К. К. Мердера, всегда бойкого, бодрого, на славу учившего свою роту ружейным приемам и маршировке. Быстро переходил я из класса в класс, так что в 1817 году был в верхнем классе и унтер-офицером; по фронтовой науке перещеголял очень многих.

Живо вспоминаю свой восторг, когда в сентябре 1817 года совершенно неожиданно был потребован к ди-

ректору М. С. Перскому и он объявил мне торжественно, что, получив предписание представить четырех кадет к выпуску в гвардию, назначает меня и надеется, что выбор его будет оправдан. Кто сам не испытал, тому трудно представить себе счастье кадета, назначенного к выпуску; для меня оно было вдвое: в необыкновенное время и прямо в гвардию. По наукам и по экзамену был я удостоен 2-м; первым был Е. И. барон Корф, а ниже меня два брата Мих[аил] и Вл[адимир] Ланевские-Волк. Эти товарищи мои в ноябре 1817 года были произведены в прапорщики: они обмундировались и навещали меня в корпусе. Никто не знал причины, по коей я был оставлен или забыт. Благородный Перский утешал меня предположениями и обещанием напомнить обо мне. Наступил 1818 год; прошла зима; готовили новый общий выпуск, и снова я был представлен в саперы по баллам на экзамене, наравне с другими. В мае месяце учился наш батальон на кадетском плацу: я командовал батальоном и заметил у ворот между зрителями несколько офицеров лейб-гвардии Финляндского полка. Лишь окончилось ученье, они вызвали меня по фамилии и, поздравив меня, как сослуживца и товарища, вручили мне печатный приказ высочайший, по коему император Александр Благословенный, в бытность свою на конгрессе в Аахене 20 апреля 1818 года[18], подписал мое производство в прапорщики л.-гв. Финляндского полка. Радость мою разделил вполне М. С. Перский. Причину замедления моего производства, по коему ниже меня стоявшие товарищи по баллам обошли меня, узнал я после. В замену батальонов л.-гв. Литовского и л.-гв. Финляндского полков, поступивших в число Варшавской гвардии, было повелено составить новые батальоны, а по недостатку в офицерах выпустить из 1-го и 2-го Кадетских корпусов по четыре кадета. Начальник штаба Гвардейского корпуса Н. М. Сипягин нашел, что в полках довольно юнкеров на то, и согласился представить только 2-х в Литовский, переименованный тогда в л.-гв. Московский, и 4-х в л.-гв. Финляндский полк. Если бы из каждого корпуса взять по три кадета, как следовало по всей справедливости, то пришлось бы разъединить двух родных братьев Ланевских. Одни уверяли, что за них просили родственники, а другие, что Сипягин велел бросить жребий. Как бы то ни было, но я был обойден и остался в корпусе еще на

полгода и потерял старшинство. Из 2-го Кадетского корпуса имел ту же участь товарищ мой В. М. Симборский, который отыскивал старшинство, но безуспешно. Я помирился с участью, с обстоятельством, по коему, несмотря на оказанную мне несправедливость, все же был выпущен в старую гвардию, между тем как другие мои товарищи-кадеты, в числе их и достойнее меня, были произведены еще через два месяца после меня в саперы, в пионерные батальоны, в артиллерию конную и пешую и в армию. Этот исключительный случай был еще необыкновеннее тем, что в первый раз от основания корпуса был я выпущен в офицеры только один-одинешенек, между тем как обыкновенные годовые выпуски считали сотни новых офицеров.

В первое воскресенье моего офицерства посетил я корпус, чтобы повидаться с прежними товарищами и явиться к Перскому; он принял меня ласково и спросил: «Знаешь ли, кто теперь после государя важнейший человек в государстве?» Я ответил не задумываясь: «Граф Алексей Андреевич Аракчеев!» — «Нет! — возразил он с улыбкой: — Новый прапорщик важнее всех!» То было опровержение поговорки военной: курица не птица, а прапорщик не офицер. Перский просил меня обращать особенное и постоянное внимание на малейшие подробности в службе, во время учений и служебных обязанностей, потому что самые ничтожные безделицы бывают началом успеха в службе или многих неприятностей. Он был совершенно прав и почерпнул эту опытность не из книг и наставлений, а из действительной жизни.

Лейб-гвардии Финляндским полком командовал тогда генерал Б. Х. Рихтер. Батальонами командовали тогда М. Я. Палицын, А. Ф. Ахлестышев и К. П. Офросимов. Старшими капитанами были князь А. И. Ухтомский, А. Н. Марин, Веселовский. В полку знакомство заводится скоро. Служба в столице, хотя и трудна, но для меня, как питомца корпуса, она была не тягостна. Страстно любил и люблю я русского солдата, а по знанию воинского устава и строевой службы был я всегда в числе исправнейших офицеров. Отец мой, имея многочисленное семейство, не мог мне много уделить на расходы, почему я не имел средств держать экипаж, искать знакомств в частных домах или посещать театры. Жизнь моя беззаботно текла среди служебных обязанностей, в кругу то-

варищей и в умственных занятиях по мере возможности приобретения книг. В полку, от полкового командира до последнего прапорщика, почти все играли в карты. Случалось мне при дежурстве по батальону рапортовать в 9 часов вечера дежурному по полку штабс-капитану барону Саргеру и подходить к карточному столу, не быть никем примеченным, оттого что, подходя, ступал я не по полу, не по ковру, а по колодам карт, разбросанных несчастливыми понтерами и банкометами. Постепенно начал и я принимать участие в игре, как постепенно новички начинают курить или нюхать табак и пить водку. Сначала выигрывал — и незаметным образом сделался страстным игроком. Не жажда к деньгам и к прибыли увлекли меня, а легкое занятие, развлечение в бесцеремонном кругу, угадывание счастья были сперва наслаждением, после стали потребностью.

В 1819 году взял я отпуск на три месяца и поехал в Ревель вместе с братом моим Отто, прибывшим в Петербург, чтобы искать перевода в гвардию. С лишком четыре года не виделся с родителями, переселившимися в город с тех пор, как сгорел спокойный и удобный дом их в деревне. Больная мать моя, услышав радостный крик сестер, бросилась ко мне на шею. Через час воротился домой отец; все мы были утешены свиданием и сблизились сердцами, как будто никогда не расставались. По вечерам, когда я оставался наедине с отцом, пользовался умною его беседою и ученостью. Мать расспрашивала подробно, как провожу время, и с нежною любовью предостерегла от любви злой и опасной. Со временем познавал всю цену и истину советов и замечаний матери. Она в юности не получила блестящего воспитания, но в высшей степени обладала здравым смыслом, тем сокровищем, которое справедливо называют гением человечества. Чрезвычайно верно она отгадывала и обсуживала людей. Предостережения и советы ее всегда бывали мне полезны. С таким чутким знанием сердца она сохраняла всегдашнее благоволение к ближнему и примерную покорность воле Божией. В сомнительных случаях, когда трудно было решить дело, она покорялась необходимости и твердила: «Как Богу угодно!»

Ревель тогда славился гостеприимством, красавицами и танцами. Балы у губернатора барона Будберга, графа Буксгевдена, барона Деллингаузена, графа Мантей-

феля были изящны; редко проходил день без танцев — просто раздолье такому охотнику танцевать, каким я был в свое время. Из числа молодых жен всех более блистали графини Мантейфель, а из девиц — графиня Тизенгаузен. Танцоры были почти исключительно одни военные, всех полков гвардии и армии; на бал являлись всегда в чулках и башмаках; в красных мундирах были два кавалергарда и шесть конногвардейцев. Лучше всех танцевали гр. Ферзен и бар. Мейендорф, впоследствии герой Гроховский[19]; лучшим мазуристом был лейб-гусар Шевич.

Мне было полезно и приятно разделять время отпуска с братом моим Отто. Хотя он был пятью годами старше меня, но с самого детства моего была между нами неразрывная симпатия, возраставшая с годами и с опытом. В Ревеле мы жили в одной комнате; каждый вечер он напоминал мне, когда случалось ему заметить ошибку или даже когда я не держал себя как должно. Он обращал внимание на походку мою, на стойку, на сидение; часто приводил мне в пример генерала, князя Ливена, который во время похода или во время путешествия, когда прохаживался на квартире или на станции, ступал всегда грациозно, носками вниз, расправляя колена. Вместе с тем просил он меня напоминать и ему его ошибки или рассеянности и неловкости.

Однажды обедали мы без гостей в семейном кругу; во время обеда подали мне письмо с почты; я узнал почерк моего сослуживца П. И. Греча и положил письмо в карман. Отец мой пожелал, чтобы я за столом прочел его; открыв конверт, увидел в нем печатный приказ и мое производство в подпоручики. Отец не хотел верить: подле него сидел брат мой Отто, который участвовал в Отечественной войне 1812 года и был только поручиком армии, между тем как в полтора года службы имел уже старшинство штабс-капитана армии. Отец предложил пить за здоровье новопроизведенного; я ответил воинскою песнею. После обеда рассуждали о суете сует за ширмами, подле кровати больной матери, которая жалела о неблагодарной службе сына. Может статься, вмешалась тут частица материнского тщеславия; у ней, урожденной Сталь-фон-Голштейн, было два брата и семь сестер, у всех были многочисленные семейства, у всех сыновья служили в гвардии. Мой старший брат Владимир

служил в конной артиллерии, в знаменитой батарее Маркова, и в 1812, 13 и 14-м годах получил за отличие четыре чина и семь орденов; так мудрено ли, что мать скорбела о тугом производстве второго сына? Тут среди вздохов я заметил брату по-русски: «Ты мал золотник, да дорог!» Отец спросил, что это значит, и остался доволен переводом смысла, а мать рассмеялась. Провидение готовило брату иной путь; мы все о нем тогда соболезновали, а оно готовило и таило для него лучшее земное благо — миллионы рублей.

Три месяца в отпуску, да еще в веселом тогда Ревеле, прошли скоро. Грустное чувство тяготило меня при въезде в столичную заставу, при проезде мимо бесчисленных палат и домов, в коих не имел ни родного, ни знакомого. За Исаакиевским мостом встретил первого солдата моего полка и перестал грустить. На квартире встретил меня товарищ и соквартирант мой, Павел Иванович Греч, переведенный в наш полк из артиллерии. Он был исправный служака, славный собеседник, величайший шутник и мастер поострить и передразнивать, причем он так живо умел говорить чужим голосом, что часто случалось из передней комнаты слышать того или другого офицера, которых вовсе там и не было, а забавлялся Греч. День проводил он на службе или у брата своего, журналиста и грамматика. Вечером был для меня праздник, когда он, возвратившись, рассказывал, где он был, что видел и слышал. Он ничего не пропускал: память и слух были у него так верны и остры, что он помнил и распевал каждый марш каждого гвардейского батальона на больших парадах на Марсовом поле. В то время батальоны проходили повзводно церемониальным маршем, каждый батальон имел свой марш по назначению Дерфельдта и Фишера, главных капельмейстеров, а батальонов было тогда 26, в том числе саперный и Гвардейского экипажа: прошу упомнить и спеть 26 маршей! Чрез товарища и соквартиранта познакомился я с братом его Николаем Ивановичем: в николин и в варварин день встречал там на пирах много литераторов разнородных и разностепенных. Карамзин, Гнедич, Жуковский приезжали с поздравлением, но не оставались обедать, потому что сами праздновали у себя, у родных, у знати. Беседа за столом и после стола была веселая, непринужденная;

всех более острил хозяин, от него не отставали Бестужевы, Рылеев, Булгарин, Дельвиг и другие.

Сослуживец мой П. И. Греч дослужился до генеральского чина и умер в 50-х годах, был вторым комендантом Петербурга. Император Николай любил и отличал его: мне передали, что когда государь узнал о его смерти, то сказал о нем: «Это один из честнейших людей, которых встречал в моей жизни». В таком же роде отозвался Наполеон I о знаменитом враче Лоре, который в походе в Египте отказался, по совету его, облегчить страдания зачумленных воинов опиумом, сказав, что его дело лечить, а не морить, — и с полным самоотвержением, в утомительнейших походах, во время нестерпимого жара, охотно уступал порцию воды и своего коня жаждавшему и устававшему солдату.

Осенью 1820 года, 16 сентября, вбежал ко мне посыльный из казарм: «Ваше благородие! извольте спешить, полк собирается на набережной». Прибегаю к сборному месту — солдатам раздавали боевые патроны. Офицеры съезжаются со всех концов, теснятся в кружок и каждый по-своему рассказывает, как взбунтовался л.-гв. Семеновский полк[20]. Мы двинулись по команде, солдаты перекрестились, пошли по Гороховой улице, повернули в Малую Морскую и увидели, что конногвардейский полк под начальством красавца А. Ф. Орлова с обнаженными палашами конвоирует семеновцев по Невскому проспекту. Наше назначение было также провожать Семеновский полк до Петропавловской крепости, но как полк шел не сопротивляясь и без оружия, то принятая предосторожность оказалась лишнею и мы воротились в казармы наши. С этого дня боевые не оставались патроны на руках каптенармусов или в ротном цейхгаузе; за исключением пяти патронов из шестидесяти на каждого солдата все остальные сохранялись уже в полковом цейхгаузе.

Лейб-гвардии Семеновский полк, основанный Петром Великим, был любимым полком Александра I. Когда из армии переводили лучших и красивейших солдат в гвардию, то император лично отмечал отборных людей в любимый свой полк. Часто надевал мундир или сюртук этого полка — цвет воротника был ему к лицу. Полковой командир Я. А. Потемкин отличался от всех прочих бескорыстием, справедливостью и вежливостью в обхожде-

нии с офицерами и с солдатами; стан его был примечательный, одевался он, как кокетка. Общество офицеров было самое образованное и строго держалось правил чести и нравственности. Солдаты семеновские отличались не одною наружностью, не одним щегольством в обмундировании, не одною только образцовою выправкою и ружейными приемами: но они жили гораздо лучше солдат других полков, потому что большая часть из них были отличные башмачники, султанщики и обогащали свою артельную казну. Когда Потемкин был назначен в начальники 2-й гвардейской дивизии, то полк его принял полковник Шварц, командовавший армейским гренадерским полком[21] и известный по своей строгости и по знанию фронтовой службы. При обучении солдат он, без сомнения, перемудрил свою профессию, когда на своей квартире заставлял заслуженных гренадеров выпрямлять и вытягивать носок босой ноги, иной и раненной под Кульмом, линейкой в руках трогал то колено, то щиколотку, то пятку; ввел палочные удары, ругался самым площадным образом, по примеру других начальников, полагающих, что ругательство есть лучшее средство к оживлению и обучению солдата. Между офицерами обнаружилось неудовольствие; чем строже учил полковой командир, тем снисходительнее и вежливее учили ротные командиры; неудовольствие офицеров перешло к солдатам. Ротою его величества командовал старший капитан Кашкаров, ожидавший со всяким днем производства в полковники, и оттого не вникал с должным вниманием в свою обязанность и тем увеличил неудовольствие солдат до такой крайности, что четыре гренадера его роты обратились прямо к корпусному командиру И. В. Васильчикову с жалобою на своего полкового командира. Это было вечером. Васильчиков приказал немедленно привести всю роту в дворцовый экзерциргауз, или манеж, освещенный лампами, и после тщетных увещаний и объяснений незаконного их поступка велел отвести всю роту в Петропавловскую крепость[22]. На другой день по очереди следовало Семеновскому полку занять караулы в городе, но солдаты ослушались, не одевались, объявляя, что как их первая рота, их голова, находится в крепости, то их ноги не могут идти в караул. Главное начальство послало за Потемкиным, чтобы их уговорить и напомнить им долг службы и присяги, но солдаты слушали его со сле-

вами и настаивали, что без головы не пойдут в караул. Никто из них не брался за оружие, в шинелях и фуражках вывели их на площадь казарм, а оттуда проводили в крепость, где они соединились с первою своею ротою.

Император был тогда на конгрессе в Лайбахе[23], где Меттерних узнал об этом происшествии 36 часами раньше его, потому что наш курьер Чаадаев был отправлен через сутки: донесение написал Генерального штаба штабс-капитан Александр Мейендорф. Император был недоволен, что дипломатический корпус знал о том прежде него, и был растроган непокорностью любимого полка своего; он написал красноречивый приказ, в коем высказал все неудовольствие и сожаление. Полк был распределен во все полки армии. Офицеры были переведены в армейские полки с повышением чинов по гвардейскому старшинству. Кашкаров был отдан под суд и еще несколько офицеров, которые совершенно были оправданы[24]. Подозревали цель политическую, коей не было. Полковник Шварц был отчислен состоять по армии и хотя после дослужился до чина генерал-лейтенанта, но поприще его, сначала блистательное, помрачилось[25]. Так кончил старый, знаменитый и лучший полк Семеновский, отличившийся во всех походах Петра Великого и стяжавший бессмертную славу в битве под Кульмом[26]. Из лучших рот гренадерских полков был составлен новый Семеновский полк.

Каждый беспристрастный человек воздаст справедливость правдивой душе И. В. Васильчикова, его истинной благонамеренности, его пламенной любви к отечеству и к государю; но он сделал ошибку, сделав из мухи слона. Всякий начальник впадет в ту же ошибку, если будет действовать по внушению или страсти своей или под влиянием напрасных опасений или предубеждений, — тогда все устрашены были карбонаризмом. Когда есть закон и суд, то они должны были разобрать жалобу этих недовольных, требовать к допросу не массу, а уполномоченных, выслушав показания свидетелей, и дело было бы окончено правильно, тихо и спокойно. Наполеон I избегнул бы важного упрека истории, если бы он не приказал расстрелять герцога Энгиенского в полночь во рву Венсенской крепости[27], а предоставил бы решение дела законному суду, который мог бы расстрелять его на площади среди белого дня, и пример этот был бы гораз-

до действительнее тайного убийства. Может быть, и Васильчиков думал решительною мерою прекратить изъявления неудовольствий и жалоб, но вышло противное: почти во всех полках обнаружились различные притязания и домогательства солдат: в одном полку за продажу экономического провианта[28], в другом — за шинели, выслужившие сроки, но еще не розданные по рукам, в третьем — за продажу эскадронными командирами навоза огородникам, в четвертом — за строгое обращение с ними в казармах и на ученьях. Васильчиков созвал офицеров каждого полка в квартиру полковых командиров. В обстоятельной речи, с намеком на происшествие в Семеновском полку, делал он отеческие наставления, как исполнять долг службы, а в заключение, посматривая пристально то на того, то на другого из стоявших на полукружии офицеров, сказал: «Если бы я из среды вашей знал бы кого за вольнодумца, за беспокойного человека, за непокорного закону, то, поверьте мне, я не стал бы с тем церемониться; прощайте, господа!» Этими словами высказал он свое подозрение, возбужденное изменением жизни нескольких офицеров в каждом полку, которые из легкомысленных вертопрахов и игроков стали заниматься литературою и составлять свои кружки. Затем Васильчиков, в сопровождении всех офицеров, обходил собранные батальоны во дворах казарм, напоминал солдатам обязанности, святость данной присяги и милости царские, в числе коих назвал отведенные для них огороды под капусту и сокращенные сроки для мундира и шинели.

Необходимо было уничтожить вовсе повод к жалобам и натянуть ослабевшие струны военной дисциплины. Беспокойства в Пьемонте, вообще в Италии[29], служили предлогом к походу. Священный союз[30] вмешивался во все внутренние дела чужих государств, и наш Гвардейский корпус в апреле 1821 года получил приказание выступить в поход. Наш полк выступил первый, неделей раньше был я отправлен вперед, с командою хлебопеков в 60 человек. Маршрут вел через Нарву, Дерпт в Лемзаль. Я радовался случаю видеть родных и родные места. В полной форме въехал я верхом в Нарву, чтобы явиться к коменданту; праздные горожане и мальчишки глазели на гвардейцев, и когда поравнялся с кузницею, раздался резкий голос: «Остановись, Р[озен], погоди одну минуту, я скреплю хлябную подкову твоего коня!» То

был молодой кузнец Гессе, бывший мой соученик в народном училище, он так мастерски это исполнил, что его подкова держалась лучше прочих. Распределение команды по квартирам, прием провианта оставили мне довольно досужного времени, чтобы навестить старых учителей и нарвских знакомцев. По прибытии полка и по сдаче хлеба и сухарей отправился в Дерпт; команда шла без дневок, имела подводы для амуниции и оттого могла прибыть к назначенному месту в город, или в местечко, или в село, за четыре или за шесть дней до прихода полка. Сначала трудно было вводить порядок на походе; последние происшествия в столице и дешевая крепкая водка эстляндская обнаруживали худые последствия и требовали большей строгости. Даже в моей небольшой команде я вынужден был наказать двух унтер-офицеров. Один только день провел я в Ментаке у брата моего Отто, который тогда уже был в отставке и имел отцовское имение Ментак в аренде. Отец мой нарочно приехал из Ревеля, чтобы со мною увидеться и благословить меня в дальнейший поход.

В шестнадцати верстах не доходя до Дерпта на почтовой дороге, повернул команду в имение Фитингоф, к старшему брату Владимиру, отставному артиллерийскому полковнику. В мундире, во всех орденах, он встретил мою команду, щедро угостил ее вином и пирогами и повез меня в Дерпт. Славный и красивый город по местности. Площадь и улицы оживлены были студентами в различных одеяниях, поражающих своею странностью: кто в тесной одежде, кто в широкой, разного цвета и покроя; один острижен под гребенку, другой в буклях, третий с длинными волосами ниже плеч. Головной убор был еще страннее: от шляпы до картуза всех возможных форм, — у многих были на голове семеновские фуражки. Между студентами имел я хорошего приятеля Эрнста Гетте; с ним жил и учился в Нарве, после он сделался известным доктором и хирургом в Петербурге, при Обуховской больнице. Он показывал мне славный университет во всей подробности. Представлялся я старцу Кнорингу, бывшему главнокомандующему на Кавказе при императоре Павле, во время присоединения Грузии к России[31]; старый воин говорил не иначе, как с закрытыми глазами. Вместе с братом моим явился я к полицмейстеру полковнику Ясинскому, которого просил дать при-

казание, чтобы солдатам моим отведены были хорошие квартиры с просторными печами. Мой брат, слушая наш разговор, заметил, что с такими просьбами я недалеко уйду — как он, бывало, в походе, схватит полицмейстера за воротник, подымет его на пол-аршина от земли... и мигом устроено и улажено. Блюститель порядка и тишины смутился и возразил: «Как вы можете, барон, давать такие советы молодому офицеру?» — «Хотите ли, — ответил тот, — я сейчас вас подыму за брата!» Вспомнил Ясинского по другому позднейшему случаю: когда император Николай навестил Дерпт, то заметил, что жандарм или полицейский драгун держал саблю, или палаш, не по форме, и приказал арестовать Ясинского. А. Х. Бенкендорф, в добрую минуту, рассказал государю, что этот самый Ясинский, узнав о кончине императрицы Марии Федоровны, горько заплакал и спросил: «Как же это? кто теперь у нас в России будет вдовствующей императрицею?» Государь приказал тотчас освободить его из-под ареста.

В Дерпте видел я в последний раз моего дивизионного начальника Потемкина. За бунт Семеновского полка были смещены оба начальника гвардейских дивизий, первой — барон Розен[32], второй — Я. А. Потемкин; обоим даны были армейские дивизии. На место первого из них назначен был И. Ф. Паскевич, на место второго — К. И. Бистром. Начальник корпусного штаба А. Х. Бенкендорф заменен был П. Ф. Желтухиным, И. Ф. Васильчикова сменил Ф. П. Уваров. Дисциплина до такой степени ослабела, что солдаты при встречах с офицерами не снимали фуражек. Нашего полка солдат грозил в Дерпте полковнику своему Подобедову, что в сражении пустит в него первую пулю; солдат этот был прогнан сквозь строй. Новое начальство стало строже и взыскательнее.

В небольшом уездном городке, в Лемзале, остановился полк на месяц. Там жил я в загородном домике ратсгера[33] Миллера. Хозяева были до такой степени внимательны к постояльцу, что по утрам прислуга подкарауливала у окна мое пробуждение и в ту же минуту приносила мне кофе. Хозяйка узнала, что я люблю спаржу, и с того дня за каждым обедом и ужином для меня особо стояло блюдо на столе со спаржою. По субботам к вечеру приезжали к Миллеру наставники из окрестных поме-

стий, гг. Швабе и Фабер, питомцы германских университетов. Беседа их была всегда занимательна и поучительна, они отлично играли на венском рояле; в воскресенье вечером возвращались они к своей должности. Пребывание мое у г. Миллера останется всегда приятным для меня воспоминанием; желаю, чтобы дети его находили такой радушный и родственный прием, каким я наслаждался в доме их родителей. Это напоминало мне гостеприимство моей матери для всех квартировавших и проходивших офицеров; она сама признавалась, что делает это не из одной обязанности христианской, но также с корыстным убеждением, что за то и ее сыновья везде хорошо будут приняты.

Из Лемзаля полк пошел в Креславль чрез Полоцк и Дриссу; в обоих этих городах видел еще свежие следы Отечественной войны 1812 года. Вокруг Полоцка еще лежали человеческие кости; окопы были в хорошем состоянии; в монастырской стене коридора видно засевшее 6-фунтовое ядро. Здесь Витгенштейн отрезал французам дорогу в Петербург. В городе осмотрел я бывшее училище иезуитов: в храме науки, весьма деятельном в свое время, остались только белые стены и черные столы и скамейки. В соборе, переименованном из католического в греко-русский, присутствовал вечером на бракосочетании чиновника. Невеста была хороша собою, со вкусом одета, и видна была чудно обутая ножка. По окончании обряда, при выходе из церкви, в большом кругу офицеров-зрителей разговор шел все об этой чудной ножке; к разговору прислушивался внимательно начальник гвардейских донских казаков, храбрый генерал Ефремов и сказал в свою очередь: «Ну, что вы, господа, находите тут хорошего в невесте, талию обхватить можно четырьмя пальцами, ноги тонкие, как точеные, того и гляди, что щиколотка переломится, и всю ее сдуть можно. То ли дело у нас на Дону: у женщины ноги здоровые, так что поленом не перешибешь; сама она толстая, высокая, сочная, так что можно прилепиться и не отлепиться!» — «У каждого свой вкус!» — был ответ с различных точек круга.

Креславль, как и все жидовские местечки, наполнен жидами, мелкими неутомимыми торговцами, ростовщиками, пьявицами окрестных поселян. Здесь стоял я на одной квартире с штабс-капитаном И. В. Малиновским и

познакомился с ним короче. В столице офицеры видаются только на ученьях, в службе; на походе и на стоянках видались мы чаще и сошлись ближе. Он был воспитан в Александровском, или Царскосельском лицее, из числа первого выпуска, и отличался необыкновенной светскою любезностью и был тогда душою и сердцем славный товарищ. Среди развлечений походных, шумной забавы, кутежа и картежной игры никогда не покидало его чувство религиозное. В то время сомнений и безверия я никого не встречал, кто с такою искренностью, с такою горячностью молился богу, как он.

По выступлении полка из Кременчуга встретил нас на походе, в селе Ребяшках, генерал-адъютант Дибич. Он осматривал войска, объявил, что император доволен порядком нашего полка, что в Италии народы усмирились и что как по наступлении осени теперь неудобно воротиться в столицу, то назначены нам зимние квартиры в смежных губерниях. Нашему полку, шедшему в авангарде, пришлось идти в Гродненскую губернию. На походе назначены были высочайший смотр и маневры всей гвардии в Бешенковичах. Офицеры всего Гвардейского корпуса условились дать там обед и праздник государю, и действительно праздник был единственный в своем роде — и блистательный и сердечный. По окончании маневров посыпались награды орденами и чинами гораздо щедрее, чем за Бородино и за Лейпциг. Мне, по особенному обстоятельству, не суждено было лично участвовать в пирах, а только складчиною денег: поздно вечером прискакал за мною ординарец полкового командира М. Я. Палицына. Я немедленно явился и был принят ласковее обыкновенного: он объявил, что полку назначено идти после высочайшего смотра в Белицу, Гродненской губернии, что на пути нет постоянных казенных магазинов, что на него возложена обязанность продовольствовать полк на походе, что он назначает меня для исполнения поручения. Я отговаривался неопытностью в этом деле, но он умел тронуть самую тонкую струну самолюбия молодого офицера, сказав, что тут общая польза целого полка, что он надеется на меня как на каменную стену и проч., отсчитал двадцать тысяч рублей, дал мне курьерскую подорожную, и я ускакал в ту же ночь, потому что для первого склада продовольствия имел я только четыре дня времени. По маршруту и по расстоянию

пришлось заготовить провиант в четырех местах. На первых трех пунктах дело шло безостановочно и скоро, с помощью услужливых и расторопных жидов и высоких цен справочных. В последнем месте склада встретил я большие затруднения; справочные цены были так низки, что по оным никто продать не хотел. В местечке Воложине обратился я к богатому помещику графу Тышкевичу; он любезно принял меня, пригласил к обеду, но хлеба не продал. У него в первый раз видел я быт старинных польских панов вельможных. За полчаса до обеда шел по длинным коридорам замка барабанщик в особенном наряде в сопровождении двух пестро одетых слуг; с разных сторон, в разные двери вошли более пятидесяти домашних — аббат, подкоморий[34], управители, учителя, секретари, бедные дальние родственники и приживалки. За обилием роскошной пищи не было занимательного разговора, кроме живого восторженного рассказа о подвигах последней псовой охоты. С досадой поскакал я обратно к полковому командиру, разъяснил, что по справочной цене купить невозможно, что навязывал исправнику деньги на продовольствие по справке, но тот денег не принял, — и спросил, как поступить. Палицын разрешил мне купить по рыночной цене, жиды свезли проворно муку, и поручение о продовольствии полка исполнено благополучно. Скакал я по этой дороге днем и ночью по несколько раз туда и обратно, потому что, заготовив запас в первом и во втором пункте склада, я спешил обратно к первому, чтобы сдать провиант хлебопекам, с которыми шел сослуживец Як[ов] Грибовский. Жиды таинственно и ловко учили меня воровать: чтобы я в контакте с ними выставил десять рублей за четверть муки в девять пудов, а им платил только по девяти рублей, а они выдадут мне расписку в получении по десяти рублей. Я погрозил поколотить его за такие советы, но он нисколько не смутился и продолжал: «Помилуйте! три тысячи четвертей — по рублю с четверти: ведь деньги! — а деньги притом казенные, отпускаются по справкам, и лишние даром достаются полковому командиру и квартирмейстеру». Я показал ему дверь, сказав: «Смотри! чтобы мука была хороша!» Мука была отличная, приемщики хвалили; я пригласил Грибовского отобедать со мною на почтовой станции; чрез несколько минут вошел жид с корзинкою. «Ты зачем пришел?» — «С гостинцем к ва-

шему благородию, кушайте во здравие!» Грибовский перебил мое слово, — к черту! — спросив, что в корзинке. «Две бутылки шампанского и два десятка лучших груш!» — «Давай сюда!» — и взятка стояла на столе моем. Я возвратил бутылки жиду; сослуживец мой задержал корзину с грушами, попрекнул меня в педантизме, велел отнести бутылки к себе на квартиру и соблазнил меня на грушу. И теперь досадую за эту грушу, — а товарищ мой был потом полковым адъютантом, после полковником гвардии, сошел с ума и умер в больнице, разумеется, не от этого шампанского и этих груш. Я выставил этот случай, чтобы указать на одно из тысячи искушений, коим подвергается молодой офицер; и если не устоит, то — готовый взяточник или вор и попадет в известный разряд людей, утверждающих, что если не надуешь, то и не наживешь!

Зимние квартиры были нам назначены в Гродненской губернии: для штаба дивизии в Лиде, для штаба полка в Белице. Мне отведена была квартира на фольварке замка Ищелны, принадлежавшего тогда вдове Лескович, которая имела единственную взрослую дочь, панну Франциску. Вошел в большой зал, заметил на стене большую золотую рамку, украшавшую не картину, а надпись на пергаменте: «Такого-то года, месяца и числа император Александр I Благословенный удостоил своим посещением замок Ищелну». Дочь хозяйки, светски воспитанная, показала мне бриллиантовую стрелу, подаренную ей императором, пред которым она имела счастье играть на арфе. Для этого инструмента устроена была особая круглая диванная, с высоким сводом по правилам акустики, возле гостиной. Она играла с большим искусством и выражением. Воскресные дни бывал я у них в домовой церкви. Я жил от них в трех верстах; иногда проводил у них длинные вечера, со старушкой играл в цвик, причем она беспрестанно подстрекала: «Пане бароне, кто не азартуе, тот не профитуе!»* С дочерью читали вместе Mathilde ou le retour du Croisé, Caroline Lichtfeld[35], творения Шатобриана и думы Ламартина. Она имела хорошенькую служанку из евреек, которую она обратила в католическую веру. Всего охотнее и восторженнее беседовала она со мною о религии: кажется, вместе с абба-

* Господин барон, кто не рискует, тот не выигрывает! (польск.).

том старались переманить меня в католицизм, но я с небольшим запасом богословия, собранного в доме родительском и в Нарвском народном училище от Радекера, отстаивал полноту и чистоту разумно-понятного евангельского учения против мудрствований и толкований всех отцов всех церквей, признавая только единую церковь Христову новозаветную.

Изредка навещал я Малиновского, стоявшего с ротою в Щучине: там была семинария с ректором гостеприимным, который угощал нас по-русски отлично устроенною банею, по-немецки — превосходным мартовским пивом, по-польски — 25-летнею водкою. Пиво это получило свое название от солода, приготовляемого в марте, когда ячмень выдает лучшие ростки. Водка была без всякого сивушного запаха, желтоватого цвета от бочки и от времени и вкусом приятнее рома и коньяка. В Щучине постоянно жили два доктора: у одного из них была прекрасная жена, она меня пленяла своею миловидностью и скромным, приятным обращением. Малиновский дразнил меня ею, однако заметил, что она походила на вторую сестру его Анну, которую я в первый раз увидел два года спустя, и тогда не думал, что она будет моя суженая.

В Лиде были по праздникам и по воскресеньям балы самые веселые для походного офицера. Жители города и окрестностей принимали меня с особенным участием, потому что брат мой здесь стоял два года, быв бригадным адъютантом в Литовском корпусе. Для большего простора помещения бальный зал состоял из двух смежных комнат, с отнятием поперечной капитальной стены, их разделявшей, отчего зал в средине имел небольшую ложбинку, и, вальсируя, мы кружились то под горку, то на горку; но это нисколько не мешало плясать и веселиться при освещении сальными свечами и под звуками жидовской музыки. Обыкновенно только с рассветом кончались танцы, и большею частью прямо от бала, не переодевшись, возвращался на квартиру за 30 верст и более; и все не знал простуды и сокращал дорогу любимыми напевами.

В декабре рота Малиновского занимала караулы в Белице, в полковом штабе; это время и эта местность остались мне навсегда памятными по неприятному воспоминанию. В штабе все играли в карты, в банк и в штос: съезжались игроки, и 1821 года, декабря 14-го, я играл

и заигрался, проиграл в один вечер или в одну ночь все мои наличные деньги и еще порядочную сумму в долг. Ослепление это, страшная необузданность мучили меня; я искал случая отыграться и только расстраивал свои дела еще хуже. В своем месте расскажу, как я победил эту несчастную страсть в начале 1823 года; с тех пор прошло 46 лет, и я уже никогда более не играл в эти азартные игры.

В феврале 1822 года батальон наш выступил для занятия караулов в корпусную квартиру, в Минск. Я был отправлен вперед квартирьером и должен был явиться начальнику штаба П. Ф. Желтухину, назначенному на место А. Х. Бенкендорфа. Тут был я свидетелем неприятной сцены и непростительной грубости со стороны начальника. Желтухин, обратившись к гевальдигеру[36], штаб-офицеру, и указав рукой на свой письменный стол, спросил его: «Отчего перекладина между ножками поставлена ребром, а не плашмя, как я приказал?» Гевальдигер отговорился неведением, непониманием приказания. «Я приказал, и довольно, а за непослушание я вас впредь отправлю в нужное место на веревке». Таким обращением он думал поднять дисциплину, но внушил не столько страху к себе, сколько презрения и негодования. В Минске мы пробыли три недели: плохой театр, два бала служили нам развлечением; на одном из них пар сорок становились для общей кадрили, из которой составились отдельные, и мне пришлось быть в паре с И. Ф. Паскевичем, тогда дивизионным начальником 1-й гвардейской дивизии. В нем трудно было отгадать блестящую громкую его будущность. Котильон, бесконечный вальс с фигурами, продолжался три часа и больше; после бойкого и утомительного танца захотелось поужинать, но в кармане было пусто. Между тем лейб-гусары приказали накрыть для себя отдельный стол; за их ужином председательствовал их полка флигель-адъютант Шеппинг; в различных углах сели ужинать офицеры различных полков, но особо по полкам. Громко раздавались требования: лафиту, сотерну, рябчиков, шампанского! Мой ротный командир, барон И. И. Саргер, спросил меня, отчего я не ужинаю. «Денег нет! — ответил я. — Да, как видно, никто из нашего полка не ужинает, вероятно, по той же причине». — «Только-то!» — возразил Саргер, лихой товарищ. По его заказу в одну минуту был накрыт большой

стол, нас было человек двадцать; подавали лучшие блюда, отборное вино; с других соседних столов кричали — бургунского! — прислуга отвечала, что в л.-гв. Финляндский полк забрали все 1-го сорта. Наш стол перещеголял все столы, Саргер потирал себе руки, что полк обратил на себя общее внимание; это было ухарство по тогдашним понятиям. После ужина мы поблагодарили радушного хозяина, а он со смехом сказал, что и его кошелек пустой и что всех нас угостила его рота. На другой день он собрал всю роту, объявил, что он вчера издержал все их жалованье, что заплатит им сполна чрез три недели по получении денег из Петербурга по почте, «Рады стараться для вашего высокоблагородия», — был ответ роты, и Саргер остался вполне доволен своею выходкою.

Чрез месяц барон Саргер уехал в отпуск, старший при нем офицер Румянцев был болен, меня назначили командовать ротою его высочества, и для того оставил я Ищелну и перебрался в местечко Желудок, помещика графа Тизенгаузена. Для постоянных занятий солдат введены были несколько новых ружейных приемов и новый шаг, по коему учили поднимать ноги живо из-под себя и ударять ими в землю с темпом, отчего шаг выходил не больше как в пол-аршина, и, таким образом, масса двигалась с усилием и вместе с тем очень медленно достигала цели. Каждый день были ученья по два раза в день.

В мае 1822-го Гвардейский корпус получил повеление возвратиться в Петербург. Мы шли через Вильну, где маневры в присутствии императора продолжались четыре дня. Город очень красив своими зданиями и окрестными замками на соседних высотах. В Вильне имел я случай осмотреть клинику и был поражен видом двух больных: у одного была в голове водяная болезнь, растянувшаяся по всему объему головы до необыкновенной величины. У другого рука ниже локтя была привинчена к носу, чтобы из нее, когда срастется, вырезать в замену отнавшего носа. Два раза был я в серебряной зале, где акционеры держали значительный банк и главный банкомет не сходил с своего места до смены других. Метавший банк похож был на мумию; лицо его бледно-желтоватое, без движения в чертах; двигались только руки с картами, и молчаливо получал и раздавал деньги. Там на мелочь не играли, и лучше, потому что нельзя было проиграть больше наличной своей кассы. Возле банкомета

лежали пачки банковских билетов на огромные суммы, пачки ассигнаций, свертки золота, кучи червонцев и целковых. Из этой серебряной залы молодежь большею частью отправлялась в такие места, где, кроме денег, могла потерять и здоровье.

Побывав полтора года в Литве, познакомился я несколько с этою страною и ее жителями. Тогда дворяне или помещики отличались вообще дерзким высокомерием против низших сословий и бедных и лестью и искательством пред высшим и богатым. Сурово обращались они с крестьянами, как с рабами; главное и любимое занятие была охота, а с нею — нераздельное картежничество и попойки. Зато уж ежели между ними встретишь образованного, благовоспитанного человека, то такой в любой стране был бы украшением лучшего общества. Женский пол в этом сословии искони отличался привлекательностью и необыкновенной любезностью. Самый язык польский, жесткий и шепелеватый в выговоре мужчин, становится звучным и мягким в устах женщин.

Крестьяне в полном смысле слова — рабы, и по своему положению, и по своему наружному виду. Бедность во всем: их давят с одной стороны управитель или арендатор, а с другой — жиды; оттого они на низшей ступени гражданственности влачат печальную жизнь, среди невежества и нищеты. Духовенство утешает их в костелах по-латыни, чего они не понимают, и грозит и стращает по-польски только во время исповеди; оно не защищает их против помещика или власти судебной и полицейской, потому что получает содержание и защиту от дворян, а с крестьян нечего брать. Среднее сословие — купцы, ремесленники, трактирщики — состояло из многочисленной массы жидов-торгашей, неутомимо деятельных. Ни днем, ни ночью, во время частых моих переездов и переходов, я ни разу не видел спящего жида; питается он бедно, луком и блинами, терпит ругательства и побои, готов бегать целый день за пятак. Главный его двигатель — деньги: с помощью их откупается он легко, когда сам попадется в беду. Жиды потакают беспечности крестьян, давая им взаймы деньги, а в долг — водку, чтобы после жатвы содрать с них по сто процентов и больше, снова обязать и одолжить их и потом разорить совершенно. Такой же печальный вид представляют села, деревни, местечки, пашни, луга и стада. Редко случалось видеть бла-

гоустроенное поместье образованного владельца. Большая часть из богатых помещиков, панов, проживает в больших городах Европы и вверяет свои поместья и судьбу своих крестьян бессовестным арендаторам. Поистине, жалкая Литва!

Обратный поход наш вел нас по другой дороге. Маршрут нашей дивизии указал на Динабург, Псков, Лугу и Гатчину; а 1-я дивизия возвращалась по нашему первому пути, чрез наши прибалтийские губернии. Поход по местности малонаселенной, не представляющей никаких красок природы, — ни гор, ни рек больших, ни лесов сбереженных, ни сел красивых, ни образцов обработанных полей или роскошных лугов, — был до крайности однообразен. Дороги в худом состоянии вели по пескам, по болотистым низменностям, по лесам, изведенным близ дороги и селений, так что походили более на кустарники, в коих собирали только бруснику.

Дисциплина введена была строгая. Исчезли ожидания и восторг, с коими надеялись мы, по выступлении из Петербурга, побывать в чужих краях, под синим небом живописной монументальной Италии, и доказать непреоборимость русского штыка. Однообразие переходов и местности прерывалось только солдатскими песнями. Эти песни, сотни голосов, послушных запевале, с бубнами и треугольниками и свистками, заставляли забывать и жар и усталость, особенно когда проходили селения и собирались жители поглазеть на нас.

В Динабурге навестил я в землянке бывшего однополчанина, переведенного в армейский корпус и находившегося при крепостных работах. Отдельные каменные стены имели грозный вид, обшивка стен тесаным камнем стоила много денег и трудов. Солдаты за полверсты носили песок в мешочках, вместо того чтобы по настланным доскам перекатить его на тачках в десять раз больше и скорее.

В Псковской губернии ночевал я несколько раз в деревнях раскольников, и никто из них не знал, отчего произошел их раскол и в чем он состоит, а оправдывались в различии богослужения и обрядов заученными словами: «Так нас отцы наши учили». В Пскове путешественник невольно поражен бывает множеством старинных церквей с куполом в виде луковицы и до того тесных, что помещают не более ста прихожан. Зато на од-

ной улице десятки церквей, в близком одна от другой расстоянии. В былое время, когда и Псков вел торговлю с Ганзою, каждый усердный богомолец желал выстроить свою церковь для своей семьи и для своих родных; оттого и такое множество и такая теснота церквей.

Город Луга некрасив; но уезд богат водами и лугами. Рота дневала в 10 верстах от города; вечером поехал туда и застал кружок сослуживцев за рюмками. Стеснительно и неловко человеку трезвому явиться в круг товарищей упоенных, толкующих обо всем, что на ум придет. Я выпил рюмку, но через минуту один из собеседников заметил на мой счет: «Р[озен] иезуитствует, сам не пьет и над нами издевается!» Слово «иезуит» принималось за брань, с пьяным нельзя объясниться, мне оставалось только спросить: «Да по скольку же рюмок выпили вы до моего прихода?» — «По шести». — «Ну так давайте шесть!» А пили прекрепкую тогда модную водку гольдвассер, почти спирт, с плавающими золотыми звездочками. Выпил шесть, одну за другою, без остановки. «Теперь, господа, не только поровнялся с вами, но за вами остается долг, потому я выпил рюмку, когда с вами поздоровался!» — «Ах, душа! душа!» — данное мне прозвание в полку, — и пошли объятия, и толки, и смех, и песни: о картах нельзя было подумать. После полуночи разошлись и разъехались. Я ехал с бароном Саргером на лихой его тройке; ночь была светлая, лунная, телега надежная, а для большей безопасности мы обхватились локтями, я правым, он левым, чтобы центр тяжести двух тел приходился на средину. Тогда все курили трубку, кто из стамбулки, кто из пенковой; у Саргера была высокая, пенковая, под названием венгерской или шампанской: слышу и гляжу, что он пыхтит губами, а дым не идет. «Что за черт, трубка погасла!» — ворчит сосед и опять пыхтит пуще прежнего, а дыму не видать. Гляжу пристальнее и вижу, что он мундштук гнутого чубука пялит все в ухо вместо рта, отчего и напрасно пыхтел и трубка его погасла. На пятой версте виднелся длинный постоялый двор. Саргер приказал кучеру там остановиться для разбора жалобы на трактирщика. «Полно, И[ван] И[ванович], — сказал я положительно, — оставьте это до завтра, мы с ротой здесь пройдем, и вы спокойно все разберете». — «Нет, нельзя! я уж назначил, здесь ожидают меня свидетели, стой!» Что тут было делать: будь мой

кучер и мои лошади, я закричал бы: «Пошел!» Сошли мы благополучно с повозки; у крыльца ждали два унтер-офицера, свидетели и трактирщик. Саргер стоял как столб, толково и кратко расспросил прикосновенных делу и порешил все сразу. Мы важно сели опять в повозку, и, кажется, напряжение ума и тела немного протрезвило нас. Это — один из тысячи подобных эпизодов военной жизни тогдашнего времени, молодежи, участвовавшей в войне 1812 года, и молодежи, подражавшей ей.

Глава вторая

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГВАРДИИ И СЛУЖБА

Петергоф. — Грубое обхождение. — Вступление в Петербург. — Знакомство. — Как отстать от страсти? — Как нажить богатство? — Наводнение 7 ноября 1824 г. — Самоотвержение А. Х. Бенкендорфа. — Николин день. — Бал во дворце. — В. Ф. Малиновский — А. А. Самборский. — П. Ф. Малиновский. — Сватовство. — Обручение. — Благословение матери. — Шашистика и темпистика. — Экзерцирмейстер. — Форма. — Свадьба. — Лагерь. — Прощание. — Ораниенбаум. — Характеристика

Полк переночевал в Гатчине, офицеры были угощены во дворце. 20 июля наш первый батальон вступил в Петергоф, на следующий день был я наряжен в караул к петергофской заставе. Ожидали императора и весь двор, чтобы 22-го праздновать тезоименитство вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Временным комендантом в городе назначен был наш начальник штаба П. Ф. Желтухин, а плац-майором полковник л.-гв. Павловского полка Август Мандерштерн, известный служака; упоминаю о таких мелочах потому только, что они грозили мне бедою. Я знал, с кем имел дело, и не сходил с платформы до пробития вечерней зори. Плац-майор и дежурный по караулам полковник М. Ф. Митьков беспрестанно навещали меня и повторяли свои приказания. Казаки, мои рассыльные, то и дело что скакали с рапортичками моими о прибытии генералов. Наконец, в восьмом часу вечера приехал государь; караул мой отдал ему честь, коляска его остановилась, он махнул рукой, барабан умолк, и мы первые из возвратившихся гвардейцев услышали его ласковое приветствие: «Я очень рад, ребята, что вас опять вижу». Казак поскакал к коменданту с рапортом; пробили вечернюю зорю, и я радовался бла-

гополучному окончанию дня. На другой день поутру получил приказание по смене караула явиться к коменданту. Признаюсь, что я крепко смутился, вспомнив его дерзкое и грубое обращение с гевальдигером в Минске, в присутствии многих подчиненных. Вхожу в его квартиру в петергофском дворце, остановился в первой комнате в виду Желтухина, который при открытых дверях сидел в другой комнате за письменным столом; возле него по обеим сторонам стояли адъютанты и офицеры Генерального штаба, Н. М. Муравьев, Штернгельм и другие. Комендант писал, говорил с адъютантами и поглядывал на меня; наконец, он пальцем сделал мне знак, чтобы подойти к нему. Я спокойно оставался на месте, полагая, что он зовет лакея или позади меня стоявшего ординарца; знак этот повторялся еще два раза, я оглянулся назад и не трогался с места. Теперь он повелительным голосом сказал: «Господин караульный офицер, пожалуйте сюда!» Я подошел к самому столу и хотя не знал за собой никакой вины, но страх боялся грубого слова. «Каким образом, — продолжал он, — пишете вы в рапортах, что проехали чрез заставу генерал-адъютанты Апраксин и Левашов и проч., а не отметили, куда они ехали?» На этот первый запрос, на эту пустую придирку мне легко было ответить: «Ваше превосходительство! в заглавии моих рапортов выставлено: приехавшие в Петергоф, следовательно, все они приехали сюда». — «Вы хотите оправдываться, — сказал он громко, — но как же вы рапортуете о приезде генерала от инфантерии князя Ливена, между тем как его здесь нет; один князь Ливен — послом в Лондоне, другой — в чужих краях?» Я объяснил, что шлагбаум от караульной платформы в 30 шагах, там унтер-офицер останавливает экипажи, расспрашивает о фамилии и звании, откуда и куда едут, и если генерал, то караулу кричит «вон!» для отдания чести и потом уже приходит ко мне с запискою, на коей написано было: генерал от инфантерии князь Ливен; промчалась большая карета, в коей не мог распознать лиц, сидевших в глубине кареты, и сверх того не имею чести лично знать князей Ливен. Желтухин, выслушав, сказал с досадою: «Вижу, что вы хотите оправдываться фразами, прошу вперед исправнее стоять на карауле». Я вышел, как будто получил награду, и благодарил бога. Вечером сказал мне батальонный командир М. Ф. Митьков, что Желтухин рас-

спрашивал его о моей службе и о моем поведении и когда получил ответ в совершенную пользу мою, то возразил: «В таком случае этот офицер получил дурное образование».

Странное, непостижимое дело, что генералы, начальники, даже хорошо образованные, имеют привычку вменять себе за правило грубо и дерзко обращаться с подчиненными; тем более это покажется странным, если сообразить, что они сами были подчиненными и знали последствия такого обращения. Они теряют уважение к себе, доверенность, и при удобном случае оскорбленные подчиненные с злорадством выдают начальника грубого. Я мог бы назвать много генералов, которые, по неумению обращаться с подчиненными, лишились средств быть полезными, занять место по своим способностям: они могли пользоваться уважением к заслугам своим, но преданностью неограниченною, но любовью — никогда! Не знаю, как военные начальники обходились с офицерами до 1812 года, кажется, патриархально, а подчиненные отвечали сыновним послушанием. После 1812 года появились дурные притязания, другие требования. Мне рассказывал старый командир: «Бывало, в армии на ученье, во время отдыха, офицеры соберутся в кружок, беседуют и смеются, а как только командир скомандует «смирно!», то все бегом по своим местам: капитан бежит и толкает в шею поручика, поручик подпоручика, а тот прапорщика, и все как вкопанные на своем месте. А теперь что? Закричишь «смирно!», да еще пред гвардейским полком, а офицеры мерными шагами и преспокойно идут к своим рядам, припевая или присвистывая из Фрейшюца![37] Личная честь и честь полка в мое время поддерживаемы были настойчиво. Когда великий князь Константин Павлович, в минуту строптивости своей молодости, на полковом учении, с поднятым палашом наскочил на поручика Кошкуля, чтобы рубить его, тот, отпарировав, отклонил удар, вышиб палаш из руки князя и сказал: «Не извольте горячиться». Ученье было прекращено, чрез несколько часов адъютант князя приехал за Кошкулем и повез в Мраморный дворец. Кошкуль ожидал суда и приговора, как вдруг отворяется дверь, выходит Константин Павлович с распростертыми объятиями, обнимает Кошкуля, целует его и благодарит, что он спас его честь, говоря: «Что сказал бы государь и что подумала бы вся

армия, если бы я на ученье во фронте изрубил бы своего офицера?» Кошкуль впоследствии командовал л.-гв. Кирасирским полком его величества. Когда великий князь извинился перед обществом офицеров всей кирасирской бригады, то рыцарски объявил, что готов каждому дать полное удовлетворение; на это предложение откликнулся М. С. Лунин: «От такой чести никто не может отказаться!» — и с тех пор всегда был любим и покровительствуем великим князем. Этому самому Лунину на ученье сказал простодушный командир Депрерадович: «Штабс-ротмистр Лунин, вы спите?» — «Виноват, ваше превосходительство, спал и видел во сне, что вы бредите!» — был ответ[38]. Эти случаи достаточно высказывают дух времени; лишне будет описать поединки полковника Уварова с М. К. бароном Розеном, Бистрома с Карновичем и множество других. После происшествия в Семеновском полку началась реакция. В л.-гв. Егерском полку в Вильне разжалован был полковник Н. Н. Пущин. В. С. Норов переведен был в армию, когда бригадный командир, великий князь Н[иколай] П[авлович], сказал ему: «Я вас в бараний рог согну!» Грубые выходки вошли в моду и принесли плоды худые и довели до насмешек и до презрения; между тем как законное взыскание, выговор в приказах, арест на гауптвахте принимались и выдерживались с достоинством обоюдным, начальника и подчиненного.

Праздник в Петергофе был в полном смысле слова царский. Освещение сада, великолепного водомета Самсона, раскрывающего пасть льва, из коей в радужных цветах поднималась и рассыпалась огромная струя воды; иллюминованные корабли на взморье; повсеместно музыка и песни; катанье двора по освещенным аллеям сада на малиновых линейках: тысячи народа в различной одежде; все это представляло очаровательное зрелище, редко встречающееся в действительности, изображаемое только в сказках, и невероятное для того, кто сам его не видел. Но всего более прельстила меня в Петергофе, на другой день поутру, встреча с императрицею Елизаветою Алексеевной, ехавшей на откинутых парных дрожках к беседке Монплезиру в одежде скромной, как лицо частное; но черты ее лица выражали все, что называется добродетелью.

По вступлении полка в Петербург в наши казармы на

Васильевском острове, на Неве, против Горного корпуса[39], явились мы к новому полковому командиру, генералу Василию Никаноровичу Шеншину, отличившемуся в Отечественной войне знаменитым прикрытием отступления под Бауценом[40]. После Рихтера и Палицына он был уже третий мой полковой командир. Кроме достоинства воина, имел он все качества честного, благородного и доброго человека. Служба в городе и в казармах продолжалась по-прежнему. С небольшими денежными средствами служба в столице предлагала только утомление, потерю здоровья и вдобавок — долги. Я жаждал деятельности: Кавказ предлагал мне жизнь боевую, славу. Я решился просить о переводе моем за Кавказ, в Грузию, поближе к Ермолову, в полк Попова, стоявший тогда в крепости Гори. Шеншин сердечно отговаривал меня, уверяя, что на Кавказе жизнь не жизнь и смерть не как смерть, а везде тоска и ужас. Я остался непреклонным, прошение мое пошло дальше и чрез три недели получил решительный, но лестный отказ от корпусного командира и денежную награду. Служба шла своим чередом. Шеншин предложил мне быть его полковым адъютантом, предложил мне верхового коня и экипаж; я отказался единственно по той причине, что не имел англизированного верхового коня и экипажа.

В конце августа 1822 года сослуживец мой И. В. Малиновский ввел меня в круг своего семейства, только что возвратившегося из Ревеля с морского купанья. Три сестрицы его[41], круглые сиротки, жили тогда в доме дяди своего со стороны отца, П. Ф. Малиновского, под крылом единственной тетки своей со стороны матери, Анны Андреевны Самборской. Я рад был познакомиться в таком доме, иметь вести об отце моем, с которым они часто видались в Ревеле, и хотя тогда не имел никакого намерения жениться, но средняя сестра Анна своим лицом, наружностью, голосом, одеждою, скромным обхождением вызвала во мне чувство безотчетное. С первого знакомства тайный голос нашептывал мне, что она должна быть моею женою, что только с нею буду счастлив. Бывало, на вечерах и балах, в кадрили и котильоне, в один день я влюблялся не в одну, а в двенадцать хорошеньких женщин и девиц, а на следующий день поминай как их звали, и по утру, и по вечерам вместо вздохов любви раздавалась моя песня «Солдат на рундуке»

или «Пусть волком буду я, любите лишь меня». Но в этот раз по временам, когда я езжал в этот дом, постоянная скромность, всегда одинаковое смирение, кротость постоянная не могли не пленить. С того времени бойкая веселость моя немного приутихла, больше сидел дома, охотнее стал заниматься чтением, становился терпеливее, реже стал играть в карты, хотя страсть к игре была так сильна, что в церкви и дома сколько ни давал клятв отстать от игры, но в самый день данной клятвы, вечером и за полночь играл и все играл бы пуще прежнего.

Однажды утром, в октябре 1822-го, быв в каком-то торжественном настроении души, стоял я долго у окна, глядел на темные волны Невы и углубился в размышления. Скорбел о слабости воли при добрых благородных намерениях. Сердце мне твердило, что человек может сдержать свое слово, стоит только захотеть, и можно отстать от игры; разум отозвался, что выполнение такого намерения непременно послужит к лучшему, что при азартной игре пропадут миллионы рублей и всякое достояние; а кто не играет, тот может приобретать, и много ли, мало ли, может назвать своим, а не пропадет оттого, что туз или десятка лягут направо или налево. С того дня я перестал играть в азартные игры, и это уже не стоило мне никакой борьбы, так что в тот же вечер из новгородского подворья, в коем Филарет, после знаменитый митрополит Московский, служил всенощную, зашел ко мне мой победитель в картах и предложил сыграть с ним, предоставляя мне возможность отыграться; но я не согласился, и теперь, когда пересматриваю свои записки, минуло уже 47 лет с тех пор, как я в упомянутое утро перестал играть в банк и в штос. До этой счастливой минуты я так же рассуждал и так же чувствовал, но без успеха. Без сомнения, много к тому содействовала тайная любовь; но я не мог назвать себя влюбленным, сравнивая себя с другими влюбленными, предающимися своей страсти, как я безотчетно предавался страсти к игре в карты; моя любовь требовала нравственного усовершенствования, такого образа мыслей, который состоит из слияния умственного и нравственного стремления и действует на сердце и на характер. Мышления мои становились возвышеннее и чище; цель моей жизни получила другое направление. И в этом сознании, что хотя слабо и медленно человек улучшается, есть

уже блаженство выше всяких чувственных наслаждений и шумных развлечений. Вопреки этой перемене во мне, замеченной всеми сослуживцами, сохранил я прозвание *души* в полку, как в роте лихой песельник или запевала прозывается между товарищами *душою* роты.

Зимою 1823 года получил я кратковременный отпуск. На пути навестил я брата моего Отто, который имел тогда отцовское имение на аренде. Застал его в маленьком, низеньком домике, занесенном снегом, так что из окон только видно было небо. Напротив домика стояли голые стены огромного сгоревшего каменного дома, в коем я родился. Брат обрадовался моему приезду, принял меня с обычною любовью; но наружный вид его выказывал заботу и труд. Подали чашки; среди дружеской беседы брат часто вставал, ходил в угол комнаты, нагибался, возвращался, — я не мог приметить, что он там делал; наконец он принес оттуда чайник и налил славного чаю. «Что ты там делал в углу, откуда принес чайник?» С усмешкою ответил он, что фарфоровый чайник стоял накрытый на медном чайнике с кипятком. «Неужели у тебя нет самовара?» — «Нет, он слишком для меня дорог». — «Помилуй, 25 рублей ассигнациями; он прослужит по крайней мере десять лет, так неужели не можешь употребить на то 2 руб. 50 коп. в год?» — «Нет, не могу по совести; имение у меня на аренде, отцу надобно платить в срок, он живет в городе; моя опытность, мое уменье еще очень недостаточны, потому должен во всем ограничивать мои собственные расходы». Я понял все дело, отчего метель занесла его окна (рабочие люди понадобились ему на другие производительные работы); отчего в пространной конюшне в 24 стойлах стояла только тройка разномастных и разнорослых лошадей, отчего в каретнике не было рессорного экипажа, а только бричка и двухколесная тарантайка. Он во всем отказывал себе, зато исправно платил отцу; отец мой был доволен и решился передать имение сыну, от которого не мог иметь такого обеспечения в исправности платежей, как от чужого богатого и опытного арендатора. В брате я видел труженика, связанного обязательством, и не мог не оправдывать его начинателя, новичка, который, прослужив десять лет в армии, участвовал в войне 1812 года, с торжеством вступил в Париж, но в службе счастья не имел и еще вовремя решился употребить свои силы на другом

поприще. В своем месте расскажу ниже, в какой обстановке и за каким самоваром я застал его через 18 лет. Тут не бережливость, не скупость повели к богатству, но правило — собрать собственным трудом и из собственной земли свой запасный производительный капитал для больших предприятий по сельскому хозяйству. Трудности приобретения собственного капитала научают дорожить приобретенным добром и быть осмотрительным и осторожным, между тем как предприятие на чужие деньги, взятые взаймы, большею частью переходит опять в чужие руки.

По возвращении моем из отпуска принял я учебную команду. Для здоровья солдат и просторнейшего размещения их в казармах повелено было поместить по очереди, по одному батальону с каждого полка в окрестных селениях вокруг столицы. Каждое лето стояли мы в лагере, в Красном Селе, от мая до августа; эти стоянки кончались маневрами и петергофским праздником. Осенью 1824 года стоял я с учебною командою в Новой деревне, против Каменного острова; команда училась ежедневно в манеже Каменноостровского дворца. 7 ноября с восходом солнца отправился в манеж; ветер дул такой сильный и порывистый, что я в шинели не мог идти и отослал ее на квартиру. Во время ученья заметили, что вода втекает в ворота, и когда отворили ворота, то она потоком стала втекать в манеж. Немедленно повел команду беглым шагом к мосту, которого плашкоуты[42] уже были подняты водою до такой высоты, что дощатая настилка с двух концов отделилась совершенно и не было сообщения. Тогда солдаты поставили несколько досок наискось к поднявшемуся мосту и составили такую же переправу на другом берегу, где вода еще не выступила, оттого что правый берег реки был выше левого. Пока добирались до квартир в крестьянские избы, вода начинала нас преследовать. Крестьяне поспешно выгнали лошадей и рогатый скот по направлению к Парголовским высотам; на лошадях ускакали; большая часть рогатого скота утонула. Я собрал мои вещи и книги; пол моей квартиры был на четыре фута выше земли, и когда вода выступила из-под пола, перебрался на чердак и на крышу. Взору представилась картина необыкновенная: избы крестьян, дачи, дворец Каменноостровский с левой стороны, дворец Елагинский с правой стороны, деревья,

фонарные столбы — все в воде средь бушующих волн. Часть Новой деревни, с моей квартирою, была застроена в виде острого угла; к этому углу по направлению ветра приплыло и остановилось множество барок и лодок с Елагинского острова. Мне удалось вскочить в такую лодку и с трудом пробраться вдоль деревни; солдаты мои захватили три лодки и вместе перевезли, плавая взад и вперед, всю команду, казенную амуницию на огромную барку, с коей при постройке на Елагинском острове была выгружена известка. Тогда было около полудня; сколько могли захватить, взяли с собою хлеба и расположились оставаться до последней возможности в этой случайной гавани. Глубины воды было уже на шесть футов; а в случае еще большего прилива хотели выбраться из угла на просторе и спастись как придется. Крестьяне последовали нашему примеру и пересели в другие барки; большая часть крестьян оставалась на крышах своих домов, крестились, молились вслух и говорили о светопреставлении. Во втором часу порывистый ветер начал утихать; вода быстро стала сбегать, так что еще до заката солнца могли мы оставить наш ковчег и по приставшему и накопившемуся хламу всякого рода с трудом перебрались в наши квартиры. Печи промокли, дрова отсырели, целую неделю продолжался угар. От усталости уснул я на мокрой лавке и спал богатырским сном. На другой день осмотрел солдат и казенные вещи, не оказалось только одного ногалища от штыка. Пошел в Каменноостровский дворец, где вода испортила всю мебель и дошла до нижних рамок висевших картин. Книги мои промокли, особенно многотомная история Карамзина и Дезодоара[43]. Полковой командир, узнав различные подробности от солдат и от крестьян, хотел меня представить к награде орденом, но я отблагодарил его и представил ему, что невидимая сила прислала мне столько барок и лодок, что если бы я имел их в Галерной гавани или на Васильевском острове, то мог бы спасти людей и имущества на многие тысячи.

Кто сам не был свидетелем этого наводнения в 1824 году, тот едва ли может себе представить весь ужас и особенность такого зрелища. На Невском проспекте богатый жилец проснулся поздно, подошел к окну и с трепетом позвал слугу: «Что ты видишь там на улице?» — «Графа М. А. Милорадовича, разъезжающего на лод-

ке». — «Ну, слава богу! — сказал хозяин, перекрестившись. — Я думал, что я с ума сошел». Бревна, доски, поленья плыли по всем улицам. По Неве плыли дома против течения из Галерной гавани; на крышах этих домов окоченевшими руками держались люди всех возрастов; император стоял на балконе против Адмиралтейства и слышал, как несчастные умоляли его: «Если царь небесный нас покинул, то ты, царь земной, спаси нас!» Александр в слезах вымолвил: «Дорого бы я дал, если бы мог спасти сих несчастных!» Довольно было этого изъявления для А. Х. Бенкендорфа, бывшего в тот день дежурным генерал-адъютантом и стоявшего позади императора. Он в то же мгновение сошел к главному караулу, взял оттуда дежурного мичмана Петра Петровича Беляева 2-го и матросов Гвардейского экипажа: по пояс в воде добрались они до набережной и сели в дворцовый катер. Они догнали несчастных, спасли всех без исключения и высадили их в сухопутных госпиталях, где дали скорую помощь этим людям, испуганным, проголодавшимся и продрогшим. Бенкендорф о себе не думал, весь промокнувший явился к государю с донесением, что желание его исполнено. Государь обнял его, велел ему подать белье и мундир свой и наградил его по-царски. Беляеву дали Владимирский крест, матросам медали и денежную награду. В тот же день назначены были в каждой части города комитеты под председательством генерал-адъютантов, которые назначали и выдавали вспомоществования. Правительство помогало щедрою рукою; частные лица наперерыв друг перед другом подвизались в благотворительности. Сердобольная жена, супруга нашего Шеншина, с сестрою Варварою Неклюдовой сами кроили и шили белье для бедных неимущих. Улицы в трое суток были очищены от наплывшего хлама и всякой скарби деревянной; все получило быстро прежний вид опрятности и чистоты, только долго виднелись отсыревшие фундаменты и нижние этажи домов, и доныне сохраняются красные черты на перекрестках улиц, означающие, до какой высоты достигло наводнение.

С наступлением зимы перевели наш батальон в село Мурино и Рыбацкое. В начале декабря поехал я в город, чтобы возвратиться к 6-му числу к ротному празднику 1-й карабинерной роты; но 4-го пошел лед, мосты были разведены, а 5-го еще не было мостков для пеших,

и полиция внимательно сторожила, чтобы никого не пускать чрез Неву. Долго стоял я до самого вечера у биржевой набережной; уже смеркалось; человек шесть мужиков или рабочих стояли близ меня, жалея, что не могут перейти на Выборгскую сторону. Вдруг один из них, в полушубке, с палочкою в руке, не говоря ни слова, спустился по ступеням гранитной набережной, вскочил на лед и пошел. Я бросился за ним и в саженях пяти следовал по его стопам. Часто он останавливался на несколько секунд, постукивал палочкою о льдины и ломаною линией, то туда, то сюда, а все подвигался; я все за ним и уже после приметил, что за мною следовал еще один, и мы втроем благополучно достигли другого берега. Бегом догнал я моего отважного вожатого, чтобы узнать от него, что за магическая или заколдованная палка у него в руках была. «Я давнишний здесь перевозчик, — ответил он, — насквозь знаю крепость и связи льдин, а как было темно, то звук от удара палкою удостоверял меня, где понадежнее можно было перебраться». На Выборгской стороне нанял извозчика и так на другой день мог поздравить моих солдат и принять участие в их празднестве, чем они дорожили тем более, что из всех офицеров всего батальона присутствовал я один. В деревне Рыбацкой жил я в совершеннейшем уединении: книги, гитара, пение, учение сокращали время скучной зимней стоянки в деревне, в восьми верстах от столицы, куда я езжал весьма редко. В этот николин день были важные новые назначения. Начальник нашей дивизии Карл Иванович Бистром назначен был командиром всей гвардейской пехоты, а дивизию его получил великий князь Николай Павлович. Первую дивизию Ив[ана] Фед[оровича] Паскевича получил великий князь Михаил Павлович, который впоследствии в духовном своем завещании написал своему душеприказчику Я. И. Ростовцеву, что такую-то шпагу его подарить Преображенскому полку, а другую — Семеновскому в воспоминание счастливейшего времени из всей его жизни, когда он командовал бригадою.

12 декабря был я в Зимнем дворце на балу: императрица Мария Федоровна каждый год праздновала в этот день рождение императора Александра I. Этот бал был самый роскошный в году по торжественности и по времени года. Для меня было чрезвычайно занимательно

наблюдать за различными лицами. В этот день патриот Н. С. Мордвинов получил андреевскую звезду. Как счастливы были лица, удостоившиеся улыбки царской или царского слова! Сколько генералов стояли навытяжку в ожидании этого счастья! Сколько из них выставляли себя напоказ, в ожидании глаз не спускали с малейшего движения государя! Зато приятно было видеть, с какою непринужденностью, держа шляпу свою в руке не по форме, беседовал с государем обер-офицер, флигель-адъютант барон Строганов[44] и что эта непринужденность доставляла удовольствие самому государю. Бальная музыка отличалась особенною приятностью и нежностью. Из танцевавших дам и фрейлин все порхали грациозно; бриллиантов было много, красавиц было мало. Из кавалеров особенно отличался Хрущов, преображенский капитан, и не посчастливилось офицеру конногвардейскому, о котором государь заметил Орлову[45], полковому командиру, что он слишком подскакивает, что это неприлично или пренебрежение. На стороне эрмитажной был устроен буфет: ряд больших растворочных дверей были по бокам развешены и украшены золотыми блюдами сверху донизу; там просил я для себя чашку чаю. Каково же было мое удивление, когда я, приняв чашку из рук официанта, увидел дерзкую руку, которая просунулась сзади меня и выхватила мою чашку! Я обернулся мигом и увидел с моею чашкою нового моего дивизионного начальника Николая Павловича: он, отведав чай, сделал выговор официанту за худой чай и приказал мне подать лучшего. Я понял, что он желал оказать ласку одному из своих новых подчиненных; до той минуты он заметил меня только на разводах по 1-му отделению, занимавших караулы во дворце Зимнем и в его Аничковском. Ужин был на славу, а царский стол, особо накрытый посреди столовой для царской семьи, был на чудо! Этот стол окружен и украшен был цветущими деревьями, лучшими цветами, множеством гиацинт и нарциссов. По окончании ужина генералы теснились один пред другим, чтобы сорвать цветочек. Офицеры за длинными столами, вперемежку, не по полкам, требовали лучших вин и ели и пили на убой, и говор, сперва тихий, становился все громче и веселее по числу опорожненных бутылок бургунского — Кло-де-Вужо и шампанского — Клико.

Мысль о женитьбе не покидала меня; выбор был

мною сделан, но как было приступить, когда я не имел независимого собственного моего состояния. Со всею любовью, со всеми лучшими намерениями я не мог предложить моей избранной никаких удобств жизни; не знаю, гордость ли или чувство независимости не позволяли думать о том, чтобы жена питала мужа. К счастью моему, избранная моя была круглая сирота. Отец ее, Василий Федорович Малиновский, получив классическое образование в университете, путешествовал с пользою и с научною целью по Германии, Франции и Англии[46]. Он отлично знал новейшие языки европейские и древние, евреев, греков и римлян. Чрезвычайная скромность и глубокая религиозность составляли отличительные черты его характера. В часы досуга от службы в иностранной коллегии перевел он на русский язык прямо с подлинника греческого Новый Завет, а из Ветхого, с еврейского — псалтырь, книгу Бытия, Притчи Соломоновы, Экклезиаст, книгу Иова; многие из его переводов и рукописей хранятся у жены моей[47]. В царствование императора Павла был он назначен консулом в Яссы; несколько лет исправлял он эту должность так совестливо, так полезно, что жители Яссы долго хранили память о примерном его бескорыстии. По интригам в столице, по искательству грека был он отозван чрез пять лет, в 1805 году, возвратился в Петербург[48] в иностранную коллегию с небольшим серебряным кубком, с единственным подарком, который он согласился принять от признательных жителей и в день выезда, между тем как консулы возвращались оттуда и вывозили столько денег и шалей турецких, что покупали себе дома и поместья. Он был по службе в близких сношениях с министром Чарторыйским, был членом благотворительного общества, которое с неутомимою деятельностью отыскивало бедных и помогало им. Напечатав замечательную книжку свою «О мире и войне», издав небольшой журнал «Осенние вечера»[49] и быв известен своею чистою любовью к отечеству, обратил он на себя внимание влиятельных лиц, так что император Александр, когда в 1811 году основал рассадник для лучшего воспитания русского юношества, назначил его директором императорского Царскосельского лицея. Товарищ мой И. И. Пущин, воспитанник лицея, в позднейших записках своих, напечатанных в «Атенее», в Москве, в 1858 году[50], описывая день открытия лицея в

присутствии императора, выставил директора в крайнем смущении. Малиновский был необыкновенно скромен и проникнут важностью церемонии, в первый раз в жизни говорил с государем и должен был произнести речь, которая десятки раз была переправлена предварительною цензурою: так мудрено ли, что он был смущен? и диво ли, что природа не дала ему голоса лихого батальонного командира пред фронтом?[51] Безмерные и постоянные труды ослабили его зрение, расстроили его здоровье. В 1812 году лишился он домашнего своего счастья, примерной жены своей, а в 1814 году, пробыв слишком два года директором, скончался на месте должности, в такой бедности, что родной брат похоронил его на свои средства.

Мать моей избранной, Софья Андреевна, была вторая дочь Андрея Афанасьевича Самборского, бывшего священником при нашей миссии в Лондоне до 1781 года, где женился на англичанке и оттуда, в царствование Екатерины II, вывез в Россию усовершенствованные орудия и машины, семена, домашних птиц, даже свиней; еще поныне земледельческие общества и учебные фермы с благодарностью вспоминают его заслуги по части сельского хозяйства; он был деятельным и действительным членом экспедиции государственного хозяйства от 1787 до 1799 года. По своему образованию имел он постоянно в виду славу и пользу своего отечества. В Лондоне был он очень полезен для русских чиновников и путешественников своими советами и руководством, по совершенному знанию английского языка и по умению распознавать людей. По назначению императрицы Екатерины сопутствовал он наследника престола и супругу его Марию Федоровну в путешествии их по Европе в 1781 году. После того назначен был наставником и духовником великих князей Александра и Константина, управлял школою земледелия близ Царского Села, а в 1799 году определен императором Павлом в духовники великой княгине Александре Павловне, эрцгерцогине Австрийской, палатине Венгерской, находился при ней в Вене и в Венгрии до кончины ее в 1801 году. Устроив там церковь греко-русскую, путешествовал по Греции, прожил несколько времени в Украйне, на своей родине, в пожалованном ему поместье императором Павлом. В деревне он всячески старался о нравственном и вещественном преобразовании крестьян-

ского быта. Выписал хорошего доктора, устроил больницу и спас жителей от страшно распространившейся сифилитической болезни. Завел школу, хозяйство на иностранный лад, сыроварню и проч. Еще поныне хранятся в его Каменке английские плуги. Он возвратился в Петербург, где ему дозволено было иметь свою домовую церковь. Дом Самборского, на углу Литейной и Дворцовой набережной, в коем ныне устроена казарма артиллерийская, был его домом, в коем он принимал приезжих из губерний с радушием. В его доме родился С. И. Муравьев-Апостол, когда родители его прибыли в Петербург на несколько месяцев. Многим землякам из всех состояний и сословий открывал он поприще: так, М. М. Сперанскому и Н. М. Лонгинову. Когда он продал дом свой, то император Александр предложил ему квартиру в Михайловском замке, где он на руках старшей дочери своей Анны Андреевны скончался в 1815 году на 76-м году своей подвижной и полезной жизни[52]. О нем можно сказать, что он по образованию и понятиям своим опередил своих современников на целое столетие. Часть духовенства православного соблазнялась тем, что он брил бороду и вне службы носил сюртук и круглую шляпу, бриллиантовый крест на андреевской ленте и анненскую звезду, украшенную алмазами.

Из семейства В. Ф. Малиновского три сына и три дочери[53] остались бы в совершенном сиротстве, если бы не имели любящих покровителей в родном дяде со стороны отца — Павле Федоровиче Малиновском и в родной тетке со стороны матери — Анне Андреевне Самборской, которые всеми средствами обеспечивали нужды их довольством, даже роскошью, и заменяли им любящих родителей. Это обстоятельство примиряло меня с моим недоумением; влечение сердца придало решимость; я стал чаще навещать их дом, всегда был ласково принят. Павел Федорович Малиновский был младший из трех братьев; старший, Алексей Федорович, сенатор-попечитель странноприемного дома графа Шереметева в Москве и сотрудник Карамзина при доставлении ему источников из архива по русской истории. П[авел] Ф[едорович] в молодости находился на службе при фельдмаршале Салтыкове, участвовал при взятии штурмом Очакова и красивою и приятною наружностью обратил на себя внимание императрицы Екатерины и Потемкина. По граждан-



А. Е. РОЗЕН

Неизвестный художник. 1824 г.
Фотокопия с медальона А. Е. Розена. Из альбома М. И. Семевского. Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), Ленинград

ской службе производство его в чины шло так быстро, что он, имев с небольшим тридцать лет от роду, был уже в чине действительного статского советника и назначен директором государственного ассигнационного банка; теперь вижу его подпись на всех ассигнациях, замененных в следовавшем царствовании депозитивными билетами. Особенно благоволил к нему и питал неограниченную до-

веренность граф Н. П. Шереметев и в своем духовном завещании, взяв от него честное слово, назначил его душеприказчиком и попечителем, или опекуном, вместе с Донауровым к малолетнему единственному сыну своему графу Дмитрию Николаевичу[54]. По кончине завещателя П[авел] Ф[едорович] оставил службу государственную, вышел в отставку и посвятил себя юному питомцу, с которым жил неотлучно до его совершеннолетия в огромных палатах на Фонтанке. Большая ответственность, всегдашняя принужденность, церемонность быть в чужом доме хозяином — все это тяготило его, хотя и получал щедрое возмездие деньгами и дарами, пока, по достижении совершеннолетия питомца, в 1824 году не переехал жить в собственный дом свой, на Шестилавочной улице, на зиму, а на лето переезжал на красивую дачу свою, на Белозерку, между Царским Селом и Павловском, где ныне устроена больница для гвардейской кирасирской дивизии, по стараниям великого князя Михаила Павловича.

Близкая связь моя со старшим племянником П[авла] Ф[едоровича], И. В. Малиновским, моим сослуживцем, придавала мне надежду на успех, и я уже имел на то согласие моих родителей.

Служба моя шла как нельзя лучше. Начальники отличали меня, товарищи любили меня, а солдатики знали, что я страстно любил их и что в знании службы, как выражались в то время, собаку съел. В службе военной испытал я то же, что бывает во всякой другой и во всяком состоянии и звании: когда найдут исправного усердного человека, то на него навалливают все должности. Так наряжали меня в караул по первому отделению с чужими батальонами, назначали всегда в самые почетные и беспокойные караулы во дворцах и на видных, многолюдных местах в городе. В лагерное время являлся всегда ординарцем к государю, а после лагеря поручали мне учебные команды. Служба всячески везла мне, как выражались тогда: самолюбию, тщеславию, надежде на блистательное поприще было пищи и задатков довольно; но сердце не удовлетворялось похвалами в приказах, казарменною беседою об ученьях, а в карты перестал играть давно.

Так наступил 1825 год с надеждами и ожиданиями. 14 февраля решился я просить руки Анны Васильевны Малиновской. Получив наперед согласие дяди и тетки,



М. В. ВОЛЬХОВСКАЯ

Неизвестный художник. Начало 40-х гг. XIX в.
Государственный исторический музей, Москва.
Портрет атрибутирован Н. Б. Мешковой-Малиновской

заменявших ей отца и мать, я обратился сам к избранной мною. Помню, что это было в субботу вечером; мы сидели в кабинете дяди; я заранее затвердил речь с предложением, которую забыл в эту торжественную минуту, и просто и кратко, с чистым сердцем предложил ей мою любовь и дружбу, которые доныне, при пересмотре моих записок, свято хранил в продолжение 45 лет, и невеста моя также свято сдержала данное мне слово. Полученное

согласие исполнило меня счастьем, я почувствовал в себе новые силы. Лихой извозчик умчал меня на Васильевский остров. В казарме, в квартире Малиновского еще горели свечи; я вбежал к нему: мы обнялись как братья. Чрез минуту вошел другой сослуживец мой, Репин. «Николай Петрович! — спросил я. — Знаешь ли, кто из наших товарищей свалился рожей в грязь?» — так выражался он обыкновенно, когда извещали его о женитьбе. «А кто?» — подхватил он с насмехающейся улыбкой. «Это я!» — «Что ты, братец мой, наделал! на ком же?» Когда он узнал, что на сестре Малиновского, то отрекся в этом случае от принятого своего убеждения, велел подать шампанского и искренне поздравил.

19 февраля 1825 года совершено было обручение протоиереем Н. В. Музовским. С невестою моей был я соединен не одним обручальным кольцом, но единодушием в наших желаниях и взглядах на жизнь. В тот вечер мы долго беседовали наедине. Казалось, что мы уже век были знакомы; душа откровенно слилась с душою, и слезы полились обильно у меня, и дыхание замирало; невеста смутилась. Я был не из числа женихов театральных, преклоняющих колена свои пред невестою, лобызающих ее ручки и ножки и рассыпающихся в клятвах любви и верности. Нервы мои не выдержали прилива сильных душевных ощущений, они разразились в слезах и рыданиях, а из слыхавших это в смежной комнате, — чрез год спустя, по моем осуждении в ссылку, — приписывали это внутреннему упреку или раскаянию: они взрывов истинного счастья не знали! 19 февраля вполне для меня день счастливый; число это вырезано на обручальном кольце моем, а с 1861 года этот день стал еще счастливее, знаменательнее и славнее[53]. Я ношу его на правой руке на четвертом пальце. Странно, что в 1860 году летом этот палец так распух от воспаления, что невозможно было снять колечко. Деревенский фельдшер Григорий распилил его, а в феврале 1861 года, до появления манифеста об освобождении крестьян, он был снова спаян и снова увеличил мое счастье. 21 февраля, после ученья в манеже, поздравил меня великий князь Николай Павлович, узнав от духовника своего о моем обручении. 22-го уехал я в Ревель, чтобы разделить мою радость с родителями, получить их благословение и помощь к уплате моего картежного долга, на что они охотно согласились.

Добрейшая мать моя со всею подробностью расспрашивала меня о моей невесте, о нраве ее, об образовании, о талантах, о наружности, с головы до ног; каждым ответом она оставалась очень довольна. Она по продолжительной болезни своей постоянно лежала в постели и не могла видеть моей невесты в Ревеле, где видал и узнавал ее отец мой; но она не довольствовалась описанием и отзывом отца моего. Когда я кончил описание и, наконец, сказал ей, что моя Annette — ангел земной, то она улыбнулась и заметила тихим голосом: «Дай боже, чтобы всегда было так! А то все девицы, пока ищут себе женихов, бывают ангелами и голосом, и поступками, и обхождением, но отчего же жены бывают дьяволы?» Я ответил: «Это все от мужей!» — и мы вместе расхохотались. Мне хорошо было смеяться, потому что я был уверен в моем лучшем жребии.

Приехав в Петербург, заехал сперва в казармы к И. В. Малиновскому и вручил ему пакет в синей бумаге с четырьмя тысячами рублей за выкупленный мой вексель по картежному проигрышу. С тех пор до сего дня бог миловал и помогал прожить без долгов, и всех прошу остерегаться их пуще дьявола. Свидание с невестою было чистою радостью обоюдною: я передал ей скромный подарок мой — колечко и шелковую материю. Кажется, что никогда и нигде жених в моих обстоятельствах не дарил так мало и что никогда невеста не была так довольна, как моя. Зато я был жених без долгов!

Только несколько дней мог я проводить с невестою, потому что служба звала меня в Ораниенбаум, где собиралась новая моя учебная команда. В это время благороднейший полковой командир мой, В. Н. Шеншин, назначен был бригадным начальником 1-й бригады, а Н. Ф. Воропанов был уже четвертый мой полковой командир. В Ораниенбауме удалось мне два раза обращать на себя особенное внимание моего дивизионного начальника, великого князя Николая Павловича. В первый раз, когда я в его присутствии вступил в дворцовый караул: с парадного места повел караульный взвод различными поворотами фронтом, а подошед к крытым воротам дворца, повел рядами левым флангом, и когда поровнялся со старым караулом и скомандовал «стой»!, «во фронт!» и потом — «глаза направо!», то его высочество, прихлопнув рукою по правой своей ляжке, воскликнул: «Вот оно! зна-

ет свое дело! славно!» Все остальные проделки при смене караула, при вступлении на платформу были мною исполнены со щегольством и без ошибки. Ружья были уже поставлены в сошки, я с караулом стоял за сошками, тогда его высочество подошел ко мне, благодарил за знание дела и потом, обняв обеими руками вершину одной из старинных неточеных сошек, сказал с чувством: «Это еще сошка отца моего!» До обеда был прислан ко мне адъютант его, Кавелин, с изъявлением благодарности от его высочества, после обеда повторил то же другой его адъютант — Адлерберг; а когда его высочество садился в свою коляску, стоявшую у крыльца, противоположного моей караулке, то издали приветствовал меня движением руки. В другой раз получил опять благодарность, когда в последних числах марта представил мою учебную команду в один и тот же день с командами от полков Измайловского, Павловского и Егерского; начальниками команд были граф Ламздорф, Суханов[56] и Крылов; моя очередь была последняя. Они представили команду в одной линии, унтер-офицеров отдельно от рядовых, отчего прямая линия, по росту людей, была переломана; они так и учили их в манеже. Я же, для лучшего наблюдения за правильностью движений и ружейных приемов, не обращал внимания на унтер-офицерский галун, ставил между ними по росту и рядовых, потому что назначение тех и других состояло в том, чтобы учить других. Товарищи мои предупредили меня, что за это мне достанется, на что каждый раз отвечал: «А мне что за дело! Было бы только хорошо!» При осмотре первых трех команд его высочество подходил к ним, здоровался и потом лично передавал командные слова офицеру. В мою очередь я не допустил его до фланга шагов на пятьдесят, скомандовал «на караул!» и подошел к нему с рапортом. Он был, видимо, доволен и чем дальше и больше учил, тем все лучше и лучше, и слава моя прогремела по всем полкам.

Казалось, сама природа создала меня быть экзерцирмейстером, потому что эта наука не стоила мне ни труда, ни больших приготовлений, как большей части моих сослуживцев. Глаз, привыкший с малолетства к порядку и к симметрии, рост мой и телосложение, звучный голос, знание устава, а всего больше — любовь и привязанность

ко мне солдат сделали из моей учебной команды одну из лучших.

Иногда во время обученья в манеже приходили смотреть офицеры; в числе зрителей находился саперный полковник Люце, один из совершенных знатоков своего дела, перед которым я пасую. Отучив час и распустив команду, я просил его сказать мне откровенно свои замечания. «Приемы все хороши и правильны, — сказал он, — шаг хорош, равнение превосходно, но в стойке чего-то недостает». — «А именно? Научите меня, прошу вас; критикуйте, да только скажите». — «При стойке прикажите людям прижать, сжимать задние щеки, и будет тотчас другая стойка и выправка; этот секрет я только вам передаю, потому что вижу, что вы до тонкости знаете дело!» Этот архипрофессор в обучении солдат ответил генералу К. И. Бистрому, спросившему его мнения об учившемся 1-м батальоне л.-гв. Егерского полка: «Хорош, ваше превосходительство, славно учится, но когда стоит на месте, то жаль, что приметно дыхание солдат; видно, что они дышат». (Однажды, в Аничковском дворце, представил я ординарцев его высочеству: там собраны были полковые и батальонные командиры; его высочество рассуждал о введении нового ружейного приема, стоял с ружьем в руках и объявил свое намерение — представить на разрешение государя перемену одного приема, чтобы при первом темпе *на караул!* ружье было бы спущено во всю левую руку, потому что это представляет более удобства, а когда скомандуют *на руку!* — то прием по новому темпу будет также легче и по дороге. Все слушали с благоговением и одобрили мнение, когда вдруг полковник Люце заметил: «Ваше императорское высочество, когда скомандуют *товс!* (изготовься к стрельбе), то прием такой, по-новому, не будет по дороге». Его высочество отступил шаг назад, приложился ружьем прямо штыком к носу Люце и сказал: «Ах ты, нос! проклятый нос! мне это в голову не приходило». У Люце был весьма широкий нос, тавлинкой.)

Когда я приехал в Петербург и явился новому полковому командиру, то молва о моих ораниенбаумских подвигах уже предупредила меня, и он осыпал меня, как умел, приятнейшими похвалами. За разводом по 1-му отделению в дворцовом экзерциргаузе, или манеже, его высочество взял меня под руку, прошелся так со мною вдоль

манежа и изъявил мне свое благоволение. Упоминаю об этих давно минувших обстоятельствах, чтобы указать, с какими достоинствами и знаниями можно было в то время легко выйти в люди и получить значение, а также, чтобы сказать в похвалу моих сослуживцев, что никто из них не обнаруживал зависти, но, напротив того, радовались моим успехам, как справедливой дани за постоянную исправность и за знание службы. Педантом не был никогда; хотя в одном случае можно было почитать меня таковым: всегда, во всякое время, даже в ночное, когда за полночь возвращался домой по пустынным отдаленным линиям Васильевского острова, соблюдал я строжайшую форму в одежде; шляпу треугольную носил всегда по форме поперек, хотя это часто и летом и зимой вредило глазам моим. Кто судил меня по форменной одежде, тот мог называть меня педантом, или оригиналом, или выскочкой, как прозывали тех, которые всеми средствами старались отличиться пред другими. У меня была на то другая причина: в первые годы моей службы, еще в 1818 году, когда Н. М. Сипягин был начальником штаба, то он сам, и граф М. А. Милорадович, и Я. А. Потемкин, и вообще генералы-щеголи или франты, а за ними и офицеры носили зеленые перчатки и шляпу с поля. Летом, в теплую погоду, отправился чрез Исаакиевский мост для прогулки; под расстегнутым мундиром виден был белый жилет, шляпа надета была с поля, а на руках зеленые перчатки, одним словом, все было против формы, по образцу тогдашнего щеголя. С Невского проспекта повернув в Малую Морскую, встретил императора Александра; я остановился, смешался, потерялся, успел только повернуть поперек шляпу. Государь заметил мое смущение, улыбнулся и, погрозив мне пальцем, прошел и не сказал ни слова. Я нанял извозчика, поскакал на квартиру и был в нерешимости, сказать ли о случившемся полковому командиру или выждать, когда сделают запрос по начальству. Я молчал, но долго с беспокойством ожидал последствий этой встречи; за такую вину переводили в армейские полки или целый месяц держали на гауптвахте под строгим арестом. Запросов в полк не было по этому случаю, и с тех пор я дал себе слово свято соблюдать форму, что и сдержал до последнего часа моей службы.

19 апреля 1825 года совершено было мое бракосоче-

танне в полковой церкви в присутствии всех офицеров. Полковые певчие, освещение полковой церкви и всей ограды полкового госпиталя придали всему больше торжественности. Посаженым с моей стороны были М. С. Перский и М. Ф. Тулубьева, а со стороны невесты — П. Ф. Малиновский и Н. Ф. Плещеева. Они с шаферами проводили нас до новой, хорошо убранной квартиры, в 3-й линии, между Средним проспектом и Малою Невою. Поднесли чаю, шампанского и конфеты, пили за здоровье новобрачных и разъехались. Я тотчас надел старый рабочий сюртук мой и был с женою как будто всегда жили вместе. На третий день обедали у нас все офицеры полка. После обеда П. И. Греч смешил всех, напоминая нашу совместную жизнь в маленьких квартирах и нашу опасность при наводнении 7 ноября 1824 года, когда я спасся на барке, а он на крыше караульни в галерной гавани, и вызвал общий смех лаконическим рассказом, как полковой наш священник с дежурным офицером при полковом госпитале в день наводнения смотрели из окна на Смоленское поле, и первый сказал со вздохом: «Ах! если бы я мог достать лодку, я спас бы многих!» — «Есть лодка на заднем дворе, — возразил Челяев, — прикажете подвести?» — «Да весел нет!» — «Сейчас достану весла». — «Грести не умею!» — «Я за гребца». — «Рулем править не умею».

В четвертый день после свадьбы назначено было делать обычные визиты; но ночью показался ладожский лед на Неве, мост был разведен, на что мы с женою нисколько не пеняли. Наше маленькое хозяйство было хорошо устроено, прислуга была усерднейшая, требования наши были скромны, имели одно желание взаимного счастья. По окончании визитов, продолжавшихся три дня, мы принимали посещения, а когда чрез две недели окончился срок моего отпуска, мы перебрались в Ораниенбаум к моей учебной команде. В мае были дни прекрасные; местность предлагала лучшие прогулки и пешком, и на дрожках, и в лодке; дни и часы все были счастливые и слишком скоро проходили. Однажды застал жену в слезах; с беспокойством спросил о причине: ей было как-то неловко ответить; наконец, призналась, что среди беспрерывного счастья иногда приходила грустная мысль, что такое счастье, как наше, не может долго продолжаться.

В конце мая полк выступил в лагерь, в Красное Село. Служба была строгая; палатка его высочества была в шестнадцати шагах от моей палатки. Его высочество был взыскателен по правилам дисциплины и потому, что сам не щадил себя; особенно доставалось офицерам. В жаркий день, когда мы были уже утомлены от ученья, а его высочество был не в духе, раздосадован, он протяжно запел штаб-горнисту сигнал беглого шага. Мы побежали, а он звонким голосом кричит: «Кирасиры! что вы топчетесь на одном месте? Подымайте ноги!» — и, провожая нас галопом, начал угощать до того времени еще не водившимися любезностями и ругательствами. Наконец велел трубить отбой, мы остановились; он подъехал к нашим колоннам бледный, сам измученный зубною болью, и как выражались тогда — пошел писать и выговаривать: скверно! мерзко! гадко! и то дурно, и то не хорошо, и того не знаете, и того не умеете, — наконец, когда досада переполнилась, он прибавил: «Все, что в финляндском мундире, все свиньи! Слышите ли, все свиньи!» — повернул коня и уехал. В лагере собрались мы у батальонных командиров и объявили, что после такой выходки нельзя оставаться в этом полку; но как время к поданию просьб в отставку было назначено с сентября по январь, следственно, такое прошение или требование всею массою офицеров о переводе в армейские полки будет принято за бунт, то положено было начать от каждого чина, по жребию, и выходить из полка. Толковали до вечерней зари, толки перешли в другие полки и, разумеется, дошли и до его высочества. Приехал бывший командир наш Шеншин в финляндском мундире, уговаривал, упрашивал, обижался, если мы подумаем только, что в нем меньше чести, нежели в офицерах, но все это были промахи; наконец, нашелся и переубедил, сказав: «Господа, я вам докажу ясно и непреложно, что его высочество даже в пылу гнева и досады не думал о вас и не мог нас обидеть, зная хорошо, что государь император, августейший брат его, чрез каждые семь дней носит наш мундир». На другой день его высочество после ученья подошел к нашему офицерскому кругу и слегка коснулся вчерашнего дня и слегка извинился. Но чрез две недели нам опять досталось после того, как полковник П. Я. Куприянов, по близорукости или забывчивости на батальонном ученье, удалив взводного офицера и

не заметив, что за этим взводом замыкал подпоручик Белич, приказал командовать унтер-офицеру. Пошли объяснения, вызовы на поединок, но он действительно этого не знал и не видел, был, напротив, особенно хорошо расположен к Беличу, извинился вполне удовлетворительно, и дело кончилось по-семейному, но не понравилось его высочеству. На первом учении после этого случая он выказал свое неудовольствие: он видел в вызове нарушение дисциплины и после ученья, изложив сделанные ошибки, прибавил: «Господа офицеры, займитесь службою, а не философией: я философов терпеть не могу, я всех философов в чахотку вгоню!»

Лагерная стоянка и служба кончалась всегда общими маневрами, которые продолжались до четырех дней. Ночь проводили где приходилось — в поле, близ опушки леса, при дороге, все по предварительным расписаниям. Две ночи его высочество с адъютантами ночевал на сырой земле, в трех шагах от меня и от моего взвода, потому что ставка его расположена была между 1-м батальоном Финляндского полка и 3-м батальоном Егерского полка, ныне Гатчинского. Маневры кончились благополучно. Генерал Шепшин ловким занятием позиции для артиллерии отрезал неприятелю переправу и остался победителем.

К 22 июля перешли мы в Петергоф к празднованию марьина дня: в этом году гостили во дворце сестры и зятья царские — герцог Саксен-Веймарский с Марией Павловной и принц Оранский с Анной Павловной. В день отъезда гостей стоял я в карауле во дворце и был свидетелем, как император Александр при последнем прощании с ними не только плакал, но рыдал; это обстоятельство было впоследствии приписано его предчувствию о близкой кончине своей. В начале августа воротился я в Ораниенбаум; в день моего вступления в караул прибыл туда император и остался ночевать. Поздно вечером, по пробитии зори, часовой вызвал караул: мы стали под ружье, я видел государя, прогуливавшегося по плоской крыше дворца с обнаженною головою, с белою фуражкою в руке. Он остановился в виду караула, махнул фуражкой и распустил караул, а сам остался на платформе. Он долго, долго прохаживался и часто останавливался, погруженный в размышления. Невольно я тогда припоминал 1818 и 1819 годы, когда, стоя в карауле в любимом его Каменноостровском маленьком дворце,

походившем на дом небогатого частного человека, видал его часто в саду, как он бодро и весело прохаживался по сиреневой аллее, когда она цвела, и как он, для большего наслаждения благоуханием, навевал его на себя белым платочком. Тогда слава его на конгрессах еще ободряла его, и тогда Меттерних был скромнее в изображении страшилищ университетов германских, будто бы грозящих светопреставлением.

В хорошую, тихую погоду поплыл я с женою на катере из Ораниенбаума в Кронштадт, где ласково были приняты начальником порта М. П. Коробкою и благочестивою его супругою. Осмотрев гавань, мы навестили Авинова и Андрея Лазарева, зятей Коробки; они с прямодушием моряков показывали нам много редкостей, собранных ими при кругосветных путешествиях. Кроме чучел животных и различных произведений земли всех климатов, имели они одежды различных народов нового материка и островов. Авинов долго жил и учился в Англии морскому искусству и выговаривал русские слова с английским произношением слов. Андрей Лазарев отличался оригинальностью старого моряка даже в одежде своей; жена его А. М. была очень милая и приятная женщина: старшая сестрица ее была замужем за Дурасовым, также моряком; единственный брат ее готовился также в морскую службу. Все семейство отличалось добродушием и дышало счастьем семейным. Старик адмирал, запечатав при мне пакет, спросил у своей супруги, показывая ей приложенную печать: «Скажи мне, мамочка, хорошо ли я это сделал?» — и потом, обратившись ко мне, заметил: «Советую вам всегда и во всем сноситься и советоваться с женою, тогда лучше и спокойнее живется».

Ораниенбаум богат живописными окрестностями, не только прелестно расположенными дачами Жадимировского, Мордвинова, Чичагова, но и подальше раскинутыми деревнями, как Венки и Лаврики.

На зиму мы возвратились в Петербург. Общество офицеров л.-гв. Финляндского полка в общей массе далеко отстало в образованности от офицеров Семеновского и Измайловского полков, в светскости от Кавалергардского, в богатстве от Гусарского, но оно в массе было единодушно, хотя состояло из смешения всех оттенков различных достоинств и недостатков. В числе образованных и

и начитанных были М. Ф. Митьков, Марин, Репин, А. Ахлестышев; в числе любезных и светских — Малиновский, князь Ухтомский, Белевцов; в числе положительных и неувлекавшихся — Кусовников, братья Ртищевы, Греч, Швыйковский, братья Насакины и Бурнашевы; в числе оригиналов — барон Саргер, Протасов, братья Вяткины и Цебриков. Марин старался вводить у себя литературные вечера; к нему собирались раз в неделю Обнобишин, Греч, братья Грибовские и другие; но все это не клеилось и было как-то натянуто. Достаточные между офицерами имели свой круг родных и знакомых, посещали театры и балы и только для службы приезжали в казармы.

Картеж в казарме и на квартирах вольных составлял главное развлечение и занятие большинства офицеров. Играли с утра до вечера и с вечера до утра, когда только служебная должность не отвлекала. Мне невозможно написать биографию каждого сослуживца, но скажу, что действительно все офицеры были ребята добрые и честные, без франтовства, без притязания на мишурную блистательность. Конечно, большинство офицеров добивалось чинов, чтобы обеспечить себя службою и доходным местом, и выражало верх ожидаемого блаженства своего, когда будет в состоянии иметь всегда un bon morceau* и свою карету и пугнуть и давить встречных и поперечных! — приговорка казарменная. Единодушие всего общества, составленного из такой смеси разнородных частей, было примерное по чувству и по святости товарищества. Так действовало и отстаивало оно во всех трудных непредвиденных столкновениях между начальниками и подчиненными или между старшими и младшими; так оно дружно общими силами выводило товарища из беды и затруднений; так поступило оно с выбывшим из полка товарищем, который, быв казначеем, имел несчастье проиграть казенные деньги, тридцать тысяч рублей, был лишен чинов и дворянства и сослан в Сибирь на поселение в 1819 году. Когда Финляндский полк отличился в 1824 году 7 ноября при спасении людей и имущества от наводнения, то государь сказал Шеншину: «Проси у меня, что могу сделать для полка; офицеров представь к награде». Все общество офицеров просило возвратить на

---

* хороший кусок (франц.).

родину сосланного товарища Калакуцкого[57], и в тот же день государь приказал это исполнить.

С 1822 года, по возвращении гвардии с похода в Литву, заметно было, что между офицерами стали высказываться личности, занимавшиеся не одними только учеными, картами и уставом воинским, но чтением научных книг. Беседы шумные, казарменные о прелестях женских, о поединках, попойках и охоте становились реже, и вместо них все чаще слышны были суждения о политической экономии Сея, об истории, о народном образовании. Место неугасаемой трубки заменили на несколько часов в день книги и перо, и вместо билета в театр стали брать билеты на получение книг из библиотек.

Глава третья

14 ДЕКАБРЯ 1825 ГОДА

Кончина Александра I. — Присяга Константину. — Междуцарствие. — Начало заговора. — Решение заговора. — Присяга и восстание. — Часть л.-гв. Московского полка. — 1-й батальон. — Лейб-гренадеры. — Гвардейский экипаж. — Расставление войска. — Уговорители и мирители. — Последнее убеждение. — Очищение площади. — Толки. — Неудача. — Булатов. — Книга барона Корфа. — Восстание на юге. — Заключение

27 ноября рано утром вхожу в мою залу, вижу там придворного полотера, нанятого погодно для налощения паркета. С таинственным видом поклонился он мне и в смущении спросил: «Слышали ли вы о великом несчастии? Император умер в Таганроге»[58]. Весть эта поразила всех. Странные мы люди! Все в жизни нашей неизвестность! Даже не знаем, что будет с нами сегодня, завтра или чрез неделю, но знаем одно лишь наверно, что непременно, рано ли, поздно ли, — все мы расстанемся с земною жизнью; а когда случится смерть человека, близкого нашему сердцу или сильного властелина, то сперва верить этому не хотим; а если же видим самый труп, то слагаем причины на лекаря, на аптеку, на непредусмотрительность и забываем всеобъемлющий Промысел.

Александру I было только 48 лет от роду, хотя он был здорового сложения, из этого выводили, что он был отравлен: разве люди молодые и здоровые не умирают без яду, кинжала и пули? Известно, что Александр в

последние годы своей жизни имел душевные страдания. В борьбе с Наполеоном, быв главным двигателем дел Европы, занимал он первое место между современными ему венценосцами; он повсюду был предметом удивления, благодарности, высших ожиданий для грядущего времени. Женщины были без ума от его наружности и его любезности; мужи государственные, с закоренелыми убеждениями в пользе и необходимости власти неограниченной, называли его даже венчанным якобинцем. Он был тогда усердный поклонник прав человечества, не на словах одних, но на самом деле, что и доказал в Париже, в Вене, в Берлине: добровольно дал он конституцию Польше и обещал то же своему отечеству на Варшавском сейме[59] — и вдруг переменил свой образ мыслей и действий в политическом отношении. Кроме того, он страдал от внутренних борений религиозных: он не мог быть доволен самим собою. Те же люди, которые величали его несколько лет сряду освободителем, стали после именовать его притеснителем. Мудрено ли, что, будучи одарен чувствительным сердцем, он стал сомневаться в самом себе? Развлечения на конгрессах наскучили ему. Убедившись, что в продолжение 24-летнего царствования своего не выполнил своих предначертаний в пользу своего народа, стал он искать уединения и даже изъявил желание сойти с престола. Тайный червь меланхолии точил его сердце, и он предчувствовал близкую кончину свою. По целым часам стоял он у окна, глядя все на точку в раздумье; вечером, когда камердинер приносил свечи, он замечал ему часто: рано подаешь, как бы для покойника. 30 августа, в день своего ангела, он всегда щедро дарил храму Александро-Невской лавры; в последний же год он пудами подарил ладан и свечи. Пред отъездом в Таганрог посетил он схимника, известного совершенным отречением от мира, и долго с ним беседовал о бессмертии души. В Крыму лошади понесли и разбили передового фельдъегеря, которого государь увидел на дороге умирающим и тогда же сказал о нем, что он предупредил его ненадолго для отбытия в другой мир. Дюжины таких случаев и выражений доказывают верность его предчувствия, и много ли надобно расстроенной и пережившей себя душе, чтобы все земное становилось невыносимым! История и беспристрастное потомство воздадут должное его памяти, как царю, так и человеку. Нет сомнения, что

всего чувствительнее для души Александра I отозвался удар по греческому, или восточному, вопросу, по коему Священный союз действовал против его убеждений и желаний; пред ним ясно выказались ничтожество и вред этого Союза, главного дела его жизни, и напрасных жертв, кои он приносил для поддержания и сохранения такого Союза[60].

В Петербурге все сословия и возрасты были поражены непритворною печалью; нигде не встретил я веселого лица. К вечеру вывели наш полк на улицу против госпиталя; К. И. Бистром объявил о кончине императора, поздравил с новым императором Константином, поднял шляпу, воскликнул: «Ура!» — и слезы покатились из глаз его и многих воинов, бывших в походах с Александром, который называл их «любезными товарищами». По команде раздалось «ура!» Офицеры подписали присяжный лист в госпитальной комнате и с полком разошлись по казармам и по квартирам. С таким же настроением духа присягнули другие полки; чувство скорби взяло верх над всеми другими чувствами — и начальники, и войска так же грустно и спокойно присягнули бы Николаю, если бы воля Александра I была им сообщена законным порядком. Беспредельную любовь офицеров к Александру могу засвидетельствовать клятвою офицеров по многих армейских полках в 1812, 13, 14-м годах: «Не пережить любимого государя!»

Во дворец пришла печальная весть в то самое время, когда в храме пели благодарственный молебен о выздоровлении Александра. Великий князь Николай Павлович немедленно решил присягнуть Константину Павловичу и лично принять присягу для своего старшего брата от внутренних караулов Зимнего дворца. Граф М. А. Милорадович и князь А. Н. Голицын старались отклонить и отговорить его от этого действия[61]: им известно было завещание Александра; но Николай Павлович заметил им решительно: «Кто не последует за мною и не присягнет старшему моему брату, тот враг и мне и отечеству». С каждым часом увеличивались толки, предположения, ожидания. Государственному совету известно было с 1823 года, что в архиве его хранится завещание Александра с собственноручною его надписью: «Хранить до моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть *прежде всякого другого действия* в чрезвычайном собра-

нии»[62]. Копии этого завещания хранились в Сенате и в Синоде в Петербурге и в Успенском соборе в Москве. Спрашивается: кого винить? Александра I ли, который в свое время при жизни своей не обнародовал исключения или отречения по престолонаследию? Верховный ли совет, который не исполнил своей обязанности и оправдывался неуместной отговоркою, что мертвого не следует слушаться? Митрополита ли Филарета Московского, который собственноручно написал царское завещание и хранил копию в Успенском соборе? Великого князя ли Николая Павловича, который боролся с братскою любовью, — мог думать, что принудительными средствами заставили старшего брата отказаться от престола? или что тот преждевременно даже не имел права отказаться? или Николай думал этим предупредить всякий повод к неудовольствиям и смутам, тем вероятнее, что еще до получения вести о кончине императора ему были уже известны цель тайного общества и члены его?[63] Будь они все частные лица, то могли быть оправданы различными побуждениями; но, как сановники, люди государственные, как правители, они все виновны: им следовало действовать по закону, а не предаваться увлечениям любви родственной или преданности безусловной подчиненности. Могу сказать утвердительно, что с обнародованием завещания 27 ноября все присягнули бы беспрекословно Николаю Павловичу. По крайней мере, восстание не имело бы предлогом вторичную присягу, при коей одна клятва нарушала другую клятву и обнаружила незаконность первой.

Фельдъегерь, доставивший весть о кончине Александра I, привез вместе и доносы Майбороды и именные списки членов тайного общества[64]. Копия с этих списков была отправлена в Варшаву к новому императору. Между тем от 27 ноября до 14 декабря тянулось междуцарствие. Император Константин, которому присягнула вся Россия, остался спокойно в Варшаве; твердо и неуклончиво отказался от права на престолонаследие; не принял поздравлений; не распечатал пакета министра, потому что надпись была сделана на имя императора. Великий князь Михаил Павлович был послан навстречу императору и остановился на станции Ненналь, Лифляндской губ., где ожидал его прибытия или верной вести об отказе его от престола. В Петербурге все умолкло среди ожиданий; му-

зыке запретили играть на разводах; театры были закрыты; дамы оделись в траур; в церквах служили панихиду с утра до вечера. В частных обществах, в кругу офицеров, в казармах, разносились шепотом слухи и новости, противоречившие одни другим. Рассказывали о духовном завещании Александра I; рассуждали о неотъемлемом праве Константина на престол, о недействительности преждевременного его отречения, когда престол еще не был упразднен, когда царствовавший брат не был лишен возможности иметь еще своих прямых наследников — детей. Выставляли великодушие великого князя Николая, который по завещанию одного брата и по отречению другого имел все права на престол, но не принял власти, чтобы не обидеть брата и чтобы отстранить всякую причину к восстанию. Я уже сказал, что он знал о существовании тайного общества, о цели его: он имел именной список большей части членов общества. О том знали и гр. Милорадович и много приближенных к вел. кн. Николаю, которому адресованы были важнейшие бумаги в Петербург, откуда сообщаемы были в Варшаву. Какие же меры были приняты к уничтожению предстоявших опасностей заговора или грозившего восстания?! Решительно никакие. Во всем выказывалось колебание, недоумение, все предоставлено было случаю: между тем как, по верным данным, следовало только арестовать Рылеева, Бестужевых, Оболенского и еще двух или трех декабристов — и не было бы 14 декабря. Но у страха глаза велики — в виду были отношения семейные. Правительственные лица думали о сохранении своих мест и доходов, прильнулись к лицу, к государю, оставив в стороне отечество и государство.

6 декабря стоял я во внутреннем карауле в Зимнем дворце; выход к обедне был многолюдный; до появления царской фамилии не было никаких бесед в разных кучках, как водилось прежде: кое-где сходились офицеры и говорили вполголоса. Генерал-адъютант В. В. Левашов имел особенно воинственный вид и ни на шаг не отходил от вел. кн. Николая. По окончании обедни подошел ко мне Оболенский и сказал: «Надо же положить конец этому невыносимому междуцарствию».

10 декабря вечером получил я записку от товарища капитана Н. П. Репина, в которой он просил меня немедленно приехать к нему; это было в 8 часов. Я тотчас по-

ехал, полагая, что он имел какую-нибудь неприятность или беду; я застал его одного в тревожном состоянии. В кратких и ясных словах изложил он мне дело важное, цель восстания, удобный случай действовать для отвращения гибельных междоусобий. Тут речи были бесполезны: надлежало иметь материальную силу, по крайней мере, несколько батальонов с орудиями. Он просил моего содействия к присоединению 1-го батальона, в чем я положительно отказался, командуя в нем только стрелковым взводом. Можно было положиться на готовность молодых офицеров, но отнюдь не на ротных командиров. Осталась еще попытка — она могла удаться тем легче, что утверждали содействие полковника А. Ф. Моллера, командира 2-го батальона, давнишнего члена тайного общества. С Репиным поехал я к К. Ф. Рылееву: он жил в доме Американской компании у Синего моста; мы застали его одного, сидевшего с книгою в руках — «Русский ратник», — и с большим шерстяным платком, обвернутым вокруг шеи по причине болезни горла[65]. Во взорах его выразительных глаз, всех чертах его лица виднелась восторженность к великому делу; речь его убедительная просто текла без всякой самонадеянности, без надменности, без фигурных фраз и возгласов; вскоре приехали Бестужевы и князь Щепин-Ростовский и положили собраться при первом нужном случае, смотря по получению вестей из Варшавы.

11 декабря поехал к Репину, где к большому неудовольствию моему застал до 16 молодых офицеров нашего полка, рассуждавших о событиях дня и частью уже посвященных в тайны главного предприятия. Мне удалось отозвать Репина в другую комнату, заметить ему неуместность и опасность таких преждевременных откровений, что в минуту действия можно положиться на их содействие. Юность легко приводится в восторг, нет ей преград непреодолимых, нет невозможности, — а чем больше затруднений и опасностей, тем больше в ней отваги. Из всех тут присутствовавших не было ни единого члена тайного общества, кроме хозяина[66].

12 декабря вечером был я приглашен на совещание к Рылееву и князю Оболенскому; там застал я главных участников 14 декабря[67]. Постановлено было в день, назначенный для новой присяги, собраться на Сенатской площади, вести туда сколько возможно будет войска под

предлогом поддержания прав Константина, вверить начальство над войском князю Трубецкому, если к тому времени не прибудет из Москвы М. Ф. Орлов[68]. Если главная сила будет на нашей стороне, то объявить престол упраздненным и ввести немедленно временное правление из пяти человек, по выбору членов Государственного совета и Сената. В числе пяти называли заранее Н. С. Мордвинова, М. М. Сперанского и П. И. Пестеля[69]. Временному правлению надлежало управлять всеми делами государственными с помощью Совета и Сената до того времени, пока выборные люди всей земли русской успеют собраться и положить основание новому правлению. Наверно никто не знал, сколькими батальонами или ротами, из каких полков можно будет располагать. В случае достаточного числа войска положено было занять дворец, главные правительственные места, банки и почтамт для избежания всяких беспорядков. В случае малочисленности военной силы и неудачи надлежало отступить к Новгородским военным поселениям. Принятые меры к восстанию были неточны и неопределительны, почему на некоторые мои возражения и замечания князь Оболенский и Булатов сказали с усмешкою: «Ведь нельзя же делать репетиции!» Все из присутствовавших были готовы действовать, все были восторженны, все надеялись на успех, и только один из всех поразил меня совершенным самоотвержением; он спросил меня наедине: можно ли положиться наверно на содействие 1-го и 2-го батальонов нашего полка; и когда я представил ему все препятствия, затруднения, почти невозможность, то он с особенным выражением в лице и в голосе сказал мне: «Да, мало видов на успех, но все-таки надо, все-таки надо начать; начало и пример принесут плоды». Еще теперь слышу звуки, интонацию — все-таки надо, — то сказал мне Кондратий Федорович Рылеев[70]. 13 декабря, в воскресенье, навестили меня несколько офицеров полка. На вопрос их, как следует поступить тому, кто в день восстания будет в карауле, ответил я положительно и кратко, что тот для общей безопасности и порядка должен держаться на занимаемом посту. Если этот случай спас и наградил офицера, занимавшего караул 14 декабря в Сенате, Якова Насакина, то я искренно тому радовался. К вечеру получил я частное уведомление о назначении следующего дня к принятию присяги. Ночью вестовой

принес приказ полковой, по коему всем офицерам велено было собраться в квартире полкового командира в 7 часов утра[71]. Сон прошел; с женою рассуждали об обязанностях христианина, гражданина, о предстоящих опасностях, о коих в эти последние дни мы беспрестанно беседовали; я мог ей совершенно открыться — ее ум и сердце все понимали. Наконец с молитвою предались воле божией. Наступил час разлуки.

14 декабря до рассвета собрались все офицеры у полкового командира генерала Воропанова, который, поздравив нас с новым императором, прочел письмо и завещание Александра, отречение Константина и манифест Николая. В присутствии всех офицеров я выступил вперед и объявил генералу, что если все им читанные письма и бумаги верны с подлинниками, в чем не имею никакой причины сомневаться, то почему 27 ноября не дали нам прямо присягнуть Николаю? Генерал в замешательстве ответил мне: «Вы не так рассуждаете, о том думали и рассуждали люди поопытнее и постарше вас; извольте, господа, идти по своим батальонам для присяги». 2-й наш батальон полковника А. Ф. Моллера занял в этот день караулы в Зимнем дворце и по 1-му отделению. 1-й батальон наш присягнул в казармах, кроме моего стрелкового взвода, который накануне занял караул в Галерной гавани и еще не успел смениться. Из казарм поехали во дворец к разводу нашего 2-го батальона, развод был без парада. На Сенатской площади еще не было ни одного солдата. Воротившись домой, получил записку Рылеева, по коей меня ожидали в казармах Московского полка. Было 10 часов утра, лошади мои стояли запряженные. Взъехав на Исаакиевский мост, увидел густую толпу народа на другом конце моста, а на Сенатской площади каре Московского полка[72]. Я пробился сквозь толпу, прошел прямо к каре, стоявшему по ту сторону памятника, и был встречен громким «ура!» В каре стояли князь Д. А. Щепин-Ростовский, опершись на татарской сабле, утомившись и измучившись от борьбы во дворе казарм, где он с величайшим трудом боролся: перераниł бригадного командира В. Н. Шеншина, полкового — Фредерикса, батальонного полковника Хвощинского, двух унтер-офицеров[73] и, наконец, вывел свою роту; за ней следовала и рота М. А. Бестужева 3-го и еще по несколько десятков солдат из других рот. Князь Щепин-

Ростовский и М. А. Бестужев 3-й ждали и просили помощи, пеняли на караульного офицера Якова Насакина, отчего он не присоединялся к ним с караулом своим? На это я подтвердил им данную мною инструкцию накануне. Всех бодрее в каре стоял И. И. Пущин, хотя он, как отставной, был не в военной одежде; но солдаты охотно слушали его команду, видя его спокойствие и бодрость. На вопрос мой Пущину, где мне отыскать князя Трубецкого, он мне ответил: «Пропал или спрятался, — если можно, то достань еще помощи, в противном случае и без тебя тут довольно жертв».

Народ со всех сторон хлынул на площадь; полиция молчала. Войска еще не было никакого с противной стороны. Поспешно поехал в Финляндские казармы, где оставался только наш 1-й батальон, куда только что успел воротиться мой стрелковый взвод по смене из караула в Галерной гавани. 2-й наш батальон в этот день занял караулы по 1-му отделению по дворце и в городе, 3-й батальон по очереди живовал за городом по деревням. Прошел по всем ротам, приказал солдатам проворно одеться, вложить кремни, взять патроны и выстроиться на улице, говоря, что должно идти на помощь нашим братьям. В полчаса выстроился батальон, подоспели офицеры; никто не знал, по чьему приказанию выведен был батальон. Адъютанты скакали беспрестанно, один из них прямо к бригадному командиру Е. А. Головину с приказанием от корпусного Воинова вести батальон. Мы тронулись ротными колоннами; у Морского кадетского корпуса встретил нас генерал-адъютант граф Комаровский верхом, который государем послан был за нашим батальоном. Нас остановили на середине Исаакиевского моста подле будки; там приказали зарядить ружья; большая часть солдат при этом перекрестилась. Быв уверен в повиновении моих стрелков, вознамерился сначала пробиться сквозь карабинерный взвод, стоявший впереди меня, и сквозь роту Преображенского полка капитана Титова, занявшую всю ширину моста со стороны Сенатской площади[74].

Но как только я лично убедился, что восстание не имело начальника, следовательно, не могло быть единства в предприятии, и не желая напрасно жертвовать людьми, а также не будучи в состоянии оставаться в рядах противной стороны, — я решился остановить взвод мой в

ту минуту, когда граф Комаровский и мой бригадный командир скомандовали всему батальону: «Вперед!» — взвод мой единогласно и громко повторил: «Стой!» — так что впереди стоявший карабинерский взвод дрогнул, заколебался, тронулся не весь, и только личным усилием капитана А. С. Вяткина, не щадившего ни ругательств знаменитых, ни мощных кулаков своих, удалось подвинуть этот первый взвод. Батальонный командир наш, полковник А. Н. Тулубьев, исчез, быв отозван в казармы, где квартировало его семейство. Дважды возвращался ко мне бригадный командир, чтобы сдвинуть мой взвод, но напрасны были его убеждения и угрозы. Между тем я остановил не один мой стрелковый взвод, за моим взводом стояли еще три роты, шесть взводов; но эти роты не слушались своих командиров, говоря, что впереди командир стрелков знает, что делает. Был уже второй час пополудни; по мере увеличения числа войск для оцепления возмутителей полиция стала смелее и разогнала народ с площади, много народу потянулось на Васильевский остров вдоль боковых перил Исаакиевского моста. Люди рабочие и разночинцы, шедшие с площади, просили меня держаться еще часок и уверяли, что все пойдет ладно. В это время вместе с отступающим народом командиру нашей 3-й егерской роты, капитану Д. Н. Белевцову удалось отвести свою роту назад и перейти с нею чрез Неву от Академии художеств к Английской набережной, к углу Сенатской площади; за этот открытый и мужественный поступок Белевцов награжден был Владимирским крестом с бантом; остальные две роты оставались за моим взводом. С лишком два часа стоял я неподвижно, в самой мучительной внутренней борьбе, выжидая атаки на площади, чтобы поддержать ее тремя с половиною ротами, или восемьюстами солдат, готовых следовать за мною повсюду[75].

Между тем на Сенатской площади около восьмисот человек л.-гв. Московского полка составили каре: рота М. А. Бестужева 3-го стояла лицом к Адмиралтейскому бульвару, он по необходимости должен был наблюдать за тремя фасами, а четвертым, обращенным к Исаакиевскому собору, командовал утомившийся князь Щепин-Ростовский. Это обстоятельство дало возможность М. А. Бестужеву спасти два эскадрона конногвардейцев, обскакавших каре и построившихся на полуружейный выстрел от

него. Весь фас каре, обращенный к Сенату, приложился, чтобы дать залп, но был остановлен М. А. Бестужевым, который выбежал вперед фаса, скомандовал: «Отставь!» Несколько пуль прожужжало мимо его ушей, и несколько конногвардейцев свалилось с лошадей.

После московцев прибыл на площадь Сенатскую по Галерной улице батальон Гвардейского экипажа. Когда батальон этот собран был во дворе казарм для принятия присяги и несколько офицеров, сопротивлявшихся присяге, были арестованы бригадным командиром генералом Шиповым, то в воротах казарм показался Н. А. Бестужев 1-й, в то самое мгновение, когда с площади послышались выстрелы ружейные против атаки конногвардейцев, и закричал солдатам: «Наших бьют! ребята, за мной!» — и все ринулись за ним на площадь. Второпях забыли прикатить за собою несколько орудий, стоявших в арсенале батальонном; впрочем, все надеялись на содействие гвардейской конной артиллерии. Батальон этот, выстроившись в колонну к атаке, стал за каре л.-гв. Московского полка, за фасом, обращенным к Исаакиевскому собору.

Потом присоединились три роты л.-гв. Гренадерского полка, приведенные поручиком А. Н. Сутгофом, батальонным адъютантом Н. А. Пановым и подпоручиком Кожевниковым[76]. Перебежав через Неву, они вошли во внутренний двор Зимнего дворца, где уже стоял полковник Геруа с батальоном гвардейских сапер. Комендант Башуцкий похвалил усердие гренадер на защиту престола, но люди, заметив свою ошибку, закричали: «Не наши!» — и, повернув полукружием около двора, вышли из дворца, прошли мимо государя, спросившего их: «Куда вы? если за меня, так направо, если нет, так налево!» Кто-то ответил: «Налево!» — и все побежали на Сенатскую площадь врассыпную и были помещены внутри каре Московского полка, чтобы там рассчитать и построить их поротно, чего еще не успели, как артиллерия начала действовать[77]. Должно, однако, заметить, что Сутгоф вывел свою роту в полной походной амуниции, с небольшим запасом хлеба, предварив ее о предстоящих действиях.

Всего было на Сенатской площади в рядах восстания больше 2000 солдат[78]. Эта сила в руках одного начальника, в виду собравшегося тысячами вокруг народа, го-

тового содействовать, могла бы все решить, и тем легче, что при наступательном действии много батальонов пристали бы к возмутившимся, которые при 10-градусном морозе, выпадавшем снеге с восточным резким ветром, в одних мундирах ограничивались страдательным положением и грелись только неумолкаемыми возгласами «ура!» Не видать было диктатора, да и помощники его не были на месте. Предложили Булатову: он отказался[79]; предложили Н. А. Бестужеву 1-му: он, как моряк, отказался; навязали, наконец, начальство князю Е. П. Оболенскому, не как тактику, а как офицеру, известному и любимому солдатами. Было в полном смысле безначалие: без всяких распоряжений — все командовали, все чего-то ожидали и в ожидании дружно отбивали атаки, упорно отказывались сдаться и гордо отвергли обещанное помилование.

Постепенно, смотря по расстоянию казарм от дворца, собирались войска противной стороны: л.-гв. Конный полк приблизился к площади со стороны Английской набережной, батальоны Измайловского и Егерского полков по Вознесенской улице к Синему мосту. Л.-гв. Семеновский по Гороховой. Близ Адмиралтейского бульвара стояло каре л.-гв. Преображенского полка — там присутствовал новый император на коне с многочисленною свитою; в каре находился цесаревич, отрок семилетний, с воспитателем своим[80]. Впереди каре поставлены были орудия бригады полковника Нестеровского, под прикрытием взвода кавалергардов, под командою поручика И. А. Анненкова. Позади каре батальон л.-гв. Павловского полка; саперы стерегли дворец. Преданность войск к престолу была не безусловная: она колебалась в эту минуту. Когда 2-му батальону л.-гв. Егерского, ныне Гатчинского, полка приказано было двинуться вперед от Синего моста и он уже тронулся, то по команде Якубовича «Налево кругом!» весь батальон обратился назад[81], несмотря на совершенную преданность престолу батальонного командира полковника В. И. Буссе, который за этот случай не получил звания флигель-адъютанта, отличия, коего удостоились получить все батальонные командиры[82], кроме еще моего батальонного командира А. Н. Тулубьева за то, что один взвод задержал три роты. Измайловский полк в тот день был также весьма ненадежен. Зато Конногвардейский полк под начальством А. Ф. Орлова молодецки пять раз атаковал каре москов-

цев и пять раз был отбит штыками и залпами; два эскадрона их были спасены от истребления М. А. Бестужевым 3-м. Я уже сказал, что у солдат было не больше пяти патронов в суме[83]; пулею ранен был в руку ротмистр Велио, а поручик Галахов — камнем, брошенным из толпы народа[84].

Когда войско было расставлено так, что возмутители со всех сторон были окружены густыми колоннами, то народу уже немного оставалось на площади, и полиция уже смелее начала разгонять его с Адмиралтейской площади и Дворцовой, где сам император, на коне, прикавывал народу и упрашивал его разойтись по домам, чтобы не мешать движению войск. Все средства были употреблены государем, чтобы прекратить возмущение без боя, без кровопролития.

Первый из тех, которые желали и старались уговорить возмутителей к возвращению в казармы, был корпусной командир Воинов; но все его убеждения были напрасны, угрозы также, и кончилось тем, что из толпы народа кто-то пустил в него поленом так сильно в спину, что у старика свалилась шляпа, и он принужден был удалиться. Генерал Бистром удерживал остальные роты л.-гв. Московского полка от присоединения их к восставшим товарищам и уговаривал их содержать караулы в тот же вечер. Генерал И. О. Сухозанет примчался к каре как бешеный, просил солдат разойтись, прежде чем станут стрелять из пушек; его спровадили и сказали: «Стреляйте!» Великий князь Михаил Павлович, в этот день только что возвратившийся из Ненналя[85], с самоотвержением подъехал к каре, стал уговаривать солдат и едва не сделался жертвой своей смелости. В. К. Кюхельбекер, видя, что великому князю может удаться отклонить солдат, уже прицелил в него пистолетом, Петр Бестужев отвел его руку, пистолет дал осечку[86]; князь должен был удалиться. Граф М. А. Милорадович, любимый вождь всех воинов, спокойно въехал в каре и старался уговорить солдат; ручался им честью, что государь простит им ослушание, если они тотчас вернутся в свои казармы. Все просили графа скорее удалиться; князь Е. П. Оболенский взял под узду его коня, чтобы увести и спасти всадника, который противился; наконец, Оболенский штыком солдатского ружья колол коня его в бок, чтобы вывести героя из каре. В эту минуту пули

Каховского и еще двух солдат смертельно ранили смелого воина, который в бесчисленных сражениях и стычках участвовал со славою и оставался невредимым; ему суждено было пасть от русской пули. Командир л.-гв. Гренадерского полка, полковник Стюрлер, старался отвести своих гренадер, отделившихся от полка, и уговаривал их возвратиться с ним к полку и к долгу своему: пули Каховского и нескольких солдат ранили его смертельно. Наконец, по приказанию государя, употреблено было еще последнее средство к усмирению: на извозчичьих санях подъехал митрополит Серафим в сопровождении киевского митрополита Евгения и нескольких священников с животворящим крестом, умолял братьев христианскою любовью возвратиться в свои казармы. Серафим, равно как прежде него великий князь Михаил и граф Милорадович, обещал именем государя совершенное прощение всем возмутившимся, кроме зачинщиков. Его выслушали; воины осенили себя знамением креста, но мольбы его остались также тщетными; ему сказали: «Поди, батюшка, домой, помолись за нас за всех, здесь тебе нечего делать!»

День декабрьский скоро кончается: в исходе третьего часа начинает смеркаться; без сомнения, в сумерки нахлынул бы народ, разогнанный полицией; наверно, пристала бы часть войска. Император долго не решался на ultima ratio regum*, но видел, что медлить было нечего, и был вынужден прибегнуть к этому средству, когда граф К. Ф. Толь, прибывший в Петербург в тот же день после великого князя Михаила, сказал ему: «Sire, faites balayer la place par la mitraille, ou renoncez au trone»**. Государь никогда не мог простить ему этой выходки, хотя не пренебрегал его полезною службою и доказанными его знаниями и способностями полководца[87].

Первый выстрел пушки, заряженной холостым зарядом, прогремел, в ответ послышалось «ура!», второй и третий посылали ядра, одно засело в стене Сената, другое навесно полетело по направлению от угла Сената к Академии художеств. Восстание опять ответило громким и звонким «ура!». Зарядили картечью; полковник Нестеровский наводил пушки, сам государь скомандовал: «Пер-

* последний довод короля (лат.).

** Ваше величество, прикажите очистить площадь картечью или отрекитесь от престола (франц.).

вая! — но фейерверкер с фитилем начал креститься; опять послышался тот же голос: «Первая»; тогда поручик Илья Бакунин приложил фитиль; в секунду картечь из орудий посыпалась градом в густое каре. Восстание разбежалось по Галерной улице и по Неве к Академии. Пушки двинулись вперед и дали другой залп картечью, один — по Галерной, другие — поперек Невы. От вторичного, совершенно напрасного залпа картечью учетверилось число убитых, виновных и невиновных, солдат и народа, особенно по узкому дефиле или ущелью Галерной улицы[88]. Три фаса московского каре бросились с М. А. Бестужевым 3-м к набережной, картечь их прожала; на Неве он хотел построить людей по отделениям, но ядра, пущенные с угла Исаакиевского моста, подломили лед, и много потонуло людей; без этого обстоятельства, может быть, удалось бы Бестужеву занять Петропавловскую крепость. Лейб-гренадеры, Гвардейский экипаж и четвертый фас московского каре бросились по Галерной, куда подвезли пушки и повалили солдат продольными выстрелами. По этому случаю л.-гв. Павловский полк не мог быть помещен в Галерной улице во время дела, как повествует о том граф Комаровский в своих записках; но этот полк был поставлен там поздно вечером, после решения дела, и едва не арестовал Бестужева, когда тот, уже переодетый в партикулярное платье, пробирался к К. П. Торсону[89].

Почти покажется невероятным, что из моих товарищей никто не был ни убит, ни ранен: у многих шинели и шубы были пробиты картечными пулями. Из залпа, сделанного против третьей атаки конной гвардии, одна пуля сорвала у меня левую кисточку от киверного кутаса и заставила ряд стрелков наклонить головы вбок; шутник это заметил и сказал: «Что это вы кланяетесь головами не прямо, а в сторону?» Особенно в батальоне Гвардейского экипажа легли целые ряды солдат; офицеры остались непредимы. Все бросились с площади по двум означенным направлениям, один только остановился, подошел к генералу Мартынову, чтобы через него передать свою саблю великому князю Михаилу, — то был Гвардейского экипажа лейтенант М. К. Кюхельбекер. В это самое время наскочил на него полковник пионерного эскадрона Засс с поднятою саблей, что заставило генерала Мартынова остановить его порыв и сказать ему: «Ай да храб-

рый полковник Засс! Вы видели, что он вручил мне свою полусаблю!» Когда площадь очистилась от возмутителей, то конная гвардия повернула к Исаакиевскому мосту на Васильевский остров. Я скомандовал «налево кругом!» и остановил взвод возле манежа 1-го Кадетского корпуса. По прибытии полкового командира из дворца приказано мне было вести мой взвод во двор директора всех корпусов, в 1-й линии против Большого проспекта. Приехал полковой священник; мне приказано было отойти от моих людей. Я видел, что солдаты сомкнулись в круг, священник стал их расспрашивать и готовить к присяге; тогда я быстро ворвался в круг и громко, во всеуслышание объявил священнику, что солдаты мои ни в чем не виноваты, они слушались своего начальника. Взвод мой присягнул. Звезды горели на небе, а на земле бивачные огни в разных направлениях; меня со взводом моим назначили занять Андреевский рынок и караулить тамошний небольшой гостиный двор. Патрули ходили беспрестанно, и конные, и пешие; послали за шинелями в казармы. С 10 часов утра до 10 часов вечера щеголял я с солдатами в одних тонких мундирах. Взводу принесли хлеба из казарм; негоциант Герман Кнооп, мой нарвский знакомец, велел им дать пищу и по чарке водки, а для меня принес бутылку отличнейшего вина. В течение ночи очищали Сенатскую площадь, Галерную улицу и дорогу чрез Неву; раненых отвезли в госпиталя, близ прорубей находили различные одежды. На другой день увиделся с женою на два часа, чтобы расстаться надолго. Меня арестовали по высочайшему повелению 15 декабря рано утром.

Действия или действователи 14 декабря обсуждены различным образом: одни — видели в них мечтателей, другие — безумцев, третьи — бранили, называли их обезьянами Запада, четвертые — укоряли их в непомерном честолюбии; иной порицал безусловно, другой жалел; мало кто судил беспристрастно, и то почти тайно, соображаясь с достоинствами отдельной личности и выпуская из виду главную причину и главную цель. Газеты тогда не смели печатать правду; сплеча постановили приговор свой, что все мятежники-декабристы были гадко одеты и все имели зверский вид и отвратительную наружность[90]. Совершившееся дело показало, что предприятие было явно начато среди белого дня. На боль-

шой площади, в виду народа, несколько человек дерзнуло обнаружить неудовольствие и ожидало общего участия для лучшей перемены. Правда, что первые роты из л.-гв. Московского полка были выведены под предлогом верности данной присяге Константину. Правда и то, что когда послышались возгласы в толпе «лучше вместо Константина конституцию!» и когда спросили нескольких человек: «Кто это конституция?» — то ответили им: «Это супруга Константина»[91]. Но также правда и то, что гренадерам и надежным унтер-офицерам были объявлены другие причины, — а в толпе посторонних хорошо знали эти причины! Декабристам на площади легко было предвидеть худой конец. Рылеев как угорелый бросался во все казармы, ко всем караулам, чтобы набрать больше материальной силы, и возвращался на площадь с пустыми руками; следовательно, они сознательно обрекли себя на жертву, обнаружили мужество, которое борется без всякой надежды на успех; и вышло, как мне сказал Рылеев: «А все-таки надо, все-таки надо!»

Однако успех предназначенного предприятия был возможен, если сообразим все обстоятельства. Две тысячи солдат и вдесятеро больше народу были готовы на все по мановению начальника. Начальник был избран, я жил с ним вместе под одною крышею шесть лет в читинском остроге и в Петровской тюрьме за Байкалом. Товарищи знали его давно и много лет до рокового дня; все согласятся, что он был всегда муж правдивый, честный, весьма образованный, способный, на которого можно было положиться. Не знаю, отчего он не явился в назначенный час в назначенное место?! Он, я думаю, и сам этого не знал: психология или физиология на то ответит. Согласен, что он потерял голову, могу назвать его жалким в этот день, но подлости, измены в нем не допускаю. В критическую минуту пришлось его заменить; из двух назначенных ему помощников один, полковник Булатов, имел способность и храбрость, но избрал себе сам отдельный круг действия; другой, — капитан А. И. Якубович с понятию на простреленном челе, с безответною саблею, лихой рубака на Кавказе, — не принял начальства, он хотел действовать независимо. И в самом деле — хотел ли он протянуть или затянуть дело, — но он играл роль двусмысленную: то подстрекал возмутителей, то обещал императору склонить их к покорности[92]. Предложили на-

чальствовать Н. А. Бестужеву 1-му: он, как моряк, отказался. Почти насильно поручили начальство князю Е. П. Оболенскому. Между тем уходило время; не было единства в распоряжениях, отчего сила вместо действующей стала только страдательною. Московцы твердо устояли и отбили пять атак л.-гв. Конного полка[93]. Солдаты не поддавались ни угрозам, ни увещеваниям. Они не пошатнулись пред митрополитом в полном облачении с крестом, умолявшим их во имя господа. Эта сила на морозе и в мундирах стояла неподвижно в течение нескольких часов, когда она могла взять орудия, заряженные против нее. Орудия стояли близко под прикрытием взвода кавалергардов, под командою члена тайного общества И. А. Анненкова. Нетрудно было приманить к себе л.-гв. Измайловский полк, в котором было много посвященных в тайные общества. В ту же ночь бритвою лишил себя жизни капитан Богданович, упрекнув себя в том, что не содействовал[94]. Она [эта сила] могла разогнать полицию и удержать народ, доказавший свою готовность вооружиться чем попало, хоть поленом. Наконец в этот самый день занимал караулы во дворце, в Адмиралтействе, в Сенате, в присутственных местах 2-й батальон л.-гв. Финляндского полка под начальством полковника А. Ф. Моллера, старинного члена тайного общества; в его руках был дворец. Относительно Моллера я должен сказать, что накануне, 13 декабря, был у него Н. А. Бестужев, чтобы склонить его на содействие с батальоном; он положительно отказался и среди переговоров ударил по выдвинутому ящику письменного стола, ящик разбился. «Вот слово мое, — сказал он, — если дам его, то во что бы ни стало сдержу его; но в этом деле — не вижу успеха и не хочу быть четвертованным»[95].

На Адмиралтейском бульваре, в двадцати шагах от императора, стоял полковник Булатов, командир армейского Егерского полка в дивизии Н. М. Сипягина, недавно прибывший в Петербург в отпуск. Он имел два пистолета заряженных за пазухой с твердым намерением лишить его жизни: но рука невидимая удерживала его руку. В Булатове всегда было храбрости и смелости довольно. Лейб-гренадерам хорошо известно, как он в Отечественную войну со своею ротою брал неприятельские батареи, как он восторженно штурмовал их, как он под градом неприятельской картечи, во многих шагах впере-

ли роты увлекал людей куда хотел. Этот смелый воин, когда государь при личном допросе изъявил ему удивление свое, что видел его в числе мятежников, ответил откровенно, что, напротив того, он видел пред собою государя. «Что это значит?» — «Вчера с лишком два часа стоял я в двадцати шагах от вашего величества с заряженными пистолетами и с твердым намерением убить вас; но каждый раз, когда хватался за пистолет, сердце мне отказывало». Государю понравилось откровенное признание, и он приказал не сажать его в казематы крепости, где мы все содержались, но поместить его в квартире коменданта и дать ему хорошее содержание. Чрез несколько недель Булатов уморил себя голодом, выдержав ужасную борьбу: имея пред собою хорошую и вкусную пищу, он сгрыз ногти своих пальцев и сосал кровь свою[16]. Эти подробности передал мне плац-адъютант капитан Николаев и прибавил: Булатов сделал это от угрызений совести и глубокого раскаяния. «В чем же он раскаивался, когда он никого не убил и все стоял в стороне, как прочие зрители?» — спросил я. «То господу богу известно единому!» — ответил адъютант крепости.

Воспоминания мои написаны были в тридцатых годах. В 1857 году напечатана была книга «Восшествие на престол императора Николая I», составленная бароном М. А. Корфом по запискам многих членов императорского дома и приближенных ко двору. Если эти показания разнятся с многими, то это очень естественно, потому что составители записок, кроме великого князя Михаила Павловича и А. Ф. Орлова, находились в Зимнем дворце или окружали государя и двигались с ним только по Дворцовой и по Адмиралтейской площади, вдоль бульвара. Впрочем, разности эти столько же неважны, сколько разности в описании какого бы то ни было сражения, в коем невозможно, чтобы один человек верно и точно обнял бы взглядом все совершившиеся одновременные действия и движения в различных местностях.

Барон Корф приводит положительные факты, из коих видно, что император, был еще великим князем, знал об изменении престолонаследия и еще до 27 ноября знал о существовании тайных обществ и до 14 декабря имел именной список заговорщиков. То же самое подтверждает г. Устрялов в своем сочинении «Царствование императора Николая I», напечатанном в 1848 году. Говорили,

что первые страницы этой книги были пересмотрены самим императором до напечатания книги[97]. Положительны были донесения графа Витта, доносы Шервуда и Майбороды, особенно последнего, бывшего казначеем Вятского пехотного полка полковника П. И. Пестеля и промотавшего в Москве несколько тысяч рублей при закупке полковых вещей[98]. Кроме названных доносчиков, был еще предостерегатель — молодой офицер Я. И. Ростовцев, адъютант генерала Бистрома. Нельзя причислить его к доносчикам, потому что он 12 декабря предварил членов общества Рылеева и Оболенского, дав им прочесть письмо, написанное великому князю Николаю Павловичу, благодетелю его семейства. В письме своем предостерегал он его высочество от предстоящей опасности вообще, но не называл никого[99]. В своем месте далее приложу подлинное письмо Оболенского ко мне относительно Ростовцева. По всем этим данным нетрудно сделать вывод, по какой причине великий князь Николай Павлович 27 ноября не исполнил завещания императора Александра I. Упомянутые два сочинения приписывают эту причину братской любви; но всем известно, что между обоими братьями, Константином и Николаем, не было никогда особенного сочувствия или дружбы; сверх того, характеру Николая несродно было увлечение нежности или равнодушие к власти. Не вернее ли будет заключение, если скажем, что, имея в руках все доносы, в коих могли быть названы важные лица, даже не принадлежавшие к тайным обществам, Николай видел в одном краю России брата своего Константина, наследника престола по праву, во главе лучшей армии по своему устройству и обучению, в другом краю А. П. Ермолова с обстрелянными и порохом пропитанными своими кавказцами, в Петербурге напрасно заподозрили К. И. Бистрома, идола гвардейских солдат, и еще Н. С. Мордвинова и М. М. Сперанского и других[100], известных по любви к свободе, на юге он видел в Тульчине и в Белой Церкви генералов и полковых командиров Пестеля, Бурцова, Абрамова, Тизенгаузена, А. З. Муравьева и батарейных начальников — Ентальцева и Берстеля... Такие сведения, подобные доносы заставляли невольно призадумываться...

В тот же самый день, 14 декабря, за 1500 верст от Петербурга, был арестован полковник П. И. Пестель[101], главный двигатель общества на юге. Приказ об его аре-

стовании дан был из Таганрога вследствие доноса Майбороды. Штаб главной квартиры 2-й армии вытребовал полкового командира под предлогом дел по службе; Пестель догадался, но не думал о восстании, просил только спрятать его «Русскую правду» и поехал в Тульчин, где перед заставой встретили его жандармы и проводили уже как арестанта. 29 декабря были арестованы братья С. и М. Муравьевы-Апостолы полковым командиром Черниговского пехотного полка; в ту же ночь молодые офицеры, члены тайного общества Соединенных славян Кузьмин, Соловьев, Сухинов, Мозалевский и другие освободили арестантов, ранили полкового командира Гебеля и подняли шесть рот, расположенных ближе к полковому штабу. С. И. Муравьев выступил 31 декабря с намерением присоединиться к ближайшим сообщникам в Киеве. 1 января была дневка в Мотовиловке; через день повернул на Белую Церковь, а между Устиновкой и Королевкой был он настигнут отрядом гусар генерала Гейсмара; он выстроил каре, не велел стрелять и повел солдат в атаку на орудия. Картечный выстрел ранил и повалил его, а когда он опомнился, то уже не мог собрать солдат; он и Бестужев-Рюмин были ими выданы гусарскому эскадронному командиру. Прочие офицеры и М. И. Муравьев-Апостол были взяты в плен, а младший брат его Ипполит Иванович был убит во время атаки[102]. Ротный командир Кузьмин под арестом застрелился, Сухинову удалось дойти до Кишинева, чтобы перебраться за границу, но он был выдан. В своем месте возвращусь к этому происшествию, теперь выведу заключение о 14 декабря.

На упрек в употреблении для восстания и переворота военной силы, которая назначена на охранение и на защиту общественного спокойствия, замечу только, что к тому прибегли обдуманно для избежания междоусобной брани, для быстрого введения первоначального нового порядка. Напрасно много твердили и писали, что восстание 14 декабря осадило Россию назад на полстолетия[103] и не позволило правительству привести в скорейшее исполнение свои благие намерения. Напротив того, оно было поводом к изобличению всех злоупотреблений старинных и новых, и вместе с тем последовавшее расследование заговора указало не только на язвы государственного устройства, но и представляло средства к вернейшему и скорому излечению. Новый государь в несколько меся-

цев узнал все состояние России лучше, нежели то удалось предшественникам его в десятки лет. Время скоро сотрет наименование мятежников и верноподданных 14 декабря и соединит всех граждан для блага и для пользы общей. Конечно, так или иначе, благо устроилось бы и без 14 декабря, но это уже зависело бы не от тайного общества, не от заговора, а от правительства. 27 ноября была сделана ошибка; но в десятых днях декабря, когда не оставалось никакого сомнения в чистосердечном отречении Константина от престола, когда Николаю известны были имена главных заговорщиков в Петербурге, то становится непостижимым, почему не предпринимал он никаких предупредительных мер? Дело выказалось и было очень просто; следовало арестовать Рылеева, Оболенского, Бестужевых, много что десять человек, и не было бы кровопролития 14 декабря, а там уже нетрудно было справиться поодиночке с отдельными членами тайных обществ. Ошибка важная со стороны государя; вот почему он и забыть не мог этого рокового дня. При малейшем нарушении могильной тишины и дисциплины имел он привычку повторять: «Ce sont mes amis du quatorze!»* Воспоминание государя о 14 декабря на смертном одре своем в 1855 году застало еще 25 ссыльных в Сибири, переживших друзей[104]. Впрочем, не один Николай называл их своими друзьями, но случалось мне слышать иногда от сосланных товарищей и родственников их: «Ce sont nos amis du quatorze**, которые удружили нам ссылкою». На это возражал я каждый раз, что лучше томиться в Сибири, чем сгнить в Шлиссельбурге и Бобруйске.

Глава четвертая

СЛЕДСТВЕННАЯ КОМИССИЯ

Арест. — Спор за грамматику. — Караульня кавалергардская. — Допрос в Зимнем дворце. — Н. А. Бестужев 1-й. — Холод и голод. — Сострадательный часовой. — Перемещение. — Петропавловская крепость. — Каземат. — Одиночество. — Припоминания. — Следственная комиссия. — Допрос в крепости. — Действия комиссии. — Песни. — Кандалы. — Похороны. — Предчувствие, сочувствие. — М. Ф. Митьков. — Полночь. — Очная ставка. — Свидание.

Поутру 15 декабря, как я уже сказал, за мной приехал полковой адъютант Грибовский и отвез меня к пол-

---

* Это мои друзья по четырнадцатому (франц.).
** Это наши друзья по четырнадцатому (франц.).

ковому командиру, где застал всех офицеров, кроме бывших еще в карауле с 14 декабря и еще не сменившихся. Генерал[105] вспомнил мое вчерашнее замечание по поводу присяги, упрекнул меня, что я замарал мундир, и спросил присутствовавших: «Кто из вас отвезет Розена на главную гауптвахту Зимнего дворца?» Никто не вызвался; тогда обратился он к дежурному по полку капитану А. Д. Тулубьеву и приказал отвезти меня в своей карете, а сани мои, по моему приказанию, ехали за каретой. В комендантской взяли мою шпагу, поставили ее в угол, где их стояло уже с полдюжины, и отвезли меня на гауптвахту, где уже другие сутки стоял караул от нашего полка. В числе караульных офицеров стоял тут добрый мой товарищ П. И. Греч; больше обыкновенного бледный от утомления беспокойного караула, кивнул головою и сказал: «Ах, душа! жаль тебя!» Полковник А. Ф. Мольер, напротив того, раскрасневшись, ходил взад и вперед и насвистывал в явном смущении, я попросил у него позволения написать к жене моей и отправить их с кучером моим, чтобы ее успокоить. Он сказал мне откровенно, что это невозможно, но если имею что передать словесно, то охотно сделает, что сам и исполнил, передав чрез кучера, что я здоров, и остался в Зимнем дворце. Меня отвели потом в длинную узкую заднюю комнату гауптвахты, где обыкновенно находятся караульные офицеры и днем и ночью. Угол задней стены был отделен большим столом, за коим стоял диван, а на диване спал К. В. Чевкин, имея в изголовье свой свернутый мундир Генерального штаба; он был арестован еще накануне 14 декабря за слишком смелую беседу с унтер-офицерами Преображенского полка в воротах казарм на Миллионной, которые пригласили его к полковому командиру[106]. Чевкина перевели в другое место, а ко мне присоединили моего сослуживца капитана Н. П. Репина. При нас сменился караул, вошел славный комендант Башуцкий, осведомился о числе арестантов и, увидев меня, воскликнул: «Что это, боже мой! такой отличный офицер!» — но, догадавшись тотчас, что неуместно хвалить такого арестанта, хотел поправиться и прибавил: «То есть такой хорошей наружности!» Тогда новый караул перевел меня с Репиным в переднюю комнату, за стеклянную дверь первой перегородки от входа, где обыкновенно складывали дрова на суточное отопление караульни. Из-за стеклян-

ной двери мы видели, как конвой преображенцев окружил А. А. Бестужева 2-го (Марлинского), который сам явился во дворец с повинною головою; он был одет как на бал, и когда конвою велели идти с ним, то сам скомандовал: «Марш!» — и пошел с ним в ногу. Через полчаса таким же порядком отвели И. И. Пущина[107]; тут я был растроган, когда в минуту движения конвоя увидел молодого офицера, который бросился в средину конвоя, чтобы обнять Пущина: то был батальонный адъютант л.-гв. Гренадерского полка С. П. Галахов.

Был уже двенадцатый час ночи; опять готовили конвой из 12 солдат Преображенского полка, не видать было арестанта; тогда вошел в мою перегородку дежурный по караулам полковник Микулин, чтобы осмотреть меня и Репина, не было ли у нас спрятанного оружия; потом объявил, что приказано вести нас к государю. Конвой повел нас по коридорам, по изгибам лестницы; в это время я почувствовал, что меня кто-то дергает за фалды мундира, оглянулся и увидел полковника Микулина, который на походе ощупал в моем кармане какую-то бумажку и вынул ее. Пришли в другой этаж, в просторную освещенную переднюю, где беспрестанно приходили и уходили генералы и флигель-адъютанты. Неотвязчивый полковник спросил меня, от кого была записка, найденная в моем кармане? Я ответил, что не помню, но узнаю по почерку. Когда он показал мне записку, то объявил, что она жены моей. По окончании канонады на Сенатской площади просил я Репина зайти к ней и успокоить ее, потом отправил к ней солдата; чрез два часа она написала мне на бумажке: «Sois tranquile, cher ami, Dieu me soutient, ménages-toi»*. Микулин возразил мне, что это невозможно или что жена моя не умеет писать по-французски, потому что ясно видно, что не женщина к мужчине, а, наоборот, мужчина пишет к женщине. «Не берусь быть судьею, в какой степени жена моя знает французский язык, но ручаюсь, что в этой записке нет ошибки грамматической». — «Помилуйте, да как же она пишет в мужеском роде tranquille два l и el» На счастье мое подошел адъютант государя полковник В. А. Перовский и прервал неприятный спор, сказав ученому грам-

* Будь спокоен, дорогой друг, господь меня поддерживает, береги себя (Франц.).

матику: «Cessez donc, mon cher, vous dites des bêtises»*. Из царского кабинета чрез генерал-адъютантские и флигель-адъютантские комнаты прошел И. В. Васильчиков в слезах; за ним шел Нейдгард, начальник штаба. На поклон мой ответил он вежливо и платком утер слезы. Вошел мой бригадный командир[108], остановился предо мною с невыразимым самодовольством, смотрел на меня с торжествующею улыбкою после вчерашнего неловкого положения и наконец удалился, когда я посреди конвоя скрестил руки на груди, по-наполеоновски, и готовился к допросу. Дежурный адъютант поспешно вошел и объявил, что государь более не принимает, и приказал фельдъегерям отвести меня на гауптвахту Кавалергардского полка, а Репина на гауптвахту Преображенского полка.

Здесь в полковой караульне просидел я одну неделю. На другой день имел я радость увидеться с женою: она сидела в санях, и стоял на платформе и успокоил ее сколько возможно было. На третий день вступил в караул Н. А. Аненков, тот самый, который 14 декабря прикрывал артиллерию, а чрез полгода был приговорен к каторжной работе и к вечной ссылке. Надобно упомянуть здесь, что из гвардейских и армейских полков всего более было членов тайного общества в Генеральном штабе и в Кавалергардском полку. Странно было слышать суждение караульных офицеров и гостей их об арестованных однополчанах; слава богу, что таких чудаков было не много! С удовольствием провел сутки с ротмистром Тимковским; во всем видна была непритворная его привязанность к покойному императору Александру I; он не мог без слез вспоминать его. 21 декабря еще раз увиделся я с женою несколько минут. 22-го после обеда приехал за мною фельдъегерь; караульный офицер штаб-ротмистр Гудим-Левкович, знаменитый в свое время мазурист, проводил меня до саней, искренно пожелав мне лучшего окончания дела. Приказано было от коменданта отвести меня в Зимний дворец к допросу.

На главной гауптвахте Зимнего дворца ожидал я моей очереди. В 10 часов вечера с конвоем отвели меня во внутренние покои царские; чрез полчаса, уже без конвоя позвали меня в третью комнату к дежурному генерал-

* Оставьте же, друг мой, вы говорите глупости (франц.).

адъютанту В. В. Левашову. Он сидел за письменным столом, пред ним лежали бумаги, — и начал меня допрашивать по вопросным пунктам и писал мои ответы. В начале допроса отворились другие двери, вошел император; я сделал несколько шагов вперед, чтобы ему поклониться, он повелительно и грозно сказал: «Стой!» Подошел ко мне, положил свою руку под эполет моего плеча и повторял: «Назад, назад, назад», подвигая меня и следуя за мною, пока не ступил я на прежнее место к письменному столу, и восковые свечи, горевшие на столе, пришлись прямо против моих глаз. Тогда более минуты пристально смотрел он мне в глаза и, не заметив ни малейшего смущения, вспоминал, как он всегда доволен был моею службою, как он меня отличал, и прибавил, что теперь лежат на мне важные обвинения, что я грозил заколоть первого солдата, который вздумал бы двинуться за карабинерным взводом, что он требует от меня чистосердечных сознаний, обещал мне сделать все, что возможно будет, чтобы спасти меня, и ушел. Допрос продолжался, я не мог сказать всю правду, не хотел назвать никого из членов тайного общества и из зачинщиков 14 декабря. Чрез полчаса опять вошел государь, взял у Левашова ответные пункты, искал чего-то; имен собственных никаких не было в моих показаниях; еще раз взглянул на меня с благоволением, уговаривая быть откровенным. Император был одет в своем старом сюртуке Измайловского полка без эполет, бледность на лице, воспаление в глазах показывали ясно, что он много трудился и беспокоился, во все вникал лично, все хотел сам слышать, все сам читать. Когда он ушел в свой кабинет, то еще в третий раз отворил дверь и в дверях произнес последние слова, мною слышанные из уст его: «Тебя, Розен, охотно спасу!» Когда Левашов дописал последний пункт, то передал мне прочесть бумагу и приказал подписью засвидетельствовать истину моих показаний. Я просил его уволить меня от подписи, дав ему разуметь, что не мог показать всю правду. «В таком случае следует снова допросить вас!» Но ответы мои вторичные все-таки не могли назвать других; о личных моих действиях мне нечего было скрывать, потому что они были явны, в виду многих, под открытым небом во время дневного света: и так оставалось мне подписать правду и неправду. Эта скрытность или это пренебрежение царским милости-

вым обещанием, вероятно, были одною из причин, почему 11 июля 1826 года, при утверждении приговора Верховного уголовного суда[109], из общего смягчения приговора для всех осужденных в каторгу изъяты были только четверо: два брата Н. А. Бестужев 1-й, М. А. Бестужев 3-й, М. Н. Глебов и я, может быть, за рассуждение мое, высказанное полковому командиру в присутствии всех офицеров полка 14 декабря поутру. Еще изъят был от смягчения весь 8-й разряд, приговоренный на поселение, кроме Бодиско 1-го.

Первые эти высочайшие личные допросы государя были не для всех одинаковы, не для всех ласковы. Государь говорил с каждым обвиненным; после того делались допросы и были собственноручно записываемы генерал-адъютантами Левашовым, Толем и Бенкендорфом по очереди, всего чаще первым из них, который иногда в нетерпении, или от утомления, или от неограниченной преданности позволял себе странные выходки. Например: юному Бестужеву-Рюмину сказал он: «Vous savez, l'empereur n'a qu'à dire un mot et vous avez vécu!»* Полковнику М. Ф. Митькову сказал он: «Mais il y a des moyens pour vous faire avouer!»** — так что Митьков нашелся вынужденным заметить ему, что мы живем в XIX веке и что пытка у нас уничтожена законом.

Начальные допросы в Зимнем дворце не могли вникать во все подробности, но только служили к тому, чтобы государь лично мог каждого видеть и узнать новых сообщников, за которыми тотчас отправляли во все стороны фельдъегерей, жандармов и офицеров различных частей. Один из очень замечательных допросов состоялся с капитан-лейтенантом Н. А. Бестужевым. Надобно сказать наперед, что 14 декабря он хотел спастись бегством чрез ближайшую границу в Швецию: он дошел до Толбухина маяка, где караульные матросы его знали как помощника Спафарьева, директора всех маяков. Там он остановился, чтобы обогреться, но на беду узнала его жена одного матроса и донесла: там его догнали и на третий день привели во дворец[110]. Он был измучен и голодом, и холодом. На счастье его проходил в это время

* Вы знаете, императору достаточно сказать одно слово, и вы прикажете долго жить! (франц.).

** Но есть много способов, чтобы заставить вас признаться (франц.).

великий князь Михаил Павлович, так что Бестужев мог обратиться к нему с просьбой, чтобы он приказал дать ему пищи для подкрепления силы, иначе он не будет в состоянии отвечать на допросе. Кстати, в этой же комнате стоял ужин для дежурных флигель-адъютантов, и великий князь приказал ему сесть за стол и во время его ужина беседовал с ним несколько минут. Известны юмор великого князя и способность составлять каламбуры. Говорили, что он, по уходе Бестужева, обратился к адъютантам своим, Бибикову и Анненкову, и сказал им, перекрестившись: «Слава богу, что я с ним не познакомился третьего дня, он, пожалуй, втянул бы и меня!»

Государь принял Н. А. Бестужева ласково, был тронут его выражениями и чувствами, исполненными высокой любви к отечеству, и сказал ему: «Вы знаете, что все в моих руках, что могу простить вам, и если бы мог увериться в том, что впредь буду иметь в вас верного слугу, то готов простить вас». — «Ваше величество! в том и несчастье, — ответил Бестужев, — что вы все можете сделать; что вы выше закона: желаю, чтобы впредь жребий ваших подданных зависел от закона, а не от вашей угодности»[111]. В том же духе говорили другие, стараясь, сколько возможно, яснее представить зло от своеволия и самовластья. Они не могли укорять нового государя, царствующего только несколько дней; они не могли иметь личностей к нему, следовательно, могли говорить беспристрастно. С гораздо большими подробностями и с большею откровенностью могли они развить свои убеждения изустно и письменно пред комитетом. Были, однако, примеры: чистосердечное признание императору, мольбы к нему о пощаде спасали приведенных в Зимний дворец. Так было с Трубецким, с Раевским, с Бурцовым, который в 1827—28 годах оказывал величайшую храбрость и величайшие заслуги в турецкой и персидской войне как авангардный генерал, так что о нем печатно упоминалось в каждой реляции. Почти все члены первоначального тайного общества, не участвовавшие в тайных совещаниях 1824 года и 1825-го, и особенно последних недель до 14 декабря, были изъяты от предания суду и только временно удалены на Кавказ или оставлены в местах своего жительства под присмотром полиции[112].

По окончании моего первого допроса повели меня обратно на главную гауптвахту дворца, за ту же перего-

родку, которую занимал прежде; она была первая на правой руке при входе в первую караульную комнату. Свет получала комнатка от полустеклянной двери, а тепло чрез верхний край деревянной перегородки, следовательно, не могло быть ни светло, ни тепло, а только сносно на несколько часов. Я ожидал каждую минуту, что переведут меня или на другую гауптвахту, или в крепость. Ночь проспал на стуле, облокотясь о большой стол. На другой день видел, как беспрестанно приводили и уводили новых арестантов, военных и статских, знакомых и незнакомых. В случае слишком многочисленного их съезда сажали некоторых на несколько часов за мою перегородку, тогда приставляли еще другого часового с ружьем, со строгим приказанием, чтобы арестанты не говорили между собою; большой стол служил нам тогда внутреннею перегородкой. Так пропели со мною по несколько часов Поливанов, гр. Булгари и много незнакомых; всех долее, даже целую ночь провел в моей комнатке полковник П. Х. Граббе, что особенно памятно для меня по бодрости его духа, по совершенному спокойствию его. Он был одет щеголем в мундире Северского конно-егерского полка, со множеством орденов, в числе их Георгиевский крест. Когда на другой день вошел караульный полковник, то я с негодованием сказал ему: «Прикажите дать заслуженному полковнику хоть сноп соломы: он целый день и всю ночь провел здесь хуже, чем на бивуаках!»

Наступили праздники рождественские, меня забыли, между тем я сидел в узких ботфортах, в мундире; к счастью, имел при себе шинель, которая меня грела. Все проходящие в караульную смотрели в стеклянную дверь мою, почему я перевернул стул так, что мог сидеть спиною к дверям. Каждый день полковник и капитан нового караула обходили всех арестантов. В пятый день пришла очередь полковнику В. И. Буссе, прежнему моему сослуживцу; я просил его послать на мою квартиру, чтобы принесли мне сюртук, рейтузы, полусапожки и белье. Чрез несколько часов эти вещи были мне доставлены; добрая жена моя прибавила мягкую сафьяновую желтую подушку. В конце декабря рано смеркается; свечей мне не давали, да и незачем, потому что книг не было, а чрез стеклянную дверь проникал свет огня караульных и отражал на противоположной стене тени проходящих. Го-

лоса разговаривающих были ясно слышны. Вообразите себе мое положение, когда я вечером услышал голос родного брата моего Отто; я вскочил, увидел его, слышал, как он просил позволения со мною видеться. Я его видел, но не мог говорить; он говорил, но меня видеть не мог...

В третий день праздника великий князь Михаил Павлович вошел в караульную, остановился при входе у моих дверей и спросил: «Как! он все еще здесь?» Мне не хотелось ему сказать, что мне не на чем даже лежать, что мне холодно и что я голоден. Действительно, мне давали буквально к обеду и ужину по полутарелке холодного супу и по тоненькому кусочку ситного хлеба, в несколько золотников весу. Помню, что когда полковник Микулин во второй раз занял караул во дворце, то, лично осмотрев, приказал, чтобы не давали мне пищи больше той, которую я получал. Понятно, что это было не от скупости, не от жестокости, не от бережливости дворцовой кухни, а от беспечности и от несметного числа неожиданных гостей, стекавшихся со всех концов России. Один из товарищей моих, быв на допросе у государя, заявил, что его помещение невыносимо смрадно во дворце. «Что же делать, — ответил государь, — всех теперь равно и одинаково содержать: это случайно и временно!»

Сон мой не мог быть продолжителен; я лег бы охотно на голый пол, но на полу было нестерпимо холодно; в моей каморке, прежде нежели она стала моею резиденцией, складывались дрова на суточное отопление покоев караульных. Ночью услышал я вполголоса зовущего солдата: «Ваше благородие, ваше благородие!» Я обернулся на стуле с вопросом: «Что такое?» — «Извольте испить свежего кваску, и вот еще мягкая булочка». То и другое он передал мне, просунув в дверь. Я ел и пил с жадностью, припоминая поговорку: «Хлеб мягкий, да квас яшный, — проел бы целую осеннюю ночь!» Кормилец мой был солдат Преображенского полка, в тот самый день, когда полковник Микулин строго приказал не давать мне более той пищи, которую он сам осмотрел. Таких сострадательных солдат нашел я четырех в двенадцатидневную бытность мою на дворцовой гауптвахте; кроме упомянутого солдата, еще из полка, в котором я служил, и из л.-гв. Измайловского и Егерского. Иногда

я вслушивался внимательно в ночные разговоры караульных солдат; в передней стояло их человек до двенадцати: «А жалко, брат! много молодцов запирают в крепости, то и дело что с утра до вечера туда их возят фельдъегеря!» Может статься, что сострадание их или внимание ко мне было возбуждено тем обстоятельством, что за другою перегородкою возле печки, в той же общей передней содержались арестанты из Гвардейского экипажа — два брата Беляевых, Бодиско, Акуловых, которым приносили такой же обед роскошный, какой приносили караульным офицерам; крох от их стола было бы достаточно на пропитание такого же еще числа арестантов: дворцовая казна не скупилась; но караульные начальники не умели распорядиться.

Наступил новый 1826 год; я встретил его за тою же холодною перегородкою. 3 января вошел опять в караульную великий князь Михаил Павлович и, повернувшись к моей двери, сказал сердито: «Что это такое, он все еще здесь?!» — и тотчас вернулся. Чрез два часа флигель-адъютант полковник Веселовский перевел меня чрез дворцовый коридор к салтыковскому подъезду, где меня поместили в чистой комнате, где была кровать с тюфяком и чистым бельем. К двум запертым дверям анфилады комнат были приставлены по одному часовому фурштадтского батальона с голыми саблями. Я бросился на постель, забыл все горе, уснул, как блаженный, пока не разбудил меня стук сабель и бряцанье шпор конвоя. Вошел тот же Веселовский, а за ним арестованный полковник Н. Н. Раевский, которого поместили в комнате рядом с моею, заперли дверь и приставили часового. Попеременно начинали мы разговор, но часовые упрашивали не говорить; это не помешало нам сообщаться несколькими словами нараспев, как будто бы распевали вполголоса каждый про себя. Величайшую тоску терпел мой сосед от запрещения курить табак; на другой день увели моего соседа. Ему пришлось опять идти чрез мою комнату, он обнял меня со слезами и сказал: «Le même sort nous attend»*. Слава богу, пророчество для него не сбылось. Меня так долго держали во дворце, что я начал надеяться на счастливый оборот, как 5 января увидел из окна подъехавшего к салтыковскому подъезду мо-

* Одна судьба ожидает нас (франц.).

его бригадного командира; худое предвестие, подумал я, и в самом деле: после обеда, в три часа вошел дежурный по караулам с фельдъегерем, который отвез меня в Петропавловскую крепость.

Со стесненным сердцем въехал я в ворота крепости; меня приветствовали колокольные звуки крепостных часов, старинных курантов, звонивших протяжно каждый час мелодию «God save the king!»*[113]. В комендантском доме застал я четырех офицеров: л.-гв. Измайловского полка Андреева, князя Вадбольского, Миллера и Малютина. Чрез полчаса вошел комендант на деревянной ноге, генерал-адъютант Сукин, прочел пакеты, поданные фельдъегерем, и объявил нам, что по высочайшему повелению приказано держать нас под арестом. В этой же комнате с нами стоял пожилой мужчина с проседью, в статском сюртуке, с анненским крестом, украшенным бриллиантами, на шее. Комендант обратился к нему, узнал его и воскликнул с укором: «Как! и ты здесь по этому же делу с этими господами?» — «Нет, ваше превосходительство, я под следствием за растрату строительного леса и корабельных снарядов». — «Ну, так слава богу, любезный племянник», — сказал комендант и родственно пожал руку честного чиновника. Плац-майор крепости Е. М. Подушкин отвозил нас поодиночке; он спросил меня: «Есть ли у вас чистый платок носовой?» — «На что это?» — «Чтобы по форме завязать вам глаза». К счастью, был у меня такой: иначе пришлось бы понюхать его табачный платок. Он завязал мне глаза, взял под руку, свел с крыльца и посадил в сани с нежнейшею заботливостью, чтобы я не споткнулся и не ушибся. С такою же предусмотрительностью помог мне выйти из саней; опять взял под руку, предварил, что тут порог, тут шесть ступеней, потом повелительно произнес: «Фейерверкер! отопри 13-й нумер!»[114] Зазвенели ключи, брякнули два замка, один висячий, другой внутренний: мы вошли, двери притворились. Тогда плац-майор снял мой платок с глаз и пожелал мне возможно скорейшего освобождения. Я просил, чтобы он приказал накормить меня; в тот день я ничего не ел, а четырнадцать дней сряду во дворце голодал каждый день. Плац-майор затруднился моею просьбою, заметив, что обеденная пора уже давно про-

* Боже, храни королеву! (англ.).

шла; извинялся простотою крепостной кухни, вероятно, предполагая меня в числе избалованных гастрономов, однако обещал прислать мне тем охотнее, что я спросил только хлеба и воды.

В конурке моей было темно, что меня не поразило, потому что на дворе вечерело. Окно было забито плотною и частою железною решеткою; днем виднелась только узкая полоса горизонта и часть крепостного гласиса. К одной стенке приставлена была кровать с тюфяком и серо-сизым одеялом, а у другой стоял столик и ставчик[115]; пространство было треугольное — два простенка каменных Кронверкской куртины, соединенные загородкою из стоячих бревен. Все эти загородки только что были сделаны из сырого лесу в два ряда, по двум продольным стенам куртины, наружная стена имела треугольные, а внутренняя — четырехугольные каморки и стойла, в четыре аршина длины и три аршина ширины. Гипотенуза моего треугольника была почти в шесть аршин длины[116]. В дверях было небольшое окошечко, занешенное снаружи холстом, дабы часовые, стоявшие в коридоре, могли во всякое время заглядывать за арестантами. В этом новоселье, лишь только вышел плац-майор, я усердно помолился богу; святой его воле предал совершенно себя, и жену мою, и всех близких сердцу, и особенно всех пленных и страждущих. Вскоре застучали шаги часовых, звякнули замки — сторож принес мне лампаду, горшок супу и огромный кусок хлеба. На три вопроса моих не получил ответа и перестал спрашивать, зато жадно и проворно очистил горшок картофельного супу с лавровым листом и фунта два хлеба. Фейерверкер смотрел на меня с удивлением, почему объяснил ему причину и продолжительность моего голода, но он, как немой, взял посуду и ушел.

Куранты прозвонили 8 часов; протяжный гул — «God save the king!» — еще звонил в ушах, когда я уснул крепким сном; проспал бы, наверно, целые сутки, если бы не разбудил меня сторож ключами своими. Особенно неприятен для слуха был визг железной задвижки от висячего замка. После адского стука отворились двери, вошли плац-адъютант Николаев, за ним мужчина высокого роста в черном фраке, за ним фейерверкер. Я присел на кровати и думал, что мне привели еще товарища; конурка набилась битком. Адъютант спросил

меня, здоров ли я, и представил мне доктора, который расспрашивал меня о моем здоровье. Обоим ответил, что чувствую себя здоровым и что я сладко спал. «Извините, что мы вас обеспокоили, — возразили они, — это по обязанности и по предписанию начальства», — и как вошли, так и ушли. Я опять заснул и проспал до обеда; но не становилось светлее: окно было в амбразуре крепостной стены — ни разу не видел ни солнца, ни луны, только изредка звезду на оконечности небосклона. К вечеру приносили лампаду: в зеленом стакане над водою плавало масло конопляное, и светильник в поплавке рассеивал мрак. У меня не было книги, и никому из нас в первое время книг не давали. Чем теснее и тошнее становилось одиночество в стенах каземата, тем дальше и шире носилась мысль повсюду. Предстоящее было печально и неизвестно, настоящего у меня не было, оставались со мною только воспоминания прошедшего. Признаюсь, не могу согласиться с Байроном, что в несчастье все воспоминания минувшего счастья только увеличивают горе. Напротив того, я вспоминал прошедшее счастье с восторгом и с благодарностью и припоминал стих Жуковского: «Кто счастлив был, тот жил сто лет»[117].

Во всякое время мог я себе представить присутствие жены моей, не только черты лица, но даже все движения, и слышал голос ее, и мысленно беседовал с нею. Когда я хотел вызвать образы моих родителей и друзей, то мне труднее было перевести их к себе, чем самому переселиться к ним. Воображение и память иногда представляли мне вызываемое лицо темным образом, не подробно, не в целости, — в таком случае от лица переходил я мысленно в дом, в котором оно жило; припоминал знакомые мне комнаты, расстановку мебели и других памятных предметов и тогда уже в эту готовую рамку вставлял лицо, и чем лучше я помнил одежду и наружность того лица, тем яснее и продолжительнее впечатлевались в моей мысли все черты и все оттенки лица, как будто действительно имел его пред собою.

Мышление человека невольно занято беспрестанно, особенно в темнице, где мысль отвлекается только мыслью. Счастлив, кто с детства приучаем был к мышлению; кому образование дало обширный круг мышлений, тому и темница на время становится одним из лучших университетов. Мы знаем, что величайшие ученые и ге-

ниальные мужи искали по временам глубочайшего уединения, где силы их увеличивались, чтобы потом в шумной практической жизни полезнее и лучше действовать на пользу общую. Это дознанное дело; но надобно, чтобы уединение или заточение зависели от меня, чтобы я сам мог себе назначить время и срок. Но сидеть в тюрьме без надежды освободиться самому, без видов быть освобожденным, а, напротив, в ожидании или позорной смерти, или вечного заточения, или изгнания — вот что поставит и лучшего мыслителя в великое затруднение и может иступить его и ум и сердце, если он не имеет полного упования на бога и крепкой веры на господа нашего спасителя Иисуса Христа. Такое упование, такая вера поддерживали меня: так мудрено ли, что я легко выдержал всю тяжесть испытания?

8 января по пробитии вечерней зори вошел плац-майор, чтобы отвести меня в комитет, собиравшийся ежедневно в комендантском доме. Опять завязал он мне глаза, но на этот раз так, что все лицо мое было закрыто, и повел меня к саням; ехать было недалеко. У комендантского крыльца слышал говор людей и сквозь батистовый платок мог разглядеть горящие фонари карет. Передняя набита была слугами. В другой комнате остановил меня плац-майор, просил меня спокойно сесть и подождать его возвращения. Я приподнял платок, увидел пред собою притворенные двойные двери, позади себя ширмы сквозящие, за ширмами две свечи и ни одного человека во всей комнате. Не знаю, почему пришла мне мысль, что вдруг отворятся двери и меня расстреляют? Вероятно, эта мысль пробудилась от таинственности плац-майора и оттого, что завязали мне глаза. Тут я сидел, по крайней мере, целый час. С завязанными глазами повели меня чрез комнату, ярко освещенную, где слышен был скрип множества перьев; в следующей комнате такой же скрип перьев при совершенном безмолвии. Наконец в третьей комнате остановил меня плац-майор, сказав вполголоса: «Стойте на месте». С полминуты была мертвая тишина, как послышался отрывистый голос: «Снимите платок!» — то был голос великого князя Михаила Павловича. Я увидел пред собою длинный стол. На главном конце сидел председатель комиссии, военный министр Татищев; по правую сторону его сидели великий князь Михаил Павлович, генерал-адъютанты И. И. Дибич,

П. В. Кутузов, А. Х. Бенкендорф; по левую сторону князь А. Н. Голицын, единственный из гражданских сановников, генерал-адъютанты А. И. Чернышев, Н. Н. Потапов, В. В. Левашов и с краю флигель-адъютант полковник В. Адлерберг в должности временного секретаря[118]. Главным правителем дел назначен был действительный статский советник Д. Н. Блудов, но сей последний никогда не заседал в присутствии комиссии; говорили, что это по его личной настоятельной просьбе. Он заведовал всею канцелярией, он собирал и сличал все письменные показания и по оным составил отчет Следственной комиссии[119].

Все лица заслуженные, достойные уважения по многим отношениям, но невозможно признать в них судей сведущих и беспристрастных. Допросы и делопроизводство этой комиссии походили на личные допросы императора и очередных трех генерал-адъютантов, только в обширнейших размерах и в подробнейших частностях, потому что в комиссии беспрестанно бывали очные ставки. Если эта Следственная комиссия по своему назначению должна была составить суд военный, то в таком случае дело могло быть решено в 24 часа без помощи законоведов, и один главный аудитор указал бы на статью воинского устава, по коей каждый обвиненный в государственной измене весьма имел быть артибузирован![120] Иначе и не возможно было принять эту Следственную комиссию, как за военный суд; кроме единственного Голицына, все члены были военные, и слава богу, что между ними были лица образованные и честные. Нельзя было ожидать суда, который должен был бы допустить и прения, и защитников опытных, но тогда этого у нас не водилось; Следственная комиссия представляла зрелище, куда вызывали обвиненных, а обвинители их были вместе и судебными следователями и судьями.

Первый вопрос был мне сделан великим князем:

— Каким образом вы, командир стрелков, могли остановить три роты, стоявшие впереди вашего взвода?

— Ваше императорское высочество, батальон по сбору из казарм был построен в ротные колонны, таким образом, мой взвод находился впереди трех егерских рот.

— Извините, я не знал этого обстоятельства, — заметил мне великий князь самым ласковым образом.

И. И. Дибич спросил меня, почему я остановил сол-

дат посредине Исаакиевского моста? Я ответил, что удостоверившись лично, что на Сенатской площади не было начальника, не было никакого единства и никакой точности в распоряжениях, что, кроме того, взвод мой не присягнул новому императору, то считал за лучшее остановиться и не действовать.

— Понимаю, — сказал Дибич, — как тактик, вы хотели составить решительный резерв.

На это я ничего не возразил.

— С какого времени, — продолжал спрашивать Дибич, — вы находитесь в тайном обществе? и кто принял вас в число членов?

— Я никогда ни в каком тайном обществе не бывал.

— Может быть, вы разумеете, что для этого необходимы особенные обряды, знаки и условия, как в обществах масонских лож; если вы знали цель общества, то уже и были членом его.

— Я уже имел честь ответить, ваше превосходительство, что меня никто не принимал в тайное общество, что это не могло бы остаться сокрытым.

Тут прервал мое слово П. В. Кутузов:

— Ведь вы знали Рылеева?

— Знал, ваше превосходительство; я с ним вместе воспитывался в 1-м Кадетском корпусе.

— Разве вы и Оболенского не знали?

— Знал очень хорошо, мы были однополчане, сверх того он был старшим адъютантом всей гвардейской пехоты, как же было мне не знать его?

— Так чего же нам больше еще надобно! — заметил добродушно Кутузов.

Полковник Адлерберг прибавил:

— На вас показывают, что вы шпагою хотели заколоть второго стрелка с правого фланга, который уговаривал товарищей идти вслед за карабинерским взводом.

— Солдаты мои, г. полковник, никогда во фронте не разговаривали; один из них, не знаю — второй ли с фланга, сделал шаг, чтобы подвинуться вперед, тому грозил я шпагою и обещал то же всякому, кто только тронется с места без моего приказания. — Замечание полковника Адлерберга показало мне, что добрые люди уже много рассказали обо мне, особенно мой бригадный командир и батальонный и еще кто-нибудь, кто имел причины

опасаться моих показаний. Надеюсь, что они совершенно успокоились.

Наконец, генерал-адъютант А. И. Чернышев объявил, что я завтра получу письменные вопросы от комиссии и чтобы на каждый вопрос написан был ответ по пунктам.

Весь этот допрос был словесный. Председатель позвонил, вошел плац-майор, тут же, в присутствии, завязал мне глаза и вывел меня. Лицо было завешено платком, дабы секретари и писаря, сидевшие в двух проходных комнатах, не могли узнавать арестантов. Чрез несколько минут вошел я в мой 13-й нумер.

На третий день доставили мне запечатанный пакет[121]. Вопросы были почти те же, только в них заключались новые обвинения с поименованием разных лиц и с прибавлением различных показаний. Плац-майор, отдав мне пакет, сказал: «Не спешите, обдумайте все». Когда, пробежав глазами вопросные пункты, я встретил имена собственные, то тяжело становилось на сердце: да неужели и все они подвергнутся заточению и суду?!

Уже известно было о собрании моих сослуживцев у Репина, о совещаниях, бывших у Рылеева и Оболенского; все это удостоверило меня, что комиссия предупреждена во многих отношениях. На все, что лично касалось меня, нетрудно было мне ответить — и на действия 14 декабря; но совсем другое дело были совещания до 14 декабря. Я был так счастлив, что никто за меня даже не был арестован; никто из моих солдат не был ни наказан, ни удален на Кавказ. Мои ответы были причиною одной только очной ставки, о коей упомяну в своем месте. Написав все ответы, я обратился в комиссию с просьбою о позволении писать к жене моей.

На другой же день я получил это позволение; я мог писать один раз в месяц кратко, несколько строк. Ответы жены моей доставляли мне истинное утешение.

Еще просил я разрешения получать книги из дому, в чем было отказано, а плац-майор принес мне псалтырь.

Комиссия заседала ежедневно. Великий князь стал приезжать все реже и реже; некоторые члены чередовались; арестованных было уже довольно; но бессменно трудился А. И. Чернышев: он был главным деятелем, неутомимым сыщиком при допросах. Д. Н. Блудов, правитель огромной канцелярии комиссии, составлял нечто

целое или вывод из отдельных показаний; исключил важнейшие дела и выставил сплетни и разговоры, в чем каждый беспристрастный читатель печатного донесения Следственной комиссии легко может удостовериться. Основатели общества, самые деятельные члены, зачинщики заговора, очень часто были вызываемы в комиссию. Пестеля до того замучили вопросными пунктами, различными обвинениями, частыми очными ставками, что он, страдая сверх того от болезни, сделал упрек комиссии, выпросил лист бумаги и в самой комиссии написал для себя вопросные пункты: «Вот, господа, каким образом логически следует вести и раскрыть дело, по таким вопросам получите удовлетворительный ответ». По разногласию показаний бывали очные ставки, словесные объяснения, вносимые в протокол иногда в превратном смысле. Вообще не все члены комиссии поступали совестливым образом, иначе как мог бы Чернышев спросить М. А. Назимова: «Что вы сделали бы, если бы были в Петербурге 14 декабря?» (Назимов был в это время в отпуску в Пскове.)[122] Этот вопрос был так неловок, что Бенкендорф, не дав времени отвечать Назимову, привстал и, чрез стол взяв Чернышева за руку, сказал ему: «Ecoutez, vous n'avez pas le droit d'adresser une pareille question, c'est une affaire de consience»*. Чернышев, как главный труженик в комиссии, вероятно, от усталости, от утомления, от нетерпения, забывался иногда в своих замашках, выходках и угрозах, так что П. Х. Граббе был вынужден сказать ему правду, за что по оправдании судом оставлен был в крепости под арестом на шесть месяцев за дерзкие ответы, данные комиссии[123]. При очных ставках обыкновенно вызываемы были обвиненные сперва поодиночке, и когда показания их разнствовали, то сводили их вместе для улики. Когда Чернышев прочел показания Граббе, то спросил его: не упустил ли он чего, или не забыл ли какого важного обстоятельства? На отрицательный ответ его повели в другую комнату и призвали обличителя, который также оставался при высказанном своем мнении. Тогда снова призвали Граббе, и Чернышев, известный красавчик и щеголь, качаясь в креслах, крутя то ус, то жгут аксельбанта, с улыбкою спросил: «Что вы теперь, полковник, на это скажете?» Граббе с негодова-

* Послушайте, вы не имеете права задавать подобный вопрос, это дело совести (франц.).

нием ответил ему: «Ваше превосходительство, вы не имеете права мне так говорить: я под судом, но я не осужден, и вам повторяю, что я показал правду и не переменю ни единого слова из моих показаний». Обличитель опомнился и сознался в своей ошибке; Чернышев побледнел сквозь румяна и в тот же вечер пожаловался государю на дерзость арестованного полковника.

Председатель комиссии Татищев редко вмешивался в разбор дела; он только иногда замечал слишком ретивым ответчикам: «Вы, господа, читали все — и Destutt-Tracy, и Benjamin Constant, и Benthame — и вот куда попали, а я всю жизнь мою читал только священное писание, и смотрите, что заслужил», — показывая на два ряда звезд, освещавших грудь его.

Каждый день плац-адъютант Николаев обходил казематы. Сначала был он очень молчалив и несловоохотлив. Фейерверкер Соколов и сторож Шибаев были хуже немых: немой хоть горлом гулит или руками и пальцами делает знаки, а эти молодцы были движущиеся истуканы. Чтобы привести тело мое в некоторое равновесие, я топтался на одном месте, кружился, вертелся и скакал как мог. Сон сокращал мне большую часть неволи: я спал или дремал по двенадцати часов в сутки. Пищу давали простую, но здоровую и достаточную, не так худо и скудно, как во дворце. Весьма часто, особенно по вечерам, имел потребность петь: пение поддерживало грудь мою, заменяло мне беседу, и пением выражал я расположение духа. Распевал и прозу, и стихи, и псалмы; сам сочинял напевы, фантазии; иногда повторял старинные песни. Так однажды запел «Среди долины ровной, на гладкой высоте»; при втором куплете слышу, что мне вторит другой голос в коридоре за бревенчатой перегородкой; я узнал в нем голос моего фейерверкера. «Добрый знак! — подумал я. — Запел со мною, так и заговорит». Еще раз повторил песню, и он на славу вторил ей с начала до конца. Когда он чрез час принес мой ужин, оловянную мисочку, то я поблагодарил его за пение, и он решился мне ответить вполголоса: «Слава богу, что вы не скучаете, что у вас сердце веселое». С тех пор мало-помалу начинался разговор с ним, и он охотно отвечал на мои вопросы.

— Скажи мне, пожалуйста, Соколов (прозвание фейерверкера), как мне сделать, чтобы получить книги?

Слышу, как мой сосед в 16-м нумере, наискось против моего нумера, целые ночи перелистывает книги.

— Сохрани вас боже от таких книг! он, сердешный, так много читает и пишет, что уже написал себе железные рукавчики.

— Что это значит?

— Да надели железную цепь на обе руки весом фунтов в пятнадцать.

Это был юный Бестужев-Рюмин, сильно замешанный по делу Южного общества и по сношениям со славянами и поляками. Такими браслетами хотели вынудить его к полному признанию; он на французском языке выражался лучше и легче, нежели на русском, а как он должен был писать в комиссию по-русски, то ему дали лексиконы: вот отчего мне слышно было по ночам поспешное и частое перелистывание книги. Чрез несколько дней услышал звук от цепей против моего каземата в 15-м нумере.

— Разве привезли кого нового? — спросил я у Соколова.

— Нет, все тот же сидит, но также написал себе беду!

Это был Н. С. Бобрищев-Пушкин старший, офицер Генерального штаба, от которого комиссия добивалась узнать место, где хранилась «Русская правда» — конституция, написанная Пестелем. Она была уложена в свинцовом ящике и зарыта в землю близ Тульчина. Место было известно только Пушкину и Заикину, последнего отправили туда с фельдъегерем, где после долгих поисков в мерзлой земле, наконец, нашли и прямо передали в собственные руки императора[124].

— Много ли таких невольников сидит в железах?

— Из тридцати моих нумеров до десятка будет. — В таком же размере было число и в других куртинах. Юноша Гвардейского экипажа, мичман Дивов, которого сторожа называли младенцем, также сидел в узах. Воображение его было расстроено, случалось ему сообщить в комиссию ужаснейшие небылицы, сновидения, кои возбуждали новые расследования и дополняли сказки в Донесении комиссии. Зато он впоследствии был избавлен от каторжной работы и находился в крепостной работе в Бобруйске. Были и другие, которые вынудительными средствами показывали или подтверждали, чего сами не знали, чтобы только избавиться от муки. Некоторых уверяли, что только совершенная искренность и полнота

признаний может спасти их самих и тех, которые приняли их в тайное общество. Так, Н. Н. Раевский упрашивал П. И. Фаленберга быть искренним: он признался, что князь А. И. Барятинский принял его в общество. Барятинский в том отпирался постоянно в письменных ответах, наконец, дали очную ставку в комиссии, и там он отрицал, а Фаленберг утверждал, так что Барятинский, желая спасти его, сказал Чернышеву: «Вы сами видите, мог ли я его принять в тайное общество?» Несмотря на настойчивые признания, Фаленберга все-таки осудили в каторгу по собственному его бездоказательному сознанию. Благородный и честный товарищ, прочитав в немецком переводе мой отзыв о нем, в коем была небольшая опечатка, исказившая смысл моего подлинника, вручил мне чрезвычайно важное описание своего ложного самообвинения. Он после ложных показаний на себя писал о том Дибичу и Чернышеву, но они не поверили ему и не продолжали разысканий. Наконец, он на другой день исполнения приговора просил к себе пастора, чтобы приобщиться св. тайне и, укрепившись причащением, объявил Рейнботу все откровенно и объяснил причины, по коим он вынужден был ложно обвинить себя. «Das ist schrecklich!»* — вскричал пастор и ушел и не осмелился возвысить голос в защиту невинности[125]. Этот случай напоминает правильность регламента, определяющего верно, *что не довольно собственного признания, надобно, чтобы оно подтвердилось еще всеми обстоятельствами.* Наши судьи забыли это, а судьям необходимо это помнить каждый день при всяком случае. Были в числе моих товарищей и такие, которые, кроме уз на руках или ногах или одновременно на обоих местах, содержались в совершенном мраке, даже без лампады, и по временам уменьшали им пищу и питье.

6 марта плац-адъютант не приходил в обычное время. Фейерверкер Соколов имел вид таинственный и был одет в новую шинель. Сторож Шибаев, инвалид л.-гв. Егерского полка, также был в новой шинели, опрятно одет и выбрит. «Что, сегодня праздник?» — «Никак нет!» — «Чего же вы так принарядились?» — «Сегодня царя хоронят». Все было тихо вокруг меня, как всегда; толстые внешние крепостные стены со сводами и с земля-

---

* Это ужасно! (нем.).

ною насыпью не пропускают шума; только через амбразуры, сквозь окна с решеткою, доходил гул от колоколов. Вдруг после обеда раздался пушечный выстрел, другой — без счету; настал конец погребального обряда и печальной процессии[126]; а я, заключенный арестант без видов на освобождение, но с ожиданием казни, мог ли я не радоваться смерти? не смерти Благословенного, а всех смертных, но преимущественно всех страждущих и несчастливых? И в самом деле, после первого грома пушки я невольно воскликнул: «Да здравствует смерть!» Признаюсь, что мысль о смерти покоила душу мою, исполненную веры Христовой в лучшую будущность. Отчего же люди боятся смерти? Отчего предаются горести и унынию при кончине друга? Оттого, что или вера их не крепка, или они слишком привязаны к земле, к случайностям.

18 марта был день для меня памятный. После утренней молитвы я долго припоминал добрейшую и нежную мать. По необходимости и заведенному порядку собирался для движения вертеться и скакать, чтобы дать крови легкое обращение, как делывал каждый день, но не мог. Я лег на постель, заложил обе руки под голову и горько заплакал. Часовой в эту минуту приподнял завешенную снаружи тряпку с окошечка в дверях: я вскочил, стал к нему спиною, к решетке, и слезы потекли обильно. «Вот ламская истерика или нервный припадок! — подумал я. — Вот что наделала крепость в два месяца, а что будет дальше?» Опять лег, закрыл глаза; мне слышался голос матери, она меня утешала и благословляла. У кровати я бросился на колени, упер голову о край кровати; не знаю, как долго я молился, но душою был с нею. Я встал, когда сторож отпирал замки и принес мне обед; отломив кусочек хлеба, велел ему унести обед. В этот же день к вечеру была моя очередь писать к милой жене моей; письмо это сохранилось; в нем прошу убедительно уведомить меня о моей матери. Через три дня получил ответ, что хотя здоровье ее слабо, но ей не хуже. Впоследствии, через два месяца, сообщила жена подробно, что мать моя скончалась именно 18 марта, во втором часу пополудни, что она в этот самый день поутру приобщилась св. тайне и в присутствии отца моего и двух сестер объявила священнику и всем прочим присутствовавшим из родных и прислуги, чтобы никто не укорял меня в причине ее смерти, что, напротив того, я из чис-

ла тех ее детей, которые от самой колыбели причиняли ей меньше забот и доставляли больше радостей, и что она до последнего дыхания жизни сохранит ко мне чистейшую любовь. Кто изъяснит это сочувствие, это ведение того, что совершалось в ту же самую минуту за 350 верст от меня? Телеграфной проволоки тогда не водилось нигде; телеграмма передала бы весть и ответ; но кто передал мне звук голоса? кто слил любовь?

Как все простенки, все углы и щели крепости были напичканы арестантами, то по их многочисленности и по запрещению водить их вместе десятками или сотнями невозможно было часто водить их в баню; моя очередь настала в первый раз в половине апреля. Снег уже сошел; погода стояла ясная; конвой проводил меня — глаз моих не завязали платком. Только что спустился по коридорной лестнице и переступил за наружную дверь, как солнечный свет до такой степени поразил мое зрение, что я мгновенно остановился и закрыл глаза руками. Сквозь пальцы дал им света понемногу. Мне казалось, что земля качается, — это ощущает и моряк, вышедший на берег; свежий чистый воздух останавливал дыхание. Следуя вдоль внутренней стены Кронверкской куртины, по длинному ряду окон, не мог увидеть никого из товарищей, потому что стекла были выбелены мелом. Повернул направо вдоль куртины, посреди коей главные ворота в крепость, аллея, ведущая к церкви и к комендантскому дому. Над воротами заметил окно, коего стекла не были замазаны, и узнал возле окна пишущего М. Ф. Орлова. Недалеко от ворот стоял небольшой унтер-офицерский караул. Можно себе представить, как я обрадовался, когда увидел там моих стрелков; они поспешно собрались на платформу, дружно и громко ответили на мое приветствие, как бывало прежде в строю. Баня была славная, чистая и просторная, она освежила и укрепила меня. На обратном пути заметил я возле караула стоявшего слугу моего Михайла, который странными движениями лица, рук и ног выражал свою радость и свою преданность. «Здорова ли Анна Васильевна?» — «Слава богу, они сейчас были здесь в церкви и идут назад по аллее». Я прибавил шагу и увидел, как она, покрытая зеленым вуалем, шла тихими шагами на расстоянии двухсот сажен от меня; хотел к ней броситься, но ее положение при последних месяцах беременности и ответствен-

ность моего конвоя удержали меня; рукою посылал ей поцелуи и пошел в свой каземат. Возвратившись, нашел его гораздо темнее прежнего, потому что при входе не мог отличить стола от ставчика, и только виднелась белая кайма серо-сизого одеяла. Это было следствием быстрой смены ясного света дневного полумраком каземата. Постепенно обозначились предметы в моем нумере; зато в миллион раз несноснее показался мне казематный воздух — один раз в сутки выносили то, что всего вреднее для воздуха в запертой келье и имеет гибельное влияние на всякое здоровье.

На страстной неделе разрешено было императором, что арестанты в крепости могут получать книги духовного содержания, трубки и табак. Это было уже действительное облегчение для нас и роскошь после продолжительного лишения. Давно уже отвыкнув от трубки, принялся за нее с наслаждением, чтобы по возможности оборониться от сырого и нестерпимого воздуха. Жена моя прислала мне несколько частей «Stunden der Andacht». — Часы благоговения для распространения истинного христианства и домашнего благопочитания, сочинение известного Цшокке[127]; несколько томов, содержащих преимущественно суждения о любви к отечеству, об обязанностях гражданина, воззвания во время войны 1812 и 1813 годов, были задержаны цензурою нашей Следственной комиссии. Однажды спросил я у плац-адъютанта Николаева, получают ли товарищи мои табак, книги, белье от своих родственников? Он сказал мне, что получают те, у которых есть родственники и знакомые в Петербурге, что он вчера отнес узел полковнику Михаилу Фотьевичу Митькову с бельем и английским фланелевым одеялом; но когда он узнал от меня, что не все арестанты, а, напротив того, весьма немногие получают такие вещи из дому, то он снова завязал узел, просил меня возвратить его, сказав, что он может обойтись без этих вещей. Надобно при этом заметить, что здоровье Митькова уже давно было расстроено, несмотря на строгую умеренность и на двухлетнее пользование его целительными водами в чужих краях. Этот поступок его в крепостных стенах согласовался с его характером, с его правилами. Я помню, когда прежде на парадах и маневрах он командовал нашим батальоном и во время отдыха или привала приносили барону Саргеру большие

корзины с завтраком, то Митьков каждый раз отказывался от угощения, прося извинить его по нездоровью, но действительная причина заключалась в том, что он не мог разделить эту закуску с целым батальоном своим. Это делалось при людях, скажет иной; но в каземате не было зрителей и свидетелей, кроме одного только Николаева. Чрез каждые шесть недель навещали нас, по приказанию государя, генерал-адъютанты его: Сазонов, Стрекалов и Мартынов; последний добродушно отозвался обо мне сопровождавшему его коменданту и припоминал мне, как в его присутствии отличал меня в Красном Селе, в Петергофе и в Ораниенбауме бывший мой дивизионный командир, ныне император Николай.

В кануне 18 апреля, праздника пасхи, пушечный выстрел возвестил о времени, в которое православные собираются в церковь. В полночь повторяемые выстрелы означали, что уже начали христосоваться. Громко воскликнул я в каземате: «Христос воскрес!» — никто не ответил; некого было обнять в такую минуту, когда с восторженною любовью обнимаются и други, и недруги. На другой день похристосовался с Соколовым и с Шибаевым. Купечество в этот день доставило нам чрез крепостное начальство множество куличей, чаю и сахару. Трезвон отрывками проникал и наши стены, и узники рассуждали о бессмертии и припоминали беззаботные гуляния и пирования ликующего народа. Товарищ мой, князь А. И. Одоевский, выразил свои чувства в эту ночь следующими стихами:

Пробила полночь... грянул гром,
И грохот радостный раздался;
От звона воздух колебался,
От пушек в сумраке ночном
По небу зарева бежали
И, разлетаяся во тьме,
Меня, забытого в тюрьме,
Багровым светом освещали.
Я, на коленях стоя, пел,
С любовью к небесам свободный взор летел..
И серафимов тьмы внезапно запылали
В надзвездной вышине;
Их песни слышалися мне;
С их гласом все миры гармонию сливали.
Средь горних сил воскресший бог стоял,
И день, блестящий день сиял
Над сумраками ночи...
Стоял он радостный средь волн небесных сил
И, полные любви, божественные очи

На мир спасенный низводил.
И славу вышнего, и на земле спасенье
Я тихим гласом воспевал,
И мой, мой также глас к воскресшему взлетал:
Из гроба пел я воскресенье[128].

Комиссия оставила меня в покое от первого допроса 8 января. В конце апреля потребовали меня на очную ставку[129]. В комиссии присутствовали только генерал-адъютанты Чернышев и Бенкендорф; первый прочел мне краткую выписку из моих показаний и спросил: имею ли что дополнить и заключает ли она в себе сущность моих показаний? Я подтвердил, и приказано было мне дожидаться в другой комнате. Я услышал звонок, говор, но не мог расслышать, о чем говорили. Чрез пять минут призвали меня опять, и я увидел стоявшего у стола однополчанина моего, подпоручика Богданова, в мундире, при шпаге. Чернышев вторично прочел при нем выписку и спросил: «Можете ли вы теперь подтвердить ваши показания?» — «Могу, ваше превосходительство».

Подпоручик Богданов, вероятно, полагал, что мною были переданы все подробности совещания, бывшего у князя Оболенского 12 декабря; мне легко было его разуверить и успокоить. При нем объяснил, что хотя вместе с ним на моих дрожках приехал я к Оболенскому, но там застали с лишком двадцать человек, помещавшихся в трех комнатах, беседовавших в различных группах, следовательно, не было общего совещания; отчего он не мог слышать того, что слышал я. Кроме того, он чрез несколько минут вышел, а я воротился домой один. Слава богу, Богданов оставался при своей шпаге, а за то, что отказался от вступления в караул на сенатскую гауптвахту 14 декабря, должен был участвовать только в походе сборных гвардейцев, возмутившихся и отправленных на Кавказ. В моих показаниях комиссии на заданный вопрос: с кем я ехал к Оболенскому 12 декабря — я должен был назвать Богданова, иначе имел бы очную ставку с кучером моим, и тогда дело показалось бы более подозрительным и опаснее для Богданова. Эта была единственная очная ставка. Многих из моих соузников беспрестанно водили на очные ставки и этим усугубляли муки тюремной жизни. Каждое различие в показаниях, даже по самым маловажным предметам, вызывало очную ставку, причем расстроенное здоровье вызванных лиц, малейшее изменение памяти, смещение дней и чисел служи-

ло поводом к кривым толкам, сплетням и искажениям в Донесении Следственной комиссии.

13 мая в седьмом часу утра разбудил меня плацадъютант Николаев. Из коридора послышался его голос — он велел призвать цирюльника. «Вставайте скорее, А[ндрей] Е[вгеньевич]!» — «Что такое? опять в комиссию?» — «Нет, в дом коменданта; ожидает вас радость: ваша супруга приехала на свидание». Вмиг я оделся, не хотел дождаться бородобрея. Мы вышли, и теплый душистый воздух упоил и освежил меня. У поворота поклонился мне слуга мой Михайла; на площадке стояла карета моя, и как только кучер Василий завидел меня, то ударил по вороным коням и лихо представил их, объехав вокруг меня. В покоях коменданта обнял я мою Annette; она была в глубоком трауре по кончине матери моей. Вид ее, слова и голос радовали и утешали. При нашем свидании присутствовал все время комендант крепости, отчего беседа наша не могла быть искреннею и касалась только родных и домашних отношений. По посредничеству В. В. Левашова жена моя получила высочайшее соизволение на свидание со мною; приближалось время ее разрешения от бремени, и она желала, чтобы мы еще раз могли благословить друг друга. Она передала мне все подробности о последних часах жизни моей матери, скончавшейся 18 марта, в тот самый день, когда предчувствие все мне сообщило в тот же самый час. Я всячески старался успокоить жену насчет ожидающей меня участи; час промчался быстро; комендант не мог продлить свидание, и мы должны были расстаться. Не легко было и это второе расставание. С особенными чувствами возвратился я в мой 13-й номер; я был спокойнее, увидев добрую жену мою, получив более надежды, что она с упованием и с верою перенесет разлуку и предстоящее ей близкое разрешение. Чаще и громче напевал я песни, и наяву и во сне продолжал я беседы душевные. На третий день получил я письмо от нее, в котором уведомила, что свидание укрепило ее. Помню только, что я передал ей при коменданте последние слова, слышанные мною от императора; старался по возможности успокоить ее, что было мне не трудно, потому что в эти минуты свидания я забыл, где я был; не видел я коменданта, не слышал курантов крепостных часов, не думал о предстоящем мне жребии: я был как дома, я был счастлив!

Глава пятая

ВЕРХОВНЫЙ УГОЛОВНЫЙ СУД

17 мая. — Алексеевский равелин. — Духовные утешители. — Рождение сына. — К. И. Бистром. — Два столба. — Объявление приговора. — Лабораторный бастион. — 13 июля. — Исполнение приговора. — Пестель. — Рылеев. — Муравьев-Апостол. — Бестужев-Рюмин. — Каховский. — Соединенные славяне. — Примечания. — Вывод о комиссии и суде. — Что скажут правнуки. — Я. И. Ростовцев

Мая 17-го было необыкновенное движение в коридоре Кронверкской куртины; беспрестанно уводили и приводили арестантов. Многие из них незнакомым мне голосом, проходя мимо дверей моих, приветствовали по номеру: «Bon jour 13; votre santé 13; portez vous bien 13»* После обеда Соколов сообщил мне, что только часть арестантов водят в комитет, где они подписывают какие-то бумаги и немедленно возвращаются. «А как ты думаешь: к лучшему или к худшему для тех, которых водят туда?» — «Бог весть!» — «Кажись, что тем будет легче, которых оставляют в покое». В беспокойном ожидании, наконец, уснул, как вдруг бряцанье ключей и замков, стук задвижки меня подняли. Плац-адъютант пригласил идти с ним в комитет; час был пятый после обеда. В воздухе пахло цветущею сиренью; птицы порхали и щебетали в комендантском саду, где они сосредоточились поневоле, потому что вокруг все холодные каменные стены, прижатые с трех сторон Невою. Меня повели чрез комнату писцов, не с запязанными глазами и не в прежнюю залу комиссии, но вправо, в другую залу, где за письменным столом заседали Бенкендорф и сенатор Баранов. Мне подали написанные мною ответы на вопросы Следственной комиссии и спросили: «Ваша ли это рукопись? — добровольны ли ваши ответы? — не имеете ли чего прибавить особенного?» На первые два вопроса ответил утвердительно, третий я отвергнул; тогда велели мне подписать бумаги, что они написаны мною без всякого приневоливания. В чертах лица Бенкендорфа я мог прочесть, что мне несдобровать. Сенатор Баранов не был членом Следственной комиссии, но как влиятельный сенатор и как член Верховного уголовного суда был назна-

* Здравствуйте, 13; ваше здоровье, 13; как себя чувствуете, 13! (франц.).

чен удостовериться в подлинности письменных показаний; следовательно, выбор жертв был сделан окончательно до суда, оставалось только соблюсти внешнюю формальность и распределить нас по разрядам[130]. Между тем как в этих письменных показаниях Пестель, Рылеев, Сергей Муравьев-Апостол, Юшневский, Бестужев, Штейнгель и другие откровенно исповедовали свои убеждения, свою любовь к Отечеству и открыли все злоупотребления и средства к исправлению — большинство подсудимых отговаривалось от принятого участия или отрекалось от первых своих показаний не из школьной боязни или из раскаяния, а просто по ясной причине тайного суда или тайной канцелярии и по совершенной бесполезности метать бисером при такой обстановке, где увеличили бы наказание для себя, без всякой пользы для других. Люди, сведущие с порядком такого судопроизводства, поймут дело легко. Знаменательное и чудное совпадение дней и месяцев в различных годах по одному и тому же делу. Я составил краткие очерки или таблицы моих записок в 1828, 1829, 1830 годах, начал писать их подробно в сороковых годах и снова переписал и дополнил их с наступлением 1866 года. Читатели видели порядок судоустройства и судопроизводства 17 мая 1826 года, — помните же с благодарностью 17 мая 1866 года — день, в который в том же Петербурге начались действия новых судебных учреждений[131]. Прощай, старинная юридическая практика, прощай, «слово и дело»[132], и если даже старинные практиканты займут места в новых судах, то уже не могут быть опасными при гласности заседаний, при решении уголовных дел присяжными, при публичности обвинения и защиты, при коих каждый присутствующий имеет право следить за ходом правосудия.

На обратном пути в каземат я с жадностью глотал душистый майский воздух; подле забора сада сорвал свежей травки, прибавил шагу в темницу, чтобы не разнежиться. Я целовал эту траву, и попадись мне дерево, я обнял бы его, как друга. С 17 мая движения в нашей Кронверкской куртине стали реже и тише: перестали звать в комиссию для очных ставок. Обычные посещения плац-майора и плац-адъютантов, приход сторожа с пищею нарушали глубокую тишину, прерываемую в отдельных номерах где песнью, где декламацией, где вздохом. Один из арестантов, М. А. Фонвизин, сколько ни

старался, но не мог перенести затворничества; хотя духом он бодрствовал, но нервы не сносили такого состояния, и, наконец, приказано было, чтобы не запирали его дверей ни задвижкою, ни замками, а чтобы часовой стоял в его номере. Не было средств переписываться друг с другом. Перья и бумагу по счету давали только для ответов в комиссию, да и не было таких сторожей, которые согласились бы передавать записки[133]. Особенное было содержание тех 16 товарищей, которые сидели в тайном отделении крепости, в Алексеевском равелине, где главным надзирателем был особый гражданский чиновник[134]. Пред окнами, в близком расстоянии от них, стояла высокая каменная стена, а внутри равелина, где не было ни одного окна в здании, стояло несколько деревьев кленовых в тесном треугольном пространстве, куда изредка по очереди приводили их поодиночке, чтобы подышать свежим воздухом. Тут Рылеев сорвал кленовые листья и, за неимением бумаги, написал:

Мне тошно здесь, как на чужбине,
Когда я сброшу жизнь мою?
Кто даст мне крыле голубине,
Да полечу и почию!
Весь мир как смрадная могила!
Душа из тела рвется вон.
Творец! ты мне прибежище и сила,
Вонми мой вопль, услышь мой стон!
Проникни на мое моленье,
Вонми смирению души,
Пошли друзьям моим спасенье,
А мне даруй грехов прощенье
И дух от тела разреши!

Е. П. Оболенский таким же средством нашел случай писать ему и на кленовых же листьях получил следующий ответ:

О милый друг! как внятен голос твой,
Как утешителен и сладок;
Он возвратил душе моей покой
И мысли смутные привел в порядок.
Спасителю, сей истине верховной,
Мы подчинить от всей души должны
И мир вещественный и мир духовный.
Для смертного ужасен подвиг сей —
Но он к бессмертию стезя прямая;
И, благовествуя, речет о ней
Сама нам истина святая:
Блажен, кого отец мой изберет,
Кто истины здесь будет проповедник;

Тому венец, того блаженство ждет,
Тот царствия небесного наследник.
Как радостно, о друг любезный мой,
Внимаю я столь сладкому глаголу,
И, как орел, на небо рвусь душой,
Но плотью увлекаюсь долу.
Блажен, кто ведает, что бог един,
И мир, и истина, и благо наше.
Блажен, чей дух над плотью властелин,
Кто твердо шествует к Христовой чаше.
Прямой мудрец! он жребий свой вознес,
Он предпочел небесное земному;
И, как Петра, ведет его Христос
По треволнению мирскому.
Душою чист и сердцем прав,
Пред кончиною — сподвижник постоянный,
Как Моисей с горы Навав,
Узрит он край обетованный[135].

По временам по особенному желанию арестантов навещали нас служители церкви: православных — казанский протоиерей Петр Ник[олаевич] Мысловский, протестантов и лютеран — Анненской церкви пастор Рейнбот. Оба отличнейшие витии с благообразною наружностью; беседа их была умна, назидательна и занимательна, иногда отклонялась она от предмета духовного и переходила к политическому[136]. Представляя гибельные последствия от либеральных идей и от насильственных переворотов, они, как везде было тогда принято, ссылались на Францию, припоминая все совершившиеся там ужасы в конце прошедшего столетия, и выводили, что она, после многих искушений и страданий, опять прибегла поневоле к королю и довольствуется Людовиком XVIII. Так, но они забывали, что Франция стала счастливее и богаче, нежели как была прежде, и что народ приобрел права, коих прежде не имел. Вероятно, имели они причину выпустить из виду примеры Швейцарии, Голландии, Англии, Америки, имевших гораздо прежде Франции свои перевороты, борьбы политические и религиозные, после коих обитатели этих стран созрели к быту лучшему. Без сомнения, гораздо счастливее были бы те народы, которые, не прибегая к насильственным мерам, к возмущениям и восстаниям, имели бы правителей, совестливо старающихся не о собственной своей власти или славе, но об истинном благе народа. Это благо не может продолжительно существовать без права, без закона, одинаково равного для всех, избавляющего всех от причуд самых умных и великодушных правителей.

С половины июня имел я беспокойства о жене моей; наступило время ее разрешения. Пение мое ежедневное умолкло. Фейерверкер Соколов и сторож Шибаев часто осведомлялись, не болен ли я? Сон мой сократился, а сновидения представляли мне жену больную, зовущую меня на помощь, одним словом, вера будто ослабела. И в каземате случилось, как обыкновенно замечено, что везде хорошие вести доходят медленно, опаздывают, между тем как худые, горестные долетают скоро. Бог дал мне первого сына 19 июня[137]; в тот же день жена писала мне две строчки, но я получил их только 21-го вечером. Я радовался за нее, она перестала быть одинокою. Заочно в молитвах благословлял сына и просил, чтобы отец небесный заменил ему отца временного. Тогда я не имел надежды на свидание с сыном и ожидал ежедневно решения моей участи. По-прежнему опять напевал я песни, а на полу все глубже и глубже выдалбливались ямки от беспрестанных поворотов ноги.

Сторож Шабаев с каждым днем становился словоохотнее; за ранами он числился в гвардейской инвалидной бригаде и рассказывал о славных походах л.-гв. Егерского полка. Он с такою непритворною любовью отзывался о бывшем полковом командире своем, К. И. Бистроме, или Быстрове, как называли его солдаты, что растрогал меня совершенно, когда уверял, что каждый день, поминая родителей своих в молитве, он также молился за Бистрома. Зато и генерал этот, герой, любил солдат, как отец своих детей. Бывало, он едет в отпуск в Черковицы на две недели и по возвращении, приветствуя батальон в строю из Гвардейского корпуса, прослезится от радости свидания, хотя разлука продолжалась несколько дней. Он все делил с солдатами: и жизнь и копейку. Когда 14 декабря большая часть Московского полка осталась в казармах в нерешимости и уже трудно было удержать их, то Бистром послал туда л.-гв. Егерского полка унтер-офицера Гурова, который спас ему жизнь в битве под Лейпцигом[138], чтобы возвестить им прибытие свое в казармы. Он только что показался им и сказал краткое солдатское слово, как все подчинились ему, выстроились и выступили в порядке, чтобы на площади Сенатской занять ночной караул. Храбрый Бистром, идол солдат, не был назначен генерал-адъютантом, между тем как дюжина генералов гораздо ниже его были удостоены этим от-

личием. С лишком два месяца все подозревали его тайным причастником восстания или, по крайней мере, в том, что он знал о приготовлениях к 14 декабря, потому что большая часть его адъютантов были замешаны в этом деле, а старший из них был главным зачинщиком и начальствовал над восставшими солдатами. Когда Следственная комиссия убедилась в его неприкосновенности к этому делу, тогда государь пожаловал ему аксельбанты[139], самую лестную награду в царствование Александра I.

Июля 12-го поутру заметил я на Кронверкском валу против моего окна работающих плотников, — не понимал, что они строят из бревен на крепостном валу. Часто посматривал я в окно. Раз увидел на том же месте генерал-адъютанта в шляпе с бледным султаном в сопровождении адъютанта. Около полудня на том самом месте то подымали, то опускали два столба, после не видно было ни одного человека, а только бревна, обтесанные брусья лежали на валу. После обеда в 4 часа плац-адъютант Николаев пригласил меня в комитет; я собрался туда с стесненным сердцем, предполагая, что опять будет очная ставка или новый допрос. Можно себе представить, как я был обрадован в комендантском доме, когда увидел несколько комнат сряду, наполненных моими соузниками, и с каким восхищением обнял знакомых товарищей. Мне сказали, что нас собрали для объявления нам приговора. Некоторых из товарищей искал я напрасно: или их совсем тут не было, или они состояли в высших разрядах и уже были потребованы к выслушанию приговора. В двух комнатах, ближайших к зале присутствия, были собраны осужденные по разрядам, — так что когда 1-й вступил в присутствие, то 2-й разряд занял место его, а на место 2-го собрался 3-й разряд, — так следовали все разряды один после другого, а по прочтении приговора выходили также по разрядам в другую дверь анфилады комнат, и каждый разряд отдельно был размещен по крепостным нумерам, но не по прежним местам, а по порядку по числу лиц, составляющих разряд. Я принадлежал к 5-му разряду, всех было 12[140]. С полчаса имели времени расспрашивать друг друга и утешать себя взаимно. Настала очередь моему разряду явиться в присутствие. Конвой с ружьями стоял у всех дверей.

Ввели 5-й разряд, состоявший только из пяти чело-

век; мы стали в ряд спиною к окнам. Весь Верховный уголовный суд сидел пред нами за большими столами, расставленными покоем по трем стенам залы. Пред нами, в средине, сидел митрополит с несколькими архиереями; по правую сторону генералы; по левую сенаторы[141]. В числе генералов заметил тотчас Бистрома в слезах; за несколько минут до того он видел осужденного любимого адъютанта своего Е. П. Оболенского; еще несколько лиц из судей военных выражали или участие, или негодование. Из сенаторов что-то многие показались мне непристойно и дерзко любопытными: они наводили на нас не только лорнеты, но и зрительные трубки. Может быть, это было из участия и сострадания: им хотелось хоть видеть один только раз и в последний раз тех осужденных, которых они же осудили, никогда не видев их и никогда не говорив с ними до осуждения. Посреди залы стоял обер-секретарь сената Журавлев и громким внятным голосом прочел наши сентенции. Верховный уголовный суд приговорил наш разряд 10 июля — сослать в каторжную работу на десять лет, а потом на поселение навечно. Император 11 июля смягчил этот приговор[142] товарищам моим Н. П. Репину и М. К. Кюхельбекеру на 8 лет; Бодиско по молодости лет избавил от каторжной работы, заменив ее крепостною работою. М. Н. Глебов и я ожидали, что и нам прочтут какое облегчение, но вместо того Журавлев умолк, и велено было вести нас в казематы. Причину этому исключению, которому из 121 осужденных подверглись только 4, а именно: Н. А. Бестужев 1-й, М. А. Бестужев 3-й, М. Н. Глебов и я, из числа всех осужденных в каторжную работу, и еще весь 8-й разряд, приговоренный на поселение, приписываю, как я, кажется, уже сказал выше, 14 декабрю и особенно ко мне доброму расположению императора, когда он был моим дивизионным начальником. Всякий читатель поймет, что, с моей стороны, никакая злоба личная не могла быть поводом моих поступков. Вся эта процессия и церемония продолжалась несколько часов среди глубочайшей тишины. В 3-м разряде только М. С. Лунин, когда прочли сентенцию и Журавлев особенно расстановочно ударял голосом на последние слова — на поселение в Сибири навечно, — по привычке подтянув свою одежду в шагу, заметил всему присутствию: «Хороша вечность! — мне уже за пятьдесят лет от роду!» — он скончался от апоплекси-

ческого удара в изгнании в 1845 году[143]: так, почти 20 лет тянулась для него эта вечность. Может быть, что по этому обстоятельству в позднейших сентенциях, по делу Петрашевского, упущено было слово «навечно»[144]. Еще в 8-м разряде Н. С. Бобрищев-Пушкин 1-й, при выслушании своего приговора, трижды перекрестился пред присутствием. И. И. Пущину, захотевшему говорить, запретили говорить. Мы были не в суде, не пред судьями; тут нечего было и сказать и возражать: было бы то же, что спорить с конвоем или с палачом. Верховный уголовный суд утвержден был 1 июня. Он состоял из членов Государственного совета, правительствующего Сената, святейшего Синода; к ним по воле государя причислены были граф Юрий Головкин, граф Ланжерон, барон Григорий Строганов, генерал Воинов, граф Опперман, граф Ламберт, вице-адмирал Сенявин, Бороздин, Паскевич, Эмануэль, Комаровский, Башуцкий, Закревский, Бистром и тайный советник Кушников. Суд начал заседания в Сенате 15 июня под председательством князя Лопухина, обязанность генерал-прокурора исполнял князь Лобанов-Ростовский, производителем был обер-прокурор Журавлев Занятия суда продолжались две недели. Суд состоял из 80 членов[145] и выбрал из среды своей комитет для распределения преступников по разрядам; членами комитета были избраны граф П. А. Толстой, Васильчиков, Сперанский, Строганов, Комаровский, Кушников, сенатор Энгель, Д. О. Баранов и граф Кутайсов.

Выходя из комендантского дома, увидел близ ворот и пред домом толпу адъютантов генеральских, полковых и лакеев, собравшихся из любопытства. Пока мы шли пятеро вместе, мудрено ли, что после разлуки и заточения обрадовались свиданию и вели разговор веселый, живой и дружеский?! Это обстоятельство было передано за крепостные стены как доказательство нашего хвастовства или гордого пренебрежения. Меня повели в батальон лабораторный[146], где заперли в комнату довольно просторную с большим окном, в котором только нижние стекла были выбелены мелом. На стенах увидел нацарапанные имена нескольких арестантов, из которых осужден был один только граф З. Г. Чернышев. Мне сначала показалось странно находиться в просторной комнате, довольно светлой. В молитве предался во всем всемогущему и вселюбящему господу богу, и ему поручил я все, что

было мне дорого и мило, и всех моих ближних по сердцу, и по заповеди, вспоминая слова спасителя на кресте: «Отче! прости им; ибо не знают, что делают». Это совершенно применимо к нашему синедриону[147]. Солнце смеркалось, а все было не темно в июльскую ночь, отчего не мог уснуть, хотя несколько раз ложился на кровать. Зато было просторнее прохаживаться взад и вперед по комнате в девять шагов длины. Плац-адъютант Николаев предупредил меня, что рано поутру придет за мною, что приговор приведен будет в исполнение. Я ожидал немедленного отправления в дальний путь.

Июля 13-го до рассвета вывели меня на площадку крепостную, где уже выстроено было большое каре, в четыре шеренги, из л.-гв. Павловского полка и крепостных артиллеристов. Меня ввели в каре, где было уже несколько человек из моих товарищей и куда беспрестанно вводили других. Я обрадовался свиданию, все обнимались, и знакомые, и незнакомые, искали друзей и приятелей, но тщетно искал я Рылеева; тогда мне сказали, что он, в числе пяти главнейших сообщников, осужден на позорную казнь. Все сообщали друг другу свои сентенции: князь С. Г. Волконский был особенно бодр и разговорчив; Г. С. Батенков грыз щепку и обнаруживал негодование; А. И. Якубович бросил свой белый султан со шляпы и прохаживался один задумчиво и пасмурно; Е. П. Оболенский пополнел в крепости и получил розовые щеки от здоровья; Н. И. Пущин, по обыкновению, был весел и заставлял громко хохотать целый собравшийся кружок. Никто не обнаруживал уныния; страдания видны были только на больных: таких было гораздо больше половины. Из моряков не было никого в нашем каре. Вокруг нас за линией солдат прохаживались отдельно генерал-адъютанты Бенкендорф и Левашов и конвойные офицеры. Товарищ мой, полковник П. В. Абрамов, громко звал капитана Польмана, начальника каре, который не откликнулся; тогда Бенкендорф спросил его, что ему надобно. Он изъявил желание передать родному брату своему л.-гв. Павловского полка капитану новые свои золотые эполеты, которые скоро пригодятся ему при производстве в полковники. Бенкендорф охотно согласился и приказал офицеру передать их брату. В этом каре стояли мы с лишком полчаса, оттуда разделили нас на отделения, каждое окружено было многочисленным конвоем.

В одном отделении находились офицеры, осужденные из 1-й гвардейской дивизии и Генерального штаба, гвардейских кавалерийских дивизий особо, в другом — офицеры 2-й гвардейской дивизии, саперы и пионеры, в третьем — офицеры армии, в четвертом — служившие в гражданской службе, пятое отделение состояло из моряков и отправлено было в Кронштадт, где исполнен был приговор в присутствии флота[148]. В таких отделениях вывели нас из крепостных ворот на гласис Кронверкской куртины. Спиною к петербургской стороне стояло войско, по одной роте и по одному эскадрону с каждого полка Гвардейского корпуса, с заряженными пушками. На Кронверкском валу видна была виселица, тогда узнал я работу виденных мною плотников из окна моего каземата. Отделения наши стояли в ста саженях расстояния одно от другого, возле каждого отделения пылал костер и стоял палач[149]. По гласису между войском и отделениями разъезжал верхом генерал-адъютант Чернышев, в этот раз без румян. Красивый гнедой конь его с гордою поступью, но без хвоста, был с голой репицей: вероятно, слишком рано утром не успели убрать или плохо убрали седока и коня!

При каждом отделении находился генерал; при нашем 2-м был мой бывший бригадный начальник Е. А. Головин. По старшинству разрядов вызывали нас вперед поодиночке; каждый должен был стать на колени; палач ломал шпагу над головою, сдирал мундир и бросал их в пылающий костер. Став на колени, я сбросил с себя мундир, прежде чем палач мог до меня дотронуться, за что генерал закричал ему: «Дери с него мундир!» Шпаги и сабли были заранее уже подпилены, так что палач без всякого усилия мог их переломить над головою, только с бедным Якубовичем поступил он неосторожно, прикоснувшись его головы, пробитой черкесскою пулею, над правым виском. С И. Д. Якушкина также неосторожно содрали кожу с чела. Последним из нашего отделения был М. И. Пущин, который по приговору был разжалован в рядовые до выслуги без лишения прав дворянства, следовательно, закон запрещал ломать над ним саблю, о чем он заметил генералу, но тому было не до закона и, не выслушав его, приказал и над ним переломить саблю[150]. В огонь вместе с мундирами были брошены и ордена второпях. Процессия эта продолжалась с лишком

час; на нас надели полосатые госпитальные халаты и теми же отделениями повели обратно в крепость. Я взял под руку всеми искренно уважаемого, заслуженного полковника моего М. Ф. Митькова, который больной поступил в крепость и здесь еще более расстроил здоровье.

Народу, зрителей было мало, только около входа в крепость пред подъемным мостом толпилась куча небольшая. Накануне дали знать, что решение будет на Волковом поле. Народ, повсюду любопытный, на этот раз или сам не хотел присутствовать, или было еще слишком рано, или полиция не допустила. Когда нас повели обратно, то на Кронверкском валу виселица еще ждала обреченных жертв — там еще никого не было. Мы обратились в ту сторону, перекрестились, и каждый по-своему просил бога принять с любовью наших товарищей, опередивших нас рвением и отшествием от мира сего. На виселицу и на повешенных народ мог глядеть долго, до позднего вечера, но только издали, потому что она стояла на высоком валу за рвом непроходимым, на месте неприступном. Не знаю, чему приписать причину, что казнь не была совершена на наших глазах, в нашем присутствии, — деликатности ли? или обдуманной осторожности, или неисправности? Конечно, не хотели утаить ее, она должна была служить примером и страшилищем, но все как-то не клеилось одно с другим — с народным духом и с гласностью. Говорили после, что Чернышеву сделано было замечание за то, что казнь была не одновременна с нашей экзекуцией, другие говорили, что перекладина была забыта в мастерской. Меня отвели в прежнюю мою Кронверкскую куртину, но в другой нумер, соседний, в 14-й, в котором Рылеев провел последнюю ночь своей земной жизни. Я вступил туда, как в место освященное; молился за него, за жену его, за дочь Настеньку; тут писал он последнее, всем известное письмо, изуродованное переписчиками[151]. Из оловянной кружки пил я не допитую им воду. Возле меня в 15-м нумере посажен был товарищ мой Н. П. Репин; двойная бревенчатая стена отделяла наши стойла, или казематные кельи. В моем прежнем 13-м нумере наискось против меня сидел в тот день М. А. Назимов; ему, сердечному, суждено было видеть ужасную казнь на валу; до ночи висели тела мертвых, разрешившихся и освободившихся душ бессмертных.

Очевидцы последних часов жизни Павла Ивановича Пестеля, Кондратия Федоровича Рылеева, Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, Михаила Павловича Бестужева-Рюмина, Петра Григорьевича Каховского были протоиерей П. Н. Мысловский, плац-майор Е. М. Подушкин, плац-адъютант Николаев, фейерверкер Соколов и несколько солдат в крепости, а на месте казни находились, кроме названных: петербургский плац-майор А. А. Болдырев, городской полицмейстер гвардейского Генерального штаба штабс-капитан В. Д. Вольховский и еще несколько солдат[152]. Последний день и последнюю ночь 12 июля осужденные на смерть провели в нумерах Кронверкской куртины. П. И. Пестель от начала до конца сохранял необыкновенную твердость духа, без малейшего волнения, в готовности принять и вытерпеть все муки. Образованием своим он был обязан не столько хорошим наставникам и учебным заведениям, сколько отличным способностям своим и великой цели всей жизни. Много лет трудился он над «Русской правдою», которая не многим кому известна от начала до конца, а подлинник в свинцовом ящике, закопанный в мерзлую землю близ деревни Кирпасовки Заикиным и Пушкиным, передан в собственные руки императора, как я уже упомянул выше. При каждой двери квартиры его был приделан колокольчик, так что он всегда успевал прятать свои бумаги от нежданных гостей. Весь труд свой сообщил он сам Алексею Петровичу Юшневскому, бывшему интенданту 2-й армии, мужу большого ума, с самыми строгими правилами нравственности. Отдельные части «Русской правды» сообщал он и посторонним, и П. Д. Киселеву, и многим членам, от которых мог ожидать дельных примечаний или дополнений. Сущность «Русской правды» заключала в себе распределение обширнейшей в мире страны на области и округи по местности и по составу населения, но притом — единство России. Как ныне Финляндия, так могло бы существовать и Царство Польское 1815 года, но никогда не было ни помышления, ни речи, ни сделки об отречении России от Польши; перенесение правительственных мест в Нижний Новгород; освобождение всех крестьян из крепостной зависимости и наделение всех землею в собственность; общинное управление крестьян; гласное судопроизводство с присяжными по делам уголовным; преобразование войска и уменьшение срока обя-

зательной службы. Все собеседники Пестеля безусловно удивлялись его уму положительному и проницательному, дару слова и логическому порядку в изложении мысли. Коротко знавшие и ежедневно видавшие его, когда он был еще адъютантом графа Витгенштейна, сравнивали его голову с конторкою со множеством отделений и выдвижных ящиков: о чем бы ни заговорили, ему стоило только выдвинуть такой ящик и изложить все с величайшею удовлетворительностью. Составитель и редактор отчета, или Донесения Следственной комиссии, собрав материал свой из частных разговоров, показаний, мнений нескольких членов общества, выставляет Пестеля как честолюбца непомерного, думавшего только о собственной своей славе, о своем личном повышении. Кто хочет верно оценить Пестеля, тот должен знать его «Русскую правду». Насчет замечаний[153] о его действиях как полкового командира должно помнить, что они сделаны Майбородою, предателем, который был его казначеем, истратил для себя полковые деньги в Москве, куда послан был для покупки офицерских вещей и казенных, и был великодушно спасен Пестелем от стыда и от суда. Относительно замечания Рылеева, что в Пестеле можно скорее предугадывать Наполеона, чем Вашингтона, то оно было извлечено из частной беседы его после первого знакомства с ним, когда Пестель укорял Северное общество в бездействии и предложил соединить Северное с Южным. В роковую ночь он приобщился св. тайн у пастора Рейнбота, который изъявил ему свою готовность сопутствовать ему до последней минуты; но Пестель благодарил и и отказал ему в предложении, заметив, что довольно будет напутствования одного священника русского, что он сам приготовился на все и что у всех христиан спаситель един. Пестель оставался спокойным до последнего мгновения, он никого ни о чем не просил[154]; равнодушно смотрел, как заковали ноги его в железо, и когда под конец надели петлю, когда из-под ног столкнули скамейку, то тело его оставалось в спокойном положении, как будто душа мгновенно отделилась от тела, от земли, где он был оклеветан, где трудился не для себя, где судили его за намерения, за мысли, за слова и просто умертвили. Ссылаюсь на решения и доказательства лучших и опытнейших юристов.

Я не пишу биографий моих товарищей и соузников,

а только кратко касаюсь последних минут их земной жизни, припоминая главные черты их характера. В моих записках я уже не раз упоминал о Кондратии Федоровиче Рылееве. Вся жизнь его, от самого выпуска из 1-го Кадетского корпуса в конную артиллерию, дышала любовью к отечеству. Прочтите его сочинения — вы повсюду найдете эту любовь, готовую принять все муки адские, лишь бы быть полезным своей стране родной. Читайте думу «Волынский», «Исповедь Наливайки», поэму «Войнаровский» — вы в них услышите и увидите самого Рылеева. Всего теснее и искреннее был он связан с Оболенским и с Николаем и Александром Бестужевыми; двое первых написали биографию Рылеева[155], мне остается только досказать, что он в досужие часы от дел Американской торговой компании, коей он был секретарем, хаживал в губернское правление; вызывался хлопотать за людей безграмотных, бедных или притесненных, так что в последние годы все такие просители хорошо его знали. Я уже доказал, как он безусловно и охотно жертвовал собою при восстании 14 декабря; он предвидел неудачу, но хотел явного восстания, явного требования прав, в полном убеждении, что иначе народу не получить того, что ему следует. Он был душою этой попытки; с радостью принимал он на себя всю ответственность; сам просил императора и комиссию и комитет, чтобы его не щадили, но чтобы облегчили участь товарищей его, о чем даже упоминается и в Донесении Следственной комиссии. Только не знаю, откуда редактор Донесения почерпнул, что будто бы Рылеев сам не являлся на Сенатскую площадь, когда я сам видел его там; но ему незачем было долго там оставаться, потому что он деятельнее всех других собирал силы со всех сторон: ездил по всем казармам, по караулам, искал отдельных лиц, не явившихся к сборному месту. Он только не мог принять начальства над войском, не полагаясь на свое уменье распорядиться и еще накануне избрав для себя обязанность рядового. В каземате в последнюю ночь получил он позволение писать к жене своей; он начал, отрывался от письма, молился, продолжал писать. С рассветом вошел к нему плац-майор со сторожем, с кандалами и объявил, что через полчаса надо идти: он сел дописать письмо, просил, чтобы между тем надевали железы на ноги. Соколов был поражен его спокойным видом и голосом. Он съел

кусочек булки, запил водою, благословил тюремщика, благословил во все стороны соотчичей, и друга и недруга, и сказал: «Я готов идти!»

В 12-м нумере Кронверкской куртины заключен был накануне казни Сергей Иванович Муравьев-Апостол 2-й. Его пламенная душа, его крепкая и чистейшая вера еще задолго до роковой минуты внушали протоиерею П. Н. Мысловскому такое глубокое почитание, что он часто и многим повторял: «Когда вступаю в каземат Сергея Ивановича, то мною овладевает такое же чувство благоговейное, как при вшествии в алтарь пред божественною службою». Так чисты были его помышления, так сердце его исполнено было любви к спасителю и к ближнему. Беседы его были всегда назидательны и утешительны. С юных лет предметом любимой мысли его было благо отечества; для него учился он старательно сперва дома, после в корпусе путей сообщения генерала Бетанкура, наконец в Париже; служил в л.-гв. Семеновском полку, откуда после восстания полка в 1820 году при распределении целого полка по всем полкам армии переведен был в Черниговский пехотный полк подполковником. Для отечества он готов был жертвовать всем; но все еще казалось до такой степени отдаленным для него, что он иногда терял терпение; в такую минуту он однажды на стене Киевского монастыря карандашом выразил свое чувство. В. Н. Лихарев открыл эту надпись:

Toujours rêveur et solitaire,
Je passerai sur cette terre,
Sans que personne m'ait connu;
Ce n'est qu' au bout de ma carrière,
Que par un grand trait de lumière,
L'on verra ce qu'on a perdu[156].

Душа его была достойна и способна для достижения великой цели. В последние минуты жизни он не имел времени думать о себе. Возле его каземата в 16-м нумере сидел юный друг его — Михаил Павлович Бестужев-Рюмин; нужно было утешать и ободрять его. Соколов и сторожа Шибаев и Трофимов не мешали им громко беседо-

---

* Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду, не знаемый никем.
Лишь пред концом моим,
Внезапно озаренный,
Познает мир, кого лишился он (франц.).

вать, уважая последние минуты жизни осужденных жертв. Жалею, что они не умели мне передать сущность последней их беседы, а только сказали мне, что они все говорили о спасителе Иисусе Христе и о бессмертии души. М. А. Назимов, сидя в 13-м нумере, иногда мог только расслышать, как в последнюю ночь С. И. Муравьев-Апостол в беседе с Михаилом Павловичем Бестужевым-Рюминым читал вслух некоторые места из пророчеств и из Нового Завета.

В числе осужденных Муравьевых были члены домов, связанных между собою близким и дальним родством. С. И. и М. Н. Муравьевы-Апостолы, получившие сложное фамильное имя от предка по матери, гетмана Даниилы Апостола, — они были двоюродные братья А. З. Муравьева, шурина графа Е. Ф. Канкрина, и приходились троюродными братьями Никите Михайловичу и Александру Михайловичу Муравьевым, которых отец был наставником Александра I[157]. Александр Николаевич Муравьев, бывший нижегородским гражданским губернатором незадолго до кончины своей, был старший сын генерала Н. Н. Муравьева, известного основателя и директора школы колонновожатых в Москве.

Михаилу Павловичу Бестужеву-Рюмину было только 23 года от роду[158]. Он не мог добровольно расстаться с жизнью, которую только начал; он метался как птица в клетке и искал освободиться, когда пришли к нему с кандалами. Пред выходом из каземата он снял с груди своей образ спасителя, несущего крест, овальный, вышитый двоюродною сестрою, оправленный в бронзовый обруч, и благословил им сторожа Трофимова. Я видел этот образ, предложил меняться, но старый солдат не согласился ни на какие условия, сказав, что постарается отдать этот образ сестре Бестужева. На этом образе дали клятву двенадцать членов тайного общества союзных славян[159].

Петр Григорьевич Каховский, в последний день заточения, 12 июля, содержался в каземате под другим сводом Кронверкской куртины, не под надзором Соколова и Шибаева, почему, к сожалению, я не имел подробных верных сведений о последних часах его жизни. Он был очень молод, службу свою начал он в л.-гв. Гренадерском полку и по домашним обстоятельствам вышел в отставку[160]. Между тем как нас вывели на площадь пред

гласисом для решения приговоров, то пятерых товарищей, осужденных на смертную казнь, повели в саванах и в кандалах в крепостную церковь, где они еще при жизни слушали свое погребальное отпевание. Когда мы уже возвратились с гласиса в крепость, то их шествие из церкви потянулось к Кронверкскому валу. На пути Сергей Иванович Муравьев-Апостол не переставал утешать и ободрять своего юного друга Михаила Бестужева-Рюмина и раз обернулся к духовному отцу П. Н. Мысловскому и сказал ему, что он очень сожалеет, что на его долю досталось сопровождать их на казнь как разбойников; на это замечание священнослужитель ответил ему утешительными словами Иисуса Христа на кресте к сораспятому с ним разбойнику. Когда дошли до места виселицы, то они еще раз обнялись между собой, стали в ряд на высокую скамейку, и когда петли были уже надеты, когда столкнули скамейку, то тела Пестеля и Каховского остались повисшими; но Рылеев, Муравьев и Бестужев испытали еще одно ужасное страдание. Палач, нарочно выписанный из Швеции или Финляндии, как утверждали, для совершения этой казни, вероятно, не знал своего дела. Петли у них не затянулись, они все трое свалились и упали на ребро опрокинутой скамейки и больно ушиблись. Муравьев со вздохом заметил, что «и этого у нас не сумели сделать»; этот язвительный упрек был вызван сильною болью от раны в голову 3 января, которая еще не зажила. Пока снова устанавливали скамейку, перетянули веревки, прошло несколько минут, и продлилась мука от вторичной борьбы с другою вторичною смертью. Весь день оставались на позорной выставке. С приближением ночи сняли трупы; одни говорили, что ночью в лодке перевезли тела в рогожах и зарыли на берегу Гутуева острова, другие же утверждали — на прибрежии Голодая, еще другие — что их зарыли во рву крепостном с негашеною известью близ самой виселицы[161]. Так кончилось решение суда 13 июля <...>[162].

В распределении разрядов есть странности непонятные: разделение и присуждение наказаний выходит предрешенное. Сентенции 2-го разряда не разнствуют от сентенций 1-го разряда, а осуждение совершенно различно. В одной сентенции сказано, что он изменил свой прежний образ мыслей, а между тем наказан наравне с теми, которые не изменили своему образу мыслей. В нескольких

сентенциях сказано, что отстали от умысла на цареубийство, а между тем они наказаны за этот умысел. О М. А. Назимове сказано, что участвовал в умысле бунта принятием в тайное общество одного товарища, между тем как совершенно освобождены от наказания очень многие, принявшие новых членов. Есть даже осуждения за дерзкие слова в частном разговоре. Смягчения приговора суда предоставлены личной милости царя. На милость образца нет; но внимательный и беспристрастный читатель спросит: отчего 11 июля при смягчении наказаний[163] по приговору Верховного уголовного суда в пяти первых разрядах из числа 71 человека государь исключил из этой милости только Николая Бестужева 1-го, Михаила Бестужева 3-го, Михаила Глебова и Андрея Розена и весь 8-й разряд, кроме Бодиско 1-го. Догадки мои сообщены уже выше. Но длинная оговорка в сентенции Николая Цебрикова в последнем разряде[164] заставляет безошибочно заключить, что при этих именах особенно вспомнили тех людей, которых после, в продолжение всего царствования своего и еще при последней минуте своей жизни, государь не переставал припоминать и называть «mes amis du quatorze»*, своими приятелями 14 декабря.

Так окончились существование тайных обществ, заговор, восстание, суд и исполнение приговора. Нельзя было оставить без наказания нарушение существующего закона. Не только русские, но и иностранцы предвидели наказание жестокое, почему Англия и Франция чрез представителей своих, маршалов Веллингтона и Мортье, прибывших в Петербург для поздравления Николая I с восшествием на престол, просили о помиловании и о пощаде государственных преступников. Названные державы прошли чрез горнила восстаний и революций; они хорошо знали, чем вызываются мятежи и чем они устраняются. Особенно Англия сочувствовала общественному делу, быв убеждена в недостаточной опоре тогдашнего русского судопроизводства. Император Николай I ответил Веллингтону, что он удивит Европу своим милосердием[165].

Журналы и газеты русские твердили о бесчеловечных умыслах, о безнравственной цели тайных обществ, о же-

* мои друзья по четырнадцатому (франц.).

стокосердии членов этих обществ, о зверской их наружности. Но тогда журналы и газеты выражали только мнение и волю правительства; издатели не смели иметь своего мнения, а мнения общественного не было никакого. Из русских один только Н. М. Карамзин, имевший доступ к государю, дерзнул замолвить слово, сказав: «Ваше величество! заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!»

Здесь представляется важнейший вопрос: «Можно ли было избегнуть основания тайных обществ?» Всякая тайна в семействе ли, или в клубе, или в полку, или в обществе частном есть дело нехорошее и всегда опасное, тем более когда члены, поверенные тайны, бывают многочисленны и цель их касается не одного лица или особого предприятия торгового или промыслового, а целого строя народа и государства. Это не артели, не ассоциации для работ и различных устройств, где цель общества известна и для всех явна. Опыт достаточно показал, что к составлению серьезных тайных обществ прибегали доныне только в крайних случаях: такие общества почти никогда не имели определенной цели. Действия их были неудовлетворительны, потому что были тайны. В государстве, в коем обнаруживается несправедливость, своевластие, притеснение со стороны правителей, там без составления тайного общества люди честные и образованные, не зная лично друг друга, составляют сами собою общество против порока и беспорядка. Без сомнения, в странах, в коих водится хоть сколько-нибудь свободы теснения, хоть сколько-нибудь гласности и в коих частное лицо может передать печатно и устно свои убеждения по делу общественному, там на что тайное общество? Оно было бы бессмыслием. Но в России, только что избавленной от «слова и дела», от «тайных канцелярий», не было ни одной основы государственной; все прежние и новые законы подчинены были неограниченной власти государя, озаренного европейскою славою, наименованного Благословенным и избавителем Европы, даровавшего конституцию Польше, Финляндии, свободу крестьянам прибалтийских губерний, мужа умного, доброго, искренно желавшего блага для своего отечества и вместе с тем лишенного всех средств сделать что-нибудь для гражданственной жизни своего отечества. Александр I в послед-

нее десятилетие своего царствования свалил все бремя государственного управления на плечи Аракчеева, на слугу ему верного, но не государственного мужа, а сам подчинился наущениям Меттерниха и под конец предался мистицизму и думал только о спасении собственной души своей.

Состав Следственной комиссии подробно изложен в 4-й главе. В этой комиссии не было судьи: все члены ее более или менее были обвинители. Они могли заподозрить кого угодно, но не имели права осудить без доказательств. 17 мая 1826 года эта комиссия выбрала 121 виноватого[166]. Верховный уголовный суд не судил, не рядил, а только приговорил 10 июля по спискам и указаниям Следственной комиссии. Жертвы заранее были обречены комиссией. Н. И. Тургенев в своем сочинении «La Russie et les Russes, 3 tomes. Bruxelles, 1847» в первом томе, желая облегчить участь своих товарищей, перебирает подробно, построчно все Донесение Следственной комиссии. Лучшие юрисконсульты Европы определили, что следовало бы исключить большую половину из списка осужденных, а именно всех не участвовавших в двух восстаниях; а если число 121 было непременно необходимо, то можно было бы дополнить его другими именами из более важных членов, оставленных без наказания. Великий князь Константин Павлович при чтении приговора суда заметил: «Тут главнейших заговорщиков недостает; следовало бы первого осудить или повесить Михаила Орлова»[167]. Комиссия доискивалась до важнейших лиц из государственных мужей. Она доведывалась, не принадлежали ли к обществу Сперанский, Мордвинов, Ермолов, П. Д. Киселев, Меншиков и другие[168]. Если она заподозревала их по образцу мыслей, то по тому же самому бесспорно надлежало бы признать ей за первого и за главного члена самого имп. Александра I. По этому случаю и по дознаниям по делу Польского общества задержан был в каземате Г. С. Батенков 20 лет[169], а А. О. Корнилович из читинского острога был фельдъегерем обратно вывезен в Петропавловскую крепость в Петербург[170]. Кто внимательно вникнет в Донесение Следственной комиссии, тот легко найдет, что большая часть обреченных жертв была осуждена не за действия, а за разговоры и наговоры на них. Мало ли что говорится в кругу задушевных товарищей? Мало ли кого посылаем

в ад и уничтожаем словом? А между тем от слова до дела расстояние неизмеримо. Припомните вышесказанное мною о том, как содержались по этому делу арестанты в крепости, их казематы; припомните, что на заточенного, для вынуждения сознания, надевали наручники, кандалы, на некоторых и то и другое одновременно, уменьшали пищу, беспрестанно тревожили сон их, отнимали последний слабый свет, проникавший чрез амбразуру крепостной стены в окошечко с решеткою частого переплета железных пластинок, и согласитесь, что эти меры стоили испанского сапога британского короля Якова II и всех прочих орудий пытки. Пытка при Якове продолжалась несколько минут, часов, иногда в присутствии короля, а наша крепостная продолжалась несколько месяцев. Можете ли вы себе представить, что грезится человеку в таком положении и как легко ему проговориться и пропасаться, не щадя ни себя, ни других! Комиссия с особенным пристрастием налегала на обвинение в намерении совершить цареубийство. Верховный уголовный суд во всех своих сентенциях ставил главным преступлением намерение цареубийства и выставил четырех человек из соединенных славян как кровопийц, как зверей кровожадных. Комиссия сама печатно объявила, что такие предложения были сделаны только А. З. Муравьевым, Ф. Ф. Вадковским, И. Д. Якушкиным и А. И. Якубовичем; но та же комиссия упоминает, что на такие предложения смотрели как на внушения личной мести, или ухальства, или хвастовства и что такие предложения вовсе не были приняты присутствовавшими членами. Почему же эта самая комиссия после всех своих запросов, исследований и собственных своих выводов не исключила обвинения в том, что, как оказалось после, было предметом только предложения, но тогда же было отменено или отсрочено?*

На этот вопрос нетрудно ответить. Комиссии и Верховному уголовному суду также необходимо было налегать главнейшим образом на это уголовное преступление для повода к осуждению, как им необходимо было скрыть и умолчать о главных приготовленных мерах к освобождению крестьян из крепостной зависимости и к преобразо-

---

* Смотри Донесение Следственной комиссии, напечатанное в военной типографии Главного штаба, стр. 11, 27, 38, 44, 48, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 66, 67. (Примеч. А. Е. Розена.)

ванию всех частей государственного управления, потому что это могло бы вызвать сочувствие в народе к осужденным государственным преступникам[171]. Зато императорский манифест от 13 июля 1826 года утверждает, «что Следственной комиссии посредством усердия, и точности, и беспристрастия и с помощью самых убедительных мер удалось смягчить сердца самых закоренелых преступников, возбудить в них угрызения совести и понудить их к откровенным чистосердечным признаниям»[172].

Большая часть осужденных и сосланных моих товарищей покоится в могиле и осталась только в памяти своих родных и близких знакомцев. Их знали только до изгнания; мало слышали о жизни их и трудах в Сибири; теперь знают очень немногих, переживших тридцатилетнее изгнание. Из ста двадцати одного товарища остались только 14, в этом числе только трое из декабристов[173]. Скоро не останется никого; вот почему спешу окончить пересмотр и довершение моих глав. По милостивому манифесту от 26 августа 1856 года возвратились на родину сперва только 14 человек; после них еще 6. Против своего желания, по предписанию начальства сослан из Сибири в Москву Дмитрий Ириархович Завалишин в 1864 году. Решился оставаться в прежнем месте заточения в Петровском Заводе за Байкалом один только Иван Иванович Горбачевский. Далее, в 21-й главе, за 1856 год, названы сроки и имена всех 20 товарищей, возвращенных по манифесту и прощенных царствующим Александром II[174].

Что скажут правнуки моих товарищей, читая Донесение Следственной комиссии и решение Верховного уголовного суда? В защиту нравственных достоинств членов тайного общества достаточно будет заметить, что император Николай I пренебрег поверьем, что никогда не следует доверяться бывшему заговорщику, и признал полезным не отвергать услуг бывших членов тайного общества, не осужденных, или помилованных, или безусловно прощенных до приговора суда. Из них назначил он трех министрами, четырех — генерал-губернаторами в Петербург, в Ригу, в Вильно, в Киев. Из числа членов тайного общества имел он отличного корпусного командира и войскового атамана, трех передовых действователей в турецко-персидской войне, дежурного генерала, начальника собственной своей канцелярии III Отделения[175]. Воспи-

тание в военно-учебных заведениях большинства юношей русского дворянства вверено было главному надзору бывшего члена тайного общества Я. И. Ростовцева.

Не называю начальников дивизий и губернаторов; не называю бывших членов тайного общества, оставивших службу и посвятивших свое достояние и свои досуги на пользу общую: их много! Приблизительно можно легко себе представить многочисленность их, если сообразить, что ими тесно набиты были Петропавловская крепость со всеми ее казармами, куртинами, казематами, равелинами, все гауптвахты петербургские, крепостцы Финляндии, Шлиссельбург, даже в Нарве и в Ревеле сидели арестанты. Мною названы только должностные лица на высших служебных местах, потому что они должны быть известны большинству народа и армии, а сверх того, в доказательство, что эти лица смолоду готовили себя на службу, не одну только воинскую, но и гражданскую, общественную. Если они не могли отвратить всех бедствий в царствование Николая I, то это оттого, что они при всех честных и возвышенных стремлениях своих и как бы велико ни было их усердие, но все-таки составляли каплю в море, сравнительно с общею массою начальников, арендаторов и ненадежных чиновников. Они принуждены были подчиниться общепринятому порядку, форменному, застегнутому, занумерованному, нисколько не соответствовавшему истинной славе государя и истинному благу государства. Они частенько должны были подчиняться воле, не ограниченной никаким законом.

В предыдущей статье я назвал Я. И. Ростовцева, который скончался 6 февраля 1860 года, совершив почти окончательно труд огромнейший по званию председателя редакционной комиссии по делу освобождения крестьян. Издатели «Колокола» бранят его предателем, изменником и беспощадно порицают его за циркулярное наставление его, данное всем военно-учебным заведениям в сороковых годах, в коем главный смысл, «что совесть должно иметь только в собственных и в семейных своих отношениях, а по вступлении в службу воинскую или гражданскую совесть заменяется волею и приказанием начальства»[176]. Издатели «Колокола» забыли источник подобного приказания. Ростовцев, как орудие, имел несчастье подписать такую бумагу; он не мог быть сочинителем или поводом такого приказа. Приказ этот совер-

шенно согласовался с убеждением единодержавного властителя, высказанным им самим несколько раз при личных своих допросах в декабре 1825 года. Государь объявлял свою волю, и вся Россия скрепляла и исполняла ее беспрекословно. Винить Ростовцева за такую бумагу будет все то же, что винить монаха Тецеля за торг отпускными свидетельствами за грехи или министров Людовика XIV за промахи и ошибки государя, уверившего самого себя, что в нем, в его лице, сосредоточено все государство. По этому обвинению Ростовцева прилагаю в подлиннике письмо Евгения Петровича Оболенского ко мне от 20 марта 1860 года; он знал его короче и лучше многих. Вот собственные слова его о Я[кове] И[ванович]:

«А кончина Якова Ивановича как болезненно отозвалась у всех тех, которые умели его ценить! Теперь начинает пробуждаться к нему сочувствие; теперь начинают говорить, что в последний год своей жизни он выказал те душевные качества, которых никто в нем не подозревал. Много и много пострадал покойник от клеветы и недоброжелательства. Учение о совести, за которое на него так напал Герцен, Яков Иванович послал мне в копии то, что им было предписано для руководства по военно-учебным заведениям. Смысл следующий: личною совестью мы руководимся в наших отношениях личных и тайных — она осуждает наши злые помышления и дела, она ободряет нравственные побуждения и дела; но в жизни общественной, в тех наших деяниях, которые явны и видимы всеми, личную нашу совесть заменяет совесть общественная — верховная власть, которая карает за нарушение законов или порядка и награждает за гражданские или военные доблести. То же самое повторил и профессор Кавелин в курсе законоведения, напечатанном во всеобщее сведение[177]. Тут есть юридическая тонкость, но не в той силе, как ее представил Герцен. Судья определяет по закону наказание за вину явную, совесть может его лично обличить в подобном проступке, и внутренний голос скажет: осуди себя самого, прежде нежели осудишь другого; но он тут должен заставить замолчать свою совесть и подписать осуждение по долгу судьи. Но довольно о почившем. Последнее его предсмертное слово была просьба государю — не оставлять крестьянского вопроса, порешить его, не откладывать в долгий ящик. Одним

словом, он сложил свою жизнь при решении этого вопроса, и освобождение крепостного населения нашей православной Руси неразрывно будет соединено с его именем. Память об его отношениях ко мне будет для меня отрадным воспоминанием до конца моей жизни».

Подлинник этого письма, написанного Е. П. Оболенским из Калуги от 20 марта 1860 года, хранится у меня[178].

Глава шестая

О ПРИЧИНАХ ОСНОВАНИЯ ТАЙНЫХ ОБЩЕСТВ ВООБЩЕ И ОБ АКТЕ ОБВИНИТЕЛЬНОМ В ОСОБЕННОСТИ

Главная причина. — Донесение Следственной комиссии. — Мнение Н. И. Тургенева, И.-Г. Шницлера и других.— Вывод из обвинений.— Письмо Е. П. Оболенского

Всех подсудимых спрашивали: «Что побудило вас вступить в тайное общество?»[179] Главная общая причина была едина, но ответы были различны, чтобы уменьшить для себя степень наказания. Так, одни ответили: любовь к отечеству; другие — обещание императора на Варшавском сейме 15 марта 1818 года[180]; третьи — мода и пример самых образованных и нравственных мужей в обществе; четвертые — злоупотребления начальников; пятые — грабительство и воровство бюрократии; еще другие — обскурантизм, всеподавляющая темнота сравнительно с государствами благоустроенными; еще другие — общая повсеместная безурядица сверху и снизу. Все это заключало в себе довольно побуждений, чтобы желать переворота и содействовать ему.

Французская революция 1789 года выгнала к нам тысячи выходцев, между ними людей весьма образованных из высших классов, но также много умных аббатов и всяких учителей. Первые из них имели влияние на высший круг нашего общества по образованию и по тонкости в общежитии; вторые — по религии и вкрадчивости в дела семейные; последние вперемежку с аббатами заняли места воспитателей и, сами убежав от революции, посеяли в русском дворянском юношестве первые семена революции. Это юношество возмужало, участвовало в войнах 1813, 1814 и 1815 годов, ознакомилось с учреждениями других государств и вступило в союзы или общества для преобразования своего отечества. Члены общества соби-

рались в своих кружках, все знали их по их умственным занятиям, по их жизни благонравной, по заслуженному уважению, которое явно им оказывалось и в полках и в обществе; так мудрено ли, что наблюдатели, жаждавшие познаний, искавшие занятий и значения в обществе, пристали к ним и сделались членами сперва литературных и ученых обществ, а потом тайных политических? Можно сказать утвердительно, что все образованные люди или имевшие притязание быть такими принадлежали к тайному обществу если не по спискам, то по цели и по собственному стремлению. Они были также подстрекаемы крайнею необходимостью: они видели ясно, что император, спаситель Европы, восстановитель Польши, освободитель крепостных людей прибалтийских губерний, поощритель просвещения, распространитель Евангелия, вдруг начал по наущениям Меттерниха подавлять всякое народное движение к вещественному и умственному улучшению. Стал умалять льготы, данные Польше; по козням Аракчеева, Фотия и Магницкого отрешил от должности князя А. Н. Голицына и лучших профессоров Педагогического института[181], и не только в своем отечестве, но и в других странах останавливал ход вперед и отказал в помощи грекам[182]. При таких данных они видели, что частное, одиночное, тайное их действие на пользу народа обратится в ничто, и потому решились на действие совокупное и явное. На помощь государя пропала вся надежда, а зло, самоволие высших и самоуправство низших начальников обнаруживали страшную наглость, так что А. А. Бестужев мог правдиво ответить комиссии на вопрос, в чем же состояли эти злоупотребления: «У нас кто смел, тот грабит, а кто не смел, тот крадет!»[183]

Избавлю себя и читателей от длинного перечня всех главных злоупотреблений и недостатков, вызвавших основание тайных обществ. Все это зло еще в свежей памяти и раскрывается еще яснее в новейшее время, после 19 февраля 1861 года, как в разысканиях управного земства, так и в новейшей печати. Здесь отмечу только, что в Донесении Следственной комиссии не сказано ни слова об истинной цели тайных обществ, о средствах, принятых к истреблению зла, — об освобождении крестьян, обо всех подробностях нововведений по всем частям государственного устройства, особенно по части народного образования. Н. И. Тургенев в своем сочинении «Россия

и русские» в трех томах, на французском языке, развернул все существовавшие недостатки по правде без преувеличений. Уверяю, что редактор Донесения Следственной комиссии знал о целях обществ гораздо лучше и подробнее многих, потому что был в дружбе и в связи со многими главнейшими членами тайного общества, и вот одна из главных причин, почему Н. И. Тургенев так беспощадно отделал докладчика, что даже увлекся до того, что в своем справедливом негодовании укорял его даже преступлениями предка[184]. Докладчик или редактор имел деликатность просить государя, чтобы уволить его от присутствования при личных допросах. Из подсудимых никто не видел его в лицо во время допросов; подсудимые сначала даже не знали, что ему поручено было составить Донесение из всех письменных показаний и что он после призван был в Верховный суд для справок[185], в чем засвидетельствовали письменно Оболенский и Волконский*. Подсудимые никакого притязания не имели на то, чтобы он был их адвокатом или защитником; но они имели право требовать, чтобы главные показания, относящиеся к делу, были непременно выставлены с полным беспристрастием, без пропуска важнейших обстоятельств. Г-н Ковалевский в упомянутой своей книге пишет на стр. 169-й: «Отказаться от возлагаемого на него поручения он полагал невозможным, пока состоит на службе, считая строгое исполнение обязанностей первым долгом гражданина». Но строгое исполнение обязанностей предписывало не утаивать главных обстоятельств дела, а если правительство требовало этого непременно, то в таком случае взять назад свое Донесение или оставить службу. Далее г-н Ковалевский на стр. 178-й пишет: «В строгом юридическом значении обвинение это слишком важно: оно состоит в подлоге, сделанном с предположенной и заранее обдуманной целью». Подлога допускать невозможно; также не допускаю, чтобы вред подсудимым был сделан с обдуманною целью; но беспристрастный и внимательный читатель Донесения, от начала до конца, удостоверится, что Донесение составлено с беспримерным легкомыслием, с лихорадочною торопливостью и с угожде-

---

* «Граф Блудов и его время» Ег. Ковалевского. СПб., 1866, в типографии II Отделения е. и. в. канцелярии, стр. 176 и 177[186]. (Примеч. А. Е. Розена.)

нием верховной власти. Куда же в это время девалось высокое убеждение Блудова, которое он не выставил напоказ, но хранил в душе своей и сообщил в частном письме к жене своей (может быть, по окончании своего Донесения): «Правда, правда! она лучше всего в мире. Служение ей есть служение богу, и я молю его, чтобы наши дети во всю жизнь были ее обожателями, исповедниками, а будет нужно — и страдальцами»*. Невольно прослезишься, когда читаешь, что человек с таким убеждением мог отклонить от правды хоть на минуту. Верховный уголовный суд не судил, но осудил, приговорил 121 человека, распределив их на двенадцать разрядов, руководствуясь Донесением Следственной комиссии, и кончил все многосложное дело тысячелистное в две недели[187]. Не вхожу ни в какое личное обвинение, сделанное Н. И. Тургеневым: он хорошо знает и твердо помнит, что было между ним и Д. Н. Блудовым; но прочтите все, что напечатано в Донесении Следственной комиссии, тогда вы должны согласиться с Н. И. Тургеневым, что Донесение написано как эпиграмма, в шуточном тоне. Докладчик или редактор издевался, когда затрагивал «Русскую правду» Пестеля, когда выбирал отрывки из частных разговоров, сообщал бредни заточенных или выписку из катехизиса соединенных славян и т. д. Все эти нелепости и сплетни верно выставлены в сочинении Н. И. Тургенева, советую читателю прочесть эту книгу и убедиться в истине моих слов. Здесь обращаюсь только к главнейшему обвинению со стороны комиссии, по коему последовали главнейшие приговоры суда, — к обвинению в цареубийстве; надеюсь этим доказать правдивость моего собственного мнения о докладчике или сочинителе Донесения и обличить его в непростительной торопливости, в беспримерном легкомыслии и в неуместном угождении высшей власти.

В Донесении сказано:

На стр. 10: «Чтобы устав, проповедовавший насилие, употребление страшных средств кинжала, яда, был отменен, и вместо оного принять другой из устава «Tugendbund»[188].

---

* «Граф Блудов и его время», стр. 116. (Примеч. А. Е. Розена.)

* La Russie et les Russes par N. Tourgueneff. Bruxelles, 1847, trois tomes. (Примеч. А. Е. Розена.)

Стр. 11: «Князь Шаховский изъявил готовность на ужаснейшее преступление, но вспоследствии он отстал от общества и жил в отдаленной деревне».

Там же: «Якушкин предложил себя в убийцы, все прочие члены остановили его; Якушкин повиновался и на время разорвал связь с обществом».

Стр. 20: «Все бывшие с ними члены отвергли предложение, как преступное».

Стр. 24: «Генерал Фонвизин утверждает, что все окончилось предположениями и признанием, несколько раз повторенным, что *никакая цель не оправдывает средств*».

Стр. 26: «Секретарь, титулярный советник Семенов прибавляет, что другие члены общества не обнаруживали злодейственных намерений против императорской фамилии».

Стр. 31: «С. Муравьев-Апостол противился их мнению, он не хотел цареубийства».

Там же: «Бестужев-Рюмин осуждал намерение сообщников своих, доказывая, что члены императорской фамилии по совершении революции не будут опасны».

Стр. 35: «Но смотра не было, потому даже не сделано предложения назначенным в убийцы и, может быть, не рожденным для злодейства офицерам и рядовым».

Стр. 37: «Как! — вскричал Никита Муравьев. — Они бог весть что затеяли: хотят всех истребить».

Стр. 38: «Никита Муравьев сказал: «Я объявлю этим господам, что императорская фамилия священна».

Стр. 39: «Кривцов и А. М. Муравьев говорят, что, находя предложение Вадковского нелепым, сочли его за шутку».

Стр. 41: «Знаешь ли, Поджио[189], что это ужасно!» — сказал Пестель.

Стр. 43: «Никита Муравьев нашел сей план равно и варварским, и несбыточным».

Стр. 44: «Пестель должен был согласиться оставить все в прежнем виде до 1826 года».

Там же: «Если бы императорская фамилия не согласилась принять его конституцию, то предложить республиканское правление».

Стр. 47: «Положили начать возмущение не позднее августа 1826 года».

Стр. 48: «Горбачевский сказал: «Но это противно богу и религии».

Стр. 49: «Сам Швейковский убедительно, со слезами просил товарищей не жертвовать собою, отложить всякое действие; они согласились, однако дали слово начать непременно в 1826 году».

Стр. 50: «Тизенгаузен сказал: «Начинать чрез год! разве чрез 10 лет».

Там же: «Артамону Муравьеву худо верили, считая его самохвалом и яростным более на словах, нежели в самом деле».

Там же: «Они расстались, твердя о плане на 1826 год между собою и Соединенными славянами».

Стр. 51: «Пестель не одобрял их планов, он знал невозможность исполнения, предвидел, что и в 1826 году нельзя будет ни на что решиться».

Стр. 55: «Они старались удержать Якубовича от дела бесполезного, даже вредного».

Там же: «Рылеев сказал Трубецкому: «Якубовича можно бы спустить с цепи, да что будет проку?» Рылеев хотел просить его на коленях отложить хоть на месяц или на два, грозя, если он не согласится, убить его или донести правительству. Якубович сказал, что уступает и отлагает до мая 1826 года».

Стр. 56: «Фонвизин, Орлов и Никита Муравьев говорили, что должно препятствовать Якубовичу всеми возможными средствами, а в крайности уведомить правительство».

Стр. 58: «Когда сказали Батенкову, что можно и во дворец забраться, то он возразил с жаром: «Сохрани, боже! дворец, во всяком случае, должен быть неприкосновенным, священным залогом безопасности общей».

Стр. 60: «Что делать, если государь не согласится на их условия?»

Стр. 66: «Но потом отклонил предложение за невозможностью исполнить, которое признали и все другие».

Там же: «На очной ставке Каховский признал, что Александр Бестужев наедине уговаривал его не исполнять поручения, данного ему Рылеевым 13 декабря»[190].

Стр. 67: «Якубович вызывал бросить жребий, кому из пяти присутствовавших быть убийцею, и, видя, что все молчат, он сказал: «Впрочем, я за это не возьмусь,

у меня доброе сердце; я хотел мстить, но хладнокровно убийцей быть не могу».

Стр. 68: «Якубович предлагал разбить кабаки и дозволить грабеж, но предложение было единодушно отвергнуто всеми членами. Оболенский утверждает, что Рылеев с жаром восставал против мысли разбить даже один кабак, чтобы напоить солдат».

Там же: «Рылеев показывает: «Мы хотели только захватить фамилию и держать ее под стражею до Великого Собора (съезда представителей народа), который решил бы судьбу всех».

Стр. 74: «Булатов продолжал: «Дадим же друг другу слово, что завтра, если средства их не соразмерны замыслам, то мы не пристанем к ним». Якубович на это согласился. Так, все те, которых заговорщики назначили своими начальниками в решительный день, заранее готовились их бросить».

Приведенными выписками, слово в слово, из Донесения Следственной комиссии[191] само собою рушится положительное и доказательное обвинение всех подсудимых в намерении цареубийства; но Донесению нужно было опереться на этом важном преступлении, чтобы отклонить внимание русских и иностранцев от действительной политической цели тайных обществ.

Следственная комиссия, как видно из моих вышеприведенных выписок, обвиняет даже за намерения; но законы воздерживаются от взыскания за намерения, потому что как бы они ни были преступны, но могут быть добровольно оставлены без исполнения, по какому бы то ни было побуждению. Если намерение, какое бы то ни было, отброшено и забыто до выполнения его, то закону нет дела до намерения. Так, Донесение комиссии заключает в себе множество страшных обвинений против Пестеля; но последняя манифестация, последнее публичное его объявление, о коем упоминается в Донесении, уничтожает все предыдущие обвинения. Комиссия доносит на стр. 51-й, что «Пестель не одобрил плана комитета (о возмущении и цареубийстве, о коих выше было упомянуто), но предвидел, что даже в 1826 году невозможно будет предпринять ничего решительного»; несмотря на то, он погиб на виселице! Осуждение Пестеля противно правосудию. Так точно по Донесению комиссии безвинно осудили на изгнание полковника фон дер Бриггена, не

бывшего в Петербурге 14 декабря, а только за то, что слышал о самохвальстве Якубовича и сообщил о том Трубецкому; в том же Донесении сказано на стр. 56-й, «что положено было препятствовать Якубовичу всеми возможными средствами от исполнения своего намерения, а в крайности уведомить правительство». Несмотря на то что предложение Якубовича было принято за безрассудное хвастовство, докладчик или редактор из этого создает проект, сообщенный таким-то лицам, и эта передача вести или молвы послужила поводом к осуждению и изгнанию таких людей, которые противились убийству и против которых в Донесении не было никакого другого обвинения. Следственная комиссия не хотела понять разницы между совершившимся восстанием и намерением совершить его, с одной стороны, а с другой — с намерением совершить цареубийство; она не только осудила мятежников за их действия, но вменила им в преступление и преступные слова и выражения, не имеющие ничего общего с восстанием, даже противоречащие восстанию. Следственная комиссия подвергла позорной казни и изгнанию не только сообщников восстания, но и тех, которые желали восстания или только рассуждали о восстании, не приняв в оном никакого действительного участия. Она нашла равно виновными возмутителей и лиц, рассуждавших только о возмущении. Но кроме этой несообразности мы видим из Донесения, что редактор очернил подсудимых, не имевших защитника или адвоката, а за неимением свидетельств или доказательств он прибегал к шуточкам, к выходкам, как, например, сообщая о пошлых суждениях и правилах патриотизма, о либеральных мнениях и проч., — вот что заставило Н. И. Тургенева сказать с негодованием, весьма простительным: «Везде случалось видеть, как погибали люди, великодушные за преданность свою общественному благу или своему убеждению; только России предоставлено было видеть, как погибали такие люди вследствие шуточек и эпиграмм со стороны тех, которые судили и обрекали их на смерть».

Следственная комиссия, дознав, что заговор этот возбудил в Европе толки и пересуды о России, видела в этом все затруднение своей задачи. Россия знала, что это происшествие привело Европу в сомнение относительно ее силы, что Европа перестанет верить могущест-

ву этого колосса, подверженного также опасности со стороны Польши. Положили скорее уничтожить такое общее мнение в Европе, скрыть действительную цель, уверить иностранные кабинеты, что в европейских журналах и газетах все изложено в превратном виде, чтобы обмануть дипломатический мир. Это мнение подтверждается не только, во-первых, Донесением Следственной комиссии, которое есть не что иное как обвинительный акт по уголовному процессу, но, во-вторых, правительственным распоряжением, чтобы Донесение это сообщено было германскому союзу и другим кабинетам[192]. Барон Аништет, посол и полномочный министр при сейме во Франкфурте, передал ноту президенту сейма 15 июля 1826 года с приложением Донесения. В ноте сказано:

«По принятым правилам его императорского величества обнародовать все обстоятельства относительно всех преступных предприятий и проектов тайных обществ, открытых в России, подписавшийся считает своим долгом сообщить германскому союзу еще дополнительные сведения в доказательство, что правительство не отстранит от себя той системы гласности, которая покажет судопроизводство во всем блеске независимости; поэтому позволяю себе представить германскому союзу окончательное Донесение».

Сейм принял документ с благодарностью и сообщил его центральной комиссии в Майнце, как будто беспокойства в России, вследствие подражания статутам Тугендбунда, могли иметь связь с демагогическими движениями в Германии.

Замечу здесь кстати, что г. Шницлер печатал свою «Тайную историю России под правлением Александра I и Николая I» в 1847 году, не знав тогда, что Н. И. Тургенев в том же году печатал свои три тома «Россия и русские», и очень сожалел, что не мог прочесть их до издания своей истории[193], следовательно, они писали независимо друг от друга, а черпали из общего источника — из Донесения Следственной комиссии.

Документ этот — Донесение Следственной комиссии — был просто обвинительный акт, составленный в пять месяцев с неимоверною поспешностью, если сообразить, что заподозренных было с лишком шестьсот[194], которых вместе со свидетелями надо было привезти в Петербург из-за тысячи верст, из всех мест обширной России. Пра-

вильный ход суда был обойден, весь процесс был веден при замкнутых дверях, без допускания адвокатов, без возражений. Чернышев заметил П. Н. Свистунову: «Вы здесь не для оправдания себя, а для обвинения»; оттого документ этот не имеет никакой законной силы доказательств, хотя и был написан девятью важным лицами*, заслуживающими уважения, но они были назначены государем, пользовались его особенною доверенностью; но независимость их мнения ничем не доказана. Было ли, по крайней мере, соблюдено беспристрастие? Нет, судили и рядили по различному предвзятому масштабу, иначе что означает или как назвать в обвинительном акте умалчивание имен трех основателей Союза благоденствия, бывших позднее членами нового тайного общества, из которых двое оставили общество в 1821 году, а третий еще оставался деятельным членом? Л. А. Перовский, князь И. А. Долгоруков, И. Г. Бибиков[195]. Все трое, особенно тот, кто занимал должность блюстителя управы, были до такой степени причастны делу, что о них Донесение упоминает в трех случаях**; однако все трое освобождены были от суда и, как сказано в Донесении, «заслужили забвение кратковременного заблуждения, извиняемого отменною их молодостью». Однако о других членах, также помилованных и прощенных государем, упоминается поименно в Донесении. В благоустроенных государствах милость оказывается после судоговорения.

Сочинитель, или редактор, Донесения обдуманно избегал резких слов: заговор, возмущение, восстание; он по возможности уменьшал значение события и показал искусство, как скрыть важнейшие обстоятельства, главную цель общества, коих прямое изложение раскрыло бы грехи правительства пред иностранцами и вместе с тем показало бы печальную сторону отечества всем истинно русским. Хотя темницы, казематы и гауптвахты в Петербурге переполнены были арестантами и комиссия уменьшила число подсудимых до 121, однако некоторые, из числа преданных суду, сами старались затруднить комиссию в надежде обезоружить ее множеством прикосно-

---

* Председатель — Татищев, члены — великий князь Михаил Павлович, князь Голицын, Голенищев-Кутузов, Чернышев, Бенкендорф, Левашов, Потапов, скрепил Блудов. (Примеч. А. Е. Розена.)

** Донесение Следственной комиссии, смотри стр. 8-ю, 18-ю в выноске и последние строчки 21-й стр. (Примеч. А. Е. Розена.)

венных к делу, и для этого они вынуждены были прибегать к бесконечным показаниям на других сообщников. Комиссия обошла многих: она старалась преимущественно выставить все то, что могло послужить к осмеянию заговора и заговорщиков, как будто только и было толков и переписок, что о цареубийстве. Редактор с особенным самодовольствием останавливался на утопических мечтаниях нескольких членов, на мнениях, оторванных от общей связи показания, на противоречиях, оказавшихся при частных беседах в различное время, при различных обстоятельствах, — на безначалии, господствовавшем в союзе Северного общества, на пылкости и решимости Южного общества, на запутанности предприятий и предложений, вопреки коим, однако, блюстители управ умели двигаться к цели с непоколебимым постоянством. Далее сочинитель Донесения не преминул указать на все выражения раскаяния со стороны нескольких подсудимых, не для того, чтобы возбудить участие, на которое имеет право всякое искреннее раскаяние, но чтобы ясно доказать, что они по собственному сознанию гнались за целью, более бессмысленною, чем преступною. Так, обдуманно помещены слова Рылеева: «Если кто заслужил казнь, вероятно нужную для блага России, то, конечно, я, несмотря на мое раскаяние и совершенную перемену образа мыслей» (стр. 62-я). Хотели уверить, что эта совершенная перемена заключает в себе осуждение всего предприятия, между тем как эта перемена относилась к употребленным средствам и орудиям, к принятым мерам. В невозможности умолчать о намерении цареубийства сочинитель Донесения останавливается почти на каждой странице на этих отвратительных лютостях, над этими зверскими и кровожадными выходками нескольких отдельных лиц, бывших членами союза, но придумавших убийство сумасбродно, очертя голову, по личному особенному своему побуждению. Он или выпускает из виду все предложенные преобразования, задуманные улучшения, или же выставляет все в таком искаженном виде, в такой несвязности, что невозможно заключить из всего этого о благом стремлении рассудительных людей, любивших добро и свое отечество.

Одним словом, Донесение старалось утаить все то, что надо было скрыть от иностранцев, а также то, о чем не должны были ведать русские. Однако из этого пристрастного Донесения Следственной комиссии иностран-

цы умели вывести заключение гораздо правильнее тех, туземцев, которые находили, что комиссия в изложении события была слишком снисходительна, скромна и великодушна. Все это не помешало дойти до другого заключения: что такое дело мужей, подобных Муравьевым, Тургеневу, Пестелю и другим, с умом и сердцем, хотя и было предосудительно с точки государственного понимания, но нельзя заклеймить деятелей названием безумцев, действовавших будто бы без всякой важной на то причины, не имевших никакой цели определенной. Что Рылеев, Оболенский, Бестужевы и другие, отвергнув от себя намерение или покушение на цареубийство, хотя и признали себя виновными пред богом и людьми в знании этого намерения и предали свои головы каре закона, но вместе с тем они дали Следственной комиссии такие объяснения, кои вполне имели право на внимание редактора и заслуживали вполне быть помещенными в Донесении. Они без малейшего страха, с удивительной откровенностью указали на язвы отечества, выяснили все злоупотребления, раздирающие государство, доказали отсутствие закона, недостаток гарантии существовавших прав, продажность судей, чиновников и должностных всех ведомств. Они раскрыли всеобъемлющий обман, искажение права и закона, притеснение меньших от больших и поползновение всех ко злу. Много таких указаний было сделано многими подсудимыми, но в Донесении комиссии нет ни слова о них; редактор не коснулся ни единого из тех показаний, которые могли бы возбудить участие и сочувствие всех благородно мыслящих людей. Донесение преднамеренно обошло все это. Для осуждения всех членов, не участвовавших в восстании в Петербурге 14 декабря 1825 года и в Василькове близ Устиновки 3 января 1826 года, нужно было прицепиться за какое-либо важное преступление, и придрались к цареубийству, о чем упоминается почти на каждой странице Донесения и очень часто странным и непонятным образом; так, на одной и той же странице вверху повествуется о соглашении на убийство, а внизу — о ниспровержении такого предложения со стороны всех присутствовавших членов. В показанном случае не было надобности упомянуть о том, но Донесение имело на то особенную причину как можно больше и чаще налегать на такое обвинение, которое не освобождало от суда.

Верховный уголовный суд располагал виновность по трем родам преступлений: 1) Цареубийство. 2) Основание тайных обществ для общей революции. 3) Возмущение. По этим степеням положено было распределить всех подсудимых на разряды с подразделениями. Обвиненный во всех трех случаях был помещен в первые разряды, обвиненный в двух случаях — в средние разряды, а виновные в одном случае — в последние разряды; всех разрядов было двенадцать. Редактором Донесения Верховного уголовного суда был М. М. Сперанский; он донес, что, по убеждению суда, все виновники заслуживают смертной казни[196], все лишились даже надежды на милость царскую. Распределение по разрядам и приговорам состоялось по большинству голосов. Члены Синода признали виновность подсудимых, но не подписали приговоров, извиняясь духовным своим званием.

Кончаю описание процесса. Признаю себя вполне заслужившим наказания по приговору, приняв участие в восстании 14 декабря; лично за себя не имею никакого неудовольствия ни против редактора Донесения Следственной комиссии, ни против редактора Донесения Верховного уголовного суда. В Д. Н. Блудове признаю охотно ум и способности литератора и государственного мужа, необыкновенную деятельность и сметливость в исполнении должности министра трех различных ведомств; высоко ставлю славу его как председателя Государственного совета при подписи новых положений для крестьян, освобожденных от крепостной зависимости; ценю вполне постоянную дружбу, бывшую между ним и лучшими честнейшими людьми: Жуковским, Карамзиным, Дашковым, Вяземским; но как сочинитель Донесения Следственной комиссии, он заслужил укор, по крайней мере, в торопливости, в легкомыслии и во властеугодии. Правильность моего вывода объясняется всего лучше помещенными мною в этой главе выписками из Донесения Следственной комиссии, в коих редактор приводил обвинения из показаний подсудимых и тут же приводит *свидетельства, уничтожающие эти обвинения;* это последнее обстоятельство уничтожает всякое подозрение в умышленном подлоге. Напрасно г-н Ег. Ковалевский пишет*:

---

* «Граф Блудов и его время», стр. 178. (Примеч. А. Е. Розена.)

«Обвинение Блудова есть обвинение друзей покойного», далее: «Обвинение Тургенева важно еще потому, что сделано в книге серьезной, прикрывается юридическим разбором и дало повод ко всем позднейшим толкованиям; оставленное без объяснений, оно перешло бы в историю и покрыло бы позором память одного из честнейших людей, а что он был таким, это покажет дальнейшее описание его жизни и гражданской деятельности». Нисколько в этом не сомневаюсь. Разве Фридрих Великий не бежал с первого поля сражения? разве Наполеон I не был разбит под Ватерлоо? разве Св. Августин до своего обращения не был величайшим грешником? А между тем никто не усомнится в храбрости Наполеона и святости Августина. Всякий человек может ошибаться в мнениях, принадлежать к различным партиям, иметь честолюбивые виды и старание выслужиться; но надо действовать и жить, как жили и действовали друзья Блудова, — в тисках событий и гражданских переворотов не отступать от своих правил, тогда он избегнул бы искушения от неуместного властеугодия. Повторяю слова защитника: «Пусть судит потомство!»[197] <...>[198]

Сообщаю еще другое письмо Е. П. Оболенского ко мне от 5 февраля 1861 года:

«Прилагаю тебе копию, — тобой давно ожидаемую, — решения Верховного уголовного суда над всеми нами[199]. В этой копии ты не найдешь только характеристики виновности каждого, означенной в докладе. Копия с этого доклада заняла бы слишком много места. Грустное чувство возбудило во мне чтение доклада и самая характеристика виновности каждого. В ней поражает однообразность обвинений на 5/6 из 121 осужденных; главной чертой — ужасный умысел — вызов к исполнению — согласие на исполнение — и знание об умысле, как будто все эти лица запечатлены характерами Палена, Орлова и их сообщников[200], исторически известных, умышленно ли или по недостатку другого равносильного факта в основании обвинительного акта он выставлен на первый план. Нельзя отрицать факта, но я вполне отрицаю его юридическое значение как пункт обвинительный. Ни одно из лиц, на которых падает это обвинение, не соглашалось на него, как на цель общества, а говорило об нем, как говорят не о предмете ненависти или страха, с личностью которого наше существование невозможно; а о том, что могло бы

быть в неопределенной будущности, в которой также неопределенно рисовалась конституция. На этом основании можно подвести под обвинительный акт и каждую мысль, рождающуюся в нас, которая появилась и исчезла, но не менее того заявила свое присутствие. То же самое обвинение лежит и на мне в достопамятный вечер, предшественник 14 декабря. Обняв Каховского вместе с другими, я так мало помышлял об исполнении, что по совести скажу, что не помню, чтобы я когда-нибудь принес этот грех на святую исповедь. Он не тяготил мою совесть и исчез вместе с событием 14 декабря, не оставив после себя ни малейшего следа; между тем довольно было времени на самоиспытание».

Прилагаю письмо друга моего в подлиннике. Е. П. Оболенский скончался 26 февраля 1865 года в Калуге[201]; о нем придется еще не раз упоминать в моих записках. Я передаю письменные мнения только трех моих товарищей, в опровержение сотни перетолкований о тайном обществе и членах его. Пересуды, мною прочитанные, отличаются бестолковостью. Читатель беспристрастный сам сделает правильный вывод из Донесения Следственной комиссии Блудова и из доклада Верховного уголовного суда Сперанского.

Глава седьмая

ССЫЛКА В ЧИТИНСКИЙ ОСТРОГ

Первая отправка в Сибирь. — Предосторожность. — Облегчение. — Свидание. — Прощание с братьями. — Новые арестанты. — Прощание с женою. — Моя отправка. — Шлиссельбург. — Контр-адмирал. — Ярославль. — Фельдъегерь. — Губернатор. — Благотворительность. — Красноярск. — Иркутск. — Крутой спуск. — Грозная встреча. — С. Р. Лепарский. — Цвинг-Ури

В самый день исполнения приговора, 13 июля, начали отправку в Сибирь[202]. Не знаю, почему против принятого порядка заковывали в железы дворян, осужденных в каторжную работу; такому сугубому наказанию подлежат только те из каторжных, которые подвергаются новому наказанию или покушаются на бегство. Нельзя было опасаться побега, потому что на каждого ссыльного дан был жандарм для караула; всех отправляли на почтовых с фельдъегерями. Причину такой предосторожности приписали человеколюбию, чтобы облегчить трудно-

сти дальнего пути, да еще к тому в кандалах. Говорили, что заботливое правительство опасалось мести и остервенения народа против нас, чтобы нас на дороге не разодрали в куски; другие же утверждали, что оно этим средством отправки хотело препятствовать распространению вредных понятий, опасных слухов, кои сто человек с лишком легко могли передать народу на пространстве 6600 верст.

Из первых отправили 13 июля восемь товарищей в Нерчинские рудники: Оболенского, Трубецкого, Волконского, Давыдова, Якубовича, А. З. Муравьева и двух братьев Борисовых. После них отправляли, все по четыре человека, чрез день, весь разряд, приговоренный на поселение. Участь этих несчастных товарищей была самая ужасная, хуже каторги, потому что вместо того, чтобы, согласно с приговором отправить прямо на поселение в менее отдаленные места Сибири, их разместили поодиночке в самой скверной северной ее полосе от Обдорска до Колымска, где земля не произрастает хлеба, где жители, по неимению и по дороговизне хлеба, вовсе не употребляют его в пищу. Иные вовсе не имели там ни хлеба, ни соли, потому что местные жители их не употребляли. Притом после 10—12 тысяч верст переезда были содержимы под строжайшим арестом в местах своего заключения, в холодной избе, не имея позволения выходить из нее. Потом переместили их немного южнее от Березова до Якутска и на берегах Лены. Тем из них, которые были сосланы в Гижигу, Средний и Верхний Колымск, в том числе М. А. Назимову, пришлось в плохой зимней одежде сделать около 2500 верст в оба пути, от Якутска до места их назначения и обратно, верхом на переменных почтовых якутских лошадях, имея ночлеги почти все время под открытым небом, на снегу, при 30 с лишком градусах мороза по Реомюру[203]. Они первое время были совершенно одиноки; ни голос друга, ни луч солнца под северным полярным кругом в то время их не грел, и естественно, что в такой медленной, продолжительной пытке не трудно было некоторым из них лишиться ума, предаться отчаянию, не говоря уже об утрате здоровья: первому из таких ужасных несчастий подверглись князь Шаховской и Н. С. Бобрищев-Пушкин 1-й, второму — Фурман и Шахирев, третьему — почти все остальные товарищи этого разряда.

В одном из названных мест, в Среднеколымске, страдал и умер в царствование императрицы Елизаветы изгнанник граф Головкин, бывший кабинет-министр, за которым следовала супруга его. Устное предание гласит там, что в праздничные дни его, больного, силою приводили в церковь, чтобы там терпеть поругание и слушать, как священник по окончании литургии читает обвинительный акт его и приговор его врагов.

Вслед за приговоренными на поселение отправили разжалованных в солдаты по крепостям и острогам сибирским, откуда впоследствии перевели их на Кавказ.

В августе прекратилась отправка, оттого, что нас, осужденных в каторгу, не хотели всех соединить в Нерчинске, не хотели разместить и по частям по другим рудникам, опасаясь восстания на больших заводах. Эта предосторожность была не лишняя, как последствия доказали в Нерчинске, по предприятию Сухинова, о чем расскажу ниже и своем месте. В августе, до коронации, командир Северского конно-егерского полка полковник Станислав Романович Лепарский был назначен комендантом рудников Нерчинских: ему велено было выбрать место за Байкалом, где удобнее можно было устроить временный острог, пока назначена будет другая местность для прочной постройки обширной тюрьмы по образцу американской системы, одиночной или пенитенциарной. Лепарский избрал для временного острога читинский острог, между Верхнеудинском и Нерчинском, на большой почтовой дороге, в 400 верстах от сего последнего города. В ожидании его выбора и донесения остановили нашу отправку[204]. Мы оставались еще в крепости, где содержание арестантов после решения приговора было не так строго, как во время допросов.

Облегчение нашего содержания в Петропавловской крепости состояло в том: нас по очереди, поодиночке выпускали из казематов в передние сени, где дверь и окно были открыты, где мы через день по 20 минут могли дышать свежим воздухом. Кроме того, по одному разу в две недели или через десять дней, смотря по досугу трех инвалидных офицеров, водили нас, также поодиночке, прогуливаться по крепости и по крепостному валу. Эта мера была необходима, потому что бледность и желтизна лица у многих показывали влияние спертого, нечистого и сырого воздуха; у меня оказалась цинготная болезнь,

десны распухли, побелели, зубы болели и начали выпадать. На прогулку водил меня подпоручик Глухов. Другое очень важное облегчение состояло в том, что позволено было получать книги из дому. Помню, с каким удовольствием читал все романы Вальтера Скотта; часы пролетали так быстро и незаметно, что часто не слышал звона курантов. Через Соколова передавал книги другим товарищам. Случалось иногда в день прочесть четыре тома и быть мысленно не в крепости, но в замке Кенилворт, или в монастыре, или в гостинице Шотландской, или во дворцах Людовика XI, Эдуарда и Елизаветы[205]. Сердечно благодарил я сочинителя и радовался вечером предстоящему утру. Ожидание скорой отправки и расстроенное здоровье не позволяли заняться более полезным чтением важных книг. Желал иметь книги о Сибири, но тогда не было никаких печатных сведений о сей стране, кроме путешествий Мартынова, Мартоса[206] и записок нескольких лиц, отправленных с миссией в Китай через Кяхту. Все эти сведения были неполны, местами совершенно ошибочны. Те из моих соузников, которые в Петербурге не имели родственников, получали книги из крепостной библиотеки: путешествие Кука, историю аббата Лапорта[207] и старые Ведомости[208] на сероватой и синеватой бумаге. Однажды один из товарищей моих переслал мне листок от 1776 года; забавно было читать статью о Северной Америке, где беспрестанно упоминалось о мятежническом генерале Вашингтоне[209].

Через неделю после исполнения приговора племянник мой А. И. Мореншильд получил позволение со мною увидеться и проститься. Свидание было в комендантском доме в присутствии плац-адъютанта. Благородный мой сослуживец, родственник и свадебный шафер с любящею душой утешил меня насчет жены моей и правдиво передал мне, что она извещена о постигшей меня участи и с христианскою покорностью переносит это несчастье, что здоровье ее и сына посредственно, что она спрашивает меня о моих нуждах в дорогу и надеется сама меня увидеть. Чрез два дня прислала мне жена одежду и белье, а 25 июля приехала сама с сыном. Не умею выразить чувств моих при этом свидании: моя Annette, хотя в слезах, но крепкая упованием, твердая в вере и любви к богу, спрашивала о времени и о месте нашего соединения. Сын мой шестинедельный лежал на диване и, как будто

желая утешить нас, улыбался то губами, то голубыми глазками. Возле него стояла Мария Николаевна Смит, впоследствии г-жа Паскаль, давнишняя подруга жены моей, которая, опасаясь худых последствий от свидания для матери, бывшей вместе с кормилицей, согласилась проводить ее под видом няньки. Я упрашивал жену не думать о скором следовании за мною, чтобы она выждала время, когда сын мой укрепится и будет на ногах, когда извещу о новом пребывании моем; она безмолвно благословила меня образом, к нему заклеены были тысяча рублей, а потому я не принял его: тогда были деньги для меня бесполезны. Я просил только заказать для меня плащ из серого толстого сукна, подбитый тонкою клеенкою; одежда эта очень мне пригодилась после в дождь и холод. Еще просил я навещать вдову и дочь Рылеева. Назначенный час свидания прошел, мы расстались в полной надежде на свидание, где и когда бы то ни было. Особенно благословил сына-младенца. Поспешными шагами воротился в мой каземат, воздух был горький от дыму повсеместно горевших лесов; солнце имело вид раскаленного железного круга.

Продолжались отправки моих товарищей, разжалованных в солдаты, в дальние крепости сибирские. Для доставления более простора Петропавловской крепости, где мы занимали не только казематы, но и казармы и часть лаборатории и Монетного двора, отправили из осужденных в каторжную работу в Шлиссельбургскую крепость и по крепостям Аландских островов.

Разрешено было для оставшихся в Петропавловской крепости иметь еженедельные свидания с ближайшими родными; таким образом, до моей отправки имел я свидание с женою по одному часу в неделю. Приехал со мною видеться и проститься брат мой Отто, покинув свои поля во время жатвы, свои луга, лес в пожаре и молодую жену в слезах от смерти перворожденного сына; брат скрыл от меня свое горе, только сочувствовал мне и против привычки своей в целый час беседы не сказал ни единого острого слова, ни одной шутки. С ним был и младший брат мой Юлий, кадет 1-го Кадетского корпуса, который горько плакал и между прочим жалел, что осуждение мое отняло у меня всякую возможность и всякое право на заслужение Георгиевского креста. Также навестил меня П. Ф. Малиновский и растрогал меня, на-

помнив, как он всегда желал и надеялся, что я с женою сбережем его старость, закроем ему глаза в последнюю минуту жизни. Лишь только распространилась весть об осуждении государственных преступников, как добрейшая тетка А. А. Самборская и юная свояченица моя Марья Васильевна Малиновская из Харькова денно и нощно на почтовых поспешили к жене моей. Приезд их был истинным для меня утешением; сестра жены моей лучше всех умела ее утешать и ободрять. Мне чрезвычайно отрадно было с ними увидеться, и в случае неожиданной отправки успокоила меня мысль, что жена моя и сын мой имеют в них лучших друзей.

Минул целый год заточения в крепости. Зимою, после первой отправки в Сибирь, опорожненные нумера в казематах были заняты новыми арестантами — поляками, имевшими сведения о тайном обществе в России. Они хорошо и лучше нас повели свое дело, умели скрыть действия польского общества, и только несколько человек, в числе их граф Мошинский, Крижановский, Янушкевич, были сосланы в Сибирь. Против моего нумера, на месте отправленного Николая Бобрищева-Пушкина, был помещен полковник Ворцель[210]. Он еще ничего не знал об участи осужденных; как будто напевая для себя французскую песню, он спрашивал меня о трех лицах; нараспев должен был я ответить ему о двух, что они повешены — Сергей Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин, — о третьем, что отправлен в Нерчинские рудники, — С. Г. Волконский.

После 1827 года возобновились отправки в Сибирь[211], все чрез день по четыре человека в сопровождении фельдъегеря и четырех жандармов. Чемодан был готов; шурин мой И. В. Малиновский приехал в Петербург и, увидев на Исаакиевском мосту разносчика, продававшего мех из молодых оленей, купил его, а жена моя велела сшить из него сюртук, мехом наружу на вате, подкладкою из ее шелкового капота. Одежда эта была легкая, теплая и красивая; такая же была у двух братьев Н. и А. Муравьевых и у Репина. Сверх этого сюртука прислали мне еще шубу, с которою можно было выдержать любой мороз. 3 февраля, в день ангела жены моей, был очередной день нашего свидания и последнее прощание в крепости. Я знал это потому, что в этот день отправили Нарышкина, Лорера и двух братьев А. и П. Беляевых; за ними

следовала очередь моя. Предупредив жену, снова упросил ее не следовать за мною, пока сын мой не укрепится после прорезывания зубков, пока не заговорит, не будет тверд на ногах, чтобы мог перенести и дальний путь и неизвестное житье. Тогда мы еще не имели достоверности, что строжайше запрещено было матерям взять с собою детей своих. Я представил ей, как необходимо для моего здоровья быть на свежем воздухе, что часовое свидание, раз в неделю, не может для нее быть отрадным, когда видит, как заточение уносит телесное здоровье. Действительно, с наступлением зимы, когда прекратились наши редкие минутные прогулки, когда скудная лампада с поплавком едва позволяла читать несколько минут сряду, без особенного напряжения зрения, когда железные печки с жестяными трубами, по неосторожности или сонливости сторожей, прожигали рукавицу или засаленную тряпку, отчего испорченный воздух портился еще более, что испытывали и прежние обитатели казематов, почувствовал я медленное, но постоянное убавление сил. Все, что можно было сказать жене моей в присутствии адъютанта, было ей сказано; в принятии денег отказался вторично. Позволено было каждому иметь не более девяноста пяти рублей ассигнациями, и то не на своих руках, а под хранением фельдъегеря. Мы друг друга благословили, она передала мне иерусалимский деревянный крест, бывший на груди ее и на груди сына. Сына моего в тот день невозможно было привести ко мне, по случаю сильного мороза и золотушной сыпи, выступившей на лице его. Вероятно, плац-адъютант Николаев охотно продолжил бы последнее свидание, но это не облегчило бы расставания. Мать сама кормила грудью сына, он, верно, плакал о ней. С молитвою простились и расстались с крепкою надеждою на свидание.

Наконец 5 февраля долее обыкновенного просидел у меня плац-адъютант и предупредил меня, что ночью придет за мною для отправки в путь. Недолго было мне сложить и уложить несложную одежду, белье и несколько книг. Зимою всех нас отправляли около полуночи. Я имел часок наедине поручить себя и всех мне дорогих и любезных вселюбящему Господу. Куранты прозвонили в 11 часов монотонную свою мелодию; я желал, чтобы это было в последний раз для меня, для всех заточенных. Соколов поспешно отпер замок, раздвинул задвижки; я

успел обнять его до входа плац-адъютанта, с которым поехал в комендантский дом. У крыльца стояли пять троек. Лишь только вошел в комнату, как привели туда трех моих товарищей: Н. П. Репина, М. Н. Глебова и М. К. Кюхельбекера, с которыми я был в одном разряде. Мы дружно обнялись. У нас была своя теплая одежда, только Кюхельбекер стоял в фризовой шинели, что заставило меня придумать, какую одежду уступить ему из моей. Когда спросили его, имеет ли что-нибудь потеплее этой шинели, он распахнул ее и с улыбкою показал мне славный калмыцкий тулуп. В той же комнате были плац-майор, два плац-адъютанта, фельдъегерь и, прислонясь к печке, стоял в черном фраке доктор, тот самый, который в первый день моего арестования в крепости пришел осведомиться о первой проведенной ночи; на карнизе печки стояли склянки. Николаев сказал мне, что доктор присутствует при каждой отправке, чтобы подать помощь в случае обморока или особенного припадка. Для нас он оставался зрителем. Среди нашей живой беседы вошел почтенный комендант, генерал-адъютант Сукин, за ним фейерверкер с поднятою полою шинели. Комендант объявил нам, что по приказанию государя императора отправляет нас в Сибирь в железах; с последним словом фейерверкер, позади стоявший, опустил поднятый угол шинели, и об пол брякнулись четыре пары кандалов. Обручи вокруг ноги были складные, их надели, заперли замками, ключи передали фельдъегерю. Мы вышли. Репин заметил, что такие шпоры слишком громко побрякивают; по лестнице трудно было спуститься, я держался за перила, товарищ споткнулся и едва не упал; тогда плац-майор подал нам красные шнурки, коими завязывают пучки перьев. Один конец шнурка привязали за кольцо, между двухколенчатых кандалов, а другой конец с поднятыми железами — вокруг пояса; таким образом могли мы двигаться живее и делать шаги в пол-аршина. Услужливые жандармы встретили нас у крыльца, посадили поодиночке в сани, и мы тронулись в дальний путь, в дальние снега.

Свет луны и ярко горящих звезд освещал нашу дорогу. Тихою рысью переехали Неву. Я все глядел в сторону Васильевского острова, благословлял жену и сына. Я знал, что жена в эту минуту стояла на молитве; она, извещая отца моего о моей отправке и припоминая эту

светлую, звездную ночь, написала ему слова Паскаля: «Il n'y a rien de plus beau dans le monde que le ciel étoile et le sentiment du devoir dans le coeur de l'homme»*.

Мы поднялись на другой берег Невы у Мраморного дворца, поворотили к Литейной, оттуда чрез Офицерскую улицу на Невский проспект, мимо Александро-Невской лавры к Шлиссельбургской заставе. Мало видели домов освещенных, улицы в ночное время были пусты, только слышны были отклики будочников и изредка встречались запоздалые празднователи масленицы. У заставы остановились, фельдъегерь вошел в караульню; пока ямщики развязывали язычки колокольчиков, часовой возвысил шлагбаум, и удалые тройки помчали нас, измученных долгим сидением в крепости.

Мороз без ветра освежил нас; ямщики старались прокатить нас на славу, приговаривая: «Масленица! соколики! гните ножки по белешькой дорожке!» — и в час достигли первой станции. В несколько минут были готовы другие тройки; на станциях знали наперед очередь наших отправок чрез день; усердные ямщики заботливо обвертывали ноги наши сухим сеном, чтобы им не холодно было от железа. На этой станции несколько родственников и друзей приезжали еще проститься с изгнанниками; П. Н. Мысловский предупреждал об очереди отправляющихся. Д. А. Чистяков, почтенный знакомец в семействе моей жены, вызвался сам, чтобы ожидать меня на станции и передать мне деньги, но жена моя отказала ему в исполнении, зная наперед, что я не соглашусь подвергнуть кого-либо ответственности по такому делу. Благородный генерал Кошкуль открыто помог старому другу в Новой Ладоге во время проезда[212]. С беспокойным чувством, с мрачными думами приближался к Шлиссельбургу; опасался, чтобы не оставили нас в его стенах: я знал, что несколько человек из моих товарищей содержались там после приговора[213], а, право, нет ничего хуже, как сидеть в крепости. Тройки повернули вправо к селению — и я перекрестился. Переменили коней, поскакали далее; еще виднелись стены, бывшие свидетелями храбрости русских воинов, когда штурмовали их против шведов. При штурме, на беду, лестницы оказались ко-

* Нет ничего более прекрасного в мире, чем звездное небо и чувство долга в сердце человека (франц.).

роткими; пылкий Петр, увидев невозможность, приказал отступить. «Скажи Петру, — ответил начальник атаки князь Голицын посланному, — что я теперь принадлежу не ему, а господу богу, вперед, ребята!» — взобрался сам на плечи солдата, стоявшего на высшей перекладине, первый был на валу — и крепость была взята.

Мы мчались чрез Тихвин, Устюжну, Мологу; где обедали, где ужинали, там находили готовые блины и стерляжью уху, не хуже демьяновой, которая в несколько раз приелась нам, как бедному Фоке, только не от потчевания хозяев, но от беспрестанного повторения одной и той же ухи, от жирного навара, так что за Костромою, на первой неделе поста, предпочел уже квас с тертым хреном, холодную похлебку, согревающую лучше горячего бульона. Около полуночи приехали в Рыбинск, где в первый раз по выезде из столицы собрались отдохнуть несколько часов; на станции были две комнаты; в первой стояли столы и стулья, вторая, с диванами, была занята проезжающими. Усталость требовала отдыха; мы расположились лечь на пол, как вышел из задней комнаты заслуженный моряк с Георгиевским крестом, в сопровождении двух заспавшихся отроков, державших в руках по подушке и по узлу. Мы извинились, что, вероятно, неловкими шпорами нашими помешали им отдохнуть. «Прошу вас, господа, — ответил проезжающий, — поменяться со мною комнатами; в моей теплее и есть диваны, там вы лучше отдохнете. Ваш путь далек, мой близок — до Петербурга». Незнакомец ехал для определения сыновей в Морской кадетский корпус; он на самом деле дал добрый урок своим детям. Тут имел я первый случай, из множества последовавших случаев, убедиться в истине, что несчастье человека есть чин выше генеральского или тайного советника, для которых отставной моряк не уступил бы своей комнаты на станции.

В воскресенье к ранней обедне приехали в Ярославль; остановились на площади в гостинице, где на станции переменили лошадей. На площади никого не было, народ после обедни обедал, или отдыхал, или катался на Волге. Пока нам накрыли на стол, ходил я взад и вперед по комнате, и послышалось мне, будто кто-то нежною рукою стучит в боковую дверь; я подошел — женский голос спросил, здесь ли И. Д. Якушкин? где он? скоро ли будет? То была жена его и почтенная, умная теща его

Н. Н. Шереметева. На вопросы их ничего не мог отвечать, только знал, что Якушкина давно перевезли из крепости в другую, на финляндские острова. Они уже давно жили в этой гостинице и напрасно ждали месяц и более, потому что его не прежде лета отправили в Сибирь[214].

Пока мы обедали, народ стал собираться на площади; в четверть часа так набилась она, что если бы бросить яблоко сверху, то оно не упало бы на снег, а легло бы на шапку или на плечо. Кони наши стояли внутри двора, ворота были заперты; сверх того, два жандарма стояли с наружной стороны с голыми саблями. В коридоре встретили нас Шереметева и Якушкина, благословили нас образками на дорогу. Когда мы сошли с лестницы, то фельдъегерь грозно прикрикнул: «Тройка фельдъегерская, вперед! Жандармы, смотри, не отставать от меня!» Во дворе мы уселись в сани. Как только часовые отперли ворота, то мы стрелой пустились чрез площадь по узкому промежутку между бесчисленным народом; едва я успел снять шапку и поклониться народу, как вмиг все с поклоном сняли шапки и фуражки. Кони помчали прямо чрез Волгу. В Чите рассказывал мне товарищ мой П. В. Абрамов, следовавший также чрез Ярославль шестью днями раньше меня, что площадь также покрыта была народом, что он хотел снять шапку, но она была у него так крепко подвязана под подбородком, что он не мог ее снять, и вместо того знамением креста благословил народ на обе стороны; народ поклонился, и слышны были возгласы: «Господи! и митрополита везут в Сибирь!».

Особенное чувство наполняет мою душу, когда вижу многочисленное собрание народа — в церкви ли он стоит, или зрителем на параде, или действователем на пожаре и при наводнении, или на гулянье в праздник, все равно — все теснится в душе мысль одна, но грустная, о странной его доле, о том, что он давно уже достоин лучшего жребия. Печальное раздумье отклоняется только упованием на всемогущего Бога и внимательным взглядом на отдельное лицо русского человека, у которого взор и каждая черта лица твердят, что он рожден к просторному развитию умственной и телесной деятельности. Бог наградит его за терпение и за послушание, которое, при хорошем государственном устройстве, есть главная сила и

главное условие к достижению всего полезного и истинно великого. Когда свет христианской веры еще не озарял земли, то правители-язычники и идолопоклонники делились с народами своими, давали им права, уважали их. Перикл, управляя буйными афинянами, когда выходил из своего дворца, чтобы произнести публичную речь, каждый раз молил богов напоминать ему, что он будет говорить с людьми свободными, и внушить ему все полезное народу. Правители-христиане следуют ли этому примеру? А, кажется, им было бы легче молить единого бога, чем Периклу всех богов мифологии.

Нас мчали, действительно, по-фельдъегерски. Скакали день и ночь; в санях дремать было неловко; ночевать в кандалах и в одежде было неспокойно; потому дремали на станциях по нескольку минут во время перепряжки. Быстрая езда как-то меньше утомляет. Кострома, Макарьев, Котельнич, Вятка, Глазов, Пермь, Кунгур, Екатеринбург, Камышлов, Тюмень только мелькнули на нашем пути. В Глазове ночевали и на несколько минут отомкнули железа, чтобы можно было переменить белье. Кажется, в наш век все заразились наживанием денег, от министра до поденщика, от полководца до фурлейта[215], от писателя до писаря, почему же и фельдъегерю не накоплять себе капиталец? И наш проводник был достойный сын века и вот каким образом наполнял свой бумажник благоприобретенными деньгами. От Тихвина он брал только четыре тройки, меня пригласил ехать с ним, а моего жандарма посадил в другие сани, так-то прогоны на тройку за 3000 верст остались в его кармане; этим средством он никого не обижал: ни старосты, ни ямщиков, ни почтовых лошадей, потому что не тяжело везти одной тройке одного моего товарища с двумя жандармами; даже пред казною был он прав: она ему отпустила сумму определенную, лишь бы довез арестантов. Но он не довольствовался сотнями рублей, он лучше умел устроить свои дела; лишь кони готовы, он грозно спрашивал у старосты: «Много ли тебе следует получить прогонных денег?»; если тот потребует только половину, то приказывает фельдъегерской тройке ехать позади, а жандармам ехать впереди. В таком порядке мы ехали полною рысью; на иных станциях потише; тогда сосед мой дремал или притворялся спящим, и мы ехали разумно и благополучно и довольно быстро. Если же староста требо-

вал прогонов три четверти или сполна, то гремел приказ: «Фельдъегерская тройка, вперед! жандармы, не отставайте!» — и тут хоть попадись нам рысаки Орлова[216], он заставит их скакать во весь карьер; только и дело до следующей станции что тычет саблю ямщика: «пошел! да пошел! ты огородник, а не ямщик! ты мертвых возишь, а не фельдъегеря!» Случалось мне рукавом шубы закрывать себе рот и нос; быстрота езды захватывала дыхание. При таких проделках пало у нас семь лошадей до Тобольска. Я его упрашивал; однажды бранил его, когда ямщик такою проделкою лишился любимой лошадки своей, левой пристяжной, серой масти, и с рыданиями обрезал постромки. Я хотел, чтобы он дал ему на станции расписку, по коей хозяин лошади получил бы 20 рублей серебром, хотя павший конь его стоил вдвое дороже. «Помилуйте! как вы можете просить за мошенника и жалеть его? Он, бестия, нарочно запряг мне больную или старую лошаденку; эта старая замашка этих бездельников; они меня не проведут!» — был ответ на все мои просьбы и увещания. На нескольких станциях татарских и по сторонам Тюмени надули молодца; брали полное число прогонов до последней копейки и возили так, что нельзя было придраться. Зато лишь только подъезжали к станции, то десяток ямщиков у подъезда подымали нас из саней, чтобы коням не дать постоять ни полминуты, сами толкали сани с места и потом проваживали по целому часу. С торжеством и с улыбкою поглядывали на фельдъегеря, приговаривая: «Ничего, бачка! ничего, доедем; кони наши легки и быстры как ветер».

22 февраля рано утром приехали в Тобольск; остановились у дома полицмейстера, где встретил нас квартальный надзиратель, просил не выходить из саней и преучтиво провел нас в съезжий дом. Мы удивились вместе и вежливому приему, и отводу подобного помещения. «Итак, пришлось нам побывать и в полицейском съезжем доме», — заметил я Репину, который смеялся и острил. Между тем почтовых троек не отпустили, чемоданов не вынимали, и вскоре разрешилась загадка. Мы ехали так скоро, что нагнали товарищей, отправленных из Петербурга двумя днями раньше нас; пока их снаряжали в дальнейший путь, нас поместили в полиции, откуда чрез час перевезли в дом к полицмейстеру Алексееву, где нам дали два дня отдыху, где нас поместили в его гостиных

и угостили как невозможно лучше на счет гражданского губернатора Бантыша-Каменского. Помню, что к завтраку подали двенадцать родов различной рыбы, во всех видах, с обильных рек сибирских: и сушеную, и вяленую, и соленую, и печеную, и жареную, и вареную, и маринованную. Отдых был нам нужен, и мы славно отдохнули.

На третий день поутру отправили нас в дорогу, вместо фельдъегеря дали в проводники заседателя курганского окружного суда И. М. Герасимова, бывшего аудитора[217] 15-й пехотной дивизии барона графа Г. В. Розена, удаленного из гвардии после семеновского восстания; вместо почтовых лошадей давали обывательских. Перед самым выездом из Тобольска повезли нас к губернатору, который принял нас вежливо, спросил, как здоровье наше переносит дальнюю езду после заточения в крепости? не нуждаемся ли в чем? Потом с участием образованного и честного главного начальника простившись с нами и обратившись к Герасимову, сказал ему: «Они ваши арестанты, но обращайтесь с ними, как с людьми благородными».

Мы следовали по главной дороге, которая только одна и есть по всей Сибири с почтовыми станциями и с прилежащими к ним селами и деревнями, хотя огромные пространства на юге этой страны гораздо более населены. Города, по причине малого населения всего края, отстоят один от другого на сотни верст, нередко на 400 верст. В Таре мы не могли воспользоваться гостеприимством городничего Степанова[218], кавказского офицера времен Ермолова, потому что ночью проехали город; но я узнал после от товарищей, что этот городничий принимал их у себя отлично хорошо, особенно отправленных вскоре после приговора; на своей квартире предлагал не только отдых, хлеб-соль, но предлагал и бумажник свой. Однажды силою остановил он фельдъегеря, который поневоле покорился, потому что Степанов объявил о себе, что он Николай I в Таре. Добрый человек не избегнул доноса; но отделался благополучно, ответив, что он так поступал по чувству сострадания и по предписанию евангельскому. Обывательских лошадей переменяли в волостных правлениях, где не раз заставали мирские сходки и удивлялись и радовались расторопному и умному ходу дел, ясному и простому изложению мнений умных мужиков. На ночлеги или во время обеда и ужина останавли-

вались в чистых и опрятных избах, где хозяева радушно нас угощали и ни за что не хотели платы.

Вообще о Сибири и ее жителях расскажу подробнее в своем месте, когда на обратном пути короче познакомился с ними летом. Здесь упомяну только о благотворительности сибиряков. В известные дни и близ мест, назначенных для привалов ссыльных, встречал я толпу обывателей, на санях и пеших, стоявшую при дороге под открытым небом, вопреки морозу. «Что эти люди тут делают?» — спросил я ямщика. «Они собрались из ближних деревень и дожидаются партий *несчастных* (так в Сибири называют ссыльных), чтобы богатым продать, а бедным подарить пироги, булки, съестное, теплую обувь и что бог послал. Они знают назначенные дни, в которые следуют ссыльные по этапам, дважды в неделю, и соблюдают между собой очередь; от них узнал я, что этот обычай ведется давно, по наставлению ссыльных родителей и дедов. Повсеместно от Тобольска до читинского острога принимали нас отлично и усердно, нанязывали булки на сани, укутывали нас чем могли и провожали с благословениями; иные шепотом говорили: «Вы наши сенаторы, зачем покинули царя и Россию?»

Путь наш вел чрез города Тару, Каинск, Колывань, Томск, Ачинск, Красноярск, Канск, Нижнеудинск, Иркутск; девять городов на расстоянии 3000 верст. В Красноярск мы въехали на колесах: по местности и по почве там весною недолго держится снег. Волнистые горы, желто-красноватого цвета, сбросили снег, дорога пылилась. Главная улица обстроена хорошими каменными домами в два этажа; нас остановили на площади против полицейского дома, где долго спорили, где нам отвести квартиру. В это время подошел старец к полицмейстеру и просил позволения принять нас у себя. Почтенный купец Старцов предоставил нам свои парадные комнаты в верхнем этаже, по-европейски меблированные, угостил нас по-барски обедом и ужином, а вечером по-русски славною банею. Представил нам сыновей своих женатых и невесток; мы имели с ними приятную беседу о новом для нас крае. Я обрадовался, что случай привел меня к нему, и надеялся получить от него решение загадки; но как ни старался я, все было напрасно, старец отговорился незнанием.

Дело было вот в чем: от города Тюмени ямщики и

мужики спрашивали нас, не встретили ли мы, не видели ли мы Афанасия Петровича, рассказывали, что с почтительностью повезли его в Петербург тобольский полицмейстер Алексеев и красноярский купец Старцов, что он в Тобольске, остановившись для отдыха в частном доме, заметил генерал-губернатора Капцевича, стоявшего в другой комнате у полуоткрытых дверей, в сюртуке без эполет (чтобы посмотреть на него), и спросил его: «Что, Капцевич! Гатчинский любимец! узнаешь ли меня?» — что он был очень стар, но свеж лицом и славно одет; что народ различно толкует: одни говорят, что он боярин, сосланный императором Павлом, другие уверяют, что он родной сын его. Хозяин мой верно знал дело, но таил. На обратном пути моем я зашел к нему, но уже не застал его в живых, а дети его ничего о том не знали. Достоверно только, что отец их и Алексеев отвезли эту таинственную особу в столицу[219].

22 марта приехали мы в Иркутск, следовательно, проехали другие 3000 верст вдвое долее, чем первые от Петербурга до Тобольска[220]; зато не загнали ни одной лошади и ночевали почти каждую ночь. В Иркутске имели мы дневку и очень худое и сырое помещение в остроге. Здесь мы расстались приятельски с Герасимовым; дорогою на станциях и ночлегах имели много забавных бесед и похождений, и не знаю, за что он прозвал меня то глотом, то львом; тогда слово это не могло иметь нынешнего значения, а, вероятно, он понимал его по-своему и употреблял его каждый раз, когда городские и путевые властители делали ему прижимки за лошадей и за квартиры и мне удавалось одним словом выручать его из беды.

В Иркутске дали нам в проводники казацкого урядника; со второй станции переехали Святое море, или Байкальское озеро, 60 верст на одних и тех же лошадях; ямщики имели в санях запасные доски, чтобы в случае попадающих широких прососов или трещин устроить мост на льду. Чрез трещины шириною в аршин кони перескакивали с такою быстротою, что длинные сани не прикасались воды. Вообще по всей Сибири кони необыкновенно сносны, быстры, хотя на вид малорослы; они без всякой натуги проскакивают до 80 верст без корму, без остановки. На другой берег мы выехали у Посольского монастыря[221]; все прекраснейшие виды, коими наслаждал-

ся после, в летнее время, были завешаны белым саваном, и томительное однообразие белого покрывала только изредка дорогою прерывалось селением. За две станции до читинского острога показались юрты кочующих бурят. На последней станции в Ключевой вместо саней запрягли повозки, потому что около Читы и самого острога почти никогда не бывает снегу; там значительная большая возвышенность места имеет почти всегда ясное небо, а когда изредка выпадет снег, то не скрепляется на песчаном грунте, легкий ветерок уносит его в долины в несколько часов; это не мешает морозам доходить до 40°, так что ртуть замерзала в термометре, и тогда только по спиртовому термометру узнавали силу мороза.

29 марта ехал я последнюю станцию с Глебовым в крытой повозке, ямщик был бурят, сбруя коней была веревочная с узлами. На десятой версте от станции поднялись в гору, показались долина Читы[222], а там небольшое селение на горе, окруженной горами. Мы спускались шагом; вдруг лопнула шлея коренной лошади, лошади понесли, переломился деревянный шкворень — в один миг мы были выброшены из повозки: Глебов чрез правую пристяжную скатился на землю, ямщик выбросился в сторону, я повис правою ногой на оглобле, левою на постромке и на шлее левой пристяжной и обеими руками ухватился за гриву коренной. В таком положении кони таскали меня две версты, пока впереди нас ехавшие Репин, Кюхельбекер и ямщик их, видевшие снизу горы мое бедствие, не остановили коней и не сняли меня; в кандалах, запутавшись в тяж, я сам себе помочь не мог. Не только остался я невредим, но даже одежда моя не была нигде ни замарана, ни изодрана. Я скатился, как на масленице скатываются мальчишки, ложась брюхом на салазки, с тою разницею, что вместо салазок подо мною была оглобля и постромки и кони могли легко избить меня в кусочки. С горы стащили опрокинутую повозку без передка, вложили новый шкворень и лом. Мы ожидали найти несколько товарищей, отправленных из крепости прежде нас, но они были помещены в другом временном остроге, который мог поместить не более 24 человек[223].

Нас встретили ротный командир сибирского линейного батальона капитан Иванов, плац-адъютант П. А. Куломзин, комендантский писарь и часовые. В двух комна-

тах вокруг стен устроены были нары. Капитан спросил, не имеем ли при себе денег или драгоценных вещиц, кои запрещены? Я расстегнулся, снял с шеи шелковый шнурок, на коем висели большой медальон с портретом жены моей[224], несколько перстней памятных и небольшой медальон с волосами родителей моих и со щепоткою земли из родины. Когда я отдал эти вещи капитану, он заметил на пальце моем золотое колечко. «Это что у тебя еще на пальце?» — «Обручальное кольцо». — «Долой его!» Я заметил ему самым вежливым образом, что, быв арестован в Зимнем дворце и потом посажен в каземат, я постоянно носил кольцо, что отбирали ордена, перстни, табакерки, но что обручального кольца ни у кого не отнимали. «Долой его! тебе говорю». Тут я рассердился за такую не вызванную ничем грубость и ответил: «Возьмите его вместе с пальцем». Сложил руки накрест на груди, прислонился к печке и ожидал развязки. Адъютант не дал капитану времени вымолвить слово, сказал ему что-то на ухо, взял у него шнурок с портретом и перстнями и вышел. Между тем писарь перебирал наши вещи и книги из чемоданов и все записывал. Чрез полчаса возвратился адъютант и, вручая мне портрет жены моей, сказал, что комендант позволил мне носить обручальное кольцо и возвращает мне портрет с условием, чтобы носил его не напоказ, и что другие памятные вещи будут сбережены. Так окончилась благополучно первая встреча в Чите. Конечно, я сделал бы лучше, если бы отдал ему обручальное кольцо: всего лишившись, я мог бы лишиться и этого или после выпросить его у коменданта, но грубое обращение было невыносимо для меня, оно вызвало гнев. После того капитан Иванов во все время пребывания моего в остроге обходился со мною постоянно вежливо.

На другой день посетил нас комендант наш — генерал-майор Станислав Романович Лепарский, пожилой холостяк, коренной кавалерист, командовавший с лишком двадцать лет Северским конно-егерским полком, которого шефом был император, быв еще великим князем. Когда в полках гвардии случались неприятности между офицерами, вследствие коих приходилось перевести их в другие полки армейские, то так называемых беспокойных перемещали в полк Лепарского, который умел обходиться со всеми, умел жить не наживая себе личных врагов, и на печати своей вырезал елку с надписью: «Не переме-

няется». Хотя он полвека провел в строевой службе в манежах, на ученьях и в походах, но видно было, что он в юности получил хорошее образование. Он был питомцем иезуитов в Полоцке, знал язык латинский, свободно и правильно выражался и писал по-французски и по-немецки, читал классических писателей на этих языках, но главное дело — он был вполне честный человек и имел доброе сердце. Если кто из моих соузников безусловно не согласится с выраженным мнением моим, то действия Лепарского, о коих упомяну далее, докажут правдивость слов моих. Старец с участием расспрашивал: как мы совершили дальний путь, не нуждаемся ли в пособии лекаря, и прибавил, что охотно будет содействовать к облегчению нашего жребия. Одежда моя невольно обратила на себя его внимание: я носил сюртук из шкур молодых оленей, мехом наружу. «Вы только что успели приехать в Сибирь и уже успели завести себе одежду по здешнему климату и из здешних мехов; верно, трудно было достать их в Петербурге?» Я объяснил, что близ столицы Архангельская губерния изобилует оленями; наконец просил у него позволения писать к жене моей, на что он положительно объявил, что всем нам строжайше запрещено писать[225].

Мы не могли видеться с товарищами, прибывшими в Читу прежде нас; они жили в другом временном остроге, также за частоколом; стража окружала нас днем и ночью, а от вечерней до утренней зари запирали наши комнаты на замок. Чрез два дня приехала к нам другая партия наших: Лихарев, Кривцов, Гизенгаузен и Толстой[226]. После них чрез два дня еще Люблинский, Выгодовский, Лисовский и Загорецкий, а за ними, через два дня, фон дер Бригген, Ентальцев, Черкасов и И. Б. Абрамов 2-й. Нам было тесно, но не скучно: цепи наши не давали нам много ходить, но по мере того как мы стали к ним привыкать и приучились лучше подвязывать их на ремне, или вокруг пояса, или вокруг шеи на широкой тесьме, то могли ходить в них даже скоро, даже вальсировать. Между домиком и частоколом было пространство в две сажени шириною, по коему прохаживались несколько раз в день. В апреле дни были довольно теплые, но ночи были холодные. В конце мая оттаяла земля настолько, что можно было приняться за земляную работу. 24 мая, поутру, нас вывели с вооруженным конвоем на открытое, про-

сторное место, где встретили товарищей, приведенных туда же из другого острога. Свидание было радостное, оно повторялось дважды в день, поутру от 8 до 12 часов, а после обеда от 2 до 5 часов. На площадке лежали заступы, кирки, носилки и тачки. Первая наша работа началась тем, что мы сами вырыли фундамент к новой нашей темнице и ров в сажень глубины для частокола в пять сажень вышиною. Невольно припомнили, как швейцарцев заставили построить для самих себя крепость Цвинг-Ури[227]. Каждый день, кроме дней воскресных и праздничных, в назначенный час входил в острог караульный унтер-офицер с возгласом: «Господа! пожалуйте на работу!» Обыкновенно выходили мы с песнями хоровыми, работали по силам, без принуждения: этим снисхождением были мы обязаны нашему коменданту, который, имев свою инструкцию, в коей было предписано, чтобы употребить нас в работу беспощадно, умел представить, что мы после продолжительного путешествия, после долговременного содержания в крепости не в состоянии совершать усиленную работу, что между нами есть люди пожилые и слабого здоровья и раненые: он получил из Петербурга разрешение за подписью А. Х. Бенкендорфа поступить относительно работ по своему соображению.

Глава восьмая

ПРЕБЫВАНИЕ В ЧИТЕ

Чита. — А. Г. Муравьева. — Е. П. Нарышкина. — А. В. Ентальцева. — Е. И. Трубецкая. — М. Н. Волконская. — Острог. — Работа. — Академия. — Музыка. — Снятие желез. — Н. Д. Фонвизина. — А. И. Давыдова. — П. Г. Анненкова. — Сухинов и попытка к освобождению

В конце мая зазеленелись горы и луга. Читинский острог, бывший этап или место ночлега для проходящих партий ссыльных в каторгу, в небольшом селении — с ветхою деревянною церковью, с двадцатью дворами горнозаводских крестьян, с домом обергиттенфервалтера[228] Смольянинова, с небольшим хлебным магазином, с амбаром для складки угольев — находится между Байкальскими и Нерчинскими горами, на почтовой дороге, ведущей в Нерчинск, на возвышенной местности, окруженной с двух сторон высокими горами. Речка Чита изливается в виду селения в реку Ингоду и образует пре-

лестную долину. С северной стороны видно озеро Онинское; на берегах его дневал Чингисхан, совершал суд и расправу на походе из Китая в Россию. Предание местное устное гласит, что в огромных котлах кипятили воду или растопляли смолу и обваривали и судили непокорных монголов.

Потомки монголов, буряты, еще теперь кочуют в окрестностях Читы, изобилующих травами и водами: они кочуют с войлочными юртами или палатками, днем всегда на коне с ружьем, также с луком и стрелами, для сбережения пороха. Часть бурят становится оседлою, занимается успешно хлебопашеством и не хуже миланцев орошает свои поля посредством искусно прорытых канав и проведенных борозд по направлению течения горных истоков. Наклонная местность и падение воды указывают сами вернейшее нивелирование. Возвышенная местность Читы хотя увеличивала силу морозов, доходивших до 37 и по спиртовому термометру, но вместе с тем способствовала к очищению воздуха. Небо почти всегда было ясное, кроме августа месяца, когда по нескольку дней сряду гром гремел беспрерывно, за коим следовал дождь проливной, начинавшийся необыкновенно крупными каплями. Гористая местность раздавала и продолжала такой грохот, такие раскаты, какие после Читы случалось мне слышать только на Кавказе. После сильнейших дождей в несколько часов улицы были сухи: вода повсюду имела сток. Еще примечательна была сила электричества в воздухе: малейшее прикосновение к суконному платью или шерстяному платку извлекало искры, производило треск.

Вообще климат был самый здоровый; растительная сила была неимоверная, оттого в пять недель, от июня, когда прекращались ночные морозы, до половины июля, когда начинались осенние морозы, поспевали хлеб и овощи. Из различных пород овощей почти все были неизвестны за Байкалом; сажали и сеяли только капусту и лук. Товарищ наш А. В. Поджио первый возрастил в ограде нашего острога огурцы на простых грядках, а арбузы, дыни, спаржу и цветную капусту и кольраби — в парниках, прислоненных к южной стене острога. Жители с тех пор с удовольствием стали сажать огурцы и употреблять их в пищу. Долина читинская знаменита своею флорою, почему и называется садом или цветником Си-

бири. Формы цветов изумительны; разнообразие лилий «арис», вообще луковичных растений, бесчисленны; цвета так ярки и блестящи, что наши соседи китайцы, вероятно, по этим цветам составляли свои краски.

Жители Читы были малочисленны и бедны, как все заводские крестьяне: в двадцати хатах жили они хлебопашеством и рыбным промыслом из реки Ингоды и озера Онинского, изобилующего особенно жирными и большими карасями. Обязанность и заводская работа заключалась в выжигании угля и в доставке его в Нерчинские рудники. Местным их начальником был горный чиновник Смольянинов, который в первые четыре месяца нашего пребывания доставлял нам пищу на собственные наши деньги; казна отпускала нам провиант и по две копейки меди в сутки на человека. В три с половиною года нашего пребывания в Чите этот старинный острог получил другой вид от многих новых построек и от новых жильцов бездомных. Сначала было наших всего тридцать человек в Чите. Восемь товарищей, которых я назвал выше, были отправлены тотчас после приговора в Нерчинские рудники в подземные работы, а остальных держали в крепостях Шлиссельбургской и Аландских островов, откуда все прибыли к нам в августе, когда окончилась постройка нового временного острога, который мог нас всех поместить, хотя и теснейшим образом. До общего соединения под общею крышею жили мы, наперед прибывшие в Читу, в двух крестьянских домах, обведенных частоколами, и сходились с товарищами другого острога только во время работы.

Когда вырыли фундаменты для новой тюрьмы и частокола, то начали заливать глубокий и широкий овраг подле самой почтовой дороги; промоины грозили перерезать всю дорогу от стока горных вод. В несколько дней вода уносила работу целого лета, так что в следующем году принуждены были устроить плотину бревенчатую, которая удержала нашу насыпь из песку и земли. Эту часть оврага мы прозвали Чертовой Могилой. Книг было у нас сначала очень мало, строжайше было нам запрещено иметь чернила и бумагу; зато беседа не прекращалась; впоследствии составился хор отличных певцов. В первоначальном маленьком кругу нашем развлекали нас шахматы и песни С. И. Кривцова, питомца Песталоцци и Фелленберга; бывало, запоет: «Я вкруг бочки

хожу», — то Ентальцев в восторге восклицает: «Кто поверит, что он в кандалах и в остроге?» — а Кюхельбекер дразнил его, что Песталоцци хорошо научил его петь русские песни. Через часовых и сторожей могли бы достать карты, но, по общему соглашению, положили и сдержали слово — не играть в карты, дабы удалить всякий повод к распрям и ссорам. Теснота нашего помещения не позволяла содержать наши каморки в совершенной опрятности; спали и сидели мы на нарах, подкладывая под себя войлок или шубу; под нарами лежали чемоданы и сапоги. Ночью, при затворенных дверях и окнах, спирался воздух; двери отворялись с утреннею зарею, которую я ни разу не проспал и тотчас выходил на воздух освежиться.

Одна душа жила в Чите, о которой я душевно соболезновал, — Александра Григорьевна Муравьева, урожденная графиня Чернышева. Муж ее, Никита Михайлович, уже в феврале прибыл в Читу[229]; супруга его рассталась с двумя дочерьми и сыном, передав их бабушке Екатерине Федоровне Муравьевой, и поспешила в Сибирь, чтобы с мужем разделить изгнание и все испытания. Но как жестоко была она обманута, когда по приезде в Читу ей было объявлено, что она с мужем вместе жить не может, а только дозволяется ей иметь свидание с ним дважды в неделю по одному часу в присутствии дежурного офицера, как водилось в Петропавловской крепости в Петербурге. В первый раз увидел я эту славную жену, когда повели нас на работу против ее квартиры. Наемный домик ее находился через улицу против временного первого острога, в котором содержался муж ее[230]; дабы иметь предлог увидеть его хоть издали, она сама открывала и закрывала свои ставни. Кроме мужа, имела она в остроге зятя своего А. М. Муравьева, двоюродного брата своего графа Захара Григорьевича, единственного наследника огромного майората[231], которого доискивался военный министр А. И. Чернышев, но он получил отказ от Государственного совета. Член совета Н. С. Мордвинов доказал, что истец, не быв ни в каком родстве с этим семейством, не имеет права на его достояние. Имение, фамилия и графский титул перешли к Кругликову, который женился на старшей сестре из семьи, на графине Софье Григорьевне.

Наша милая Александра Григорьевна, с добрейшим

сердцем, юная, прекрасная лицом, гибкая станом, единственно белокурая из всех смуглых Чернышевых, разрывала жизнь свою сжигающими чувствами любви к присутствующему мужу и к отсутствующим детям. Мужу своему показывала себя спокойною, даже радостною, чтобы не опечалить его, а наедине предавалась чувствам матери самой нежной. К тому же она знала, что при детях никто не мог ее заменить для истинного воспитания. Бабушка любила и берегла их как глаз свой, но ее любовь, ее действия были не любовь, не действия матери; через год умер единственный сын, а дочери после лишились здоровья. Я полагал сначала, что такое странное отлучение мужа и жены в Чите продолжится недолго и есть только следствие недоразумения. Но это распоряжение оставалось неизменным еще три года, пока не перевели всех нас в постоянную государственную темницу, заботливо и капитально устраивавшуюся во время всего нашего пребывания в читинском остроге. Здоровье Александры Григорьевны ослабевало год за годом, жизненные силы угасали, но душевные еще превозмогали до назначенного часу, до петровской тюрьмы, где нашла свою могилу.

В конце мая прибыла в место нашего заточения Елизавета Петровна Нарышкина, урожденная графиня Коновницына, в сопровождении Александры Васильевны Ентальцевой. Они были подвергнуты подобной же участи А. Г. Муравьевой: могли только дважды в неделю, по одному часу, видеться с мужьями. Страдания их были усугублены от близкого расстояния острога мужей: они могли только глядеть друг на друга сквозь тесные щели частокола или когда случалось проходить околицею место наших работ, и притом не слышать родного слова, не пожать родной руки. Признаюсь, я каждый день благодарил бога, что жена моя решилась свято исполнить мою просьбу, оставалась при сыне, пока не поставит его на ноги, пока не прорежутся зубки и не будет в состоянии выразиться словами. Все эти условия были бы лишни и бесполезны, если бы вышло разрешение матерям взять с собою детей своих. К счастью, Е. П. Нарышкина, расставшись с родными и с родиною, не оставила там детей; она имела дочь, которой лишилась в Москве до осуждения мужа. От роду ей было 23 года; единственная дочь героя отца[232] и примерной матери, урожденной Корсако-

вой, она в родном доме значила все, и все исполняли ее желания и прихоти. В первый раз увидел я ее на улице, близ нашей работы при Чертовой Могиле, — в черном платье, с талией тонкой в обхвате; лицо ее было слегка смуглое с выразительными умными глазами, головка повелительно поднятая, походка легкая, грациозная. В своем месте расскажу о ней подробнее, когда ближе познакомился с нею в Кургане на поселении. В Чите жила она в одном домике с Муравьевой, трудно было ей одиночество[233]. Муравьева, кроме мужа, имела в остроге зятя и двоюродного брата; то тот, то другой пересылал ей весточку, а Нарышкина все одна да одна, тем еще более что с другими дамами не была она довольно сообщительна, оттого и страдала больше от одиночества. Такое состояние супругов было тягостное; но прибытие наших жен имело во всех отношениях самое благодетельное влияние на весь быт наш.

Нам запрещено было писать самим, во время нахождения нашего в каторжной работе несколько наших товарищей были совершенно забыты и покинуты родными; может быть, таков был бы жребий и многих, если бы наши дамы не приехали к мужьям своим, не переписывались бы с нашими родными и письмами своими, и влиянием, и родством не поддерживали памятования о многих. Они были нашими ангелами-хранителями и в самом месте заточения: для всех нуждающихся открыты были их кошельки, для больных просили они устроить больницу. А. Г. Муравьева через тещу свою Екатерину Федоровну Муравьеву получила отличную аптеку и хирургические инструменты; товарищ мой, бывший штаб-лекарь Ф. Б. Вольф, жил в этой больнице, всегда успешно помогал больным. Мы даже изустно не могли благодарить наших благодетельниц, оттого что только издали и изредка видели их сквозь щели частокола, или когда проходили мимо наших работ, или прогуливались по гористым окрестностям.

Александра Васильевна Ентальцева в детстве лишилась своих родителей, не имела детей и поспешила к мужу, чтобы разделить и облегчить его участь. Ей приходилось только несколько месяцев быть с нами в Чите, потому что муж ее, приговоренный в каторжную работу на один только год, в скором времени уехал от нас. Поселение в первые годы было для них гораздо хуже, им

назначено было жить в Березове, где холод, бесконечные ночи мало согревали и мало освещали жизнь изгнанников. Через несколько лет они были переселены в лучшее место, гораздо южнее, в Ялуторовск, где муж ее скончался в 1847 году, а жена не получила разрешения возвратиться на родину, и долго еще терпела незаслуженное изгнание, и оставила бы там старческие кости свои, если бы не воротил ее домой манифест Александра II от 26 августа 1856 года[234].

К осени 1827 года был достроен большой острог с пятью отделениями. В сентябре прибыли восемь наших товарищей из Нерчинска: Трубецкой, Оболенский, А. З. Муравьев, Давыдов, Волконский, Якубович, А. И. Борисов 1-й и П. И. Борисов 2-й, и каждую неделю прибывали остальные из дальних крепостей. Первым из них сопутствовали две дамы, еще два ангела-хранителя: княгиня Трубецкая и Волконская[235]. Екатерина Ивановна Трубецкая, урожденная графиня Лаваль, еще в 1826 году, тотчас по отправке мужа из Петропавловской крепости, первая из всех наших жен, отправилась вслед за ним, в сопровождении отцовского секретаря. В Красноярске сломалась карета, заболел провожатый, медлить было некогда; она пересела в тарантас и без чиновного проводника, только с прислугою, прискакала в Иркутск. Муж ее уже с фельдъегерем прибыл в Нерчинск[236], ей оставалось ехать только 700 верст; она обратилась к губернатору Б. И. Цейдлеру, чтобы иметь некоторые необходимые сведения и получить проводника.

Тут начались самые горькие для нее испытания: местное начальство имело повеление употребить все средства, чтобы удержать жен государственных преступников от следования за мужьями. Губернатор представил ей сперва затруднения жизни в таком месте, где находится до 5000 каторжных, где ей придется жить в общих казармах с ними, без прислуги, без малейших удобств. Она этим не устрашилась и объявила свою готовность покориться всем лишениям, лишь бы ей быть вместе с мужем. На следующий день те же препятствия со стороны губернатора, который объявил, что имеет приказание взять от нее письменное свидетельство, по коему она добровольно отказывается от всех прав на преимущества дворянства и вместе с тем от всякого имущества — недвижимого и движимого, коим уже владеет и какое могло бы

достаться ей в наследство. Ек[атерина] И[вановна] Трубецкая без малейшего возражения подписала эту бумагу, в уверенности, что с этим отречением открыла себе путь к мужу. Не тут-то было: несколько дней сряду губернатор не принимал ее, отговариваясь болезнью. Наконец он решился употребить последнее средство; уговаривал, упрашивал и, увидев все доводы и убеждения отринутыми, объявил, что не может иначе отправить ее к мужу как пешком с партией ссыльных по канату и по этапам. Она спокойно согласилась на это; тогда губернатор заплакал и сказал: «Вы поедете!» В это самое время прибыл в Иркутск наш комендант Лепарский из Петербурга; он был глубоко тронут решимостью княгини Трубецкой и содействовал к прекращению этих уговоров[237]. Женщина с меньшею твердостью стала бы колебаться, условливаться, замедлять дело переписками с Петербургом и тем удержала бы других жен от дальнего напрасного путешествия.

Как бы то ни было, не уменьшая достоинств других наших жен, разделявших заточение и изгнание мужей, должен сказать положительно, что княгиня Трубецкая первая проложила путь, не только дальний, неизвестный, но и весьма трудный, потому что от правительства дано было повеление отклонить ее всячески от намерения соединиться с мужем. Ек[атерина] Ив[ановна] Трубецкая была не красива лицом, не стройна, среднего роста, но когда заговорит, — так что твоя краса и глаза, — просто обворожит спокойным приятным голосом и плавною, умною и доброю речью, так все слушал бы ее. Голос и речь были отпечатком доброго сердца и очень образованного ума от разборчивого чтения, от путешествий и пребывания в чужих краях, от сближения со знаменитостями дипломатии.

Чрез несколько недель после отъезда княгини Трубецкой из Петербурга выехала княгиня Марья Николаевна Волконская, урожденная Раевская[238]. Отец ее, знаменитый герой 1812 года Н. Н. Раевский, не соглашался на отъезд дочери. Он знал, что дочь его, юная, недавно замужем, соединила судьбу свою с князем С. Г. Волконским, который за сражение под Лейпцигом произведен был в генералы и по летам своим мог быть отцом ее; он знал, что она не по личной страсти, не по своей воле вышла замуж, но только из любви и послушания к отцу;

кроме этого, мог ее удержать грудной младенец, первородный сын, требовавший присутствия матери. Она решилась исполнить тот долг свой, ту обязанность, которая требовала более жертвы, более самоотвержения; сказала больному престарелому отцу, нежно любимому, что едет только на время для свидания с мужем; сына оставила у бабушки, у статс-дамы в Зимнем дворце, и немедленно уехала в Сибирь. В Иркутске ждали ее те же проделки, долженствовавшие остановить княгиню Трубецкую, она также дала подписку в добровольном отречении от всех прав состояния и имуществ; такая подписка была взята от всех наших дам, следовавших за мужьями в Сибирь, также от жены моей, которая, по данному мне слову, не могла приехать ко мне раньше, и ей суждено было заключить число жен, разделивших добровольно изгнание мужей[239]; она приехала ко мне в 1830 году и встретила меня на походе из читинского острога в петровскую тюрьму. М. Н. Волконская, молодая, стройная, более высокого, чем среднего, роста, брюнетка с горящими глазами, с полусмуглым лицом, с немного вздернутым носом, с гордою, но плавною походкою, получила у нас прозванье «la fille du Gange», девы Ганга; она никогда не выказывала грусти, была любезна с товарищами мужа, но горда и взыскательна с комендантом и начальником острога.

Княгини Трубецкая и Волконская были первые из прибывших жен к мужьям своим, они должны были ехать и дальше, и опаснее, и труднее — в Нерчинск. Положение их было страшное; сначала еще не было подробной инструкции начальникам, которые боялись запросов свыше и доносов снизу. Собственные их переписки при расстоянии 7000 верст шли медленно; родственники сначала не знали, куда обратиться для высылки денег — к дежурному генералу Потапову или к А. Х. Бенкендорфу, оттого в первое время терпели недостаток и подверглись многим лишениям не только от местной скудости, но и от недостатка в деньгах; довольно сказать, что они терпели зимою 1826 года и от холода и от голода. Странным показалось бы, если бы я вздумал подробно описать, как они сами стирали белье, мыли полы, питались хлебом и квасом, когда страдания их были гораздо важнее и другого рода, когда видели мужей своих за работою в подземелье, под властью грубого и дерзкого на-

чальства. По присоединении их в Читу переменился и образ их жизни. Пересылка писем и денег шла чрез губернатора и нашего честного коменданта С. Р. Лепарского; суммы денег были неограниченны, но только не находились в наших собственных руках, а израсходовались чрез комендантскую канцелярию. Посылкам не было конца; приход почты раз в неделю составлял важную эпоху; впоследствии, в 1828 году, дозволено было получать русские и иностранные журналы и газеты.

В сентябре 1827 года всех нас, кроме М. С. Лунина, остававшегося в отдельной избушке[240], переместили из временных острогов на новоселье — во вновь устроенный общий острог. Комендант размещал нас по комнатам, всех покоев было четыре для нас, общие сени и дежурная для офицера. В одну комнату поместил он восемь прибывших товарищей, из Нерчинска; в остальные три комнаты он распределил нас не по старшинству разрядов, а по собственному распоряжению; в одну, прозванную нами Москвою, расположились большею частью московские уроженцы; другая названа была нами Новгородом, по причине громких беспрестанных политических прений; третья, в которой я находился с 17 товарищами, названа была нами Псковом, младшею сестрою Новгорода.

Вместо нар заказаны были на собственные деньги кровати, не для того, чтобы спокойнее спать, но чтобы держать комнаты в большей опрятности; под кроватями можно было мыть и мести пол. Стол был у нас общий, обедали по своим комнатам, накрывали на стол сами по очереди, по дежурству, сами ставили самовары. По примеру повсеместного содержания острогов, было и нам позволено из среды своей избрать старосту или хозяина, который в нуждах общих и частных относился или к дежурному офицеру, или, чрез его посредство, прямо к коменданту. Хозяин распоряжался артельною суммою, заказывал припасы, но не имел ни копейки на руках, а по его записке платила комендантская канцелярия. В двадцати саженях от острога находилась наша кухня и кладовая съестных припасов. Хозяин или староста во время дня имел позволение ходить туда в сопровождении конвойного; хозяин избираем был на три месяца; первым хозяином был избран И. С. Повало-Швейковский, который со своим батальоном первый вступил в Париж

в 1814 году; он исполнял должность хозяина два срока сряду.

Пища была у нас простая и здоровая; часто удивлялся я умеренности и довольству тех товарищей, которые привыкли всю жизнь свою иметь лучших поваров и никогда без шампанского вина не обедали, а теперь без сожаления о прошлом довольствовались щами, кашею, запивали квасом или водою. Гастрономов было много между нами, они сознавались, что никогда теперь не терпели от голода, но зато никогда досыта не наедались. Я уже сказал, что половина моих товарищей были или небогаты, или были забыты родными, другие были очень богаты. Никита Михайлович Муравьев с братом своим Александром получали ежегодно по 40 тысяч рублей ассигнаций сверх посылок.

Чрез каждые три месяца при выборе нового хозяина каждый из артели назначал, сколько мог дать по своим средствам в общую артельную сумму, которою распоряжался хозяин, на пищу, чай, сахар и мытье белья. Одежду и белье носили мы все собственное; имущие покупали и делились с неимущими. Решительно все делили между собою: и горе и копейку. Дабы не тратить денег даром или на неспособных портных, то некоторые из числа товарищей сами кроили и шили платья. Отличными закройщиками и портными были П. С. Бобрищев-Пушкин, Оболенский, Мозган, Арбузов[241]. Щегольские фуражки и башмаки шили Бестужевы и Фаленберг; они трудами своими сберегали деньги, коими можно было помогать другим нуждающимся вне нашего острога. Когда священник Казанского собора Мысловский узнал эти подробности нашей жизни от А. О. Корниловича, то поспешил сообщить их жене моей и заметил ей, что в Чите, в остроге, ведут жизнь истинно апостольскую.

Общие работы наши продолжались по-прежнему: от мая до сентября, когда можно было рыться в земле, мы засыпали Чертову Могилу, исправляя почтовую дорогу, сажали, поливали и пололи в огороде, который доставлял нам овощи и картофель на целый год. Когда после И. С. Повало-Швейковского избрали меня быть старостою или хозяином, то на годовой запас в больших сороковках посолил 60 тысяч огурцов: валили вперемежку ряд огурцов и ряд листьев черной смородины и укропу, до верху бочки, потом заливали все из больших артель-

ных котлов кипятком с рассолом. С тех пор у меня иначе не солили огурцов в бочонках для домашнего потребления, и таким образом соленые огурцы держались превосходно целый год до свежих огурцов.

От сентября до мая водили нас ежедневно по два раза в особенную просторную избу, в коей устроены были ручные мельницы с жёрновами; каждому приходилось молоть по два пуда ржи на урок. Сначала работа эта была трудная, пока рука не привыкла. Здоровые товарищи доканчивали уроки больных или слабосильных; я с удовольствием молол всегда за М. Ф. Митькова. Работы нередко сопровождались пением самым гармоническим. П. Н. Свистунов был регентом и капельмейстером; лучшие голоса были бас — братьев Крюковых, тенор — Щепина-Ростовского, сопрано — Тютчева. Церковное пение Барятинского пели они необыкновенно хорошо, в церковь нас никогда не водили, кроме одного раза в год, в неделю великого поста для приобщения святых тайн; но в большие праздники приходил к нам священник и служил молебствия накануне. Никогда не забуду, как трогательна и превосходна была служба и пение в остроге в великую субботу пред Христовым воскресеньем в 1828 году, когда в 9 часов вечера, по пробитии вечерней зори, после восторженного восклицания «Христос воскресе!» вдруг зазвенели цепи узников, бросившихся в объятия с братолюбивыми лобызаниями. Этот восторг не был нарушен разгавливанием; часовые заперли двери на замок, и мы мысленно продолжали обнимать наших отдаленных родных, благословляя ближних не по местности, но по сердцу. Для нас, по тюремному положению, раздалось радостное «Христос воскресе!» тремя часами раньше, чем для наслаждавшихся свободою.

В часы досужные от работ имели мы самое занимательное и поучительное чтение; кроме всех журналов и газет, русских, французских, английских и немецких, дозволенных цензурою, имели мы хорошие библиотеки Н. М. Муравьева, С. Г. Волконского и С. П. Трубецкого[242]. Невозможно было одному лицу прочитать все журналы и газеты, получаемые от одной почты до другой, почему они были распределены между многими читателями, которые передавали изустно самые важные новости, открытия и события. Сверх того, многие из моих товарищей получили классическое образование; беседы их

были полезнее всякой книги; некоторых из них мы упросили читать нам лекции в продолжение долгих зимних вечеров. Никита Муравьев, имев собрание превосходнейших военных карт, читал нам из головы лекции стратегии и тактики, Ф. Б. Вольф — о физике, химии и анатомии, П. С. Бобрищев-Пушкин 2-й — о высшей и прикладной математике, А. О. Корнилович и П. А. Муханов читали историю России, А. И. Одоевский — русскую словесность[243]. С особенною любовью вспоминаю здесь Одоевского: он имел терпение заниматься со мною четыре года; и доныне храню главные правила, написанные его рукою; а между тем он никогда не писал своих стихов, кроме «Колыбельной песни» сыну моему Кондратию, другой — сыну моему Евгению, а мне посвятил «Последнюю надежду»[244].

Нас запирали в 9 часов вечера; по пробитии зори не позволяли иметь свечи, а как невозможно было так рано уснуть, то мы или беседовали в потемках, или слушали рассказы М. К. Кюхельбекера о кругосветных его путешествиях и А. О. Корниловича из отечественной истории, которою он прилежно занимался, быв издателем журнала «Русская старина»[245]. В продолжение нескольких лет имел Корнилович с профессором Куницыным свободный вход в государственный архив, где почерпнул любопытные сведения, особенно о царствованиях императриц Анны и Елизаветы. Чрез полгода мы лишились нашего отличного собеседника: фельдъегерь, который привез к нам Вадковского из Шлиссельбургской крепости, увез от нас Корниловича. Впоследствии мы узнали, что его отвезли обратно в Петропавловскую крепость, где снова допрашивали его по делу польских тайных обществ, коих члены заняли наши упраздненные казематы. Наконец, в 1834 году отправили его на Кавказ солдатом, где он вскоре скончался от болезни.

Образованность умных товарищей имела большое влияние на тех из нас, которые прежде не имели ни времени, ни средств обогатиться познаниями. Некоторые из наших начали учиться иностранным языкам, из них изумительные успехи сделал Дм[итрий] Ир[инархович] Завалишин 1-й, который, кроме греческого и латинского, научился писать и выражаться на тринадцати языках; для важнейших из них находил он учителей между товарищами, а для прочих главных ключом и словарем слу-



А. И. ОДОЕВСКИЙ
Акварель Н. А. Бестужева. 1833 г.

жило для него Евангелие. Многие из наших изучили не только язык книжный, но и разговорный. В последнем отношении всего забавнее было с английским языком по выговору слов: сколько споров и сколько смеху! и сколько звуков, нисколько не соответствовавших сложению букв! Так что М. С. Лунин, знавший до совершенства этот язык, всегда упрашивал: «Читайте, господа, и пишите по-английски сколько хотите, только не говорите на этом языке!»

Комнаты наши были тесны, заставлены по всем четырем стенам кроватями; некуда было поместить станок столярный или токарный. Некоторые желали учиться играть на скрипке и на флейте, но совестно было терзать слух товарищей; по этой причине избрал я для себя самый скромный, тихий, но и самый неблагодарный инструмент — чекан; с помощью печатного самоучителя разобрал я ноты и каждый вечер употреблял на то условные полчаса. На этом инструменте учился со мною П. И. Фаленберг[246]. На следующий год позволили выстроить во дворе острога два домика; в одном поместили в двух половинах станки, столярный, токарный и переплетный. Лучшими произведениями по сим ремеслам были труды Бестужевых, Бобрищева-Пушкина, Фролова и Борисова 1-го.

В другом домике поставлены были рояль и фортепиано; туда по распределенным между нами часам приходили играть по очереди и на скрипке, на флейте, на гитаре. Ф. Ф. Вадковский превосходно играл на скрипке, П. Н. Свистунов на виолончели; на рояле играл А. П. Юшневский с такою беглостью, что чем труднее были ноты, тем приятнее для него, так что он радовался тем нотам, от коих трещали его пальцы; он также играл на скрипке и вместе со Свистуновым, с Вадковским, Крюковым 2-м составляли отличный квартет, который 30 августа, когда было у нас шестнадцать именинников, в первый раз играл для всех нас в большом остроге[247], где в Новгороде взгромоздили кровати, очистили комнату для помещения оркестра и слушателей. Живописью занимались: Н. А. Бестужев — акварелью, он со всех нас снял портреты[248]; Н. П. Репин и И. В. Киреев сняли виды Читы и внутренность острога[249]; Я. М. Андреевич писал масляными красками алтарный образ спасителя, носящего крест, образ подарен им читинской церкви с надписью. Н. А. Загорецкий ножом и циркулем сделал деревянные стенные часы. К. П. Торсон построил модели жатвенной машины и молотильной.

Через год по прибытии нашем в Читу расстались мы с шестым разрядом наших товарищей, которым наступил срок перебраться на поселение[250]. Расстались мы, радуясь за них, что будет им свободнее нас, они — жалея, что покидают нас в узах и за частоколом; но вышло на деле, что нам было лучше, нежели им. Общество умных и честных людей украшает столько же жизнь в тюрьме,

сколько общество бездельников может помрачить жизнь на воле. Поселенцам нашим сначала было очень худо в местах отдаленного севера и в одиночестве; чрез несколько лет перевели их в места обитаемые южнее, где могли жить не с белыми медведями и где соединяли товарищей по два и по три вместе. Я уже упомянул, до чего довели одиночество и печальная местность некоторых из наших соизгнанников VII разряда, отправленных на поселение прямо из Петропавловской крепости.

В начале августа 1828 года прибыл фельдъегерь в Читу, никого не привез и не увез, ничего не узнали о причине приезда его, никакая не воспоследовала перемена для нас. В конце сентября ожидали коменданта в остроге; он вошел в полной парадной форме, с новою лентою чрез плечо, собрал нас всех в кружок и объявил, что император, по внимание к нашему поведению, всемилостивейше приказал снять с нас кандалы. Я уже сказал, что они были нам надеты не по прежним правилам, также не для удержания нас от побега во время пути, потому что мы по прибытии на место носили их еще полтора года. Как бы то ни было, но мы после узнали, что государь 8 июля, в день Казанской божьей матери, выходя из храма, приказал отправить фельдъегеря в Читу с повелением: снять железы с тех государственных преступников, которые того заслужили хорошим своим поведением. Комендант получил это повеление в начале августа, но решился утаить его на время, пока не получил ответа на запрос. Он знал невозможность снять кандалы только с некоторых из нас; если же снял бы со всех, то подвергал себя упреку и заподозрению со стороны высших властей, которые могли бы сменить его и дать нам такого молодца, что боже упаси! Он, желая держаться на этом месте для нашей же пользы, донес, что все равно отличаются хорошим поведением, и спрашивал позволения снять железы со всех нас без исключения, что и было дозволено и исполнено. Унтер-офицер пришел с ключами, отомкнул замки кандалов, они в последний раз брякнули об пол, и мне было как-то жаль с ними расстаться: они часто вторили моим песням, когда для такта ударял ногою об ногу, как шпорами. В первые ночи по снятии желез все еще казалось, что они на ногах, потому что ноги привыкли лежать в таком положении, чтобы не было ни очень больно, ни очень холодно от

них; наконец и ходить и спать без них было гораздо легче и лучше, но петь без них было мне грустнее. Не помню, кому из нас удалось выменять одну пару кандалов; из них сковали памятные вещи, доныне имею крест и кольцо полировки Якубовича.

Иному покажется, что я так подробно и нежно упоминаю о железах для того только, чтобы более напомнить о них или похвастать ими. Я хотел подтвердить собственным опытом, что страдания или мучения за правду, за идею и из любви к ближним доставляют также свои усладительные утешения. В это время я был избран в должность хозяина, или старосты, и сменил Повало-Швейковского. По общим нуждам моих товарищей имел случаи побывать иногда у коменданта: он принимал меня всегда чрезвычайно вежливо и часто повторял о своем странном положении: «Что скажут и напишут обо мне в Европе? скажут, что я бездушный тюремщик, палач, притеснитель; а я дорожу этим местом только для того, чтобы защитить вас от худших притеснений, от несправедливостей бессовестных чиновников. Какая польза мне от полученных чинов и звезд, когда здесь даже некому их показать? Дай бог, чтобы меня скорее освободили отсюда, но только вместе с вами».

В 1828 году приехала к мужу Наталья Дмитриевна Фонвизина, урожденная Апухтина. По причине малолетства двух сыновей она не могла приехать раньше. Еще очень молодая и хорошая собою, она до замужества имела такое религиозное стремление, что хотела удалиться в монастырь и посвятить себя только богу. Потом, вышед замуж за благороднейшего человека, за генерала М. А. Фонвизина, она разделяла страдания и изгнание мужа, также покорялась воле божьей, но нервы ее так расстроились, что она постоянно хворала. Муж ожидал ее приезда с величайшим нетерпением, беспрестанно любовался ее портретом; о ней упомяну в своем месте еще несколько раз. Ей суждено было лишиться мужа по возвращении на родину, выйти замуж вторично за товарища моего Ив[ана] Ив[ановича] Пущина и вторично овдоветь.

В том же году приехала в Читу Александра Ивановна Давыдова, супруга Василия Львовича, которая оставила большое семейство, почему ей надобно было устроить детей и поместить их у родных до отъезда в Сибирь.

Необыкновенная кротость нрава, всегда ровное расположение духа и смирение отличали ее постоянно. Василий Львович Давыдов, отличавшийся в гусарах, и в обществе, и в ссылке своею прямотою, бодростью и остроумием, был поселен в Красноярске, где скончался в октябре 1855 года и только несколько месяцев не дожил до манифеста освобождения.

В том же году прибыла в Читу Прасковья Егоровна, невеста И. А. Анненкова; свадьба была негласная, зато гласное ей было дано позволение ехать к жениху от самого императора, к которому она геройски обратилась с просьбою после маневров при Белой Церкви[251]. Император в добрый час принял ее ласково, с участием и приказал ей выдать три тысячи рублей на дорогу, между тем как уже сочетавшимся женам для соединения с мужьями были оказываемы всевозможные препятствия. С нею было у нас в Чите всех восемь дам. Они вели переписку со всеми нашими родными и были посредниками между живыми и умершими политической смертью. Сами они вели жизнь, исполненную самопожертвования; свидания с мужьями по два раза в неделю, по одному часу продолжались таким порядком четыре года, до нашего переселения в другую тюрьму, в Петровский железный завод.

Сначала было всех нас в Чите 82 человека, а по отъезде шестого разряда на поселение, Толстого в Грузию[252] и Корниловича в Петропавловскую крепость осталось нас 70 человек и 7 дам; А. И. Ентальцева уехала с мужем на поселение. Вновь прибывших, осужденных не вместе с нами, по особым судом, привезли к нам: К. Е. Игельстрома, А. И. Вегелина и Рукевича и трех бывших офицеров Черниговского полка[253]: барона Соловьева, Мозалевского и Быстрицкого.

Всякому невольнику беспрестанно на мысль приходит воля. Все думали, как бы освободиться всем вместе, и в том числе и наши безвинно страждущие дамы; о том же думали другие изгнанники на каторжной работе, вне нашего острога. В Нерчинских рудниках, где работали сначала восемь наших товарищей, оставалось еще несколько человек из бывших офицеров Черниговского пехотного полка, осужденных не с нами вместе, но особенным военным судом за освобождение Сергея и Матвея Ивановичей Муравьевых-Апостолов из-под ареста в полковом штабе. Там были Быстрицкий, Мозалевский, барон Соловьев и

Сухинов; последний из них решился поднять всех каторжных, с их помощью освободить нас из острога и предоставить нам дальнейшие предприятия. Большинство нерчинских рудокопов согласились; условлено было обезоружить караул и начать рано утром следующего дня, как за день до того предатель открыл все дело, и Сухинов с главными зачинщиками были закованы. Все дело было донесено в Петербург; нарядили военный суд; наш комендант был председателем суда. Сухинова и еще десять человек приговорили к смерти; накануне исполнения приговора Сухинов сам повесился на бакаушке печи своей тюрьмы[254], другие были расстреляны, а Соловьева, Мозалевского и Быстрицкого перевели к нам в Читу, дабы отклонить их от подобных препятствий.

Вероятно, по этой же причине предпочли держать нас особенно, не вместе с другими преступниками, в больших рудниках. Утверждают, что эта мысль представлена была императору генерал-губернатором Восточной Сибири Лавинским, которому государь при прощании с ним в Москве после коронации сказал: «Смотри же, ты отвечаешь мне за этих господ!» — на что генерал-губернатор ответил, что всякий надзор будет невозможен, если они будут распределены в различных местах различных рудников Сибири.

В Чите караулила нас рота пехоты и полсотни сибирских казаков. Несколько человек из наших товарищей крепко занялись приготовлениями к побегу, особенно из высших разрядов, приговоренных на двадцатилетнее заточение. Другие же, сперва в меньшинстве, а потом в большинстве, видели явную невозможность такого предприятия и откровенно доказывали это и противодействовали решительно[255]. С караулом было бы не трудно справиться, солдаты были нам очень преданы, они волею или неволею передали бы свое оружие; следовательно, из острога могли бы освободиться и выйти из ворот частокола и из селения; но куда идти? На юг, чрез Маньчжурию и Даурию в Китай, был бы путь ближайший за границу, но китайцы выдали бы; кроме того, до достижения границы достаточно было бы полсотни казаков, которые, преследуя нас денно и нощно, не давая нам часового покоя, могли бы извести нас в неделю. От местных жителей, кочующих бурят, не было бы никакой защиты, они за одежду и за шапку застрелили бы нас, как

пушного зверя. Другой путь указывал на юго-восток, добраться до берега Амура в лодках и по направлению реки плыть к Великому океану и спастись в Америку.

Но до достижения Амура и океана предстояли те же препятствия, какие встретились бы по первому направлению к китайской границе, и, не достигнув еще Амура, были бы преследуемы вдоль обоих берегов Ингоды и Шилки, из прибрежных селений захватили бы или затопили бы нашу бессильную флотилию. На запад — дорога вела 4000 верст до границ Европейской России; на таком протяжении представлялись сотни преград для бегущей кучки. На севере — путь вел по тундрам бесхлебным к Ледовитому морю. Поодиночке легче представлялась возможность укрыться и освободиться: ежегодно из Нерчинска спасаются бегством несколько человек отдельно. Трое из сосланных черкесов добрались до своей родины чрез озера Аральское и Каспийское. Но одиночное бегство из нашего острога имело бы неминуемым следствием строжайшие меры против оставшихся арестантов; никто не хотел взять на себя такую ответственность. Другое дело было с теми, которые жили на поселении, где они были рассеяны поодиночке, но и там побег одного имел бы жестокое последствие для других. М. С. Лунин сделал для себя всевозможные приготовления, достал себе компас, приучал себя к самой умеренной пище, пил только кирпичный чай, запасся деньгами, но, обдумав все, не мог приняться за исполнение[256]; вблизи все караулы и пешие и конные, а там неизмеримая, голая и голодная даль. В обоих случаях — удачи и неудачи, все та же ответственность за новые испытания и за усиленный надзор для остальных товарищей по всей Сибири.

Глава девятая

ТЮРЬМА ЗА БАЙКАЛОМ В ПЕТРОВСКОМ ЖЕЛЕЗНОМ ЗАВОДЕ

Поход. — Дорога. — Буряты. — Сборы жены моей в Читу. — Выезд из Москвы. — Свидание. — Онинский бор. — Селенга. — Староверы. Семейские. — Тарбагатай. — Десятниково. — Петровский Завод. — Тюрьма. — К. П. Ивашева. — Укор. — Окна. — Гибель Репина и Андреева. — Рождение сына. — Вольф и А. З. Муравьев. — Механика. — Поэзия. — М. С. Лунин. — А. П. Юшневский. — Недомолвка. — Люлька. — Отъезд

В Чите мы жили четыре года; это заключение острожное было временное, потому что постоянное готовилось для нас недалеко от Верхнеудинска, в Петровском железном заводе, когда в первый год нашего прибытия в Читу посланы были инженерный штаб-офицер с помощниками, чтобы выстроить огромную тюрьму по образцу исправительных домов американских. Это новое капитальное здание было окончено летом 1830 года, и комендант наш получил повеление переселить нас туда[257]. Сборы наши были не важны: уложили чемоданы, подарили жителям овощи и плоды огорода и всю деревянную посуду нашего хозяйства. Назначено было идти двумя отрядами, потому что дорогою предстояло худое тесное размещение по местности ненаселенной. Первую партию вел плац-майор подполковник Лепарский, племянник нашего коменданта, а вторую сам комендант; каждая партия имела достаточное число конвойных солдат и казаков. Для вещей были наняты подводы; ехать было дозволено только больным и еще раненым, как Фонвизину, Трубецкому, Лунину, Волконскому, Якубовичу, Швейковскому, Митькову, Давыдову и Абрамову. При каждой партии был избран хозяин, или староста, для первой — А. Н. Сутгоф, для второй — я; старосты также под конвоем часовых с кашеварами и котлами и провизией приходили на ночлег накануне партий, чтобы приготовить пищу. Чрез каждые два дня перехода имели дневки; поход наш с лишком семь сот верст продолжался сорок восемь дней[258]. Дамы наши провожали нас несколько переходов, но, не имев спокойных помещений, поехали вперед до Верхнеудинска, откуда дорога вела по местам хорошо населенным.

Первый отряд выступил 4 августа 1830 года, а на

другой день — второй. Жители Читы провожали нас со слезами непритворными и с благословениями, потому что пребывание наше доставило им множество денег и выгод: они хорошо обстроились и получили для украшения деревни лучшие дома коменданта, кн. Трубецкой, Волконской и Анненковой. Муравьева, Нарышкина и Давыдова жили в наемных домах, которые они хорошо перестроили.

До Верхнеудинска вела дорога почтовая, при станциях был только станционный домик и несколько изб; по всему протяжению, обитаемому бурятами, не было никаких селений, почему на местах, назначенных для ночлегов и дневок, были свезены на время нашего похода бурятские юрты, палатки конусообразные из войлоков, в коих помещались мы по четыре человека в каждой. Несколько таких юрт, поставленных в один ряд, представляли вид небольшого лагеря; кругом расположены были караулы и пикеты. Кухня была на открытом воздухе; во время ненастья устраивали мы навес из жердей и ветвей.

Чистый осенний воздух, днем довольно теплый, ночью с морозом до восьми градусов, и местность возвышенная, и движение укрепляли наше здоровье. Несколько дней сряду переходили мы из долины в долину, со всех сторон горы, так что след пути виден был на версту, а там поворот, и опять новая гора и новая долина. Местами показывались бурятские табуны, большею частью все белые и светло-серые лошади малорослые; при них конные пастухи с ружьями, луками и стрелами и двухколесные арбы с войлочными юртами, с женами и детьми. Буряты питались охотою, рыболовством, ели и падаль, почему сибиряки прозвали их *дошлыми*[259]. Эти потомки монголов, как некогда предки их, довольствовались малым; немудрено, что Чингисхан предпринимал дальнейшие походы с многочисленным воинством без запасных магазинов в местах безлюдных. Наши проводники и подводчики из бурят не имели при себе ни хлеба, ни припасов, а дважды в сутки по очереди удалялись из лагеря, на полчаса убегали в лесок и насыщались там одною брусникою. Постепенно они стали сближаться с нами, несколько человек знали по-русски, служили толмачами, или переводчиками, для своих товарищей. Целая куча их собралась вокруг столика, за коим Трубецкой и Вадковский играли в шахматы; лица зрителей выражали не простое любопытство, но знание этой игры. Одному

из них предложили сыграть партию; он победил лучших наших игроков, объяснив им, что эта игра с детства им знакома и перешла к ним из Китая.

Всех более подстрекал их любопытство товарищ наш — М. С. Лунин: он, по причине ран боевых, имел позволение ехать в повозке, которая была закрыта; он и спал в ней и днем не выходил из нее несколько переходов сряду; как только отряд остановится на ночлег или на дневку, то толпа окружала его повозку, выжидая часа, когда он выйдет или покажется; но кожаные завески были днем задернуты, и не видать было таинственного человека, в котором предполагали увидеть главнейшего преступника. Однажды вздумал он показать себя и спросил, что им надо? Переводчик объявил от имени предстоявших, что желают его видеть и узнать, за что он сослан. «Знаете ли вы вашего Тайшу?» — «Знаем». Тайша есть главный местный начальник бурят. «А знаете ли вы Тайшу, который над вашим Тайшою и может посадить его в мою повозку или сделать ему *угей* (конец)?» — «Знаем». — «Ну, так знайте, что я хотел сделать угей его власти, вот за что я сослан». — «О! о! о!» — раздалось во всей толпе, и с низкими поклонами, медленно пятясь назад, удалились дикари от повозки и ее хозяина. Часть небольшая этого кочующего племени приняла христианскую веру, живет оседло, в избах, успешно занимается земледелием; прочие все идолопоклонники, имеют своих жрецов, шаманов, которые, питая их суеверие, кривляются, ломаются, вертятся до обморока и в состоянии головокружения пророчествуют и заклинают. В особенных местах скрытых находятся их капища. Неопрятность этих дикарей доходит до высшей степени; белья они не знают, носят шубы на голом теле, обувь из козьих шкур, всегда в меховой шапочке, волосы на голове бреют, оставляя только длинную сплетенную косичку. Глаза небольшие, прищуренные, лоб низкий, узкий, плоский, лицо четырехугольное с выдающимися скулами, цвет лица бледно-желтоватый — составляют особенность наружного вида их племени. Между собою они называют себя не бурятами, а менду; приветствие их: «амур менду!» — этими словами мы с ними встретились и простились. Почти на двести верст тянулись их кочевья.

Подвигаясь ближе к Верхнеудинску, встречали мы чаще селения, но небольшие, и до самого города ночевали

все в юртах, отлично хорошо устроенных, не пропускающих ветра. В холодные ночи разводят огонь посреди юрты, дым выходит сверху чрез отверстие, которое изнутри закрывается войлочною задержкою. Вокруг огня располагается все семейство бурята; на войлоках валяются голые дети, взрослые дубят зубами звериные кожи, точат стрелы, льют пули, валят войлоки. Лакомство и любимую пищу богатых бурят составляет кирпичный чай; это сбор отпавших и испорченных листьев с чайного дерева, кои посредством вишневого клея или дурного клейкого вещества сдавливаются в формах, наподобие плоских кирпичей, длиною в фут, шириною в пять вершков, толщиною в два вершка, оттого и название кирпичного чая. От такого кирпича отрубают топором небольшой кусочек, толкут его в порошок, варят в котле, подсыпая немного соли и муки, подбавляя немного молока, или масла, или жиру, или сала, и пьют его с наслаждением из деревянных лакированных чашек, поглубже и побольше блюдечек наших чайных чашек.

Буряты все охотники до табаку, курят его из коротеньких медных трубочек из латуни, из одного листа чубук и трубка, которая в виде малейшего полушарика вмещает в себе добрую щепотку табаку; закуривая трубочку, они втягивают в себя весь дым; эти трубочки так малы по причине дороговизны табаку, который ныне разводится уже во многих местах южной Сибири. Вот единственное их наслаждение. Без сомнения, кочующие буряты скоро последуют примеру своих оседлых соплеменников, живущих в довольстве.

За две недели до выступления нашего из Читы получил я письмо от жены моей из станции Степной, где она была задержана целых три недели страшным наводнением, иначе она застала бы меня еще в Чите. Сыну моему минуло четыре года; жена моя долго затруднялась, кому доверить его воспитание. Добродетельная тетка А. А. Самборская отговорилась преклонными летами и расстроенным здоровьем. Старший брат жены моей[260] не соглашался на отъезд ее и всеми возможными доводами отговаривал ее.

Между тем здоровье бедной жены моей значительно пострадало от четырехлетней разлуки и горести, особенно когда получила решительный отказ ехать вместе с сыном. Генерал-адъютант Дибич обнадеживал супругу И. Д. Якушкина, которая не могла ехать тотчас к мужу,

имея на руках двух малолетних сыновей, и все надеялась на обещание Дибича[261]. Когда жена моя лично обратилась с просьбою к генерал-адъютанту А. Х. Бенкендорфу, то он объявил ей невозможность взять с собою сына, и когда жена моя напомнила ему обещание, данное Дибичем, то возразил ей положительно: «C'est impossible, c'est une étourderie de la part du général; si vous voulez partir sans votre fils, il n'y aura jamais de retour pour vous jamais»*. Это была не пустая угроза, но придуманная мера, потому что по смерти двух моих товарищей А. П. Юшневского и А. В. Ентальцева вдовы их просили позволения возвратиться на родину и получили отказ[262]. Потом Бенкендорф прибавил: «Si vous avez besoin de quelque autre secours, j'intercederai auprès de Sa Majesté»**. Жена моя с сокрушенным сердцем ответила: «Je vais pour ne pas revenir, et je n'ai plus rien prier, quand on me refuse mon fils»***. Бенкендорф был растроган до слез и просил: «По крайней мере, когда поедете, то дайте мне знать, я пришлю вам нужные бумаги».

Жена моя, возвратившись домой, была как ошеломленная; с того мгновения сделался такой шум в ее голове, что она с трудом могла слышать, как будто беспрестанно находилась в лесу, в коем бурею качаются ветви и листья; этот недуг продолжался несколько лет и после возобновлялся по временам при душевных смущениях. В продолжение разлуки со мною вела она жизнь совершенно затворническую, посвящала себя сыну и уехала в деревню на Украину. Страдания ее увеличивались, любящие родные скорбели, но не знали, как помочь, тогда при грозившей беде явился ангел-утешитель, младшая сестра жены моей, Марья Васильевна, юная годами, но сильная душою. Она, услаждение сестры во время ее горести, с твердою верою уговорила ее ехать и брала на себя сбережение и воспитание сына моего. Она умела успокоить жену мою и укрепить ее в печальные дни, она

---

* Невозможно, это легкомыслие со стороны генерала; если вы хотите уехать без вашего сына, путь обратно будет для вас закрыт навсегда (франц.).

** Если вы нуждаетесь в какой-либо другой помощи, я буду ходатайствовать перед его величеством (франц.).

*** Я еду, чтобы не возвращаться, и мне не о чем более просить, когда мне отказывают в моем сыне (франц.).

же сняла с нее главную заботу, единственное препятствие к нашему соединению. Сборы в дорогу продолжались недолго. Жена уведомила Бенкендорфа о времени своего отъезда и получила немедленно от него ответ и четыре пакета на имя губернаторов тобольского, енисейского, иркутского и нашего коменданта.

Положено было ехать всем семейством вместе до Москвы, чтобы там матери расстаться с сыном, дабы дальнейшие дороги, из коих одна должна была вести мать в Сибирь, а другая сына в Петербург, могли бы обоим облегчить первые дни мучительной разлуки. В Москве все родственники моих товарищей навещали жену мою с искреннейшим участием, которое преимущественно умели выразить Ев[докия] Мих[айловна] Нарышкина, впоследствии княгиня Голицына, и все графини Чернышевы, сестры нашей Алекс[андры] Григ[орьевны] Муравьевой; особенно Вера Григорьевна, ныне графиня Пален, со слезами просила взять ее с собою под видом служанки, чтобы она там могла помогать сестре своей. Так, другая сестра ее, Наталья Григорьевна, после супруга знаменитого военачальника и покорителя Карса Н. Н. Муравьева, просила тогда позволения у императора делить с сестрою изгнание и лишения. Не беру на себя подробно описать последний день, проведенный матерью с сыном; маленький Евгений был мальчик чувствительный, умный и послушный; мать уже давно приготовила его к предстоящей разлуке, обещала свидание и возвращение. Из прощающихся с нею в последние минуты случился тут пред самым отъездом хороший и близкий знакомый с юных лет, первый воспитанник первого выпуска из императорского Царскосельского лицея, гвардейского Генерального штаба полковник В. Д. Вольховский. Жена моя не хотела уехать первая, посадила сына в карету и благословила его; когда тронулась карета, она села в свою коляску и из тех же ворот повернула в противную сторону. Лишь только отъехала в другую улицу, коляска спустилась на бок от небрежно застегнутой пряжки заднего рессорного ремня и выломила три спицы заднего колеса. Жена моя должна была воротиться в те же покои, в коих простилась с сыном. К счастью, В. Д. Вольховский увидел этот неприятный случай, поехал к каретнику Рейхардту, честному, хорошему мастеру, который уверял жену, что эта коляска хотя и дорогая, но не только довезет

ее за Байкал без починки, но и благополучно привезет ее обратно. Старик мастер был так поражен этим случаем, что рвал на себе волосы; накануне пробовали коляску с тяжелою дорожною поклажею, катали ее по городу, по мостовой несколько часов, чтобы потом подтянуть ремни; сам мастер, убедившись в исправности винтов, приказал подмастерью подтянуть ремни, а тот второпях, видно, согрешил. В три часа все было готово, новые три спицы были выкрашены и краска просохла; эта коляска проехала после того с лишком шестнадцать тысяч верст без починки; тысячу раз благодарили славного мастера Рейхардта. Можно себе представить, как эти три часа показались бесконечными для бедной матери; в первую минуту она хотела послать воротить карету, но одумалась, припомнив взаимную борьбу первого расставания. В. Д. Вольховский, в котором она тогда не могла предугадывать будущего брата и отца для ее сына[263], проводил ее последний, а далее провожал ее господь.

Июня 17-го жена моя выехала из Москвы и нисколько не отставала от почты, ехавшей с письмами. До Тобольска она отдохнула только в Нижнем Новгороде у губернского почтмейстера Михайлова, с женою которого она издавна была знакома, и еще в Перми, в гостеприимном доме князя Максутова. В Тобольске, отослав письмо Бенкендорфа к генерал-губернатору И. А. Вельяминову, получила от него предложение услуг и согласилась взять в проводники до Иркутска почтальона Седова, с помощью которого не могло быть никакой остановки. В Красноярске она послала другое письмо Бенкендорфа к губернатору Степанову и немедленно отправилась далее. В Иркутск она прибыла 31 июля, там была она задержана несколько дней. Хотя не могли ей делать таких препятствий, как княгине Трубецкой, однако и от нее потребовали письменного отречения от всех прав состояния. Во многом помогали ей советы умной княжны Варвары Шаховской, свояченицы А. Н. Муравьева, бывшего тогда уже старшим советником губернского правления в Иркутске. Августа 4-го поставили коляску на парусную лодку, отчалили, поднялась буря и качала ее до 7-го; она не могла пристать к берегу у Посольского монастыря, но, к счастью, могла войти в залив в 9 верстах от монастыря, в коем жена моя и попутчики отслужили благодарственный молебен. Оттуда отъехала несколько станций и

должна была остановиться в Степной, где приливы воды с берегов Селенги и Уды наводняли тогда все окрестности. Десять дней жила она в бедной деревушке в амбаре; вода стала спускаться, но жена должна была оставить свою коляску, переправиться несколько верст на лодке и с трудом и с опасностью добралась до следующей станции. Слуга оставался при коляске, она со служанкою[264] села в перекладную телегу и мчалась далее, мчалась, потому что сибирские почтовые кони иначе не возят. Хотя еще в Чите пред выступлением нашим получил я письмо ее из Степной, но по случаю наводнения невозможно было ожидать ее в определенный день, а по близости места можно было ожидать ее ежедневно. Жену мою опередила в Иркутске несколькими днями Марья Казимировна Юшневская, которая не была задержана наводнением.

27 августа наш отряд имел дневку в Онинском бору, небольшой деревне, где мы помещены были в юртах. На переходах я только обедом кормил свой отряд, а после обеда отправлялся вперед для заготовления к следующему дню. В Онинском бору была дневка, я провел целый день с товарищами, стоял в одной палатке с братьями Бестужевыми и Торсоном[265]; они, как бывшие моряки, приготовили себе и мне по матросской койке из парусины, которую привешивали к четырем вбитым кольям, так что мы не лежали на земле.

После обеда легли отдохнуть, но я не мог уснуть. Юрты наши были поставлены близ большой дороги, ведущей в лес, через мостик над ручьем. Услышав почтовый колокольчик и стук телеги по мостику, выглянул из юрты и увидел даму в зеленом вуале. В мгновение накинул на себя сюртук и побежал навстречу. Н. А. Бестужев пустился за мною с моим галстуком, но не догнал; впереди пикет часовых бросился остановить меня, но я пробежал стрелою; в нескольких десятках саженей от цепи часовых остановилась тройка, и с телеги я поднял и высадил мою добрую, и кроткую, и измученную Annette. Часовые остановились; в первую минуту я предался безотчетной радости, море было по колено; но куда вести жену? Она едва могла двигаться после такой езды и таких душевных ощущений. К счастью, пришел тотчас плац-адъютант Розенберг, который уведомил, что получил предписание от коменданта поместить меня с женою в крестьянской

избе и приставить часового. Вопросы и ответы о сыне и о родных длились несколько часов.

Мне надобно было отпустить ужин товарищам, жену уговорил зайти к Е. П. Нарышкиной. Лишь только приблизился к юртам, как с восторгом встретили меня; товарищи были счастливы моим счастьем, обнимали меня; Якубович целовал мои руки, Якушкин вскочил в лихорадке, он ожидал свою жену вместе с моею, каждый по-своему изъявлял свое участие. Меня не допустили до кухни, другие справляли мою обязанность. Я хотел угостить жену артельною кашею, но Давыдов предупредил меня и из своей смоленской крупы на бульоне сварил для нее такую кашицу, какой лучший повар вкуснее не сварит. На другой день после обеда я выступил с моим конвоем и с котлами; жена моя догнала меня в почтовой повозке; весь переход я провожал ее пешком и беседовал с нею. Я не хотел присесть, потому что дал себе слово дойти пешком до Петровского. Дело это было не важное, однако в нескольких местах представлялись затруднения; конвойные мои часто приседали на телеги, возившие провизию и посуду. Приехали к широкому ручью без моста, они остановились и предложили мне сесть. «Нет, братцы, спасибо! поезжайте вперед, я перейду», — и благополучно прошел по воде в полсажени глубиною; на десятой версте вся одежда и белье на мне обсушились. В первые дни жена моя могла пройти со мною не далее версты, а через неделю, когда приблизились к Селенге, она ходила уже по шести и более верст; погода стояла ясная, с 10 до 2 часов солнце так грело, что она могла ходить в холстинчатом капоте. Одну ночь привелось ей ночевать в бурятской юрте; там читала она полученные письма от сына и родных. Ночлег этот понравился ей всего более оттого, что прямо над головою виднелось сквозь отверстие дымовое звездное небо.

Через несколько дней мы достигли берегов Селенги, самых прелестных и величественных. Представьте себе реку широкую, коей берег с одной стороны окаймлен высокими скалами, состоящими из разноцветных толстых пластов, указывающих на постепенное свое образование от времен начальных, допотопных. Гранит красный, желтый, серый, черный сменяется со шпатом, шифером и камнем известковым, меловым и песчаным. В некоторых извилинах дорога проложена по самому берегу реки,

слева — вода, быстро текущая, прозрачная, чистейшая, а справа скалы высятся сажен на шестьдесят, местами в виде полусвода над головою проезжающего, так что неба не видать. Далее вся скалистая отвесная стена горит тысячью блесток всех цветов. По обеим сторонам реки холмы пересекают равнину, на равнине издали видны огромные массы гранита, как бы древние замки с башнями; вероятно, эти массы подняты были землетрясением, извержением огня; берега Байкальского озера подтверждают такое предположение, и в самом озере, называемом также Святым морем, есть места неизмеримой глубины, бездонные. Паллас, знаменитый путешественник в царствование Екатерины Великой, описывает эту страну и ставит ее с Крымом в число самых красивых и самых величественных из всех им виденных[266]; не знаю, был ли он на Кавказе и за Кавказом? Точно, природа там красавица, но недостает там людей, способных и умеющих ею наслаждаться; население небольшое пользуется привольною и плодородною почвою с величайшею беспечностью и леностью.

От города Верхнеудинска мы свернули с большой дороги влево; через три перехода прибыли на дневку в обширное селение Тарбагатай, похожее с первого взгляда на хорошие села ярославские, приволжские по наружному виду жителей и просторных домов. Здесь и на протяжении пятидесяти верст кругом живут все *семейские:* так поныне называются обитатели нескольких деревень, которых деды и отцы были сосланы в царствование Анны Иоанновны в 1733 году и Екатерины Великой в 1767 году за раскол, большею частью из Дорогобужа и из Гомеля. Им дозволено было продать все свое имущество движимое и переселиться в Сибирь с женами и детьми, отчего и получили наименование семейных, или семейских. Прибыв за Байкал в Верхнеудинск, явились там комиссару, который от начальства имел повеление поселить их отдельно в пустопорожнем месте. Комиссар повел их в конце великого поста в дремучий бор по течению речки Тарбагатай, позволил им самим выбрать место и обстроиться как угодно, дав им четыре года льготы от платежа подушных податей. Каково было удивление этого чиновника, когда посетил их через полтора года и увидел красиво выстроенную деревню, огороды и пашни в таком месте, где за два года был непроходимый

лес. Это волшебство было вызвано трудолюбием, но также и деньгами и беглыми. Как семейским позволено было на родине продать все свое имущество, то прибыли в Сибирь с деньгами; лишь только соседи узнали о прибытии их, то они и много ссыльных мастеровых из окрест лежащих рудников прибежали к ним на помощь, и дело шло быстро и хорошо. От Верхнеудинска на ночлегах и дневках нас помещали не в юртах, но в больших селениях. В Тарбагатае мы дневали и имели время и случай рассмотреть все подробно. Мне отведена была квартира у крестьянина, одного из братьев Чабуниных[267]: дома в несколько горниц, с большими окнами, крыши тесовые, крыльца крытые; в одной половине дома обширная изба для рабочих, с русской печкой для стряпанья и печения; в другой половине от трех до пяти чистых горниц с голландскими печками; полы все покрыты коврами собственного изделия, столы и стулья крашеные, зеркала с ирбитской ярмарки. Избы и дома у них не только красивы углами, но и пирогами; хозяйка наша Пестимья Петровна угостила нас на славу щами, ветчиною, осетриною, пирожками и кашицами из всех возможных круп, от гречневой до манной и рисовой. Во дворе под навесом стояли все кованые телеги, сбруя была сыромятная, кони были дюжие и сытые, а люди, люди! ну, право, все молодец к молодцу, красавицы не хуже донских — рослые, белолицые и румяные.

День был воскресный, мужчины расхаживали в суконных синих кафтанах, женщины — в душегрейках шелковых с собольими воротниками, а кокошники — один лучше и богаче другого. Одним словом, все у них соответствовало одно другому: от дома до плуга, от шапки до сапога, от коня до овцы, — все показывало довольство, порядок, трудолюбие. Одно только поражает приезжего, что в таком обширном селении нет церкви, а только часовня и молельня. Семейские принадлежат не к вредным сектам, в коих при богослужении предаются разврату или бесчеловечно себя истязают и уродуют; они только не имеют священника, придерживают древних книг до времен Никона и имеют старинные образа; из среды своей избирают чтеца и служителя. Можно причислить их к расколу беспоповщины. Как все старообрядцы, они не употребляют ни табаку, ни чаю, ни вина, ни лекарств — все это почитают за грех; они не при-

вивают оспы, но, видно, вера их крепка, ни одного не встретил между ними рябого; они богомольны, прилежно читают Священное писание и строго соблюдают обряды свои.

Народ сильный и здоровый поддерживает свою крепость, свое здоровье прилежным трудом и здоровою пищею. В мясоед каждый день имеют говядину или свинину, в пост — рыбу; не только в доме и в амбарах видны довольство и обилие, но и в сундуках хранятся капиталы. Между поселянцами несколько хозяев нажили до 100 тысяч рублей подрядами и доставками хлеба, зерном или мукою и торговлей с китайцами, дорогою ценою продают им отборную пшеницу, черные мерлушки, шкуры черных ягнят и овец. Поля и обработка полей представляют совершенство, между тем как в недальнем от них расстоянии селения и пашни старожилов показывают крайнюю бедность и разорение. «Отчего соседи ваши так бедны?» — спросил я хозяина моего. «Как им не быть бедными, — ответил он, — когда в рабочую пору петух пропоет с зарею, то мы уже на поле и пашем в прохладе, а старожил только что просыпается да принимается варить для себя кирпичный чай; пока он дотащится до поля, солнце уже высоко; мы оканчиваем первую упряжку и отдыхаем, а он в жар мучает себя и скотину свою; ни у него, ни у коня нет сил, так и запашка жалкая. Сверх того, старожилы пьянствуют, не берегут копейки, оттого и не собирают капиталов». Н. А. Бестужев заметил богатому хозяину, почему в деревне они не заводят у себя машин для облегчения и ускорения работ, например молотильную и веяльную? Хозяин ответил: «Для молотьбы у нас цепы и сушеные снопы в овинах; случается, что в урожайные годы, при дешевизне цен, хлеб наш без всякого вреда может пролежать в амбаре семь лет и больше; а для веяния хлеба служит нам широкая лопата. Не знаю, сколько ваша машина провеет в день?» — «Четвертей двадцать». — «Так моя лопата и моя рука провеют не меньше», — возразил он, вытянув сильную руку, коей кисть была шириною в три вершка, и показав нам лопату широкую, вздымающую до полуторика зерна. Весь натужный вид этих людей превосходный; они блаженствуют, имеют свое общинное правление, выбирают своих старост; на мирской сходке раскладывают все подати и повинности земские, никогда не

бывают в долгу, рекрут ставят исправно. Между ними нет сословий с преимуществами, они имеют дело только с исправником и заседателем, с которыми умеют ладить.

На другой день ночевали мы также в деревне семейской и нашли тот же быт и тот же достаток. Хозяин наш, Федор Иванович Заиграев, принял нас по-европейски. Он нажил себе большое состояние подрядами в Тарбагатае, но неприятности с начальством заставили его переселиться в соседнюю деревню, где он отказался от торговых оборотов. Еще имели мы дневку в третьей обширной деревне семейских, в Десятникове; там на квартире нашей застали 110-летнего бодрого старца, который прибыл сюда в числе первых семейских изгнанников в царствование императрицы Анны Иоанновны в 1733 году; ему было тогда тринадцать лет от роду, он хорошо помнил все обстоятельства дальнего переселения и первоначального устройства. Старец словоохотный рассказывал, как они прибыли в место необитаемое, как трудились, что наемный поденщик получал тогда по пяти копеек меди в сутки, что ни он, ни родители, ни земляки не жалели о родине, потому что переселились целыми семействами и родствами, что страна изгнания доставила им веротерпимость и довольство. Старец жил в доме своего младшего четвертого сына, которому было уже за 70 лет. Прадед хотя уже сам не работал, но имел привычку носить всегда топор за поясом и рано утром сам будил внуков на работу. Он повел меня к трем старшим сыновьям своим и с простительным тщеславием показал мне, где для каждого из них он выстроил особенный большой дом с дворами и амбарами и для каждого дома по водяной мельнице. «Для чего ты, дедушка, так много выстроил мельниц?» — спросил я старца. «А посмотри-ка, поля-то какие у нас!» — сказал он, показывая рукою на окрест лежащие возвышенности и горы, коих все овраги и вершины были вспаханы; почва родит славнейшую пшеницу, коей белизна муки не уступит крупчатой муке московских калачей и французских булок, а кроме того находил я приятный вкус и запах пшеничный, который бывает в удачных свежих малороссийских поленицах. По богатству и довольству поселян мне представилось, что вижу трудолюбивых русских в Америке, а не в Сибири; но в этих местах Сибирь не хуже Америки, земля также привольная, плодородная; жители управляются

сами собою, сами открыли сбыт своим произведениям и будут блаженствовать, пока люди бестолковые не станут вмешиваться в их дела, забывая, что устроенная община в продолжение века лучше всех посторонних понимает действительную выгоду свою[268].

Нам оставалось еще четыре перехода до нового места заточения; я упросил жену ехать вперед, чтобы приискать квартиру для себя и для прислуги и запастись всем необходимым на первое время. С последним ночлегом кончилась моя должность хозяина. Здесь, накануне прибытия в Петровский Завод, получили письма и важные новости о июльском перевороте во Франции, совершившемся в три дня[269]. Это было хорошее предзнаменование, и тем радостнее, что предпоследние газеты извещали нас об указах Карла X, уничтоживших некоторые главные основы закона. Всякому походному человеку приятно приблизиться к цели похода; не так было для нас, приближавшихся 22 сентября к новой тюрьме. Последние версты до селения вели лесом, который по мере приближения нашего к Петровскому Заводу становился все реже; наконец видны были только кустарники и болота, за ними довольно высокие горы к северу и востоку. В широкой и глубокой долине показалось большое селение, церковь, завод с каменными трубами и домами, ручей, за ручьем виднелась длинная красная крыша нашей тюрьмы; все ближе и ближе, и, наконец, увидели огромное строение на высоком каменном фундаменте о трех фасах, из коих главный, или передний, был вдвое длиннее боковых фасов; множество кирпичных труб; наружные стены все без окон, только в средине переднего фаса было несколько окон у выдавшейся пристройки, где была караульня, гауптвахта и единственный вход. Когда мы вошли, то увидели окна внутренних стен, крыльца и высокий частокол, отделяющий все внутреннее пространство на восемь отдельных дворов; каждый двор имел свои особенные ворота; в каждом отделении поместили по пяти и по шести арестантов. Каждое крыльцо вело в светлый коридор шириною в четыре аршина; в нем на расстоянии двух сажен двери от двери были входы в отдельные кельи; каждая келья в семь аршин длины и в шесть ширины, но почти совершенно темные, оттого, что эти кельи получали свет из коридора чрез окно, прорубленное над дверью и забитое желез-

ною решеткою. Было так темно в этих комнатах, что днем нельзя было читать в них, нельзя было рассмотреть стрелки карманных часов. Днем позволяли отворять двери в коридор и в теплое время занимались в коридоре, но продолжительно ли бывает тепло? В сентябре начинаются морозы и продолжаются до июня, и пришлось сидеть впотьмах или круглый год со свечою.

Первое впечатление было самое неприятное, тем более что было неожиданное. Как могли мы предполагать, что, прожив четыре года в Чите, где хотя и было тесно, но было светло, нас без всякой причины станут наказывать строже, лишат даже дневного света. Признаюсь, мне крайне жаль было тех товарищей, которым еще оставалось двенадцать лет прожить в этой тюрьме, между тем как чрез два года мне предстоял переезд на поселение.

Два отделения в тюрьме, 1-е и 12-е — последние, как крайние, были назначены для женатых. Жены нисколько не колебались разделить тюремное заточение с мужьями, что запрещено было в Чите по случаю тесного и общего помещения; а здесь комнатка была отдельная для каждого. В нашем отделении жили Трубецкая, Нарышкина, Фонвизина и жена моя. С. П. Трубецкой говаривал часто: «На что нам окна, когда у нас четыре солнца!» А. Г. Муравьева и Е. И. Трубецкая не могли ночевать в тюрьме, потому что тут строжайше было запрещено поместить детей; двери каждой кельи запирались задвижками и замками по пробитии вечерней зори, а грудные младенцы и маленькие дети часто нуждаются в ваннах, в горячей воде — где это достать ночью в тюрьме? Матери ночевали в своих домах: А. Г. Муравьева у своей дочери Софьи (Nonо) — ныне С. Н. Бибикова, примерная жена и счастливая мать; Е. И. Трубецкая у своей Саши, вышедшей замуж за Ребиндера, достойнейшего ученого мужа, бывшего попечителем двух учебных округов; счастливые супружеством, они недавно скончались; жена прежде мужа. В эту тюрьму приехала Камилла Петровна Дантю, милая невеста нашего В. П. Ивашева; она добровольно и охотно делила жребий мужа и последовала за ним на поселение в Туринск. Здесь она кончила земную жизнь свою 30 декабря 1839 года, и через год, 28 декабря 1840 года, муж последовал за нею. Дети их

были возвращены в Россию и хорошо воспитаны добрыми родственниками.

Каждый убирал свою келью по своему вкусу и по своим средствам. Общая кухня находилась посреди тюремного двора, в отдельном строении. Каждый двор можно было совершенно отделить от прочих, стоило только запереть ворота, что могло служить предосторожностью в случае каких-либо беспокойств. Такое же пространство, какое занимало все тюремное строение, было обведено высоким частоколом, так что вся площадь под тюрьмою и обведенным местом составляла квадрат. Это загороженное пространство служило нам местом прогулки; зимою мы устроили там горы и катались на коньках. Коридор шел по всему зданию, но для спокойствия и чтобы не было так шумно от проходящих из одного отделения в другое, то комендант приказал затворить коридорные двери между отделениями, так что арестант, чтобы из № 1 перейти в № 7, должен был перейти через двор, а не по коридору. Верный план всей тюрьмы приложен в конце книги.

На другой день нашего прибытия в петровскую тюрьму прошел комендант по нескольким отделениям и подвергся упрекам от трех моих товарищей, спросивших его: почему он, знав план тюрьмы и ежегодно осматривав постройки, не представил начальству своему несообразность такого лишения дневного света, после того как мы уже четыре года в Сибири не были лишены его и что нам хотели сделать улучшение, а вышло новое наказание без новой вины? Комендант хорошо понял всю основательность и справедливость таких замечаний, он был растроган и выразил мне после всю неприятность своего положения: что план был утвержден высочайшею волею, что если бы он сам от себя решился бы просить за нас, то подумали бы, что он хочет быть нашим ходатаем или что он нами подкуплен, тогда назначили бы на его место другого, который мог бы претеснять нас и делать нам тысячу неприятностей. Тут кстати упомянуть, что все дела канцелярские, переписка с родственниками чрез посредство наших жен, доставление посылок, расчеты денежные артельные были всегда в совершенной исправности; честность его была безусловна и служила лучшею защитою против несправедливых домогательств со стороны его подчиненных. Старик комендант полстолетия

привык курить табак, турецкий дюбек, доставляемый ему в замшевых мешках в определенные сроки. Случалось, что или не вовремя его выслали, или почта по временам года и по расстоянию не могла доставить посылку, одним словом — он две недели был без табаку. Зная, что М. С. Лунин курит такой же табак, он приходил к нему в нумер и просил трубки; тот, узнав причину, отчего он курит с таким наслаждением, предложил ему взаймы целый мешок. Комендант отказался, сказав: «Если я у вас возьму, то это не беда, я вам с благодарностью возвращу; но если мои подчиненные узнают, что я у вас беру взаймы, то они тоже возьмут у вас и уже никогда вам не отдадут».

С наступлением зимы невозможно было читать и заниматься в коридоре от холода; тогда целый день в комнате горели наши свечи, отчего страдало слабое зрение, так что я должен был прибегнуть к помощи очков. Наши жены, в особенности Трубецкая, Муравьева, Волконская и Нарышкина, красноречиво описывали родным наше мрачное жилище[270]; жена моя послала князю Одоевскому портрет сына его, сидящего в своем нумере в полумраке, как в пещере[271]. Комендант, со своей стороны, представил по начальству, что мрачные кельи наши могут иметь худые последствия для тех, которые имеют слабое здоровье или наклонность к меланхолии. Наконец, весною комендант объявил нам с радостью, что, по ходатайству графа Бенкендорфа, император повелеть соизволил, чтобы в наружной стене каждой кельи прорублено было окно. Это было исполнено в мае месяце; окно имело сажень длины и четыре вершка вышины, с железною решеткою, так что человек не мог пролезть в него[272]; переделка эта была самая приятная и полезная для нас.

Внешние работы наши продолжались, как по-прежнему в Чите, летом на дорогах, в огороде, зимою мололи на ручных мельницах; в досужее время каждый занимался по своей охоте; в книгах не было недостатка, для учения было более удобств. А. И. Одоевский дважды в неделю работал со мною. По средам проводил с нами день старый моряк К. П. Торсон и занимал нас рассказами о кругосветном путешествии своем, читал нам свои записки, сообщал свои труды по механике. Товарищи посещали нас и наших соседей, так что по вечерам ожив-

лялся наш коридор на два часа, до барабанного боя вечерней зори.

С женою жил я уединеннее прочих товарищей; оттого что были у нас постоянные занятия, все наши часы были распределены даже для прогулки вдоль стены частокола. Жена моя почти каждый день в 10 часов утра ходила на свою квартиру для устройства небольшого хозяйства; в небольшом ящике с крышкою повар приносил ежедневно наш обед в караульную, откуда часовой доставлял в наш коридор; в печи мы грели кушанье и сами убирали и выметали нашу келью. Жена моя поныне, по прошествии с того времени сорока лет, с восхищением припоминает свою жизнь в петровской тюрьме.

В июле 1831 года оставили нас двое из наших товарищей: Н. П. Репин и М. К. Кюхельбекер, бывшие со мною в одном разряде, но при утверждении приговора Верховного уголовного суда им был сбавлен срок каторжной работы, а Глебову и мне ничего не сбавили. Осенью того же года дошла до нас весть, что Репин сгорел вместе с товарищем Андреевым, который поступил на Петропавловской крепости прямо на поселение в Кирепск, Иркутской губернии, и был переведен оттуда в Верхнеудинск; на пути в новое место жительства остановился ночевать на берегу Лены, в Верхоленске, где был поселен Репин, в 200 верстах от Иркутска. Репин нанял квартиру у купчихи; сени отделяли его покои от хозяйских. Можно себе представить, как отрадно было их свидание и как длилась их беседа за полночь. Хозяйская служанка спала в сенях и почуяла дым; она пошла к хозяйке осмотреть покои и печи и ничего не заметила; с хозяйкою вместе воротилась в сени, где дым уже клубился. Начали стучать в двери Репина — ответа не было; стучали в ставни — не было ответа. Собрались люди, и когда выломали дверь, то мгновенно огонь вспыхнул и пламя хлынуло навстречу — не было возможности для спасения. Когда после вошли в сгоревшую горницу, то нашли обгоревшие трупы: один — Репина, покороче, у самых дверей, другой — Андреева, подлиннее, у окна. Остатки тел обоих были положены в общий гроб и похоронены на местном кладбище. Могли заподозрить, что они убежали и сами подожгли дом. Губернатор приехал в Верхоленск для следствия, но трупы ясно свидетельствовали несчастное происшествие. Должно предполагать,

что они долго заговорились, что или не погасили свечки, или от трубок затлело одеяло — и они угорели; когда же огонь их коснулся, то заставил очнуться и искать спасения, но уже не имели ни голоса, ни силы; присутствие памяти при этом объясняется тем, что тела их найдены не на кроватях, а одного у дверей, другого у окна; следовательно, помнили место и хотели выбиться.

Это несчастье случилось в апреле 1832 года, несколько месяцев после того, узнав уже давно об бедственном случае прямым путем, получил я письмо от Репина, как бы с того света; письмо, чтобы дойти до петровской тюрьмы, пошло сперва из Иркутска в Петербург, в III Отделение собственной царской канцелярии, оттуда назад в Иркутск и за Байкал. С грустью невыразимою читал я письмо сгоревшего соузника и старого сослуживца. В письме знакомил он меня с бытом поселенца; незадолго до отъезда своего из тюрьмы он надеялся еще на счастливый и скорый оборот в жизни. Н. П. Репин, внук адмирала Карцова, директора Морского кадетского корпуса, служил сначала в конной артиллерии, участвовал в войне 1813 и 1814 годов и после войны переведен был в гвардию. Он был одарен необыкновенною памятью, много читал и вполне имел дар слова; разговор его был неисчерпаемый и всегда занимательный и оживленный. С твердостью стоическою переносил он заточение и ссылку; помню, что один только раз он призадумался, когда узнал о кончине зятя своего, обер-секретаря сената Юнкера, и жалел о сестре и малолетних детях ее, которым он с радостью заменил бы отца. С Андреевым виделся я только в доме коменданта Сукина, когда нас посадили в крепость, и еще на гласисе в день исполнения приговора; он служил в лейб-гвардии Измайловском полку. Я слышал от близко знавших его, что он был очень умный, добрый и образованный молодой человек. Сибиряк позже рассказывал мне, будто бы они погибли от руки убийц, которые знали, что у них были деньги, ограбили, убили и подожгли дом. Наверно знаю, что так убиты были в Енисейске наши товарищи Лисовский и Абрамов 2-й.

Круглый год уже прожили в новой тюрьме, когда должен был расстаться с женою по случаю приближения родов. Она наняла другую квартиру, дом отставного чиновника Занадворова, где жила Трубецкая, пока ей

строили собственный дом. Все наши дамы, кроме жены моей, имели собственные дома[273], и все, кроме Юшневской, Фонвизиной и Нарышкиной, имели детей. Тоскливо и грустно было нам расставаться. За неделю до разрешения жены от бремени мне позволено было оставаться при ней; на квартире находился при мне часовой, который сменялся чрез сутки и провожал меня, как нянька, когда из квартиры выходил я на работу и на мельницу. 5 сентября родился второй сын мой Кондратий[274]; с любовью принял сына на руки; впоследствии очень часто, когда родились еще три сына и дочь, терзала меня грустная мысль о будущности их. С того времени я дал себе слово употребить все старание, чтобы самому воспитать детей и указать путь, по коему человек, независимо от гражданских отношений, мог быть счастливым и полезным во всяком сословии и во всяком месте. Добрейшая жена моя уже по рождении первого сына доказала, что вполне умела быть вместе и матерью, и кормилицею, и нянькою; она одна выполняла три должности, как водится в народе у самых бедных людей, но и у них есть и бабушки, и тетушки, и сестрицы, но у нее их не было в Петровском. Лишь только мать поправилась силами, то осталась одна; я должен был возвратиться в тюрьму, откуда только дважды в неделю имел позволение навещать ее на несколько часов. Это время было тягостно.

Хотя в Петровской тюрьме каждый из нас имел особенную свою келью и больше простора и покоя, чем в Чите, хотя артель и здесь была общая и по-прежнему старались все обеспечивать нужды всех, — однако по разъединении нашего помещения, позволившего каждому отделиться или избрать для себя тесный круг по сердцу и уму, исчезла та идеальность, которая одушевляла всех в тесном общем остроге читинском. Годы, здоровье, расстроившееся с продолжительностью заточения, должны были содействовать к тому. На работу выходили уже не с хоровыми песнями, реже собирались в общий круг, составился десяток кружков по родству, по наклонности характера. Иной становился все задумчивее в одиночестве, чего в Чите случиться не могло. Самую деятельную жизнь из всех моих товарищей в петровской тюрьме вели Ф. Б. Вольф и А. З. Муравьев, первый из них был ученый, отличный доктор медицины, второй — практический хирург; они в сопровождении караульного вестово-



ОБЩИЙ ВИД ПЕТРОВСКОГО ЗАВОДА.
В центре — тюрьма, где были заточены декабристы
(фрагмент)
Акварель Н. А. Бестужева. 1834 г.
Всесоюзный музей А. С. Пушкина, Ленинград

го могли во всякое время выходить из тюрьмы, чтобы помогать больным. Старик наш, комендант, лечился только у Вольфа, также много заводских чиновников и рабочих; приезжали также страждущие недугами из окрестных и дальних мест. Вольф справлялся с большою аптекою с помощью А. Ф. Фролова, который помогал растирать, толочь, варить и процеживать лекарства. Слава

Вольфа распространилась далеко, и после каторжной работы увеличилась слава в Иркутске и под конец в Тобольске, где он скончался в 1854 году, оставив небольшой капитал, собранный самым бескорыстным постоянным трудом, своему бедному товарищу и помощнику А. Ф. Фролову[275].

А. З. Муравьев пускал кровь, выдергивал зубы, ставил вантузы или банки, перевязывал раны. Был командиром Ахтырского гусарского полка, он, наверно, не думал сделаться фельдшером; находясь в отпуску за границею, он в университетах с жадностью слушал лекции хирургии и посещал клиники; на поселении он продолжал помогать больным, пока не имел несчастье переломить себе руку, после чего он хворал и скончался в 1845 году в селении Малой Разводной, близ Иркутска. Во всю бытность мою в Чите и в Петровском Заводе в продолжение шести лет мы не знали смерти в кругу наших товарищей в остроге и в тюрьме; обстоятельство довольно примечательное, если сообразить, что по принятым расчетам смертности из 75 человек ежегодно умирают двое; нас было 82 человека, и не все молодые люди, было несколько и по 60 лет от роду. Вероятно, к этому способствовала жизнь однообразная, пища умеренная, не сложная.

Я уже сказал, что в Петровском был казенный железный завод: плавили всякую чугунную посуду, вытягивали шинное железо, проволоку и пр. В том же заводе была устроена водяная пильная мельница, которая уже десять лет оставалась без употребления и считали ее совершенно поврежденною. Начальник завода[276], узнав от плац-адъютанта, что между нами есть механики, занимающиеся этою наукою, просил коменданта, чтобы он позволил им осмотреть машины завода. Н. А. Бестужев и К. П. Торсон согласились. Каково же было удивление горных чиновников и мастеровых, когда чрез день после некоторых поправок и переставок машина пильная стала действовать на славу! Н. А. Бестужев сработал отличные часы с горизонтальным маятником; тогда пришла ему мысль устроить часы с астрономическим маятником, которые вполне заменили бы хронометры и обошлись бы гораздо дешевле; мысль эту привел он в исполнение двадцать лет спустя, когда был уже поселен в Селенгинске. Когда скончалась всеми нами любимая и уважаемая

А. Г. Муравьева, то Н. А. Бестужев собственноручно сделал деревянный гроб со всеми винтами и ручками и с внутреннею и внешнею обивкою; он же вылил гроб свинцовый для помещения в него деревянного гроба. У Бестужева были руки золотые, он же был хороший живописец. Торсон занимался все приготовлением моделей молотильных машин, веяльных, сеяльных и косильных. После, быв на поселении в городе Селенгинске, он строил эти машины, но не имел полного успеха по причине неустойки работников, по слабости своего здоровья и еще по скудости денежных средств. В нашей петровской столярной прилежно работали столы, стулья, кресла, скамейки, комоды, шкапы; лучшими столярами были: Фролов, Бобрищев-Пушкин 2-й, Борисов 1-й.

Вдохновенными поэтами были у нас А. И. Одоевский, П. С. Бобрищев-Пушкин 2-й и В. П. Ивашев; первый из них никогда не писал стихов своих на бумаге, а сочинял всегда на память и диктовал другим. Так сочинил он поэму «Князь Василько Ростиславич»[277] и множество мелких стихотворений на разные случаи. Лира его всегда была настроена; часто по заданному вопросу отвечал он экспромтом премилыми стихами; в такие минуты играл румянец на его ланитах и глаза сверкали огнем. Он действительно имел большое дарование, но, как случается с истинным талантом, он пренебрегал им[278]. П. С. Бобрищев-Пушкин 2-й сочинил замысловатые басни, звучными стихами передал псалмы и чудное послание апостола Павла о любви. В. П. Ивашев написал поэму «Стенька Разин»[279]. Библиотека, журналы, газеты доставляли обильное и бесконечно разнообразное чтение; напряженно занимались науками с такою же любовью, как занимались ими в читинском остроге. По воскресным и праздничным дням собирались на час от 12 до 20 товарищей для слушанья Священного писания или проповеди из лучших духовных книг; чтецами были Корнилович из английских проповедников, Оболенский и Пушкин из французских, я из немецких[280]; мы переводили иностранные подлинники без пера, а прямо читая по-русски вслух иностранную книгу, на что нужно иметь некоторый навык, как музыканту, играющему à livre ouvert*. В церковь водили один только раз в году для причащения. По-

* с листа (франц.).

прежнему мы сами между собою запретили себе игру в карты, хотя легко можно было скрыть ее от стражи в отдельных кельях; зато мы позволяли себе, вопреки запрещению, иметь бумагу и чернила, писали и переводили целые сочинения.

Из числа всех товарищей оригинальнее всех жил М. С. Лунин. Он занимал 1-й нумер, совершенно темный, где невозможно было прорубить окна, потому что к наружной стене его кельи была пристроена унтер-офицерская караульня[281]. Он не участвовал в нашей артели, пил кирпичный чай, часто постился по обряду католической церкви, в которую он перешел уже давно, был в Варшаве учеником и приверженцем известного Местра. Третья часть его кельи, к задней стене, была отделена завесою; за нею над помостками стояло большое распятие, присланное из Рима, где оно освящено было папою. В продолжение дня несколько раз слышны были латинские возгласы: «Dominus vobiscum»*. При всем этом он никогда не был ханжою; когда выйдет с нами на работу, то любо было смотреть на его красивый стан, на развязную походку, на опрятную одежду, и любо было слушать его умный и живой разговор. Кто навещал его в келье, тот всегда оставался довольным его светскою беседою и его шутками. Однажды зашел к нему Муханов, любивший меняться вещами, и спросил его о состоянии здоровья и что он проделывает. «Je viens de prier Dieu pour le salut de mon âme et pour la conservation de mes effets»**. Крепко досадовал он на Виктора Гюго за его роман «Notre Dame de Paris»***, за сравнение Эсмеральды; он сказал, что если бы от него зависело, то он уничтожил бы все экземпляры и имел терпение сжечь все это творение, бывшее в его руках, на восковой свече по листочкам. Будущность нашу на поселении рисовал он самыми мрачными красками, утверждая, что всем нам предстоят только три дороги, кои все поведут к погибели: одни женятся, другие пойдут в монахи, третьи сопьются. Сам имел он бедственную участь на поселении помимо означенных трех дорог: он жил на поселении совершенно уединенно, окружил свой собственный домик

---

* Бог с вами (лат.).

** Я только что молил бога о спасении души и об удержании от действий (франц.).

*** «Собор Парижской богоматери» (франц.).

частоколом, как острог, калитка была всегда заперта, слугою и сторожем имел бурята. Вероятно, эта странность возбудила подозрение: посланные чиновники от высшего начальства явились к нему неожиданно для обыска и отправили все найденные у него бумаги и рукописи в Петербург, вследствие чего он был перемещен в окрестность Нерчинска, где содержался под строгим присмотром. Ему было уже под семьдесят лет; ему запретили всякую переписку, даже с сестрою, и в 1845 году, 8 декабря, он скончался в Акатуе, без болезни, во время послеобеденного сна, от апоплексического удара. В молодости своей и во время войны 1812 года служил он в Кавалергардском полку, но так как скупой отец его давал ему скудные средства на жизнь в столице, то он вышел в отставку, добрался до Парижа, где он за плату давал уроки французского и английского языков; несколько лет сряду содержал он себя собственным трудом во Франции и Англии, даже исправлял должность адвоката под именем M. Michel. Когда отец его умер, то возвратился он в отечество, вступил опять в службу и последнее время служил в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку в Варшаве, где был любим великим князем Константином до такой искренности, что когда в декабре 1825 года получено было повеление арестовать Лунина, то князь послал за ним, чтобы предупредить его и доставить ему случай спастись бегством за границу; но Лунин предпочел разделить участь товарищей[282].

Большие достоинства имел Алексей Петрович Юшневский, бывший генерал-интендант 2-й армии. Он был стоик во всем смысле слова, с твердыми правилами, умом и сердцем любил свое отечество и без малейшего ропота переносил все испытания и лишения. Казалось, что он даже вызывал их на себя, чтобы доказать, что он готов переносить и больше и не жалеет никаких пожертвований. Очень тесно был он связан с П. И. Пестелем, который для него не имел сокровенной мысли, все ему сообщал и дорожил его мнением и советом. Юшневский был женат на вдове, не имел детей, но одну падчерицу; жена его Марья Казимировна приехала к нему в одно время с моею женою. Супруги жили в петровской тюрьме в стесненном положении, оттого что имение Юшневского было под запрещением; даже наследник его, родной брат, не мог оным вполне распоряжаться, пока не

кончилась ревизия интендантских дел 2-й армии. Это дело, долго тянувшееся, огорчало Юшневского в тюрьме потому, что если бы комиссия при ревизии обвинила его в чем-нибудь, то он был лишен возможности оправдаться. Можно себе представить радость и восторг старца, когда, по прошествии 8 лет, прислали ему копию с донесения комиссии высшему начальству, в коей было сказано, что бывший генерал-интендант 2-й армии А. П. Юшневский не только не причинял ущерба казне, но, напротив того, благоразумными и своевременными мерами доставил казне значительные выгоды. Такое донесение делает честь не только почтенному товарищу, но и председателю названной комиссии генералу Николаю Николаевичу Муравьеву, правдивому и честному, впоследствии заслужившему народное прозвание Карского. В 1839 году Юшневский был поселен в Оёке, близ Иркутска, с некоторыми товарищами; один из них, Ф. Ф. Вадковский, в 1844 году захворал опасно, умер 7 января, и похороны его совершились 10 января. Товарищи сговорились отнести гроб в церковь, чего Юшневский не мог сделать, потому что голова его не терпела холода, а ему пришлось бы идти по улице с непокрытою головою в сильный мороз; по этой причине он пришел в церковь один и стал подле гроба у изголовья умершего товарища. Когда священник стал читать Евангелие, то Юшневский внезапно упал и тут же окончил жизнь свою. Присутствовавший товарищ, Вольф, старался ланцетом пустить кровь, но все было напрасно — его не стало. Он окончил свои страдания 10 января 1844 года в церкви при чтении Евангелия, быв окружен женою и друзьями. Я хорошо помню, как он мне рассказывал в петровской тюрьме о внезапной кончине отца своего, пораженного ударом молнии, и как он желал для себя кончину безболезненную и мгновенную. Желание его было исполнено. Тело его покоится возле тела Вадковского в Разводной, близ Иркутска.

Желал бы о каждом из товарищей сказать несколько подробностей, но вышло бы повторение одних и тех же похвал о твердости духа в перенесении заточения и изгнания, о постоянном христианском смирении, о нравственных достоинствах. В описании страданий моих товарищей и тюремной жизни старался я отбросить все краски мрачные, чтобы не подвергнуться упреку в пре-

увеличивании перенесенного горя или заподозрению в возбуждении сострадания. К чему это? Рылеев сказал:

Кто брошен в дальние снега
За дело чести и отчизны,
Тому сноснее укоризны,
Чем сожаление врага[283].

Вот почему не упоминаю подробно о болезни и продолжительных страданиях А. И. Барятинского, прекратившихся только с кончиною его в 1844 году 19 августа в Тобольске; о трогательных напевах П. В. Абрамова, постоянно вспоминавшего свой славный казанский полк; напевы умолкли со смертью его в 1838 году в Оёке; о семи женихах с обручальными кольцами без надежды на сочетание с предметом любви; о восьми женатых, навсегда отторгнутых от жен и детей, трое из них дожили до вести, что жены их вышли замуж за других[284]. Какими словами следовало бы описать каждого из тридцати с лишком юношей, брошенных сперва в темницу, потом в Сибирь, чтобы пополнить роковое число 121-й жертвы. В дальнейшем повествовании представится случай говорить еще о многих товарищах, с которыми встретился на поселении в Западной Сибири, на Кавказе или о которых имел точные сведения по переписке с ними с Западною и с Восточною Сибирью.

Приблизилось время ехать на поселение; срок окончания тюремной жизни наступал 11 июля 1832 года, и как мне было известно, что родственники жены моей просили о поселении нас в Кургане, Тобольской губернии, и как жена моя ожидала разрешения от бремени в конце августа, то упросил ее ехать вперед до Иркутска, похлопотать там о нужных бумагах, так что по прибытии моем в Иркутск мы могли бы в тот же день отправиться в дальний путь и приехать на место до ее родов. 2 июля понес я сына моего Кондратия в тюрьму, чтобы крестный отец его Е. П. Оболенский и товарищи благословили его; младенец был одет в светло-голубую шинель, сшитую крестным отцом; он нисколько не смутился, увидев моих товарищей, обнимавших и целовавших его. Жена моя простилась со слезами; дамы наши крепко боялись за ее здоровье, за состояние, в коем она была с маленьким ребенком в ожидании иметь скоро другого. Всех более беспокоилась о ней А. Г. Муравьева: она прислала ей складной стул дорожный, предложила тысячу

вещей, уговаривала при плавании чрез Байкал взять корову, дабы младенец во всякое время мог иметь парное молоко. К. П. Торсон сделал для сына морскую койку; Н. А. Бестужев сделал винты и пряжки и привесил койку на надежных ремнях к крайнему обручу от накидки колясочной, так что эта койка была лучшею висячею люлькою; ребенку было хорошо лежать, матери было спокойнее; за люлькою висела занавеска, чтобы защитить от ветра.

3 июля уехала жена моя; без остановок достигла она Байкала; там не было казенных перевозных судов, тогда еще не было пароходов Мясникова, и она наняла рыбацкое судно парусное, на коем поместила коляску и несколько попутчиков. Плавание было самое бедственное: посреди озера поднялся противный ветер и качал их несколько дней; сын мой захворал; можно себе представить положение матери. Запасное молоко, взятое с берега, прокисло; вареного младенец не принимал; с трудом поили его отваром из рисовых круп; наконец, он не принимал никакой пищи — мать была в отчаянии. На пятый день буря затихла, ветер подул попутный, и через несколько часов пристали к берегу. Жена моя доныне с восторгом выражает чувство блаженства, припоминая, когда она ступила на землю, когда сын ее, больной, измученный, голодный, освежившись свежим молоком, уснул сладко; а она, сидя возле него на полу, еще качалась всем телом, как на море, и благодарила бога за спасение сына. От Лиственной станции до Иркутска было ей недалеко; она приехала туда 12-го, ожидала меня на следующий день и напрасно ждала еще две недели. Все наши расчеты во времени и все наши предосторожности и меры рухнули от ветра и неисправности канцелярской. Замедление моего приезда в Иркутск имело две причины: генерал-губернатор Лавинский в то время осматривал свои губернии, и канцелярия его забыла к 11 июля предуведомить коменданта о месте моего назначения. Лепарский получил эту бумагу только 20 июля и в тот же день меня отправил. Таким образом, пришлось мне девять дней оставаться в тюрьме долее определенного срока. В продолжение всей бытности моей в каторжной работе не было никакого сбавления наших сроков; но после моего отбытия на поселение, чрез три месяца, значительно сбавлен был срок всем моим тюремным товари-

щам по случаю рождения великого князя Михаила Николаевича в 1832 году[285].

Глава десятая

ПЕРЕЕЗД ИЗ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В ЗАПАДНУЮ

Прощание с тюрьмою. — Лагуны Селенги. — Байкал. — Буря. — Кн. В. М. Шаховская. — Сообщение. — Население. — Исправник. — Трудолюбие. — Смышленость. — Промышленность. — Опрятность. — С. Г. Краснокутский. — Н. С. Бобрищев-Пушкин. — А. Н. Муравьев. — Верещагин. — Ф. М. Башмаков. — Горский. — Фирстова деревня. — Гр. Мошинский. — Кн. Сангушко. — Крижановский. — Старый знакомец

В ильин день 1832 года простился я с товарищами и с тюрьмою: охотно с тюрьмою, но грустно с оставшимися товарищами. Душевно уважал их и теперь, вспоминая, уважаю и люблю их. Со многими ли из них опять увижусь? Все ли дождутся своего освобождения? Много воспоминаний и много испытаний породнили меня с ними! Не менее грустно было мне проститься с нашими дамами: они с полным самоотвержением делали все для облегчения нашего состояния, а сами терпели гораздо больше нас; и с ними желал я опять увидеться, но где? когда? Ответа не было. У тюремных ворот стояли две тройки, при них унтер-офицер и рядовой, мои проводники. Почтенный комендант Лепарский приказал позвать меня в особенную караульную комнату, где простился со мною и простосердечно сказал мне, что жалеет, что не прежде был знаком со мною на воле. Я просил его беречь моих товарищей, как он поступал до того времени. Когда спустился по ступеням караульни, то еще раз увидел товарищей, стоявших под сводом ворот, и голосом, движением рук, выражением лиц еще раз простились. Я ехал с М. Н. Глебовым до Верхнеудинска, там я расстался с ним; он был поселен недалеко от этого города в селении Кабанках, где он прожил девятнадцать лет; сначала вел мелочную продажу в лавочке, потом скучал и все жаждал и скучал и умер в 1851 году. Я без отдыха не скакал, а летел, как птица из клетки; чудные берега Селенги мелькнули пред глазами, дни и ночи ясные освещали все предметы где яркими, где бледными красками, но душа попеременно была то в Иркутске у жены и сына, то у товарищей в оставленной мною тюрьме. Не до-

ехав до Посольского монастыря, где главная пристань судов, велел я по совету проводников своротить по берегу Селенги к другой пристани — Чертовкиной, откуда большие рыбацкие суда, отправляющиеся в Иркутск, чрез устье Селенги входят в Байкал. Лишь только приблизились к селению Чертовнику, как увидели в версте оттуда плывущий баркас; у пристани не застали других судов, и оставалось одно средство — догнать отплывшее судно. Пошел, ямщик, пошел! Неслись мы лихо по дереше, как вдруг услышал пронзительный крик, повторявшийся несколько раз отрывисто. Я оглянулся — увидел человека, бегущего за моею повозкою, махающего рукою, и как он упал, выбившись из сил. Я воротился, поднял его и узнал в нем, в крестьянской одежде, моего петровского конвойного солдата Визгунова, георгиевского кавалера, который за год перед тем вышел в отставку и просил меня усердно взять его с собою. «Сам, брат, не знаю, куда еду, и места нет тебе, любезный друг; но когда устроюсь на поселении, охотно приму тебя, ты в Иркутске узнаешь, где я буду поселен». Между тем он не нуждался, пользовался хорошим здоровьем, выгодным местом у селенгинских рыбаков и перевозчиков, своих земляков. Откуда же эта привязанность? я не давал ему ни копейки, узнал он меня, когда во время болезни жены моей он был бессменным моим стражем; быть может, заслуженный воин дорожил ласковым словом и хлебом-солью. Как часто грешим мы против людей, упрекая их в неблагодарности и выставляя им в примере привязанность собаки, кошки и коня; но если бы мы берегли людей, как многие страстно берегут и холят собак и коней, то, право, люди были бы привязаннее, вернее, лучше и полезнее для всех.

Далее поскакали по берегу реки целиком чрез поля и луга. Чрез полчаса поравнялись с плывущим баркасом; из всей силы кричал я судовщикам: «Остановитесь! Возьмите нас с собой!» — «А дашь ли 25 рублей?» — «Охотно!» — «А 30 рублей?» — «Изволь!» — «А 35 рублей?» — «Хорошо!» — «А 40 рублей?» — «Дам. Живее лодку!» И два рыбака спустились с баркаса в небольшую лодку и причалили к берегу. С проводниками моими мы быстро пересели, был у меня только чемодан, салфетка с хлебом и с бутылкою чудного вина от Е. И. Трубецкой на дорогу. Я не имел времени запастись провиантом на слу-

чай противного ветра; к тому же ветер дул попутный, с ним можно было переплыть Байкал в пять часов. По Селенге баркас плыл с помощью бечевой, которую медленно влачили три человека, с кормчим было всего шесть человек. Поперек баркаса, во всю ширину его, стоял тарантас с поднятыми оглоблями, в нем заметил я седую голову и военную шинель. Маленькая лодка, быстро перерезывая прозрачную воду Селенги, догнала судно. Взобравшись туда, поклонился старику попутчику, приказал унтер-офицеру заплатить все деньги кормчему и просил сего последнего употребить все усилия, чтобы сегодня переплыть Байкал, и что я готов в таком случае щедро наградить его работников. Эти байкальские моряки, проводившие всю жизнь на озере, возившиеся с рыбою, были медленнее водоземных, не знали, что значит спешить и торопиться, — были хладнокровны и равнодушны ко всему, кроме живота своего. Было три часа пополудни, до устья Селенги оставалось плыть верст шестнадцать, они располагали прикрепить бечевую к дереву, чтобы отобедать на судне. «Успеем, — говорили они, — ветер попутный, завтра рано перелетим, лишь бы благополучно выбраться из Селенги, изливающейся в Байкал многими рукавами, затрудняющими плавание по множеству мелей и шхер». Баркас остановился у самого берега; я уговорил моих проводников выйти на берег и тянуть бечевую, пока перевозчики отобедают и отдохнут. Молодцы солдаты, перекусив хлеба, тотчас последовали за мною; втроем потянули, и шаг за шагом все подвигались вперед. Соскочив с баркаса на берег, я повредил себе ногу в самом сгибе у пятки, вероятно оступился; но с каждым шагом было все больнее и больнее; до того ли мне было, когда я знал, что жена моя, без вести обо мне, верно, в сильном беспокойстве проводит каждую минуту разлуки, продолжавшейся многими днями долее определенного срока! Я тянул за бечевую до вечерней зари. Крепко устал, а перевозчики собирались прикрепить бечевую к берегу и поужинать. Кормчий божился, что вечером опасно выбираться в море по извилистым рукавам реки, что с утреннею зарею в час времени выплывем из Селенги, а там натянем парус. Для меня вечер казался светлым, луна в первой четверти довольно светила; но я был с ушибленной ногою, попутчики-солдаты были утомлены, несведущи с плаванием, незнакомы с мест-

постью, и мы должны были покориться воле кормчего. Я завернулся в шинель, лег на палубе, слышал, как попутчик в тарантасе расспрашивал обо мне моих проводников, и скоро уснул.

Когда я на другое утро проснулся, то уже не видел берегов Селенги: мы были на открытом озере, парус был натянут, но ветер слабел с каждою минутою, наконец, парус повис; жестяной вымпел на мачте скрипел, ворочаясь направо и налево, остановился, и мы стали в двадцати верстах от устья реки. Можно себе представить мою досаду; упреки были напрасны; рыбаки разлеглись на палубе и сказали спокойно: не сегодня, так завтра доплывем.

Я имел досуг разглядеть Байкал, или Святое море, во всех направлениях и во всех видоизменениях: берега его высокие и волнистые тянутся грядами, то скалисты, кремнисты, то покрыты зеленью, где лесом, где травою, где песком и глиною. Повсюду кругом видно вулканическое образование, и можно смело согласиться с естествоиспытателями, утверждающими, что Селенга, Байкал, Ангара составляли прежде одну реку. В некоторых местах озера не могли измерить дна; там, где Ангара вытекает из Байкала, стоят два огромнейших камня по самой средине, которые служат как бы шлюзами; возле камней, к стороне Байкала, дно неизмеримо; тут явный след вулканического действия, а к стороне речной, к Ангаре, дно не глубоко. Берега озера украшены одною только природою, нет нигде следов труда человеческого. Посольского монастыря башня, станция почтовая и несколько хижин напоминали обитаемость этой страны.

Поврежденную ногу примачивал я холодною водою; просил рыбаков накормить моих проводников за плату (у них был семидневный запас, иначе не пускаются на переправу через Байкал). Я вытащил из корзинки кусок хлеба, когда попутчик мой, сидевший все в тарантасе, как в вольтеровых креслах, пригласил меня разделить с ним суп из курицы и кашу. «Не прикажете ли водочки?» — «Если у вас есть запас недели на две, то охотно соглашаюсь, а если у вас меньше того, то легко могу обойтись без водки, от коей уже с лишком семь лет отказался поневоле». Я хорошо сделал, потому что у хлебосольного попутчика была только одна бутылка водки. Мы скоро познакомились. А. П. Злобин находился тогда по осо-

бым поручениям при генерал-губернаторе, был до того начальником солеваренных заводов в области Якутской, а после главным начальником рудников. Он был в большой горести, недавно лишившись любимой супруги, с которою счастливо прожил двадцать лет; осталось у него семеро детей, из которых 18-летняя дочь управляла хозяйством и заботилась о малолетних братьях и сестрах. В Якутске познакомился он с товарищем моим А. А. Бестужевым (Марлинским), ласково принятым в доме его и дававшим уроки его детям. Попутчик мой был занимательный человек по своей горной части, исправлял свою должность с рвением и был дельный и полезный на своем месте.

На третий день поднялась буря. Баркас наш на якоре качался с канатом, как люлька. С боку баркаса к длинным веревкам были привязаны четыре осетра, гостинец Злобина своим иркутским приятелям; осетры беспрестанно подымались из воды и ныряли, но освободиться не могли. Нас качало днем и ночью; глаза мои раскраснелись от первых ясных дней на море, от отражения солнца на воде, от ветра; только отрывки читал я Goethe's Genius[286]; эта книжка была в моем кармане. От качания мне делалось дурно, и большею частью лежал я днем на палубе, а ночью в низкой каюте, куда влезал ползком. Чем больше было мое нетерпение, тем неодолимее становились препятствия; после двухдневной бури беспрестанно дул противный ветер. Уже шесть дней качались на одном месте; съестные запасы истощались; через сутки пришлось бы воротиться в Чертовкину по рукавам Селенги и опять терять время. В осьмой день собрали крошки сухарей. Злобин хотел пожертвовать осетром, я отговорил; у рыбаков опытных и запасливых было еще хлеба и водки на несколько дней. Они уверяли, что иногда случалось ждать попутного ветра до двух недель. Часто сходятся крайности: так столкнулись остальной черствый хлеб моего щедрого попутчика, разделившего со мною все, что у него было съестного, с моею бутылкою токайского вина, данного мне на дорогу от Е. И. Трубецкой. Это чудное вино из погреба знаменитого гастронома графа Лаваля хотел я беречь для жены моей в случае болезни, а пришлось его пить на Байкале. Оно подкрепило моего попутчика; у рыбаков и проводников хватило еще на раз сухарей и водки, и решено было в полдень воротиться в Чертовкину.

Вдруг железный вымпел завизжал и начал вертеться вокруг; рыбаки засмотрелись и определили, что будет или штиль, или подует ветер попутный. «Подыми мачту! прикрепи парус!» — ветер попутный. Злобин сошел со своего седалища, сам держал конец паруса, прибавили еще другой, ветер становился порывистее, и мы не плыли, а летели. Чрез несколько часов пристали мы к берегу близ почтовой станции. Тут узнал я, что жена моя, переправившаяся с Посольской пристани, провела семь дней на Байкале[287], как я провел на нем десять дней. Две станции до Иркутска проскакал по-курьерски, прибыл туда около полуночи[288]; о квартире жены узнал в полиции.

Служанка отперла двери, в другой комнате виден был свет лампады и слышен голос моей жены, убаюкивающей засыпающего сына. Радость свидания была невыразима, и мы обещали друг другу впредь самовольно не разлучаться; в чертах лица жены прочел я болезнь сына. Действительно, он был опасно болен, не ел, не пил, обыкновенная его бледность стала еще бледнее; мать подняла младенца, поднесла ко мне, долго он смотрел на меня пристально, как вдруг поднял ручку и улыбнулся; с той минуты ему стало лучше. Во время этой тяжелой разлуки и болезни сына добрая жена моя была осыпана ласками и вниманием Пр[асковьи] М[ихайловны] Муравьевой и добрейшей родной сестрицы ее, княжны Варвары Михайловны Шаховской. В. М. Шаховская во все время своего пребывания при родной сестре в Верхнеудинске и в Иркутске была неутомимая защитница и утешительница всех наших узников читинских; дружественным своим посредничеством доставляла нашим родным и далее все то, что не могло быть передаваемо чрез наших жен и чрез коменданта по почтовому сообщению[289]. Александр Николаевич Муравьев 1-й, соскучившись праздною жизнью в Верхнеудинске, просился на службу и, быв давно полковником гвардейского Генерального штаба и обвешенный орденами русскими и иностранными за Отечественную войну 1812 года, не отказался вступить в должность городничего в уездном городе, откуда переведен был в Иркутск в той же должности, где он много делал добра для горожан и для города. В обратный проезд мой чрез Иркутск я застал его уже председателем губернского правления и только что получил новое назначение исправлять должность тобольского гражданского губернатора. Я душевно обра-

довался, что такому благонамеренному, сведущему и приготовившемуся человеку представился большой круг действий после многих лет бездействия. На другой день навестил нас доктор и советовал отложить поездку; но мы имели пред собою далекий путь и осень, незачем было медлить тем, которые всего более надеялись на помощь божию. Я поехал в загородный дом губернатора, к И. Б. Цейдлеру, там получил подорожную и проводника, казацкого урядника[290], и 4 августа после обеда переправились на пароме через прозрачнейшую в мире Ангару. Вечер был теплый, маленький выпал дождь, но лишь поднялись с парома, солнце осветило одну из столиц Сибири: показались местами хорошие опрятные здания, зелень садов и зеркальные поверхности Иркута и Ангары. Каждый шаг вел к новой жизни; вся эта дорога, по коей я шесть лет перед тем ехал зимою, представляла мне все новые виды и картины оживленные. Очень часто во всю дорогу вместе с женою благодарили за изобретательность Торсона и Н. А. Бестужева, за спокойную висячую койку, в коей сынок лежал так же хорошо, как в люльке, и к великой радости нашей заметили в следующий день, когда кормили его кашицею и стукнула ложечка, что у него прорезался первый зубок. Вероятно, вся болезь его была от зубов; ему становилось все лучше и лучше.

Земледелие и скотоводство процветают повсюду, где климат позволяет ими заниматься. Большая почтовая дорога от Тобольска до Нерчинска есть главный путь сообщения или главная жила огромного тела, предназначенного к доставлению изобильных средств существования для многочисленных поколений потомства. В царствование Екатерины II называли Сибирь золотым дном, тогда богатство весили золотом; хотя в самом деле горы ее, и русло рек, и дно болот доставляют много золота, но почва ее плодородная дает больше Много местностей обширных в губерниях Енисейской, Томской, Иркутской дают сороковое зерно; много земель там не терпят удобрения или унавоживания, как чернозем нашей Украйны. Направление течения главных рек: Оби, Енисея, Лены со всеми втекающими боковыми реками — идет в Северный океан и затрудняет торговлю, особенно внешнюю. Юго-восточная часть Сибири имеет судоходство в Великий океан. Еще не настало время для каналов; бесконечное протяжение от Охотского моря до Волги

имеет сообщение водное, которое прерывается только в трех местах, и то на пространствах не очень значительных. От урочища Нотары близ Великого океана могут плыть суда Маею, Алданом, Леною; из Качуги на Лене перевозят гужом до Байкала; оттуда Ангарою, Енисеем до села Маковского девяносто верст волоком; оттуда водою Кетью, Обью, Иртышом, Тоболом, Турою, Тагилью или прямо из Тюмени по Туре, минуя Тагил, волоком прямо до Перми и оттуда Камою в Волгу. Следовательно, на этом исполинском расстоянии от Охотска до Петербурга в 10 тысяч верст, если плыть водою, то встретятся только в трех местах препятствия: в Качуге, в селе Маковском и в Тюмени. Умножение населения, капиталы, промышленность и гражданское устройство отвратят препятствия и дадут всему полезный и должный ход. Помню, как часто товарищ мой Артамон Захарьевич Муравьев проклинал Ермака за завоевание Сибири, сделавшейся мучением и гробом для ссыльных,— так, но в этом страна не виновата. Разве северные полосы наших Архангельской, Вологодской, Олонецкой и Пермской губерний также не могли служить местом изгнания? Даже если Сибирь не доставит никакой особенной выгоды для России, то страна, с увеличением населения, с посеянными в ней семенами, обещает отдельно самой себе счастливую и славную будущность. Много истинно хорошего сделал для нее Сперанский своим сибирским уложением[291]; это хорошее, без сомнения, еще лучше разовьется, когда страсть к централизации и к подведению в одной общей форме не помешает дальнейшему развитию тех сил, кои уже находятся в Сибири.

Река Енисей своим течением разделяет Сибирь на две половины, на Восточную и Западную; первая — гориста, прорезана реками из горных источников, воды быстры, чисты, прозрачны; вторая имеет более равнин, реки текут лениво, вода мутная; но почва обеих частей плодородна, кроме всей северной полосы. Земледельцы Восточной Сибири сбывают свои произведения в многочисленных горных заводах и частью на китайской границе; земледельцы Западной Сибири производят для внутреннего потребления и сбывают сало, масло, мыло, кожи оптовым торговцам, которые скупают все на ярмарках, бывающих в каждом уездном городе и в значительных селах по три раза в год. Все население состоит из

полутора миллионов жителей, в том числе небольшое число туземцев: остяков, самоедов, тунгусов, бурят и якутов; большая часть состоит из ссыльных, из сброда всяких преступников и безымянных беглых, которые в Европейской России всячески старались освободиться от рекрутства неправильного и от притеснения помещика. Из этой смеси разнородных племен и жителей различных губерний образуется нечто новое, особенное, сибирское. Правительство прилагало все старание к водворению ссыльных поселенцев. В царствование Александра I были отпускаемы на это значительные суммы. На большой дороге в Енисейской губернии и в Иркутской близ Бирюсы устроены были новые поселения по плану: большое каре в средине составляет огромную площадь, от средины каждого фаса перпендикулярно тянутся широкие улицы застроенные; все селение имеет вид креста. Дома построены красивые с двумя просторными половинами для двух семейств; окна светлые, крыши тесовые, выкрашенные красною краскою. Для первого обзаведения поселенцев казна отпустила довольно денег на закупку лошадей, коров, земледельческих орудий и семян; но местные распорядители дали им таких кляч, что невозможно было ими работать, вся прочая принадлежность также была негодная, и ленивые поселенцы почти все разбежались. Я сам видел эти новые селения совершенно покинутые; люди, оставшиеся сторожить строения, рассказывали мне, что и место для селения было выбрано худое, безводное, неудобное для земледелия; опять вина местного начальства, которое могло бы иметь благодетельное влияние, если бы по совести исполняло свои обязанности.

В царствование Екатерины II и Павла был Лоскутов комиссаром в Киренске — то, что ныне уездный исправник. Современники его, очевидцы, называли его чудаком и рассказывали, что он днем и ночью носил высокие ботфорты, ложился спать одетый и проч., но все поныне благословляют его память. Деятельность его была необыкновенная: он устроил отличные дороги, мосты, во всех селениях ввел большую исправность, коей по привычке следует уже третье поколение. В бывшем его округе доныне найдете в крестьянских домах большую опрятность, отлично допеченный хлеб и славнейший квас. Бывало, рассказывали они, комиссар прискачет неожиданно в деревню, зайдет в избу, спросит кусок хлеба, и

если хлеб нехорош от нерадения, то хозяйке розги. В другой избе спросил квасу, и если квас слишком жидок, или перекис, или если летом подают его теплый, то хозяйке розги, и все хозяева и все семейства благодарили комиссара[292]. Разумеется само собою, что я не ставлю в пример такое средство; но есть много других средств, с коими благонамеренный начальник может сделать пропасть добра. Ныне чиновники преимущественно только думают, как нажить побольше денег, и людей прижимают взятками больнее, чем чудак комиссар розгами.

В том же городе жил отставной подполковник Яковлев, бывший тридцать лет городничим в Красноярске; он получал 700 рублей пенсии, имел семейство и по дешевизне съестных припасов жил без долгу, без милостыни и очень просто. Один из моих товарищей, рассуждая в кругу чиновников о службе, о гражданских обязанностях, привел в пример бескорыстие и честность отставного городничего. «Помилуйте! — возразил окружной судья. — Он человек не честный, а просто дурак, глупец, трус! он или не умел, или боялся взять, за что же тут хвалить его?» Для такого судьи честность в мире не существует; правительство не может обратить на путь истины такого закоренелого, закаленного нравоучителя, если всякое злоупотребление его, всякая кривда, каждая взятка не будут преданы гласности; с гласностью невольно явится в нем страх и совесть или он лишится места безвозвратно. При тогда существовавших отношениях я не виню этого судью: представьте себе юношу, который начинает свою службу канцеляристом, бьется десяток лет для получения благословенного чина коллежского регистратора; каждый день он видит, как отец его, чиновник опытный, умеет брать взятки, как улучшает он свое благосостояние, как обстраивается домишком и амбарчиками; каждый день отец подстрекает сына следовать его примеру. Сын берет копейками, чтобы после брать сотнями и тысячами, как поступает отец. Сын научается смотреть на взятки как на благоприобретенное законным образом достояние; бесчестие и плутовство прививается к нему, как прививают оспу: так мудрено ли, что таким образом увеличивается число вредных и злонамеренных чиновников? В Сибири доныне чиновников не много, на каждый округ в 250 000 квадратных верст, имеющий до 40 000 жителей, придется по девяти

чиновников: окружной судья с тремя заседателями, земский исправник с тремя заседателями и окружной стряпчий. Если бы каждый из них довольствовался тысячью рублями в год, то пришлось бы на каждого поселянина погодно по 22 1/2 копейки; но кто определит, сколько чиновнику нужно? где предел желаниям чиновника, который, получая по 500 рублей ассигнациями жалованья, живет с большим семейством не хуже, не беднее наследственного богача.

Упоминая о жителях Сибири вообще, не могу описывать особенно племена кочующие, из коих я познакомился только с бурятами. Я не жил с жалкими обитателями ужасной северной полосы Сибири, в коей, от Обдорска до Верхнеколымска, жили мои товарищи, с которыми увиделся после на пути и в Кургане и на Кавказе: И. Ф. Фохт, А. В. Ентальцев, В. Н. Лихарев, В. К. Тизенгаузен, М. А. Назимов. В этих тундрах погибли товарищи мои — Шахирев, Фурман, Бобрищев-Пушкин 1-й, Шаховской, двое последних лишились ума, Враницкий, который за год до своей кончины был перемещен в Пелым, где фон дер Бригген тщетно старался его развлекать и поддерживать. В тех местах безлюдных, где полгода сряду не показывается солнце, где земля, вечно холодная, оттаивает только на полфута глубины, где люди питаются рыбою и дичью, ездят по промыслам на оленях и на собаках, где нет огородов, нет посевов, — там все малоросло, все угрюмо, все печально, все холодно. От средней полосы Сибири до юга — народ все видный, здоровый, смышленый; ямщики славные, земледельцы трудолюбивые. Занимательно видеть, как они к почве применяют земледельческие свои орудия, как ловко устроен сибирский плуг в Курганском округе и в других местах. Для молотьбы зимою они поливают ток и тем составляют зеркальный пол изо льда, отчего хлеб хорошо вымолачивается и не имеет в себе пыли. Вместо цепов они в иных местностях употребляют деревянный цилиндр из лиственницы, сибирского дуба в два аршина длины и в десять вершков поперечника: к окружности прикрепляют зубцы длиною в четыре вершка, рядов восемь, по восьми зубцов в ряду и с помощью железных стержней, прикрепленных к центру боковых кругов цилиндра, или катка, в кои приделываются оглобли, катают по разложенным снопам. Этот механизм ведется у

них с прошедшего столетия. Когда они молотят горох, то к простой телеге, к спицам колес привязывают небольшие цепы и катают телегу взад и вперед по разложенному гороху. Даже когда молотят обыкновенными цепами, то напрасно не дадут удара по соломе, как бывает в наших деревнях: они кладут снопы сушеного хлеба в два ряда, комлями или соломою внутрь, а колосьями в наружную сторону, тогда в два ряда молотят, двигаясь взад и вперед; в это время старушки и дети раскладывают другой такой же ряд снопов, и когда молотильщики переходят к другому разложенному ряду, то те же старухи и дети идут к перемолоченному первому ряду, выбирают солому или переворачивают снопы, чтобы еще помолотить, если в колосьях еще осталось зерна. Во многих селениях земледелие в цветущем состоянии, но особенно достойно замечания прилежание забайкальских бурят, которые орошают пашни и луга, даже продовольствуют часть Иркутской губернии.

Этим кочевым дикарям не очень давно, когда Трескин был иркутским губернатором, впервые раздаваемы были сохи и косы. Первопашец рассказывал Н. А. Бестужеву, каким образом три работника должны были управлять одною сохою: один вел лошадь, другой держал соху, третий отворачивал пласт земли, поднятый сошником, потому что они еще не знали употребления лемеха[293]. А ныне бурята кормят жителей забайкальских и соперничают с семейскими, даже опередили их в орошении полей, лугов и огородов. Эти недавно дикие, кочевавшие потомки монголов, став оседлыми, занимаются успешно ремеслами; они славные столяры, плотники, кузнецы. Бурят требует только формы, так называет он модель или образец, и сделает по ней как нельзя лучше. Хорошо они выделывают кожи, меха и скатывают войлок. Сосед его, русский старожил, еще привык называть его *дошлым*, потому что буряты кочующие питаются всякою падалью, но эти дошлые служат явным и славным примером, как в короткое время можно преобразовать не отдельного человека, но целое племя, когда умеют взяться за дело с лучшей стороны. Буряты даже стали изобретательны; для переправы чрез реки, где еще не устроены правильные сообщения, где нет даже лодок и карбасов, там они имеют выдолбленные колоды вроде корыт, кои хотя и могут поднять значительную тяжесть, но так вертки, что

надобно большое уменье не только управлять ими, но даже просто сидеть в них, и то на самом дне с протянутыми ногами, потому что лавочке нет места. Эти две колоды, или два корыта, ставят они рядом поперек реки, повозку помещают так, что правое переднее и заднее колесо были в одном корыте, а левые колеса в другом, дабы такое положение не позволяло корытам расходиться, но удерживало их от боковой качки; повозка переправляется с большею безопасностью, нежели на плоту или на карбасе: тот и другой могут случайно покачнуться набок. С большею еще смышленостью они ускоряют при осенних морозах переход чрез реку, что называют *заморозить* ее, посредством отколотых береговых льдин, кои сцепляют вместе морозом. Течение реки им не мешает, потому что на снастях становят свой карбас перевозный все далее и далее в реку, по мере как подвигается работа; с противоположной стороны делают то же самое; в две или три ночи промежуток загораживается сам собою наносным льдом, между тем как ниже по реке не стало сплавных людин. Такая же смышленость видна при сплавках дров по самым быстрым рекам: из легких бревен делают раму величиной по количеству дров, спускают ее на воду, прикрепляют к берегу жердями и кольями; тогда просто бросают дрова в раму, наблюдая, чтобы они ложились наперекрест ряд после ряда, рама и крестообразное расположение препятствуют им расплываться.

От различия климата и почвы и от неизмеримых расстояний бывает необыкновенное различие в ценах на хлеб и на съестные припасы. В северной полосе и на востоке до Иркутска ржаная мука доходит до трех рублей серебром и более за пуд, между тем как в Иркутске пуд стоит 60 копеек, а в Минусинске и в Кургане 10 копеек. Пшеница хорошо родится за Байкалом и во всей южной полосе. Говядина в населенных местах повсюду дешева, можно иметь ее по одной копейке за фунт. Сибирская лошадь крестьянская для работы покупается лучшая за 15 рублей, корова за 6 и за 8 рублей. Из этого видно, что материальная жизнь там не дорога. Сахар, колониальные и бакалейные товары привозят купцы во время ярмарок. Фабричная промышленность в совершенном детстве; в некоторых городах появляются заводы мыловаренные, кожевенные и салотопные. В 40 верстах от Иркутска находится обширная Тельминская суконная

фабрика, выделывающая порядочные сукна из туземной шерсти. В бытность мою в том краю составилось общество овцеводов под председательством губернатора Цейдлера, которое из Саксонии пригнало стадо хороших овец; оно прибыло благополучно, убыль от дальнего пути заменилась приплодом во время дороги, но стадо постепенно извелось; не климат, не корм, но, вероятно, недосмотр был тому причиною. Сермягу, холст, нестрядь и ковры ткут в деревнях для собственного употребления. Тюмень продает ковры собственного изделия. Зимою население при большой дороге имеет довольно заработков: перевозят чай, китайские товары, золото и серебро в Россию Европейскую, оттуда обратно, преимущественно из Ирбита идет значительная кладь до Иркутска. Этот город всех сибирских городов занимает первое место по торговле и по богатству купцов, которые, кроме того, славятся благотворительностью и образованностью: Кузнецовы, Медведниковы, Баснины, Кондинские; сыновья их получили окончательное образование в Англии. Купцы прочих городов, особенно Западной Сибири, имеют в обороте не собственные капиталы, а более закупают как комиссионеры на деньги купцов казанских и ирбитских или вообще богатейших, посылающих сало, масло, кожи в наши дальнейшие портовые города. В Иркутске главное складочное место товаров европейских, китайских и Американской компании. С недавнего времени сильно распространилось добывание драгоценных металлов: Урал, Алтай, Саян и Нерчинские горы богаты ими и, без сомнения, заключают в недрах своих еще много сокровищ неоткрытых. Частные золотопромышленники добывают золото еще в большем количестве из россыпей в Томской губернии по речке Кундустуюлу и в Иркутской губернии по речке Большой Бирюсе. Добывания доведены до общего сведения и правительством и частными лицами в журналах и газетах. Чихачев пишет о том со знанием дела. В 1863 году добыто было на казенных и на частных промыслах шлихового золота в Восточной Сибири более тысячи пудов, в Западной Сибири десятая доля означенного количества, а в Пермской и Оренбургской губерниях более трехсот пудов; всего 1459 пудов золота. Серебра выплавлено в 1863 году на казенных и частных заводах более тысячи пудов. Свинца 70 000 пуд[ов]. Меди 286 000 пуд[ов]. Чугуна 14 мил-

лионов пуд[ов]. Железа кричного и пудлингового 10 миллионов пудов. Соли самосадочной 30 милл[ионов] пудов; каменной 2 милл[иона]; выварочной 8 милл[ионов]. Каменного угля 9½ милл[иона]. Петролея и нефти с лишком 500 000 пудов.

Жалею только, что вольные работники и вообще механики, мастеровые, конторщики и приказчики при этих заводах, как я слышал, наживают много денег, проживают их в пьянстве и в разврате в пользу ловких и предприимчивых маркитантов[294] и таким образом, не доставляя пользы себе, отнимают сильных работников от земледелия и увеличивают число бесполезных и вредных людей.

Картина большой почтовой дороги в Сибири представляет предметы, свойственные стране малонаселенной. Город от города отстоит на 500 верст; деревня от деревни на 30 верст; зато горы, леса и реки в большом размере тянутся на сотни верст. Жители, коренные русские, также мало представляют разнообразия: там лица, одежда, язык не разнствуют так резко, как мы то видим в Европейской России от Петербурга до Одессы, где почти каждая губерния имеет свой наряд, свое произношение, свое наречие. Зато в Сибири самым приятным образом поражает вас опрятность; не только столы, скамейки и полы чисто вымыты, но даже стены и крыльцо моют мылом; печи всегда выбелены. Села и деревни имеют вид наряднее и веселее уездных городов, где строения все деревянные и где сосредоточиваются чиновники и приказные. Губернские города походят на наши города, и несколько улиц обстроены каменными зданиями в несколько этажей, имеют красивые церкви и большие площади. Меньший из губернских городов Красноярск, но он красив местностью, при впадении Качи в Енисей, окружен с трех сторон горами, улицы вымощены природой мелким щебнем и песком. Тут я уже не застал знакомца моего купца Старцова, у которого желал расспросить о таинственном лице, об Афанасии Петровиче[295], который в первый проезд мой в 1827 году был главным предметом разговоров и общего любопытства от Тюмени до Красноярска. Старцов умер, дети не знали его тайны. Но здесь увиделся я и познакомился с двумя соизгнанниками, соузниками, которых застал в крайне жалком состоянии.

Семен Григорьевич Краснокутский, бывший обер-прокурор Сената и родственник Кочубея, был сослан прямо на поселение из Петропавловской крепости в Якутск, оттуда по просьбе родных переведен в лучший южный округ, в Минусинск. Там жил с ним вместе наш С. И. Кривцов и знал его здоровым и бодрым; но чрез несколько лет почувствовал он большое расслабление в ногах, в коленах и в бедрах, так что не мог ходить иначе как опираясь под руку и на плечи проводников, иначе ноги его плелись как веревки, и, наконец, ноги отнялись совершенно. Тогда перевезли его в Красноярск, где тщетно лекаря городские, и деревенские, и бухарские, и армянские употребляли различные средства, покупаемые ценою золота, но все напрасно. Родные посылали ему денег, они были бесполезны; родные просили для него позволения пользоваться сибирскими минеральными водами, в этом было им отказано. Я видел его, когда он уже два года не вставал с постели; глаза его блестящие и живые, цвет лица его пергаментный показывали живость ума и разрушения тела. В церковь возили его изредка, в особенной, для него устроенной тачке, в которой он лежал во время литургии, так катали его обратно на квартиру и по улице за город для укрепления его свежим воздухом и движением тачки. Я должен был ему рассказать подробно о друзьях его, оставшихся в петровской тюрьме; он слушал с жадностью, но мне трудно и мучительно было глядеть на него. Я простился с ним с тяжелым сердцем; еще страдал он два года, не покидая своей постели; был перевезен в Тобольск, где смертью избавился от мучений в 1841 году. От него пошел я к другому товарищу, который не меньше его достоин был сожаления и участия.

Николай Сергеевич Бобрищев-Пушкин 1-й, служивший в Генеральном штабе, был также сослан прямо на поселение в Туруханск. Раздраженное воображение в Петропавловской крепости, особенно когда комитет добивался у него, куда он вместе с Заикиным зарыл «Русскую правду» Пестеля[296], раздражилось еще более в дальней ссылке, где не встретил ни брата, ни друга; в беспрестанной борьбе с самим собою он сошел с ума. Тогда переместили его в красноярскую больницу, где я навестил его. У него была особенная комната в отдельном флигеле, была старательная прислуга, он ни на что не жало-

вался. Мы были соседями по казематам Кронверкской куртины Петропавловской крепости, но в Красноярске увиделись в первый раз; я передал ему вести о родном брате его Павле Сергеевиче, с которым я особенно сдружился в Чите и душевно уважал и полюбил его. Он слушал с видимым наслаждением и восторгом, только изредка перерывал мою речь, замечая: «За что же моего младшего и лучшего брата наказали строже меня?» До слез был он растроган, когда передал ему в подробности жизнь деятельную и духовную этого любимого брата; но вдруг ни к селу ни к городу стал он убеждать меня в необходимости завоевания Турции и рассказывал, как всего легче взять Константинополь. Выслушав все стратегические средства и тактические меры, я должен был еще выслушать выдуманные им средства против холеры. Бедный расстроенный человек понес такую чепуху, заговорил стихами. Пора было расстаться: он — в восторге от своих изобретений, я — в глубокой скорби от его восторга. Чрез полгода после того освободили брата его, Павла Сергеевича, и весь четвертый разряд государственных преступников: им уменьшен был срок каторжной работы по случаю рождения великого князя Михаила Николаевича. Тогда оба брата были соединены в Тобольске, где младший брат своею любовью и своими трудами берег и содержал несчастного расстроенного брата.

Павел Сергеевич скончался в Москве в 1865 году, а умалишенный брат пережил его, не верит смерти брата, и теперь добрейшая сестрица его Марья Сергеевна, в Тульской губернии, Алексинского уезда, в деревне Коростино, своими нежными попечениями заменяет ему любимого брата Павла, которого он всегда слушался.

Погода благоприятствовала нашему путешествию; дорога была отличная по всей Томской губернии, частью от природы, от грунта земли, частью от стараний бывшего губернатора Токарева. Содержатели станций, хозяева домов в городах, в которых останавливались ночевать, были исполнены внимания и гостеприимства. В конце августа достигли мы границы Тобольской губернии; повсюду спрашивали меня, скоро ли будет новый губернатор тобольский Александр Николаевич Муравьев, который в 1826 году вместе с нами приговорен был Верховным уголовным судом к каторжной работе, но при конфирмации всемилостивейше повелено было без лишения

чинов, орденов и прав дворянства сослать его в Сибирь на жительство. Сначала отправили его в Якутск, на пути с берегов Лены воротили его и все его семейство и переместили в Верхнеудинск. Чрез два года получил он там должность городничего, потом был городничим в Иркутске, после председателем губернского правления и потом губернатором в Тобольске. Во всех этих должностях в Сибири делал он много добра и оставил по себе память бескорыстного и полезного слуги отечества. Очень часто случалось ему при письменном изъявлении своего мнения, при докладах правительственных актов быть одному против мнения многих; случалось, что при таких важных делах, кои представляемы были на высочайшее усмотрение, государь отмечал собственноручно — «согласен со мнением Муравьева». Но трудно было ему держаться надолго против происков целой ватаги недоброжелателей и взяточников, которым показалось преступлением, что губернатор ничего не берет даже с откупщиков. Чрез несколько лет борьбы с интригами и доносами и после совестливого управления губернией он был назначен председателем Таврической казенной палаты. В конце царствования Николая был он по собственному желанию переименован в генерал-майоры, а по воцарении Александра II был он назначен губернатором нижегородским, когда созываемы были губернские комитеты для улучшения быта крестьян и предварительных мер их освобождения; тут он был совершенно на своем месте, как муж, приготовившийся к важному перевороту. Дворянство этой губернии было во всем передовое, по своему самоотвержению и великодушию губернатор за отличие произведен был в генерал-лейтенанты, и когда уже старость и слабое зрение заставили оставить общественную службу, то был уволен со званием сенатора и скончался в Москве в 1863 году.

Когда приехали в город Тару, мы остановились у почтового двора и спросили, где останавливаются проезжающие. Не желая войти в почтовую контору, я пошел прямо к крыльцу; на лестнице стоял почтмейстер в парадном мундире, встретил меня с поклоном и величал меня превосходительным. Я тотчас догадался, за кого он меня принимает, и, сказав, что я не губернатор, а ссыльный, просил его указать мне отдельную комнату для жены моей с младенцем. «Сделайте мне честь и останови-

тесь у меня; в случае внезапного приезда губернатора есть у меня еще комнаты для него; прошу покорнейше, супруга ваша и вы здесь отдохнете спокойно». Он ввел нас в свои приемные комнаты и просил позволения представить нам жену свою. Вошла его супруга, молодая и миловидная, и после наших приветствий муж обратился к ней, взял ее за руку и, указав на жену мою, сказал ей прерывающимся голосом: «Вот, друг мой, прекрасный и высокий пример, как должно исполнять священные свои обязанности; я уверен, что ты, в случае несчастья со мною, будешь подражать этой супруге». Ласковые хозяева угостили нас, уложили нашего младенца на парадном диване и всячески уговаривали нас остаться у них, по крайней мере, сутки; но мы спешили, остались здесь только часа на три.

В это время посетили нас неожиданно двое ссыльных, проживавших тогда в Таре: Флегонт Миронович Башмаков, знаменитый батарейный командир в Отечественную славную войну 1812 года; после заключения мира оставался с батареею во Франции в корпусе Воронцова, а по возвращении с корпусом в Россию в 1818 году имел несчастье утратить или проиграть казенную сумму и был разжалован в солдаты. В 1826 году, по принятому участию в восстании Черниговского пехотного полка, был он сослан на поселение в Сибирь и жил в Таре в крайней бедности. Ни несчастье, ни старость, ни нужда не могли согнуть храброго артиллериста; он умер в Тобольске в 1859 году, имев 90 лет от роду. Статский советник Граббе-Горский был также в молодости артиллеристом, имел Георгиевский крест за храбрость, вышел в отставку после войны с Наполеоном и служил в Сенате. Декабря 14-го он показывался на Сенатской площади посреди каре восставших рот в парадной форме, в шляпе с плюмажем. Он долго арестован был в крепости и был сослан в Березов на жительство без лишения чинов, дворянства и орденов; после переведен был в Тару, где климат не так суров, как в Березове, и где после тяжкой болезни скончался в одиночестве[297].

Вежливый и добрый почтмейстер Верещагин проводил нас так же ласково, как встретил; кажется, он на время только согласился служить в Сибири для скорейшего повышения в чин коллежского асессора; тогда экзамены были строгие и пытливые. Мы ночевали в тот

день в селении у вдовы; к ней собрались три сестры, также вдовы, все в черных одеждах, в печали. Я старался заговорить их, жена моя их утешала, и наш самовар и душистый чай немного их рассеял. На следующий день 29 августа переменяли лошадей в богатом селе Рыбинском, где хозяин, крестьянин-земледелец, имел просторный дом с хорошею мебелью с зеркалами, картинами, коврами, как случалось мне видеть только у семейских за Байкалом. Бойкие кони помчали нас до следующей станции чрезвычайно быстро; жена моя привыкла к этой езде, но по временам ощущала боли, возвращавшиеся чрез несколько минут. Приехал на станцию в Фирстову деревню, видел, что предположения наши и расчеты не сбылись. Жена моя должна была лечь в постель; я тотчас разослал людей за бабкою, и чрез час бог даровал нам сына. Сын мой Василий, родившийся на пути, на почтовой станции, был самым спокойным и кротким младенцем из всех моих детей.

Нам невозможно было долго оставаться на месте, потому что в сентябре увеличивались морозы по ночам, днем шел дождь или было сыро; все это не благоприятствовало путешествию с больною женою и двумя младенцами. Чрез семь дней окрестили Василия: пригласили священника из Рыбинского села, а из Фирстовой деревни позвали самого бедного мужика и самую бедную женщину в восприемники от купели.

В девятый день, с помощью божией, мы пустились в дальнейший путь: добрейшая жена моя заранее придумала, как распорядиться получше. Кондратий продолжал лежать в своей висячей матросской койке, Василий то на коленях, то у груди матери. В два дня прискакали благополучно в Тобольск.

В Тобольске имели спокойную квартиру и приятный отдых: я навестил полицмейстера Алексеева, который так радушно принял меня, когда с товарищами в 1827 году мы отравлены были в Читу. Утешительно было для меня свидание с товарищем В. Н. Лихаревым, с которым целый год прожил в читинском остроге, откуда он поселен был в Кондинском монастыре и, наконец, переведен в Курган. Меня навестил граф Мошинский, сосланный по делу польского тайного общества в 1827 году; на другой день я пошел к нему и застал у него из сосланных его земляков за восстание в 1830 году князя

Романа Сангушко, служившего тогда рядовым в линейном батальоне, и полковника Крижановского, служившего с большим отличием в армии Наполеона в Испании под начальством известного Хлопицкого. Занимательно было слушать их беседы и суждения; я видел у них портрет Скржинецкого, пуговицу 4-го полка, почерки замечательных лиц и планы сражений 1831 года[298]. Тут опять имел я доказательство, что когда встретишь совершенно образованного поляка, то он вдвое привлекательнее всякого другого, какой бы то ни было национальности; о них и об их участи расскажу ниже, в своем месте. На минуту зашел я к прокурору Криднеру, оказавшему внимание жене моей, когда она ехала ко мне чрез Тобольск; он принадлежал к числу немногих людей, которые стары только числом лет, а молодость и деятельность сохраняют до могилы; ему было 80 лет, но на охоте и в работе был он бодрее и веселее молодежи. Чрез три дня выехали из Тобольска[299], повернули на юг с большой дороги и на другой день ночевали в Ялуторовске; здесь увиделся с двумя товарищами, с которыми год прожил в Чите: с А. В. Ентальцевым и с В. К. Тизенгаузеном. Первый из них жил там с женою, жаловался на нездоровье, на скуку и вспоминал свою конную батарею и утраченную карьеру. Тизенгаузен уже в 1815 году командовал полком во Франции, в корпусе графа М. С. Воронцова, и один из старших летами из числа всех товарищей строил большой деревянный дом с колоннами, имел в виду устроить клуб, но лишь только дом был достроен, то сгорел от злобы плотника. Дважды старик выстраивал снова и в третий раз лишился дома от пожара; но он все не унывал, из остатков обгоревших стен опять сколачивал домик свой, прилежно трудился в саду и в огороде и вполне был уверен, что доживет до своего освобождения.

В один день невозможно было доехать до Кургана, особенно с двумя младенцами трудно было ехать ночью. Мы остановились на последней станции от Кургана в Белозерске. Содержатель станции объявил мне, что заседатель земского суда желает меня видеть. Вошел Герасимов, который проводил меня от Тобольска до Иркутска. Я обрадовался свиданию, а он снова отрекомендовал себя: «Я титулярный уже советник и имею собственный дом». Эти слова и выражение голоса так красноре-

чиво высказали самодовольство, что я обнял старика и искренно поздравил его, пожелав ему скорее быть коллежским асессором. Последнюю станцию пришлось несколько верст ехать по глубокому песку, лесом, потом равниною, на коей по обеим сторонам дороги показывались вдали большие деревни; наконец, увидел колокольню курганской церкви, Тобол, лениво текущий в низких плоских берегах, кое-где обнизанных кустарником. Чувство невыразимой грусти охватило сердце при мысли, что в этом месте окончишь жизнь изгнанника. Это чувство, эта мысль останавливали дыхание при взгляде на жену мою и на малюток; все ближе, ближе, глядел на церковь, вспоминал товарищей, прежде меня поселенных в Кургане, и бодро и бойко подъехали к дому полиции.

Глава одиннадцатая

ПОСЕЛЕНИЕ В КУРГАНЕ

Курган. — М. А. Назимов. — И. Ф. Фохт. — В. Н. Лихарев. — Коцебу. — Окрестность. — Ярмарки. — Общество. — Масленица. — Печаль. — Новоселье. — Нарышкины. — Н. И. Лорер. — Поляки. — А. Ф. фон дер Бриген. — Миних. — Горе и радость. — Раздача земли. — Мусин-Пушкин. — Земледелие. — Хозяйство. — Петерсон. — Посетители. — Воспитание. — Падение. — Болезнь. — Ожидание. — Приезд цесаревича. — И. В. Енохин. — В. А. Жуковский. — Свидание. — Освобождение. — Сборы в дорогу. — Выезд из Сибири

1832 года 19 сентября поутру приехали мы в Курган. Явившись к городничему, осведомился я о квартире М. А. Назимова, который самым дружеским образом принял нас в небольшом опрятном домике. Я уже не раз упоминал о Назимове в предыдущих книгах моих, здесь скажу только, что он своими правилами, действиями, образом жизни приготовил для вновь прибывающих товарищей самый лучший прием и самое выгодное мнение со стороны местных жителей. Хотя каждый час мой принадлежал моему семейству, но всегда утешительно было иметь вблизи и в виду такого товарища, с которыми изгнанник, даже одинокий, не может скучать или сказать, что он один. Судьба свела меня с ним здесь в первый раз, зато с этих пор в дальнейшем странствии нашем встречались мы не раз, о чем расскажу ниже. В Кургане застал я еще товарища И. Ф. Фохта, бывшего капитана Азовского полка, уроженца курляндского, недавно сюда

переселенного из Березова[300]; он держался твердо своих правил и своих мнений, любил спорить и противоречить, но это не мешало ему быть сердобольным к страждущим и больным, исключительно посвятив себя лечению других; он завелся аптекою, пользовал удачно и доставлял себе средства к жизни. В. Н. Лихарев, совершенная противоположность аккуратности Фохта, всегда умный и тонкий в беседах, никогда не думал о завтрашнем дне, жил в обществе чиновников, одевался щеголевато и все должал; все верили ему, все любили его; он был недавно перемещен сюда из Кондинска[301], а во время прибытия моего в Курган находился под предлогом болезни в Тобольске, где имел больше развлечения. В тот же день товарищи нашли для меня удобное помещение, куда мы перебрались чрез несколько часов. Добрая жена моя особенно нуждалась в отдыхе, но всех менее могла иметь покой, быв вместе и кормилицею и нянькою; зато называла она отдыхом, когда была под крышею и не нужно было пересаживаться с детьми в экипаж.

Курган получил свое наименование от старого городища, находящегося в 5 верстах от города возле довольно высокого кургана, на котором в старину построен был острог, окопанный рвом, для защиты караула от набега киргизских орд. Город построен на левом берегу Тобола, имеет три улицы продольные с пятью перекрестными переулками; строения все деревянные, кроме двух каменных домов, один из них красивый о двух жильях посредине площади, чиновника Розина. Коцебу в своей книге «Достопамятнейший год моей жизни»[302] по ошибке назвал дом этот принадлежащим Розену; в этом доме помещены были все присутственные места уездные. На углу площади стоял другой дом каменный, купеческий, неоштукатуренный. Как все пространство, занимаемое городом, имеет склон к Тоболу, то улицы и дворы на песчаном грунте почти всегда были сухи и опрятны; летом можно было жаловаться только на пыль. Мало садов, мало тени и зелени, несколько кущей тощих берез за городом, одним словом, вид города не привлекателен; все почти уездные города в Сибири походят более на села и большие деревни. Курган имел не больше 2000 жителей и одну трехпрестольную церковь. Купцы курганские большею частью вели торг на деньги иногородних богатых купцов; они имели на другом берегу Тобола

свои заводы — кожевенный, салотопный, мыловаренный; за городом в березовой роще стояли кирпичные сараи. Уездное училище имело до 50 учеников и самых старательных учителей. Особенное, общее уважение заслужил там священник Стефан Знаменский; все чиновники были к нам хорошо расположены, мне приятно припоминать их и выразить им искреннюю мою признательность.

В Кургане показывали мне домик с красными ставнями, в коем в царствование имп. Павла жил изгнанником известный литератор Коцебу; он был сослан по наговорам и доносам дипломатов и придворных и обязан был случаю, что чрез год его освободили: император был в театре, когда представляли пьесу Коцебу «Лейб-кучер Петра III». Императору так понравилась драма, что приказал призвать к себе автора. Когда ему сказали, что он в ссылке, то повелел тотчас воротить его. По возвращении император принял его чрезвычайно ласково, осыпал его вниманием и поручил ему описать новый свой Михайловский дворец. Я встречал много жителей курганских, которые очень хорошо его помнили и рассказывали мне, как он каждый день прохаживался скорыми шагами по берегу Тобола, писал по нескольку часов в день, а по вечерам раскладывал карты — грандпасьянс и все гадал о своем возвращении. Только купец Кузнецов был им недоволен за то, что Коцебу в своем описании Кургана, упоминая об отце его, о хозяине квартиры, не нашел ничего лучшего сказать о нем как только, что от него постоянно сильно несло луком. Меня очень занимала эта книга под заглавием «Достопамятнейший год моей жизни», я нашел, что высшее общество в Кургане по образу жизни сохранило до моего прибытия в этот город все свои привычки и предания старины во всех малейших подробностях; впрочем, тридцать три года составляют небольшой промежуток времени.

В двух верстах от Кургана, по направлению к городищу, видел в стороне, при большой дороге, домик, со вкусом выстроенный, комнаты окрашенные, с красивою печкою, все так пропорционально и мило, — в нем жил шесть лет бывший мой однополчанин в гвардии С. Калакуцкий, сосланный в 1818 году за растрату казенных денег — он их проиграл. В Кургане занимал он должность по откупам и выстроился вне города особо. Когда при страшном наводнении Петербурга 7 ноября 1824 го-

да отличился л.-гв. Финляндский полк, то по просьбе офицеров и командира, благороднейшего В. Н. Шеншина, был Калакуцкий прощен и возвращен на родину.

В бытность нашу в тюрьме и в каторжной работе, в Чите и в Петровском, не ограничивали суммы денег, высылаемых нашими родными; но на поселении, где каждый сам мог располагать своими деньгами и сам расходовал их, дозволено было получать ежегодно холостому не более тысячи рублей ассигнациями, по нынешнему курсу серебром 285 рублей 71 1/2 копейки, а женатому не более 571 рубля 43 копеек. Эта сумма была очень достаточна в Кургане по дешевизне необходимых съестных припасов: пуд муки ржаной по нынешнему курсу на серебро 7 копеек, фунт говядины 1/2 копейки, пуд пшеничной муки 12 копеек, воз сена 25 копеек, куль или четверть овса 50 копеек, индейка 10 копеек, гусь 7 копеек, курица 5 копеек, десяток яиц 1 1/2 копейки. По воскресеньям, а после только по субботам, собирались поселяне на базар и привозили свои произведения, так что горожанин зависел от купца только по части колониальных и красных товаров. Я бывал во всех окрестных деревнях, в Новой деревне, в Смоляной, в Большой и Малой Чаусовой и других; повсюду встречал поселян трудолюбивых, которые, по малоценности своих сельских произведений, не могли быть капиталистами, но почти все они жили в избытке и в довольстве. При выезде из больших деревень заметил я отдельные избы, составляющие небольшую улицу: в них тесно жили вновь прибывшие поселенцы, без денег и с надеждою нажить их; там можно было встретить в нескольких шагах друг от друга обитателей великой, и малой, и белой России, татарина, цыгана, еврея и армянина. Один шутник из них назвал такой переулок Большой Миллионной; слышны были различные напевы, национальные мелодии; видите различные пляски, но одежду и наряды общего русского покроя. Капиталы наживали ростовщики, подрядчики, содержатели харчевен, почтовых станций и вообще торгаши.

Курган оживлялся в год во время ярмарки. Торг продолжался каждый раз три дня: продавцы и покупатели располагались в своих телегах или санях в два ряда вокруг площади и вдоль большой набережной улицы. Купцы приезжие расставляли товары в гостином каменном

дворе в лавках или во временных дощатых балаганах и холщовых палатках: они приезжали из Ирбита, Казани, Тобольска, Шадринска и Тюмени. С утра до вечера все было в движении: почти всякий продавец был вместе и покупатель. По сторонам и по углам стояли шалаши с самоварами, со сбитнем, с пряниками и закусками, возле шалашей острили балагуры, мальчики играли на гармонике, разносчики толкались взад и вперед с коробами, с лотками и предлагали сапоги, рукавицы, армяки, шапки, посуду и сбрую. Один продавал кожаные панталоны, коих несколько пар висели у него на плечах, но чтобы больше прельстить покупщиков, то каждый раз надевал на себя продажную пару желтых лоснящихся панталон, шагал в них, подпрыгивал, выхвалял их доброту и преудачно и скоро сбывал свой товар. Лавки с красным товаром были осаждаемы женщинами, которые выбирали для себя ситцы, платки и ленты. Надобно сказать, что и в Сибири женщины любят наряжаться, отказываются охотно от многих удобств в жизни, лишь бы иметь хорошие обновы; замужние женщины со вкусом итальянок умеют навязывать свои платочки на голове красивее всякого чепчика. Недалеко от площади, на берегу Тобола, видите сотни всадников и тысячу лошадей: русские, киргизы и цыгане наперерыв гарцуют; кони не рослы, но бойки, сильны и дешевы; вы спросите цену саврасому коню, вам ответят: два мешка или три мешка; мешком называется 25 рублей медною монетою. В Сибири мало золотой и серебряной монеты в обращении, все бумажки и медные деньги; медную монету имеют они в небольших мешках, вмещающих по 25 рублей; счет всегда так верен, что смело можете принять без счету.

Сходно закупил я годовой запас для домашнего хозяйства у екатеринбургского купца Соколова, и показалось мне странным, что он с меня запрашивал меньше, чем с других покупателей; но он на другой день объяснил мне, что сибиряки любят торговаться, а с меня он не запрашивал, полагая, что мне цены известны.

В каждом сибирском уездном городе общество чиновников ограничивается небольшим числом 13: городничий, земский исправник с тремя заседателями, окружной судья с тремя заседателями, уездный стряпчий, почтмейстер, казначей и лекарь. Это небольшое число хотя по своим должностям и семейным отношениям иног-



М. А. НАЗИМОВ

Неизвестный художник. 1820-е гг.

да бывает разделено на партии и живет в несогласии, но отлучение от всякого другого общества, дальние расстояния городов, несуществование поместных дворян в Сибири и необходимость в обращении с людьми заставляют их забыть обиды, скоро примириться — лучшим тому поводом служат семейные и годовые главные праздники. Каждый празднует именины свои и всех членов своего семейства: накануне или за два дня рассылают с приглашениями следующего содержания: NN приказал кланяться и просить пожаловать в такой-то день на закуску, на обед и на вечер с супругою. Поутру начинаются поздравления и закуска, в два часа начинается обед вкусный и многоблюдный; после обеда все разъезжаются по домам спать, а вечером в 6 часов собираются с се-

мействами на чай, на танцы и на ужин, что продолжается до трех или четырех часов утра; выходит, что целый день пир горой, вроде дивного пира графа Воронцова-Дашкова, данного на масленице 1847 года, на котором, также в один и тот же день, был завтрак с танцами, обед и бал с ужином. Во время танцев подают лимонад, чернослив, изюм, миндаль, сушеные фрукты за неимением свежих. Дамы одеты парадно и по близости Урала украшены разноцветными каменьями и бриллиантами; танцуют очень хорошо и охотно; оркестр составляют: виолончель, две скрипки и кларнет, охотники артистки из городских обывателей и ссыльных. Иногда приезжают родственники из других городов. Нетанцующие мужчины играют в вист или в бостон. Все чиновники приглашали всех моих товарищей на семейные праздники; но не все они посещали их, я ограничил эти посещения только домом городничего; жена моя не выезжала из дому, быв беспрерывно занята детьми; несмотря на то, не переставали до последнего дня нашего пребывания в Кургане приглашать нас на именины.

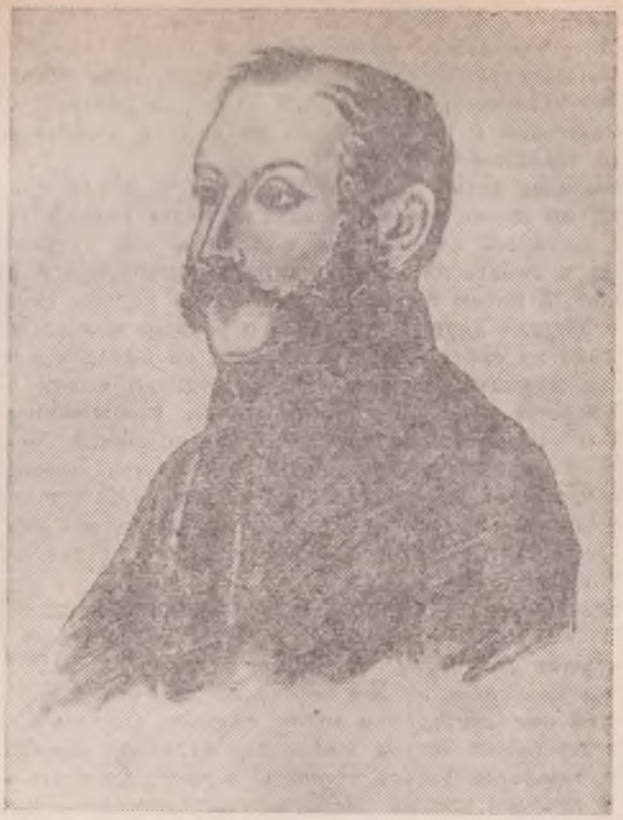
Еще было в году общее увеселение публичное в последний день масленицы: сколачивали огромные сани из связанных шести дровен, намощенных досками; по четырем углам скреплены четыре столба с перекрестными перекладинами у верхних концов, в середине перекладин горизонтально привязано колесо, на колесе сидит и ломается шут или скоморох, в ступицу вложен шест с развевающимся значком. Под таким балдахином на намощенных досках уставлены скамейки для чиновников и музыкантов; шестерик лошадей с форейтором возят этот экипаж. Так разъезжают чиновники по всем улицам от одного знакомого до другого, хозяйки принимают их ласково с блинами и с вином и лобызаются со всеми в прощальный день пред наступлением великого поста. Несметное число троек, пар и одиночек, городских и деревенских жителей следуют за этой процессией с колокольчиками и песнями, что продолжается до позднего вечера.

В Кургане, вскоре по нашем приезде, узнали мы о кончине дяди жены моей и благодетеля нашего Павла Федоровича Малиновского: он проводил лето на роскошной даче своей, на Белозерке, между Царским Селом и Павловском; осенью появилась в тех местах холера, и он сделался ее жертвою 9 сентября 1832 года. Ни единой

не было родственной руки при нем, чтобы закрыть ему глаза; последней услуги этой ожидал он от меня и от жены моей, о чем часто прежде мне говаривал; но мы были далеко; прочие родные были в Украйне. Значительное наследство дяди досталось брату его, сенатору Алексею Федоровичу Малиновскому, и трем братьям жены моей. Духовное завещание его, которое он дал мне читать в 1825 году, было подписано шестью свидетелями из важных лиц; одною статьею завещания он отказал жене моей значительную часть из благоприобретенного своего имущества; но никто не нашел этого акта, и некому было отыскивать копию или место явки[303]. У меня осталась благодарность за доброе его намерение и за доказанную мне любовь и доверенность.

4 декабря, в день именин моей матери, мы перебрались из наемной квартиры в собственный дом, который купили за три тысячи рублей ассигнациями по случаю перемещения окружного судьи в Тобольск советником. Соседи наши с двух сторон прислали нам хлеб-соль с изъявлениями лучших пожеланий. Дом небольшой с мезонином был теплый, довольно поместительный, имел большой сад, разведенный на целой десятине, с крытою аллеею из акаций и с тенистыми березами и липами. Сообщество добрых товарищей Назимова и Фохта вскоре увеличилось для всех нас самым неожиданным и приятным образом. В конце 1832 года 13 октября по случаю рождения великого князя Михаила Николаевича были сбавлены сроки каторжной работы и тюремного заключения всем моим соузникам петровским[304]; так что четвертому разряду, которому по сентенции надлежало оставаться там на работе еще два года, досталось неожиданно отправиться на поселение. В Курган назначены были М. М. Нарышкин и Н. И. Лорер; они прибыли к нам в марте 1833 года[305] и оживили и украсили наше тесное общество; вскоре возвратился к нам и В. Н. Лихарев, лечившийся в Тобольске.

Каждую неделю по пятницам проводил я по нескольку часов в самой приятной беседе у Нарышкиных. Михаил Михайлович Нарышкин начал военную службу в 1813 году, в полку родного брата своего Кирилла; после переведен был в л.-гв. Московский полк, произведен в полковники л.-гв. Измайловского полка, откуда по своему желанию переведен был в Тарутинский полк, квар-



Н. И. ЛОРЕР

Акварель Н. А. Бестужева. 1832—1833 гг.

тировавший тогда в Москве. Получив совершенно светское и блестящее воспитание, сохранял он скромность, кротость и религиозность; был человек с примерною душою, руководимый христианскою любовью, а потому все легко было ему переносить. Он охотно помогал другим, никогда не жаловался, когда по ночам, иногда по целым суткам и по целым неделям облегчал страдания любимой им жены, часто хворавшей от расстройства нервов. Елизавета Петровна, единственная дочь, обожаемая славным отцом и нежною матерью, получила лучшее образование, имела сердце доброе, но расстроенное здоровье

тяготило ее еще более в разлуке с матерью, среди лишений общественных развлечений и среди единообразия жизни изгнаннической. В особенности худо бывало ей осенью и весною; в это время я не раз полагал, что она не выдержит и не перенесет; но вера и любовь превозмогли телесные страдания.

Важным днем был для нас четверг, когда приходила почта; по пятницам мы отдавали наши письма городничему, который отсылал их в канцелярию губернатора, оттуда в собственную канцелярию императора в III Отделение, а потом были рассылаемы по адресу. В пятницу мы сообщали друг другу вести о родных и новости политические из газет. Хотя в Кургане не имели средств получать журналы на всех языках, однако имели важнейшие газеты русские и иностранные. Нарышкины получали и занимательнейшие книги из новейших сочинений, не имея никакой общественной должности: всякая служба у частных лиц, всякое предприятие — фабричное, промышленное — были нам запрещены, имели мы много досужего времени, которое каждый из нас старался употребить с пользою.

Все по средствам старались облегчать нужды страждущих ближних — помощью, советом и примером. В Сибири мало докторов, по одному на округ в 40 000 жителей на пространстве 500 верст; но как везде много больных, то они доставляли много случаев для деятельности. Моя домашняя аптека имела всегда запас ромашки, бузины, камфары, уксуса, горчицы и часто доставляла пользу. В лечении такими средствами превосходила жена моя всех других; ее лекарства, предписание пищи и питья излечивали горячки и труднейшие болезни. Случалось, что слепые и глухие приходили из дальних мест просить помощи понаслышке о славе врачевания. Всех нас прилежнее занимался по этой части И. Ф. Фохт, который исключительно читал только медицинские книги, имел лекарства сложные, сильные, лечил горожан и поселян. Нарышкин разъезжал по деревням и помогал где мог. Назимов чертил планы для обстраивающихся в городе, для сооружения новых церквей в селениях и начертил план для новой курганской церкви по плану храма в селе Большой Каменке, в имении жены моей; он много читал и писал. В. Н. Лихарев целый год жил в Тобольске по болезни; когда воротился в наш круг, то получил пе-

чальное известие, что жена его вышла замуж; та же участь постигла И. В. Поджио; это обстоятельство сокрушило Лихарева так, что при блестящих способностях, при большом запасе серьезных познаний он не мог или не хотел употребить их с пользой. Чрез семь лет пули черкесские положили конец его тревожной жизни в цепи застрельщиков в деле под Валериком на Кавказе. Н. И. Лорер никогда не унывал, он был весьма приятный собеседник: богатый запас анекдотов, рассказываемых им мастерски с примесью слов из языков французского, английского и немецкого, с особенными оборотами, хоть не всегда грамматически, заставляли часто смеяться от всего сердца. Я старался употребить мои досуги на приготовление быть наставником и учителем детей моих: много читал, писал, сочинял повести народные в подражание «Поговоркам старого Генриха» или «Мудрости доброго Ричарда» — знаменитого Франклина; перевел «Историю итальянских республик»[306]; сундук большой наполнен был моими рукописями.

Кроме товарищей моих, жили в Кургане несколько ссыльных поляков за восстание в 1830 году: Важинский, Раевский, кн. Воронецкий; позднее прибыли по случаю пойманных эмиссаров Клечковский с супругою, Савицкий, Черминский и еще несколько молодых людей, назначенных в солдаты в линейные сибирские батальоны. Они достойны были участия и сожаления, особенно те, которые страдали не за возмущение, а только по подозрению, что они принимали у себя эмиссаров или давали им лошадей своих для дальнейшего следования, хотя и не знали этих людей лично и не знали тайного их намерения. Кому из них позволяло здоровье, тот охотился — любимое занятие поляка. Бедный Клечковский имел здоровье расстроенное, был разлучен с детьми, впоследствии и жена его лишилась здоровья. Возвращены были на родину Савицкий, Черминский и кн. Воронецкий; последний был старец восьмидесяти лет, с глубокими сабельными ударами на лице и на голове; но пользовался завидным здоровьем, румянец играл на изрубленных ланитах; каждый день ужин его состоял из десятка круто сваренных яиц. По безлюдным улицам Кургана часто слышны были пение или насвистывание национальной польской песни. 3 мая собирались они у себя торжественно и праздновали память Костюшки[307]. Польские сослан-

ные солдаты прилежно работали по найму где случалось: в саду, в огородах, при постройках. В то же время явилось к нам несколько солдат и пожилых военных поселян, сосланных за восстание и бунт военного поселения в Старой Руссе. Солдатам и поселянам было невыносимо, нестерпимо состояние и порядок, введенные Аракчеевым и поддерживаемые убийственною строгостью; они восстали в бешенстве и неистово, бесчеловечно поступили с начальниками: били их, кололи, сажали живых на кол, одним словом, дышали только местью и злобою[308]. Рассказы стариков-поселян исполняли ужасом всякого слушателя. Событие это дало повод другим опомниться и дало урок в предусмотрительности, не для наказания совершившегося преступления, но для отвращения зла по возможности.

В одной с нами губернии, немного севернее, был поселен товарищ наш А. Ф. фон дер Бригген, в городе Пелыме; год провели мы вместе в читинском остроге, откуда он поступил на поселение; шесть лет мы не видались, когда, к общей радости нашей, перевели его в Курган, и он оживил и украсил наш кружок. Служив уже во время войны 1812 года и быв полковником л.-гв. в Измайловском полку, он вышел в отставку, собрался ехать в 1825 году в чужие края, имел уже паспорт и кредитивы банкира Ливио на Гамбург в кармане, когда болезнь его супруги, урожденной Миклашевской, удержала его еще на зиму, во время коей он лишился своего капитала, по неявке в срок своего кредитива и по внезапному банкротству Ливио; был арестован, осужден и сослан. Он был отлично образован, имел самые честные правила и добрейшее сердце; прочтите, что о нем говорит Н. И. Тургенев в своем сочинении «Россия и русские», напечатанном на французском языке в 1847 году. В восстании и в возмущении фон дер Бригген не участвовал, а был осужден за образ мыслей, за слова, за беседы, как четыре пятых из числа всех моих соузников. Он переносил свое несчастье с необыкновенною твердостью; приятная наружность его, румянец во всю щеку, изысканность в одежде показывали довольство и спокойствие; даже в минуты, когда при чтении или объявлении глупого приказа и бестолковой правительственной меры случалось ему твердить: c'est atroce!* — то за этим тотчас опять

* это ужасно (франц.).

появлялась спокойная улыбка. Супруга его не могла за ним следовать по малолетству трех детей, а после, кажется, нездоровье препятствовало ей в том. Иногда бывало грустно ему, но скучно никогда; он имел множество умственных занятий. Я сохранил несколько занимательных писем его, писанных ко мне из Пелыма; в одном из них описывает он жизнь Миниха[309], томившегося там в изгнании двадцать один год, в продолжение всего царствования императрицы Елизаветы. Подробности о том слышал он от детей очевидцев. Миних жил в том самом доме, который, по начерченному им самим плану, построен был для Бирона; последний чрез год возвращен в Ярославль, на дороге встретил Миниха, который занял его место в Пелыме, где никогда не выходил из дому; а чтобы подышать воздухом, дозволено было ему прохаживаться по плоской кровле дома. Днем он занимался чертежами, моделями, чтением газет; по вечерам играл в бостон с караульным офицером и с камердинером; никогда не пропускал часа возвращения стада с пастбища, тогда выходил на крышу, любовался им и прислушивался к звонку и бряканью колокольчиков и ботлов. Когда по воцарении Петра III он был вызван обратно, облечен опять в достоинство фельдмаршала, то, прожив 20 лет в Пелыме, не зная этого места, приказал ямщику везти себя три раза вокруг города и потом пустился в обратный путь. Жизненные силы были необыкновенны, как и предприимчивость и сила воли в глубокой старости, доказательством тому служит совет, данный Петру III в минуту нерешимости и опасности. Миних жил на свободе еще четыре года в своем поместье в Курляндии, оставив по себе славную память не только великого полководца, но сотрудника Петра Великого и основателя лучших учебных заведений того времени.

В 1834 году получил я известие о кончине отца моего, всегда нежно любимого и глубоко уважаемого; ему было уже 74 года от роду[310]. Апоплексия затруднила ему всякое движение одной половины тела; он скончался в полной памяти в кругу дочерей и внуков. Припоминал всех отсутствующих детей, передал всем краткие наставления; назвав мое имя, он сказал: «Настанет время, когда все будем свободны, то время будет самое счастливое!» Упоминая о благотворительности, он заметил, что люди бедные гораздо щедрее раздают милостыню, чем

люди богатые; первые дают охотно, последние никогда не имеют довольно для самих себя. Последнюю неделю он не принимал никакой пищи, а только несколько раз в день глотал несколько капель свежей воды из чайной ложечки. Весть печальная сменилась в ту же неделю вестью радостною — свояченица моя Мар[ия] Вас[ильевна] Малиновская была с теткою и с сыном моим в Ревеле; она успела еще повидаться с умирающим отцом моим, который знал и любил ее. Тогда решилась ее участь: она вышла замуж за достойнейшего человека, за В. Д. Вольховского, приехавшего с Кавказа, где он был начальником Главного штаба. Я радовался от всей души за обоих супругов, они вполне заслуживали такого взаимного счастья; столько же радовался я за сына моего.

В конце 1834 года донесено было на ссыльных поляков, что они в Сибири составляют новый заговор, зачинщиком называли Пулавского. По этому случаю был прислан свиты его величества генерал-майор Мусин-Пушкин, служивший в лейб-гусарах, для исследования дела[311]. К счастью, выбор пал на человека благородного и правдивого. Заподозрены были и несколько человек из моих товарищей, но дело вскоре объяснилось, обвиненные были оправданы. Всех более невинно пострадал Мошинский: император был уже согласен на совершенное его прощение с возвращением ему графского достоинства; но донос, в коем и он был предумышленно поименован, уничтожил эту обещанную милость, и он еще на два года остался в изгнании. В эти два года одолели его семейные несчастия: он без памяти любил жену свою, а жена вышла замуж за другого, за гусарского офицера. Когда он возвращен был для жительства в Чернигов, то было ему теснее, чем в Тобольске, детям его от второго брака не дали прав дворянства, и он наконец сам освободился от надзора полиции, с детьми удалился в чужие края, откуда нет вести о нем.

Мусин-Пушкин имел еще именное повеление от императора — осведомиться в тех местностях, где он на пути своем встретит кого из моих товарищей (именовавшихся во всех письменных докладах «государственными преступниками»), об их образе жизни, о поведении, не терпят ли притеснений или не имеют ли каких просьб. Дорога его пролегала чрез Курган; он собрал нас на квартире своей; при видимом душевном смущении он испол-

нил данное ему поручение. Когда я объявил ему мою просьбу, то тут же дали мне лист бумаги, чтобы изложить ее письменно. Я просил позволения купить участок земли для занятия сельским хозяйством. В том же году приехал в Петербург командир Отдельного Кавказского корпуса барон Григорий Владимирович Розен и по дружбе к славному свояку моему В. Д. Вольховскому представил ту же просьбу мою прямо императору при личном свидании; тогда государь только заметил, что Р[озен] хочет жить в Сибири помещиком. Однако на вторичное представление Мусина-Пушкина воспоследовало разрешение: чтобы близ города отвели каждому из нас по 15 десятин пахотной земли[312], вследствие чего выслан был губернский землемер и вкопал столбы межевые по границе городской земли. Участки Назимова, Лорера, Фохта и мой находились в смежности, а Нарышкина и Лихарева подальше от города, заключали пастбища и луга, что было очень кстати, потому что Нарышкин для конного завода имел отличного жеребца орловского завода и хороших заводских кобылиц.

Смежные участки с моею землею были мне уступлены товарищами на пользование. Весною принялся ретиво за работу: 60 десятин обработанной земли доставляли большое поле деятельности. С городской стороны поле мое было окаймлено Бошняковским озером; берег был песчаный и солонцеватый, и не произрастало даже травы; это бесплодное место удобрил я огромною кучею золы, выброшенной из мыловаренного завода в течение нескольких десятков лет; это удобрение в два года оказало пользу. Надобно было загородить поле, чтобы городской скот не топтал его. Поле было так близко от городского дома, что пешком мог дойти туда в четверть часа. Мои пашни были превосходны от природы: почва чернозем, и в большей части Курганского округа не было ни единого камня. Такая почва не терпит удобрения, однако, несмотря на то, унавозил несколько десятин под горох, который удался на чудо. Из земледельческих орудий употреблял я так называемый двуконный сибирский плуг, устроенный вроде бельгийского, весьма легкий и удобный. Следуя советам Тэера, ввел я экстирпатор, каток из лиственничного дерева и особенного устройства железные бороны. Трехпольное хозяйство обратил в многопольное и плодопеременное. Некоторые попытки были

удачны, только гималайский ячмень и картофель росли так худо, что едва возвращали мне семена. За деньги трудно было достать людей в страдную пору, как сибиряки называют время жатвы; население не густое, каждый занят на своем поле; но стоило только объявить по ближним деревням, что приглашаю сто человек на помощь в назначенный заранее день, то мог быть уверен, что непременно прибудут даже с излишком. Почему же эти люди не соглашаются прийти за деньги, когда во время жатвы охотно дают по рублю и более на человека? Потому что сибиряки, обеспечив свои крайние нужды, любят веселиться, и помочь для него то же, что угощение и бал. После ужина плясали всю ночь под музыку.

По дешевизне хлеба невозможно было иметь прибыльного дохода от земледелия; но неразлучное с ним скотоводство вознаграждало труд. Каток и экстирпатор очень пригодились; соседние хлебопашцы приходили смотреть на действие этих орудий, ловко было употребить их на полях без камней.

Однажды, когда работал в саду и дети помогали поливать цветы, прибежал кучер впопыхах с объявлением, что приехал и спрашивает меня генерал. Начальник пехотной дивизии и Омской области генерал-лейтенант Петерсон осматривал свои войска, широко и далеко расположенные, по этому случаю завернул в Курган. Зная лично отца моего, он желал видеть меня. Я и дети мои представились ему в нашем рабочем наряде с лопатой и с лейками. Мне было необыкновенно приятно и утешительно беседовать с ним; он вполне был честный и благонамеренный человек и, убедившись в невозможности точного исполнения своих обязанностей по части областного гражданского управления, не быв в силах уничтожить злоупотребления, предпочел лучше бросить выгодное и почетное место и оставить службу, чем быть орудием или виновником несправедливости. Он пользовался доверенностью высшего начальства, от императора получил 20 тысяч рублей на подъем, на дорогу в Сибирь, но, следуя совести, вышел в отставку.

В продолжение года поступало для подписи и решения областного начальника до десяти тысяч бумаг, в том числе и дела по искам и жалобам, так что невозможно было все прочесть, а еще менее вникнуть в каждое дело во всей подробности. К тому же где найти все честных и



А. Ф. БРИГГЕН

Акварель Н. А. Бестужева. 1828 г.

способных помощников и чиновников? Так что если он сам умышленно и преднамеренно не делал зла, то не мог уничтожить или устранить злоупотребления другого. Много было в ходу различных средств, чтобы подкупить его самого; прямые попытки были невозможны, потому прибегли к хитростям: так, в день общего приема, выслушав все просьбы и жалобы, он удалился в свой кабинет, когда слуга донес, что в приемной оставлен ящик, зашитый в клеенку и запечатанный, на имя генерала. В нем нашли богатейший халат и славную шубу тысячную. Спросили ординарца, часового — кто вошел с таким

ящиком? — но как было различить приносителя в числе сотни просителей, входивших и выходивших. Полиция тщетно делала разыскания, после чего на площади, по барабанному бою, эти вещи были проданы в пользу богоугодных заведений. Когда убедились, что этот генерал взяток не берет, то старались склонить к тому генеральшу: катаясь в санях, она заметила на мосту стоявшую женщину с отличными мехами собольими и черно-бурыми лисицами, предлагавшую купить их; когда торговка пришла на квартиру, то оставила там меха, а сама скрылась без следов; разумеется, что и эти меха были проданы с публичного торга, а выручка облегчила участь многих бедных. Я уже имел счастье назвать начальников, которые взяток не брали и старались выводить это зло; но старания их остались напрасными; подчиненные их с другими правилами умели происками удалить от должности таких полезных начальников. Много было говорено и писано по этому предмету, и хотя везде найдутся люди корыстолюбивые, однако не сомневаюсь, что гласность непременно уменьшит зло и изведет его со временем по очень простой причине — для чего мне подкупать, когда без взяток и без происков дело решится публично по правде и по закону. В своем месте я укажу несколько губерний, в коих с давних пор уже такие взятки и вообще подкупы не существуют.

Из лиц, посетивших нас в Кургане, должен упомянуть еще о почтенной вдове генерал-лейтенанта де Сент-Лорана с дочерью. Супруг ее был предместником Петерсона и умер от болезни во время объезда по области. Вдова с дочерью-красавицей возвращались в Петербург; они чрезвычайно ласково и мило приняли у себя в Омске жену мою, когда она в 1830 году ехала ко мне. Тогда жена моя познакомилась и с дочерью, вышедшею после замуж за благородного поляка К.[313], который служил в гвардейской конной артиллерии: когда батарея в 1831 году дошла до границы Царства Польского, то он объявил своему главному начальнику И. О. Сухозанету, что совесть его запрещает ему идти далее против своей родины. За это он был сослан в Омскую гарнизонную артиллерию тем же чином. Там он женился, чрез год был он прощен, с дозволением возвратиться в Варшаву.

Товарищ мой Назимов имел утешение видеть у себя родного племянника своего А. Д. Озерского, который

путешествовал по Уралу и Алтаю с генералом де Сент-Альдегондом, отпросился из Тобольска на два дня, чтобы посетить родного дядю; этот молодой человек, хорошо образованный и отлично учившийся в горном кадетском корпусе, чрезвычайно мне понравился; все в нем предвещало полезного слугу отечества. Из ученых был у нас астроном Федоров, который во многих местах Сибири поверял и определял широту и долготу мест и делал различные наблюдения; он первый встретился мне из русских, который, превосходно зная русский язык, говорил с немецким произношением, оттого что много лет учился в Дерптском университете: так случалось мне в Кронштадте встретить старого моряка капитана Авинова, который говорил по-русски с английским произношением и акцентом, побывав лет десять в Лондоне для усовершенствования себя в морском искусстве. Г-н Федоров имел богатый запас новейших астрономических инструментов; только пасмурная погода мешала ему в точнейших наблюдениях. Почти ежегодно приезжали то генерал-губернатор, то гражданский: Сулима, князь Горчаков, Муравьев, Повало-Швейковский[314] и начальники жандармского округа генералы Маслов и Фалькенберг. Все оказывали внимание и готовность защищать нас от всяких притеснений. Мы были так счастливы, что никого не обременяли жалобами.

Во время поселения моего в Кургане увеличилось семейство мое рождением сына и дочери[315]; двое старших подрастали. Воспитание и обучение детей моих начиналось от самой колыбели; примерная мать была их кормилицею, нянькою, вторым провидением. Еще не умели говорить, а мать их понимала.

В 1836 году 22 декабря, в день рождения жены моей, был сильнейший мороз; она сама не могла ехать к обедне, я пошел в церковь один и, когда обедня кончилась, купил от церковного старосты несколько десятков тоненьких свечей, чтобы ими осветить рождественскую елку для детей, что у нас делалось в первый день праздника, дабы не нарушить постановления поста в сочельник. Возвращаясь домой, пошел в обход к заднему крыльцу, от коего вокруг двора настланы были в два ряда планки, чтобы в ненастное время можно было ходить не по грязи в баню, в прачечную, в амбар и в конюшню. Поворотив к крыльцу, я так поскользнулся, так

сильно упал, оттого что обе руки были заняты, то и не мог опираться и, выпустив из рук свечи, уже не мог встать. Окно спальни жены было против этого места, я опасался, чтобы жена моя в это время не выглянула из окна и не испугалась, собрал последние силы, чтобы привстать, но лишь только хотел ступить на правую ногу, она уже не могла меня держать и я, упав снова, лишился чувств. Люди внесли меня и положили на кровать. Когда привели меня в чувство, то уже не мог двигать ногою, боль была так нестерпима, что когда разрезывали сапог и раздели меня, то невольно стонал и кричал от малейшего прикосновения. Послали за окружным доктором, тот был тогда в разъездах; когда воротился, то объявил, что он не хирург, не знает, что именно у меня повреждено, какая кость или какая жила. На бедре была сильная опухоль и краснота, приставили множество пиявок, чрез день припарки из трав и льняного семени — все напрасно. Боль не давала мне уснуть ни на минуту. Можно себе представить положение бедной жены моей, которая тогда грудью кормила дочь мою Инну. Смущенные дети перестали резвиться, видя мать в слезах, а меня в постели. Товарищи чередовались при мне по ночам, особенно Назимов. В первый день праздника бросили мне кровь из руки; для подкрепления меня сном давали мне опиум; это средство усыпляло к летаргическому сну, после которого чувствовал себя еще слабее и хуже. Стали являться добрые люди из деревень, пользовавшие от различных болезней травами, предлагали употребить симпатические средства, заговаривать. Другие утверждали, что большая главная кость от бедра до колена раскололась, другие — что нога уже вся сохнет. Анатомии никто не знал. Я полагал, что если кость переломана, то срастется, молился, крепился и терпел сколько мог.

До апреля месяца пролежал я на кровати, вся нервная система расстроилась до невероятности. Когда поддерживал больную ногу обеими руками, спускал обе ноги с кровати и, опираясь на плечи слуг, привстал на одну здоровую ногу, то чувствовал, что правая нога в бедре держится на нитке. В мае постепенно стал ходить на двух костылях, причем больная нога, согнувшись, висела без всякого употребления и не касалась земли вершка на три. Движение и воздух были необходимы для поддер-

жания жизненных сил; каждый день я ездил на дрогах или влачился по двору на двух костылях, кои подтягивали плечи, что причиняло грудную боль; одним словом, здоровье расстроилось совершенно. Состояние болезненное приковало меня еще более к сидячей жизни, к креслам. Писать было трудно, потому что я не мог сидеть прямо, оттого, что нога моя не могла согнуться в прямой или острый угол с туловищем, она не имела свободного сгиба у бедра и позволяла мне сидеть только в полулежачем положении, развалиться на спинку кресел; при езде на спокойных дрогах опускал больную ногу чрез подножку. Родные в столицах совещались с опытными хирургами, но как никто не знал, в чем состояло повреждение, то и не могли предписать средств действительных. Всего более помогали мне примочки *арники*, они уменьшали боль. Вообще, положение мое было грустное, оно лишило меня здоровья и средств быть полезнее моему семейству. Тогда я начал с удвоенным старанием готовиться быть наставником и учителем детей моих. Прилежно занимался учебными книгами, читал руководства Песталоцци, Фелленберга и других воспитателей. Сельское хозяйство стало делом побочным, только давал приказания работнику и не всегда имел время поверять исполнение. На бедственное падение, на последствия его с самого начала смотрел не как на случай слепой и несчастный, не винил скользких планок, настланных по двору и покрытых в тот день льдом, потому что сколько раз подвергся гораздо большим опасностям лишиться жизни от пули, от мороза, от метели, от огня, от угара, от воды, от падений с верховых лошадей, от опрокидываний экипажей, от спуска с горы близ читинского острога и проч., и каждый раз невидимая десница всевышнего хранила и берегла. Эта же самая десница могла на этот раз подвергнуть меня беде, чтобы ею вести к лучшей цели. Таким убеждением утешал я жену и товарищей. Чрез полгода выяснилось и сбылось, что нет худа без добра.

В начале 1837 года разнеслись слухи, что наследник престола цесаревич Александр Николаевич предпримет путешествие по Сибири и проедет чрез Курган. В апреле уже стали выезжать лошадей для его экипажей, приучать форейторов, а в случае проезда в ночное время объезжали коней ночью с фонарями и факелами, кои держали в руках особенные ездовые, скакавшие по обе-

им сторонам упряжных коней. Эти приготовления забавляли многих; боялись и пугались только матери форейторов и ездовых. Ожидание и приготовления составляли главный предмет разговоров. В кругу товарищей мы тоже рассуждали и спрашивали друг друга: должно ли нам пользоваться этим случаем и просить наследника престола о возвращении нашем на родину? Но какая представлялась будущность лицам, осужденным на гражданскую смерть? Какое утешение могли иметь наши родственники, наши дети, когда увидят нас без звания, без прав, под бдительным надзором полиции, что могло стеснять их самих? Какое могло быть облегчение нам самим в свете при осуждении на совершенное бездействие? Сверх того, если бы посредничество, ходатайство цесаревича и могло избавить нас от вечного изгнания, то самая небольшая часть из всех наших соизгнанников пользовалась бы милостью, между тем как большинство наших, разбросанных по всем направлениям Сибири, остались бы исключенными? Различные подобные соображения указывали, что не о чем просить, оставаться в страдательном бездействии. Когда получили известие, что цесаревич уже прибыл в Тобольск, что коснется только западной пограничной полосы Сибири, что поедет чрез Ялуторовск и Курган на Оренбург и прибудет в наш город к 6 июню, то с приближением этого дня возрастало мое беспокойство; не о личном моем положении; о будущности жены и детей, и тем более что болезнь моя не обещала мне никакой возможности быть еще надолго их защитником или помощником. В такой борьбе нетрудно было мне решиться: за три дня до приезда небывалого гостя объехал я всех моих товарищей и объявил им неизменное твердое намерение мое — искать личного свидания с цесаревичем и поручить ему судьбу моего семейства, когда меня не станет. Никогда не простил бы себе, если бы пропустил этот, наверно, единственный случай, чтобы спасти семейство, если не тотчас, то, по крайней мере, со временем. Товарищи, все бездетные, оправдали и одобрили мою решимость.

5 июня, после обеда, народ в праздничной одежде повалил по тобольской дороге навстречу к наследнику престола, которого ожидали к ночи. Кроме горожан стеклось множество людей обоего пола из окрестных и дальних деревень и расположились по обеим сторонам дороги в

двух верстах от города. Уже стало вечереть, но летние ночи на севере никогда темны не бывают; однако хитрый промышленник, хозяин небольшой свечной фабрики или лавки, имевший в запасе несколько пудов, воспользовался случаем, чтобы распродать свой товар. Он навалил его на телеги, подъехал к народу и, объявив, что наследника должны встречать ночью с горящими свечами, в полчаса распродал весь товар. Народ в ожидании сидел на краю дороги, держа в руках горящие свечи. Свечи догорали на прибыль продавца: наконец в первом часу ночи проскакал передовой фельдъегерь, а за ним и высокий посетитель промчался со свитою в нескольких колясках и домрезах[316]. Квартира была отведена в доме окружного судьи; путешественники после минутного ужина улеглись спать, а народ прибежавший столпился против дома, тянулся по улице и ожидал пробуждения и лицезрения наследника. В пятом часу утра поехал я туда; остановив дроги близ густой толпы зрителей, подвигался на костылях к квартире цесаревича, но издали встретил меня наш городничий и настоятельно просил, чтобы я не подвергнул его беде и ответственности, что адъютант генерал-губернатора строжайше предписал не допускать до наследника никого из государственных преступников. Я заметил ему, что такое приказание кажется мне сомнительным, потому что если эта мера была бы необходима, то, наверно, начальство дала бы ему предварительное предписание, что с нами не стали бы церемониться, а просто или запретили бы выход из дому, или заперли бы в надежное место. Но я должен был уступить усиленной просьбе доброго городничего и воротился, чтобы отыскать жандармского штаб-офицера полковника Гофмана, сопровождавшего цесаревича. Гофмана просил я доставить мне случай лично просить его высочество; он не мог этого сделать, но услужливо предложил, чтобы я передал ему письменное прошение, и обещал непременно вручить; но, узнав, что я не написал никакого прошения, и желая мне быть полезным, просил подождать немного на улице, пока он осведомится о возможности исполнения моего желания.

Пока я ждал возвращения подполковника[317], подошел ко мне видный мужчина в шинели с бобровым воротником, в военной клеенчатой фуражке и сказал мне: «Верно вы Р[озен]? Андрей Иванович Крутов навязал мне

на душу, чтобы непременно, в случае проезда чрез Курган, вас навестить и помочь от вашей болезни; пожалуйте ко мне на квартиру». Это был И. В. Енохин, лейб-медик его высочества. В минуту раздели меня ловкие фельдшера; я лег на диван, и Енохин, ощупав больное место обеими руками, поворотив меня на левый бок, тотчас объявил, что у меня *половинный вывих вперед*, что кость выбита из чашечки; но так как прошло уже полгода со дня вывиха, то в эту минуту нельзя было мне помочь, а если бы помощь была оказана в день падения, то в этот же день я мог бы танцевать на этой вывихнутой ноге. Он на листе бумаги бегло описал повреждение и разные средства, кои еще можно было употребить[318]. Когда я начал одеваться, вбежал Гофман второпях и звал меня к цесаревичу. Фельдшера помогли мне одеться; чрез три дома я был уже на квартире нашего царственного гостя, где принял меня генерал-адъютант А. А. Кавелин и объявил напрямик, что невозможно исполнить моего желания, что в инструкции запрещено допустить меня, что я могу передать прошение, которое он сам вручит наследнику. Узнав, что я не имел письменного прошения, спросил меня, о чем я желаю просить. Я ответил, что для себя собственно ни о чем не могу просить, потому что в беспомощном больном состоянии не могу ни пользоваться милостью, ни заслужить ее, но желал просить государя-цесаревича за жену и за детей, чтобы они не были покинуты и забыты, когда меня не будет с ними. Генерал Кавелин советовал мне тотчас написать прошение и доставить ему чрез полчаса до обедни, потому что прямо из церкви поедут в дальнейший путь. В сенях он приказал ожидавшему тут священнику начать обедню в шесть часов и отслужить ее поспешнее, дабы они в тот же день успели прибыть в Златоуст к ночлегу, с лишком за 200 верст. На крыльце встретил флигель-адъютанта С. А. Юрьевича[319], которого знал еще в Кадетском корпусе; он просил меня передать поклоны Е. П. Нарышкиной от братьев ее, графов Григория и Алексея Коновницыных. При выходе моем из двора цесаревич стоял у окна.

У крыльца моего стояли дрожки исправника. «Кто приехал?» — «Генерал!» — ответил кучер. Народ называет генералом всякого превосходительного, будь он врач, профессор или начальник департамента внешней торгов-

ли. К величайшей радости увидел у себя достойнейшего Василия Андреевича Жуковского; он утешал жену мою, ласкал полусонных детей, с любовью обнимал их, хотя они впросонках дичились и маленькая дочь заплакала. Когда я объявил ему о неуспешных попытках лично просить цесаревича и что генерал Кавелин советовал написать прошение, то он сказал мне: «Вы теперь не успеете: сейчас едем; но будьте спокойны, я все представлю его высочеству, тринадцать лет нахожусь при нем и твердо убедился, что сердце его на месте; где он только может сделать какое добро, там сделает его охотно». Недолго можно было нам беседовать. Жена моя в прежнее время встречалась с ним у Карамзиных. Он удивился, что мы уже читали в Сибири его новейшее произведение «Ундину»; с похвалою отозвался о некоторых ему известных стихотворениях А. И. Одоевского; до крайности сожалел, что в Ялуторовске не мог видеться с И. Д. Якушкиным, и просил меня написать ему, как это случилось. Не доехав двух станций до Ялуторовска, имел он несчастье, что ямщики его переехали женщину, не успевшую отбежать с дороги, и колесом передавили ей ногу. Жуковский приказал остановиться, помог перенести бедную женщину в карету, отвез ее до следующей станции, дал ей денег и написал земскому начальству, чтобы оно всячески позаботилось о ее излечении и проч. В это время цесаревич далеко опередил его, и он не мог пробыть в Ялуторовске ни одной минуты, догоняя поезд. Душе отрадно было свидание с таким человеком, с таким патриотом, который, несмотря на заслуженную славу, на высокое и важное место, им занимаемое, сохранял в высшей степени смирение, кротость, простоту, прямоту и без всякого тщеславия делал добро, где и кому только мог. И после свидания в Кургане он неоднократно просил за нас цесаревича; одно из писем своих заключил он припискою: «Будьте уверены, не перестанем быть вашими старыми хлопотунами»[320]. Словами не умею выразить вполне благодарность за его деятельное участие; оно, наверно, уже доставило ему одно из лучших наслаждений. Все, что он говорил о характере наследника, служило залогом будущего счастья России. Родственники и знакомцы, увидевшие Жуковского по возвращении его в Москву и в Петербург, спросившие его, как он нас нашел и как переносим участь свою, получили в ответ: «со смирением и

с терпением». Жуковский был поражен частью виденной им Сибири и ее жителями: он вместо хижин, бедности и уныния нашел красивые села, довольство и бодрость; рассказал нам, что и наследник приятно поражен был дружною радостью и живою преданностью, с коими народ ссыльный встретил его от Тюмени до Кургана, как лучше и живее не могли бы его встретить в городах при Волге.

В то время, когда был у меня Жуковский, цесаревич собирался к обедне и приказал жандармскому штаб-офицеру: «Скажите этим господам (так он намекнул о нас), чтобы они были у обедни; там я могу их видеть». Инструкция такого случая не предвидела. Городничий тотчас разослал нарочных по нашим домам, чтобы нас созвать в церковь. Цесаревич со всею свитою стоял пред алтарем главного придела, по бокам стояли мои товарищи и Е. П. Нарышкина. Чиновники поместились впереди народа, вдоль боковых приделов, сколько храм мог поместить людей; большая часть народа стояла вне церковной ограды, близ экипажей. Во время литургии цесаревич несколько раз оглядывался на моих соизгнанников со слезами в глазах и совершенно особенно наклонился и осенил себя знамением креста, когда священник произнес молитву: «О недугующих, страждущих, плененных и о спасении их». Восторженные, исступленные крики «ура!» возвестили отъезд его.

Народ искренне радовался, что увидел его. Ему было тогда девятнадцать лет от роду; по наружности статный, тонкий, *тальистый*, как тогда выражались, на лице кротость, благоволение, но также явные признаки утомления и усталости от такого бесконечного путешествия и вообще телесной натуги. Енохин утверждал, что каждому офицеру легче служить, чем наследнику престола: первый после учения, или маневров, или развода ложится отдыхать сколько ему угодно, а наследник едет представляться во дворец, или сам принимает представляющихся ему, или спешит на учение и на смотр другой части войска и по целым дням отдыха не знает. Когда он уехал из Кургана, то никто тогда не предугадывал в нем освободителя крепостного народа и великого преобразователя. На всех лицах была радость от свидания; только несколько боязливых старух, испуганных адскою быстротою длинного поезда, состоявшего из полдюжины

колясок и стольких же карет и домрезов, — все с форейторами, — перекрестились и сказали: «Слава богу, что мы все остались в живых». Действительно, быстрота езды была адская: по 20 верст в час. В церкви Кавелин увидел старого товарища и однополчанина своего — А. Ф. фон дер Бриггена и приятельски кивнул ему головою; он же принял его в члены тайного общества. Впрочем, подобные встречи случались довольно часто; один шел одной дорогой, а другой — другою, но все оставшиеся на свободе действовали прямо, честно, человеколюбиво, а если кто из них натягивал струны слишком круто, то, вероятно, из усердия и преданности царю и отечеству, а не из жестокости или грязной корысти. До сегодня непостижимо для меня, почему фон дер Бригген* не был включен в число освобожденных от изгнания ходатайством цесаревича, когда Кавелин мог всех более к тому содействовать, зная, что цесаревич не чуждался нас и что, напротив того, сказал сопровождавшему его полковнику Владимиру Ивановичу Назимову, который спросил у него дозволения навестить изгнанного М. А. Назимова: «Я очень рад, что ты имеешь случай навестить родственника, который в несчастье». Путь наследника вел его чрез Саратов; там генерал Арнольди представил ему всех артиллерийских офицеров поименно и когда назвал по фамилии моего младшего брата, то цесаревич спросил у него, не так, как обыкновенно водилось, что спрашивали о важных сановниках — «не родня ли вам командир Отдельного Кавказского корпуса?», но он спросил: «Не имеете ли родственника в Сибири?» Когда брат мой ответил, что есть у него там в несчастье и изгнании кровный брат родной, то цесаревич в присутствии всех сказал ему: «Радуюсь, что могу вам передать, что видел брата вашего; хотя он на костылях, но здоровье его может поправиться, и я уже просил за него государя императора».

В день отъезда цесаревича из Кургана, 6 июня 1837 года, был троицын день и храмовый праздник в нашем городе. Народ проводил этот день за городом в четырех верстах, у старого займища близ кургана, высоко-

---

* Дело разъяснилось позднее: он незадолго перед тем просился в гражданскую службу и получил должность в земском суде[321]. (Примеч. А. Е. Розена.)

го холма, от коего город получил свое название. Там, на берегу Тобола, в близком лесочке народ прогуливался, пил чай, щелкал орехи, слушал песни и гармонику. К вечеру я поехал туда с детьми; знакомые и незнакомые из горожан и поселян обступили меня с вопросами, выражавшими не пустое любопытство, но прямое участие: «Видели ли вы наследника? что он вам сказал? обещал ли освободить? Дай, боже, всем вам избавления!» 8 августа узнали мы, что цесаревич с первого ночлега своего после Кургана, из Златоустовского завода, отправил фельдъегеря с письмом к государю, в котором просил об освобождении нашем, о возвращении нас на родину. Говорили, что государь выразился, что этим господам путь в Россию ведет чрез Кавказ, и всемилостивейше повелеть соизволил: назначить нас рядовыми в Отдельный Кавказский корпус и немедленно отправить на службу[322]. В одно время получили мы это известие от генерал-губернатора и от прибывшего в Курган капитана графа Коновницына, который в лагере под Красным Селом выпросил себе позволение проводить сестру свою, Е. П. Нарышкину, из Сибири на родину.

Другой товарищ мой, И. Ф. Фохт, просил и получил позволение оставаться в Кургане по случаю хронической болезни, где он и скончался чрез пять лет, в 1842 году. Ко мне приехал корпусный штаб-доктор с предписанием от генерал-губернатора освидетельствовать меня: в состоянии ли я предпринять такое дальнее путешествие? Почтенный доктор немало удивился, когда я объявил ему мою готовность; он понял, наконец, что еду не для себя, но чтобы вывезти из Сибири жену и детей. Товарищи мои: Нарышкин, Назимов, Лорер и Лихарев — справились в дорогу; чрез неделю уехали они в Тобольск, откуда были отправлены на Кавказ на почтовых, чрез Казань и Ростов-на-Дону. Весь Курган провожал их самыми усердными благопожеланиями. В уважение моей болезни и моего семейства мне было разрешено генерал-губернатором князем П. Д. Горчаковым ехать прямо из Кургана чрез Оренбург и Саратов и дали мне время собираться и устроиться в дороге.

Начались сборы в дорогу и продажа и раздача вещей. Курганские жители радовались перемене нашей участи, но были и такие, которые, испытав жизнь на Кавказе, быт солдатский, соболезновали искренно и уго-

варивали остаться лучше в Кургане. Жаль было мне продать только подарок моей свояченицы М. В. Вольховской, который достался мне совершенно нечаянным образом: однажды провел я вечер у Нарышкиных; он играл симфонии Бетховена; возвратившись домой, еще слышались мне мелодические звуки и в тот же вечер, накануне отхода почты, написал в Тифлис о впечатлении от музыки и прибавил мысль Гердера, что струнный инструмент, иногда с сопровождением пения, составляет необходимую вещь для умножения счастья в семейной жизни. Чрез четыре месяца, пока письмо мое шло чрез Петербург в Тифлис, пока свояченица моя дала поручение в Петербурге, извозчик привез прямо к крыльцу моему отличное, звучное фортепьяно.

Два года жила у нас старушка Ирина Качалиха, которая помогала жене моей только при качании люльки[323], когда она сама кормила грудью младшего ребенка и в то же время случалось укладывать спать старшего. Эта старушка, строжайшая постница, никогда не употреблявшая говядины, а рыбу только в пасху и в величайшие праздники, горько заплакала, когда получила в подарок остальной запас муки и крупы и разные старые вещи; благодарность свою выразила она просто возгласом к жене моей: «Кто мне проденет теперь нитку в иголку, даже и это ты для меня делала добродушно!»

6 сентября 1837 года назначено было выехать. Та же самая коляска московского каретника Рейхардта, которая довезла жену мою за Байкал, поместила ее с дочерью и с младшим сыном; а я с обоими старшими ехал в тарантасе, всегда открытом, иначе не мог садиться, сиденное место было улажено так, чтобы сноснее было для больной ноги. После обеда, в третьем часу, заехали в церковь, где духовный отец Стефан Знаменский служил напутственный молебен. В сопровождении до следующей станции уважаемого и любимого А. Ф. фон дер Бриггена прямо из церкви пустились в дальний путь с той же покорностью воле божией, с тою же доверенностью на защиту его, с какими из одной крепости переходили в другую, — с упованием, что и в другой, новой стране изгнания, на Кавказе, найдем также божий свет и людей таких же добрых, каких находили в Сибири. Расставаясь со страною изгнания, с грустью вспоминал любимых товарищей-соузников и, благословляя их,

благословлял страну, обещавшую со временем быть не пугалищем, не местом и средством наказания, но вместилищем благоденствия в высшем значении слова. Провидение, быть может, назначило многих из моих соизгнанников и многих поляков ссыльных быть основателями или устроителями лучшей будущности Сибири, которая, кроме золота и холодного металла и камня, кроме богатства вещественного, представит со временем драгоценнейшие сокровища для благоустроенной гражданственности. Люди, с приобретением необходимых личных прав и положительных законов, будут уметь сохранять их с нравственною силою для нравственной пользы. Сибири, быть может, предстоит в своем роде назначение Северной Америки, куда также за политические и религиозные мнения волею и неволею переселились изгнанники и молитвою и трудами вызвали в новом мире все те блага, коих так долго, так тщетно еще ищет мир старый и опытный. Залогом хорошей будущности Сибири служат уже ныне три обстоятельства: она не имеет сословий привилегированных, нет в ней дворян-владельцев, нет крепостных, чиновников в ней немного. Сверх того, народ хорошо справляется на мирских сходках, трудится большею частью на земле привольной и исправно выполняет все государственные повинности.

Глава двенадцатая

ОТ КУРГАНА ДО ТИФЛИСА

Тимофей Тимофеев. — Урал. — Волга. — Раскольники.— Встречи в Саратове. — Воронеж. — Каменка. — Земля донская. — Екатериноград. — Л. И. Якубович. — Кавказские горы. — Пришиб Урюх. — Дурдур. — Владикавказ. — Дарьяльское ущелье. — Казбек и Коби.— Крестовая гора. — Гут-гора. — Койшаурская долина. — Гартискар

Хотя я судьбой на заре моих дней,
О южные горы, отторгнут от вас,
Чтоб вечно их помнить, там надо быть раз:
Как сладкую песню отчизны моей,
Люблю я Кавказ.

Лермонтов[324]

Из Кургана был мне дан в проводники квартальный надзиратель Тимофей Тимофеев, отставной поручик, который выслужился из сдаточных рекрут и по старости отдыхал не на лаврах, а питался полицейскими доходами

ми, утешаясь темными воспоминаниями давно прошедшей старины. Он воевал под Аустерлицем, был взят в плен под Фридландом, отправлен во Францию, оттуда волонтером вместе с французами пошел в Испанию, осаждал Сарагоссу, дрался против пожей Палафокса[325]. Он припоминал только места, где было лучшее пиво, хорошая водка и сладкий виноград. Балагур, как всякий старый солдат, он толковал по-своему о любом предмете, и когда годовалая дочь моя изредка, бывало, заплачет, то просил позволения у матери спеть ей испанскую песню, но вместо болеро просто ревел тирольскую. Проводнику моему дана была особая инструкция от генерал-губернатора князя Горчакова, по коей, в случае болезни или боли в ноге, позволено было остановиться на пути. Мне невозможно было сесть в коляску по причине моих двух костылей, к тому еще боковой толчок рессорного экипажа был бы слишком чувствителен больному бедру. Гораздо спокойнее было сидеть в открытом низком тарантасе на большой кожаной подушке. Путешествие на почтовых всегда торопливо: на станциях нет спокойного ночлега, дорожные люди, проезжающие гонят друг друга; труднее всех было жене моей: она заботилась обо мне и о трех мальчиках на ногах и кормила грудью Инну; во время езды перебирала узлы и никогда не заставляла ждать себя, когда староста или смотритель объявляли, что лошади готовы; зато от раскрывания груди для кормления дочери получила кашель, и от кратковременного сна в дороге заболели глаза ее. В хорошую погоду все было хорошо и легко; но мы поднялись в дорогу 6 сентября, следовательно, в такое время года 3500 верст езды обещали более худой и мокрой погоды. Дети мои славно выдерживали утомление от дороги, потому что мать во всем предупреждала их нужды.

Близ города Челябинска переехали мы границу Сибири и въехали в Оренбургскую губернию. Беспрестанные дожди не позволяли жнецам убирать и свозить снопы, на полях необозримых лежала рожь на корню и гнила, воздух заражен был гнилым запахом, как бывает в местах, где мочат коноплю и лен. Мы несколько станций все подымались на Урал, но неприметно, все плоскими возвышенностями; глаза тщетно искали длинного высокого хребта, темно-синей полосы на горизонте; все подымались рысью, пока наконец достигли одной из главных

уральских высот и приехали в Златоустовский завод, знаменитый оружейными фабриками. Кони стали в грязи, пока со станции не отправили навстречу других лошадей, кои повлекли нас в гору по обширно застроенному селению в опрятную, теплую гостиницу. Город стоит на высоком месте, обитаем одними только мастеровыми и рабочими. Стук молота в железоделательных заводах не умолкает ни днем, ни ночью. Уральские горы наружностью не привлекательны ни высотою, ни скалами, ни лесом, зато во внутренности своей хранят они множество драгоценных камней, а от Златоустова до Миасского завода щедро дарят металлами от железа до золота. Поселяне на большой дороге мало различествуют от сибиряков; они большею частью также переселены, но деревни и жилища их гораздо беднее. Тут же показались помещичьи усадьбы, чего в Сибири не видать. Губернский город Уфа, на прелестном местоположении при стечении двух рек, обстроен хорошо и правильно. Проехав еще два города Оренбургской губернии, Бугульму и Бугуруслан, мы въехали в губернию Симбирскую.

Все низовые земли богаты Волгою, которая всячески питает обширнейшую часть России, почему издавна названа кормилицею. Подъезжая к Самаре, издали увидели мачты судов, различных видом и величиною. Торговая деятельность придавала особенную жизнь всему городу, хорошо обстроенному. Мы остановились на половину дня; тотчас появились разного рода люди с предложением товаров и услуг. Разносчик продал астраханские арбузы. Никогда прежде, ни после не случалось мне полакомиться такими вкусными арбузами, засахарившимися от избытка собственной сладости и сочности. «Отчего астраханские арбузы так хороши, что когда петербургские разносчики разносят свои парниковые арбузы, то для приманки возглашают их астраханскими? — спросил я разносчика. — Разве там особенная земля для них, особенный климат?» — «Нет, не то, а вот что: когда наш великий царь Петр путешествовал по земле своей, то, прибыв в Астрахань, он из кармана своего вынул арбузные семечки, привезенные им из Голландии, роздал по нескольку хозяину и соседям и дал им подробное наставление, как садить их и как ходить за ними; с тех пор появились лучшие арбузы в Астрахани». — «Верю, братец, верю этому», — возразил я и передал разносчику,

как Петр переселил соловьев из Ярославля в Петербург, как он перевел славную породу лошадей из острова Эзеля и земель прибалтийских в богатую лугами Вятку. За разносчиком вошел булочник-немец с отличными булками и сухарями; когда он узнал, что везут меня из Сибири на Кавказ, то с особенно важною миною заметил: «aus der Hölle in die Hölle» — «из ада в ад». Волгу переплыли мы на судне в ясный теплый вечер. От перепадавших сильных дождей река местами выступила из берегов, а местами образовала островки. Беспрестанные излучины течения увеличивали красоту ее. С перевозчиками беседа шла все о Волге, песню запели о матушке-Волге. Прибрежные жители все люди промышленные и зажиточные; почва повсюду плодородная; в каждом городе, в каждом большом селении есть пристань; во время судоходства все эти места кипят деятельностью: тогда еще не было пароходов. На Волге кормил я ложечкою годовалую дочь, и по стуку ложечки узнал, что первый ее зубок прорезался на Волге.

В городах видел я много колонистов, иностранных переселенцев; по образу жизни они чуждаются русских, но русские им не мешают, напротив того, охотно им услуживают не из личной корысти, а просто по доброй своей природе и воздают справедливость полезным трудам немцев. Около Вольска, вообще во всей Саратовской губернии, много раскольников; они сами не знают, в чем заключается различие их вероисповедания от общего православного; они отделяются по преданиям, по соблюдению обрядов своих праотцов; они имеют свои часовни, особенные образа, особенное богослужение. Табак, чай, кофе — для них зелье, яд, запрещенные произрастения. Многие раскольники вина вовсе не употребляют, вообще живут умеренно, трудолюбиво, и можно без всякого опасения оставить им их причудливости, если они не вредны для нравственности. Должно соблюдать веротерпимость для таких раскольников и подтвердить правило Фридриха Великого, сказавшего: «Хочу, чтобы в моем государстве каждый подданный мог искать вечного блаженства по своему убеждению». В странах, где следовали такому правилу, там не было сект или расколов, а, напротив, где преследовали за веру, где насильно хотели вводить единство догматов, там церковь разъединялась. Преследование и гонение французских протестантов распростра-

нили общества различных братств в Германии. Преследование английских протестантов пересадило расколы в Северную Америку, где число сект несметно, пока веротерпимость и крайняя многосложность не произведут единства. Филипп II с инквизицией был главным распространителем реформации, и при всем фанатизме и старании в пользу своей веры был он главным орудием против католицизма. Так, в России, когда при Иоанне Грозном, при Алексее Михайловиче, при царевне Софии, позднее при Анне и Елизавете гнали за веру, тогда составились секты между переселенцами, которые в новом месте своего жительства переманивали людей в свою веру, скрывали беглецов и бродяг отчаянных, которые из благодарности переходили в их общества и становились самыми усердными соревнователями и распространителями нового раскола. Без сомнения, есть расколы очень вредные, совершенно безнравственные, бесчеловечные, кои по этой причине должны быть искореняемы, как, например, секта скопцов и секта, допускающая повальный грех. Но староверов, или старообрядцев, вообще полагаю совершенно безвредными. Какая нужда в том, что они по-своему складывают персты при знамении креста? что они имеют свои образа старинные? что табаку не курят и не нюхают? что вина не пьют? Все это никому не вредит. Я не пишу разбора о всех раскольниках, я о них уже упоминал в двух главах, когда мне случалось с ними встретиться, как теперь на берегах Волги, и заметить, что можно их оставить в покое, тем более что они исправно платят подати, выполняют все земские повинности и трудятся много и полезно. Прошло то время, когда они скрывались на островках волжских, в камыше или в подземельях, и дай бог, чтобы такое время никогда не возвратилось. Гонение, давление, притеснение всегда вызывают восстание, отражение, сопротивление. Успехи истинного образования, старание благомыслящего правительства и духовенство, проникнутое истинно христолюбивым духом, незаметно, без вынудительных мер и в скором времени, в течение жизни двух или трех поколений, уничтожат все расколы вредные и безвредные.

В Саратове ожидала меня радость: там я надеялся увидеться с родным братом моим Юлием после продолжительной разлуки, когда он, быв еще кадетом, простился со мною в Петропавловской крепости. Остановившись

в гостинице, узнал я, что брат мой только за три недели перед тем женился на А. А. Кривской и что живет в Саратове. Немедленно послал к нему сказать, что родственник приехал из Ревеля и желает его видеть; чрез полчаса встретил брата в коридоре и не мог узнать его, так он вырос и переменился; но он меня узнал тотчас, по лицу ли или по костылям — не знаю, но радость наша была искренна и полна. В тот же вечер поехал с ним к молодой жене его. Сколько приятных и сладостных впечатлений! На другой день имел удовольствие познакомиться с дядею жены его, с П. Я. Кривским, бывшим тогда главным начальником Эльтонских соляных промыслов. Вечером встретил у брата товарища по корпусу, начальника конной батареи Томича. С особенным чувством навестил я родную сестру Сергея Муравьева-Апостола Екатерину Ивановну, супругу саратовского губернатора Бибикова. Она рассказала мне, как близ Петербурга, на станции, имела свидание с другим братом своим Матвеем Ивановичем, когда везли его в Сибирь из финляндской крепости вместе с А. А. Бестужевым, как она, при самом грустном расположении души, должна была невольно смеяться от острот и шуток Бестужева во время завтрака[326].

Осенняя погода гнала меня к месту, но проводник мой заставил меня пробыть лишний день в Саратове: невестка моя задарила его, он от восторга выпил порядком и неосторожно закусил десятью фунтами винограда и фруктами, неизвестными в Сибири; старик просто объелся и вылечился банею. Прямая дорога в Грузию вела из Саратова чрез Царицын и Камышин по тракту в Астрахань; но мы желали еще увидеться с братом жены моей в Харьковской губернии, почему пришлось сделать большой круг. Легко было уговорить проводника ехать чрез Воронеж, чтобы там поклониться мощам угодника Митрофана. Богомольный Тимофей Тимофеев восхитился этим предложением, и мы поехали. Милый, любезный брат мой проводил нас верхом несколько верст, показывал нам поле артиллерийских учений. Любо было глядеть на молодца-наездника, который уверял меня, что в маневрах конной батареи заключается совершенная поэзия.

Из Саратовской губернии повернули в Тамбовскую, чрез Балашов и Новохоперск достигли Воронежа. Глав-

ные две улицы этого города обстроены большими каменными зданиями по-столичному. Гостиница на площади предлагала всевозможный комфорт дорожному человеку. Мы приехали часу в третьем: поздно было идти в церковь. После обеда на дрожках поехал к цейхгаузу времен Петра Великого по берегу реки, где стояла первая верфь его, и радовался постройкам и пространству Воронежа. Старожилы сказали мне, что город заметно увеличился и украсился с тех пор, как мощи святителя Митрофана привлекли несметное число богомольцев. На следующий день в дорожных экипажах поехали прямо в монастырь, в главный храм, где покоятся мощи. Благочестивый архиепископ Антоний приказал нас пригласить в свою домовую церковь, где он в тот день сам служил литургию; к сожалению, мы должны были отказаться, быв связаны маленькими детьми: жена моя была с грудным младенцем на руках. Мы отслушали обедню при самом гробе Митрофана. При входе в просторную церковь, украшенную великолепным алтарем, колоннами голубоватого цвета с золотыми карнизами и капителями, видна в правой стороне близ окна гробница под малиновым бархатным покровом с золотыми кистями. На стене у ног святителя висит большой образ божьей матери в богатейшей ризе, украшенной бриллиантами и жемчугом. Началась торжественная служба; священников и дьяконов было числом до десяти, в богатом облачении, певчие пели хорошо — все вызывало к молитве. По окончании литургии пришел гробовой иеромонах с ключом, снял бархатное покрывало, отпер золотую раку, и мы увидели мощи, обложенные со всех сторон чудодействующими шапочками, нарукавчиками, стружками, скляночками. Богомольцы подступали по очереди, и каждый за добровольное приношение получал вещи освященные. Я отошел осматривать храм со всех сторон; в это время подошел ко мне монах уже в летах, он, верно, знал, откуда еду, потому что спросил меня о Трубецком и о Нарышкине, — то был Потемкин, бывший полковник, отрекшийся от мира. Тимофей Тимофеич набил целую котомку разными вещами, освященными для Сибири. Помолившись, отправились в дальнейший путь в сопровождении любопытных.

На всех станциях Воронежской губернии запрягали нам отличнейших лошадей. Эта губерния изобилует конскими заводами; по реке Битюге славятся кони битюц-

кие, росту среднего, но сильные и быстрые. На первой станции от Воронежа запрягли таких коней, что без оглядки с удовольствием можно было смотреть на них; ямщик правил молодцом, кони мчали на вожжах; невольно сказал я ямщику, что таким коням только царя возить. «Да они царя обратно и возят, — ответил ямщик, — ожидаем царя из Тифлиса; кони застоялись, надо было их промнять». Несмотря на глубокую грязь, мы ехали скоро. Сбруя была из широких сыромятных ремней, чрез плеч висели ремни с кожаными кистями. «Тимофей Тимофеич, если мы встретим царя и спросит нас, откуда едем и как съехали на Воронеж, то что ты ответишь?» — «Скажу, что нам захотелось помолиться и поклониться гробу святителя Митрофана; этого никакая власть запретить не может». Этим убеждением успокоился мой проводник. На следующей станции встретили великую княгиню Елену Павловну: она возвращалась с Вознесенских маневров; шестнадцать лошадей влачили огромную карету по грязи, пар с лошадей подымался, как дым. Близ Корочи встретили Рижский драгунский полк, возвращавшийся из Вознесенска с музыкою и с песнями; дети мои были в восторге и удивлении от молодцов-драгун и множества серых лошадей.

При закате солнца въехали в Харьков. Мы расположились ехать всю ночь, но чугуевский почтосодержатель остановил, не хотев дать лошадей под коляску жены моей за то, что подорожная была из Кургана до Тифлиса. Когда же он увидел, что я спокойно расположился оставаться на станции, то велел закладывать и проводил нас услужливо. Он был единственный почтосодержатель, который знал немного географию России, что почтовый тракт из Сибири в Грузию вел не через Воронеж и Харьков.

Из города Изюма поднялись в гору на Кремянец, спустились на равнину, где в шести верстах от города увидели церковь, пространное село с усадьбою в обширной долине, прорезанной Донцом и Каменкою. Направо и налево и впереди темнели отдельные дубовые рощи, правый берег Донца окаймлен лесом. Местность вообще чудная!

Второе радостное свидание с родным было свидание с И. В. Малиновским: мы застали брата, преисполненного любви, в больших хлопотах с предводительским сек-

ретарем своим[327] Адарюковым; подорожная была у него в кармане, чтобы ехать к нам навстречу до Саратова. Добрая и умная жена его Марья Ивановна, урожденная Пущина, родная сестра моего товарища[328], согрела нас сердечною любовью — только и слышно было: располагайте нами и домом. Три дня отдыхали мы в Каменке: бедная жена моя ужасно кашляла. Костыли мои не позволяли мне много ходить.

Крестьяне не нуждались; обильная жатва видна была в огромных скирдах. Посетил больницу, где застал повара Алексея, который в былое время часто кормил меня самыми вкусными обедами у Анны Андреевны; повар страдал последние недели своей жизни от водяной в голове. При больнице была хорошая деревенская аптека и сведущий фельдшер; этот порядок поддерживался со времен Андрея Афанасьевича Самборского, который постоянно заботился об истинном благе крестьян. Суд стариков, по приговору коего наказывали провинившихся, водился от его времени. Тетка наша Анна Андреевна, в память отца своего, выстроила в селе церковь по плану Софийского собора в Царском Селе. Служба божественная в Каменке совершалась с особенным благоговением; хор певчих имел отличные голоса. Дружески увиделись, дружески расстались.

Чрез степи Екатеринославские мы в два дня достигли Дона; этот раз мы не были задержаны перевозом, но ехали по широкому временному мосту, устроенному нарочно для царя, проехавшего накануне при возвращении своем из Тифлиса; чрез несколько дней назначено было разобрать мост и возвратить весь материал городу Ростову. Первый ночлег в земле донских казаков имели мы в небольшом селе в доме священника, у которого за сутки перед нами ночевал царь с Орловым. Мы не встретили царя оттого, что он из Аксая повернул на Новочеркасск, когда мы ехали из Ростова в Аксай. Почтенный пастырь не мог выразить словами полноту своего счастья, когда рассказывал, как он угостил высокого гостя чаем, как он был удостоен беседою, которая была кратковременна, потому что у царя болели зубы так сильно, что был вынужден ставить пиявки. Земля донских казаков по большой дороге мало населена, но по сторонам расположены сто десять станиц. Почтовые дворы тесны, а в нескольких местах заменяются землянками. Станица Ак-

сей свидетельствовала своими каменными зданиями и лавками о прежнем благосостоянии края; в проезд мой все большие дома были необитаемы, грозили совершенным разрушением, без окошниц или без стекол, половина железных крыш свалилась. Мне говорили любители старины, что новое уложение разорило край по прекращении торговли казаков на Дону. Защитники нового устройства, введенного Черныше́вым, доказывали необходимость оного вследствие различных разбоев и злоупотреблений, бывших на Дону в то время, когда процветал край торговлею и промышленностью.

На обратном пути я лучше познакомился с этою страною и ее замечательными обитателями и снова убедился, что отдельный разбой, злоупотребление нескольких людей никогда не должны быть причиною таких мер, которые впоследствии могут притеснять или разорить целое население. Взыщите с виновных по закону, защищайте безвинных, которые столько лет со славою служили. Донское войско есть единственное в своем роде: содержание его ничего не стоило правительству; с верой и правдою служило оно России в годину бедствий, — оставьте ему его особенность, его привычки, и одежду, и бороду, не мешайте ему плавать по Дону с хлебом и с вином; пускай он машет там веслом в мирное время для обогащения края, как машет он бесстрашно в военное время своею нагайкою и саблею для защиты государства. Уже давно военная история доказала, что в аванпостной службе для разведывания о неприятеле, для внезапного нападения в целом мире нет войска лучше казаков. Летописи 1812 года наполнены их удальством.

Проехав землю донскую, въехали в область Кавказскую. В Ставрополе узнал я, что мои товарищи, выехавшие из Сибири прежде меня, были уже размещены по полкам на Кавказской линии. Только А. И. Одоевский был отправлен в Грузию, и мне назначено было ехать в Гифлис. Любящие родные это устроили. Там ожидало меня свидание со старшим сыном моим Евгением. Близ Георгиевска, с правой стороны почтовой дороги, видны Бештау, Машук, Змеиная, Железная и Верблюжая горы, окружающие прежний Горячеводск и давшие название новому городу Пятигорску. Екатериноград — большое селение или станица линейных казаков с таможнею и карантином.

Хозяин моей квартиры, казачий урядник, объявил мне, что мне придется остаться у него дня два, пока не отправится оказия во Владикавказ. Чтобы узнать дело наверно, я пошел к начальнику станицы, к майору Макарову, которого застал в постели с растянутою переломленною ногою; вокруг стояло несколько человек черкесов, они посыпали рану белым порошком. Мои костыли вызвали также участие больного. Майор, лихой наездник, танцор и славный офицер, страдал не от ружейной пули или сабельного удара, но имел несчастье выскочить из коляски, которую понесли лошади, и переломить себе ногу ниже колена. Доктора перевязали, кость срослась, но перевязка была сделана неправильно, нога приросла немного криво. Макаров, быв всегда щеголем, велел снова переломить себе ногу и снова лучше перевязать; тут прикинулось воспаление; европейские и азиатские лекаря тщетно прилагали свое старание — он умер чрез несколько месяцев после продолжительных страданий, оставив молодую, премилую жену. Для большей безопасности Макаров советовал мне дождаться отправки команды и под ее прикрытием следовать по всей военной дороге до Владикавказа, как обыкновенно езжали все по казенной и по собственной надобности. Только курьерам и важным воинским начальникам дают летучие конвои казаков.

В передней комнате больного майора встретил меня заслуженный пожилой воин с Георгиевским крестом и Владимирским бантом; он, наверно, осведомился заранее, откуда я еду, и спросил: «Позвольте узнать, не видали ли А. И. Якубовича, моего прежнего начальника? Я штабс-капитан Кулаков, его бывший вахмистр». Когда ответил ему, что я жил с Якубовичем шесть лет под одною крышею в остроге, что оставил его в добром здоровье, то старый воин, прослезившись, рассказывал мне, как Якубович жил в Екатериноградe, делал беспрестанные набеги на хищников; добычу коней и овец делил справедливо на всю комнату, не взяв ничего для себя, одним словом, был родным отцом для солдат. На Кавказе многие помнят о его подвигах или слышали о храбрости его. Высокое чело его у самого виска пробито было черкесскою пулею; рана эта никогда не заживала. Он имел несчастье в Сибири, что все родные забыли его, не писали, не помогали ему. Когда наступил срок его пере-

мещения на петровской тюрьмы на поселение, то он основал небольшую школу и устроил мыловаренный завод и так исправно и удачно производил дело, что не только сам содержал себя безбедно, но помогал другим беспомощным товарищам и посылал своим родным гостинцы, лучшего чаю Кренко и ныне преследовал он непрошеных самозванцев, выдававших себя за жертвы 14 декабря. Он скончался от горячки в Енисейске в 1845 году.

На квартире встретил меня хозяин у крыльца и предложил мне пару фазанов, доставивших нам очень вкусное и нежное жаркое, зажаренное казаком по-кавказски. Хозяин много и долго рассказывал о подвигах генерала Засса, о страшилище черкесов, с которым имел случай видеться чрез год. Дважды в неделю отправлялись почта, просажающие, провиант и казенные вещи из Екатеринограда во Владикавказ; это расстояние в 105 верст называется *военною дорогою*[329], а отправки с вооруженными проводниками называются *оказиями*.

Рано утром волы двинули телеги с провиантом за станицу и остановились на равнине; туда же ехали наши экипажи, почтальон с письменными и посылочными чемоданами и карета вольного семейного аптекаря; наконец привлекли заряженную пушку, при ней артиллерист с дымящимся фитилем, за пушкою прибыла команда пехоты и прискакал конный конвой, десяток казаков. Казаки разделились по обеим сторонам транспорта, пехота отрядила авангард и арьергард, барабанщик ударил подъем, и медленным ровным шагом воловьим потянулся длинный ряд обоза. Чрез полчаса густой туман рассеялся, и неожиданно представилась зрению чудная картина — Кавказские горы. Как белые облака на горизонте, от Каспия до Понта, тянулись горы длинным рядом, блистали от солнечных лучей, как полированный кристалл, волнисто переливались и сливались цвет нежный и серебристый; ледяные вершины отсвечивались то золотистым, то розовым цветом; весь хребет высоких гор прерывался в двух местах громадными исполинами: Эльбрусом и Казбеком. Величие и красота этой картины поражают, но описать их невозможно. Вид этих гор издали можно сравнить с облаками на горизонте в осеннее время, когда при закате солнца последние лучи его освещают разновидные оконечности облаков. Такую картину

уловляем на минуту, она только призрак исчезающий, а Кавказские горы — величественная действительность. В ясную погоду горы видны из Георгиевска. За несколько недель прежде меня ехали по этой же дороге товарищи мои А. И. Одоевский и М. А. Назимов; когда близ Георгиевска показались им Кавказские горы и в это мгновение пролетела стая птиц по направлению к горам, то Назимов просил поэта приветствовать сопутников и Кавказ. Одоевский, сидевший на почтовой тележке рядом с ним, ответил:

Куда несетесь вы, крылатые станицы?
В страну ль, где на горах шумит лавровый лес,
Где реют радостно могучие орлицы
И тонут в сиянье пылающих небес?
И мы — на Юг! Туда, где яхонт неба рдеет
И где гнездо из роз природа вьет,
И нас, и нас далекий путь влечет...
Но солнце там души не отогреет
И свежий мирт чела не обовьет.
Пора отдать себя и смерти и забвенью!
Не тем ли, после бурь, нам будет смерть красна,
Что нас не Севера угрюмая сосна,
А южный кипарис своей покроет тенью?
И что не мерзлый ров, не снеговой увал
Нас мирно подарит последним новосельем;
Но кровью жаркою обрызганный чакал
Гостей бездомных прах разбросит по ущельям[330].

Наше движение нисколько не походило на путешествие по своей земле и в мирное время. Вооруженное прикрытие, пушка, все военные предосторожности напоминали страну вражескую и заставляли каждого быть готовым к бою и к обороне. Вся Кабарда есть обширная равнина с превосходнейшими пастбищами: из ущелий гор в весеннее, летнее и осеннее время, когда везде хороший подножный корм, спускаются отважные горцы-наездники на добычу, обижают и грабят беспечных путешественников. Эти нападения и грабежи заставили принять строгие предосторожности. Мы двигались шаг за шагом, так что я мог на костылях не отставать от команды и беседовать с солдатами. Почти на каждой версте представлялось памятное место, где горцы отбили почту, или грабили проезжего, или ранили офицера, убили солдата, увели коней, угнали волов. Транспорты казенных вещей и провианта шли на волах, которые дважды в неделю возили по своей дистанции от одной крепости до другой и были содержаны на счет казны линейным батальоном,

занимавшим караул в крепости. На половине перехода сделали привал на часок: у каждого была своя закуска, своя прибавка. После отдыха тронулись прежним порядком и часу в пятом пополудни пришли на ночлег в Пришибскую крепость. Только не воображайте себе крепости с каменными стенами, глубокими рвами и подъемными мостами. Земляной окоп с четырьмя бастионами, окружающий казарму, два-три дома и духан, или постоялый дом, или кабак — вот крепость на военной дороге. При въезде и выезде поставлены палисады, на валу — пушки и денно и нощно старательный караул, который мало надеется на вал и на пушку, но много на штык свой. Весь гарнизон такой крепости состоит из одной или двух рот, из двух офицеров и доктора. Дважды в неделю видят они проезжающих на ночлеге и по очереди конвоируют их. Но в Чечне, в Дагестане, в местах частых набегов, где устроены такие же крепости, там офицеры и солдаты, кроме самих себя и неприятеля, никого не видят; не знают прогулки вне крепости; а если нужда велит идти за дровами или пищею и кормом, то выходят не иначе как с вооруженными проводниками.

На другой день продолжали путь тем же порядком, но с другим конвоем, с другою пушкою. Дорога чрезвычайно однообразна по обширной равнине. Травы растут на ней необыкновенной вышины и питательности. Кабардинцы пасут своих овец, доставляющих им одежду и пищу. После обеда мы прибыли на ночлег в Урюх, в такую же крепость, но только объемом больше первой. Тут женатые солдаты имели свои хаты, кои с казармами, с больницею и магазином составляли селение. Ротный командир был женатый, держал все в величайшем порядке и повиновении, одевался по-черкесски и с жаром рассказывал о боевой жизни, об экспедициях, в коих он участвовал. В третий день прибыли мы в Ордонскую крепость, обширнее двух первых, тут был штаб батальонного командира П. П. Нестерова, бывшего адъютанта В. Д. Вольховского. Нестеров при производстве из штабс-капитанов гвардии в капитаны был переименован в подполковники с назначением командиром линейного Кавказского батальона. Этот молодой штаб-офицер в десять лет заслужил чин генерал-лейтенанта, получил дивизию и был украшен четырьмя звездами. Таких примеров на Кавказе не мало, где в одно лето можно двадцать раз

отличиться и двести раз подставлять лоб меткой пуле или верному удару кинжалом или шашкою. Батальонный командир был в разъездах, но по привязанности и преданности к начальнику своему приказал нам отвести собственную квартиру свою и доставить нам, дорожным, всевозможные удобства. Нестеров кончил жизнь несчастливо: он лишился ума или от печали о кончине детей своих, или от обманутой любви, или от меланхолии.

На следующий день миновали мы крепость Дурдур, где оказывался иногда недостаток в воде. Далее имели привал в Минарете, на берегу Терека, у каменной башни; эта местность отличается необыкновенною свежестью зелени, кустарников и трав. Верст за десять до Владикавказа пеший конвой и обозы продолжали идти шагом, а почта и путешественники, у кого были запряжены кони, поехали рысью вперед. Близ дороги видны отдельные дворы переселившихся мирных черкесов, поступивших в подданство России. Я приказал ямщику, нанятому прямо из Екатериноградa, остановиться и зашел в ближайший от дороги двор. Тут жил горец-земледелец; его одежда, обувь, осанка — все чисто черкесские; но дом, ограда, домашний скарб составляли слабое и бедное подражание русскому крестьянскому быту. Провожатый мой Тимофей Тимофеич уговаривал меня не входить в дом и в самом деле был в большом беспокойстве, предостерегал от коварства мирных черкесов, но я отделался шутками, полагаясь на храбреца, сражавшегося против ножей Палафокса, обещал ему в случае нужды дружно поддержать его двумя костылями. Внутри дома на стене висели ружья, шашки и кинжалы. Хозяйка со взрослою дочерью и с детьми очищали просо; хозяин поднес мне питье из проса вроде кумыса или водки неприятного вкуса. Из соседнего двора прибежали черкешенки, но ни одной между ними нельзя было назвать красавицей. Мужчины, хотя также не отличались красотою лиц, но невольно обращали на себя внимание стройностью стана, хорошо примеренною одеждою, маленькою, гладко обутою ногою и ловкостью походки. Наскоро осмотрел я еще на дворе соху, бороны, арбу — все было в плохом состоянии; вероятно, и поля их были не лучше.

Без сомнения, когда черкес привыкнет, то и он может сделаться хорошим земледельцем; в таком деле нужно время. Черкес-хозяин говорил немного по-русски и, каза-

лось, был доволен своим новым положением. Тимофей Тимофеич обрадовался, когда я с сыновьями уселись в тарантас; жена моя с дочерью не выходили из коляски. Чрез час мы въехали во Владикавказ, где были приняты в доме коменданта, полковника Широкова, получившего письмо о нашем приезде; кроме того, добрые родные предали в нам навстречу верного старого слугу Никифора Гребешика с полным кошельком простых и двойных абазов — грузинской монеты ценностью и весом в 20 и в 40 копеек серебром для раздачи услужливым проводникам чрез горы.

Владикавказ, у подножия Кавказских гор, на берегу Терека, довольно населенный город: имеет 4000 жителей, несколько улиц, больницу и запасные магазины. Я пошел на кладбище, чтобы отыскать могилу П. П. Коновницына, узнав прежде от сестры его Е. П. Нарышкиной, что из Петербурга мать отправила металлическую доску с надписью. Долго ходил, искал и не нашел его могилы. Священник и причетник указали мне место и рассказали, что он проездом заболел, лежал в больнице и умер от холеры. Эта болезнь свирепствовала до такой степени, что в сутки умирало до ста и более человек, так что не успевали хоронить порознь и положить тела в гроб, но рыли общую могилу и зарывали тела сотнями, как на поле битвы.

6 ноября поехали из Владикавказа по левому берегу плавно и ровно текущего Терека, все по холмистой местности, с горки на горку. Тут, в узком месте, встретил и остановил княгиню Дадиан, урожденную баронессу Лидию Григорьевну Розен, которая спешила вслед за мужем своим, отправленным за неделю прежде с фельдъегерем в Бобруйскую крепость; после узнал я причину; при встрече я мог только передать княгине успокоительную весть, что супруг ее хорошо выносит быструю, трудную езду; от души пожелал ей скорейшего соединения с ним и освобождения из крепости. С нею ехала теща ее. От страданий собственных и от вида чужих страданий невозможно ни уйти, ни скрыться; так поднимаясь на Кавказские горы, первая встреча была с прекраснейшими очами, но очи эти были в слезах и выразили двойное страдание за себя и за встречных. Мы пожали друг другу руки и с тех пор не виделись. Пространная покатость гор представила к вечеру величественную иллюмина-

цию: снизу вверх бежал огонь широкими полосами, то быстро, то медленно, смотря по силе ветра: осетинцы жгли свои пастбища и отавы для удабривания их к следующей весне. Чудный фейерверк по правую сторону дороги, а по левой Терек с каждою верстою становился все быстрее и шумнее. Так прибыли мы на ночлег в Ларс.

На другой день продолжали подыматься в гору. Дорога была очень хороша и довольно широка. Горы местами покрыты были лесом, кустарником; но когда приблизились к ущелью Дарьяльскому, то можно было видеть только отвесные скалы, меж ними Терек, а над Тереком полосу неба. На вершинах скал показывались избы осетин, скирды хлеба, узкое поле, несколько волов — все это по причине значительной высоты виднелось в уменьшительном виде. Чем выше в гору, тем величественнее дорога, проложенная на краю самого русла Терека. Тут можно было видеть часть старинной дороги, высеченной в скале; в одном месте скала пробита в виде крытых ворот, но до того низеньких, что снимали кузовы карет и колясок и на руках перекатывали их несколько сажен. Сколько было потери времени от перетяжки рессорных ремней.

Теперь поднятое и выровненное русло реки составляет лучшее шоссе. На небольшом расстоянии, где местность и русло не позволили продолжать дорогу, где страшный обвал зарыл ее, там накинут мост чрез реку и проложена славная дорога на правом берегу с полверсты, откуда другой мост ведет опять к левому берегу Терека. Мосты охраняются часовыми, караул имеет казарму и больницу; прохладный влажный воздух в этом ущелье дает скорую помощь и излечение страждущим больною грудью. На правом берегу, недалеко от мостов, видна отвесная скала, которая сверху донизу в несколько сажен шириною, представляет черноватую полосу, как бы огнем и дымом запаленную. Тут весною горная вода течет и падает с такою быстротою и силою, что, пенясь и крутясь, вырывает, перекатывает и перебрасывает тяжелые обломки скалы гранита и сыпятся крупные искры; это место называется «бешеная балка».

Раздался выстрел... удар ружья повторялся сотни раз от скалы в скалу; дети мои ответили дружным «ура!» Терек так шумел, что невозможно было слышать обыкно-

шного разговора, должно было кричать во все горло; надобно прибавить, что я ехал осенью и мог себе представить, как бушует Терек весною, когда тают снега. Досадно, что не умею описать картину этого единственного в своем роде пути. При таких величественных видах, как на Кавказе, душа теснится, умиляется, смиряется и вместе с тем, сознавая свое назначение, возносится гораздо выше Кавказа, до небес; она постигает видимое, но ощущений своих выразить не может словами. Напрасно останавливаю перо, чтобы придумать верное изображение: это не удалось вольному путешественнику поэту Пушкину, ни Грибоедову, ни невольным странникам А. А. Бестужеву (Марлинскому), ни Одоевскому. Всего лучше отрывками нарисован Кавказ поэтом Лермонтовым, который волею и неволею несколько раз скитался по различным направлениям чудной страны и чудесной природы.

К вечеру достигли Казбека, где ночевали. Здесь небольшая церковь, хороший дом для проезжающих, вблизи дома владельцев князей Казбековых: один из братьев служил в военной службе, навестил меня, чтобы осведомиться об Якубовиче, старом сослуживце[331]. Мы благополучно подымались в гору, гораздо круче пришлось нам спускаться на другой день 8 ноября. Рано поутру выехали и скоро доехали до следующей станции Коби. Тут небольшой домик для путешественников, другой такой же для духанщика, в стороне землянки для ротного командира и для роты, которая сменяется по очереди. В феврале и в марте случаются такие снеговые обвалы или увалы, что зарывают людей и прекращают сообщение на целые недели; тогда никакого средства нет переехать, пока солдаты не очистят заваленного места. Однажды эти обвалы стеснили ложе Терека и заставили течение воды принять более к правому берегу. Это неудобство заставило думать о другом направлении дороги, по коему не мешали бы ни обвалы, ни ущелья Терека; проложена была в горах новая дорога, и начали эту работу, когда барон Г. В. Розен был корпусным командиром на Кавказе.

Услужливый штабс-капитан Черняев, совершенно вроде Максима Максимыча, описанного Лермонтовым в романе «Герой нашего времени», предложил свои услуги, принес детям моим свежего молока и объявил, что имеет повеление от своего начальства проводить нас чрез са-

мые опасные места. Он жалел, что у нас помещение такое тесное и холодное, и очень охотно предложил бы нам свою землянку, если бы она была удобнее, и прибавил: «Впрочем, если не поздно и если вы можете в полчаса собраться в путь, то засветло спустимся; который теперь час?» — «Двенадцатый в исходе». — «Так соберитесь, сейчас запрягут лошадей, а я и солдаты мои готовы, одно только условие: чтобы супруга ваша не выходила из коляски, пока не доедем до места».

Запрягли лошадей в пять минут, мы проворно сели в экипажи; штабс-капитан сел на коня; за ним 36 человек солдат пошли ускоренным шагом. Штабс-капитан часто подъезжал к моему тарантасу и вроде доброго Максима Максимыча беседовал и заговаривал о былом времени, когда он служил под начальством А. П. Ермолова. Теперь еще вижу его усмешку, его кавказские замашки, его маленького рыжего коня, который спокойно и смело ступал по самому краю пропасти или по невысокой насыпи из нанесенных небольших камней, положенных на краю дороги, чтобы зимою или в грязную пору экипажи не скатились в бездну. Из-под копыта выбивались камушки в пропасть, тогда стук и гул от падения их раскатывался и повторялся по всей долине, а штабс-капитан спокойно покуривал трубочку, и когда я упрашивал его не ехать по такому опасному месту, то он, улыбаясь, отвечал мне: «Мы и наши кони привыкли к таким местам; случается часто мне одному ездить по этой дороге, кажись, места довольно, а бестия рыжак все тянет к краю да к пропасти, и все, знаете, как-то тут ехать веселее и виднее». Солдаты еще прибавили шагу и приблизились к месту, где семейство осетин поселялось возле дороги единственно с целью, чтобы оказать помощь путешественникам и доставить им убежище в случае непогоды и метели.

Мы подарили несколько монет этим пустынникам, получающим провиант от правительства. Из дому, сложенного из камней и глины, вышел новый седой проводник, представился нам изломанными русскими словами: «Я князь Циклауров, сестру вашу Вольховскую знаю, сына вашего понес на руках, когда они горы переехали». Я пожал руку старику и отблагодарил его по жалобе его на бедность. Когда император Николай, за несколько дней до нашего проезда, на минуту остановился на этом

месте, то старик показал ему заслуженную свою саблю с серебряным темляком и сказал: «Темляк есть, а хлеба нету!» На такое афронтное прошение император приказал отпускать ему провиант полностью.

Мы достигли Крестовой горы и остановились; штабс-капитан подал нам стакан минеральной воды, вкусом напоминающей кисловатой. День был не ясный, гораздо ниже нас плавали облака по Чертовой долине, тучи другого края начали собираться над головою, и пошел пушистый снег большими густыми хлопьями. «Прибавь шагу!» — скомандовал штабс-капитан; солдаты по ровному месту пустились бегалым шагом, кони следовали рысью. Штабс-капитан заметил, что густой снег как будто свету отнимает, и спросил: «Который час теперь на часах ваших?» И посмотрел — «двенадцатый в исходе», — приложил часы к уху — часы стояли; они стояли уже в Коби. Штабс-капитан стянул брови, заметил, что незаведенные часы нас обманули и что воротиться будет хуже.

Стало смеркаться, когда мы приблизились к Гут-горе: по покатости Гут-горы вела дорога под прямым углом и очень круто. Солдаты веревками и цепями, прикрепленными к дроге и к задней оси, придерживали экипажи, которые, сверх того, были с тормозами. Когда тарантас был спущен до поворота и повернул направо по другой линии прямого угла, то штабс-капитан приказал остановиться, подъехал ко мне и спросил: «Не угодно ли нам посмотреть, как спускается коляска вашей супруги?» Почти отвесно, по скату крутому вела узкая дорога, по одной стороне ее гора как стена, по другой стороне бездонная пропасть. Жена моя не могла думать о себе, она держала на руках дочь и после рассказывала мне, что всеми силами должна была опираться ногами о передний ящик, чтобы самой не выпасть из коляски или не выронить ребенка.

Дорога была нехороша от дождей и от камней, коляска качалась; штабс-капитан грозно вскрикнул: «Не качай коляски!» Один из солдат ответил: «Темно, ваше благородие!» — «А что вам, свечи надо, что ли?» Коляска перестала качаться, ее спускали на руках. Спустившись с Гут-горы, увидели близ дороги огонек на Койшаурской станции. Нам оставалось еще спускаться с Койшаурской горы версты на три. Штабс-капитан спросил команду: «Не устали ли, ребята?» — «Никак нет-с, ваше

благородие, рады стараться!» Однако с караульного поста Койшаурского взяли еще 12 человек в помощь и в совершенной темноте стали спускаться все в прямом направлении. Штабс-капитан безмолвствовал, солдаты тихомолком про себя говорили и ворчали: «Что он задумал ночью переправить такие экипажи и израненного (так называли меня по костылям моим) да маленьких детей! Этого никогда не бывало!» Я объяснил солдатам, что часы надули нас, что нет еще беды никакой, что с таким начальником да с таким конвоем можно безопасно спуститься по всему аду. В это мгновение заэвенела железная цепь под коляской. «Это что?» — спросил штабс-капитан. «Цепь перетерлась пополам, ваше благородие». — «Тем лучше! — сказал полубасом штабс-капитан. — Теперь вам не на что надеяться, как только на самих себя!» Солдаты усердно поддерживали, кто за веревку, кто за рессоры, за ремни. У меня на козлах сидел старый слуга Никифор, присланный родными навстречу до Владикавказа, он указал мне на огни у подошвы горы, где жил окружной начальник князь Авалов; там назначен был ночлег. Признаюсь, неприятно было ехать ночью по такому месту, видеть еще далеко под собою несколько огней и знать, что рядом, вдоль всего спуска, на один шаг от дороги ужасная пропасть, которая поглотила уже много повозок и поклажи. Проезжающие большею частию спускаются или верхом, или пешком и не иначе как днем. Мы доехали в десятом часу вечера.

Штабс-капитан Черняев на руках своих поднял жену мою из коляски и сказал: «Извините, что в такое позднее время провел вас чрез страшные места!» Окружной начальник и жена его не хотели верить глазам своим, когда увидели на крыльце жену мою и четырех детей и в самом деле не на шутку бранили штабс-капитана. С позволением его я созвал в одну шеренгу славных проводников-солдат и каждому сам вручил подарок. Особенно благодарил штабс-капитана. Хозяин и хозяйка радушно и ласково приняли и угостили нас; жена моя и дети крепко устали и истомились, легли отдохнуть. Я вышел на крыльцо, вечер был тихий и теплый; небо очищалось от облаков, местами заиграли звезды, слабо освещавшие горы и долины; все было покрыто какою-то таинственностью; глазу и воображению все представлялись громадные горы, бездонные пропасти, крутые ущелья.

Из грузинского духана переливались звуки русской песни, там пели солдаты, нас проводившие. Шум и гул Терека был заменен нежным журчанием Арагвы, которая текла в двух шагах от окна моего и сладко меня усыпила. Рано поутру проснулся; на крыльце встретил адъютанта Розена, видного собою и хотя дорожного, но одетого щеголем и ехавшего с молодою женою обратно в Петербург. Он сел на коня и пустился догонять карету, которую шестнадцать пар волов влачили в Койшаурскую гору. Утро было совершенно ясное. Север был отгорожен исполинскими ширмами или перегородкою. Солнце осветило наш вчерашний последний спуск и показало нам новую картину за горой, еще превысокую гору, разноцветные скалы и обрывы, покрытые зеленью высочайшие чинары, дикий виноград, плющ, все в полной зелени, барбарис — все в это осеннее время дышало югом, дышало Грузией. Красоты Койшаурской долины бесчисленны; мне случалось видеть изображения некоторых мест Кавказских гор, даже мастерской кисти, но все это не удовлетворяет, оттого что представляет только отрывок или осколок красоты. Не всем суждено побывать там, но побывавшие, верно, все согласятся со мною, что этот край действительно чудный по природе своей и только недостает в нем жителей, которые умели бы наслаждаться и пользоваться краем.

Мы ехали две станции полною рысью и ночевали в уездном городе Душете; на другой день проехали Мцхет, прежнюю резиденцию грузинских царей, на самом берегу Куры. Чем становился я нетерпеливее, тем медленнее стали подвигаться к цели. Дождь промыл дорогу, лошади и экипажи скользили и раскатывались; наконец, доехали до последней станции Гартискара, где, на беду, не было лошадей и откуда идет другой тракт на крепость Гори. Мы принуждены были выжидать обратных лошадей; пока их кормили, прошло мучительных пять часов; между тем все лил дождь, все пытало терпение. Неприятность нового моего назначения, неизвестность нового места жительства были на время стерты радостною надеждою на свидание с сыном и с испытанными родными в постоянной и чистой любви, в продолжение всей нашей разлуки. Дети заметили мое беспокойство и сами смутились ожиданием. «Мы сегодня так долго едем, что никого не увидим до утра»; на это нетерпеливое мое за-

мечание, а может быть, и обдуманное предисловие ответил старик Никифор, что никогда не будет поздно, что Анна Андреевна и Марья Васильевна ожидают во всякое время, что для всех детей уже давно кроватки готовы, все устроено и придумано, как доставить нам отдохновение после такого дальнего пути. «Я рад за тебя, мой друг, и за детей, — сказал я жене, — но я должен отказаться от родного и гостеприимного крова; я остановлюсь в гостинице; ты знаешь почему?» Жена моя без всякого возгласа покачала головою и обычным, нежным, спокойным голосом возразила мне без малейшего упрека: «Я все делила с тобою, мы вместе были в тюрьме, почему же теперь расставаться на несколько дней?» Я не должен был остановиться у родных в доме начальника Главного штаба не оттого, что он занимал второе место в краю, а я, как рядовой, стоял на низшей ступени чинов, — родство этого не разбирает; но еще в Чите узнал я, что генерал Н. Н. Раевский, командир Нижегородского драгунского полка, был арестован на гауптвахте за то, что пригласил к себе на обед бывшего моего соузника З. Г. Чернышева, рядового[332]. Вот почему я не мог остановиться у родных.

Дождь лил целый день; мы выехали пред вечером. Стемнело совершенно, тащились шагом; впереди ехал казак обратно с двумя заводными лошадьми, которые рядом были привязаны одна к другой; дорога была узка, с одной стороны скала, с другой — пропасть; колеса раскатывались, как сани, от скользкой глины. Лошадка казачья, заводная, крайняя, поскользнулась, повод, к счастью, перервался, и конь с визгом и шумом скатился на десятки сажен в пропасть — и был таков; но казак остался невредим с остальными конями; несмотря на это, я все торопил ямщика. Наконец, завидели огни Тифлиса, приехали и остановились в гостинице Матасси. Чрез полчаса сын мой старший был в моих объятиях.

Глава тринадцатая

ГРУЗИЯ В 1838 ГОДУ

Свидание с сыном. — Тифлис. — Караван-Сарай. — Бани. — Южная армия. — Бивак на Алагезе. — Белый ключ. — Смотр. — Смещение начальников. — Переформирование края. — Особенности края. — Новое назначение. — Грязь. — Мои пальки. — Обратно в Тифлис. — В. Д. Вольховский. — Первый лицеист. — Быстрое повышение. — Благодарность. — А. И. Одоевский. — Послание к отцу. — А. А. Бестужев. — Обратно чрез Кавказские горы

10 ноября был счастливый день моего свидания с сыном моим Евгением и с добрейшими родными. Сердце хотело выскочить от радости; такое чувство ощущал я раза три в жизни, не более. У сына моего были правильные черты лица, глаза и взор выражали ум и доброту; голос его был приятный, и каждое слово было уместно и умно. Рост его, цвет лица, движения, походка выказывали некоторую болезненность или изнеженность. В первый раз увидел он отца, о котором родственники передавали ему лучшее понятие и мнение, учили почитать и любить его; но люди посторонние, чужие могли одним словом, одним взглядом внушить ему противные чувства или недоумения, что впоследствии отчасти и оказалось. Матери своей он не помнил, потому что разлучен был с нею на четвертом году от рождения. Братьев и сестру увидел он в первый раз; ближайшим по крови родным пришлось начать знакомство личное не с колыбели; по счастливому возрасту оно завязалось скоро. Отроку предстояла с новым свиданием с родителями новая разлука с теми родными, с которыми он гораздо теснее был связан, которые столько лет заменяли ему отца и мать. Счастливое детство все легко принимает, легко забывает и прежнюю радость, и прежнее горе за минутную радость; и я в счастливую минуту свидания забыл прошедшее горе и благодарил бога. Тетка моя, Анна Андреевна, нисколько не переменилась — ее поддерживало счастье свояченицы моей, Марии Васильевны, которую увидел я в первый раз женою и матерью; ее узнал бы я везде. В. Д. Вольховский радостно приветствовал нас и дружески укорял нас за то, что мы не остановились на его квартире; я видел пред собою в лице заслуженного начальника штаба того же скромного, безукоризненного, деятельного слугу отечества, каким он был во всю жизнь

свою, каким готовился быть с самого начала своего трудного поприща, каким я видел его в 1821 и 1822 году в Вильне и в Родошковицах, где все, которые знали его хорошо в то время, видели в нем мужа, с истинными достоинствами и с правом стоять в ряду мужей, описанных Плутархом.

На следующий день, лишь проснулся и подошел к окну, то увидел, что в Тифлисе все предметы и лица имели особенный, не европейский отпечаток; дома с плоскими крышами, армяне с навьюченными верблюдами, грузины с арбами, женщины, покрытые чадрами, ослы с вязанками дров, кони с кожаными мехами на спине, налитыми водою или кахетинским вином. Персияне провели мимо окон моих славных персидских жеребцов в подарок императору от шаха. Протяжные звуки слов грузинских и армянских, в коих особенно слышны буквы гортанные и в нос произносимые, перемешивались с живыми отрывистыми словами русского солдата. Только женщин так мало на улицах, что едва встретится одна на сорок человек мужчин. Чрез час возобновилась радость свидания со старшим сыном: каждая минута знакомила и сближала нас все более и более; братья стали искреннее между собою. Свояк мой предупредил меня, что я назначен в Мингрельский егерский полк, расположенный в одной из самых здоровых местностей Грузии, но что могу остаться в Тифлисе, пока здоровье мое не поправится. В 11 часов утра явился я к корпусному командиру[333]; он принял меня в своем кабинете в присутствии двух жандармских штаб-офицеров и моего проводника; с участием расспрашивал о здоровье, увидев меня на двух костылях; вспомнил наших общих родственников и, наконец, спросил, как и чем может он мне быть полезным и где на первое время желаю остановиться для поправления здоровья. Я поблагодарил за участие, объяснил, что такой солдат, как я, не может ни служить, ни драться, и просил позволения отправиться в полк на место назначения и там выжидать, как лучше устроиться. Он совершенно одобрил мое намерение и сказал, что он и свояк мой будут мне полезнее там, чем здесь, и что в настоящую минуту он даже не знает, останется ли он при своей должности. Я раскланялся, дошел до половины кабинета и, заметив у дверей моего проводника, Тимофея Тимофеевича, возвратился к генералу и представил ему моего проводника,



М. В. ВОЛЬХОВСКАЯ

Неизвестный художник. Середина 40-х гг. XIX в.
Из архива Н. Б. Мешковой-Малиновской. Публикуется впервые

имевшего счастье служить унтер-офицером под его начальством, когда он командовал 1-м Егерским полком. «Неужели еще с того времени есть у меня сослуживцы?» — сказал он и стал его расспрашивать о былом, и пока Тимофеич рассказывал ему похождения свои и осаду Сарагоссы, я был уже на квартире у Матасси.

Вечером с большим наслаждением был я в тифлисской купальне; город получил свое название от теплых минеральных источников. Пришлось мне ехать мимо Ка-

раван-Сарая, или по гостиному двору; в открытых лавках были разложены и развешены гранаты, ранеты, груши, бергамоты, виноград разноцветный. В другой лавке, по этой же линии, сидел портной, окруженный одеждою всякого рода; он шил и починивал все, что нужно было для проходящих; в третьей стояли штофы и бутылки с водками и винами; на жаровне пекли чурек, или грузинский хлеб вроде блинов; парили повсюду баранину и плау или пилав; места эти битком набиты народом с раннего утра до позднего вечера; щеки приходящих и отходящих нарумянены винным жаром, бороды покрашены, глаза навыкате, без выражения, и все слышны протяжные возгласы и распевы слов односложных без трели, без рулады.

Далее, в верхних рядах сложены красные товары от шелкового платочка до кашемировой шали, от коленкора до тончайшей кисеи Индии, шелковые материи и ковры всех цен; в особенных лавках развешено симметрически богатейшее и щегольское оружие: ружья, пистолеты, шашки и кинжалы. В воротах городских бань встретил несколько грузинок; они выказывали только по одному черному глазу; с головы до ног все покрыто чадрою, и предоставляют воображению рисовать их прелести. Я прошел чрез два двора; ванщик повел меня в особенное отделение; ванны высечены из камня, пол каменный, скамейки каменные, стены каменные. Просидев минут десять в теплой ванне в 27°, я вышел с помощью ванщика и лег на широкую скамейку; между тем усердный грузин уже натер мылом фланелевые пузыри и начал мыть меня по-своему, однако с условием, чтобы он не трогал правой ноги моей. По очереди поднимал он то правую, то левую руку мою, тер их мылом, давил в изгибах, то складывал, то вытягивал, так что кости затрещали; потом начал те же проделки с левою ногою и действовал с исступлением; я рад был, что не переломил костей здоровой ноги моей; от ударов его иногда было больно. Снова повел меня в ванну и начал окачивать. Эта баня освежила и укрепила меня, как бывает после морского купанья в хороший летний день; может быть, его удары и ухватки заменяли электрическое трение морских волн. Жаль только, что пол тифлисских бань был холодный; также в комнате, где я одевался, было не тепло; это неудобство бывает только во время зимних недель.

Самый приятный день провел я у родных; Вольховский жил в большом инженерном доме на Эриванской площади; тогда семейство его украшала одна дочь, шестью неделями старше моей дочери, одного с нею имени. У родных встретил княгиню Долгорукову, урожденную графиню Надежду Григорьевну Чернышеву, младшую сестру нашей незабвенной А. Г. Муравьевой; мне отрадно было разделить с нею воспоминания; хотя цвет лица, глаз, волос был совершенно различный у обеих сестер, но голос, стан, движения, манеры совершенно одни и те же и та же прямота и искренность в беседе. В четвертый день моего прибытия в Тифлис отправился в новое место назначения с полным уже семейством: с нами поехал и старший сын мой. В Тифлисе наняли лошадей до селения Цинскар, в сорока верстах от города, за двести сорок рублей ассигнациями. Колонисты, обитающие тифлисское предместье на Куре, против монастыря св. Давида, согласились везти нас за эту цену, но когда накануне отъезда день лил сильный дождь, то отказались, уверяя, что нет никакой возможности ехать при такой дороге. Вообще всякому путешественнику, желающему ехать по Грузии, советую ехать верхом. Первые десять верст мы ехали довольно скоро, потом лошади стали уставать; дорога вела по берегу Куры, покрытому виноградниками и садами; почва глинистая с мелким известковым щебнем совершенно размокла. Коляску с трудом дотащили до станции Коды; тарантас остановился под горою в двух верстах от станции; пока отправили ко мне навстречу других лошадей, пока я доехал, было уже за полночь. На другой день отправились далее; на четвертой версте кони измучились; еще двинулись на одну версту и остановились на берегу Алгетки, противолежащий берег коей весь покрыт был виноградниками. Ямщиков отправили по селениям, чтобы они наняли быков и арбу, чтобы на нее взвалить сундуки, чемоданы и тем облегчить экипажи.

К счастью, дождь перестал. К вечеру пригнали быков и пару буйволов. Вернее было дождаться утра и потому решились ночевать тут под открытым небом. Собрали хворосту, сухих ветвей, зажгли костер и долго сидели вокруг огня; дети забавлялись и пели. Евгений особенно хорошо и твердо переносил эту обстановку, не обнаруживал никакого утомления, хотя вздохи невольные на-

яву и во сне доказывали, что мысль его переносилась к тем, которые так долго, так любовно, так нежно заменяли ему родителей. Звезды указали, что время уже за полночь; мы сели в экипажи и уснули. Рано утром поднялся наш табор; и хотя ехали шагом, но все подвигались вперед и, по терпеливой силе волов, благополучно доехали до Цинскар, где ожидали нас полковые лошади, отправленные навстречу; на них мы ехали веселее, сперва лесом, и еще до заката солнца увидели селение Белый Ключ и полковые казармы. Мы подъехали к квартире полкового командира, где указали нам отдельный дом, меблированный и освещенный. Разумеется, что такой встрече были обязаны свояку моему. Чрез час пришел к нам полковой командир, полковник П. С. Казачковский, предложил свои услуги, угостил нас гостеприимно и просил нас быть у него, как дома. На следующий день мы устроили свою кухню и жили в этом доме две недели, пока нашли отдельный дом, принадлежащий провиантскому комиссионеру, отданному под суд. Домик имел четыре комнатки, но нам было здесь гораздо лучше, спокойнее, подальше от штаба, где беспрестанное движение подчиненных и солдат невольно обеспокоивало.

Селение Белый Ключ, штаб-квартира Мингрельского, тогда егерского полка, получило свое название от ключа, над коим стоят четыре каменных выбеленных столба. Селение в пятидесяти верстах от Тифлиса, на возвышенном месте; в окрестностях, хотя изредка, видны северные березы, отчего климат здесь здоровее, летний жар стерпимее. Длинный ряд домиков обитаем офицерами и женатыми солдатами. Казармы выстроены отдельно близ ключа. На пригорке в дубовой роще находится больница, в ней особенные отделения для полковой церкви и для цейхгауза. Полковой цейхгауз, в коем хранится новая амуниция, новые мундиры, убран и расставлен, как лучший модный магазин. Все строения, кроме одного каменного дома, в коем дивизионный начальник живет летом, срублены и сколочены из нетолстых бревен или из кольев, сплетенных прутьями; дома с обеих сторон обмазаны глиною и выбелены; все имеют вид опрятный, но греют мало в ненастную и холодную погоду. Беспрестанно топился камин, жгли фруктовые деревья и дуб, но при всем том нигде не случалось мне так мерзнуть, как в Грузии. Это неудобство есть принадлежность всех

теплых стран, где в уверенности на продолжительное тепло считают излишним брать предосторожность против кратковременного холода. Нет двойных рам, нет печей хороших, нет двойных полов: последний недостаток заменяется теплыми персидскими и грузинскими коврами — необходимою принадлежностью офицера на месте и на походе.

Полк состоял из шести батальонов, из которых два или три по очереди были в походе, в экспедициях. В числе солдат было множество поляков, сосланных туда в 1831 году, молодец к молодцу, служили исправно; как в Кургане, вечерком, в переулках, случалось слышать их национальную песню, опровергающую последние слова Костюшки, так и в Грузии раздавались эти звуки, когда солдаты из лесу выносили дрова в казармы. Караулы, ученья, вообще служба исполнялась так исправно, как в столице. В числе офицеров встретил прежнего сослуживца, капитана Добринского, который, по подозрению участвования в нашем деле, был переведен из гвардии в Грузию тем же чином. Здесь он женился на грузинке, жил в моем соседстве и казался счастливым. У него иногда заставал я офицеров; большею частью все одна и та же беседа об экспедициях, о наездничестве, об отчаянном сопротивлении горца, об удалом коне, об острой шашке, о дагестанском кинжале. Презанимательно было слушать о воинских подвигах; кавказцы почти все мастерски и красноречиво рассказывают: красота природы, беспрестанная опасность, презрение смерти, продолжительное уединение при стоянке в отдельных крепостях придают им особенную живость, ловкость выражения и охоту высказаться хоть редко, но зато метко.

Мои костыли, мое болезненное состояние освобождали меня от всякой службы, но за порог дома выходил я не иначе, как в форменной солдатской шинели. Однажды только в Белом Ключе пришлось надеть мундир по случаю инспекторского смотра, произведенного лично дивизионным начальником генералом Фроловым. Я стал на левом фланге в ряду со слабыми и больными, которые не поступили в лазарет. Генерал не дошел до нашей отдельной команды, как полковой командир поспешно приблизился и повторял по строю нашему: «Разжалованные, вперед! К дивизионному начальнику!». Вышло вперед человек пятьдесят: полковник в другой раз подошел пря-

мо ко мне и сказал: «А[ндрей] Е[вгеньевич], вас вызывают вперед, собирают всех разжалованных». — «Извините меня, г-н полковник, я не разжалованный, а, напротив, пожалованный», — и остался на своем месте и был совершенно прав. По окончании смотра, когда полк разошелся, генерал потребовал меня к себе на квартиру и обошелся со мною чрезвычайно любезно; обещал возвратиться весною на все лето и опять увидеться со мною; но он ошибся вдвойне за себя и за меня: нас обоих переместили. Учебные занятия мои увеличились со времени соединения моего со старшим сыном; ему было 12-й год, по стараниям свояченицы моей он сделал большие успехи по многих научных предметах, а с тех пор как она вышла замуж, как круг ее жизни расширился по обязанностям супруги и матери, сын мой имел постоянного учителя, который чрез два года был заменен другим наставником; они оба, каждый по-своему, передали ему познания и приложили старание к его воспитанию. Теперь по некоторым предметам пришлось мне самому учиться и приготовиться накануне к следующему на другой день уроку. Младшие дети начинали учиться, так что время мое было распределено с утра до вечера, и каждый день показывался мне днем слишком коротким. Жена моя опасно заболела в Белом Ключе; вероятно, болезнь накопилась от утомлений и забот во время дальнего пути в худое время года; но вера, сила воли, воздержание и умеренность в пище скоро поправили расстроенное здоровье. Во время болезни она отняла от груди дочь, которая без этой груди, вероятно, не выдержала бы такого путешествия.

В декабре листок «Инвалида»[334], присланный мне полковым командиром, передал мне весьма неприятную весть: корпусной командир барон Г. В. Розен был назначен сенатором; место и должность не по чину его, потому что младше его генералы были членами Государственного совета. Начальник штаба В. Д. Вольховский был назначен бригадным командиром, также место не по званию, потому что начальники штабов на правах дивизионных начальников по перемещении получали начальства над дивизиями; следовательно, оба назначения показывали неудовольствие или наказание и были следствием последнего обозрения края самим императором[335]. Мнения служащих на Кавказе были разделены по этому слу-



А. В. РОЗЕН

Неизвестный художник. Конец 30-х гг. XIX в.
Краеведческий музей г. Изюма Харьковской обл.

чаю: одни радовались перемене начальников, как всякой другой перемене; другие жалели, что лишались начальников испытанных, известных по бескорыстию, по справедливости и деятельности своей, которые семь лет управляли и воевали с успехом и часто получали награды и благодарности. Ермоловцы — так называю сослуживцев и обожателей Алексея Петровича — желали иметь прежнего своего начальника; ожидание их не сбылось, назначили на это место Е. А. Головина, вскоре после него А. И. Нейдгардта, но тот и другой не ответствовали

своему назначению. Когда же после них граф М. С. Воронцов получил место наместника кавказского, то правдиво выразил, что из всех управлений этим краем после Ермолова самая деятельная и полезная администрация была в бытность барона Г. В. Розена. Отчего же такая вдруг немилость после величайшей доверенности?

Система централизации, желание иметь в различных краях у иноплеменных обитателей все одинаковое управление гражданское, одну форму судоустройства, общее разделение страны на губернии и уезды заставили отправить сенатора Гана в Тифлис, чтобы там на месте собрать все нужные сведения и составить новый проект. Как водится, сенатору даны были особые чиновники и секретари, люди все незнакомые с новою страною, и пошли писать! Не знаю, что они писали, знаю только, что страна была разделена на губернии и уезды, повсюду явились новые чиновники, и судьи, и исправники, судили разноплеменных горцев, не понимавших ни языка, ни суда. Сенатор и чиновники его могли бы составить такой же проект в Петербурге, или в Костроме, или у себя дома — все равно, он был готовый везде. Такие гости в отдаленной стране от центра правительства, вдали от высшей власти невольно становились особым центром происков; услужливых людей всегда и везде довольно, они предлагали свои мнения, свои замечания и писали доносы. Кто из гостей не слушал их, тот старался сам выведывать. Один из таких попал в Манглис, в штаб-квартиру Эриванского карабинерного полка, нашел там злоупотребления, преувеличил их, приписал их и другим войскам Кавказского корпуса, и вот откуда взят был материал для очерка положения всего края[336].

Император в самом лучшем расположении духа пристал к берегу Черного моря, и хотя в Кутаисе встретил его пожар запасного хлебного магазина, но продолжал весело свое путешествие, весьма затруднительное по дорогам гористым; бодро переносил неудобства, то шел пешком, то сам понуждал пристяжных коней, где колеса вязли в грязи до самой оси. В каждом городке, повсюду, где расположено было войско, хоть одна рота, он останавливался, все осматривал, всем был доволен. За несколько станций до Тифлиса, накануне въезда переменилось это расположение; никто не знал причины. В Тифлисе жители встретили его с радостью и с восторгом.

На другой день назначен был парадный развод от Эриванского карабинерского полка, коим командовал флигель-адъютант князь Дадиан, зять корпусного командира; развод был на площади при стечении народа. Вдруг император приказал военному губернатору Брайко сорвать аксельбант с полкового командира, что было тотчас исполнено[337], отправить его с фельдъегерем в Бобруйскую крепость и там отдать его под суд. Гнев царский вызван был доносом: обвиняли полкового командира, что он употреблял солдат, как людей крепостных, на всякую работу, даже в винокуренном заводе, что обременял их такими работами, от коих больница была переполнена его солдатами, что людей слабых до выздоровления выгоняли из больницы на работу, что солдаты пасли его гусей и пр. Такие действия вызвали бы гнев самого хладнокровного и мудрого стоика. Но кто мог поручиться за верность доноса? Не лучше ли было приказать расследовать дело? Какая нужда, что обвиненный был зять корпусного командира? — разве под военным мундиром уже нет правдивой беспристрастной души для разбора дела? Разве те же доносчики не могли открывать утайки правды или пристрастия суда? Корпусной командир верою и правдою прослужил полстолетия, с покорностью перенес огорчение. Другому флигель-адъютанту, также командовавшему полком, государь заметил на общем представлении: «Я полагал, что вам лестнее носить мой вензель на эполетах, чем быть содержателем извозчиков на тифлисской бирже». Донесено было на этого полковника[338], что он от себя держал в городе извозчиков дрожечных из солдат своего полка.

Наконец, когда император уехал из Тифлиса, то недалеко за городом случилась еще беда: по всей Грузии, по всему Закавказью возил его один и тот же кучер и получил в Тифлисе 500 рублей вознаграждения; когда этот самый кучер хотел опять сесть на козлы, чтобы везти чрез горы до Владикавказа, то царский кучер заметил ему, что он уже довольно получил, пусть теперь другой получит награду, и взял другого кучера. Подъехали к спуску, надобно было тормозить, но ментор на козлах не позволил остановиться, кони понесли, форейтор оробел, повернул коней круто к горной стене — и коляска опрокинулась на самом краю пропасти. С этого места чрез горы государь ехал все верхом на казачьей лошади.

Люди беспристрастные, в том числе и полковые командиры, заметили, что все они более или менее также виновны, как князь Дадиан, потому что на Кавказе, а особенно в Грузии, ничего не сделаешь без солдата. Население туземное живет для себя в неге и в праздности. Без помощи солдата не получите ни полена дров, ни капли воды, ни куска печеного хлеба. Все ремесленники, от сапожника до портного, от кузнеца до каретника, от плотника до столяра, заменяются солдатами. Разумеется, что офицеры дают солдатам вознаграждение. Без помощи солдата вы в Грузии недалеко уедете, а в сторону от большой дороги — ни шагу; если хотите ехать в коляске, то не подвинетесь с места без помощи полковых обозных лошадей. Грузин может вам служить только верховою лошадью или арбою с буйволами.

Полки, батальоны и роты расположены в таких местностях, где нет ни кола, ни двора грузинского, нет ни одного туземца, — как же там обойтись без помощи солдата? Богатые офицеры ни за какую цену не найдут вольного работника, — и разве работа унижает солдата? разве худо, что он, кроме ружейных приемов, научается ремеслу, приобретает копейку и, когда переживет срок службы, может обеспечить свою старость? Главное тут условие, чтобы начальники были человеколюбивы и справедливы; если они при работе солдата хорошо его кормят и еще дают ему плату, то солдат совершенно доволен и благодарен. Я не извиняю действий начальников, служивших в кавказской резервной дивизии и осужденных за непростительное обращение с рекрутами и за бесчеловечное употребление их для собственных своих бесплатных работ, которые, вместо того чтобы доставить Кавказскому боевому корпусу здоровых молодых солдат, зарывали в землю умерших от изнурения и от чрезмерного труда[339].

Это дело было строжайше расследовано в 1846 году правдивым Суворовым, князем Италийским; главные виновники были строго наказаны. Я и не оправдываю князя Дадиана, если он употреблял своих солдат на работы в собственном имении своем, на винокуренном заводе, где могли пострадать и здоровье, и нравственность солдат. Суд на месте доказал бы все ясно; а его увезли, сдали полк, и без допросов поручено было производство дела флигель-адъютанту Катенину, который после коман-

довал Преображенским полком и Оренбургским корпусом. Дадиан был разжалован в солдаты, потом удален на жительство в Вятку, возвращен в Москву и совершенно прощен Александром II. Высшие начальники были все смещены и думали, что всем злоупотреблениям положен конец. Все это дело имело бы другой оборот, если бы государь во время путешествия и обозрения края имел при себе одного по очереди из местных начальников, которые могли бы объяснить многие особенности страны, и жителей, и быта. Во всю дорогу сидел возле него граф А. Ф. Орлов, который сам в первый раз находился в этом краю. Может быть, царскому неудовольствию содействовали предубеждения, внушенные журналами иностранными, статьями различных путешественников-иностранцев, писавших по слухам, а не по сведениям из достоверных источников.

В половине декабря мы были обрадованы приездом нашей добрейшей тетки, Анны Андреевны. К празднику она возвратилась в Тифлис, где ее присутствие было необходимо для моей свояченицы. В. Д. Вольховский предположил выжидать выздоровления супруги и весною оставить Кавказ. Мое семейство было все налицо, я наслаждался этим счастьем. На праздниках приходили к нам наряженные солдаты и кантонисты, представляли оперу «Мельник»[340] и свои водевильчики со своими прибаутками и остротами; главное дело было в наряде, причем первое место занимали генеральские толстые, из соломы сплетенные эполеты и звезды из разноцветной бумаги. Дети мои веселились по-своему; каждый день по окончании уроков гуляли мы по окрестностям, едва покрытым снегом, хотя мороз доходил до 10 градусов, что редко случается в Грузии; местные жители смеялись, что мы перевезли мороз из Сибири. Собирались купить домик, в котором жили, и намеревались перестроить его весною.

Странно случается в жизни: лишь только что исполнилось желание — быть ближе к родным, чтобы обе сестры были вместе, как вдруг чрез три недели поразила нас весть о новой разлуке. 22 января, вечером, когда окончили повторение уроков, услышали колокольчик под окном; вошел Г. Ф. Фе, присланный Вольховским, чтобы сообщить нам радостную весть о переводе моем в Пятигорск. Чрез три дня пришел полковой командир с бумагою и,

поздравив меня, сказал, что бумага о моем переводе написана в самых лестных выражениях. И в самом деле, военный министр сообщил корпусному командиру, что «государь император всемилостивейше повелеть соизволил, во внимание к расстроенному здоровью рядового из государственных преступников Андрея Розена перевести его немедленно в город Пятигорск и доставить ему все средства к излечению». По этому приказу я был переведен в 3-й Кавказский линейный батальон. Кому был я обязан этою милостью или этим вниманием — до сего дня не знаю наверно. Из двух предположений одно: тотчас по свидании со старшим сыном писал я В. А. Жуковскому и просил его передать мою благодарность главному содействователю к тому наследнику цесаревичу; вместе с тем упомянул, что расстроенное здоровье, изувеченная нога не позволяют мне служить. Вероятно, что цесаревич просил вторично за меня, как и после того еще несколько раз просил отца за меня, за детей моих и за моих товарищей. Или облегчение это доставил мне граф А. Х. Бенкендорф по донесению жандармского штаб-офицера Гринфельда, который донес своему шефу, что я прибыл из Сибири больной и изнуренный на двух костылях, больной же немедленно отправился из Тифлиса в полк.

На масленице собирались мы в обратный путь; ехали на колесах, хотя земля покрыта была снегом и местами подле казенных оград вьюга намела горки снегу, как бывает на севере. Ночь провели мы в греческой деревне Цынскарах, в просторной сакле. В небольшом селении обитало несколько греческих семейств, потомки издавна переселившихся греков. Хозяева и гости сидели на лавке пред небольшим очагом, возле коего с двух боков сидели и лежали соседи; на всех отражался яркий огонь с очага и красиво обрисовывал лица, от природы прекрасные и правильные. Ребенок лежал в люльке, мать поила его из рожка. Греки-красавцы живут по примеру грузин, занимаются земледелием очень худо и слабо, питаются чуреком и чихирем, самым плохим вином, и всему в целом мире предпочитают виноградный спирт. Никто из них никогда не слыхал ни об Аристиде, ни о Перикле, ничего не знали даже о Колокотрони, о Боцарисе. От греков осталось у них только название и наружный вид — остался труп бездушный.

В Грузии есть несколько колоний переселенцев из

Вюртемберга и Бадена; вероятно, от немецкого трудолюбия и уменья ожидали важной помощи для земледелия и виноделия; но в этом краю до сих пор ожидания не сбылись. Переселенцы долго боролись с климатом. Посреди живописных гор с роскошнейшею растительностью лежат смертоносные долины, в коих в известное время года, особенно во время жатвы, свирепствуют желтые горячки. В других долинах нет здоровой воды для питья. Впрочем, эти недостатки и неудобства составляют только исключения, а вообще природа здесь поставила себе памятник красоты и величия. Люди с течением столетий мало оставили здесь следов своей жизни и своих трудов, — только несколько развалин древних храмов, множество надписей на горных скалах и остатки оружия.

От М. В. Вольховской достался мне клинок шпаги, прикрепленной к рукоятке, вроде предлинного кинжала с круглыми ножнами, так что походит совершенно на посох или на палку. Эта палка была найдена в пещере при штурме черкесского аула солдатом Мингрельского полка, поднесена полковнику Казачковскому, который подарил ее начальнику штаба. Клинок этот по ковке, по определению знатоков-специалистов, принадлежит ко времени крестовых походов, а по гербу и по имени принадлежал Леопольду, герцогу Лотарингскому, который вел крестоносцев чрез Кавказ и при осаде Акра имел раздор с Ричардом Львиное Сердце. Черкесы переделали шпагу в кинжал и палку. Эта палка, с 1842 года — повсюду постоянный, неразлучный спутник, была со мною недавно в Париже[341], где обратила на себя внимание знатока древностей. На пути из Страсбурга в Марсель сидел со мною в вагоне знакомый аббат, который, обнажив клинок, прочел все знаки герба, весьма сложного, с величайшею подробностью геральдики; то пояснял «les armes»*, то «le blason»** и возвратился к XII столетию. История повествует, что со времени похода аргонавтов до переселения народов и в продолжение крестовых походов различные племена проходили чрез Кавказские горы; остатки многих племен этих оставались тут, сохранили свой первообраз, свой язык, но не оставили ничего примечательного. Грузины в своих саклях, все горцы в раскинутых

---

* герб (франц.).
** геральдика (франц.).

аулах, по горам неприступным живут так, как будто прибыли только вчера, чтобы на завтра выбраться в другое место. Где гора и скала, там и жилище у них готово. Русский солдат на Кавказе, если порядком хочет кого выбранить или укорить, то скажет: «Экая ты Азия!»

На другой день приехали в Тифлис. Дорога была твердая и легкая от морозу. Сады на берегу Куры, склоны гор к северу покрыты были снегом, когда в это время обыкновенно уже цветут миндальные деревья. В городе не было снегу; город со всех сторон окружен горами, лежит, как в котле; если там изредка и выпадает снег, то в десять часов утра его уже нет от солнечных лучей. Летом жар мучителен, тем более что температура воздуха мало уменьшается ночью, ветер не проникает в этот котел, раскаленный солнцем. Зато грозы здесь вдвое величественнее и страшнее: удары грома раскатываются беспрерывно, каждый удар отражается от горы до горы несколько раз, в продолжение гула и раската следует другой удар, третий и так далее, как батальонный огонь; после этого начинается дождь крупными каплями и потом льется как из ведра, так что с гор текут потоки, смывающие каменные фундаменты; так, в том году такой дождь снес целый угол дома, в коем жил военный губернатор. Смеркалось, когда мы приближались к городу; фонари были зажжены, дрожки повсюду были в движении, пешеходы торопились, из них на десяток офицеров или солдат приходилось по одному грузину или армянину.

До выезда моего из Белого Ключа получил я письмо от В. Д. Вольховского, в коем он писал, что при неприятной перемене в его службе он радуется, по крайней мере, что новое его назначение не может мне теперь препятствовать остановиться на его квартире. В передней его я не видел ординарца и вестового, как бывало прежде. Радушно и искренне встретили нас хозяин, хозяйка с двумя дочерьми, из них новорожденная у груди, и добрейшая тетка, общая нам мать. У них мы жили с лишком две недели. Мне сначала грустно было видеть В[ладимира] Д[митриевича], лишенного прежней должности и средств продолжать полезную службу в стране, где он прослужил лучшие годы своей жизни в совершенном самоотвержении. Он не обижался, не оскорблялся новым назначением, и когда я заметил ему, что начальник шта-

он не может отвечать за корпусного командира, что неудовольствие на последнего не должно распространяться на первого, то он возразил мне, что косвенным образом отвечает и начальник штаба.

По расстроенному здоровью хотел он оставить Кавказ за год пред тем, но, быв лично обязан барону Г. В. Розену, не хотел покинуть его в такое время и решился выждать высочайший смотр, чтобы разделить с любимым начальником все, что могло случиться, как прежде разделял с ним и славу боевую, и труды управления, и награды, и благодарности царские. Без ропота, без сожаления готовился он к новой должности; прослужив 20 лет в Гвардейском генеральном штабе, он не занимался фронтовою службою, но для своего нового назначения ежедневно стал брать уроки в ружейных приемах. Когда я откровенно выразил мое мнение, что я тотчас подал бы в отставку, выжидал бы время, когда все объяснится, и тогда опять вступил бы в службу, то он с этим не согласился в твердом убеждении, что должно всегда и везде служить отечеству, что лишен будет всех средств быть полезным. Бригада его стояла в действующей армии[342], где ожидали его большие неприятности, по личной ненависти к нему фельдмаршала Паскевича. Здесь посвящаю несколько страниц памяти В. Д. Вольховского, скончавшегося в 1841 году. Жизнеописание его было напечатано на следующий год его шурином и товарищем по лицею И. В. Малиновским[343]; там сочтены все сражения, в которых он участвовал, и все награды, им полученные, от первого крестика до трех последних звезд; там весь формулярный список, по коему можно было судить о воинских подвигах и заключить, что он стал бы со временем одним из лучших полководцев; между тем как он сам часто говаривал, что не имеет дарования, необходимого тактику. Здесь хочу я только упомянуть об истинных внутренних достоинствах человека, часто не замечаемых или сокрытых от глаз самых проницательных наблюдателей, которые нередко приписывают чрезмерному честолюбию то, что проистекало из самого чистого нравственного источника, из самых твердых правил человеколюбия, честности и из любви христианской.

В. Д. Вольховский, первый воспитанник императорского Царскосельского лицея, по окончании экзамена в 1817 году был первым по выпуску и немедленно пригото-

вился к другому экзамену по военным наукам, чтобы поступить прямо в Гвардейский генеральный штаб. Быв еще молодым офицером, участвовал он в первой экспедиции в Хиву в 1819 году с Бергом[344] и приобрел уважение людей, бывших с ним в сношениях. Чрез три года он был принят капитаном Бурцовым в тайное общество, имевшее целью распространить общественное благоденствие; члены обязывались, каждый по своим силам, распространять полезные знания, занимать должности самые трудные и даже низшие по чину и званию, чтобы и в таких местах действовать в пользу справедливости и бескорыстия. Члены не скрывали этой цели от лиц, достойных им содействовать, и поступали тайно только там, где недоброжелательство или невежество могло им противопоставить препятствия. В 1821 году виделся я с ним в первый раз в Минске, потом в Вильне в кругу молодежи; всегда кроткий и смиренный, умел он отклонять пустословие, умным взглядом и словом останавливал он непристойные выходки, защищал жертву злословия или уходил, когда карты и вино заменяли разговор. Не имея никакой помощи из родительского дома, жил он чрезвычайно умеренно и расчетливо в артели с Бурцовым, Семеновым, Искрицким и Колошиным; из своего жалованья и наградных денег делился он с отцом своим. В 1824 году был он в экспедиции в Бухаре с полковником Мейендорфом. В 1825 году вышел он в отставку, полагая быть полезнее в гражданской службе, где имел бы меньше расходов и больше средств помогать ослепнувшему отцу; но место, обещанное ему Олениным, президентом Академии, было между тем отдано другому. Начальник штаба Гвардейского корпуса А. И. Нейдгардт упрашивал его оставаться в военной службе и словесно и письменно отговаривал его от отставки и с радостью содействовал к назначению его опять в прежнюю военную службу. Он получил командировку в Бухару, откуда возвратился летом 1826 года.

Когда началась война на Кавказе против Персии, то отправили туда Вольховского, где он в продолжение всей войны персидско-турецкой имел трудную и важную должность обер-квартирмейстера; все движения и расположения войск не давали ему покоя ни днем, ни ночью. Авангардом начальствовал славный товарищ его Бурцов и наполнял своими подвигами все военные реляции.

В то время встретился с Вольховским совоспитанник лицея, знаменитый поэт Пушкин, и передал нам, как он застал труженика, измученного усталостью[345]. Непостижимо, откуда и отчего возродилась ненависть к нему Паскевича! Никогда Вольховский не открывал этой причины, даже не намекал о ней; однажды спросил он преемника своего по должности, только что прибывшего прямо из Варшавы: «Вспоминает ли меня фельдмаршал?» — «Он никому не скрывает, что он вас ненавидит», — был ответ. Десять лет после того я мог себе объяснить это дело: во время венгерской войны[346], когда генерал Д. Е. Сакен назначен был принять там участие и средоточить главные резервы, то фельдмаршал в час негодования сказал: «Одну я сделал глупость в жизни, что на Кавказе не велел повесить Сакена и Вольховского». Сакен, достойный и храбрый генерал, был у него начальником штаба, когда Вольховский был обер-квартирмейстером; они оба имели беспрестанные с ним сношения, получали и исполняли его приказания... Всегда беда подчиненному, который бывает свидетелем промахов тщеславного начальника[347].

В 1830 году Вольховский поехал в отпуск, проводил жену мою в Москву, а к зиме спешил в Петербург. Когда он представлялся Дибичу в Мраморном дворце, то как только граф Забалканский увидел его издали входящего, то устранил много генералов, стоявших впереди, с распростертыми объятиями встретил прибывшего полковника и предложил ему другую службу в другом месте: тогда готовились действовать сперва против Людовика-Филиппа, после против поляков. Вольховский был произведен в генералы на тридцатом году своей службы[348], назначен был находиться при Отдельном Литовском корпусе, коим командовал барон Г. В. Розен, с которым ближе познакомился. Когда по окончании войны Розен назначен был командовать Отдельным Кавказским корпусом, то предложил Вольховскому место начальника штаба. В этой должности служил он шесть лет в самое трудное время, когда фанатик Кази Мулла и ученики его постоянно раздували пламя войны и возмущения; когда ежегодно русское оружие присваивало себе части берега Черного моря и проникало все далее в горы с другой стороны, с берега Каспийского до гор Дагестанских. Человеку, который участвовал во всех главнейших экспе-

дициях, столько лет находился в этой стране, знал ее хорошо, который совершенно чужд был даже мысли о корысти, совестливо исполнял свою обязанность, — такому человеку дали бригаду в окрестностях Минска! Но именно в таких случаях выказывается достоинство и характер человека: без ропота, без жалобы, без ответа готов он был служить везде; как он прежде не возносился, не гордился при возвышении своем, так теперь не обижался уничижением.

В Пятигорске я жил с ним два месяца под одною крышею; встречал там явную противоположность ему смещенных с должностей генерал-адъютанта и атамана Кавказского, — тайный червь точил их сердце, всегдашний разговор их был о нанесенной им обиде, — они сами себя мучили. Вольховский никогда не вторил их жалобам; у него на уме были не звезды, не аксельбанты, не деньги — он думал о существенной пользе, которую мог принести повсюду, где находился.

Прослужив больше полугода на новом месте, убедившись, что всякий другой генерал-фронтовик и шагистик голосистый мог быть полезнее его в бригаде, вышел в отставку и поселился в деревне жены своей в Каменке, в Изюмском уезде, где жалел только, что он по своему чину не мог быть избран в уездные судьи, чтобы на невидном месте сделать множество добра неприметным образом. Там, в уединении, он прилежно читал и изучал Тэера и других рациональных сельских хозяев, деятельно старался об улучшении быта крестьянского. Среди этих занятий что-то тянуло его к берегам Днепра, ближе к родине, или соседи были не совсем по душе ему, как совершенно неожиданно посетило его горе: он лишился второй дочери своей[349], которая цвела здоровьем и красотою, уже бегала и начала говорить — и в несколько дней ее не стало. Он перенес этот удар с христианскою покорностью, утешал пораженную печалью жену и словом и примером.

Летом 1840 года он должен был ехать в Москву по делам сестры своей. Там он увидел любимого и уважаемого прежнего своего начальника барона Г. В. Розена, утомленного болезнью, а еще более страждущего от участи зятя и от пренебрежения, в коем он оставлен был уже два года. Вольховский тотчас написал графу А. Х. Бенкендорфу, описал, в каком состоянии увидел

своего бывшего начальника, и просил, чтобы граф, как сослуживец и товарищ барона, ходатайствовал у императора за заслуженного старца. Бенкендорф написал ему ответ с фельдъегерем и спросил, о чем именно он может просить государя и что он готов исполнить такое благородное заступничество. Вольховский сообщил Розену все, что он желал сделать для его успокоения, и уговаривал его откровенно сообщить свои желания в надежде, что это будет исполнено готовностью Бенкендорфа. Но все убеждения были напрасны: обиженный старец, прослуживший 48 лет без укора, не мог решиться на прощение, между тем фельдъегерь ждал ответа, и ждал напрасно. Тогда Вольховский просил об облегчении участи кн. Дадиана, сосланного в Вятку; просьба эта была исполнена, и страждущий отец имел утешение видеть дочь свою и зятя, которому дозволено было жить в окрестностях Москвы.

В кратком очерке характера и правил Вольховского мне невозможно упоминать о всех благородных поступках его; коснусь только одной еще черты, поражающей особенно в наше время, когда все поклоняются деньгам. Отцовское небольшое имение, которое он освободил от залога, и оттого, кроме права наследства, оно должно было перейти в его владение, он уступил в пользу братьев и сестры, помогал ежегодно из своего жалованья, из коего не откладывал для себя ни копейки. В последние годы своей службы получил он аренду на 12 лет; при отставке взял он эти деньги вперед, употребил часть на улучшение хозяйства, а остальную отдал родным. В превратностях жизни всегда отрадно встретить человека с такою душою, с такими правилами; он поддерживает веру в добродетель.

На другой день моего приезда в Тифлис получил я приказание явиться к бывшему корпусному командиру. Он уже переехал тогда из квартиры главнокомандующего и жил в частном доме доктора Прибеля. Когда я выразил ему мое соболезнование, то он сказал: «Я испытал, что нехорошо служить слишком долго». Он только ожидал приезда Е. А. Головина, чтобы следовать за семейством в Москву. От него поехал я к новому начальнику штаба, полковнику П. Е. Коцебу, который от родных моих получил просьбы доставить мне возможные облегчения; он объявил мне свою готовность быть мне по-

лезным; но куда поместить солдата на двух костылях, который даже не годился в канцелярскую должность, потому что больная нога не позволяла мне прямо сидеть?

С особенным наслаждением увиделся в Тифлисе с милым товарищем моим А. И. Одоевским после шестилетней разлуки, когда расстался с ним в петровской тюрьме. Он между тем поселен был в Тельме, близ Иркутска, после в Ишиме и в одно время со мною назначен солдатом на Кавказ, где служил в Нижегородском драгунском полку в одно время с удаленным туда Лермонтовым. Назначением в солдаты и освобождением своим из Сибири Одоевский обязан был своему посланию к отцу в стихах, которое из III Отделения собственной его величества канцелярии, куда отправляема была вся наша корреспонденция, передано было императору Николаю и так понравилось ему по выраженным чувствам любви сына к отцу, а может быть, и за поэтическое выражение или сожаление о прошлом, что приказал тотчас освободить Одоевского от вечного поселения в Сибири и перевести его рядовым на Кавказ[350]. Одни укоряли Одоевского за такую выходку, другие извиняли его тем, что поэту все дозволяется: и кадить, и льстить, и проклинать, и благословлять — лишь бы отборными, музыкальными стихами. В народе, конечно, идет поговорка: «Что написано пером, того не вырубишь топором». Поэт сам смотрел на эти стихи, как на единственную пилу, которою он мог перепилить железную решетку своей темницы и выйти на волю. С намерением помещаю здесь его стихотворение, чтобы после не искажали его и не придавали ему другого смысла. Одоевского застал я в Тифлисе, где он находился временно по болезни. Часто хаживал он на могилу своего Грибоедова, воспел его память, воспел Грузию звучными стихами, но все по-прежнему пренебрегал своим дарованием. Всегда беспечный, всегда довольный и веселый, как истинный русский человек, он легко переносил свою участь; быв самым приятным собеседником, заставлял он много смеяться других и сам хохотал от всего сердца. В том же году я еще два раза съехался с ним в Пятигорске и в Железноводске; просил и умолял его дорожить временем и трудиться по призванию; мое предчувствие говорило мне, что недолго ему жить; я просил совершить труд на славу России. Чрез год, находясь в экспедиции на берегу Черного моря, захворал он горяч-

кою и в походной палатке, на руках К. Е. Игельстрома, отдал богу душу, исполненную любви.

ПОСЛАНИЕ К ОТЦУ

Как недвижимы волны гор,
Обнявших тесно мой обзор
Непроницаемою гранью!
За ними — полный жизни мир,
А здесь я, одинок и сир,
Отдал всю жизнь воспоминанью.

Всю жизнь, остаток прежних сил
Теперь в одно я чувство слил,
В любовь к тебе, отец мой нежный,
Чье сердце так еще тепло,
Хотя печальное чело
Давно покрылось тучей снежной.

Проснется ль тайный свод небес,
Заговорит ли дальний лес,
Иль золотой зашепчет колос —
В луне, в туманной выси гор
Всегда мне видится твой взор,
Везде мне слышится твой голос.

Когда ж об отчий твой порог
Пыль чуждую с иссохших ног
Стрясет твой первенец-изгнанник,
Войдет, растает весь в любовь,
И небо в душу примет вновь,
И на земле не будет странник...

Нет, не входить мне в отчий дом
И не молиться мне с отцом
Перед домашнею иконой;
Не утешать его седин,
Не быть мне от забот, кручин
Его младенцев обороной!

Меня чужбины вихрь умчал
И бросил на девятый вал
Мой челн, скользивший без кормила.
Очнулся я в степи глухой,
Где мне не кровною рукой,
Но вьюгой вырыта могила.

С тех пор, займется ли заря,
Молю я солнышко-царя
И нашу светлую царицу:
Меня, о солнце, воскреси
И дай мне на святой Руси
Увидеть хоть одну денницу.

Взнеси опять мой бедный челн,
Игралище безумных волн,
На океан твоей державы,
С небес мне кроткий луч пролей
И грешной юности моей
Не помяни ты в царстве Славы!

Александр Одоевский[351]

Ишим, 1837 г.

Много русских поэтов умерли преждевременно, в молодых летах, много и насильственною смертью: Грибоедов, Рылеев, Пушкин, Бестужев, Лермонтов. Александр Александрович Бестужев 2-й был произведен во второй раз в офицеры, находился в Тифлисе, когда получил весть о кончине Пушкина. Тогда писал он к старшему брату своему Николаю в Сибирь: «В монастыре св. Давида, на могиле Грибоедова слушал я панихиду, которую просил служить в память Пушкина; когда священник возгласил за упокой боярина Александра и боярина Александра, я заплакал, зарыдал; мне казалось, мне чувствовалось, что отец духовный уже поминает и меня»[352]. Грибоедова также звали Александром. В том же году Бестужев был изрублен черкесами. Во время сражения при мысе Адлере находился он в должности адъютанта при Вольховском и несколько раз напрашивался идти в цепь застрельщиков. Генерал заметил ему, что никакой нет надобности подвергать себя опасности, что там начальников довольно, и еще прибавил: «У вас и без того довольно славы!» Но Бестужев просил неотступно, громко при свидетелях, и когда дело завязывалось и загоралось все живее, когда выстрелы черкесские раздавались все чаще, все ближе, когда надобно было дать приказание к отступлению всей цепи застрельщиков, то Вольховский не мог не отправить Бестужева.

В сопровождении двух телохранителей пошел он к цепи, отдал приказание, велел горнистам трубить наступление, что с одного фланга было тотчас исполнено, но как действие происходило в густых кустарниках, перерезанных оврагами, и другой фланг мог не слышать данного сигнала, то Бестужев шел к нему вдоль растянутой цепи. Цепь застрельщиков не могла равняться по местности: кустарник, папоротник, сплетенные диким виноградником, препятствовали скорому и свободному сообщению и скрывали часто и своих и чужих. В таком месте две

черкесские пули ранили Бестужева в грудь. Телохранители взяли его на руки, чтобы вынести, он уговаривал их умирающим голосом оставить его умирающего; черкесы ударили в шашки, один из телохранителей был убит, другой спасся, а Бестужев был так изрублен на части, что по окончании сражения не нашли никаких следов изрубленного трупа. Три поэта, три Александра, трое погибли насильственною смертью, каждому из трех было тогда по 37 лет от роду[353]. Одоевского также звали Александром; он родился поэтом, приближался его 37-й год — эти сравнительные сходства были источником моего предчувствия.

От Бестужева осталось много сочинений, из коих часть была напечатана еще до 1825 года. С 1832 года писал и печатал он под именем Марлинского — это имя он сам для себя выбрал в воспоминание беседки Марли в Петергофе, где он служил в лейб-гвардии Драгунском полку. Его русские повести и рассказы могут служить образцом легкости и плавности слога. Н. А. Полевой ставил его в ряд лучших прозаиков того времени. Его «Аммалат-Бек» и «Мулла-Нур» еще теперь читаются с удовольствием; местная природа и местная жизнь описаны превосходно. В. А. Перовский, тогда генерал-губернатор оренбургский, просил государя о переводе Бестужева в Оренбургский край, чтобы описать край и знакомить читателей с кочующими жителями степей, на что получил ответ, что Бестужева следует послать не туда, где он может быть полезнее, а туда, где он может быть безвреднее; черкесы покончили это недоумение и лишили трех сестер и трех ссыльных братьев единственной родной опоры[354]. А. И. Одоевский никогда ничего не печатал, даже редко сам писал свои стихи, но диктовал их охотно своим приятелям. Некоторые мелкие стихотворения его были напечатаны Пушкиным в «Литературной газете»[355]. А. П. Беляев имел полное собрание стихов вдохновенной музы. В читинском остроге сочинил он на смерть Веневитинова «Умирающий художник» — как будто написал для себя; я помню отрывок:

Нет! — снов небесных кистью смелой
Одушевить я не успел;
Глас песни, мною недопетой,
Не дозвучит в земных струнах,
И я — в нетление одетый...
Ее дослышу в небесах.

Но на земле, где в чистый пламень
Огня души я не излил,
Я умер весь... И грубый камень,
Обычный кров немых могил,
На череп мой остывший ляжет
И соплеменнику не скажет,
Что рано выпала из рук
Едва настроенная лира
И не успел я в стройный звук
Излить красу и стройность мира[356].

В марте собрались снова в путь, обратно чрез Кавказские горы. До Койшаурской долины, до квартиры окружного начальника князя Авалова, ехали мы на колесах. Гостеприимные хозяева так же радушно приняли нас, как в первый проезд наш в Грузию. Тяжелые экипажи отправили на волах, а сами поехали в двух санях, на двух тройках до Коби, без остановки; только местами было страшно, где сани раскатывались к краю пропасти. Горы и все на горах покрыто было снегом, но белизна снега отсвечивалась различными оттенками на вершине гор, в долине, в ущелье и в пропасти. В Коби я рад был увидеться со штабс-капитаном Черняевым и снова благодарил его.

Из Владикавказа до Екатериноградской станицы по военной дороге мы этот раз ехали без оказии, имея при себе семь вооруженных солдат. На половине дороги ночевали. В это время года нет большой опасности, оттого что кони горцев тощи и нет подножного корму. В определенных местах, возле самой дороги, мирные черкесы сваливали строевой лес для постройки деревень, в коих назначено было поселить женатых солдат и выслужившихся; им назначено было вспомоществование, провиант и порох. Земли плодородны: можно надеяться на успех и на пользу этих поселений; ворчали и роптали только мирные черкесы и кабардинцы на тяжелую работу при доставке бревен и на предстоявшее уменьшение пространства прежних пастбищ. В двух верстах по сторонам дороги видны были их кошары и стоги сена.

От Георгиевска повернули мы налево и благополучно прибыли в Пятигорск 18 марта. У большой каменной гостиницы встретил нас комендантский ординарец и спросил: «Откуда и кто изволите ехать?» — «Из Тифлиса рядовой Ровен». — «Не может быть-с, ваше превосходительство, комендант приказал узнать-с». Вероятно, он принял меня за одного из родственников-однофамильцев,

служивших на Кавказе. «Скажи, братец, коменданту, что точно рядовой». — «Не может быть-с!» — повторил ординарец. Летом того же года случилось мне еще забавнее слышать на бульваре из уст прекрасной и щегольски разряженной дамы: «Не может быть!»

Глава четырнадцатая

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

Пятигорск. — Александровский источник. — К. Х. Рожер. — «Не может быть». — Товарищи и оскорбление. — Засс. — А. А. Вельяминов. — Шотландская колония. — Пастор Ланге. — Миссионеры. — Железноводск. — Кисловодск. — Нарзан. — Отставка. — Не поминай лихом. — Могила. — П. Х. Граббе. — 1 мая. — Езда на долгих. — Кавказ 1839

Уже давно литографированы и фотографированы виды Пятигорска; в газетах и журналах часто помещаемы были статьи о целительных свойствах его источников, так что излишне было бы об этом распространяться. Год за годом воздвигаются там новые здания и украшения. В кратких словах упомяну о Пятигорске, как он был в 1838 году. Город построен на левом берегу Подкумка на покатости Машука, имеет одну главную улицу с бульваром, который ведет в гору, на коей рассажена виноградная аллея близ Елизаветинского источника, где устроена крытая галерея. В различных местах горы, в недальнем расстоянии, бьют серные ключи различной температуры, от 21° до 37° теплоты; при них устроены роскошная обширная купальня Николаевская и скромные купальни Александровская, Ермоловская, Сабанеевская, Варварциевская и Елизаветинская. При тихой погоде летом, при тумане зимою по всему городу распространяется сильный серный запах. Главным начальником, комендантом города был прежний мой сослуживец и хороший товарищ В. М. Симборский; он дружески встретил меня и во всю бытность мою в Пятигорске оказывал мне много внимания. Из Мингрельского егерского полка был я переведен в линейный Кавказский 3-й батальон, которого штаб расположен был в Кисловодске; командиром был почтенный штаб-офицер, участвовавший в войне 1812 года, подполковник Принц. Моя обмундировка была окончена в один день, стоило только переменить воротник, погончики и пуговицы. Чрез месяц приехали наши родные из

Тифлиса, наняли большой отдельный дом, в котором жили вместе. В. Д. Вольховскому необходимо было пользоваться водами для подкрепления здоровья, которое много потерпело от постоянного труда и писания: случалось ему сиживать за письменным столом до обморока.

Докторов было много в Пятигорске в военной больнице, при источниках для больных посетителей, при местных войсках, и еще были приезжие врачи. Я просил совета у главного военного штаб-лекаря Лебединского; он предписал мне Александровские ванны № 1-й. Эта славная ванна высечена в скале, дно ее и оба бока имеют трещины, из коих минеральный ключ течет беспрестанно; у правой стенки ванны просверлено отверстие для спуска воды, когда она подымется выше подбородка. Во всех других ваннах, если больной посидит в них хоть десять минут, то все же испаряется вода, переменяет температуру или — что бывает хуже — слишком горячую воду разводят холодною. № 1-й делает большое исключение: природный жар его воды можно вытерпеть, вода все в одинаковой силе — 37°. Больной спускается в ванну по трем высеченным в скале ступенькам; лишь опустит ногу в ванну, то в первое мгновение покажется, что обварил ее; как только сел в ванну, то становится легче дышать, оттого что мгновенно является испарина; в ванне можно высидеть не более 8 или 10 минут. Вышед из ванны, ложился я в боковой комнате на деревянную широкую скамейку, выпивал несколько стаканов этой горячей воды, после чего градом катился пот. Вода совершенно прозрачна и чиста, но заключает в себе столько серы, что когда ванщики подставляют деревянные кресты под проток воды, то в два или три дня эти кресты покрываются серою в палец толщиною и получают вид каменных крестов; самого чистого стекла стакан тускнеет мгновенно от этой воды; воздух в этой комнате так напитан серою, что серебряные эполеты, пуговицы в минуту пожелтеют, даже серебряная монета, которая была у меня в кошельке, в кармане, пожелтела. После каждой ванны растягивал я больную ногу по силам моим и уже после пятой ванны чувствовал и слышал, как больное место хрустело и постепенно вытягивалось; после двадцати ванн я мог носком больной ноги дотрагиваться земли. Вода притом сильно очищала желудок. Лебединский был в восторге, а у меня уже начинались обмороки по возвращении

домой. Доктор все уверял, что это к лучшему, что надобно взять еще двадцать ванн; наконец я так ослабел, что почти двигаться не мог; тогда решился просить совета у другого врача и, к счастью моему, попал на отличного.

Не только мне, но и всему семейству моему оказал Карл Христианович Рожер величайшие услуги; он исполнял свои обязанности не по одной только любви к науке, но и по любви к человечеству. Постоянно вспоминаю его с особенным чувством благодарности. Он учился в Дерптском университете на казенный счет. Не имев никакого постороннего покровительства, он по окончании курса назначен был уездным лекарем в Тару Тобольской губернии. Прилежно стал он учиться русскому языку, сам отыскивал бедных больных в городе и в округе, лечил безвозмездно, излечивал от труднейших болезней, так что молва о нем разнеслась по пустынным местам Сибири и дошла до Тобольска. Генерал-губернатор И. А. Вельяминов вызвал его в Тобольск, где круг деятельности его расширился по городу и в обширной городской больнице. Когда по границе Сибири, в Оренбургском краю, появилась холера, то Рожер был туда отправлен для наблюдения и пользования; болезнь губительная не проникла в Сибирь. Когда Вельяминов получил другое назначение, то поручил Рожера брату своему Алексею Александровичу, командовавшему войсками на Кавказской линии; с того времени Рожер постоянно действовал в Пятигорске. Он запретил мне брать Александровские ванны, дал мне три недели отдыха, потом предписал ванны Сабанеевские, которыми я пользовался до июля месяца.

Пятигорск, безлюдный тихий городок зимою, вдруг в половине мая переполнился приезжими и закипел. Посетители были большею частью из наших степных губерний, немного из обеих столиц, а всего более было офицеров Кавказского корпуса. Достоверно, что минеральные воды в Пятигорске, в Железноводске и в Кисловодске не уступают в целебных силах никаким другим водам в целом мире; природная лаборатория дает им такую температуру, что не нужно разводить их: для различных болезней есть источники различной теплоты. Если город и число жителей увеличились не довольно скоро и значительно, то причиною тому не минеральные воды, не вра-

чи местные, не климат, но дальнее расстояние, неудобства на пути от самого Харькова, по донской земле, где не было станций для ночлега. Кроме того, расходы на пути, пребывание на водах стоят дороже, чем поездка в Баден-Баден или в Виши, чем жизнь за границей, где дешевле и в двадцать раз лучше можно иметь квартиру и стол, все готово, все отборно. Доныне, пока нет туда сообщения по железной дороге, Пятигорск остается лечебницею для кавказских воинов и для жителей южной России. Правительство много содействует к пользе и к украшению города: построены огромный дом для раненых офицеров, больницы, купальни, рестораций. Граф Орлов-Денисов выстроил большой дом для больных и раненых Донского войска.

Пестрота одежды, форм, моды чрезвычайно разительна в Пятигорске, оттого что кроме русского и европейского покроя можно видеть и азиатский. По вечерам бульвар наполнен прогуливающимися; близ Николаевских ванн играет военная музыка; тут я в первый раз услышал «Норму»[357]. Офицеры в черкесском наряде гарцуют на славнейших черкесских конях. Раз в неделю бывают собрания, танцуют здоровые и больные, играют в карты, как везде. Машук служит хорошим местом для прогулки, на вершине Эолова арфа немного расстроена; посетители охотно ездят за город семь верст в Шотландскую колонию. По возможности избегал я общей прогулки: при встрече с офицерами я должен был каждый раз останавливаться, иначе не мог снять фуражки, как опираясь на двух костылях; иногда выходил с детьми, чтобы они могли слышать музыку; тогда садились над гротом под белою акацией, а навстречу идущие офицеры стали сворачивать в другую сторону или обращались назад, чтобы не заставить меня останавливаться. Была встреча и забавная: пред обедом, когда было мало гуляющих, пошел я с детьми по бульвару, по полукруглому обходу Николаевских ванн по горе к Ермоловским ваннам; дети резвились, шутили, бегали; по другой стороне широкой аллеи шли две дамы, прехорошенькие и разряженные; одна из них обратилась ко мне лицом и спросила: «Служивый! Служивый! Чьи это дети?» — «Мои, сударыня». — «Не может быть!» — сказала она. Другая дама, шедшая с нею, дернула ее за мантилью и шепнула ей на ухо; я невольно засмеялся, поклонился и

благодарил за откровенность. Она приняла меня в солдатской шинели за дядьку-инвалида. Она была жена военного, знала, что старый солдат при детях есть славнейшая нянька: он их сбережет как глаз свой, умеет их забавлять играми и сказками. Русский солдат везде годится. Военные экспедиции на Кавказе кончаются в июне, тогда прибыли несколько из моих сибирских товарищей: Нарышкин с женою, Одоевский; осенью приехали Назимов и Вегелин, Валериан Голицын, Кривцов и Цебриков; трое последних были уже произведены в офицеры и собирались в отставку. В числе посетителей были замечательные лица, с которыми часто встречался в Пятигорске и в Железноводске. Генерал-адъютант Ностиц был болен без болезни; его телосложение было самое крепкое, его мужество и отчаянная храбрость были испытаны и доказаны геройскими подвигами; казалось, невозможно было расстроить ничем такое здоровье. В 1824 году, когда он командовал армейским кавалерийским полком, когда зимою начальник штаба 2-й армии П. Д. Киселев ехал по месту расположения полка, то граф Ностиц встретил его на почтовой станции при 20° морозе и представил ему ординарцев. Киселев принял их, но приказал командиру при таком морозе не беспокоиться, сказав, что он в этот раз не осматривает войско и знает, что на следующей станции расположена также часть его полка, где, наверно, все исправно. Генерал на двух курьерских тройках в сопровождении полковника Абрамова и старшего адъютанта своего Басаргина поскакал далее, граф Ностиц оставался на крыльце. Каково же было удивление Киселева, когда, прибыв на следующую станцию, был опять встречен графом Ностицем, который представил ему других ординарцев. Каким образом мог он перегнать курьерские тройки зимою? Он при 20° мороза сел на лихого коня своего и по известной ему ближайшей дороге опередил генерала. Об этом случае упоминаю не как о подвиге, но как о доказательстве крепчайшего сложения и сильной воли. Я часто видался с ним: в беседах, в выходках старался он сохранять обычную свою живость и бодрость, но червь точил его сердце, честь его была оскорблена одним царским словом на параде, и дух его был убит. Чрез два месяца по возвращении с минеральных вод в полтавское свое имение он скончался.

Генерал Засс, страшилище черкесов, оставил по себе продолжительное воспоминание на Кавказе. Экспедиции, бои были для него забавою, потребностью, как травля для охотника, как вода для рыбы. Две недели, проведенные в покое, наводили тоску на него или возрождали болезнь, между тем как неожиданный ночной набег и опасность вылечивали его в минуту. Говорили, что будто он преувеличивал опасности в своих реляциях и иногда тревожил напрасно; но достоверно, что он своею личностью наводил величайший страх на неустрашимых черкесов. В храбрости его никто не сомневался, между тем он с горцами употреблял и различные хитрости, то притворяется больным, лежа в постели, окружив себя лекарствами, при завешенных окнах, принимает уполномоченных от горцев, говорит о деле умирающим голосом, — и в ту же ночь несется с отборною дружиною и штурмует их аул.

В другой раз, когда он вознамерился выманить неприятеля в значительном числе, он распустил слух о болезни своей и чрез три дня приказал сделать все приготовления к мнимым похоронам, гроб опустили в могилу, из пушек стреляли возле кладбища. Горцы, возрадуясь его смерти, собрались толпами в назначенное сборное место, где «умерший» Засс на своем гнедом коне, с летучим отрядом, обработал их порядком. Случилось, что один из уполномоченных от черкесов, возвратившись из Прочного окопа, главной квартиры Засса, умер скоропостижно, и враги распустили слух, что он был отравлен по приказанию Засса; слух о таком злодействе пробежал по аулам. Засс приказал объявить начальнику главного аула, что в назначенный день отправит к ним депутата от себя для объяснения этого дела. Черкесы собрались во множестве и были удивлены, когда в лице депутата узнали самого генерала Засса в сопровождении одного только переводчика! Личное его появление без телохранителей, краткое объяснение дела уничтожили всякое подозрение и еще более увеличили страх и уважение горцев к герою. Известно, что черкесы при поражении в битве стараются выносить тела убитых родных и товарищей: однажды в жаркой битве черкесы бежали, казаки, преследуя, теснили их в самом близком расстоянии, тогда Засс заметил смелого черкеса, который, пренебрегая опасностью, влачил тело убитого собрата и непременно

попал бы в плен. Засс остановил казаков, подскакал к смелому черкесу, сказал ему, чтобы он спокойно вынес тело, и бросил ему кошелек свой на дорогу[358]. Таким поступком он внушил к себе удивление дикого врага, который по его неустрашимости видел в нем человека заколдованного. Глаза Засса были всегда налиты кровью от постоянного воспаления; раны его не мешали ему беспрестанно воевать; раздробленная ступня ноги поддерживалась перевязкой. Любимым оружием был у него кинжал, а конь его гнедой когда идет шагом, то весь отряд следует не иначе как рысцою. На Кавказской линии помнят сотни геройских подвигов Засса. После недолгой отставки дали ему дивизию или отряд во время венгерской войны, по окончании он опять вышел в отставку; его элемент был Кавказ.

Когда я прибыл на Кавказ, то войсками на всей линии командовал Алексей Александрович Вельяминов, бывший начальник штаба у Ермолова. При знании края, военного искусства имел он необыкновенное хладнокровие и спокойствие, которое иногда при важных и опасных случаях выводило Ермолова из терпения. Летают депеша за депешей о вторжении персиян, а он лежит себе на диване и диктует приказания. Он понравился императору Николаю своею прямотою: когда он в Ставрополе представил царю свой штаб, то некоторых из представлявшихся назвал по фамилии, прибавив о полковнике Ольшевском, что тот правая его рука, а об остальных сказал: «А фамилий этих господ я и сам не знаю». Много имел он странностей: в экспедициях дюжины верблюдов носили его кухню; он любил хорошо покушать. Все, что он покупал, все, что заказывал, непременно должно было заключать одну или несколько дюжин; понадобится ли перочинный нож, или сапоги, или что-нибудь из провизии — все это покупалось по дюжине. На Кавказе оставил он память добрую не только как опытный хороший военачальник, но как истинно добрый человек. Вскоре после проезда императора он заболел и скончался. Фельдъегерь привез ему царскую награду — Владимира 1-й степени — и застал его еще в живых. Вельяминов прочел рескрипт и сказал: «Поздно!»

Старший адъютант корпусного штаба Альбрант воспел главных вождей того времени на Кавказе в подражание известной песни Беранже «T'en souviens-tu?»*

ВОСПОМИНАНИЕ ГОРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 1832 Г. ГР[АФА] ЦУКАТО

Не помнишь ли, товарищ, славной брани,
Когда мы шли, неся и смерть и страх,
Когда удар могучей русской длани,
Вздрогнув, познал наш непокорный враг?
Когда, дрожа, со страхом перед нами,
Свободы знамя горец преклонил,
Когда у нас горючими слезами,
Как робкий раб, пощады он молил?
Не помнишь ли, как на скалах Галгая
Наш гром за сводом дальних облаков
Гремел и, горы грозно потрясая,
Борьбу небесных прерывал громов?
Забыл ли ты, когда Мюрат кавказский,
Наш храбрый Эссе, летя вперед с мечом,
В Герменчуке нас вел на приступ адский
И взял завал, в окоп влетя орлом?
Не помнишь ли, товарищ мой прекрасный,
Когда в лесу, средь неприступных скал,
Наш злобный враг готовил пир ужасный
И дерзко звал на гибельный завал;
Когда пошли — и бездны задрожали...
Вольховский вел тогда со славой нас;
Там каждый шаг мы кровью обагрили,
Но смело шли, — и страх склонил Кавказ.
Не помнишь ли, когда вид гор сердитый
Невольный страх на сердце наводил,
Когда Кавказ, чалмою туч обвитый,
Стоял в снегу, как грозный Азраил.
Забыл ли ты, когда мы кочевали
На снежном поле под шатром небес,
Когда мы в тучах, как в волнах, стояли
И слилась тьма, как гроба занавес.
Забыл ли ты, когда нас Розен смелый
Чрез бездны в бездну Гимрскую провел,
Когда кавказцам, воин поседелый,
Он новый лавр победой приобрел;
Когда на льдистом теме Гимридата
Наш Вельяминов знамя водрузил,
И в пасти страшной Гимрского оврага
Он колыбель злодеев сокрушил.
Не помнишь ли... но, нет... я перестану,
Товарищ мой, былое вспоминать;
Когда от бури жизни я устану,
С семьей родной дни буду доживать,
Приди тогда, молю, в мою ты хату,
Ее огнем любви ты озари;
С тобой молиться будем мы Пенату,
Любви святой воздвигнем алтарь![*]

---

* Помнишь ли ты об этом? (франц.).

В семи верстах от Пятигорска находится Шотландская колония, так названная по первым туда переселившимся шотландцам, хотя главная часть жителей из Виртерга. Я виделся там с одним из первых переселенцев, с пастором Петерсоном, который, не имев более паствы, жил частным человеком в собственном доме, занимался садоводством и шелководством. Сад его был превосходно расположен недалеко от подножия Бештау, которого горные потоки денно и нощно орошали сад по всем направлениям по указанию хозяйского заступа; там видел я кусты и штамбы алых и белых роз-центифолий вышиною в две и три сажени.

Жители большею частью занимаются земледелием и по соседству с городом хорошо сбывают свои произведения, плоды и овощи. Сначала боролись они с великими неудобствами, пока не привыкли к климату, не приспособились к почве и к соседям; сверх того, черкесы часто их тревожили, так что работник, следуя за плугом, отправляясь из дому за сеном или хлебом, всегда имел при себе ружье заряженное; в поле и на покосе отдыхал вооруженный. Часто уводили их коней, угоняли рогатый скот и овец, пока, наконец, меры правительства и собственная их опытность не доставили им больше безопасности.

Теперь редко случается, в три или четыре года раз, что несколько отважных черкесов делают набег на Пятигорск, на Кисловодск и окрестности их. Отчаянные головорезы, как коршуны, спускаются на предместье и при первой тревоге, часто без всякой добычи, ускакивают восвояси. Большею частью они пользуются туманами, когда казацкие телеграфы не могут передавать сигналов или казаки не успеют доскакать прежде неприятеля. Телеграфами казацкими называют выставленных часовых, по три человека вместе, которые, соображаясь с местностью, устраивают себе каланчу и сверху ее караулят по очереди. Конь караульного оседлан и взнуздан, а двое товарищей и кони их отдыхают до своей очереди. Днем в случае тревоги выставленные вехи, клочки сена или связка сухой травы или прутьев передают весть от каланчи до каланчи, от пикета до пикета, до станицы, до города, куда приказано. В ночную пору они вмиг зажигают эти пучки сухой травы или сухих ветвей, а по такому сигналу команды уже в готовности прежде, нежели

летучие часовые успеют доскакать и передать подробные сведения. Помню, как мой батальонный командир, старый офицер с 1812 года, всегда досадовал на Засса, когда тот, навещая Пятигорск или Кисловодск, принимал уполномоченных и старейшин от черкесов, которые при этом случае выведывали новые тропинки и лесочки для будущих набегов.

В Шотландской колонии познакомился я с пастором Ланге, членом Базельской миссии. Он восемнадцать лет с верою и любовью наставлял своих прихожан словом и примером. Случалось мне встречать добросовестных и хороших пасторов, но нигде не видел человека, который так бескорыстно и так исключительно занимался своею обязанностью. Он знал коротко всех прихожан своих, их погрешности и недостатки. Дети, при нем родившиеся, были им же обучаемы религии, он же приобщал их таинству святого причащения на семнадцатом году их жизни и следил за ними, как за родными детьми. Где не мог действовать прямо и переступить за порог сокровенной домашней жизни, там прибегал он к своей кафедре и говорил по воскресным дням в молитвенном доме; церкви не было в селении. Никогда не писал он своих проповедей, а после пламенной молитвы обращался устно к приходу и говорил с необыкновенною привлекательностью и с полным убеждением. Он был женат, имел четырех детей и в доме своем был образцом кротости и терпения; он не держал ни лошади, ни коровы, довольствовался жалованьем от миссии, а от прихожан получал самое умеренное вспомоществование сельскими произведениями. В семейной жизни его, в обращении с паствою я видел в нем знаменитого вальдбахского Оберлина, часто беседовал с ним об этом незабвенном пасторе, умевшем распространить благо духовное и вещественное и в тридцать лет преобразовать из общины нищих и развращенных людей общину нравственных и богатых граждан близ Мюльгаузена. Ланге жалел, что здоровье его и дарование не позволяли ему руководить также работами прихожан своих.

Колония имела некоторые привилегии, в том числе право винокурения; но как несколько членов его прихода сами крепко пили, служили поводом к распространению гибельной страсти, а все его увещевания оставались много лет тщетными, то объявил им, что он должен их оставить, передать место достойнейшему, который может

им больше сделать добра; а если желают, чтобы он оставался у них, то согласился с одним только условием: чтобы они отказались от привилегии курить вино. Вещественная выгода одержала верх; напрасны были мольбы и желания благочестивых семейств: Ланге возвратился на родину в Лозанну.

В Тифлисе навестил я товарища Ланге, пастора Дитриха, мужа средних лет, но преждевременно поседевшего от неимоверно напряженных трудов. Он также был членом Базельской миссии, выучился восточным языкам, перевел Евангелие на нескольких наречиях для просвещения магометан. Миссия купила дом в Шуше, устроила типографию, печатала книги; опытные миссионеры словом и делом распространяли слово божие, находили прилежных учеников, обращали в христианство, как вдруг, вследствие наветов и зависти, дано было повеление закрыть типографию и прекратить действие миссионеров[360]. Из них у пастора Ланге встретил я Зарембу, ревностного служителя богу и ближним. Он без ропота, без укора ждал нового назначения из Базеля. Ему досталось ехать в Константинополь; на другой же день получения нового назначения отправился в путь, готов был идти на край света, к дикарям, лишь бы служить богу по данному обету. Все они не знали неги и прихотей, довольствовались самою умеренною пищею, скромною одеждою, сберегая казну, составленную для общего блага. В них, видимо, обнаруживалась сила веры; они с верою соединяли отличное образование.

Может быть, удачное действие миссионеров из Закавказии, особенно между персидскими армянами, также служило поводом к неудовольствию на корпусного командира, тогда же смещенного. После я узнал, что Ланге умер на родине, а Дитрих приобрел в Москве любовь и доверенность нового прихода. О Зарембе не имел никаких сведений после того, как в Шотландской колонии слушал его проповедь, оригинальную, сильную и хорошо приноровленную к понятиям слушателей.

В конце июня большая часть пользовавшихся серными ваннами переехали по совету докторов кто в Железноводск, кто в Кисловодск, кто в Ессентуки к водам щелочным. Мы поехали в Железноводск, шестнадцать верст от города. Помещение там было тесное, в небольших домиках, в двух порядочных домах казенных у подошвы

горы. От источника № 1, вдоль покатости горы, ведет широкая тропинка к остальным десяти источникам. Густая тень орешника, кизиля, клена и бересты дает всегдашнюю прохладу; по сторонам дорожки поставлены скамейки; посетители должны непременно встречаться, потому что нет другой дорожки, а лесок в таком диком и заросшем состоянии, что трудно пройти по нем; к тому еще он и опасен от множества больших змей. Молодой офицер Преображенского полка Раевский забавлялся охотою змеиною и с большою ловкостью очень часто возвращался с трофеями; на плече, на конце палки висел обвитый добитый змей длиною в две сажени.

Железные воды чрезвычайно целебны и укрепляют нервы, только не должно пользоваться ими без совета врача опытного. Жена моя не могла взять более пяти ванн, потому что слишком волновали кровь. Воды различны по силе, теплоте и вкусу. Я брал ванны № 7-го. Чрез несколько ванн, когда садился обедать, то казалось, что суп пахнет железом, хлеб железом, одним словом, всякое кушанье, а запах этот исходил из пор руки моей, когда подносил ко рту хлеб и кушанье. Один источник не имеет купальни: он употребляется только для питья; вкус воды совершенно чернильный; она особенно полезно действует против глистов. Необходимую провизию доставляют колонисты из Шотландки; всего помещается больных не более восьмидесяти человек, кроме солдат, имеющих свою отдельную больницу. Зимою живут здесь только сторожа.

В Железноводске поплатился я за неосторожность, за нарушение докторского предписания: я скушал ломтик арбуза и так заболел холериной, что умение и дружеское усердие Рожера с трудом поставили меня на ноги. Домик наш стоял на покатости горы подле небольшого ручья; однажды дождь полил как из ведра, так что вода протекла чрез фундамент по всем комнатам. По тесноте строений и по живительности воздуха, посетители по возможности бывают долее под открытым небом; возле меня, на берегу ручья, под деревом, собирался кружок каждый вечер, беседовали далеко за полночь. Умные и сатирические выходки доктора Мейера, верно нарисованного в «Герое нашего времени» Лермонтова[361], поэзия Одоевского и громкий и веселый смех его еще поныне слышатся мне.

В конце июля большая часть посетителей перебирается в Кисловодск, там чудная местность, воздух живительный. Кисловодское ущелье представляет одну из прелестнейших картин: возвышенности тенистые, ручей с шумом падает с плиты на плиту, соединяется с другими ручьями и втекает в Подкумок, прорезывающий широкую долину; на берегу ручья на холме — ресторация и несколько красивых домиков. Свежесть трав так необыкновенна от влаги и от тени. Далее в стороне от ущелья тянется в одну линию слобода, где всякая конурка, всякий чердак заняты посетителями. Но главная приманка в Кисловодске — славный источник Нарзан, по-черкесски — *Богатырская вода*. Ключ кипит в полном смысле слова, выбивает белую пену, клубится, подымает воду на полсажени глубиною. Вода эта живит, подкрепляет, возбуждает аппетит, пьют ее по шестнадцати стаканов в день, не ощущая никакого отягощения в желудке; вкусом она приятно кисловата; охотники пили ее с кахетинским или с донским вином, вместо лимонада. Мне было запрещено купаться в Нарзане; он слишком раздражает нервы. Купавшиеся в этой воде уверяли, что, побывав в ней несколько минут, чувствовали как будто иголки кололи по всем порам, тело мгновенно краснело и горело; люди полнокровные получали сильную головную боль.

Большую часть больных, встреченных мною в Пятигорске с бледными лицами, двигавшихся едва с помощью палки, видел я под конец курса в Кисловодске со свежестью и с румянцем на лице, бойких во всех движениях; малосильные стали богатырями. Кто пил нарзан несколько недель сряду, тому трудно расставаться с ним. Отъезжающие наполняют им кувшины и возят с собою сколько возможно, а когда допьют последний, то грусть, тоска непобедимая исторгает у кого вздохи, как разлука с другом. Нарзан живит больного и расслабленного, но все на время определенное. Там постоянно жил и летом и зимой батальонный мой командир, подполковник Принц; увидев его детей, отличающихся красотою и свежестью, я заметил ему, что этим он обязан действию нарзана. «Напротив того, — сказал он, — ни я, ни дети мои решительно никогда не пьем этой воды, но воздух и местность Кисловодска, верно, к тому содействовали». В конце августа и в сентябре разъезжаются посетители, и до следующего лета пустеют и умолкают гульбища и

слободки. Я возвратился в Пятигорск, как в деревню; по бульвару ходил с детьми, почти никого не встретил, горожане в будней одежде ходили по сторонам улицы.

Минеральные воды доставили некоторое облегчение больной ноге, но расстроили мои нервы до крайности. С прекращением купанья возобновились учебные занятия со старшим сыном моим по нескольку часов в день, с младшими детьми по часу, так что весь день проходил однообразно, но скоро и полезно. Старшего сына моего Евгения готовил я в училище правоведения — новое заведение, обещавшее великую пользу государству и с большими преимуществами для воспитанников. Знакомство мое в городе было весьма ограничено: изредка навещали меня Рожер и Симборский. Последний, мой прежний сослуживец сохранил особенное ко мне участие и внимание. Однажды, — я помню, это было 22 ноября, — сидел он у меня вечером, вспоминал старину и стал уговаривать меня подать прошение об увольнении меня от службы. «Ты уже год лечился и мало получил облегчения, пройдет еще год и другой, может быть, ноге будет лучше, а нервы расстроятся еще больше, что сделаешь тогда? Проси, ведь не беда, если откажут: чрез год можешь опять просить». Для меня явная была невозможность служить.

Генерал Засс предлагал мне несколько раз сделать с ним экспедицию, вызывался заказать для меня такое седло, на котором мог бы усидеть с больною ногою, и прибавил, что если пуля и шашка черкесские пощадят вас, «то непременно будете произведены в офицеры, как все ваши товарищи». Я отказывался и благодарил его. Совет Симборского более соответствовал моему собственному желанию; но полагал, что надо еще выжидать, чтобы не подвергнуться отказу. Добрый гений в добрый час внушил добрый совет старому сослуживцу; лишь только он уехал, я сел к письменному столу, и прошение мое на имя графа А. Х. Бенкендорфа, который всегда был лучшим мировым посредником, было готово в полчаса.

Я просил об увольнении меня от службы по расстроенному здоровью и о позволении окончить дни мои на родине. Прошение отправил я незапечатанное чрез жандармского полковника Юрьева. К новому году 1839 поехал в Петербург начальник войск на Кавказской линии

П. Х. Граббе; в то время Бенкендорф представил мое прошение, а Граббе не только аттестовал меня самым лучшим образом, но, по собственному своему побуждению, лично просил императора за детей моих, чтобы открыть им дорогу к будущности. В ответ он получил примечание: «на то еще не настало время», а на представление Бенкендорфа от 10 января воспоследовало всемилостивейшее увольнение меня вовсе от службы, с тем, чтобы я жил безвыходно на родине под надзором полиции.

Шурин мой И. В. Малиновский первый сообщил мне радостную весть, которую передал ему А. Н. Мордвинов, начальник III Отделения собственной канцелярии императора. Чрез три дня подтвердил мне радостную весть мой прежний сослуживец В. М. Симборский, которому начальник Главного штаба П. Е. Коцебу писал, чтобы он меня уведомил о том прежде, нежели бумага официальная успеет дойти до Ставрополя и оттуда обратно в Пятигорск, по обыкновенным всем инстанциям чрез другого начальника штаба подполковника Траскина. Комендант мой радовался за меня, поздравил с освобождением от двойной беды и признался мне, почему он так настоятельно уговаривал меня проситься в отставку и почему он за меня беспокоился. Летом по окончании экспедиции прибыл в Пятигорск корпусной командир[362]; на другой день был бал в зале ресторации, комендант безотлучно находился при главном начальнике. Танцевали кадриль, и главного гостя поразили наружность и манеры танцевавшего офицера со княжною Ухтомской, почему он спросил коменданта: «Кто танцует напротив меня?» — «Это прапорщик Голицын». — «Какой?» — «Который прежде служил в Преображенском полку, а в 1826 году был осужден и сослан в Сибирь». — «А кто сидит в другой паре и так громко беседует с дамою своею?» — «Это прапорщик Кривцов, который прежде служил в гвардейской конной артиллерии и также был сослан в 1826 году». — «А много ли всех таких господ здесь?» Комендант хотел воспользоваться этим случаем быть мне полезным и ответил: «Из произведенных вновь в офицеры есть еще один только Цебриков, но из рядовых находится здесь Нарышкин, Одоевский и еще один, заслуживающий особенного внимания: он женат, имеет большое семейство, а здоровье пропало и ходит на двух костылях».

«Кто это?» — «Розен». — «Какой Розен, тот ли, который служил в л.-гв. Финляндском полку?» — «Тот самый». — «Его следовало непременно повесить!»

Комендант сообщил этот разговор Траскину, который просил его не говорить мне об этом, чтобы не тревожить меня. Я благодарил бога, что избавился от двух бед, только не мог объяснить себе, каким образом человек на таком важном месте, в таких летах, примерно богомольный — каким образом мог он питать такую злобу, такое злопамятство? каким образом верноподданный не мог простить помилованному самим царем? Без сомнения, тут скрывалось чувство другое: никому из подчиненных не желаю быть свидетелем слабости, или промаха, или ошибки своего начальника; в такую минуту ему лучше было бы провалиться сквозь землю; честолюбивый или тщеславный начальник непременно возненавидит такого свидетеля.

Февраля 4-го праздновал я отставку мою, разрешенную в Петербурге 10 января; по команде объявление о том дошло до меня не раньше марта. Добрейшая жена моя была совершенно счастлива, но мы не могли тотчас подняться в дальнюю дорогу по двум причинам: была распутица, и жена моя в начале апреля ожидала своего разрешения от бремени, оттого отложили выезд до мая. В эти два месяца после великой радости посетили нас печаль и болезни. В конце марта появился коклюш в городе и в окрестностях. Болезнь так усилилась, что у всех детей моих, при удушливом кашле, текла кровь из носу и слезы смешаны были с кровью. 3 апреля родилась вторая дочь моя Софья, а 10-го ее уже не стало: к ней также пристал коклюш.

Между тем у второго сына моего, Кондратия, сделалось такое сильное воспаление в боку, что все старания Рожера, проводившего по нескольку часов сряду возле его кровати, наблюдавшего за ним, подслушивавшего каждое дыхание его, каждое биение сердца, остались тщетными. 11-го приказал я рыть могилу для дочери; за полночь послал сказать копателям, чтобы рядом вырыли другую для сына. Уже за день перед тем доктор дал ему мускус, в десять часов вечера едва приметно было дыхание. Рожер ушел и не сказал ни слова, я стоял у кровати больного, облокотившись на высокие перила ее. Подошла бабка, опытная в ухаживании за больными, дея-

тельная и здоровая женщина, взглянула, повела рукою по челу умирающего и сказал мне положительно: «Пусть мать и братья простятся с ним». Больная жена моя с трудом подошла к кровати, благословила сына, молилась и возвратилась с молитвою к трупу дочери. Братьев и сестру я разбудил, они с ним простились, заплакали и опять уснули. Близко от кровати умирающего было окно; я отдернул занавеску; на небе звезда ярко горела. Богу поручил сына с мольбою, чтобы сохранил еще его здесь на земле, если определил ему добро и счастье. Когда я поднял край его одеяла, то холод из-под одеяла обхватил руки мои, как в летний жар, когда отпираешь двери ледника, обдает тебя холод. Ни малейшего следа дыхания; бабка приставила зеркальце к губам, никакой надежды — тогда велел я рыть другую могилу. Не знаю, долго ли я стоял, опершись на высокие перила кровати, то вытягиваясь на костылях, то облокотясь о перила, — взор не мог отвернуться от лика восьмилетнего сына, который уже много доставил мне утешения.

Стало светать, я погасил лампу; все в доме спали, кроме жены моей, которую я мог видеть чрез отворенные двери; она все молилась. Солнце начало всходить, бабка и служанка собрались вымыть тело, приготовляли все к тому нужное. Часов в семь утра заметил я малейшую блестящую точку на челе сына, чрез минуту-другую еще тонкую лоснящуюся черту по всему телу. Послал за Рожером, тот взглянул и объявил тихим голосом: «Есть признак жизни, не знаю, надолго ли». Чрез час выступила еще черта испарины; к полудню слабо шевелились веки, дыхание было неприметно; к вечеру сын мой стал дышать и изредка открывать глаза, но все тело его недвижимо. Доктор, застав его на другой день еще в живых, объявил, что только смертельный холод мог уничтожить такое сильное воспаление; он не дал ему никакого лекарства, никакой пищи до следующих суток, когда больной мог проглотить капли отвара из рисовых круп. Если бы не было при этом посторонних людей, опытных, спокойных, то можно было бы все неестественное приписать моему воображению или расстроенным нервам моим.

13 апреля похоронил я дочь на южном скате Машука; с могилки видны две дороги — в Кисловодск и Железноводск; влево от дорог течет в плоских берегах Под-

кумок, дорога на родину заслонена солдатскою слободою. Через несколько дней поставил деревянный крест с надписью, а чрез четыре года поручил Рожеру заменить деревянный крест каменным. Часто с детьми ходили и ездили на могилку. Умиравший сын мой Кондратий с каждым днем все более и более оживал и укреплялся; до перелома его болезни навестил меня добрый пастор Ланге; я просил его молиться за детей моих. «Я это уже исполнил, — отвечал он, — и сердце весть получило, что нет надежды для дочери, но сын ваш выздоровеет». Такое предвидение дано было ему молитвою. Во многих случаях напоминал он мне отца Оберлина, который часто беседовал с господом и в затруднительных случаях, когда колебался в предприятиях или решениях своих, умел по-своему молитвою получить указание, коего исполнение никогда не сопровождалось раскаянием.

В последних числах апреля прибыл в Пятигорск генерал П. Х. Граббе, отправляясь в знаменитую экспедицию под Ахулко[363]. Мне приятно было воспользоваться случаем, чтобы с ним увидеться и благодарить его. Он радовался, что я получил отставку и что увидел меня в черном сюртуке. Я не мог не радоваться искренно, что последнего моего свидания с ним в 1825 году, под стражею и в худших ожиданиях, увидел его, как главного начальника славных войск Кавказской линии. Граббе один из тех редких людей, который во всю жизнь в различных и очень трудных обстоятельствах никогда не изменял строжайшим правилам честности и благородства. Когда Барклай де Толли сдал армию в 1812 году Кутузову, то передал ему список генералов и офицеров, на которых можно положиться, в том числе он упомянул о конно-артиллерийском подпоручике Граббе. В Отечественную войну был он временно адъютантом у Ермолова. Алексей Петрович не любил М. И. Платова, и однажды, когда он в беседе всячески ругал его, ординарец объявил, что приехал атаман. А[лексей] П[етрович] вскочил навстречу ему с распростертыми объятиями, называл его благодетелем своим, отцом родным и наговорил ему тысячу похвал. Граббе в ту же ночь написал письмо своему генералу, представил ему, что после вчерашнего двуличного поступка его он уже более не может оставаться при нем, и уехал в главную квартиру штаба всей армии. После Отечественной войны командовал он Лубенским

гусарским полком; бригадный командир приказал ему собрать в манеж всех офицеров верхами и когда объявил, что хочет видеть одиночную езду, что в то время не водилось, то Граббе приказал отпереть ворота и скомандовал: «Господа офицеры, по домам!»

За это отняли у него полк и назначили в другой, где полковой командир был моложе его в чине. Он написал тогда П. М. Волконскому, бывшему начальнику Главного штаба, что можно его разжаловать, но, по тогдашнему чиноначалию и чинопочитанию, нельзя его, как старшего полковника, оставить под командою младшего. Императору Александру I это было представлено в хорошую минуту: он засмеялся и велел перевести его в полк к самому старому полковнику — в Северский конно-егерский, полковника С. Р. Лепарского. Я уже упомянул выше, как он вел себя в комитете или в Следственной комиссии и почему он не попал в ссылку. В турецкую войну 1827 года он с казаками в лодках поплыл к Рущуку под перекрестным огнем неприятеля с обоих берегов и оказал чудеса храбрости. На маневрах под Вознесенском, где он командовал драгунскою дивизией, император Николай так был доволен им и дивизией, что на параде подал ему руку, сказав: «Теперь все старое забыто!» На Кавказской линии заменил он Вельяминова и вникал во все полезное: заметив, что батальон Куринского полка подошел к Подкумку в виду Пятигорска и что солдаты сняли сапоги, чтобы пройти вброд, что на этом месте солдаты часто переправлялись по прямому сообщению из Горячеводска в Пятигорск, он приказал начальнику строительной части, полковнику Чайковскому, немедленно построить мост для пешеходов. Полковник отговаривался, что при всех прежних начальниках края никогда тут не было моста. «Здоровье людей для меня дороже всех прежних обыкновений, чтоб мост был готов как можно скорее, у вас есть материал».

В две недели мост был готов и, наверно, многим спас здоровье. На Кавказе действия его воинские были затрудняемы командиром Кавказского Отдельного корпуса Головиным, которому в различных случаях подчинен был начальник войск Кавказской линии. После он имел важные поручения по личной доверенности Николая в Константинополе и в Вене; отличился в венгерской войне, оборонял Балтийское прибрежье в Крымскую войну;

Александр II назначил его атаманом донских казаков, чтоб привести в порядок запутанное поземельное устройство и всю администрацию, возвел его в графское достоинство. Всегда отрадно сердцу, когда такой человек занимает важное место: он мог иметь неудачи, особенно в сражениях, от несвоевременного прибытия отдельных частей, от вялого исполнения приказаний подчиненными, но он нигде и никогда не поступал против совести и чести.

Довольно трудно было подняться в дорогу с большим семейством. Отставному рядовому трудно было ехать на почтовых в нескольких экипажах, и вообще остановки на станциях с семейством вдвое тягостнее и неприятнее. Поэтому решили ехать на собственных лошадях, на долгих. Каждый день объезжали коней, и почти каждый раз били они, но все благополучно, благодаря крепкому устройству сибирского тарантаса; раз свалили старый забор на площади, другой раз палисадник, а о столбиках и говорить нечего. Хотя дети мои все еще кашляли, коклюш продолжался, но добрый Рожер, оказывавший всегда искренне участие семейству моему, советовал мне скорее выехать, быв уверен в облегчении от перемены воздуха. 1 мая пустились в обратный путь далекий; погода была теплая и ясная.

Мы ехали от 50 до 60 верст в сутки, выбирали по возможности лучшее место для ночлега и даже продолжали учебные занятия дорогою. В Ставрополе остановились мы на один день; там я видел В М Голицына уже в отставке, он был переименован в гражданскую службу, после переселился в Тульскую губернию, но долго никто не мог ходатайствовать ему позволения переехать в Москву. Еще навестил я родственника жены моей, Генерального штаба полковника Ф. П. Сохатского, начальника съемки, весьма начитанного и прилежного ученика Дидро, Вольтера и Руссо. Дорогою я не зависел от станционных смотрителей, вечных врагов всех проезжающих: останавливался, где и сколько хотел. В хороших селах при удобном помещении имел дневки; жена моя все так устраивала, что везде было спокойно. Скоро приблизились к границе кавказской области.

Прощай, Кавказ! С лишком уже 140 лет гремит оружие русское в твоих ущельях, чтобы завоевать тебя окончательно, чтобы покорить разноплеменных обитателей твоих, незначительных числом, диких, но сильных в бою,



А. Е. РОЗЕН. Калуга, 1863

Фотография из альбома М. И. Семевского.
Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), Ленинград

неодолимых за твердынями неприступных гор твоих; иначе русский штык-богатырь давно довершил бы завоевание. Правда, что сначала война была непостоянна, набеги делались до Кубани, до Терека: изредка переправлялись чрез Кавказ для защиты грузин против персиян и горцев; но в последние пятьдесят лет не щадили ни людей, ни денег, имели еще важную выгоду, что в 1801 году манифестом императора Павла вся Грузия присоединена была к России без боя, по воле и по бессилию последнего царя ее, Георгия[364]. Мы давно уже владеем равнинами

по сию сторону Кавказа; владения наши по ту сторону гор, в Закавказье, простираются далее прежней границы Персии, а все еще Кавказ не наш; ни путешественник, ни купец, ни промышленник не посмеют ехать за линию без воинского прикрытия, без опасения за жизнь свою и за имущество. Имена Зубова, Лазарева, князя Цицианова, Котляревского, Ермолова, Паскевича, Розена напоминают нам длинный ряд блестящих и геройских подвигов, коих было бы достаточно для покорения многих государств, но оказались бесполезными до сих пор против горцев.

До Ермолова военная сила наша была незначительна в тех местах; она увеличивалась при особенных, важных экспедициях только временно. Ермолов имел постоянно не более 40 000 войска, но мастерски владел этою силою, умел быстро направить ее, куда нужно было, держал врагов в непрестанном страхе — одно имя его стоило целой армии. Ныне с линейными казаками у нас больше 110 000 воинов на Кавказе постоянно; мы хотя и подвигаемся в завоеваниях, но медленно, ненадежно и дорого. Кажется, что самое начало было неправильное; мы подражали прежнему старинному образу действий: как Писарро и Кортес, перенесли мы на Кавказ только оружие и страх, сделали врагов еще более дикими и воинственными, вместо того чтобы приманить их в завоеванные равнины и к берегам рек различными выгодами, цветущими поселениями.

Англичане также стреляют ядрами и пулями в индийцев и в китайцев, но привозят к ним, кроме огнестрельного оружия, всякие орудия для выгодного труда, торговлю, образование, веру и, по доказанному опыту, верную надежду на будущее благосостояние. Россия также старалась действовать мирными средствами: она по обеим сторонам Кавказа поселила иностранных колонистов, но в малом объеме; она последнее время стала селить женатых солдат и отставных по военной дороге в Кабарде; но эти поселения служат не приманкою, а угрозою и страшилищем. Кто исчислит все жертвы, кои государство ежегодно приносит людьми и деньгами? Эти значительные пожертвования уже не позволяют отстать от начатого дела; кроме того, Кавказ нам нужен в будущности для сообщений торговых. Много уже сделано, остается довершить, но только не исключительно одним оружием. Много горцев уже поступили добровольно в

подданство России; они известны под общим названием *мирных черкесов;* этим людям следовало дать всевозможные льготы и выгоды, оставить им пока их суд и расправу, не навязывать им наших судей-исправников. Благосостояние покоренных или добровольно покорившихся горцев доставило бы нам в несколько лет больше верных завоеваний и прочных, чем сто тысяч воинов и сто миллионов рублей могли бы это совершить. Пока не покорившиеся горцы видят, что покорные нам братья их ведут жизнь не лучше непокорных, до тех пор будут они противиться до последней крайности. В ермоловское время офицеры на Кавказе терпеть не могли мирных черкесов; они ненавидели их хуже враждебных, потому что они переходили и изменяли беспрестанно, смотря по обстоятельствам, куда их звали страх, или корысть, или месть. Ныне, однако, мы уже имели несколько примеров, что даже фанатизм, изуверие Кази-Муллы, — побежденного Розеном под Гимрами[365], — Гамзат-Бека и Шамиля не могли склонить многих мирных черкесов к измене против России даже в таких местах, где русские гарнизоны не были в соседстве. Хорошее управление не меньше русской храбрости может ускорить окончательное покорение и сделать его прочным. Желаю, чтобы назначение главнокомандующего пало на генералов достойнейших, с энергией; чтобы вся страна была бы со временем украшением и пользою России. Потомство не забудет главных сподвижников в этом деле; потомство соберет плоды с земли, орошенной кровью храбрых, и с лихвою возвратит себе несметные суммы, издержанные предками на это завоевание. Прощай, Кавказ! Красуйся не одною природою, но и благосостоянием твоих обитателей!

Глава пятнадцатая

ОТ ДОНА ДО БАЛТИЙСКОГО МОРЯ

Пиявицы. — Дон. — Ростов-на-Дону. — Славянск. — Каменка. — Святые Горы. — Украйна. — Малороссиянин. — Прощальный обед. — Расставание. — Чугуев. — Гр. А. А. Аракчеев. — Военное поселение. — Харьков. — Чернигов. — Могилев. — Полоцк. — Бедность в Белоруссии. — Гаряй. — Шоссе и телеграф. — Псков. — Сороковой бор. — Кярово. — Нарва

По земле донских казаков дорога была хороша, но версты показались мне длиннее обыкновенных, по сравнению с временем езды; на ночлеге узнал я, что, дейст-

вительно, со времен Екатерины II там верстовые столбы поставлены были на расстоянии 700 сажен[366]. Близ берега речки Вонючего Ерлыка, на постоялом дворе, обедали трое немцев из Гамбурга; они приехали на почтовых, чтобы закупить пиявок. Они после обеда вытащили из крытой длинной повозки несколько деревянных бочонков, наполненных пиявками; чрез каждые три дня они промывают их, переменяют воду и выбрасывают пропавших; это делалось у них с удивительною быстротою: по наклоненному плоскому желобку с водою они движением пальцев пропускали каждую и отделяли живых в особенный бочонок со свежею водою. Бочонки их сделаны были из тончайших шелевок, также и посуды для промывания, кои они укладывали одну в другую, как походные стаканчики. Жители окрестных деревень приносили им при мне в мешочках по нескольку фунтов пиявок, крестьяне этою продажею ежегодно выручают столько денег, что могут уплатить ими казенные подати и повинности; за фунт получали по 50 копеек серебром, в фунте было до 200 штук, так что эти немцы-промышленники продавали их в Гамбурге и в Париже по полуфранку за штуку и, таким образом, за исключением всех путевых издержек, получали на каждый рубль десять рублей барыша. Они ездят за этим товаром даже за Кавказскую линию: должно быть, что в Европе уменьшилось количество пиявок, или употребление их стало гораздо значительнее, или распространились болезни, требующие такого рода кровопускания. Во всяком случае, выгодно разводить их там, где местность позволяет.

Когда подъехал к Дону, то не узнал в нем ту же реку, чрез которую за два года перед тем переехал по временному мосту, наведенному для проезда царя. Дон выступил из берегов, имел вид обширного озера; новый берег был в 13 верстах от постоянного берега у Аксайской станицы. В большом селении была пристань на возвышенном месте, там стояли суда перевозные, и казенные, и частные. Начальник этой флотилии уверял меня, что сегодня меня переправить не может, потому что ожидает из Тифлиса свояченицу корпусного командира Головина. «Так позвольте, я найму вольных перевозчиков». — «Также невозможно до переезда свояченицы корпусного командира, потому что мы не знаем, сколько у нее экипажей, а два баркаса должны быть всегда в го-

тонности на экстренный случай для курьера или фельдъегеря». — «Когда же приедет свояченица?» — Мы уже два дня ожидаем ее каждый час». Мне пришлось бы несколько дней прожить в селении, кормить 13 лошадей: обождать стоило бы порядочно кроме потери времени; я решился прибегнуть к самому убедительному средству: пошел к начальнику, и в минуту все было готово, экипажи и кони помещены были на двух судах, все усердно помогали, и мы поплыли с веслами и с парусом. Местами выглядывали макушки верстовых столбов с цифрами 12, 11, 10. Перевозчики и кормчий безмолвствовали, я обратился к последнему с вопросом: «Скажи, пожалуйста, на Волге я слышал славную песню о матушке-Волге, верно, у вас есть такая песня своя для вашего *тихого* Дона, дай послушать!» — «Была своя песня, и пели ее в свое время, когда у нас плавали кораблики донские, а ныне уже лет двадцать как не слыхать этой песни». В конце царствования Александра I были сделаны изменения в донском быту. В Аксае развалины больших каменных домов дают станице вид печальный и разоренный. Больные дети мои утомились от переправы, третий сын мой Василий был еще очень болен; мы спешили к ночлегу в Ростове-на-Дону, чтобы на всякий случай иметь лекаря и лекарство.

Здесь имели дневку; больному стало легче без помощи аптеки. Город обширен, некоторые улицы хорошо обстроены, на берегу складочные магазины. Здесь сосредоточивается главная торговля по Дону, здесь склады товаров, запасов и снарядов для портов Закавказья. Хозяин нашей квартиры, отставной чиновник, много рассказывал о злоупотреблениях откупщиков питейного сбора, подрядчиков и поставщиков провианта и о фабрикантах фальшивых ассигнаций. Хороший городской извозчик повез меня в Нахичевань, в двух верстах от Ростова; там в церковной ограде близ алтаря был я на могиле генерала барона Владимира Ивановича Розена, отца бывшего корпусного командира на Кавказе. Заслуженный воин в царствование Екатерины был главнокомандующим войсками, расположенными по Дону и по Кавказской линии. Два сына его и дочь поставили ему скромный памятник.

Городок Нахичевань населен большею частью армянами. Ростов еще богат различными заводами, имеет

верфь и примечательную ярмарку. Судовщики жаловались на обмеление Дона; это общий недостаток наших рек, изливающихся в моря Азовское и Черное. По необозримым равнинам воды не имеют довольно стоку, и русло запружается со временем все более и более; весною воды выступают из плоских берегов своих, разливаются далеко, и потом, когда стекаются обратно в свою ложбину, то с берегов приносят песку и земли и завалывают русло; еще способствуют к тому множество водяных мельниц со своими плотинами и греблями. Так, Донец, приток Дона, на большом протяжении бывает судоходен только во время половодья, в продолжение только нескольких недель в году. Путь наш вел по бесконечным степям чрез Бахмут. Взору представлялись все луга, овчарни или кошары.

Поздно вечером приехали в Славянск; на Торце не было моста, паром стоял у другого берега, не могли докричаться перевозчиков. Воротиться на ночлег в постоялый двор, пришлось бы ехать назад с лишком шесть верст. За мною остановились с кладью извозчики. Как быть? Извозчики уверяли, что товарищи их переехали реку вброд, но что они отстали от них и не знают, как проехать. Я забыл урок путевой в Александрове близ Пятигорска, где на мосту близ водяной мельницы левая пристяжная сорвалась у перил и свалилась в реку, а левая дышловая повисла на нашильниках, кои пришлось перерезать, чтобы удержать коляску на мосту; приказал евтуху[367] отстегнуть левую пристяжную, коня черкесского, и на нем ехать по реке частою ломаною линией, чтобы проверить брод. Конь местами шел в воде по брюхо, однако дошел до другого берега и также вернулся ломаною линией; все мы зорко примечали направление. Пристегнули коня и пустились вброд; коляска следовала близко за тарантасом; коням тяжело было возить, но взяли криком и, к счастью, не попали в яму или на камень. Детям эта переправа была забавою, они не знали опасности, а добрая жена моя всегда верою и доверенностью побеждала страх.

Славянск имеет вид пустынный, похож на Тару и на Ачинск, солит водою, засыпает песком в ветреную погоду, наводит тоску, но зато знаменит по целительной силе своих соленых озер, куда съезжается ежегодно много больных и получают совершенно выздоровление, особен-

но страждущие золотухою во всех возрастах. Славянск выварнвает соль, хотя не в большом количестве, но обстраивается частными лицами, имеет здания общественные, купальни и военную больницу, устроенную генералом Панютиным.

Отрадно было свидание наше с родными в Каменке. Здесь застал я В. Д. Вольховского в отставке, он жалел, что не мог продолжать службу для общей пользы, но как не хотели его употребить по способностям его, то он принужден был оставить ее в лучшей поре жизни: ему было сорок лет, при большом запасе знаний и опытов. За оказанную ему несправедливость нашел он лучшее возмездие в совести своей и в семействе своем. Он в деревне праздности не знал, вставал рано, учился английскому языку, читал много и готовился управлять имением жены своей по правилам рационального хозяйства. В Каменке я прожил шесть счастливых недель; дети мои поправились здоровьем, три семейства: моего шурина, моего свояка и мое — жили в огромном доме; душою дома была наша добрейшая тетка Анна Андреевна Самборская. Я видел Каменку в полной красе ее; местность действительно хороша.

Навестил памятные места, заведения времен А. А. Самборского: часовню, больницу, беседку в сторожевом лесу; молился в новой церкви благолепной, где служба, и пение, и усердие богомольцев невольно располагают душу к молитве. Тишина, порядок в церкви беспримерны и введены стараниями шурина моего И. В. Малиновского по системе исправного ротного командира; впоследствии порядок этот вошел в привычку прихода, и скажу, что нигде, ни в столицах, ни в деревнях, не находил такого благоговения прихожан во время божественной службы. В крестьянских хатах видел опрятность и довольство, хотя это было в мае, когда запасы истощены бывают. С Вольховским ездил в лес Чернещинский или Чепельский хутор, принадлежащий к Каменке, находящийся в 30 верстах оттуда. Там мы пробыли два дня, и хотя самый лес не доставлял нам особенного удовольствия (местами он порядком пострадал от порубки старинных управителей и от пожара), но беседы Вольховского в маленьком домике, где мы ночевали, для меня памятны: в них отражалось смирение христианское и добродетели гражданина.

В другой раз поехали мы вместе в Святые горы, имение А. М. Потемкина на берегу Донца. Это одна из красивейших местностей, которую случалось мне видеть. Одна из церквей высечена в громадной меловой горе; белизна стены издали просвечивается на значительной высоте сквозь темную зелень тенистых деревьев; в эту церковь можно всходить или по ступеням покатости горы, или по подземному ходу. У подножия горы другая церковь просторная, близ коей несколько домов и усадьба раскинуты по самому берегу Донца, а на противоположном берегу красовались вековые дубы. В старину здесь был монастырь, но предание говорит, что здесь спасали не людей, а посредством подземного хода, выкопанного почти на версту в самой горе, туннелем скрывали добычу, привезенную Донцом, и спасали грабеж и грабителей. Это заставило императрицу Екатерину дать повеление об упразднении монастыря и подарить это живописное, величественное место Потемкину-Таврическому. Теперь оно принадлежит его наследнику, который согласился на устройство нового монастыря, в пользу которого супруга его, Татьяна Борисовна, не щадит благ земных. На обратном пути осмотрели мы винокуренный завод нового устройства с паровым котлом; производство работы совершается легче и скорее. Он был устроен в большом размере для затора[368] в 120 четвертей. В бору мы видели, как гнали смолу, а на большой дороге встретили тысячу косарей, отправлявшихся из Курской и прилежащих к ней губерний: в Екатеринославскую, в Херсонскую, за Дон и за Кубань, чтобы косить траву и убрать сено. Обширные луга на юге нуждаются в работниках — хороший работник во время сенокоса получает по рублю серебром в сутки; это почти цена поденщику в богатом Нью-Йорке.

Случилось мне быть на Изюмской ярмарке, видеть там движение народа и небольшой оборот в торговых делах. Главные обороты капиталистов совершаются в Харькове и в портовых городах азовских. Важнейшие произведения края составляют шерсть и пшеница, шерсть сбывают в Харькове, пшеницу на водяных мельницах по Донцу и Оскалу, частью возят ее прямо сухим путем в Мариуполь, в Бердянск и в Таганрог за 400 верст и выручают умеренную цену за вычетом дальнего провоза. Донец становится судоходным от Луганского завода, а до это-

го места суда плавают только в полую воду в продолжение двух или трех недель в году. Мало кто пользуется этим кратковременным, но лучшим способом перевоза.

Быстро и приятно протекли шесть недель в Украйне в кругу добрейших родных. Недоставало только шурина моего, Андрея Васильевича, который за несколько дней до нашего приезда уехал в Крым и не хотел нас опечалить выставкою печальных развалин мужа, которого в 1826 году все знали по примерной твердости, по богатству знаний и по всем задаткам на пользу отечества. За 14 декабря он долго содержался под арестом на Охте, был оправдан, оставался в гвардейской конной артиллерии, участвовал в турецкой войне, откуда вернулся больной в Каменку, где находился под полицейским надзором, и в бездействии искал подкрепления жизненных сил в том, что сокращает жизнь преждевременно и жалко. 1 июля назначили мы продолжать наш дальний путь. Шурин мой Ив[ан] Вас[ильевич], управлявший 15 лет всем имением, созвал всех крестьян на прощальный обед; все разговелись в клуне, где намощены были доски вместо столов и скамеек. Я пил из общей заветной чарки за их здоровье и благодарил стариков за совет, который они дали жене моей, когда она в 1830 году, собираясь ехать ко мне, спросила их: «Должно ли ей оставить сына и следовать за мною?» Они сказали ей: «У сына вашего есть другая мать — тетка и сестра ваша, а муж один в далекой стороне, в несчастье — бог не велел оставить его!» При последней чарке дети мои дружно воскликнули: «Ура!» По окончании сытного обеда украинского они пожелали нам счастливого пути, а я пожелал им здоровья и довольства, чтобы они никогда не знали нужды. Потом при выходе из клуни, взглянув на прелестную долину с опрятными белыми хатами, раскинутыми посреди зелени садов, обратился еще раз к старикам и сказал им: «Вы, братцы, слава богу, теперь расходитесь по своим домам, у всех вас есть свой угол спокойный, берегите его и семейства ваши, детей научайте добру; а я странствую без места, без собственной крыши и не знаю, когда и куда господь приведет к отдыху». Несколько стариков, в особенности громко три брата Колесников или Заднепрских: Кирила, Игнат и Емельян — возразили: «Андрей Евгеньевич, приезжайте жить к нам, мы вам выстроим хоромы, лучше этих», — указывая на обшир-

ную усадьбу М. В. Вольховской и на другую, тогда почти достроенную,— И. В. Малиновского. «Спасибо, братцы, все как богу угодно!» — были мои последние к ним слова.

Как хорошо и прекрасно ни было в Каменке, а все надо было расстаться с лучшими родными и с прелестною местностью благословенной страны. От меня зависел выбор места жительства, жена моя владеет третью частью Каменки, почему же предпочел я Украйне уголок севера, местность плоскую, почву бесплодную, болотную Эстляндскую губернию? Она — моя родина! Тут, на берегах Варяжского моря, потомки рыцарей-меченосцев давно уже забыли вековые войны и своеволие, а сохранили мужество, верность данному слову и постоянное стремление к истинной образованности. Религиозность и честность составляют отличительную черту их характера. Меня манили вдаль не только любовь к родине, но и гражданское устройство люда вольных.

На другой день ночевали мы в Чугуеве, где расположен был штаб поселения первого Кавалерийского корпуса. Город опрятнейший, но до крайности однообразный: дома выстроены по целым улицам по одинаковому плану, в равном расстоянии, с одинаковыми фасадами, все напоминает неподвижный строй солдат. В конце города в большом строении, окруженном садом, находится больница, содержанная в величайшем порядке. Военное поселение поддерживается, хотя при начале его устройства были важные сопротивления и кровавые возмущения. Такие же случаи повторились позднее в Новгородской губернии, пока, наконец, опыт не указал на невозможность и невыгоду такого предприятия.

Граф Аракчеев, по примеру австрийского пограничного войска и самобытного состава и содержания нашего войска Донского, представил, по желанию Александра I, проект, в коем изложил средство иметь всегда в готовности многочисленную армию, для пополнения коей не нужно брать рекрутов и на содержание коей не нужно ни одной копейки. Такое предложение, малейшая возможность исполнения были заманчивым сокровищем единодержавному венценосцу в такое время, когда он вмешивался во все политические дела Европы, когда он готов был отправить свои войска и в Италию и в Испанию, когда многочисленные армии поглощали главнейшие доходы государства. Если бы этот проект был сперт-

ца рассмотрен сведущими людьми, то, без сомнения, был бы отвергнут — даже если бы исполнение не представляло никаких затруднений, то по неминуемым вредным последствиям. Барклай был против основания поселений. Государь согласился на предложение усердного, но недальновидного слуги и дал ему полную власть распорядиться. На севере с пехотою, на юге с конницей начались опыты первоначальных поселений. Несметные суммы были отпущены министром финансов Гурьевым по требованиям Аракчеева; временщик надменный иногда на лоскутке бумаги, оторванной от конверта, писал свои требования министру для выдачи нескольких миллионов рублей. Строгость и точность при первоначальном поселении солдат были невыносимы; офицеры бедные, неизбалованные не могли выдержать такой службы, где ежедневно должны были вмешиваться в семейную жизнь поселян и поселенцев, записывать каждую курицу, считать каждое яйцо, наказывать за малейшее отступление от аракчеевских предписаний. Они стали выходить в отставку из военного поселения, потому что перевод в действующую армию был им отказан; а когда из отставки стали определяться в гражданские должности, то Аракчеев принял меры, чтобы никто из вышедших в отставку из военных поселений не был принят ни в какую службу, ни военного, ни гражданского ведомства. Разумеется, что неудовольствия возрастали с трех сторон: у офицеров, у государственных крестьян и у вооруженных постоянных их соквартирантов[369]. Последствием общего неудовольствия были кровавые побоища в Старой Руссе, где злоба и месть не знали меры, и крестьяне и солдаты ужасным образом резали, мучили, сажали на кол своих главных начальников. Можно себе представить, какой оборот приняло бы такое восстание, если бы поселения были разведены по нескольким смежным губерниям. Это случилось в 1832 году[370].

В конце 1826 года Аракчеев уже сам убедился опытом в несбыточности своего плана: 7/8 из общего числа поселенных солдат продолжали получать содержание от казны; только 1/8 часть производила для своего собственного пропитания. Дети мужского пола, родившиеся в округе поселенного полка, не могли заменить рекрут и пополнить в полку число убылых солдат. Кроме того, государство лишилось доходов с земель государственных,

отведенных под поселение, а крестьяне были повсюду недовольны: и на севере и на юге. С кончиною Александра I кончилась власть Аракчеева. Все трепетали пред ним, все боялись его, никто не любил его. Бывало, когда собирался Государственный совет с председателем своим князем Лопухиным, то по целым часам выжидал приезда Аракчеева, при появлении которого все члены вставали и не садились, пока он не сядет. Обхождение его было самое грубое; быв военным министром во время войны в Финляндии, он подло поступил с графом Буксгевденом и оклеветал его, как оказалось по формальному судопроизводству. Александр I, занятый преимущественно делами европейскими, предоставлял ему дела русские; он был совершенно уверен в его преданности. Аракчеев жил уединенно, никаких не имел частных связей — ни семейных, ни дружественных; к тому был вполне бескорыстен, не просил для себя никакой награды, ни денег, и что было ему подарено царскими щедротами императора Павла, то по завещанию возвратил казне.

В 1825 году был случай, который заставлял сомневаться в безусловной преданности и любви его к императору: любимая его домоправительница, или ключница, была умерщвлена прислугою, выведенной из терпения ее причудами и строгостью, тогда Аракчеев предался такому отчаянию, что забыл царственного друга, который, сам больной, звал его к себе в Таганрог, чтобы там утешать его. Для обоих пробил последний час; история беспристрастная воздаст каждому по действиям и заслугам каждого, лет чрез 55, за большую премию по завещанию Аракчеева, и, кажется, Аракчеев заплатил за похвалу себе 1/8, а за нарекание 7/8 выставленной суммы. Уже давно Аракчеева не стало, при Николае он ничего не значил и жил в Грузине как схимник; но память о нем так жива в народе, что недавно слушал спор двух извозчиков, из которых один одержал верх и заставил молчать другого, сказав ему вместо логических доводов: «Ну что ты толкуешь? Что ты знаешь? Вот я, например, видал графа Аракчеева и пережил его».

В начале водворения военного поселения Чугуевского были случаи сопротивления поселян. Генерал Коровкин употребил самые решительные меры, громил толпу картечью, быв вынужден к тому обстоятельствами, и безвинно подпал нареканию от высшего начальства. Гене-

рал Лисаневич употребил кроткие меры и убеждения, не имевшие успеха, и также подвергнулся нареканию. Граф Аракчеев сам прискакал на курьерских из Петербурга; на пути из Харькова отправил фельдъегеря к Лисаневичу с предписанием принять немедленно решительные меры к приведению непокорных к повиновению. На четвертый день после фельдъегеря прибыл сам Аракчеев и, к великому неудовольствию своему, нашел, что Лисаневич не понял его слов: «решительные меры». «Я вам покажу, как следовало бы вам действовать».

В селении по направлению из Петровского в Балаклею собраны были зачинщики и влиятельнейшие лица из недовольных, а чтобы поселяне из крестьян и солдаты поселенные не могли иметь стачки между собою, то солдаты расположены были лагерем в 20 верстах от селения. Аракчеев в присутствии многочисленной свиты лично допрашивал ослушников, утверждавших, что без ведома государя милостивого отняли у них прежние их луга и поля и заставляют их же косить эти луга и обрабатывать эти поля для войска. В числе зачинщиков предстали шесть человек из отставных унтер-офицеров, украшенных целым рядом медалей и крестов за походы Суворова и за достославную войну Отечественную 1812 года. Аракчеев увещевал их именем государя и, обращаясь к ним, как к лицам заслуженным и привыкшим к воинской дисциплине, требовал от них, чтобы они уговорили введенных в заблуждение братьев. Они уверяли в своей беспредельной преданности царю, но изъявили сомнение, чтобы мера несправедливости согласна была с его волею. Тогда Аракчеев, не быв в состоянии разуверить их, приступил к угрозам. Два батальона были вытянуты вблизи, он в последний раз увещевал их и объявил, что если они немедленно не образумятся и не покорятся, то прогонит их шпицрутенами сквозь строй. «Ваше превосходительство, — сказал один из ветеранов, георгиевский кавалер, унтер-офицер Чернявский, — мы стояли под пушками турок и двадесяти языков и не боялись смерти, не побоимся ее и теперь за правое дело».

Свидетели из свиты поражены были твердостью Чернявского, спокойствием в лице, спокойною речью и прослезились. Аракчеев при себе велел прогнать сквозь строй ослушников. Чрез каждое прогнание чрез тысячу человек приказывал остановить их и спросить их, поко-

ряются ли они? — или не было ответа, или был ответ отрицательный. Опять прогнали чрез батальон, и опять напрасно. Пятеро человек лишились жизни под ударами. Чернявский прошел десять раз, замертво был отвезен в больницу в Балаклею, где умер чрез несколько дней, не испустив ни единого вздоха, ни жалобы на личное страдание свое[371]. Аракчеев мог бы удалить и сослать таких ослушников с прежними заслугами и, вероятно, достиг бы своей цели усмирения. Шпицрутены и смертная казнь усмирили толпу, но видно, что тут была и личная жестокость, которая всего явнее выказалась, когда в 1825 году повар его заревал его ключницу, и он на коленях умолял генерала Фрикена и адъютанта своего Б. К. Тизенгаузена об открытии убийцы. Целые недели томился он отчаянием и пылал одною местью; отпустил себе бороду, забыл отечество, забыл приглашение царственного благодетеля спешить к нему в Таганрог. В домовой церкви просил он громко о выдаче убийцы. Наконец убийца открыт. Осень была морозная, на дворе под окном разъяренного всемогущего временщика засекли убийцу в несколько рассроченных приемов, и все Аракчеев стоял у окна и впивался в истязание. Убийство совершено было из мести повара, у которого дочь или сестра 17 лет находилась в услужении у ключницы, которая ревновала к девушке, беспрестанно привязывалась к ней напрасно и подвергала ее даже телесным наказаниям к неудовольствию домохозяина. Наконец лопнуло терпение отца или брата, и в роковой день, когда ключница после обеда отдыхала на диване, раздетая и завернутая шелковым голубым одеялом, подкрался повар с ножом и перерезал ей горло. По этому делу много прислужников-свидетелей или недовольных были сосланы в Сибирь на работу[372].

В Харькове остановились на целый день. Город, один из самых примечательных губернских городов, пятый во всей империи по своим торговым оборотам, отличается хорошими зданиями, университетом, гимназиями, частными учебными заведениями, институтом и ярмарками, на которые собираются как в средоточие купцы из великой, малой, новой и белой России. Неправильность улиц, площадей нисколько не вредит наружному виду, который много выигрывает от местности неровной, от высот окрестных, от трех речек. Ботанический сад содержан с большим старанием; кроме тропических произрастений, раз-

водимых в теплицах, есть много примечательных деревьев, кустов, трав, растущих под открытым небом, пересаженных из разных стран, северных и южных. Дети мои обрадовались, увидев растения, кои они узнавали сами, видев прежде их изображения на картинках. Услужливый ботаник следил за нами и был очень доволен, когда я в маленьком деревце вышиною в два фута узнал сибирский кедр и рассказывал ему о виденных мною кедровых лесах. Этот экземпляр был ему прислан Турчаниновым из Иркутска.

Харьковский университет славился ученостью своих профессоров. Если бы студенты из всех университетов вместе с запасом учености выносили бы также запас нравственных достоинств, то все наши университеты ежегодно доставляли бы нам несколько сот полезнейших людей. На беду, отличнейший врач, ученейший правовед без нравственных начал могут быть обманщиками и торгашами жизни и правосудия. Желательно и необходимо, чтобы увеличилось число педагогов в частных и общественных воспитательных заведениях. Между несколькими отличными наставниками и учителями из чужих стран получили прежде и очень много посредственных и даже негодных; а теперь никаких не стало — ни своих, ни чужих. Университет увлек меня. Новейшие события так устрашили правительства, что они приписывают всю вину германским университетам и вместо улучшения университетов думают более, как ограничить круг их действий или как совершенно отменить. Это будет все равно, что запретить употребление огня, потому что он горит и освещает. Из Харькова поворотили в сторону от почтовой дороги, ведущей в Полтаву, и поехали на Ахтырку, на Гадяч и Нежин. Почва земли все та же черноземная, произрастающая до сего времени без всякого удобрения. Во многих местах видел я значительные селитренные заводы, для коих употребляют навоз и землю: в несколько рядов стоят правильно наброшенные большие кучи, наподобие землянок в лагерном расположении; они составлены из слоев земли и навоза, как обыкновенно в рациональном хозяйстве составляют компост для унавоживания полей; эти кучи поливаются водою, и когда масса земли и навоза приходит в брожение, то из этой массы и смеси вываривается селитра. Вместо дров употребляют на топливо навоз и солому или кизяк.

В Черниговской губернии видел большие поля, засаженные табаком, как в северных губерниях такие же пространства засаживаются картофелем. Город Нежин примечателен своими жителями, которые большею частью все греки; торговля довольно значительна; город имеет лицей, основанный князем Безбородко, и вообще есть лучший город во всей губернии. Чернигов примечателен своею древностью и бедностью. При въезде в город видите на возвышении большое каменное здание без окошниц с развалившеюся железною крышей, с большою надписью из вызолоченных букв: «Дом генерал-губернатора». Сначала жил в нем князь Репнин, переехал потом в Полтаву, а преемники его должности стали жить постоянно в Харькове, где общественная жизнь предлагает больше удобств и развлечений. Не знаю, почему забросили генерал-губернаторский дом в Чернигове; стены каменные, плотные, пригодились бы для помещения больницы или учебного заведения или запасного магазина. Город на славной судоходной реке Десне, но я не видел там ни единого судна или катера. Дома деревянные, ветхие, представляют вид разорения. В соборе видел царские врата пред алтарем, из чистого серебра, подарок Мазепы; там же в подземном своде видел я мощи святого и был поражен величиною гигантской руки его. Церковный служитель заметил, что ныне мало усердных поклонников св. мощей приходят к ним, особенно с тех пор как стали странствовать преимущественно в Воронеж к гробу Митрофания. Всему своя пора и свое назначение.

Переправившись через Днепр, мы въехали в Белоруссию. Могилев довольно значительный город, хотя население уменьшилось с тех пор, когда здесь расположена была главная квартира 1-й армии; воспоминанием того времени остались большой экзерцигауз и просторная больница. На Десне же находится местечко Гомель, где на возвышенном берегу достраивался дворец князя Паскевича; жители окрестностей были недовольны управителями нового владельца и вспоминали былое время, когда они принадлежали графу Румянцеву. Паскевич купил это огромное имение, заложенное в казну; чрез несколько лет Николай I подарил ему весь долг в кредитные учреждения и этим значительно обогатил без того уже богатого от подарков майоратами и деньгами. Без сомне-

ния, следует награждать заслуги, оказанные отечеству, но на все есть мера.

Один день провел я в Чечерске, в любимом месте пребывания гр[афини] Чернышевой: все здания в полуразрушенном виде, парк в беспорядке, видно, что новый владелец редко сюда заглядывал, да он и не мог иметь привязанности к этому месту, чуждому ему по рождению. Майорат достался полковнику Кругликову, который женился на старшей наследнице, а прямой единственный наследник, родной брат ее, граф Захар Григорьевич Чернышев, был лишен всех прав и сослан в Сибирь после 14 декабря. В Чечерске только башня над воротами с большими часами содержана была в порядке, часы шли и звонили и напоминали путешественнику, что время все уносит, унесет и учреждение майоратов или заповедных имений. Пространная оранжерея красовалась плодами; садовник рассказал мне, что графиня пила чай не иначе как с собственными лимонами, которые были зрелее и ароматнее привозных. За несколько рублей купил я полную корзину персиков и абрикосов и получил в подарок отличный букет цветов. Необитаемый дом, необитаемое поместье всегда приводят к печальным размышлениям. Да, правда и то, что вся Белоруссия невольную наводит тоску: направо — бедность, налево — бедность, крестьяне изнурены, храмы божии и в праздник были пусты, в то время униаты[373] снова возвращены были в православие, и хотя не понимали прежде латинской обедни, но привязаны были к ней по привычке. Жители большею частью имели вид больной и недовольный; поля их были такие же тощие, как и стада их. В бывшем имении Сапеги видны следы моста или деревянной бревенчатой мостовой, в длину на семь верст; с тех пор как имение в руках нескольких помещиков, никто из них или не хочет, или не в силах поддерживать такую дорогу по болоту, и не понимаю, как там проезжают весною и осенью. Мы ехали летом и в разрушенных местах сворачивали в сторону.

Уездные города и местечки видом не лучше и не богаче деревень, но еще грязнее от жидов. Бесспорно, жиды своими процентами и широким кредитом разорили помещиков и крестьян, а как теперь уже более некого разорять, как им запрещено держать шинки и постоялые дворы на аренде, то и сами стали нуждаться. Шклов в старину знаменит был своим богатством, когда Екатери-

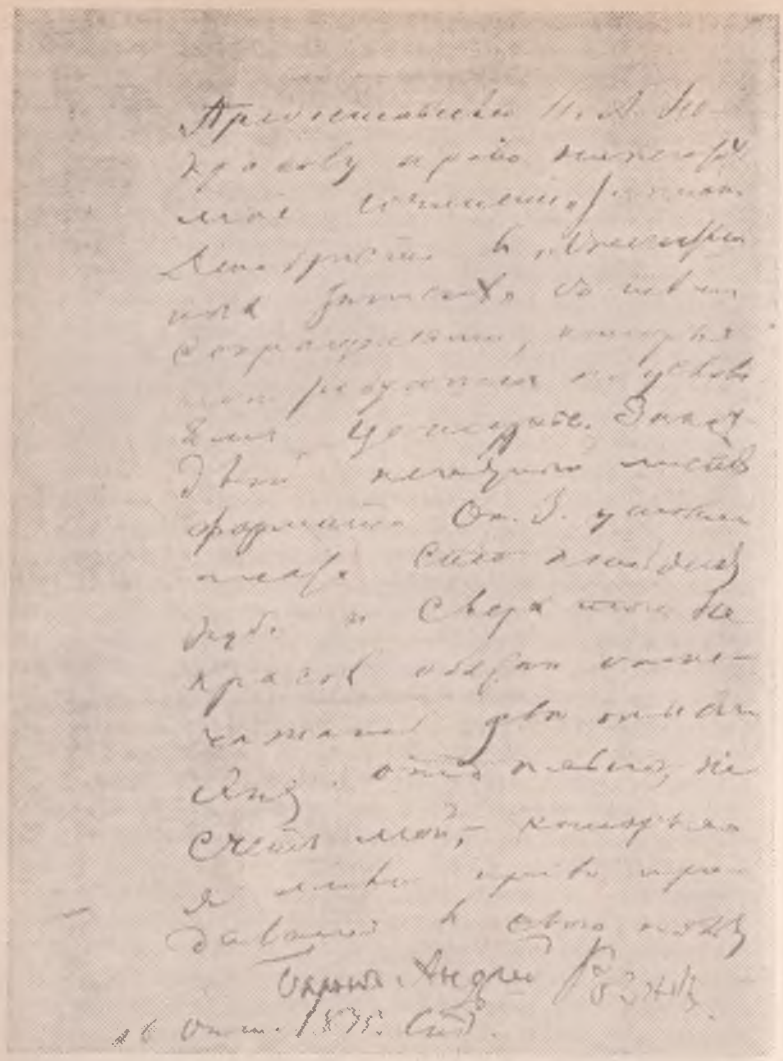
на II подарила это местечко любимцу своему Зоричу; ныне это местечко самое бедное и ничтожное. Вообще Витебская губерния немногим лучше Могилевской, только губернский город обширнее, строения гораздо лучше, улицы хорошо вымощены, и Двина там более покрыта судами, нежели Днепр у Могилева.

В Полоцк приехал я несколько дней после бывшего там пожара, который уничтожил самую бедную, худо застроенную часть города. Двадцать лет прошло с тех пор, как я с полком стоял в этом городе. Католическая церковь между тем переименована была в греко-российскую; на том месте, где стояли строения иезуитского учебного заведения, теперь находится Полоцкий кадетский корпус с обширным, хорошо содержанным плацпарадным местом. В коридорной стене видно ядро полевого орудия, до половины вошедшее в стену, выше ядра вставлено число 1812. Тогда Витгенштейн прогнал оттуда французов. Старший брат мой Владимир, участвовавший в сражениях под Полоцком и громивший там из своих пушек, находился в очень опасной позиции против неприятельской батареи и дал себе слово, если война оставит его в живых, непременно отыскать это место и на нем благодарить бога. Чрез девять лет он поехал в Полоцк исполнить данное слово, долго искал этого места и все тщетно: дорога была проведена по другому направлению, лесок и кустарник были вырублены, новые строения стояли на новых местах, и никак не мог наверно определить место, на коем стояли его орудия. И я нашел перемены в городе и окрестностях, как иначе и быть не может, только Двина по-прежнему извивалась и носила барки с хлебом в Ригу.

Земледельцы, за исключением нескольких крестьян — богатых, добрых владельцев и небольшого числа однодворцев, борются с нуждою и с песчаною неблагодарною почвой. Наречие у них особенное, белорусское, и хотя этот край, в старину русский, присоединен был опять к России по первому разделу Польши в 1772 году, но в этот длинный промежуток времени жители нисколько не подвинулись вперед в благоустройстве, и повсеместно выказывается крайняя бедность. Несколько лет тому назад пронеслись у них ложные слухи, будто правительство дозволяет крестьянам помещичьим переселиться в Сибирь и на Кавказ, и многие тысячи бедного народа под-

нались в дорогу. Тогда несколько батальонов разуверили их и обратили восвояси. Католическое духовенство никакого не имело полезного влияния на паству свою, напротив того, поддерживало народ в невежестве и в суеверии. Увидим плоды от православного духовенства. В жителях Белоруссии никакой нет живости, нет торговой промышленности, нет тщательного земледелия; там беспрестанные неурожаи, беспрерывный голод; правда, что почва у них незавидная, но такая же в смежных губерниях вознаграждает труд земледельца. Кажется, как будто они земли своей не любят или что у них нет охоты трудиться дома, между тем как я не знаю землекопов лучше белорусских: они отличные канавщики, работают дешево и скоро, отправляются на заработки в Петербург, в прибалтийские губернии, мастерски обкладывают земляные насыпи дерном, а у них в губернии не видел ни одной порядочной канавы. Мне случалось останавливаться у однодворцев, шляхтичей, беднейших дворян, занимающихся лично всеми деревенскими работами; дома их построены лучше крестьянских, и если они не живут в довольстве, то, по крайней мере, опрятно, не хуже мелкопоместных дворян великорусских, имеющих не более трех или пяти душ, не работающих сами и скудно питающихся трудами своих крепостных рабочих. Однодворцы были довольны своею землею, своим бытом, но жаловались только на частый и безочередный набор рекрут из их сословия, которое и без усиленного рекрутства со временем изведется само собою и сольется с народом.

С переездом в Псковскую губернию видны села гораздо обширнее и дома гораздо лучше устроенные, чем в Белоруссии. Большие пространства полей засеяны льном, что составляет главное произведение края и всегда находит сбыт в Риге. На сотню верст не видать местности, которая отличилась бы каким-нибудь привлекающим видом. Я ехал на Опочку. Равнина, песок, болото, изведенный лес, кустарник сменялись по очереди. В хорошую и в худую погоду такие места наводят тоску на путешественника, особенно когда он не несется быстро на почтовых по 200 верст в сутки, а на своих — по 60. Лес всегда составляет красоту, где он сбережен и доставляет материал строевой, но изведенный лес, мелкий кустарник показывают разорение и небрежение. По такой местности ехали мы несколько часов сряду и невольно



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР Н. А. НЕКРАСОВА С А. Е. РОЗЕНОМ
Рукою Н. А. Некрасова, с подписью-автографом А. Е. Розена
С.-Петербург, 16 октября 1875 г.

Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом), Ленинград

жаловались на печальную природу. Вдруг налево, вдали от кустарника показался стеклянный купол под зеленою крышею; отъехав полверсты, могли приметить плоскую крышу, потом показались верхний и нижний ряды окон, а когда выехали из кустарника, мы ахнули от удовольствия. Дом красивый, в итальянском вкусе, с плоскою крышею, по коей прохаживались две дамы; от большой дороги к дому вела терраса в три отступа, в нескольких местах были приделаны широкие лестницы или ступени, выкрашенные под белый и под дикий мрамор; белизна лестницы и зелень свежего дерна украшали себя взаимно; в разных направлениях стояли невысокие колонны под разноцветный мрамор, а на колоннах большие корзины с цветами. Тут все было искусство — и дом, и сад, и насыпные террасы. «Чье это поместье?» — спросил я у первого попавшегося навстречу крестьянина. «Гарайской барыни». — «А как по фамилии?» — «Не знаю».

Мне оставалось ехать две версты до ночлега, где узнал, что владелица была Марья Ивановна Лорер, урожденная Корсакова. Деверь ее Н. И. Лорер провел много лет со мною в Чите, в Петровском и в Кургане; Е. П. Нарышкина была ее племянница, и как жена моя познакомилась с нею еще в Петербурге, то я тотчас поехал туда. Сперва искал хозяйку в саду; наслаждался порядком, цветниками, плодами; зашел в оранжерею, где садовник объявил, что она только что воротилась в дом. Умная, образованная женщина приняла меня чрезвычайно ласково и приятно; беседа была занимательна. Все устройство в доме был комфорт образцовый: дом и сад свидетельствовали, что хозяйка долго жила в Италии. Вечером, когда простился с нею, мне стало грустно за нее. Она жила в этом доме, давно уже лишилась мужа, детей не имела, воспитанницу выдала замуж и осталась одна-одинешенька; не было родной души, с кем разделить что бог послал; наследников много, ожидающих наследства, а никого нет, кто утешил и успокоил бы ее старость. Гарай показывает, как вкус и искусство превращает самую плоскую местность и болото в местность приятную и красивую. Хоть на малом пространстве глаз отдохнул от видов пустынных, однообразных.

На другой день приехали в город Остров, застроенный хорошими каменными и деревянными домами, с правильными фасадами и с вымощенными улицами. Лет 20

прошло с тех пор, как был в Острове, и теперь узнать не мог: причиною скорой перемены к лучшему было продолжение нового шоссе ковенского, доставившего городу различные выгоды от удобного сообщения. Шоссейные работы хороши и прочны; за Островом шоссе проведено чрез болото. Недалеко от города видел я первый телеграф в России — телеграфное сообщение устроено от Петербурга до Варшавы: четыре кантониста охотно показали мне свою опрятную казарму с хорошими кроватями. Особенный служитель готовит им пищу, а они дежурили по часам по очереди и передавали с башенки сигналы, днем ворочая большой указатель по нумерованному кругу, а ночью выставляли фонари. В совершенно туманную, ненастную погоду безмолвствует телеграф. Над казармою в верхнем этаже чистая комната меблированная, а над нею обсерватория с машиною, куда никого не пускают из посторонних. Не прошло десяти лет от учреждения этой телеграфической линии, как начали вводить электромагнитные телеграфы, которые обходятся гораздо дешевле и действуют гораздо быстрее и вернее.

Подъезжая к Пскову, мы ехали по новому шоссе, лошадей надобно было держать беспрестанно на вожжах: дорога так была хороша и легка, что экипаж катился сам собою; но странно, чем ближе подвигались к городу, тем более город удалялся в сторону; загадка скоро объяснилась. Шоссе ведет не через Псков — это сделано не для прямого направления, не из бережливости казенных денег, не для сокращения расстояния, потому что от станции Крестцы под прямым углом проложено прямо на Псков такое же широкое славное шоссе на шесть верст. «За что же губернский город оставлен в стороне?» — спросил Николая один из его приближенных. «Ты этого не знаешь, про то мы знаем!» — был ответ.

Псков примечательно богат историей своей и воспоминаниями. Еще стоят толстые стены кремля, древние церкви, из которых после молитвы народ дружно собрался, и один, без помощи старшего брата Новгорода, защищался против Стефана Батория, без помощи со стороны Иоанна Грозного, которому он покорился без боя. Карамзин в приложении к своей истории упоминает летопись, описавшую с величественною простотою, как царский посол Далматов долго сидел на паперти и долго ждал ответа от собранного веча и как люди вольные,

окончив свое совещание и не нашед возможности сопротивляться, с прерывающимся от слез голосом возвестили послу, что покоряются[374].

Новгород и Псков, в старину знаменитые, ожидают еще полной истории своей; верные источники ее хранятся в архивах русских и всех ганзейских городов. Теперь эти города с прежним Волховом и с прежнею Великою, с тою же землею, с тем же климатом начинают походить на разоренные местечки... В Пскове остановился я в большом постоялом дворе, занял хорошие комнаты, но экипажи и кони стояли в крытом дворе, который легко поместил бы до трехсот лошадей, но крыша сквозила, не защищала ни от солнца, ни от дождя; спросил хозяина, почему он не поддерживает таких построек. «Не стоит труда, не для кого. Бывало, обозы и проезжающие беспрестанно останавливаются у нас, а теперь все мимо; по целым неделям не видать никого». При въезде в город построены огромные казармы для гренадерской дивизии. Я объехал город, зашел в собор, где церковный служитель показал мне хранящиеся там мечи Гавриила и Довмонта с надписью: «Honoren meum nemini dabo»*, которые я уже видел в 1822 году. Мало ныне таких мечей и таких могучих рук, которые могли бы владеть ими; зато теперь удачный залп из орудий, рассчитанное движение колонн скорее и с меньшим кровопролитием решают дело в несколько дней, в несколько часов.

В Пскове навестил я мать моего достойнейшего любви и уважения товарища — М. А. Назимова. Старушка почтенная была разбита параличом, лежала в кровати, и когда я подошел к ней, чтобы поцеловать ручку, то она обняла мою голову, склонила ее к сердцу, заплакала и сказала: «Так ты с моим сыном жил в Сибири!» — и благословила меня. Я готов был возвратиться в Грузию, если бы мог этим выручить товарища и возвратить его матери. Сын отличался несколько раз, поименован был в военных реляциях, наконец получил отставку и вернулся на родину чрез три года; но уже матери не застал...

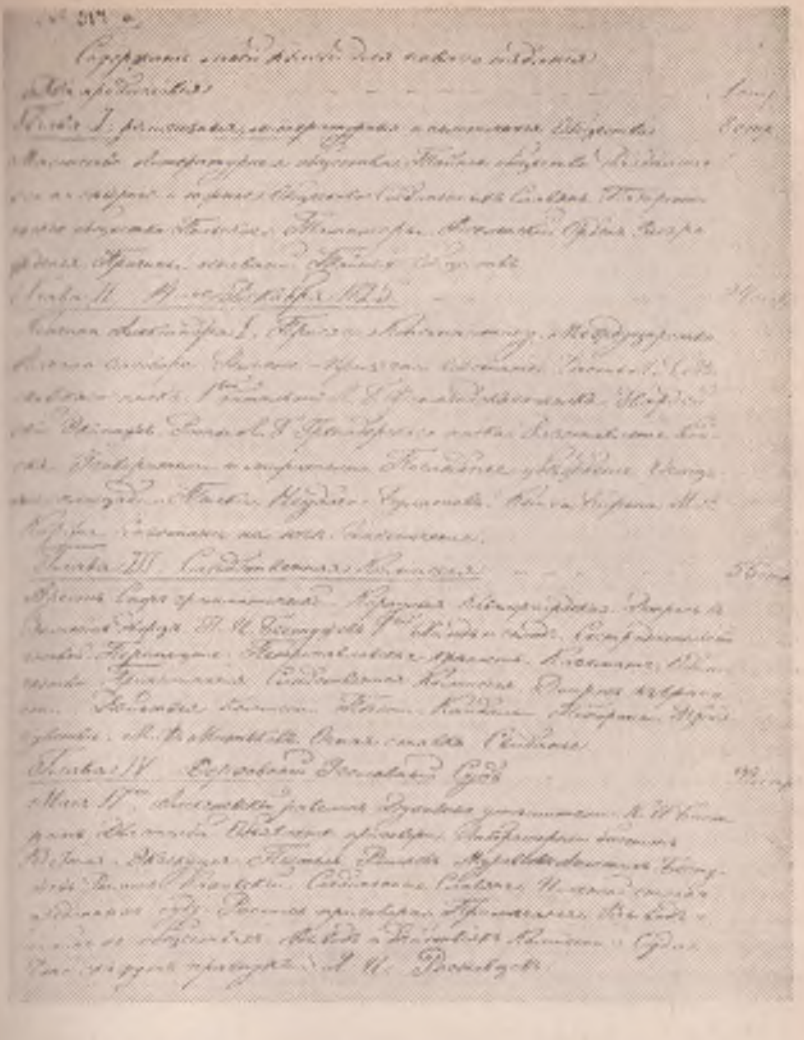
Из Пскова поехали прямою дорогою на Гдов и Нарву. Первый ночлег имели в монастыре Елизария, расположенном весьма романтическим образом: высокие холмы, речка, сосновые рощи, строения, церковь, кладбище,

* Честь мою никому не отдам (лат.).

все вместе составляло премилую картину. Настоятель принял нас гостеприимно. На следующий день имели в виду огромное зеркало Псковского озера, теряющегося вдали с водами озера Чудского. Поздно вечером пришлось ехать по Сороковому бору, о котором столько же преданий о разбойниках, сколько в старину бывало о них в лесах муромских. Во время нашего проезда в самом деле следили за шайкою беглых, грабивших в богатых селениях; мы проехали благополучно, все шагом, все по пескам. В Гдове поместили нас в зале дворянского собрания, в предлинной зале, сколоченной из досок, обитых обоями, с высоким диваном во всю ширину залы для почетных дам; кое-как разместились. Близ города на другой день ожидала меня большая радость.

В шести верстах от Гдова находится Кярово, село графини А. И. Коновницыной; дочь ее Е. П. Нарышкина в то время гостила у матери. Я приехал к ним поутру в пятницу, в день недельный, в который всегда в Кургане навещал ее по приходе почты. Можно себе представить нашу радость свидания. Графиня жалела и бранила, почему не приехал прямо к ней со всем семейством; она уже давно знала жену мою и старшего сына. Я обещал это поправить на другой день проездом и мог извиниться болезнью сына моего Василия. Мне приятно было быть в Кярове, где изредка отдыхал от трудов славный, прямой и смелый граф Петр Петрович Коновницын. В церкви поклонился я праху его; над могилой стоял бронзовый его бюст. В саду видел множество яблонь, взращенных им и супругою из зерен; все деревья эти покрыты были плодами; на небольшом возвышении граф воздвигнул памятник другу и сослуживцу. Коновницын прославился в Отечественной войне, проходил все чины, был военным министром, а под конец жизни был директором всех военно-учебных заведений; но что всего важнее — он всегда был совершенно честный и благонамеренный патриот.

Местность вокруг Гдова самая жалкая и печальная; не будь там хорошо возделанных полей, садов и плодов, я подумал бы, что это место не может быть обитаемо. Эта мысль моя встретилась с мыслью Нарышкиной, и мы почти в одно слово выговорили, что такая природа обретается только в плоских местностях Западной Сибири. Впрочем, не всегда местность сама по себе составляет



ПРОСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕННОГО А. Е. РОЗЕНОМ В 1873—1875 ГГ. ИЗДАНИЯ «ЗАПИСОК ДЕКАБРИСТА».
Писарская копия

Институт русской литературы АН СССР (Пушкинский Дом). Ленинград

единственную красоту: стройте, сажайте, осушайте болота хорошими канавами, удобряйте поля, заводите хорошие стада, и окрестности Гдова поравняются с равнинами Бельгии. На другой день заехал опять в Кярово со всем семейством; там простились с Нарышкиной, которая чрез неделю собиралась ехать обратно на Кавказ к мужу; я всегда искренне жалел, что не мог жить опять в их соседстве, как в Кургане.

Поздно вечером приехали в Нарву и остановились на ночлег на Ивановской стороне. У хозяев расспрашивал о прежних мне знакомых жителях: большая часть из них или переселились в вечность или в другие города. С удовольствием узнал я, что один из прежних моих учителей, г-н Пауль, еще здравствует. Поутру в седьмом часу поехал к нему до начатия классов, а кучеру приказал осмотреть тормоз, чтобы безопасно спуститься с крутой горы. Предосторожность была напрасная: спуск прежний был так скрыт и уравнен, что можно было съехать рысью. Вместо прежнего плавучего моста через Нарову увидел отличный каменный мост на арках с чугунными украшениями. Город и дома в нем не изменились. У прежней квартиры знакомого учителя постучался в дверь, ее отперла старушка Анна, которая служила у г-жи Гетте, где я был в пансионе, и три года сряду будила меня каждое утро в шесть часов, чтобы не опоздать в классы. Вошед в комнату, увидел за кофейным столиком девицу лет четырнадцати, живой портрет покойной матери своей, а отец сидел на том самом стуле, у того же окна, с тою же трубкою и с тем же лицом, как прежде видал его за двадцать пять лет назад. Мы оба обрадовались свиданию, а я восхищался, что он нисколько не переменился. Я двенадцать лет даю уроки и чувствую, как они, а особенно повторения, изводят и иступляют человека; он сорок лет преподавал и повторял одно и то же и совершенно сохранил свою бодрость и свежесть.

От него поспешил в училище, где нашел прежнюю скамейку и стол, на котором вырезаны были знакомые мне имена. Ученики вместо семи часов собирались теперь на восемь. Из училища пошел в церковь и там помолился так же чистосердечно, как в юности. По выходе из церкви часы на башне ратуши пробили 8; из русской церкви раздался благовест, и эти знакомые звуки тронули меня больше, чем звон Бриеннского колокола ласкал

слух Наполеона I[375]. Я был уже на родине! Но во время моего отсутствия город причислен был к Петербургской губернии, а пограничный столб передвинут за шесть верст от берегов Наровы до берега Черной речки, куда проложено шоссе. Выезд из города вел также по новому направлению: прежде надобно было ехать чрез весь город, а ныне прямо чрез Петровские ворота, не въезжая в город. Дождь накрапывал порядком. Как только проехали Черную речку, остановились и вышли из экипажей. Дождь перестал, облака исчезли, солнце просияло; жена и дети меня обнимали со слезами радости; все мы благодарили бога, а младший сын мой Владимир, по наущению матери, серьезно и важно продекламировал стихи Жуковского «О, родина святая!»[376].

КОММЕНТАРИЙ

[1] К 1870 г. в живых оставалось пятнадцать человек из числа осужденных Верховным уголовным судом. Розен не имел сведений о В. С. Толстом. Узнав в 1878 г. (см.: РС, 1878, № 9, с. 162), «что он живет в своем поместье Московской губ. Подольского уезда и ему 74 года от роду», Розен писал М. А. Назимову: «Как бы я радовался, если бы воскресли все друзья» (ИРЛИ, Р 1, оп. 24, д. 49, л. 74). В декабристской мемуаристике слово «декабрист» употребляется неоднозначно. П. Н. Свистунов, Д. И. Завалишин, А. В. Поджио декабристами называли всех членов тайных обществ. М. А. Бестужев и И. Д. Якушкин — только тех, кто был участником восстания 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге. Так, М. А. Бестужев в письме к редактору «Русской старины» М. И. Семевскому от 7 октября 1869 г., называя Розена и А. П. Беляева, прибавил: «Они заслуживают вашего внимания как два лица из оставшегося триумвирата настоящих декабристов, бывших на площади» (Бестужевы, с. 469). Последней точки зрения в данном случае придерживается и Розен. «Трое из декабристов» — это М. А. Бестужев, А. П. Беляев и сам мемуарист. В дальнейшем Розен употребляет слово «декабрист» преимущественно в широком смысле.

[2] Большая часть названных произведений декабристов была опубликована в изданиях вольной печати. Воспоминания Е. П. Оболенского опубликованы в журнале П. В. Долгорукова «Будущность» (Париж, 1861, № 5—11), затем были перепечатаны Н. В. Гербелем в изданном им Полном собрании сочинений К. Ф. Рылеева (Лейпциг, 1861). «Воспоминание о Рылееве» Н. А. Бестужева напечатано в ПЗ на 1861 г. (кн. VI. Лондон, 1861). Отрывки из воспоминаний И. И. Пущина помещены в московском журнале «Атеней» (1859, № 6), полный текст его «Записок» — в ПЗ на 1861 г. (кн. VI. Лондон, 1861). Отрывок из второй части «Записок» И. Д. Якушкина (следствие по делу декабристов и приговор) опубликован в ПЗ на 1862 г. (кн. VII, вып. I. Лондон, 1861). Далее Розен упоминает «Разбор Донесения, представленного российскому императору Тайной комиссией в 1826 году», написанный в начале 1839 г. М. С. Луниным. Примечания к этой работе составил Н. М. Муравьев. Впервые произведение М. С. Лунина было опубликовано в ПЗ на 1859 г. (кн. V. Лондон, 1859). В этой же книге напечатана статья М. С. Лунина

«Взгляд на тайное общество в России (1816—1826)». Розен познакомился со статьями М. С. Лунина по публикациям в ПЗ в 1860 г. (ИРЛИ, ф. 606, д. 22, л. 121). В изданных Вольной русской типографией А. И. Герцена и Н. П. Огарева «Записках декабристов» были перепечатаны первая и вторая части «Записок» И. Д. Якушкина (вып. 1. Лондон, 1862) и «Разбор...» М. С. Лунина (вып. 2—3. Лондон, 1863). Отрывок из «Записок» Н. В. Басаргина, посвященный его воспитанию в Училище для колонновожатых, был опубликован в РА, 1868, № 4—5.

[3] Книга Н. И. Тургенева «Россия и русские» («La Russie et les Russes») вышла трехтомным изданием на французском языке в Париже в 1847 г. и затем была переведена на другие европейские языки. Н. И. Тургенев в 1824 г. уехал за границу и фактически отошел от движения. После 14 декабря 1825 г. он отказался возвратиться в Россию и был осужден заочно. В своей книге Н. И. Тургенев стремился опровергнуть обвинения, предъявленные декабристам, и подверг критике документы процесса по делу 14 декабря, но при этом существенно исказил действительную историю декабристского движения. Высокая оценка книги Н. И. Тургенева, данная Розеном, относится главным образом к содержащейся в ней критике документов следствия и доказательству юридической несостоятельности процесса над декабристами.

[4] Сочинение М. А. Корфа, представлявшее собой официальную историю 14 декабря 1825 г., было напечатано дважды, в 1848 и 1854 гг., «для членов императорского дома и некоторых доверенных особ»; в июле 1857 г. оно вышло третьим («первым для публики») изданием под заглавием «Восшествие на престол императора Николая I». Книга была переведена на многие европейские языки.

[5] См. примеч. 186.

[6] Из записок Н. И. Греча (РВ, 1868, № 6, с. 371—421). Первоначально записки Н. И. Греча появились в бесцензурных изданиях, в частности в ПЗ на 1862 г. (кн. VII, вып. 1. Лондон, 1861).

[7] В мае 1869 г. Розен направил письмо П. И. Бартеневу, редактору «Русского архива», в котором протестовал против этой публикации, вводившей, по его словам, «читателей «Русского архива» в заблуждение», в частности, содержавшимися в ней сведениями о том, что Е. П. Оболенский 14 декабря стрелял в М. А. Милорадовича (Летописи гос. лит. музея. Кн. 3. Декабристы. М., 1938, с. 270). П. И. Бартенев поместил в журнале заметку с изложением письма Розена (РА, 1869, № 10, стб. 1727).

[8] Книга И.-Г. Шницлера «Тайная история России в царствование императоров Александра и Николая и в частности во время кризиса 1825 года» (Schnitzler J.-H. Histoire intime de la Russie sous les empereurs Alexandre et Nicolas et particulièrement pendant la crise de 1825) вышла в Париже в 1847 г., переведена на многие европейские языки. Автор в 1823—1828 гг. жил в России. Рассказ И.-Г. Шницлера о декабристах отличался обстоятельностью и осведомленностью, однако Розен явно преувеличивает степень его правдивости.

[9] Произведения западноевропейской публицистики 1820—1830-х гг. названы Розеном не совсем точно: Ancelot J.-F. Six mois en Russie. Bruxelles, 1827 (Ансло Ж.-Ф. Полгода в России. Брюссель, 1827); Lesur Ch.-L. Annuaire historique de

1825. Paris, 1826 (Лезюр Ш.-Л. Исторический ежегодник за 1825. Париж, 1826); Dupré de Saint-Maur E. Pétersbourg, Moscou, les Provences. Paris, 1830 (Дюпре де Сент-Мор. Петербург, Москва, провинции. Париж, 1830). В этой книге о декабристах нет ни слова, и Розен упоминает ее по ошибке; Revelation of Russia: or the Emperor Nicholas and his Empire in 1844. London, 1844 (Открытие России: или император Николай и его империя в 1844. Лондон, 1844). Книга вышла анонимно (у Розена помечено «D'un Anglais anonime», т. е. неизвестный английский автор). Ее написал швед Ch.-F. Henningsen (Ч.-Ф. Хеннингсен); Custine A. de. La Russie en 1839. Paris, 1843 (Кюстин А. де. Россия в 1839. Париж, 1843). Рассказ о восстании декабристов, записанный А. де Кюстином со слов Николая I, действительно очень напоминает обстоятельства холерного бунта в Петербурге в 1830 г. По мнению Розена, А. де Кюстин «смешал» эти разные события. Возможно, однако, что Николай I, заинтересованный в фальсификации событий 14 декабря, в своем рассказе сознательно подменил одни обстоятельства другими (см.: Маркиз де Кюстин. Николаевская Россия. М., 1930, с. 111—113, 297). Что касается бунта военных поселян в Старой Руссе в 1831 г. (см. примеч. 308), то рассказ А. де Кюстина об этом имеет самостоятельный характер и не связан с восстанием 14 декабря 1825 г.

[10] Это и последующие утверждения мемуариста о «беспристрастности», отсутствии «горечи» и «вражды» хотя и отражают его определенное стремление смягчить политическую остроту «Записок декабриста», не следует, конечно, понимать буквально. Указаниями на «дух времени» и «обстоятельства» Розен хотел избежать нежелательной печатной полемики с родственниками и друзьями тех лиц, которые изображены им в негативном свете, и, кроме того, подчеркнуть необходимость исторического подхода к описываемым событиям, призвать читателей взглянуть на них глазами историка. В одном из своих писем к редактору «Русской старины» М. И. Семевскому Розен писал: «<...> внимательный читатель без критики и полемики найдет легко, на чьей стороне правдивость» (Тимощук В. В. М. И. Семевский, его жизнь и деятельность. СПб., 1895, прилож., с. 6).

[11] Нарушая общепринятый тогда отсчет времени, Розен датирует начало нового периода истории России не 1855 г. (смертью Николая I), а 1856 г. Возможно, здесь намек на амнистию декабристов, объявленную коронационным манифестом Александра II от 26 августа 1856 г.

[12] Имеются в виду следующие публикации: Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen. — Die Grenzboten, 1868, S. 2, B 2, s. 100—437; Aus den Memoiren eines russischen Dekabristen. Leipzig, 1869; Биржевые ведомости, 1868, 11 окт., № 269; 16 окт., № 274; [Стасюлевич] М. М. Мемуары из прошлого времени (1825—1839 гг.). — Вестник Европы, 1869, № 10, с. 770—781.

[13] В 70-х — начале 80-х гг. Розен дважды посетил М. И. Семевского и оставил в его альбоме автографы с пометой: «Родился 3 ноября 1799 г.» (Знакомые. Альбом М. И. Семевского. СПб., 1888, т. 1, с. 21; т. 2, с. 122). В выписке из «Формулярного списка» Розена, представленной в Следственный комитет в конце декабря 1825 г., в графе «Сколько от роду лет» стоит «26». 2 июня

1826 г., отвечая на соответствующий вопрос следствия, Розен подтвердил эти данные: «Мне <...> от роду двадцать шесть лет» (ВД, т. 15, с. 206, 215). Существует, кроме того, свидетельство сослуживца Розена, А. П. Беляева: «Барон Андрей Евгеньевич Розен родился 3 ноября 1799 г.» (Беляев, с. 231). Причины, по которым Розен называет в «Записках декабриста» другой год своего рождения (1800 г.), неизвестны.

[14] Записки отца мемуариста Е. О. Розена были изданы в 1877 г (Rosen E. Die sechs Decennen meines Lebens oder mein 61-ster Geburtstag: seinen Kindern und Freunden gewidmet. Riga, 1877). Возможно, Розен имеет в виду неизвестную нам журнальную публикацию записок, появившуюся до 1870 г. и оставшуюся незарегистрированной в соответствующих библиографиях.

[15] Розен, урожденная Сталь фон Голштейн, В.-Э.

[16] Розен имеет в виду трагедию Ф.-М. Клингера «Die Zwillinge» (Близнецы).

[17] В 1815 г. М. С. Перский был инспектором I-го Кадетского корпуса, его директором он был в 1820—1832 гг.

[18] Конгресс Священного союза в Аахене состоялся в сентябре — ноябре 1818 г.

[19] Е. Ф. Мейендорф отличился во время подавления польского восстания в битве под Гроховом в феврале 1831 г.

[20] Волнения в л.-гв. Семеновском полку начались 16 октября 1820 г.

[21] Ф. Е. Шварц был назначен командиром л.-гв. Семеновского полка в апреле 1820 г.

[22] Жалобу на действия Ф. Е. Шварца 1-я рота подала первоначально ротному командиру Н. И. Кашкарову. Утром следующего дня, 17 октября 1820 г., жалоба была повторена А. Х. Бенкендорфу и вел. кн. Михаилу Павловичу, прибывшим в полк. Вечером того же дня роту обманом завели в манеж и оттуда отконвоировали в Петропавловскую крепость.

[23] Александр I находился в это время на конгрессе Священного союза в Троппау.

[24] За причастность к волнению в л.-гв. Семеновском полку были переведены в армейские полки, а в 1821 г. отданы под суд офицеры И. Ф. Вадковский, Н. И. Кашкаров, И. Д. Щербатов и Д. П. Ермолаев. 27 февраля 1826 г. Николай I приказал, «лишив чинов и орденов», отправить в Отдельный Кавказский корпус И. Д. Щербатова и Д. П. Ермолаева, а также И. Ф. Вадковского и Н. И. Кашкарова, предварительно «выдержав их в крепости» (РС, 1883, № 4, с. 91—94).

[25] Ф. Е. Шварц по сентенции военного суда в сентябре 1821 г. был отставлен от службы, но в 1823 г. по ходатайству А. А. Аракчеева был принят тем же чином на службу в военные поселения; в 1850 г. за злоупотребления властью и истязания солдат был навсегда уволен со службы с запрещением въезда в обе столицы.

[26] Л.-гв. Семеновский полк отличился в битве между союзнической армией и армией Наполеона под Кульмом 17 августа 1813 г.

[27] Герцог Энгиенский был обвинен в участии в заговоре против Наполеона I, невинно осужден и расстрелян в марте 1804 г.

Наполеон рассчитывал этим напугать дворянских эмигрантов, приверженцев королевской семьи.

[28] Т. е. сэкономленного провианта.

[29] Имеются в виду революционные восстания в Неаполе в 1820 г. и в Пьемонте в 1821 г.

[30] Священный союз — политический союз, заключенный в сентябре 1815 г. тремя монархами — русским, прусским и австрийским для борьбы с революционным и национально-освободительным движением.

[31] Присоединение Грузии к России произошло в сентябре 1801 г. (см. примеч. 364) в царствование Александра I, тогда же Б. Ф. Кнорринг был назначен главнокомандующим русскими войсками в Грузии.

[32] Г. В. Розен.

[33] Ратсгер — член городского совета.

[34] Подкоморий — судья, занимавшийся вопросами межевания земельных владений.

[35] Розен неточно приводит названия читанных им книг: Mathilde, voyage en Normandie au XII[e] siècle, par un Normand. Ruen, 1818; Caroline de Lichtfield, ou Mémoires extraits des papiers d'une famille prussienne par M[me] de... Lusanne — Paris, 1785. На русском языке эти книги не издавались.

[36] Гевальдигер — офицер, заведовавший полицейской частью в войсках.

[37] Имеется в виду опера К. М. Вебера «Der Freischütz» (Вольный стрелок), в ту пору популярная новинка.

[38] Всевозможные слухи о М. С. Лунине, в частности о вызове им на дуэль Константина Павловича, были широко распространены среди современников. Рассказ Розена — один из мемуарных отголосков этих слухов (см.: Окунь, с. 14—16).

[39] Казармы л.-гв. Финляндского полка находились на наб. Большой Невы, между 19-й и 20-й линиями.

[40] Бауценское сражение с наполеоновской армией произошло в мае 1813 г.

[41] У В. Ф. Малиновского было три дочери: Елизавета, Анна и Мария.

[42] «Плашкоуты» (плашкоты) — плоскодонные беспалубные суда, которые использовались для наводки мостов.

[43] История Н. М. Карамзина — это «История государства Российского». Дезодоар — судя по тексту — историк. Имя, вероятно, приведено не точно. Кого имел в виду в данном случае мемуарист, установить не удалось.

[44] С. Г. Строганов.

[45] А. Ф. Орлов.

[46] В 1789—1791 гг. В. Ф. Малиновский состоял переводчиком при русской миссии в Лондоне; в 1791 г. был в Турции. Данных о пребывании его в Германии и во Франции нет.

[47] См.: Малиновский В. Ф. Избранные общественно-политические сочинения. М., 1958.

[48] В 1801 г. В. Ф. Малиновский был назначен генеральным консулом в Молдавии и Валахии. В Яссах он пробыл около двух лет и в 1802 г. возвратился в Петербург. Грек — это К. К. Родофиникин, управляющий азиатским департаментом Министерства иностранных дел.

[49] М [а л и н о в с к и й] В. Рассуждение о мире и войне. Ч. 1—2. СПб., 1803. О неопубликованной, третьей части трактата см.: Вопросы истории, 1979, № 6, с. 32—46. В 1803 г. В. Ф. Малиновский издавал журнал «Осенние вечера» (вышло 8 номеров).

[50] См. примеч. 2.

[51] Смущение В. Ф. Малиновского объясняется тем, что он вынужден был читать не свою речь, забракованную министром просвещения, а речь, специально для него сочиненную.

[52] Сведения об А. А. Самборском нуждаются в уточнении. В Лондоне А. А. Самборский оставался до 1782 г. В том же году сопровождал вел. кн. Павла и его супругу в их путешествии по Европе. В 1794 г. А. А. Самборский получил «в вечное и потомственное владение» имение Стратилатовку (Каменку). Он умер 5 октября 1815 г. на 84-м году жизни. Существует предположение (Г а с т ф р е й н д, с. 278), что перу Розена принадлежит книга «О жизни протоиерея А. А. Самборского» (СПб., 1888). Отмеченные фактические неточности делают это предположение сомнительным.

[53] «Три сына» — Иван, Андрей и Осип (Иосиф). «Три дочери» — см. примеч. 41.

[54] Опекуном Д. Н. Шереметева был Д. А. Трощинский. П. Ф. Малиновский был «наблюдателем за воспитанием» молодого графа.

[55] 19 февраля 1861 г. опубликован манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости.

[56] Вероятно, ошибка: в списках л.-гв. Павловского полка Суханов не значится (см.: История л.-гв. Павловского полка. СПб., 1875, приложения).

[57] С. Ф. Калакуцкий был отправлен на поселение в Курган.

[58] Александр I умер 19 ноября 1825 г. 27 ноября в Петербург прибыл фельдъегерь с сообщением о кончине императора.

[59] 15 ноября 1815 г. Царство Польское, вошедшее в состав Российской империи, получило Конституцию (действовавшую до 1830 г.); это же обещал Александр I и России, выступая на открытии Польского сейма 15 марта 1818 г.

[60] Весной 1821 г. началось греческое восстание против турецкого владычества. Александр I был враждебно настроен против Турции, но остался верен принципам Священного союза и воздержался от помощи восставшим грекам. Мнение Розена, что Священный союз действовал в отношении греческого восстания вопреки «убеждениям» Александра I, ошибочно.

[61] Поведение М. А. Милорадовича в период междуцарствия освещено Розеном не точно. На это обратил внимание П. Н. Свистунов (РА, 1870, № 8—9, стб. 1636). М. А. Милорадович настаивал на присяге Константину. Он указывал Николаю Павловичу на его непопулярность в гвардии и заявлял, что не ручается за то, что присяга ему пройдет спокойно.

[62] В 1822 г. Константин обратился к Александру I с письмом, в котором просил освободить его от «бремени власти» и отказывался от своих прав на русскую корону. 16 марта 1823 г. Александром I был составлен манифест об отречении Константина и передаче прав на престол младшему брату, вел. кн. Николаю Павловичу. Надпись Александра I на конверте, хранившемся в Государственном совете, цитируется Розеном не совсем точно: «Хра-

нить в Государственном совете до моего востребования, а в случае моей кончины раскрыть прежде всякого другого действия в чрезвычайном собрании» (Корф, с. 50).

[63] Царское правительство было осведомлено о существовании тайных политических обществ. В 1821 г. Александру I доложил о заговоре среди офицеров И. В. Васильчиков. В том же году А. Х. Бенкендорф подал на высочайшее имя записку о тайных обществах, составленную М. К. Грибовским. В июле 1825 г. поступил донос от И. В. Шервуда, сообщившего о заговоре во 2-й армии. В середине августа 1825 г. в Петербурге уже располагали доносением И. О. Витта и приложенным к нему доносом А. К. Бошняка о деятельности Южного тайного общества. 18 октября 1825 г. состоялся личный доклад И. О. Витта Александру I в Таганроге. Все это было известно Николаю I.

[64] Донос А. И. Майбороды, в котором были названы 46 имен членов тайного общества, был получен И. И. Дибичем в Таганроге уже после смерти Александра I, 26 ноября 1825 г. Рапорт И. И. Дибича, в котором излагались доносы И. В. Шервуда, И. О. Витта и А. И. Майбороды, был доставлен Николаю I рано утром 12 декабря 1825 г.

[65] Рылеев жил на Мойке в доме Российско-американской компании, где служил правителем дел (главным секретарем) правления. В момент прихода Розена и Н. П. Репина Рылеев читал книгу Т. С. Мальгина «Российский ратник, или Общая военная повесть о государственных войнах, неприятельских нашествиях, уронах, бедствиях, победах и приобретениях от древности до наших времен по 1805 год» (М., 1825).

[66] На совещании офицеров л.-гв. Финляндского полка 11 декабря 1825 г. присутствовал также Е. П. Оболенский (ВД, т. 1, с. 247; т. 2, с. 369, т. 15, с. 209).

[67] На совещании 12 декабря 1825 г. у Е. П. Оболенского присутствовали представители разных полков, выразивших согласие «действовать к общей цели». Л.-гв. Финляндский полк представляли Розен и А. И. Богданов. На совещании присутствовали также К. Ф. Рылеев, А. М. Булатов, А. Л. Кожевников, А. Н. Сутгоф, Д. А. Щепин-Ростовский, А. И. Одоевский, А. П. Арбузов, И. А. Анненков, Д. А. Арцыбашев (ВД, т. 1, с. 247, 284; т. 15, с. 209).

[68] Вызов М. Ф. Орлову был послан в Москву с П. Н. Свистуновым 13 декабря. По мнению М. В. Нечкиной, он был предпринят не с целью поручить Орлову «начальство над войсками» в день восстания, как полагал Розен, но для «каких-то более отдаленных» действий тайного общества (Нечкина, с. 246).

[69] В состав временного правительства предполагали ввести М. М. Сперанского, Н. С. Мордвинова, А. П. Ермолова, Н. Н. Раевского, И. М. Муравьева-Апостола, А. А. Столыпина, Д. О. Баранова и др. (Нечкина, с. 237).

[70] Н. А. Бестужев, видевший К. Ф. Рылеева днем 12 декабря, приводит его слова, по смыслу и текстуально совпадающие с теми, что услышал и запомнил Розен: «Но мы начнем. Я уверен, что погибнем, но пример останется. Принесем собою жертву для будущей свободы отечества!» (Бестужевы, с. 34).

[71] По свидетельству П. И. Греча, «все штаб- и обер-офицеры» л.-гв. Финляндского полка были собраны «в квартире полкового командира <...> в 8 часов утра» (ГПБ, ф. 859, карт. 37, д. 23,

к 46). То же показал на следствии и Розен (ВД, т. 15, с. 210).

[72] Розен ошибается: он выехал из дому в 11 часов утра либо в 12-м, но не раньше.

[73] «Два унтер-офицера» — это унтер-офицер Моисеев и рядовой А. Красовский.

[74] У Исаакиевского моста со стороны Сенатской площади стояла 1-я рота л.-гв. Преображенского полка под командованием П. Н. Игнатьева (Габаев, с. 188; ГПБ, ф. 859, карт. 37, д. 23, л. 94). Капитан Н. А. Титов командовал 2-й ротой л.-гв. Преображенского полка.

[75] Розен здесь неточен: он мог располагать только двумя с половиною ротами полка, стоявшими на Исаакиевском мосту, или не свыше 500 солдатами.

[76] А. Л. Кожевников на Сенатской площади не был. Его арестовали во время присяги в л.-гв. Гренадерском полку.

[77] Порядок прихода восставших войск на площадь указывается неверно. Вслед за Московским полком пришла рота лейб-гренадер под командой А. Н. Сутгофа, потом Гвардейский экипаж и практически одновременно с ним — отряд лейб-гренадер, приведенный Н. А. Пановым. По льду Невы прошла рота А. Н. Сутгофа. Н. А. Панов провел свой отряд по Дворцовой набережной. Помещен «внутри каре» был отряд Панова, рота Сутгофа пристроилась к восставшим войскам.

[78] К 4 часам дня восставших войск было более трех тысяч человек.

[79] А. М. Булатов не находился среди восставших, и предложения о командовании ему сделать не могли. По мнению М. В. Нечкиной, Розен в данном случае «несколько поддался сибирским рассказам Трубецкого», который выдвигал эту версию (Нечкина, с. 481).

[80] Роты л.-гв. Преображенского полка стояли шеренгами. Наследник, вел. кн. Александр Николаевич, находился в это время в Зимнем дворце, куда был привезен А. Л. Кавелиным из Аничкова дворца утром 14 декабря 1825 г. по приказу Николая I.

[81] Этот факт, о котором сообщает только Розен, мог произойти, когда л.-гв. Егерский полк по приказу Николая I занимал место за пешей гвардейской артиллерийской бригадой против Гороховой улицы.

[82] Флигель-адъютантами были назначены далеко не все батальонные командиры, участвовавшие 14 декабря на стороне правительственных войск (см.: Габаев, с. 198—199).

[83] Солдаты Московского полка, по свидетельству Д. А. Щепина-Ростовского, брали «ружья с боевыми патронами по 10 [патронов] на человека» (ВД, т. 1, с. 397).

[84] А. П. Галахов был ранен зарядом дроби. В данном случае Розен, возможно, имел в виду штабс-ротмистра л.-гв. Конногвардейского полка Н. А. Игнатьева, которого ранили тяжелым поленом, брошенным из толпы, или одного из братьев Головиных, офицеров того же полка. Известно, что «в одного попали бревном в плечо, а в другого булыжником в ногу, так что он хромал» (Головин И. Записки. Лейпциг, 1859, с. 21). И. И. Велио (Вельо) был полковником Конногвардейского полка.

[85] Михаил Павлович прибыл в Зимний дворец «в исходе 11-го

часа» 14 декабря 1825 г. (ЦГИА, ф. 516, оп. 28/1618, д. 128, л. 351).

[86] Достоверность этого свидетельства подтверждается словами М. А. Бестужева (в записи М. И. Семевского): «Петр Бестужев спас Михаила Павловича» (Бестужевы, с. 391) и показаниями П. Г. Каховского (ВД, т. 1, с. 377).

[87] В данном случае Розен следует версии М. А. Корфа, который, основываясь на воспоминаниях К. Ф. Толя, считал последнего инициатором стрельбы картечью (Корф, с. 181—182). Николай I уступал первенство в этом И. В. Васильчикову (Междуцарствие, с. 27).

[88] Всего было сделано не менее семи выстрелов (Нечкина, с. 334). Артиллерийскую роту привел на площадь А. В. Нестеровский. Одно орудие было поставлено к стороне Конногвардейского манежа и Адмиралтейского канала, три других — перед л.-гв. Преображенским полком. Этими последними командовал И. М. Бакунин. По имеющимся данным, в день 14 декабря было «убито народа» 1271 человек (История СССР, 1970, № 6, с. 114—115; ср.: Сибирь и декабристы. Вып. 3. Иркутск, 1983, с. 24).

[89] Сводный батальон л.-гв. Павловского полка закрывал выход с площади на Галерную улицу. Здесь батальон попал под обстрел картечи и потерял 30 человек ранеными. Розен имеет в виду «Записки» Е. Ф. Комаровского, напечатанные в РА, 1867, № 2, 5, 6, 10. По пути к К. П. Торсону вечером 14 декабря М. А. Бестужев был остановлен пикетом л.-гв. Измайловского полка.

[90] Розен цитирует составленное Д. Н. Блудовым вечером 14 декабря и помещенное 15 декабря в виде приложения к «Санкт-Петербургским ведомостям» описание «происшествия», где о восстании говорилось, как о бунте горстки «безумцев», которыми «начальствовали семь или восемь обер-офицеров, к коим присоединилось несколько человек гнусного вида во фраках» (Государственные преступления, с. 1—2).

[91] Это свидетельство приводится во многих источниках, в том числе и в материалах следствия. П. Г. Каховский, впрочем, в письме В. В. Левашову называл его «забавной выдумкой» (Из писем и показаний декабристов. СПб., 1906, с. 16).

[92] Большинство мемуаристов отмечают двусмысленность и непонятность поведения А. И. Якубовича на площади 14 декабря. И. Д. Якушкин указывал, что истинные причины действий Якубовича были неизвестны декабристам (Якушкин, с. 149). Версия Розена о том, что Якубович избрал роль парламентера во время восстания, желая действовать самостоятельно, представляется убедительной.

[93] М. В. Нечкина считает, что приводимое Розеном число атак «видимо, менее действительного: к нему надо прибавить еще атаки кавалергардов <...>, а также атаку или атаки конно-пионерного эскадрона» (Нечкина, с. 317).

[94] Попытка И. И. Богдановича сорвать присягу л.-гв. Измайловского полка и «взбунтовать» его окончилась неудачей.

[95] 13 декабря Н. А. Бестужев встретился с А. Ф. Моллером у К. П. Торсона. Н. А. Бестужев вспоминал: «При первом вопросе о его намерениях он вспыхнул; сказал, что не намерен служить орудием и игрушкой других в таком деле, где голова нетвердо держится на плечах, и, не слушая наших убеждений, ушел» (Бестуж-

жевы, с. 34). О членстве А. Ф. Моллера в тайном обществе показали на следствии С. П. Трубецкой и Е. П. Оболенский (ВД, т. 1, с. 19, 97, 240).

[96] Достоверность сведений Розена о разговоре Николая I с А. М. Булатовым подтвердил младший брат декабриста (РС, 1887, № 1, с. 215). По версии брата, А. М. Булатов погиб, разбив себе голову о стены каземата (там же, с. 217— 218). Обстоятельства смерти А. М. Булатова точно неизвестны.

[97] Сочинение Н. Г. Устрялова «Историческое обозрение царствования императора Николая I» было издано в 1847 г. Первая глава книги, посвященная междуцарствию и событиям 14 декабря, была составлена автором на основе «высочайших замечаний», сделанных на полях рукописи. Вставки Николая I в тексте книги полностью приведены в записках Устрялова (Древняя и новая Россия, 1880, № 8, с. 642—651).

[98] Версия о растраченных деньгах упоминается практически всеми мемуаристами, писавшими о доносе А. И. Майбороды, но в разных вариантах (см., напр.: Лорер, с. 81). Причем С. Г. Волконский считал растрату полковых денег одной из причин доноса Майбороды (Волконский С. Г. Записки декабриста. Изд. 2-е. СПб., 1902, с. 429)

[99] 12 декабря 1825 г. Я. И. Ростовцев «около 9 вечера», придя в Зимний дворец, предупредил Николая I о готовящемся в Петербурге восстании. Розен весьма осторожно пишет о «предостережении» Я. И. Ростовцева, отчасти, вероятно, из уважения к памяти своего близкого друга Е. П. Оболенского, занявшего впоследствии примиренческую позицию в отношении Ростовцева.

[100] Следственный комитет специально расследовал вопрос о связях декабристов с высшими государственными деятелями России. Материалы следствия по делу 14 декабря позволяли предполагать существование таких связей (см. примеч. 69). В феврале 1826 г. поступил также анонимный донос о причастности к тайным обществам Н. С. Мордвинова, М. М. Сперанского, А. Н. Голицына, А. П. Ермолова, П. Д. Киселева и других «государственных людей» (РС, 1881, № 1, с. 187—190). Документы этого расследования, имевшего секретный характер, не сохранились. Результаты расследования изложены в «Секретном приложении» к Донесению Следственной комиссии (ВД. т. 17. с. 65—68). Сведения Розена о том, что К. И. Бистром находился под подозрением в причастности к событиям 14 декабря и связях с «заговорщиками», не верны.

[101] П. И. Пестель был арестован 13 декабря 1825 г.

[102] И. И. Муравьев-Апостол, будучи ранен, застрелился 3 января 1826 г.

[103] В данном случае Розен, возможно, имеет в виду первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева, где 14 декабря характеризуется как «громадное несчастье, отбросившее нас на полвека назад» (Чаадаев П. Я. Сочинения и письма. М., 1913, т. 1, с. 117).

[104] Эти сведения мемуариста нуждаются в уточнении. По коронационному манифесту Александра II от 26 августа 1856 г. право возвратиться из Сибири получили 31 декабрист: 13 — в Западной Сибири и 18 — в Восточной, а также вдовы декабристов — А. В. Ентальцева и А. И. Давыдова. 15 человек выехали из Сибири в 1856—1857 гг., впоследствии вернулись еще 12. Остались

и умерли в Сибири И. И. Горбачевский, Ф. М. Башмаков и А. Н. Луцкий. Д. И. Завалишин был выслан из Читы по требованию местной администрации в августе 1863 г.

[105] Н. Ф. Воропанов.

[106] Розен спутал К. В. Чевкина с его братом — А. В. Чевкиным, который в ночь на 14 декабря агитировал солдат 2-й роты л.-гв. Преображенского полка. Он был задержан фельдфебелем роты Д. Косяковым. Эту же ошибку допустил И. Д. Якушкин (Якушкин, с. 136).

[107] О своем приходе в Зимний дворец А. А. Бестужев-Марлинский подробно рассказал Н. С. Шукину в 1829 г. (Вопросы литературы, 1976, № 2, с. 214—216). Этот эпизод изложен также в «Записках» Николая I (Междуцарствие, с. 32). Вслед за А. А. Бестужевым-Марлинским «отвели» М. И. Пущина, арестованного 15 декабря 1825 г. И. И. Пущин был арестован 16 декабря.

[108] Е. А. Головин.

[109] Верховный уголовный суд представил свой Доклад Николаю I 8 июля 1826 г. 10 июля последовал высочайший Указ Верховному уголовному суду, утвердивший приговор суда. 11 июля суд по приказу Николая I вынес приговор пяти декабристам, поставленным «вне разрядов и вне сравнения с другими». Розен, не располагавший документами суда, ошибочно полагал, что царский указ был издан 11 июля.

[110] Н. А. Бестужев был помощником директора службы маяков Финского залива с 1819 по 1823 г. По официальным данным, он был арестован 16 декабря 1825 г. (Декабристы, т. 2, с. 386). Сам декабрист, однако, показывал, что арестован 15 декабря (ВД, т. 2, с. 62).

[111] Сохранилось большое количество рассказов о поведении Н. А. Бестужева после ареста и его первой беседе с Николаем I. Версия Розена, по мнению М. К. Азадовского, одна из наиболее вероятных (Бестужевы, с. 717—718). Приведенная реплика вел. кн. Михаила Павловича по своему происхождению, возможно, является анекдотом.

[112] Розен в данном случае не совсем точен. Ряд членов Союза спасения и Союза благоденствия, впоследствии отошедших от движения декабристов, были преданы суду. Среди них — А. Ф. Бриген, А. Н. Муравьев, П. А. Муханов, Ф. П. Шаховской.

[113] «God save the king» — национальный гимн Великобритании, исполнялся курантами Петропавловского собора.

[114] Розен был помещен в камеру № 13 Кронверкской куртины (ЦГИА, ф. 1280, оп. 1, д. 6, л. 12).

[115] Ставчик — настенный угловой шкафчик.

[116] Аршин — 71,12 см; следовательно, камера, в которую был помещен Розен, имела в длину около 3 метров, в ширину — 2 метра, «гипотенуза» — около 4,5 метра.

[117] Неточно приведенная строка из стихотворения В. А. Жуковского «К Делию», написанного в 1809 г.: «Кто счастье знал, тот жил сто лет» (Жуковский, с. 27).

[118] В состав Тайного комитета для изыскания соучастников возникшего злоумышленного общества (с 14 января 1826 г. переставшего быть тайным, а 29 мая получившего название Комиссии) к моменту допроса Розена входили А. И. Татищев, вел. кн. Михаил

Павлович, П. В. Голенищев-Кутузов, А. Х. Бенкендорф, А. Н. Голицын, В. В. Левашов, А. Н. Потапов, А. И. Чернышев, И. И. Дибич. В. Ф. Адлерберг, не являвшийся членом комитета, исполнял обязанности помощника правителя дел.

[119] Весьма распространенное в мемуарной литературе заблуждение. Правителем дел комитета был А. Д. Боровков. Д. Н. Блудов был прислан в комитет в марте 1826 г. для написания статьи о тайных обществах в России по заданию Министерства иностранных дел. В начале мая 1826 г. по предложению А. Д. Боровкова эта статья была превращена в Донесение Следственной комиссии (РС, 1898, № 11, с. 348—349). Первая редакция Донесения была готова уже 10 мая, т. е. задолго до окончания следствия. Над текстом, кроме Д. Н. Блудова, работали А. И. Чернышев и В. Ф. Адлерберг. Всего известно четыре редакции Донесения. 30 мая Донесение было официально представлено Николаю I.

[120] Розен точно восстановил в данном случае ход мысли Николая I, который 4 января 1826 г. писал Константину о своем плане расправы с «бунтовщиками»: «Я думаю, что их нужно попросту судить, притом только за самый поступок, полковым судом в 24 часа и казнить через людей того же полка» (Междуцарствие, с 175). Артибузирован — т. е. расстрелян.

[121] Из документов следствия явствует, что «вопросные пункты» для письменного ответа были доставлены Розену из комитета на следующий день после допросов, 9 января 1826 г. Письменные показания помечены Розеном 10 января (ВД, т. 15, с. 209—211). На другой день, 11 января, они были оглашены в Следственном комитете.

[122] М. А. Назимов находился в декабре 1825 г. в своем имении Быстрецкое в Псковской губернии. Следует заметить, что следственные приемы А. И. Чернышева удивительно точно соответствовали образу мысли Николая I. Этот же вопрос царь задал А. С. Пушкину на аудиенции, состоявшейся 8 сентября 1826 г.

[123] П. Х. Граббе был наказан четырехмесячным сидением в крепости; выпущен 19 июля 1826 г.

[124] «Русская правда» была зарыта А. С. и П. С. Бобрищевыми-Пушкиными в поле, под «берег» придорожной канавы, недалеко от селения Кирнасовки во второй половине декабря 1825 г. 6 февраля 1826 г. она была отрыта (ВД, т. 7, с. 72—74).

[125] Версия о ложном самообвинении П. И. Фаленберга очень распространена в декабристской мемуаристике. Ее источником явились «Воспоминания» П. И. Фаленберга, анализ которых выявил ложный характер версии. Причины, по которым П. И. Фаленбергу понадобилось создавать эту легенду, и ее цель остаются неясными. Научную публикацию «Воспоминаний» П. И. Фаленберга см.: Воспоминания, т. 1, с. 223—242.

[126] Не совсем точно. 6 марта 1826 г. тело Александра I было привезено в Казанский собор, где гроб находился семь дней. Погребение состоялось в Петропавловском соборе 13 марта.

[127] Речь идет о многотомном произведении Г. Д. Цшокке «Stunden der Andacht» (Часы благоговения) (Leipzig, B. 1—10, 1809—1816). Русский перевод этого сочинения был запрещен цензурой в 1816 г.

[128] Это стихотворение А. И. Одоевского известно под названием «Воскресенье». Существуют несколько его редакций. Датирует-

ся по воспоминаниям Розена 18 апреля 1826 г. (Одоевский, с. 55).

[129] Очная ставка между Розеном и А. И. Богдановым состоялась 24 апреля 1826 г.

[130] Рассказ Розена не оставляет сомнения в том, что речь в данном случае идет не о состоявшемся распределении подсудимых по разрядам, как полагает мемуарист, а о вызове заключенных в ревизионную комиссию Верховного уголовного суда. Декабристам, не понимавшим смысл происходившего, предлагалось подписать три вопросных пункта: 1) своей ли рукой подписаны показания, данные на следствии; 2) добровольно ли подписаны; 3) были ли даны очные ставки. А. Х. Бенкендорф и Д. О. Баранов опрашивали членов Северного общества. Однако Розен называет неверную дату. Ревизионная комиссия работала в Петропавловской крепости 8—9 июня 1826 г. Розен был вызван в комиссию вечером 9 июня.

[131] Розен имеет в виду судебную реформу 1864 г. Новые судебные уставы, утвержденные 20 ноября 1864 г., вводились постепенно. 17 мая 1866 г. открылись новые суды Петербургской и Московской судебных палат.

[132] «Слово и дело государево» — система розыска политических преступлений в XVII—XVIII вв. Каждый, кому становилось известным какое-либо «слово и дело» против государя, обязан был под страхом смертной казни донести об этом властям.

[133] В данном случае Розен явно ошибается. Декабристы пользовались в крепости услугами солдат-сторожей. Свидетельства об этом оставили многие мемуаристы (см., напр.: Завалишин, с. 244; Басаргин, с. 57, 82; Анненкова, с. 77).

[134] Розен, вероятно, имеет в виду начальника Секретного дома Алексеевского равелина майора Лилиенанкера. О нем известно из «Записок» Д. И. Завалишина (Завалишин, с. 241), а также из письма М. А. Бестужева М. И. Семевскому от 7 октября 1869 г.: «Имя нашего тюремщика: Лилиенанкер» (Бестужевы, с. 469).

[135] Стихотворения К. Ф. Рылеева передал Е. П. Оболенскому сторож Н. Нефедьев. Е. П. Оболенский вспоминал: «Раз добрый наш сторож приносит два кленовых листа и осторожно кладет их в глубину комнаты, в дальний угол, куда не проникал глаз часового. Он уходит. Я спешу к заветному углу, подымаю листья и читаю <...>» (XIX век, кн. 1. М., 1872, с. 326—327). Е. П. Оболенский переправил К. Ф. Рылееву письмо и в ответ получил от него новое стихотворное послание, как и предыдущее, наколотое на кленовых листьях. Стихотворения К. Ф. Рылеева приведены Розеном по тексту первой публикации воспоминаний Е. П. Оболенского (Будущность. Париж, 1861, № 10—11, с. 82).

[136] Деятельность П. Н. Мысловского, приписанного к Следственному комитету в качестве духовника 17 января 1826 г., была двойственна: он оказывал услуги правительству в Петропавловской крепости и услуги декабристам за пределами крепости, однако первые, очевидно, превосходили последние. С этой точки зрения следует рассматривать замечание Розена о склонности священника к предмету «политическому».

[137] Сына назвали Евгений, в честь отца Розена, сокращенно по отголоску — Энни.

[138] Решающее сражение армий союзников с Наполеоном I — в октябре 1813 г.

[139] См. примеч. 100. Генерал-адъютантские аксельбанты К. И. Бистром получил 25 декабря 1825 г.

[140] Всего разрядов было 11. П. И. Пестель, К. Ф. Рылеев, С. И. Муравьев-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, П. Г. Каховский были поставлены судом вне разрядов.

[141] Был разработан особый порядок размещения членов Верховного уголовного суда: председатель суда и генерал-прокурор располагались в центре, по правую руку сидели члены Государственного совета, слева — представители Синода. Второй ряд занимали сенаторы, за ними — назначенные Николаем I высшие государственные чиновники. В состав суда входили два митрополита и архиепископ (Розен ошибочно называет двух представителей Синода архиереями).

[142] См. примеч. 109.

[143] П. Н. Свистунов, осужденный так же, как и М. С. Лунин, по II разряду, опровергает рассказ Розена: «Когда читали нам сентенцию <...>, то он ни слова не возражал. Я, стоявши возле него, могу в том поручиться» (Воспоминания, т. 2, с. 294). В 1826 г. М. С. Лунину было 39 лет. О смерти Лунина см. примеч. 282.

[144] Розен имеет в виду документы состоявшегося в 1849 г. процесса по делу участников тайного революционного кружка М. В. Буташевича-Петрашевского. Формула «сослать <...> навечно» была заменена на «сослать <...> без срока» (Государственные преступления, с. 104—109).

[145] В состав суда вошли представители «трех государственных сословий»: 18 членов Государственного совета, 36 членов правительствующего Сената, 3 члена святейшего Синода, а также 15 «особ из высших <...> чиновников», всего 72 человека. Первое заседание суда состоялось 3 июня 1826 г., последнее — 12 июля.

[146] Правильное название этого помещения — лабораторный двор. В перечне содержания, помещенном в самом начале главы, Розен называет место своего заключения «бастион лабораторный», в тексте — «батальон лабораторный».

[147] Синедрион — высшее судилище в Иерусалиме, состоявшее из 71 или 72 членов (в составе Верховного уголовного суда было 72 человека).

[148] 15 морских офицеров «пополуночи в 3-м часу» 13 июля 1826 г. были отправлены для совершения гражданской казни на флагманский корабль «практической эскадры» Балтийского моря «Князь Владимир».

[149] Гражданская казнь происходила на эспланаде кронверка. Кронверк — внешнее укрепление Петропавловской крепости; гласис — насыпь перед рвом, за которым находился вал (земляная стена) кронверка; куртина — здесь — часть вала, соединявшая бастионы кронверка; эспланада — внешняя площадка кронверка, примыкавшая к городу; «палач» — правильнее профос, т. е. офицер, выполнявший в армии полицейские обязанности.

[150] Во время экзекуции пострадал также С. П. Трубецкой: «<...> шпагу <...> не подпилили и, ломая ее, довольно больно ушибли мне голову» (Трубецкой С. П. Материалы о жизни и революционной деятельности. Т. 1. Идеологические документы, воспоминания, письма, заметки. Иркутск: Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1983,

с. 282). Инцидент с А. И. Якубовичем другими мемуаристами не отмечен.

[151] Письмо К. Ф. Рылеева, написанное накануне казни, утром 13 июля, и переданное по приказу Николая I через А. Н. Голицыну вдове декабриста, распространялось в обществе в многочисленных, преимущественно неисправных, рукописных списках. Впервые, с неточностями и пропусками, оно опубликовано в воспоминаниях Н. И. Греча (РВ, 1868, № 6, с. 384—385) Более точную и полную публикацию см.: РВ, 1869, № 3, с. 244—245.

[152] Розен называет далеко не полный список лиц, по должности присутствовавших при казни декабристов. Очевидно, именно от этих людей (а также от М. А Назимова) Розен слышал рассказы о подробностях казни (см. примеч. 161).

[153] Под «замечаниями» имеются в виду соответствующие места в Донесении Следственной комиссии.

[154] Из «Записной книжки» П. Н. Мысловского известно, что П. И. Пестель «и слышать не хотел о таинствах веры. <...> Вечером 12 июля Ф.-Т. Рейнбот пришел к нему в каземат, дабы приготовить его к смерти. Снова начались споры как о догматах веры, так и о делах политических. Пастор со слезами на глазах оставил жесткосердного <...>». По словам П. Н. Мысловского, П. И. Пестель, «бывши уже на эшафоте», попросил благословить его (РА, 1905, № 9, с. 133).

[155] См. примеч. 2.

[156] М. С. Лунин в письме из Сибири сестре, Е. С. Уваровой, от 13(1) января 1840 г. привел это стихотворение (в несколько иной редакции) и анонимный перевод с французского. По свидетельству Лунина, стихи он услышал во время заключения в Петропавловской крепости в 1826 г. (Лунин, с. 58, 135).

[157] Наставником Александра I был отец декабристов М. Н. Муравьев.

[158] М. П. Бестужеву-Рюмину было 25 лет. Он родился 23 мая 1801 г.

[159] Точнее: Общества соединенных славян.

[160] П. Г. Каховский начал военную службу юнкером в 7-м Егерском полку в 1817 г.; в ноябре 1819 г. был переведен поручиком в Астраханский кирасирский полк; вышел в отставку в 1821 г.

[161] Рассказ Розена о казни декабристов нуждается в ряде уточнений. Кроме М. А. Назимова, на которого Розен ссылается как на очевидца, из декабристов казнь видели В. Ф. Раевский (ЛН, т. 60, кн. 1. М., 1956, с. 96—97) и частично — правую часть виселицы — Н. Р. Цебриков (Воспоминания, т. 1, с. 261). Виселица была установлена на конце восточной части вала кронверка, вблизи Кронверкского пролива. План казни, разработанный Николаем I, предусматривал следующий порядок: гражданская казнь осужденных на каторгу и в ссылку, развод их по казематам, повешение пяти декабристов, «присужденных к смерти». Воз с верхней перекладиной для виселицы пропал в пути, однако это не отразилось на утвержденном порядке казни. Во время казни с виселицы сорвались, согласно донесению П. В. Голенищева-Кутузова, К. Ф. Рылеев, С. И Муравьев-Апостол и П. Г. Каховский (ВД, т. 17, с. 252). Причиной их падения явился обрыв веревок, а не соскользнувшие по неопытности палачей петли. Палачами были за-

плечных дел мастера с.-петербургской городской тюрьмы С. Карелин и Козлов. Точно установить слова, произнесенные С. И. Муравьевым-Апостолом после падения с виселицы, не представляется возможным. Отметим лишь, что почти в такой же редакции слова С. И. Муравьева-Апостола приводит В. И. Штейнгель (Общественные движения в России в первую половину XIX века. СПб., 1905, т. 1, с. 461). Тела висели не более получаса, затем были сняты и спрятаны в здании бывшего Училища торгового мореплавания. Точное место захоронения казненных декабристов неизвестно, предположительно этим местом считают остров Голодай (ныне остров Декабристов).

[162] В этом месте своих «Записок» Розен поместил «Список» декабристов, преданных суду по манифесту от 1 июня 1826 г., и «Роспись государственным преступникам, приговором Верховного уголовного суда осужденным к разным казням и наказаниям». Эти материалы представляли значительный интерес для русских и европейских читателей конца 60-х — начала 70-х гг. Однако Розен не располагал печатными экземплярами этих документов и опубликовал их по неполным рукописным копиям, присланным ему Е. П. Оболенским (ИРЛИ, ф. 606, д. 21, л. 118, 120 об.). Розен сделал в них дополнительные уточнения и в примечании отметил: «Имена и отчества нескольких моих товарищей не означены, потому что или не имел чести быть лично с ними знакомым, или не мог получить достоверных сведений (Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907, с. 108). В результате опубликованные Розеном материалы содержат большое количество ошибочных данных. По этой причине в настоящем издании они не перепечатываются. Эти документы суда см.: ВД. т. 17, с. 62—65, 224—236.

[163] См. примеч. 109.

[164] Н. Р. Цебриков был отнесен к XI разряду. В высочайшей конфирмации приговора суда от 10 июля 1826 г. по поводу этого разряда сказано: «<...> поручика Цебрикова по важности вредного примера, поданного им присутствием его в толпе бунтовщиков в виду его полка, как недостойного благородного имени, разжаловать в солдаты без выслуги и с лишением дворянства» (ВД, т. 17, с. 245).

[165] А.-У. Веллингтон прибыл в Россию 18 февраля 1826 г. для подписания так называемого Греческого протокола, определявшего согласованные позиции Англии и России в отношении Греции (см. примеч. 60). Столь же ошибочны сведения о маршале Э.-А. Мортье. Очевидно, Розен спутал его с маршалом О.-Ф. Мармоном, который был прислан Францией для присутствия на коронации Николая I. Ни один из них, насколько это известно по дипломатической переписке, с просьбой о помиловании не обращался. Сообщение об ответе Николая I А.-У. Веллингтону является, очевидно, отголоском беседы Николая I с французским послом в Петербурге П. Л.-А. де Лаферронэ, состоявшейся 20 декабря 1825 г. (см.: РВ, 1893, № 4, с. 14).

[166] См. примеч. 130.

[167] М. Ф. Орлов не был предан суду по просьбе его брата А. Ф. Орлова, отличившегося в день 14 декабря и ставшего одним из наиболее приближенных к Николаю I лиц. 6 мая 1826 г. о М. Ф. Орлове было принято решение: «<...> продержав еще месяц под арестом, <...> отправить в деревню, где и жить безвы-

ездно» (В Д, т. 8, с. 142). Во время зачтения приговора суда Константин не присутствовал. Однако известно, что при коронации Николая I приехавший из Варшавы Константин подошел к А. Ф. Орлову и «сказал ему: «Ну, слава богу! все хорошо; я рад, что брат коронован! А жаль, что твоего брата не повесили!» (Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа. Политические сочинения. Письма. М., 1963, с. 300).

[168] См. примеч. 100. А. С. Меншиков под следствием о причастности к событиям 14 декабря не находился.

[169] Причины 20-летнего одиночного заключения в Петропавловской крепости (с 1827 по 1846 г.) Г. С. Батенькова, осужденного судом по III разряду в «каторжную работу», остаются невыясненными. Загадочная судьба декабриста породила большое количество догадок и предположений. Версия Розена, объясняющая заточение Г. С. Батенькова результатами расследования о причастности высших государственных чиновников к движению декабристов имеет основания (см.: Карцов В. Г. Декабрист Г. С. Батеньков. Новосибирск, 1965).

[170] А. О. Корнилович был увезен из читинского острога и вновь заключен в Петропавловскую крепость в 1828 г. по доносу Ф. В. Булгарина, в котором говорилось о связях декабристов с австрийским правительством, в частности, о дружеских отношениях А. О. Корниловича с австрийскими дипломатами.

[171] Справедливость мнения Розена подтверждается «Секретным приложением ко всеподданнейшему докладу комиссии», в котором, в частности, говорилось: «<...> комиссия старалась не упоминать о тех обстоятельствах, кои, сделавшись известными, могли бы обратиться в орудие зложелательства, дать повод к неосновательным толкам или быть причиною какого-либо, даже самого малейшего, волнения в умах непросвещенных, наипаче же в низших состояниях» (В Д, т. 17, с. 65).

[172] Неточная цитата из манифеста 13 июля 1826 г.: «Следственная комиссия <...> деятельностию, разборчивостью, беспристрастием, мерами кроткого убеждения привела самых ожесточенных к смягчению, возбудила их совесть, обратила их к добровольному и чистосердечному признанию» (В Д, т. 17, с. 253).

[173] См. примеч. 1.

[174] См. примеч 104.

[175] «Три министра» — это М. Н. Муравьев, Л. А. Перовский, П. И. Колошин; «четыре генерал-губернатора» — А. А. Кавелин, И. М. Бибиков, А. А. Суворов, Д. Г. Бибиков; «корпусный командир и войсковой атаман» — П. Х. Граббе; «три передовых действователя в турецко-персидской войне» — И. Г. Бурцов, Н. Н. Раевский и В. Д. Вольховский; «дежурный генерал» — С. П. Шипов; начальником III Отделения был кн. В. А. Долгоруков, брат И. А. Долгорукова, члена Союза благоденствия, которого и имел в виду Розен. А. А. Суворов, генерал-губернатор прибалтийских губерний, привлекался к следствию по делу декабристов, но членом тайного общества не был. Киевский генерал-губернатор Д. Г. Бибиков также не был декабристом. О членстве Н. Н. Раевского в тайном обществе, кроме Розена (РС, 1873, № 7, с. 379), сообщает также М. А. Бестужев (Бестужевы, с. 55—56), однако прямых доказательств этого нет.

[176] В «Колоколе» от 1 августа 1858 г. (л. 20, с. 161—163)

была опубликована статья А. И. Герцена «Черный кабинет», направленная, в частности, против Я. И. Ростовцева. Излагая «главный смысл» составленного Я. И. Ростовцевым «Наставления для образования воспитанников военно-учебных заведений» (СПб., 1849), Розен неточно цитирует эпиграф герценовской статьи: «Совесть нужна человеку в частном, домашнем быту, а на службе и в гражданских отношениях ее заменяет высшее начальство» (Герцен А. И. Собр. соч. М., 1958, т. 13, с. 300). Я. И. Ростовцев стремился оправдаться и в письме к Е. П. Оболенскому от 18 ноября 1858 г. обвинял А. И. Герцена в искажении его мысли (РС, 1889, № 9, с. 619—620).

[177] Возможно, имеются в виду Сочинения К. Д. Кавелина (М., 1859).

[178] Письмо хранится в ИРЛИ, ф. 606, д. 22, л. 57—58.

[179] Розен имеет в виду следующий вопрос, задававшийся Следственным комитетом: «С которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, т. е. от сообщества ли или внушений других, или от чтения книг или сочинений в рукописях и каких именно? Кто способствовал укоренению в вас сих мыслей?» (ВД, т. 15, с. 215).

[180] См. примеч. 59.

[181] А. Н. Голицын, занимавший пост министра духовных дел и народного просвещения, отнюдь не отличался прогрессивными взглядами. При его непосредственном участии был, в частности, разгромлен Педагогический институт в Петербурге в 1821 г. Отставка А. Н. Голицына в 1824 г. не свидетельствовала о нарастании реакционности режима Александра I, но была лишь результатом политического соперничества между А. Н. Голицыным и А. А. Аракчеевым.

[182] См. примеч. 60.

[183] Розен не точно приводит слова А. А. Бестужева из его письма Николаю I «Об историческом ходе свободомыслия в России»: «В казне, в судах, в комиссариатах, у губернаторов, у генерал-губернаторов — везде, где замешался интерес, кто мог, тот грабил, кто не смел, тот крал» (Избранные социально-политические и философские произведения декабристов. М., 1951, т. 1, с. 496).

[184] Блудовы ведут свой род от Ивещея (Ионы) Блуда, киевского воеводы, умертвившего в 981 г. вел. кн. Ярополка. Это предание дало основание Н. И. Тургеневу заметить: «Правнук оказался достойным родоначальника» (Тургенев Н. И. Россия и русские. Т. 1. Воспоминания изгнанника. М., 1915, с. 253—254).

[185] А. Д. Боровков «по занятости» отказался присутствовать на заседаниях суда. По его предложению в суд был направлен Д. Н. Блудов.

[186] Книга Е. П. Ковалевского «Граф Блудов и его время. Царствование императора Александра I» (СПб., 1866) была написана с целью опровержения обвинений Н. И. Тургенева и оправдания Д. Н. Блудова в глазах общественного мнения. Сам Блудов предпочел отказаться от открытой полемики с Тургеневым, хотя последний присылал ему еще в рукописи отдельные части готовившейся книги «Россия и русские».

[187] См. примеч. 140, 145.

[188] «Tugendbund» (Союз добродетели) — тайное политическое общество в Пруссии, созданное с целью подготовки свержения

французского ига и возрождения «национального духа». Основано в апреле 1808 г., формально распущено по указу короля в январе 1810 г. Члены Союза благоденствия были знакомы с деятельностью Тугендбунда (см.: Ланда С. С. Дух революционных преобразований... М., 1975).

[189] И. В. Поджио.

[190] На следствии Е. П. Оболенский показал: вечером 13 декабря 1825 г. «Рылеев при самом расставании нашем подошел к Каховскому и, обняв его, сказал: «Любезный друг, ты сир на сей земле; ты должен собою жертвовать для общества — убей завтра императора». После сего обняли Каховского Бестужев, Пущин и я» (ВД, т. 1, с. 248).

[191] Здесь и далее Розен цитирует Донесение по изданию: Донесение Следственной комиссии 30 мая 1826 года. Типография Главного штаба, в восьмую долю листа. СПб., 1826, 88 с. Приводимые цитаты не всегда точны (ср.: ВД, т. 17, с. 24—61).

[192] Официальные документы процесса декабристов (в том числе и Донесение Следственной комиссии) тотчас отсылались русским дипломатическим представителям за границей с директивой «дать этим документам самую широкую огласку» (Вопросы истории, 1975, № 12, с. 94—103).

[193] См. примеч. 8. Источник сведений Розена о «сожалении» И.-Г. Шницлера не известен.

[194] К следствию по делу 14 декабря всего было привлечено 579 человек.

[195] После 1821 г. И. Г. Бибиков не участвовал в тайном обществе.

[196] Розен не точно излагает принципы разделения на разряды, разработанные М. М. Сперанским. Были установлены «основные роды злодеяний»: 1) цареубийство, 2) бунт, 3) мятеж воинский. Внутри каждого рода были выделены виды преступлений: 1) знание умысла, 2) согласие в нем, 3) вызов на совершение его. Затем, «поставив их в порядке постепенности, из сложения и сопряжения их» суд разделил подсудимых на 11 разрядов. В Докладе Верховного уголовного суда было сказано, что суд в своем решении исходил из «общего правила, в самом начале единогласно им постановленного, а именно, что все подсудимые без изъятия, по точной силе наших законов, подлежат смертной казни» (ВД, т. 17, с. 211). Официально Доклад суда был составлен специально избранной для этого комиссией, однако действительным автором его был М. М. Сперанский.

[197] Слова Е. П. Ковалевского, сказанные им в защиту Д. Н. Блудова (Ковалевский Е. П. Граф Блудов и его время, с. 180).

[198] Далее Розен включил в текст своих «Записок» статьи М. С. Лунина «Разбор Донесения, представленного российскому императору Тайной комиссией в 1826 году» и «Взгляд на тайное общество в России (1816—1826)» (см. примеч. 2). В настоящем издании сочинения М. С. Лунина не воспроизводятся. Текст этих статей и комментарий к ним см.: Лунин, с. 61—77.

[199] См. примеч. 162.

[200] Е. П. Оболенский имеет в виду участников дворцового переворота 28 июня 1762 г., убивших Петра III, и переворота 11 марта 1801 г., в результате которого был убит Павел I. В пе-

перевороте 28 июня 1762 г. принимало участие несколько Орловых. Е. П. Оболенский имеет в виду, вероятно, Г. Г. Орлова

[201] Розен напечатал некролог Е. П. Оболенского, в котором, в частности, писал, что «он был весь проникнут пламенной любовью к отечеству» (Иллюстрированная газета, 1865, т. 15, № 17, 6 мая, с. 271—272).

[202] Сведения Розена об отправке осужденных декабристов в Сибирь не точны. Первая партия (Е. П. Оболенский, А. З. Муравьев, А. И. Якубович и В. Л. Давыдов) была отправлена «в каторжную работу» 21 июля 1826 г.; через день, 23 июля, была отправлена вторая партия (С. Г. Волконский, С. П. Трубецкой, А. И. и П. И. Борисовы). Затем, с 23 июля по 4 августа 1826 г. уехали в Сибирь еще 19 декабристов, разжалованных в солдаты «в дальние гарнизоны», а также осужденных на поселение.

[203] Т. е. по спиртовому термометру, изобретенному Р.-А. Реомюром. Шкала этого термометра определялась точками кипения и замерзания воды и была разделена на 80°.

[204] Отправка в Сибирь следующих партий была приостановлена после 4 августа 1826 г. Сибирская администрация, не подготовленная к приему «государственных преступников», первоначально распределила их по разным заводам. В Петербурге такое размещение было расценено как «опасное». 31 августа 1826 г. был образован тайный комитет по исполнению приговора Верховного уголовного суда. В комитет вошли М. М. Сперанский, А. Х. Бенкендорф, И. И. Дибич, А. С. Лавинский и С. Р. Лепарский. Разработанные комитетом «Правила...» предусматривали совместное содержание декабристов в одном остроге. Часть узников оставили в Петропавловской крепости, других разместили в Шлиссельбургской, Кексгольмской, Выборгской, Свеаборгской, Свартгольмской, Динабургской, Роченсальмской и Бобруйской крепостях. Отправленные к тому времени в Сибирь декабристы 25 октября 1826 г. были перевезены в Нерчинский горный округ, на Благодатский рудник, в 12 верстах от главного Нерчинского завода.

[205] По словам Розена можно восстановить название прочитанных им романов В. Скотта — «The Abbat» (Аббат); «The Monastery» (Монастырь), «Kenilworth» (Кенилворт).

[206] Розен имеет в виду «Живописное путешествие от Москвы до Китайской границы» (СПб., 1819) А. Е. Мартынова и «Письма о Восточной Сибири» (СПб., 1827) И. П. Мартоса.

[207] Какое именно из многочисленных «Путешествий» Д. Кука читал Розен в Петропавловской крепости, установить трудно. К этому времени на русском языке были изданы: «Путешествие к южному полюсу» (СПб., 1780); «Описание жизни и всех путешествий английского морехода капитана К.» (СПб., 1790); «Путешествие в южной половине земного шара и вокруг него в 1772—1775 гг.» (СПб., 1797); «Путешествие в Северный Тихий океан с 1776 по 1780 г.» (СПб., 1805). «История Лапорта» — это «Литературная история французских женщин» Ж. де Лапорта (Rorte de La. Histoire littéraire des femmes françaises. Paris, 1778).

[208] Имеется в виду преемница петровских «Ведомостей», газета «Санкт-Петербургские ведомости», выходившая с 1727 г.

[209] Д. Вашингтон был главнокомандующим американской армией в войне за независимость в Северной Америке в 1775—1783 гг.

[210] С 25 января по 3 февраля 1827 г. в Петропавловскую кре-

пость были привезены из Варшавы 27 членов польского Патриотического общества (ГПБ, ф. 859, к. 38, д. 7). Десять человек из них были помещены в Кронверкской куртине. В августе 1827 г. они были увезены обратно в Варшаву, а в мае — июне 1828 г. доставлены вновь в Петропавловскую крепость. По приговору, утвержденному 24 февраля 1829 г., были лишены дворянства и сосланы в Сибирь шесть человек, в том числе С. Г. Ворцель и П. Г. Мошинский. К ним Розен ошибочно причисляет С. Крижановского и А. М. Янушкевича, сосланных в Сибирь позднее, в 1832 г., за участие в польском восстании 1830—1831 гг.

[211] Отправка в Сибирь возобновилась 10 декабря 1826 г. В этот день из Петропавловской крепости увезли Н. М. и А. М. Муравьевых, И. А. Анненкова и К. П. Торсона. Следующая партия (Д. И. Завалишин, П. Н. Свистунов, А. А. и Н. А. Крюковы) была отправлена из Петербурга 18 января 1827 г. Затем партиями по 2—4 человека отправили и остальных декабристов.

[212] И. И. Пущин, проезжавший со своей партией позднее, в октябре 1827 г., в письме родным сообщал: «Дорогой я видел в Ладоге Кошкуля на секунду, он мне дал денег и ни слова не сказал — видно, боялся, ибо убежал, поцеловавши меня» (Пущин, с. 98).

[213] В Шлиссельбургской крепости в это время содержались М. и Н. Бестужевы, И. И. Пущин, А. П. Юшневский, Я. М. Андреевич, А. С. Пестов. Позднее, в апреле 1827 г., в крепость поступили из Свартгольма И. И. Горбачевский, А. П. Барятинский, М. М. Спиридов, М. К. Кюхельбекер, А. В. Поджио и Ф. Ф. Вадковский.

[214] Жена И. Д. Якушкина Анастасия Васильевна и его теща — Н. Н. Шереметева приезжали в Ярославль трижды в 1827 г. А. Н. Потапов извещал их всякий раз, когда снаряжалась новая партия. Встреча Розена с родными И. Д. Якушкина произошла в их первый приезд в Ярославль, в феврале 1827 г. Якушкин проехал Ярославль 16 октября 1827 г. (об этой дате см.: Новый мир, 1964, № 2, с. 140).

[215] Фурлейт — солдат военного обоза.

[216] Имеется в виду порода рысаков, выведенная А. Г. Орловым.

[217] Аудитор — чиновник для военного судопроизводства, военный делопроизводитель.

[218] И. Я. Степанов был городничим в Каинске, следующем после Тары городке. Подробный рассказ о «радушном гостеприимстве» И. Я. Степанова, совпадающий в деталях со сведениями Розена, оставил М. И. Пущин (Пущин, с. 372—374).

[219] Речь идет о красноярском крестьянине А. П. Петрове, выдававшем себя за Павла I. В 1823 г. А. П. Петров был арестован, а И. В. Старцов взят под «строгий присмотр» (Сибирские огни, 1924, № 3, с. 166—168).

[220] В своих подсчетах Розен не совсем точен. Протяженность пути следования от Петербурга до Иркутска составляла не 6000 верст, а 5725. До Читы еще оставалось 775 верст.

[221] Зимой маршрут следования декабристов от Иркутска до Верхнеудинска проходил по льду Байкала между станциями Голоустной и Посольской.

[222] Точная дата прибытия Розена в Читу неизвестна. В «За-

писках» он называет 29 марта 1827 г. В письме из Кургана к М. В. Малиновской от 21 октября 1832 г. Розен писал: «1827 г. 22 марта приехал я в Читу» (Декабристы на каторге, с. 283).

[223] К моменту прибытия первой партии декабристов в Читу в январе 1827 г. был наскоро приспособлен под тюрьму купленный у мещанина Мокеева небольшой дом из трех комнат и сеней, так называемый малый каземат. В конце марта 1827 г. под тюрьму был передан дом, принадлежавший А. Дьячкову и названный декабристами дьячковским казематом.

[224] Еще находясь в Петропавловской крепости и предвидя долгую разлуку, декабристы стремились получить портреты родных. Портреты хранили по-разному. Так, у С. П. Трубецкого был «портрет жены его, писанный на бумаге, за стеклом, и оклеенный бумагою же», у А. З. Муравьева — «за стеклом, оклеенный медью» (ЛН, т. 60, кн. 2, с. 76). У Розена был «большой медальон».

[225] Правила переписки «государственных преступников», утвержденные Николаем I осенью 1826 г., запрещали декабристам «посылать от себя на почту письма», а также «получать с почты, без ведома» каторжной администрации. 18 декабря 1826 г. в сибирском почтамте, в Тобольске, была учреждена секретная почтовая экспедиция «для наблюдения за перепискою сосланных в Сибирь государственных преступников и их жен» (ЦГИА, ф. 1284, оп. 241, д. 237, л. 61—62).

[226] В эту партию входили З. Г. Чернышев, С. И. Кривцов, В. К. Тизенгаузен, В. С. Толстой. Они были отправлены из Петропавловской крепости 7 февраля и прибыли в Читу через два дня после Розена (см. примеч. 222). В. Н. Лихарев, которого Розен ошибочно называет в составе этой партии, приехал в Читу позднее.

[227] В конце мая 1827 г. началось строительство новой тюрьмы, так называемого большого каземата. Все земляные работы при строительстве каземата выполнялись самими декабристами. Строительство швейцарцами крепости Цвинг-Ури описано в романе Г.-Д. Цшокке «Der Freihof von Aarau» (Замок Аарау), изданном в 1823 г.

[228] Обергиттенфервалтер — горный чин VIII класса.

[229] Н. М. Муравьев прибыл в Читу 31 января 1827 г.

[230] Н. М. Муравьев содержался в малом каземате. От дома жены его отделяли лишь тюремный частокол и узенький переулок.

[231] Майорат — земельное владение, наследуемое нераздельно старшим в семье или роде.

[232] Отец Е. П. Нарышкиной генерал П. П. Коновницын был героем 1812 г.

[233] Е. П. Нарышкина лишь в первое время по приезде в Читу жила в доме А. Г. Муравьевой. Затем она сняла для себя дом, стоявший одиноко на самой окраине читинского острога.

[234] По установленному в 1833 г. правилу жены декабристов не имели права возвращаться в Европейскую Россию после смерти их мужей без «высочайшего» разрешения. Об амнистии см. примеч. 104.

[235] Е. И. Трубецкая и М. Н. Волконская прибыли в Читу на два дня раньше своих мужей, 11 сентября 1827 г.

[236] Е. И. Трубецкая выехала из Петербурга в Москву 24 июля 1826 г. 6 августа 1826 г., получив разрешение Николая I, она

в сопровождении секретаря отца, К.-А. Воше, отправилась в Сибирь. 16 сентября они прибыли в Иркутск. Версия о том, что спутник Е. И. Трубецкой заболел и остался в Красноярске, не верна. Из воспоминаний сестры Е. И. Трубецкой, З. И. Лебцельтерн, известно, что «путешественники прибыли в Иркутск целыми и невредимыми» (Звезда, 1975, № 12, с. 186). С. П. Трубецкой в это время еще не был отправлен в Нерчинск (как считает Розен), а находился в Николаевском винокуренном заводе под Иркутском. Он был отправлен в Нерчинск 6 октября 1826 г.

[237] Е. И. Трубецкая находилась в Иркутске в ожидании разрешения на поездку к мужу с 16 сентября 1826 г. по 19 января 1827 г. 22 января она прибыла в Нерчинск.

[238] М. Н. Волконская выехала из Москвы 29 декабря 1826 г.

[239] Не совсем точно: последней в Сибирь, в сентябре 1831 г., приехала невеста В. П. Ивашева — К. П. Ле-Дантю.

[240] В письме к М. В. Малиновской от 21 октября 1832 г. Розен писал: «<...> новый острог <...> был совершенно окончен в четыре месяца; мы переместились в оный в конце августа [1827 г.]» (Декабристы на каторге, с. 283). На летнее время декабристы строили себе маленькие домики и беседки. «Отдельная избушка» М. С. Лунина, вероятно, одна из таких летних построек. По мнению С. Б. Окуня, Розен в данном случае имел в виду «дьячковский» каземат (Окунь, с. 130—131).

[241] Портными были также Розен, К. П. Торсон, М. А. и Н. А. Бестужевы (Бестужевы, с. 175).

[242] Получение русских и иностранных газет большинство мемуаристов относят к жизни декабристов в Петровском Заводе (Бестужевы, с. 151, 176; Якушкин, с. 131; Басаргин, с. 158). Однако свидетельство Розена о чтении им газет в читинском остроге не является опиской. Так, в письме к И. И. Пущину от 13 июля 1843 г. он писал: «Какие получаете вы ведомости и журналы; их было изобилие в Чите (ГБЛ, ф. 243, оп. 4, д. 8, л. 33). Данные Розена подтверждает А. П. Беляев, вспоминавший, что в Читу «присылались все журналы и газеты, как русские, так и иностранные» (Беляев, с. 213). Газеты и журналы приходили в Читу на имя жен декабристов. К тюремным библиотекам, названным Розеном, следует прибавить также собрание книг М. С. Лунина.

[243] Лекции в «каторжной академии», которые продолжались и в Петровском Заводе, кроме перечисленных Розеном декабристов, читали: Е. П. Оболенский — по философии, Н. П. Репин — по военным наукам, М. М. Спиридов — по истории средних веков, Ф. Ф. Вадковский — по астрономии, К. П. Торсон — по механике.

[244] «Колыбельная песнь» была написана А. И. Одоевским 2 июля 1832 г. в Петровском Заводе. Е. Розену А. И. Одоевский посвятил стихотворение «Я разлучился с колыбелью...», написанное 22 июня 1838 г. Стихотворение «Последняя надежда» написано в 1829 г. в Чите; сохранились также списки с посвящением Е. А. Баратынскому (Одоевский, с. 74, 160—161, 181).

[245] «Русская старина. Карманная книжка для любителей отечественного на 1825 год» — альманах, изданный А. О. Корниловичем совместно с В. Д. Сухоруковым в 1824 г. в Москве и переизданный в следующем, 1825 г.

[246] Чекан — род флейты. Об обучении Розена игре на чекане см.: Беляев, с. 230—231.

[247] Концерт в большом каземате мог состояться 30 августа 1829 г.

[248] В первые же дни пребывания в читинском остроге Н. А. Бестужев приступил к созданию «для истории» портретной галереи декабристов. В июле 1832 г. перед выходом на поселение Розена Н. А. Бестужев исполнил его портрет (ЛН, т. 60, кн. 2, с. 179).

[249] План читинского острога снял в 1830 г. также П. И. Фалеберг с помощью инструментов, изготовленных Н. А. Бестужевым. Этот план хранится в ГИМ.

[250] Розен ошибается. В апреле 1828 г. был переведен на поселение VII разряд; VI разряд (к которому, кстати, принадлежал только Ю. К. Люблинский) был переведен в июле 1829 г. Из Петропавловской крепости были отправлены на поселение в июле-августе 1826 г. декабристы, осужденные по VIII разряду (см. примеч. 202).

[251] П. Е. Гебль подала прошение Николаю I 16 мая 1827 г. в Вязьме, во время высочайших маневров. Разрешение на отъезд в Сибирь последовало в июне 1827 г. Перед отъездом из Петербурга П. Е. Гебль встретилась с К.-А. Воше и взяла у него маршрут. В Читу она приехала 5 марта 1828 г. Свадьба состоялась 4 апреля.

[252] В. С. Толстой был вначале отправлен на поселение в Тункy, позднее, в том же 1829 г., был определен рядовым на Кавказ.

[253] К. Г. Игельстром и А. И. Вегелин были членами Общества военных друзей. Это общество, основанное в 1822 г. офицерами Волынского уланского полка, подготовило восстание в Литовском пионерном батальоне во время присяги Николаю I. М. И. Рукевич, формально не принадлежавший к обществу, был признан одним из главных виновников происшествия и осужден по тому же делу. Дело о восстании Черниговского пехотного полка и Литовского пионерного батальона рассматривалось в Военно-судных комиссиях в 1826 г., одновременно с процессом декабристов.

[254] И. И. Сухинов пытался поднять восстание в Зерентуйском руднике. Восстание было назначено на 24 мая 1828 г. Но заговор был раскрыт. Николай I приказал судить заговорщиков по законам военного времени. И. И. Сухинов повесился 1 декабря 1828 г. в тюрьме Нерчинского завода (О зерентуйском заговоре см.: Горбачевский И. И. Записки. Письма. М., 1963, с. 11—121).

[255] О готовившемся побеге декабристов из читинского острога упоминают многие мемуаристы. Их свидетельства говорят о продуманности и серьезности возникшего у декабристов плана освобождения. Розен добросовестно излагает различные варианты предполагавшегося побега, однако гораздо подробнее останавливается на опасностях и препятствиях в осуществлении плана. По мнению М. К. Азадовского, сам Розен принадлежал к группе «благоразумных и осторожных» (Декабристы, т. 1, с. 218).

[256] Это свидетельство Розена о подготовке М. С. Лунина к побегу вызвало сомнение П. Н. Свистунова: «Ни от него, ни от кого из близких ему я не слыхал, чтобы он замышлял о побеге» (Воспоминания. т. 2, с. 294).

[257] Строительство новой тюрьмы при Петровском чугуноплавильном заводе Забайкальской области Верхнеудинского округа, в 630 верстах от Читы, находившемся в ведомстве Нерчинских заводов, началось в 1828 г. К лету 1830 г. тюрьма еще не была гото-

ва, но С. Р. Лепарский получил приказ перевести туда до осени всех узников читинского острога.

[258] Первая партия выступила 7 августа 1830 г., вторая — 9 августа. Переход из Читы в Петровский Завод продолжался 46 дней, с 7 августа по 23 сентября 1830 г. Во время перехода состоялось 15 дневок.

[259] По поводу этого утверждения Розена П. Н. Свистунов заметил: «<...> происходит от глагола доходить и значит смышленый; поэтому выражение это нисколько не укоризненное, а одобрительное» (Воспоминания, т. 2, с. 290).

[260] И. В. Малиновский.

[261] А. В. Якушкина в ответ на свой запрос о возможности поехать к мужу получила «записку» от И. И. Дибича, в которой, по словам И. Д. Якушкина, «было сказано: государь император соизволил разрешить Якушкиной ехать к мужу, взявши с собой и детей своих, но при сем приказал обратить ее внимание на недостаток средств в Сибири для воспитания ее сыновей». Однако впоследствии А. В. Якушкина на все прошения о разрешении отправиться в Сибирь получала неизменный отказ (см.: Якушкин, с. 116, 602—604; Новый мир, 1964, № 12, с. 152—159).

[262] М. К. Юшневская получила разрешение на выезд из Сибири в 1855 г., А. В. Ентальцева покинула Сибирь по амнистии 1856 г.

[263] 23 февраля 1834 г. В. Д. Вольховский вступил в брак с М. В. Малиновской. В их семье Эпин находился до ноября 1838 г.

[264] А. В. Розен в ее путешествии в Сибирь сопровождали С. Маслов, дворовый человек А. А. Самборской, Н. Яценкова и Е. Красенков, крепостные Малиновских. Двое последних находились в услужении у А. В. Розен в Петровском Заводе. Вероятно, о них и идет речь. В 1833 г. они были отправлены в Каменку. С. Маслов сопровождал А. В. Розен до Иркутска, затем возвратился в Петербург.

[265] По данным М. А. Бестужева, в юрте находился также П. Ф. Громницкий (Бестужевы, с. 167, 325).

[266] Имеется в виду книга П.-С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российского государства» (СПб., 1773—1788).

[267] По свидетельству П. Н. Свистунова, фамилия этого крестьянина Чебунин (Воспоминания, т. 2, с. 289).

[268] Описание Розеном Тарбагатая (ныне село Улан-Удинского района Бурятской АССР) использовано Н. А. Некрасовым в поэме «Дедушка» (Некрасов Н. А. Полн. собр. стихотворений в 3-х т. Л., 1967, т. 2, с. 281—282).

[269] Известие о июльской революции во Франции было получено 19 сентября 1830 г.

[270] Так, А. Г. Муравьева писала отцу в первом письме, отправленном из Петровского Завода: «Мы — в Петровском и в условиях в тысячу раз худших, нежели в Чите. Во-первых, тюрьма выстроена на болоте, во-вторых, здание не успело просохнуть, в-третьих, хотя печь и топят два раза в день, но она не дает тепла, и это в сентябре, в-четвертых — здесь темно: искусственный свет необходим днем и ночью; за отсутствием окон нельзя проветрить комнаты (Декабристы на каторге, с. 45).

[271] Это была акварель Н. А. Бестужева, который, по свидетельству Н. И. Лорера, «срисовал во многих экземплярах наше

печальное жилище, и рисунки вти рассеялись по всей России» (Лорер, с. 155). Портрет не сохранился.

[272] П. Н. Свистунов считал, что Розен «придает прорубленным окнам «неслыханный размер»: они заключали в себе два оконных стекла обыкновенной средней величины» (Воспоминания, т. 2, с. 290). Сажень — 2,13 м.

[273] Почти все дома жен декабристов были построены или куплены вблизи каземата на улице, получившей название Дамская.

[274] Второй сын декабриста был назван в честь близкого друга Розена, казненного К. Ф. Рылеева. Крестным отцом мальчика был Е. П. Оболенский. А. И. Одоевский посвятил ему «Колыбельную песнь» (Одоевский, с. 160—161). По заведенному порядку, о рождении сына «государственного преступника» было сообщено в Главный штаб (ЦГВИА, ф. 35, оп. 9, д. 102, л. 402).

[275] П. Н. Свистунов справедливо возразил Розену: «Вольф ни от кого не брал денег за лечение» (Воспоминания, т. 2, с. 288). Это подтверждает дочь И. А. и П. Е. Анненковых О. И. Иванова: «<...> он ничего не брал за свои визиты» (Анненкова, с. 203). Небольшой капитал, о котором упоминает Розен, Ф. Б. Вольф, по свидетельству П. Н. Свистунова, «при кончине своей завещал не одному, а трем из своих товарищей поровну» (Воспоминания, т. 2, с. 288). Свое имущество Ф. Б. Вольф завещал А. Ф. Фролову, П. И. Фаленбергу (имя третьего декабриста неизвестно).

[276] Горный инженер А. И. Арсеньев.

[277] Сохранились лишь две первые и четвертая песни поэмы «Василько», написанной в Чите в 1829—1830 гг. Они были опубликованы в 1882 г. (РС, 1882, № 2, с. 313—316; № 3, с. 647—656). Содержание утерянной третьей части поэмы восстанавливается по письму А. П. Беляева к М. И. Семевскому (РС, 1882, № 5, с. 564).

[278] Многие декабристы (Розен, А. З. Муравьев, А. П. Беляев) записывали стихотворения А. И. Одоевского, стремясь сохранить их и сделать достоянием русской литературы. Однако «многие тысячи» стихов Одоевского пропали без вести. В 1882 г. вышло составленное Розеном Полное собрание стихотворений А. И. Одоевского (СПб., 1882, на обложке год издания: 1883).

[279] Д. И. Завалишин также был высокого мнения о баснях П. С. Бобрищева-Пушкина, которые, по его словам, «заняли бы с честию место во всякой литературе» (Завалишин, с. 273). Несколько басен П. С. Бобрищева-Пушкина было сохранено Розеном, Н. И. Лорером и Н. А. Бестужевым и опубликовано по их записям (Декабристы. Антология. Л., 1975, т. 1, с. 374—379). Поэма В. П. Ивашева не дошла до нас.

[280] А. О. Корнилович не мог принимать участие в этих чтениях (см. примеч. 170). Пушкин здесь — это П. С. Бобрищев-Пушкин. Розен читал сочинение Г.-Д. Цшокке (см. примеч. 127). Сохранилось свидетельство Н. И. Лорера: «Розен в одно из заседаний прочел нам перевод Stunden der Andacht (Часы благоговения)» (Лорер, с. 145; а также Беляев, с. 223).

[281] Описание камеры М. С. Лунина в Петровском Заводе вызвало возражение П. Н. Свистунова: «В стене противоположной дверям точно нельзя было прорубить окна, но так как номер его был крайним, то прорубили его в боковой стене, обращенной к

большому двору» (РА, 1871, № 2, стб. 435). С. Б. Окунь, считая замечание Свистунова справедливым, предположил, что «окно в камере Лунина было пробито позднее, чем в других камерах», уже после отъезда Розена из Петровского Завода (Окунь, с. 133—134). П. Н. Свистунов возразил Розену также по вопросу об обращении М. С. Лунина в католичество: «Автор записок ошибается, приписывая его обращение в католичество сардинскому посланнику, графу де Местру <...>» (Воспоминания, т. 2, с. 292, 294).

[282] Сообщаемые сведения о М. С. Лунине, хотя и совпадают в ряде деталей со свидетельством других мемуаристов, в частности Д. И. Завалишина, являются, очевидно, устным преданием. Их достоверность поставлена под сомнение П. Н. Свистуновым (Воспоминания, т. 2, с. 290—294). Причины отставки М. С. Лунина точно не установлены. Кроме денежных затруднений были и другие обстоятельства, в том числе неудовлетворенность службой. Парижский период жизни М. С. Лунина также недостаточно прояснен. Лунин был арестован в апреле 1826 г. Константин Павлович никаких конкретных предложений о бегстве М. С. Лунину не делал, однако последний благодаря защите Константина действительно имел возможность скрыться (см.: Окунь, с. 87—89). Причиной заключения Лунина 11 апреля 1841 г. в Акатуйский тюремный замок явилось написание им серии антиправительственных произведений «Письма из Сибири», «Разбор Донесения, представленного российскому императору Тайной комиссией в 1826 году», «Взгляд на тайное общество в России (1816—1826)» и др.

[283] Розен приводит 282—285-ю строфы поэмы К. Ф. Рылеева «Войнаровский», написанной в 1823—1824 гг. (Рылеев К. Ф. Полн. собр. стихотворений. Л., 1971, с. 199).

[284] Восемь женатых, «навсегда отторгнутых от жен и детей», — это А. Ф. Бригген, В. Н. Лихарев, А. З. Муравьев, И. В. Поджио, П. И. Фаленберг, Ф. П. Шаховской, В. И. Штейнгель, И. Д. Якушкин. Трое из них, чьи жены «вышли замуж за других», — это В. Н. Лихарев, И. В. Поджио, П. И. Фаленберг.

[285] Сокращение срока каторжных работ последовало по указу от 8 ноября 1832 г., изданному в связи с крестинами вел. кн. Михаила Николаевича.

[286] Имеется в виду стихотворение И.-В. Гете «Genius, die Büste der Natur enthüllend (Гений, обнажающий изображение природы), написанное в 1826 г.; на русский язык не переводилось.

[287] В предыдущей главе (с. 269) Розен писал, что плавание его жены по Байкалу продолжалось 5 дней.

[288] Розен прибыл в Иркутск вечером 29 июня 1832 г. (ГБЛ, ф. 243, оп. 4, д. 8, л. 1).

[289] В. М. Шаховская, невеста П. А. Муханова, приехала в Сибирь в 1828 г. Их брак не был разрешен по церковным правилам (сестра П. А. Муханова была замужем за братом В. М. Шаховской). Через В. М. Шаховскую шла основная часть нелегальной переписки узников читинской тюрьмы и Петровского Завода.

[290] Розен был отправлен из Иркутска в распоряжение тобольского губернатора под надзором урядника Нечаева.

[291] Имеется в виду составленное М. М. Сперанским «Учреждение для управления сибирских губерний».

[292] Нижнеудинский исправник Лоскутов, уволенный М. М. Сперанским в 1818 г., прославился не только своим административным талантом, но и жестокостью и деспотизмом. Возражая Розену, Н. Н. Свистунов писал: «Правда, что он ввел в этих поселениях дисциплину, не уступающую в строгости военной, но избави нас бог от порядка, добытого жестокими мерами» (Воспоминания, т. 2, с. 289).

[293] Эти сведения приводятся в статье Н. А. Бестужева «Бурятское хозяйство», опубликованной в 1853 г. в Трудах Вольного экономического общества (Декабристы о Бурятии. Статьи, очерки, письма. Улан-Удэ, 1975, с. 59). Буряты знали земледелие задолго до прихода русских.

[294] Маркитанты — здесь торговцы.

[295] См. примеч. 219.

[296] См. примеч. 124.

[297] О. В. Горский не был членом тайного общества. 14 декабря 1825 г. находился среди восставших и вел себя, по свидетельству мемуаристов, действительно странно. 5 марта 1827 г. по распоряжению Николая I был сослан в Березов под надзор полиции. Скончался в Омске (см.: Предтеченский А. В. О. В. Горский и его «Записки». — В кн.: Воспоминания, т. 2, с. 185).

[298] Восстание в Польше началось в 1830 г. Основные сражения происходили в 1831 г. — 4-й полк линейной пехоты польской армии был самым известным среди тех частей, которые перешли на сторону восставших. Отсюда и «пуговица 4-го полка».

[299] Распоряжение тобольского губернатора об отправлении Розена и его семьи из Тобольска в Курган под надзором унтер-офицера полиции последовало 15 сентября 1832 г.

[300] И. Ф. Фохт прибыл в Курган 10 марта 1830 г.

[301] В. Н. Лихарев жил в Кургане с мая 1830 г.

[302] Речь идет о книге «Достопамятный год жизни Августа Коцебу, или заточение его в Сибирь и возвращение оттуда». М., 1806; 2-е изд. М., 1816.

[303] В обществе было распространено мнение, что П. Ф. Малиновский не оставил духовного завещания (Гастфрейнд, с. 309—310).

[304] См. примеч. 285.

[305] М. М. Нарышкин и Н. И. Лорер прибыли в Курган 14 марта 1833 г.

[306] Sismondi de J.-Ch. Histoire des républiques italiennes du moyen âge. V. 1—16. Paris, 1807—1818. Сисмонди де Ж.-Ш. История итальянских республик средневековья. Т. 1—16. Париж, 1807—1818). Перевод Розена не сохранился.

[307] 3 марта 1791 г. Четырехлетний сейм Речи Посполитой принял «Конституцию 3 мая». Но в результате раздела Польши в 1794 г. страна утратила независимость. В ответ на это началось восстание под руководством Т. Костюшко.

[308] Имеется в виду восстание военных поселян, происшедшее в Старой Руссе, административном центре военных поселений, в июле 1831 г. По свидетельству очевидца, во время восстания погибло «штаб- и обер-офицеров более 60 или 70 человек» (РС, 1874, № 1, с. 162).

[309] Это письмо А. Ф. Бриггена к Розену от 15 ноября 1833 г. опубликовано (РС, 1900, № 1, с. 225—228).

[310] В официальном извещении о смерти ландрата Е. О. Розена сообщалось, что он умер 26 января 1834 г. на 76-м году жизни (ИРЛИ, Р. III, оп. 1, д. 1806).

[311] Имеется в виду донос и последующее расследование, связанное с омским делом 1833 г.— неудавшейся попыткой польских ссыльных начать восстание в Омске, Тобольске и окрестностях.

[312] Высочайшее повеление об отводе «государственным преступникам», находящимся на поселении в Сибири, земельных наделов в 15 десятин, последовало летом 1835 г.

[313] «Благородный поляк К.» — это Ю. Кобылецкий. За отказ участвовать в подавлении польского восстания он был переведен в гусарский полк, потом служил в Тобольске и Омске (см.: Janik M. Dzieje Polakow na Syberii. Krakow, 1928, s. 19, 170—171).

[314] Имеются в виду А. Н. Муравьев, служивший в 1832—1834 гг. тобольским гражданским губернатором, и Х. Х. Повало-Швейковский.

[315] Владимир Андреевич, родился в 1834 г.; родившуюся в 1836 г. дочь Розен в своих «Записках» называет Инной, в книге «Очерк фамильной истории баронов фон Розен» (СПб., 1876, с. 68) — Анной.

[316] Домрез — дорожный экипаж.

[317] Очевидно, неточность; надо: полковника.

[318] В сохранившемся медицинском заключении И. В. Енохина травма Розена названа: «вывих бедра вперед, несовершенный» (ИРЛИ, ф. 93, оп. 6, д. 15, л. 3).

[319] Упоминание об этой встрече есть в воспоминаниях С. А. Юрьевича (РА, 1887, № 4, с. 466).

[320] Это письмо В. А. Жуковского неизвестно. О ссыльных декабристах он неоднократно ходатайствовал перед имп. Александрой Федоровной (см., напр.: РА, 1874, № 1, стб. 60—61).

[321] С 1838 г. А. Ф. Бригген служил в Курганском окружном суде.

[322] Вел. кн. Александр Николаевич в письме от 6 июня 1837 г. обратился к Николаю I с просьбой о смягчении участи ссыльных (РС, 1902, № 4, с. 98—99). Указ об определении декабристов на Кавказ был издан 21 июня 1837 г. Исправлявший должность военного полицмейстера в Кавказском крае Гринфельд в рапорте от 13 ноября 1837 г. доложил А. Х. Бенкендорфу о прибытии Розена с семьей в Тифлис (Минувшие годы, 1908, № 11, с. 212). 16 декабря 1837 г. А. Х. Бенкендорф сообщил А. И. Чернышеву о высочайшей резолюции «поместить» Розена в Пятигорск. 18 декабря 1837 г. А. И. Чернышев уведомил об этом Г. В. Розена, одновременно запросив: «Куда именно вы Розена назначите?» Г. В. Розен отвечал 25 января 1838 г., что Розен определен на службу в Кавказский линейный № 3 батальон в Кисловодск (ЛН, т. 60, кн. 1, с. 512—513).

[323] В письме к А. Ф. Бриггену от 9 декабря 1837 г. Розен спрашивал: «<...> как живет Настасья, которая качала люльку моей Инны?» (Литературный вестник, 1901, № 4, с. 424).

[324] Эпиграф — из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Кавказ», написанного в 1830 г. (Лермонтов М. Ю. Собр. соч. в 4-х т. М., 1975, т. 1, с. 191).

[325] Имеются в виду сражение между русско-австрийской и

французской армиями, происшедшее 20 ноября (2 декабря) 1805 г. близ деревни Аустерлиц, и сражение между русской и французской армиями под Фридландом 21(14) июня 1807 г., а также осада французскими войсками в декабре 1808 — феврале 1809 гг. Сарагоссы, обороной которой руководил Х. Палафокс.

[326] Эта встреча произошла в ночь на 6 августа 1826 г. в Парголове во время проезда из Петропавловской крепости в крепость «Форт Слава», близ Роченсальма, И. Д. Якушкина, М. И. Муравьева-Апостола, А. А. Бестужева, А. П. Арбузова и А. Н. Тютчева. В станционном доме находились Е. И. Бибикова, Е. Ф. Муравьева, А. В. Якушкина, Н. Н. Шереметева, П. Н. Мысловский, П. А. Фонвизин.

[327] В 1832 г. И. В. Малиновский был избран предводителем дворянства Изюмского уезда Старо-Слободской (Харьковской) губ.

[328] И. В. Малиновский был женат на родной сестре И. И. Пущина. 19 сентября 1844 г. в письме И. И. Пущину в Ялуторовск И. В. Малиновский сообщил о смерти Марии Ивановны (ЦГИА, ф. 1101, оп. 1, д. 521, л. 1).

[329] Более точное название: Военно-Грузинская дорога.

[330] М. А. Назимов подтверждает свидетельство Розена: «Это стихотворение сказал Одоевский при виде станицы журавлей, летевших на юг, когда он ехал со мной в одном экипаже из Сибири на Кавказ в октябре 1837 года» (РС, 1870, № 2, с. 157). Впервые стихотворение было сообщено Розеном в письме к А. Ф. Бригену от 9 декабря 1837 г. (Лит. вестник, 1901, № 4, с. 424).

[331] Розен имеет в виду селение Казбек, принадлежавшее братьям кн. Казбеги. Его собеседником, очевидно, был кн. М. Г. Казбеги.

[332] На обеде у Н. Н. Раевского, состоявшемся в сентябре 1829 г. в дорожной палатке, по пути в Тифлис, присутствовали З. Г. Чернышев, В. М. Голицын, А. А. Бестужев, Н. Н. Семичев. Н. Н. Раевский был арестован на восемь дней в декабре 1829 г.

[333] Командиром Отдельного Кавказского корпуса в 1832 г. был назначен Г. В. Розен.

[334] Имеется в виду издававшаяся в Петербурге с 1813 г. газета «Русский инвалид, или Военные ведомости».

[335] В 1837 г. Г. В. Розен, не проверив реляции своего подчиненного, донес Николаю I о капитуляции Шамиля. Это известие побудило Николая I посетить Кавказ. Его поездка по Кавказу началась 27 сентября 1837 г. Ошибочное донесение Г. В. Розена, а также доклад комиссии П. В. Гана (см. примеч. 336) явились причиной смещения Г. В. Розена и В. Д. Вольховского.

[336] Комиссия сенатора П. В. Гана ревизовала в 1837 г. управление Кавказом. При этом выявились многочисленные служебные злоупотребления административного аппарата. Чиновник, собравший сведения об Эриванском карабинерном полку, — секретарь П. В. Гана Базили.

[337] Развод Эриванского карабинерного полка состоялся 9 октября 1837 г. По свидетельству В. С. Толстого и Н. И. Лорера, эполеты и аксельбант с А. Л. Дадиани срывал также А. Ф. Орлов (Толстой, с. 65; Лорер, с. 187—188).

[338] Речь идет о командире Грузинского гренадерского полка графе А. К. Оппермане.

[339] В. С. Толстой, служивший в 40-е гг. на Кавказе, также сообщает о «страшной смертности» солдат резервной дивизии От-

дельного Кавказского корпуса. Расследование открыло «действительно вопиющие лихоимство и злоупотребления в резервной дивизии» (Толстой, с. 67—68).

[340] «Мельник-колдун, обманщик и сват» — опера М. М. Соколовского; впервые поставлена в 1779 г.

[341] Розен имеет в виду свою поездку в Париж в 1865 г., предпринятую с целью найти издателя для «Записок декабриста».

[342] В. Д. Вольховский был назначен командиром 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.

[343] Розен имеет в виду книгу И. В. Малиновского «В. Д. Вольховский» (Харьков, 1844). Сохранилась также рукопись Е. А. Розена «Владимир Дмитриевич Вольховский. 1798—1841», написанная в 1885 г. (ЛН, т. 16—18, с. 327, 376).

[344] Первая экспедиция Ф. Ф. Берга в Киргиз-Кайсацкие степи, предпринятая с целью восстановить караванное сообщение с Дальним Востоком, состоялась в 1823 г.

[345] А. С. Пушкин встретился с В. Д. Вольховским 13 июня 1829 г. во время своей поездки на Кавказ. Говоря о том, что А. С. Пушкин «передал нам» сведения об этой встрече, Розен, очевидно, имел в виду запись А. С. Пушкина в «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года»: «Здесь увидел я нашего В[ольховского], запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. М.: Изд. АН СССР, 1938, т. 8, с. 466).

[346] Имеется в виду военная интервенция России в Венгрии в 1849 г., предпринятая по просьбе Австрии.

[347] Одной из причин неприязненного отношения И. Ф. Паскевича к своим подчиненным явилась статья, опубликованная во французской газете «Journal des Débats» в 1829 г. Корреспондент, побывавший на Кавказе, писал о И. Ф. Паскевиче как о бездарном фаворите Николая I и высоко отзывался о военных заслугах, в частности, В. Д. Вольховского, Д. Е. Сакена, Н. Н. Раевского (об этом подробно писал М. И. Пущин: РА, 1908, № 12, с. 539—549. См. также: Лорер, с. 417—418).

[348] В. Д. Вольховский получил чин генерал-майора за участие в битве под Гроховым 13 февраля 1831 г.

[349] В августе 1839 г. умерла дочь В. Д. Вольховского Мария.

[350] Версия Розена о влиянии этого стихотворения, написанного А. И. Одоевским в апреле 1836 г., на Николая I весьма сомнительна. Переводу А. И. Одоевского на Кавказ предшествовали хлопоты родственников, в частности И. Ф. Паскевича. 18 мая 1837 г. А. И. Одоевский обратился с просьбой к А. Х. Бенкендорфу исходатайствовать ему место в рядах Отдельного Кавказского корпуса. 20 июня 1837 г. на прошении А. И. Одоевского Николай I наложил резолюцию: «Рядовым в Кавказский корпус» (Одоевский А. И. Полн. собр. стихотворений и писем. М.; Л., 1934, с. 93, 330—331). Именно в это время, в двадцатых числах июня 1837 г., решался вопрос об участи ссыльных в Кургане. А. И. Одоевский прибыл в Ставрополь в начале октября 1837 г. вместе с М. М. Нарышкиным, М. А. Назимовым и В. Н. Лихаревым. Позднее на Кавказ прибыли Н. И. Лорер и Розен. Декабристы были распределены по разным полкам. А. И. Одоевского определили в Нижегородский драгунский полк. В этот же полк был переведен высланный на Кавказ за стихи на смерть А. С. Пушкина

М. Ю. Лермонтов. В 1837 г. М. Ю. Лермонтов близко познакомился и сдружился с А. И. Одоевским и М. А. Назимовым Розен с М. Ю. Лермонтовым не встречался.

[351] Известно несколько списков этого стихотворения. В списке, считающемся авторизованным, стоит дата «14 апреля 1836 г. Дерев[ня] Елань, Иркутс[кой] губ.» (Одоевский, с. 165—166).

[352] Это письмо А. А. Бестужева неизвестно.

[353] А. А. Бестужев был убит 7 июня 1837 г. Источником рассказа Розена о гибели А. А. Бестужева явился В. Д. Вольховский, что придает сообщаемым сведениям особую достоверность. Сохранилось письмо Н. А. Бестужева к Розену от 31 августа 1838 г., в котором он благодарит за сообщение подробностей о смерти брата (ИРЛИ, ф. 604, д. 9, л. 109—110).

[354] В конце 1829 г. сосланному на Кавказ А. А. Бестужеву разрешено было печататься, но без указания имени сочинителя. Псевдонимом Марлинский А. А. Бестужев подписывал некоторые свои статьи и до 14 декабря. Под этим псевдонимом с 1831 г. печаталась большая часть его произведений и почти все повести. С просьбой о переводе А. А. Бестужева на гражданскую службу обратился к Николаю I в 1836 г. М. С. Воронцов. Николай I наложил следующую резолюцию: «Мнение гр. Воронцова совершенно не основательно; не Бестужеву с пользой заниматься словесностью; он должен служить там, где сие возможно без вреда для службы. Перевесть его можно, но в другой батальон» (Голос минувшего, 1913, № 11, с. 199). У А. А. Бестужева было четыре брата, двое — Михаил и Николай — находились в сибирской ссылке, Павел и Петр служили на Кавказе, и три сестры — Елена, Мария и Ольга. Всем им он помогал материально, и, кроме того, Е. А. Бестужева, по его поручению, клала часть гонораров «впрок».

[355] Летом 1829 г. П. А. Муханову удалось нелегальным путем переслать из Читы в Москву П. А. Вяземскому письмо, в котором он от имени А. И. Одоевского просил об издании альманаха «Зарница», составленного из произведений сосланных декабристов. К письму была приложена тетрадь со стихами А. И. Одоевского. Эти стихотворения П. А. Вяземский и А. А. Дельвиг опубликовали (анонимно) в 1830—1831 гг. в «Литературной газете» и в альманахе «Северные цветы» (ЛН, т. 60, кн. 1, с. 177—178).

[356] Стихотворение А. И. Одоевского «Умирающий художник» написано в Чите в 1828 г. Отрывок из него Розен приводит в иной редакции (Одоевский, с. 72).

[357] «Норма» — опера В. Беллини, впервые поставлена в 1831 г.

[358] По поводу этой истории, якобы происшедшей с Г. Х. Зассом, В. С. Толстой заметил: «Выдумки, вздор, вымышленный его друзьями» (Толстой, с. 71).

[359] Приведенное Розеном стихотворение Л. Л. Альбранта «Воспоминание горской экспедиции 1832 г. гр[афа] Цукато» посвящено боевым действиям 2-го Закавказского мусульманского полка в Северном Дагестане в 1832 г. и является подражанием популярной французской песне «T'en souviens tu?», приписывавшейся П. Беранже, но на самом деле принадлежащей перу П. Дебро.

[360] Миссия Базельского евангелического миссионерного общества была основана в 1822 г. по разрешению Александра I в г. Шуше для работы среди магометан и язычников. Миссия была

закрыта в 1837 г. Некоторые члены миссии остались в Шотландской колонии, находившейся в Каррасе, близ Пятигорска.

[361] Судя по всему, речь идет о Н. В. Майере, послужившем прототипом доктора Вернера — персонажа романа М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени».

[362] Е. А. Головин.

[363] В июне 1839 г. отряд под начальством П. Х. Граббе взял штурмом Ахульго (Ахулко), где находился отряд Шамиля.

[364] Манифест о присоединении Грузии к России был подписан Павлом I 18 декабря 1800 г. Через несколько дней умер Георгий XII. 18 января 1801 г. последовал новый манифест Павла I. Однако окончательно вопрос был решен при Александре I.

[365] Гимры (Гимри) — аул в Дагестане, родина Шамиля. 17 октября 1832 г. аул был занят русскими войсками.

[366] Верста — 500 сажен, или 1066,7 м. До XVIII в. в России наряду с обычной верстой применялась верста в 1000 сажен.

[367] Евтух (заимствовано из греч.) — возница.

[368] Затор (здесь) — смесь, предназначенная для брожения при приготовлении водки, пива, кваса и т. п.

[369] Первые военные поселения в царствование Александра I были устроены в 1810 г. Со временем предполагалось «посадить» на землю всю армию. Создание военных поселений Розен целиком относит к инициативе А. А. Аракчеева. С этим трудно согласиться. А. А. Аракчеев был лишь всесильным исполнителем воли Александра I. Надежды на военные поселения не оправдались. Они не способствовали разрешению крестьянского вопроса и повышению надежности армии и сами оказались центрами восстаний.

[370] См. примеч. 308.

[371] Восстание в Чугуевском военном поселении вспыхнуло в июне-июле 1819 г. К Чугуевскому уланскому полку присоединился Таганрогский уланский полк. Из Чугуевского полка было арестовано 1104 человека, из Таганрогского — 899. 363 человека были преданы военному суду. Из прогнанных сквозь строй 52 человек 18 августа 1819 г. 25 человек были забиты насмерть. Упоминаемый Розеном Чернявский — это, вероятно, Г. Черников, один из руководителей восстания. Рассказ Розена о подавлении восстания поселян и обстоятельствах экзекуции носит фольклорный характер.

[372] Речь идет об убийстве домоправительницы и любовницы А. А. Аракчеева А. Ф. Минкиной (Шумской), совершенном в Грузино 10 сентября 1825 г. Источником сведений об А. А. Аракчееве явился его адъютант в 1825 г.— Б. К. Тизенгаузен.

[373] Униаты — последователи церковной унии 1596 г., по которой на территории панской Польши католическая церковь объединялась с православной церковью Украины и Белоруссии.

[374] Имеется в виду эпизод из истории падения Пскова в 1510 г., упоминаемый в «Псковской летописи». Посол Василия III дьяк Далматов прибыл в Псков и объявил волю государя: «Чтоб у вас веча не было да и колокол бы вечной сняли». 13 января 1510 г. вечевой колокол был снят и увезен Далматовым из Пскова.

[375] В военном училище г. Бриенны воспитывался Наполеон I. В августе 1814 г. у Бриенны Наполеон I выдержал бой с отрядом русских войск, входивших в Силезскую армию.

[376] Строка из стихотворения В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов», написанного в 1812 г. (Жуковский, с. 41).

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

Анненкова — Воспоминания П. Анненковой. Красноярск, 1977.
Басаргин — Записки Н. В. Басаргина. Пг., 1917.
Беляев — А. П. Беляев. Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. 1805—1850. СПб., 1882.
Бестужевы — Воспоминания Бестужевых. М.; Л., 1951.
ВД — Восстание декабристов. М.; Л., 1925, т. 1; М.; Л., 1926, т. 2; М., 1958, т. 7; М.; Л., 1925, т. 8; М., 1979, т. 15; 1980, т. 17.
Воспоминания — Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1931, т. 1; М., 1933, т. 2.
Габаев — Г. С. Гвардия в декабрьские дни 1825 года. — В кн.: Пресняков А. Е. 14 декабря 1825 года. М.; Л., 1926.
Гастфрейнд — Н. А. Гастфрейнд. Товарищи Пушкина по императорскому Царскосельскому лицею. СПб., 1913, т. 3.
ГБЛ — Отдел рукописей и редких книг Государственной библиотеки имени В. И. Ленина.
ГИМ — Государственный исторический музей, Москва.
Государственные преступления — Государственные преступления в России в XIX в. СПб., 1906, т. 1.
ГПБ — Отдел рукописей и редких книг Государственной публичной библиотеки имени М. Е. Салтыкова-Щедрина.
Декабристы — Декабристы и их время. М., 1928, т. 1; М., 1932, т. 2.
Декабристы на каторге — Декабристы на каторге и в ссылке. М., 1925.
Жуковский — В. А. Жуковский. Сочинения. М., 1954.
Завалишин — Д. И. Завалишин. Записки декабриста, 1906.
ИРЛИ — Рукописный отдел Института русской литературы АН СССР (Пушкинского Дома).
Корф — М. А. Корф. Восшествие на престол императора Николая I. СПб., 1857.
Лунин — М. С. Лунин. Сочинения и письма. Пг., 1923.
Лорер — Н. И. Лорер. Записки декабриста. М., 1931.
ЛН — Литературное наследство.
Междуцарствие — Междуцарствие 1825 года и восстание декабристов в переписке и мемуарах членов царской семьи, 1926,
Нечкина — М. В. Нечкина Движение декабристов. М., 1955, т. 2.
Одоевский — А. И. Одоевский. Полн. собр. стихотворений. Л., 1958.
Окунь — С. Б. Окунь. Декабрист М. С. Лунин. Изд. ЛГУ, 1962.
ПЗ — Полярная звезда.
Пущин — И. И. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956.
РА — Русский архив.
РВ — Русский вестник.
РС — Русская старина.
Толстой — В. С. Толстой. Воспоминания. — В кн.: Декабристы. Новые материалы. М., 1955.
ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов гос. власти и гос. управления СССР.
ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив СССР.
Якушкин — Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951.

Абрамов — см. Аврамов
Авалов, кн. 340, 363
Августин (354—430) — епископ, христианский теолог 202
Авинов Александр Павлович (1786—1854) — офицер флота, впоследствии адмирал 115, 309
Аврамов 2-й, Иван Борисович (1801—1840) — поручик квартирмейстерской части, член Южного общества 221, 260
Аврамов 1-й, Павел Васильевич (1791—1836) — полковник, командир Казанского пехотного полка, член Южного общества 136, 173, 213, 242, 268, 373
Адарюков — коллежский секретарь 328
Адлерберг Владимир Федорович (1791—1884) — гр., полковник, флигель-адъютант 152, 153, 427
Азадовский Марк Константинович (1888—1954) — историк и литературовед 22, 23, 426, 439
Акуловы, братья, офицеры Гвардейского экипажа, декабристы 147
Александр II Николаевич (1818—1881) — имп. 50, 186, 228, 287, 311, 355, 388, 418, 423, 425, 444
Александр I Павлович (1777—1825) — имп. 11, 40, 60, 68, 73, 82, 99, 101—103, 111, 114, 117, 119—121, 124, 136, 141, 170, 180, 183, 184, 196, 278, 387, 393, 398, 400, 417, 419—422, 427, 430, 433, 447, 448
Александра Павловна (1783—1801) — вел. кн. 102
Александра Федоровна (1798—1860) — имп., жена Николая I 444
Алексей — повар, 328
Алексеев — полицмейстер в Тобольске 215, 218, 289
Алексей Михайлович (1629—1676) — царь 324
Альбрант Лев Львович (1801—1849) — полковник Отдельного Кавказского корпуса 375, 447
Ангальт Федор (Фридрих) Евстафьевич (Федорович) (1732—1794) — ген.-поручик, главный начальник Кадетского корпуса 66
Андреев Андрей Николаевич (ум. 1831) — подпоручик л.-гв. Измайловского полка, член Северного общества 259, 260
Андреев Дмитрий Николаевич — поручик л.-гв. Измайловского полка 148
Андреев Яков Максимович (1801—1840) — подпоручик 2-й артиллерийской бригады, член Общества соединенных славян 236, 242, 436
Анна — служанка 414
Анна Андреевна — см. Самборская Анна Андреевна
Анна Иоанновна (1693—1740) — имп. 234, 251, 254, 324
Анна Павловна (1795—1865) — вел. кн. 114
Анненков Иван Александрович (1802—1878) — поручик Кавалергардского полка, член Петербургской ячейки Южного общества 128, 134, 141, 239, 422, 436, 441
Анненков Николай Николаевич (1799 или 1800—1865) — полковник, адъютант вел. кн. Михаила Павловича, 144
Анненкова (урожд. Гебль) Полина (Прасковья) Егоровна (1800—1876) — жена И. А. Анненкова 222, 239, 243, 428, 439, 441
Ансело Жак-Франсуа (1794—1854) — французский драматург и публицист 60, 417
Антоний (Смирницкий Аврамий Гаврилович) (1773—1846) — архиепископ Воронежский и Задонский 326
Анштет (Анштетт) Иван Осипович (Иоганн-Протасий) фон (1766—1835) — посол России при Германском союзе 197

Апостол Даниил Павлович (1658—1734) — украинский гетман, дед М. И. и С. И. Муравьевых-Апостолов 180
Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834) — гр., ген. от артиллерии, главный начальник военных поселений 69, 184, 190, 302, 391, 398—402, 419, 433, 448
Арбузов Антон Петрович (ок. 1790—1843) — лейтенант Гвардейского экипажа, член Северного общества 232, 422, 445
Аристид (ок. 540—467 до н. э.) — полит. деятель Афин 356
Арнольди Иван Карлович (1780—1860) — ген.-лейт. 317
Арсеньев Александр Ильич — горный инженер, управляющий Петровским заводом 441
Арцыбашев Дмитрий Александрович — корнет Кавалергардского полка 422
Афанасий Петрович — см. Петров Афанасий Петрович
Ахлестышев Александр Федорович — полковник л.-гв. Финляндского полка 69, 116

Базили — секретарь сенатора П. В. Гана 445
Базин Иван Алексеевич (1802—1887) — подпоручик л.-гв. Финляндского полка 13
Байрон Джордж Ноэл Гордон (1788—1824) 150
Бакунин Илья Модестович (1800—1841) — поручик 1-й гвардейской артиллерийской бригады 131, 424
Бантыш-Каменский Дмитрий Николаевич (1788—1850) — тобольский гражданский губернатор 216
Баранов Дмитрий Осипович (1773—1834) — сенатор 165, 172, 422, 428
Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — поэт 438
Барклай де Толли Михаил Богданович (1761—1818) — ген.-фельдмаршал 386, 399
Бартенев Петр Иванович (1829—1912) — издатель-редактор «Рус. архива» 43, 46, 47, 417
Барятинский Александр Петрович (1798—1844) — кн., штабротмистр л.-гв. Гусарского полка, член Южного общества 158, 233, 268, 436
Басаргин Николай Васильевич (1799—1867) — поручик, старший адъютант П. Д. Киселева, член Южного общества 33, 46, 47, 59, 373, 417, 428, 438
Баснины — иркутские купцы 283
Батенков (Батеньков) Гавриил Степанович (1793—1863) — подполковник корпуса инженеров путей сообщений, член Северного общества 173, 184, 194, 432
Баторий Стефан (1533—1586) — король польский 410
Башмаков Флегонт Миронович (ок. 1775—1859) — рядовой, участник восстания Черниговского пех. полка 270, 288, 426
Башуцкий Павел Яковлевич (1771—1836) — ген.-лейтенант, петербургский комендант 127, 139, 172
Безбородко Александр Андреевич (1747—1799) — кн., канцлер 404
Белевцов Дмитрий Николаевич (1800—1883) — капитан л.-гв. Финляндского полка 16, 17, 116, 126
Белич Александр Иванович — штабс-капитан л.-гв. Финляндского полка 114
Беллини Винченцо (1801—1835) — итал. композитор 448
Беляев 1-й Александр Петрович (1803—1855) — мичман Гвардейского экипажа, член Северного общества 24, 26, 147, 208, 367, 416, 419, 438, 441
Беляев 2-й Петр Петрович (1804—1864) — мичман Гвардейского экипажа, член Северного общества 98, 147, 208
Бенкендорф Александр Христо-

форович (1783—1844) — гр., ген.-адъютант, шеф корпуса жандармов и начальник III Отделения 18, 30, 31, 78, 84, 89, 98, 143, 152, 155, 163, 165, 173, 198, 222, 230, 246—248, 258, 356, 362, 363, 382, 383, 419, 422, 427, 428, 435, 444, 446
Беранже Пьер Жан (1780—1857) — французский поэт 375, 447
Берг Федор Федорович (1793—1874) — гр., капитан Гвардейского ген. штаба 360, 446
Берстель Александр Карлович (1788—1830) — подполковник 9-й артиллерийской бригады, член Общества соединенных славян 136
Бестужев (Марлинский) 2-й Александр Александрович (1797—1837) — штабс-капитан л.-гв. Драгунского полка, член Северного общества 6, 8, 10, 14, 140, 178, 190, 194, 274, 325, 337, 343, 366, 367, 426, 433, 434, 444
Бестужев 3-й Михаил Александрович (1800—1871) — штабс-капитан Московского полка, член Северного общества 6, 8, 14, 23, 24, 27, 40, 44, 124—127, 129, 131, 143, 171, 182, 416, 424, 428, 432, 436, 438, 440, 447
Бестужев 1-й Николай Александрович (1791—1855) — капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа, член Северного общества 11, 23, 25, 33, 54, 127, 128, 134, 138, 143, 144, 166, 171, 178, 182, 235, 236, 249, 253, 262, 263, 264, 269, 275, 281, 299, 307, 366, 416, 422, 424, 426, 436, 438—441, 443, 447
Бестужев Павел Александрович (1808—1846) — поручик Отдельного Кавк. корпуса 447
Бестужев Петр Александрович (1803—1840) — мичман 27-го флотского экипажа, член Северного общества 129, 424, 447
Бестужев-Рюмин Михаил Павлович (1801—1826) — подпоручик Полтавского пехотного полка, член Южного общества 137, 143, 157, 176, 179, 180, 181, 193, 208, 429, 430
Бестужева Елена Александровна (1792—1874) — сестра декабристов Бестужевых 447
Бестужева Мария Александровна (1793 или 1796—1889) — сестра декабристов Бестужевых 447
Бестужева Ольга Александровна (р. 1793 или 1796—1889) сестра декабристов Бестужевых 447
Бестужевы 11, 24, 40, 44, 121, 122, 138, 200, 232, 236, 249, 416, 422, 424, 426, 428, 432, 438, 440
Бетанкур Августин Августинович (1758—1824) — ген.-лейтенант, главнокомандующий путями сообщения 179
Бетховен Людвиг ван (1770—1827) 319
Бибиков Дмитрий Гаврилович (1792—1870) — киевский военный губернатор и генерал-губернатор подольский и волынский 432
Бибиков Илларион Михайлович (1792—1860 или 1861) — ген.-лейтенант 432
Бибиков Илья Гаврилович (1794—1867) — полковник, адъютант вел. кн. Михаила Павловича, член Союза благоденствия 198, 434
Бибикова (урожд. Муравьева-Апостол) Екатерина Ивановна (1795—1861) — сестра М. И. и С. И. Муравьевых-Апостолов 325, 445
Бибикова (урожд. Муравьева) Софья (Nono) Никитична (1826—1892) — дочь Н. М. Муравьева 256
Бирон Эрнст-Иоганн (1690—1772) — герцог, фаворит имп. Анны Иоанновны 303
Бистром Карл Иванович (1770—

1838) — ген.-адъютант, командующий пехотой Гвардейского корпуса 78, 92, 99, 110, 119, 129, 136, 165, 169, 171, 172, 425, 428
Блуд Ивещей (Иона) (ум. 1018) — киевский воевода 433
Блудов Дмитрий Николаевич (1785—1864) — действ. статский советник, составитель Донесения Следственной комиссии 59, 152, 154, 191, 192, 198, 201—203, 424, 427, 433, 434
Блюмквист Иван Иванович — фактор типографии Н. А. Неклюдова 42
Бобрищев-Пушкин 1-й Николай Сергеевич (1800—1871) — поручик квартирмейстерской части, член Южного общества 157, 172, 176, 204, 208, 236, 270, 280, 285, 427
Бобрищев-Пушкин 2-й Павел Сергеевич (1802—1865) — поручик квартирмейстерской части, член Южного общества 232, 234, 264, 286, 427, 441
Бобрищева-Пушкина Мария Сергеевна (1809—1868) — сестра Н. С. и П. С. Бобрищевых-Пушкиных 286
Боброва (урожд. Розен) Инна (Анна) Андреевна (1836 — не позднее 1899), баронесса, дочь А. Е. Розена 310, 444
Богданов Арсений Иванович — подпоручик л.-гв. Финляндского полка 9, 20, 163, 422, 428
Богданович Иван Иванович (ум. 1825) — капитан л.-гв. Измайловского полка, член Северного общества 134, 424
Бодиско — братья, офицеры Гвардейского экипажа, декабристы 147
Бодиско 1-й Борис Андреевич (1800—1828) — лейтенант Гвардейского экипажа, участник восстания 14 декабря 1825 г. 182
Болдырев Аркадий Африканович — полковник, петербургский плац-майор 176
Борисов 1-й Андрей Иванович (1798 — 1854) — отставной подпоручик, член Общества соединенных славян 204, 228, 236, 264, 435
Борисов 2-й Петр Иванович (1800—1854) — подпоручик 8-й артиллерийской бригады, член Общества соединенных славян 204, 228, 435
Боровков Александр Дмитриевич (1788—1856) — действ. статский советник, правитель дел Следственной комиссии 5, 427, 433
Бороздин Андрей Михайлович (1765—1838) — ген.-лейтенант, сенатор 172
Боцарис Маркос (1790—1823) — деятель греческого национально-освободительного движения 356
Бошняк Александр Карлович (1786—1831) — отставной коллежский советник, полицейский агент 422
Брайко Арсений Никитич — военный губернатор Кавказа 353
Бригген Александр Федорович фон дер (1792—1859) — отставной полковник, член Союза благоденствия 30, 31, 195, 221, 280, 291, 302, 307, 317, 319, 442—445
Бригген (урожд. Миклашевская) Софья Михайловна (р. 1803) 302, 426
Будберг Богдан Васильевич (1766—1833) — барон, эстляндский гражданский губ. 70
Буксгевден Федор Федорович (1750—1811) — гр., ген. от инфантерии 70, 400
Булатов Александр Михайлович (1793—1826) — полковник, командир 12-го егерского полка, член Северного общества 10, 117, 123, 128, 133, 134, 135, 195, 422, 423, 425
Булгари Николай Яковлевич (1803—1841) — гр., поручик л.-гв. Кирасирского полка, член Южного общества 145

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789—1859) — писатель, журналист 73, 432
Бурнашевы — братья, офицеры л.-гв. Финляндского полка 116
Бурцов Иван Григорьевич (1794 — 1829) — полковник, командир Украинского пехотного полка, член Союза благоденствия 136, 144, 360, 432
Буссе Василий Иванович (ум. 1828) — полковник л.-гв. Егерского полка 128, 145
Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821—1866) — организатор и руководитель революционного кружка (петрашевцев) 172, 429
Быстрицкий Андрей Андреевич (1799—1872) — подпоручик, участник восстания Черниговского пехотного полка 239, 240

Вадбольский Александр Петрович (1806 — 1863) — кн., подпоручик л.-гв. Измайловского полка 148
Вадковский Иван Федорович (1790—1849) — полковник л.-гв. Семеновского полка 419
Вадковский Федор Федорович (1800—1844) — прапорщик Нежинского конно-егерского полка, член Северного и Южного обществ 185, 234, 236, 243, 267, 436, 438
Важинский Порфирий — ссыльный поляк 301
Василий — кучер 164
Василий III Иванович (1449—1533) — вел. кн. московский 448
Васильчиков Илларион Васильевич (1776—1847) — кн., ген. от кавалерии, командующий Гвардейским корпусом 62, 74—76, 78, 141, 172, 422, 424
Вашингтон Джордж (1732—1799) — ген., президент США, писатель 177, 206, 435
Вебер Карл-Мария фон (1786—1826) — немецкий композитор и дирижер 420
Веймарн Иван Федорович — кадет 67
Вегелин Александр Иванович (ок. 1800—1860) — поручик Литовского пионерного батальона, член Общества военных друзей 239, 373, 439
Велио (Вельо) Иосиф Иосифович (Осип Осипович) (1795—1857) — барон, полковник Конногвард. полка 129, 423
Веллингтон Артур Уэсли (1769—1852) — герцог, английский полководец, дипломат 182, 431
Вельяминов Алексей Александрович (1785—1838) — ген.-лейтенант, командующий войсками Кавказской линии 369, 371, 373, 376, 387
Вельяминов Иван Александрович (1773—1837) — ген. от инфантерии, ген.-губернатор Западной Сибири 248, 371
Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — поэт, критик, философ 367
Верещагин — почтмейстер в Таре 270, 288
Веселовский Константин Семенович — полковник л.-гв. Финляндского полка 69, 147
Визгунов — солдат 271
Вильгельм, принц Оранский (1792—1849) — муж вел. кн. Анны Павловны 114
Витгенштейн Петр Христианович (1768—1842) — гр., ген. от кавалерии, главнокомандующий 2-й армией 79, 177, 406
Витт Иван Осипович (1781—1840) — гр., ген.-лейтенант, командующий 3-м Резервным кавалерийским корпусом 136, 422
Воинов Александр Львович (1770—1832) — ген.-лейтенант, командующий Гвардейским корпусом 14, 125, 129, 172
Волк Степан Степанович — историк 32, 35
Волков Владимир Федорович (ум. 1828) — штабс-капитан л.-гв. Московского полка 6
Волков Федор — унтер-офицер л.-гв. Финляндского полка 17
Волконская (урожд. Раевская) Мария Николаевна (1805—

1863) — кн., жена С. Г. Волконского 222, 228—230, 243, 258, 437, 438
Волконский Петр Михайлович (1776—1852) — кн., ген.-адъютант, начальник Гл. штаба 387
Волконский Сергей Григорьевич (1788—1865) — кн., ген.-майор, командир 1-й бригады 19-й пехотной дивизии, член Южного общества 29, 173, 191, 204, 208, 228, 229, 233, 242, 425, 435
Вольтер (Аруэ Франсуа Мари) (1694—1778) 64, 388
Вольф Фердинанд (Христиан) Богданович (ум. 1854) — штаб-лекарь Главной квартиры 2-й армии, член Южного общества 45, 227, 234, 242, 261, 262, 267, 441
Вольховская (урожд. Малиновская) Мария Васильевна (1809—1899) — сестра А. В. Ровен, жена В. Д. Вольховского 30, 106, 208, 246, 304, 319, 338, 342, 345, 347, 357, 398, 420, 437, 438, 440
Вольховская Мария Владимировна (1838—1839) — дочь В. Д. Вольховского 446
Вольховский Владимир Дмитриевич (1798—1841) — ген.-майор, начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса, член Союза благоденствия 176, 247, 248, 304, 305, 333, 343, 350, 355, 358—363, 366, 370, 376, 395, 432, 440, 445, 446, 447
Воронцов Михаил Семенович (1782—1856) — гр., новороссийский ген.-губернатор и наместник Бессарабии 288, 290, 352, 447
Воронцов-Дашков Иван Илларионович (1790—1854) — гр., обер-церемониймейстер двора 297
Воронецкий (Воронецки) Цыприан, кн., участник польского восстания 1830—1831 гг. 301
Воропанов Николай Фаддеевич (ум. 1829), ген.-майор, командир л.-гв. Финляндского полка 11, 13, 108, 124, 426
Ворцель Станислав Габриэль (1799—1857) — гр., польский революционер 208, 436
Воше Карл Август — библиотекарь и секретарь И. С. Лаваля 438, 439
Вранцкий Василий Иванович (ум. 1832) — полковник квартирмейстерской части, член Южного общества 280
Всеволод Гавриил Мстиславович (ум. 1138) — кн. новгородский и псковский 411
Выгодовский (Дунцов) Павел Фомич (1802—1872) — чиновник канцелярии волынского губернатора, член Общества соединенных славян 221
Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — кн., поэт, критик 47, 201, 447
Вяткин Александр Сергеевич (1798—1871) — капитан л.-гв. Финляндского полка, 16, 126
Вяткины — братья, офицеры л.-гв. Финляндского полка 116

Габаев Георгий Соломонович (1877—1956) — военный историк 423
Гавриил — см. Всеволод Гавриил Мстиславович
Галахов Александр Павлович (1802—1863) — поручик Конногвардейского полка 129, 423
Галахов Сергей Павлович (1806—1878) — прапорщик л.-гв. Гренадерского полка 140
Гамзат-бек (1789—1834) — предводитель (имам) дагестанских горцев 391
Ган Павел Васильевич — сенатор 352, 445
Гаркави Александр Миронович (1922—1980) — литературовед 50
Гастфрейнд Николай Андреевич (1854—1916) — литературовед и историк 421, 443
Гебель Густав Иванович (ум. 1856) — подполковник, командир Черниговского пехотного полка 137
Гебль П. Е. — см. Аншенкова Полина Егоровна

Гейбель Карл (1806—1884) — лейпцигский издатель 37
Гейсмар Федор Клементьевич (1783—1848) — ген.-майор, командир 2-й бригады 3-й гусарской дивизии 137
Георгий XII (1746—1800) — царь Картли-Кахетского царства 389, 448
Герасимов Иван Михайлович — заседатель Курганского окружного суда 216, 218, 290
Гербель Николай Васильевич (1827—1883) — поэт и переводчик 416
Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий писатель и философ 319
Геруа Александр Клавдиевич (1784 — 1852) — полковник, командир Гвардейского саперного батальона 127
Герцен Александр Александрович (1839—1906) 38
Герцен Александр Иванович (1812—1870) 33, 38, 53, 188, 417, 433
Герцен Ольга Александровна (1850—1953) 38
Гессе — кузнец 77
Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) 66, 274, 442
Гетте Г. — купец в Нарве 64
Гетте — жена Г. Гетте 414
Гетте Эрнст — хирург Обуховской больницы в Петербурге 77
Гиероглифов Александр Степанович (1825—1901) — журналист, редактор газеты «Русский мир» 41—43
Гирцель Соломон (1804—1877) — лейпцигский издатель и книгопродавец 38
Глебов Михаил Николаевич (1804—1851) — коллежский секретарь, член Северного общества 21, 28, 143, 171, 182, 210, 219, 259, 270
Глухов — подпоручик в Петропавловской крепости 206
Гнедич Николай Иванович (1784—1833) — поэт, переводчик 72
Голенищев-Кутузов Павел Васильевич (1772—1843) — кн., ген.-лейтенант, петербургский ген.-губернатор 152, 153, 198, 427, 430
Голицын Александр Николаевич (1773—1844) — кн., министр духовных дел и народного просвещения 119, 152, 190, 198, 425, 427, 430, 433
Голицын Валерьян Михайлович (1803—1859) — кн., камер-юнкер, член Северного общества 373, 383, 388, 445
Голицын Михаил Михайлович (1675—1730) — кн., ген.-фельдмаршал 212
Голицына (урожд. Нарышкина) Евдокия Михайловна (1790—1862) — кн., сестра М. М. Нарышкина 247
Головин Евгений Александрович (1782—1858) — ген.-майор, командир 4-й Гвардейской пехотной бригады, командир Отдельного Кавказского корпуса 14, 16, 125, 174, 351, 363, 387, 392, 426, 448
Головин Иван Гаврилович (1816—1890) — русский эмигрант, публицист 423
Головины — братья, офицеры л.-гв. Конногвард. полка 423
Головкин Михаил Гаврилович (1699—1755) — гр., вице-канцлер 205
Головкин Юрий Александрович (1762—1846) — гр., член Гос. совета 172
Горбачевский Иван Иванович (1800—1869) — подпоручик 8-й артиллерийской бригады, член Общества соединенных славян и Южного общества 186, 194, 426, 436, 439
Горский О. В.-см. Грабе-Горский Осип-Юлиан Викентьевич
Горчаков Петр Дмитриевич (1789—1868) — кн., ген.-губ. Западной Сибири 309, 318, 321
Гофман — жандармский полковник 313, 314
Граббе Павел Христофорович (1789—1879) — ген.-адъютант,

командующий войсками Кавказской линии, член Союза благоденствия 145, 155, 369, 383, 386, 387, 427, 432, 448
Грабе-Горский Осип-Юлиан Викентьевич (1766—1849) — отставной статский советник, находился среди восставших на Сенатской площади 14 декабря 1825 г. 270, 288, 443
Гребенник Никифор — слуга А. Е. Розена 335, 340, 342
Греч Николай Иванович (1787—1867) — писатель, журналист 59, 72, 430
Греч Павел Иванович (1797—1850) — поручик л.-гв. Финляндского полка 62, 71—73, 112, 116, 139, 422
Грибовские — братья, офицеры л.-гв. Финляндского полка 116
Грибовский Михаил Кириллович (р. 1786) — действ. статский советник, автор записки о тайных обществах 422
Грибовский Яков Кириллович — прапорщик л.-гв. Финляндского полка 81, 82
Грибоедов Александр Сергеевич (1795—1829) — 337, 364, 366, 447
Григорий — фельдшер 107
Гринфельд — подполковник, и. о. военного полицмейстера в Кавказском крае 356, 444
Громницкий Петр Федорович (1803—1851) — поручик Пензенского пехотного полка, член Общества соединенных славян 440
Гудим-Левкович Константин Иванович (1797—1852) — штаб-ротмистр Кавалергардского полка 141
Гуров — унтер-офицер л.-гв. Конно-Егерского полка 169
Гурьев Дмитрий Александрович (1751—1825) — гр., министр финансов 399
Гюго Виктор-Мари (1802—1885) 265
Давыдов Василий Львович (1792—1855) — отставной полковник, член Южного общества 204, 228, 238, 239, 242, 250, 435
Давыдова (урожд. Потапова) Александра Ивановна (1802—1895) — жена В. Л. Давыдова 222, 238, 243, 425
Дадиан — см. Дадиани
Дадиани Александр Львович (1801—1865) — кн., командир Эриванского карабинерного полка 353—355, 363, 445
Дадиани (урожд. Розен) Лидия Григорьевна (1817—1866) — кн., жена А. Л. Дадиани 335
Далматов — дьяк 410, 448
Данилевский Григорий Петрович (1829—1890) — писатель 26, 51, 52
Дантю (Ле-Дантю) К. П. — см. Ивашева Камилла Петровна
Дашков Дмитрий Васильевич (1788—1839) — литератор 201
Дебро Поль Эмиль (1796—1831) — французский поэт 447
Делингсгаузен Федор — эстляндский барон 70
Дельвиг Антон Антонович (1798—1831) 73, 447
Депрерадович Николай Иванович (1767—1843) — ген.-лейтенант, командир 1-го Резервного кавалерийского корпуса 92
Дерфельдт Антон Антонович (ум. 1830) — главный капельмейстер Гвард. корпуса 72
Дибич Иван Иванович (1785—1831) — ген.-адъютант, начальник Главного штаба 80, 151—153, 158, 245, 246, 361, 422, 427, 435, 440
Дивов Василий Абрамович (1806—1842) — мичман Гвардейского экипажа, участник восстания 14 декабря 1825 г. 157
Дидро Дени (1713—1784) — французский писатель, философ 388
Дитрих А. — пастор 379
Добринский Александр Александрович (ум. 1860) — поручик л.-гв. Финляндского полка, член Петербургской ячейки Южного общества 349

Добровольский Лев Михайлович (1900—1963) — литературовед 42
Добролюбов Николай Александрович (1836—1861) 24
Довмонт (Думантас) (ум. 1299) — псковский кн. 411
Долгорукая (Чернышева) — см. Долгорукова Надежда Григорьевна
Долгоруков Василий Андреевич (1804—1868) — кн., шеф жандармов и начальник III Отделения 432
Долгоруков Илья Андреевич (1798—1848) — кн., поручик 1-й Гвардейской артиллерийской бригады, член Союза благоденствия 198, 432
Долгоруков Петр Владимирович (1816—1868) — кн., эмигрант, публицист 416
Долгорукова (урожд. Чернышева) Надежда Григорьевна (1813—1853) — гр. 347
Донауров Михаил Иванович (1758—1817) — обер-секретарь Павла I 105
Дурасов — морской офицер 115
Дьячков Александр — отставной подканцелярист 437
Дюпре Сент-Мор Эмиль де (1772—1854) — французский писатель 60, 418

Евгений (Болховитинов Евфимий Алексеевич) (1767—1837) — митрополит киевский 130
Екатерина II Алексеевна (1729—1796) — имп. 102, 103, 251, 276, 278, 392, 393, 396, 405, 406
Елена Павловна (1806—1873) — вел. кн. 327
Елизавета (Вудвиль) (ум. 1488) — королева английская, жена Эдуарда IV 206
Елизавета Алексеевна (1779—1826) — имп., жена Александра I 92
Елизавета Петровна (1709—1761) — имп. 205, 234, 303, 324
Енохин Иван Васильевич (1791—1863) — придворный лейб-медик 291, 314, 316, 444
Ентальцев (Янтальцев) Андрей Васильевич (1788—1845) — полковник, командир 27-й конно-артиллерийской роты, член Южного общества 136, 221, 225, 246, 280, 290
Ентальцева (Янтальцева) (урожд. Лисовская) Александра Васильевна (ум. 1859) — жена А. В. Ентальцева 222, 226, 227, 239, 425, 440
Ермак Иван Тимофеевич (ум. 1584) — казачий атаман 277
Ермолаев Дмитрий Петрович — полковник л.-гв. Семеновского полка 419
Ермолов Алексей Петрович (1771—1861) — ген. от инфантерии, командующий Отдельным Кавказским корпусом 93, 136, 184, 216, 338, 351, 375, 386, 390, 422, 425
Ефремов Иван Ефремович (1774—1843) — ген.-майор л.-гв. Казачьего полка 79

Жадимеровский Петр Алексеевич (1791—1844) — петербургский домовладелец 115
Желтухин Петр Федорович (1777—1829) — ген.-лейтенант, начальник штаба Гвардейского корпуса 78, 84, 89, 90
Житомирская Сарра Владимировна — историк 44
Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — поэт, воспитатель Александра II 72, 150, 201, 291, 315, 316, 356, 415, 426, 444, 448
Журавлев Иван Федорович (1775—1842) — обер-прокурор Сената 171, 172

Заамен Шарлотта — гувернантка 62
Завалишин Дмитрий Иринархович (1804—1892) — лейтенант 8-го флотского экипажа, декабрист 18, 22, 27, 33, 46, 186, 234, 416, 426, 428, 436, 441, 442

Загорецкий Николай Александрович (1796—1885) — поручик квартирмейстерской части, член Южного общества 221, 236
Заиграев Федор Иванович — крестьянин 254
Заикин Николай Федорович (1801—1833) — подпоручик квартирмейстерской части, член Южного общества 157, 176, 285
Закревский Арсений Андреевич (1786—1865) — гр., ген.-лейтенант, член Гос. совета 172
Западворов Фавст Петрович — губернский секретарь 260
Заремба Ф. М. — см. Заремба-Калиновский Фелициан-Мартин
Заремба-Калиновский Фелициан-Мартин (1794— после 1857) — пастор 379
Засс Григорий Христофорович (1797—1883) — бар., ген. от кавалерии, командир правого фланга Кавказской линии 331, 369, 374—376, 378, 382, 447
Засс Корнилий Корнилиевич (1783—1857) — полковник, командир л.-гв. Коннопионерного эскадрона 131—132
Зильберштейн Илья Самойлович — литературовед 25
Злобин А. П. — нач. солеваренных заводов Якутской области 273, 274
Знаменский Стефан Яковлевич (1806—1877) — протоиерей 293, 319
Зорич Семен Гаврилович (1733—1799) — гр., ген.-лейтенант, фаворит Екатерины II 406
Зубов Валериан Александрович (1771—1804) — ген.-майор, главнокомандующий на Кавказе 390

Иван (Иоанн) IV Васильевич (Грозный) (1530—1584) — царь 324, 410
Иванов — капитан в Читинской тюрьме 219, 220
Иванова Ольга Ивановна (1830—1891) — дочь И. А. Аппенкова 441
Ивашев Василий Петрович (1794—1840) — ротмистр Кавалергардского полка, член Южного общества 256, 264, 438, 441
Ивашева (урожд. Ле-Дантю) Камилла Петровна (1803—1839) — жена В. П. Ивашева 242, 256, 438
Игельстром Константин Густавович (Евстафьевич) (1799—1851) — поручик Литовского пионерного батальона, член Общества военных друзей 239, 365, 439
Игнатьев Николай Александрович — штаб-ротмистр Конногвардейского полка 15, 243
Игнатьев Павел Николаевич (1797—1879) — капитан л.-гв. Преображенского полка 423
Инна — см. Боброва Анна (Инна) Андреевна
Ирина (Настасья) Качалиха — жительница Кургана 319, 444
Исаков — книгопродавец 47
Исаков Сергей Геннадьевич — литературовед 32, 35—37, 44
Искрицкий Демьян Александрович (1803—1831) — поручик Гвардейского ген. штаба, член Северного общества 360

К — см. Кобылецкий Юзеф
Кавелин Александр Александрович (1793—1850) — полковник л.-гв. Измайловского полка, впоследствии ген.-адъютант, член Союза благоденствия 109, 314, 317, 423, 432
Кавелин Константин Дмитриевич (1818—1885) — историк и правовед 188, 433
Казачковский П. С. — полковник, командир Мингрельского егерского полка 348
Казбеги — кн., братья 337, 445
Казбеги Михаил Габриэлевич (1805—1876) — кн. 445
Кази-Мулла (ум. 1832) — предводитель (имам) дагестанских горцев 361, 391

Калакуцкий Сергей Федорович — штабс-кап. л.-гв. Финляндского полка 117, 293, 294, 421
Канкрин Егор Францевич (1774—1845) — гр., министр финансов 180
Капцевич Петр Михайлович (1772—1840) — ген.-губернатор Западной Сибири 218
Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — 72, 97, 103, 183, 201, 410, 420
Карамзины 315
Карелин — заплечных дел мастер С.-Петербургской городской тюрьмы 431
Карл X (1757—1836) — французский король 255
Карл-Фридрих (1783—1853) — вел. герцог Саксен-Веймарский 114
Карнович — офицер 92
Карцов Владимир Геннадьевич (1904—1977) — историк 432
Карцов Петр Кондратьевич (1750—1839) — адмирал 260
Катенин Павел Александрович (1792—1853) — полковник, командир л.-гв. Преображенского полка, член Союза спасения 354
Катков Михаил Никифорович (1818—1887) — публицист и издатель 38
Каховский Петр Григорьевич (1797—1826) — отставной поручик, член Северного общества 5, 130, 165, 176, 180, 181, 194, 203, 424, 429, 430, 434
Кашкаров (Кошкаров) Николай Иванович — капитан л.-гв. Семеновского полка 74, 75, 419
Киреев Иван Васильевич (1802—1866) — прапорщик 8-й артиллерийской бригады, член Общества соединенных славян 236
Киселев Павел Дмитриевич (1788—1872) — ген.-лейтенант, начальник штаба 2-й армии 176, 184, 373, 425
Клечковский Эразм — ссыльный поляк 301
Клингер Фридрих (Генрих) — Максимилиан (Федор Иванович) (1753—1831) — ген.-майор, директор 1-го Кадетского корпуса 62, 65, 419
Кнооп Герман — торговец 132
Кнорринг Богдан Федорович (1746—1825) — ген. от инфантерии 77, 420
Кобылецкий Юзеф — поручик конной артиллерии 308, 444
Ковалевский Егор Петрович (1809 или 1811—1868) — писатель 33, 59, 191, 201, 433, 434
Кожевников Александр Львович — поручик л.-гв. Измайловского полка 127, 422, 423
Козлов — заплечных дел мастер С.-Петерб. тюрьмы 431
Колесники (Заднепрские) Емельян, Кирилл — братья, крестьяне 397
Колокотрони Федор (1770—1843) — деятель греческого национально - освободительного движения 356
Колошин Петр Иванович (1794—1849) — преподаватель Московского училища для колонновожатых, член Союза благоденствия 360, 432
Комаровский Евграф Федотович (1769—1843) — гр., ген.-адъютант, сенатор 14—16, 20, 125, 126, 131, 172, 424
Кондинские — иркутские купцы 283
Коновницын Алексей Петрович (ум. 1852) — гр., офицер, брат Е. П. Нарышкиной 314, 318
Коновницын Григорий Петрович — гр., офицер, брат Е. П. Нарышкиной 314, 318
Коновницын Петр Петрович (1764—1822) — гр., военный министр, отец Е. П. Нарышкиной 66, 412, 437
Коновницын Петр Петрович (1802—1830) — подпоручик Гвардейского ген. штаба, член Северного общества 335
Коновницына (урожд. Корсакова) Анна Ивановна (1769—1843) — гр., мать Е. П. Нарышкиной 226, 227, 412

Константин Павлович (1779—1831) — цесаревич, главнокомандующий польской армией и наместник Царства Польского 11, 12, 16, 66, 91, 102, 117, 119—121, 123, 124, 133, 136, 138, 184, 421, 427, 432, 442
Коробка А. М. 115
Коробка Максим Петрович (1763—1836) — вице-адмирал, командир 1-й бригады в Кронштадте 115
Корнилович (Без-Корнилович) Александр Осипович (1800—1834) — штабс-капитан Гвардейского ген. штаба, член Южного общества 184, 232, 234, 239, 264, 432, 438, 441
Коровкин Арсений Ермолаевич — ген.-майор, командир Чугуевского уланского полка 400
Корсакова А. И. — см. Коновницына Анна Ивановна
Кортес Эрнан (Фернандо) (1485—1547) — испанский конкистадор 390
Корф Евгений Иванович — барон, кадет, 68
Корф Иван Оттович — барон 64
Корф Модест Андреевич (1800—1876) — барон, историк, гос. деятель 33, 59, 117, 135, 417, 422, 424
Корф Николай Иванович — барон, подпоручик гвардейской конной артиллерии 65
Костюрин — кадет 66
Костюшко Тадеуш (1746—1817) — руководитель польского национально-освободительного восстания 1794 г. 301, 349, 444
Косяков Дмитрий — фельдфебель 2-й роты л.-гв. Преображенского полка 426
Котляревский Петр Степанович (1782—1854) — ген. от инфантерии, главнокомандующий на Кавказе 390
Коцебу Август-Фридрих-Фердинанд фон (1761—1819) — немецкий драматург 291—293, 363, 443
Коцебу Павел Евстафьевич (1801—1884) — полковник, начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса 383
Кочубей Виктор Павлович (1768—1834) — кн., председатель Гос. совета 285
Кошкуль Петр Иванович (1786—1852) — ген.-майор, член Союза благоденствия 91, 92, 211, 436
Краевский Андрей Афанасьевич (1810—1889) — журналист, редактор — издатель газеты «Голос» 41, 48, 51
Красенков Евдоким — крепостной Малиновских 440
Краснокутский Семен Григорьевич (ум. 1840) — обер-прокурор Сената, член Южного общества 270, 285
Красовский Андрей — рядовой л.-гв. Московского полка 423
Кривская А. А. — см. Розен Александра Александровна
Кривский П. Я. — тесть Ю. Е. Розена 325
Кривцов Сергей Иванович (1802—1864) — подпоручик гвардейской конной артиллерии, член Северного общества 193, 221, 224, 285, 373, 383, 437
Кридинер Иван Христофорович — прокурор в Тобольске 290
Крижановский Северин (1787—1839) — подполковник, деятель польского освободительного движения 208, 270, 290, 436
Кругликов И. Г. — см. Чернышев-Кругликов Иван Гаврилович
Крутов Андрей Иванович (1796—1860) — коллежский советник 313
Крылов Сергей Сергеевич — поручик л.-гв. Егерского полка 109
Крюков Александр Александрович (1794—1867) — поручик Кавалергардского полка, член Южного общества 233, 436
Крюков Николай Александрович (1800—1854) — прапорщик квартирмейстерской час-

ти, член Южного общества 233, 236, 436
Кудашев Михаил Федорович (1805—1827) — кн., подпоручик л.-гв. Московского полка 6
Кузнецов — курганский купец 293
Кузнецовы — иркутские купцы 283
Кузьмин Анастасий Дмитриевич (179?—1826) — поручик Черниговского пехотного полка, член Общества соединенных славян 137
Кук Джеймс (1728—1779) — англ. мореплаватель 206, 435
Кулаков — штабс-капитан Кавказского линейного отряда 330
Куломзин П. А. — плац-адъютант в Читинской тюрьме 219
Куницын Александр Петрович (1783—1840) — профессор Царскосельского лицея 234
Куприянов Павел Яковлевич — полковник л.-гв. Финляндского полка 113
Кусовников Алексей Михайлович (ум. 1853) — ген.-лейтенант 16
Кусовников Петр Петрович — капитан л.-гв. Финляндского полка 116
Кутайсов Павел Иванович (1780—1840) — гр., сенатор 172
Кутузов (Голенищев-Кутузов) Михаил Илларионович (1745—1813) 386
Кутузов П. В. — см. Голенищев-Кутузов Павел Васильевич
Кухтиков — унтер-офицер л.-гв. Финляндского полка 20
Кушников Сергей Сергеевич (1765—1839) — член Гос. совета 172
Кюстин Астольф де (1790—1857) — маркиз, французский писатель 60, 418
Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797—1846) — поэт, член Северного общества 129
Кюхельбекер Михаил Карлович (1798—1859) — лейт. Гвардейского экипажа, член Северного общества 21, 28, 131, 171, 210, 219, 225, 234, 258, 436

Лаваль Иван Степанович (Жан Франсуа) (1761—1846) — гр., отец Е. И. Трубецкой 274
Лавинский Александр Степанович (1776—1844) — ген.-губернатор Восточной Сибири 240, 269, 435
Лазарев Андрей Петрович (1788—1849) — офицер флота, впоследствии вице-адмирал 115
Лазарев Иван Петрович (ум. 1803) — ген.-майор, главнокомандующий на Кавказе 390
Ламартин Альфонс де (1791—1869) — французский поэт, историк и полит. деятель 82
Ламберт Карл Осипович (1772—1843) — гр., ген.-адъютант, сенатор 172
Ламздорф Николай Матвеевич (1803—1877) — гр., поручик л.-гв. Преображенского полка 109
Ланге — пастор 369, 378, 379, 386
Ланда Семен Семенович — историк и литературовед 434
Ланевские-Волк Владимир Владимирович и Михаил Владимирович — кадеты 68
Ланжерон Александр Федорович (1763—1831) — гр., ген. от инфантерии 173
Ланский Леонид Рафаилович — литературовед 54
Лапорт Жозеф де (1713—1769) — аббат, французский писатель 206, 435
Лаферронэ Пьер Луи-Август де (1777—1842) — гр., французский посол в России 431
Лебединский — главный военный штаб-лекарь в Пятигорске 370
Ле-Бретон Фанни — переводчица и литератор 39
Лебцельтерн (урожд. Лаваль) Зинаида Ивановна (р. 1805) —

сестра Е. И. Трубецкой 438
Левашов Василий Васильевич (1783—1848) — ген.-адъютант 19, 90, 121, 142, 143, 152, 164, 173, 198, 424, 427
Левюр Шарль-Луи (1770—1849) — французский писатель, журналист 60, 417, 418
Леопольд V (1157—1194) — герцог австрийский 357
Лепарский Осип Адамович (ум. 1876) — плац-майор Петровского Завода 242
Лепарский Станислав Романович (1754—1837) — ген.-майор, комендант Нерчинских рудников и Петровского Завода 203, 205, 220, 221, 229, 231, 269, 270, 387, 435, 440
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814—1841) 320, 337, 364, 366, 380, 444, 447, 448
Лесков Николай Семенович (1831—1895) 47
Лескович — помещица 82
Лескович Франсиска — дочь помещицы 82
Ливен Карл Андреевич (1767—1844) — кн., ген. от инфантерии, член Гос. совета 71, 90
Ливен Христофор Андреевич (1774—1838) — кн., посол России в Лондоне 90
Ливио — гамбургский банкир 302
Лилиенанкер — майор, начальник Секретного дома Алексеевского равелина Петропавловской крепости 428
Лисаневич Григорий Иванович — ген.-лейтенант, командир 2-й уланской дивизии 401
Лисовский Николай Федорович (1799—1844) — поручик Пензенского пехотного полка, член Общества соединенных славян 221, 260
Лихарев Владимир Николаевич (1800—1840) — подпоручик квартирмейстерской части, член Южного общества 31, 179, 221, 280, 289, 291, 292, 298, 300, 301, 305, 318, 437, 442, 443, 446
Лобанов-Ростовский Дмитрий Иванович (1758—1838) — кн., министр юстиции 172
Лонгинов Михаил Николаевич (1823—1875) — начальник Главного управления по делам печати 48, 103
Лонгинов Николай Михайлович (1775—1853) — статс-секретарь 103
Лопухин Петр Васильевич (1753—1827) — кн., председатель Гос. совета 172, 400
Лоре — врач Наполеона I 73
Лорер (урожд. Корсакова) Мария Ивановна — свояченица Н. И. Лорера 409
Лорер Николай Иванович (1795—1873) — майор Вятского пехотного полка, член Южного общества 31, 208, 291, 298, 299, 301, 305, 318, 409, 425, 441, 443, 445, 446
Лоскутов — нижнеудинский исправник 278, 443
Луи-Филипп (1773—1850) — французский король 361
Лунин Михаил Сергеевич (1787—1845) — подполковник л.-гв. Гродненского гусарского полка, член Северного и Южного обществ 33, 45, 50, 59, 92, 171, 231, 235, 241, 242, 244, 258, 265, 266, 416, 417, 420, 429, 430, 434, 438 439, 441, 442
Луцкий Александр Николаевич — унтер-офицер л.-гв. Московского полка 426
Люблинский Юлиан Казимирович (1798—1872) — член Общества соединенных славян 221, 439
Людовик XI (1423—1483) — французский король 206
Людовик XIV (1638—1715) — французский король 188
Людовик XVIII (1755—1824) — французский король 168
Людовик-Филипп — см. Луи Филипп
Люце Федор Иванович (1785—1866) — полковник л.-гв. Саперного батальона 110

Магницкий Михаил Леонтьевич (1778—1855) — попечитель Казанского учебного округа 190
Мазад Шарль де (р. 1821) — французский писатель и издатель 38, 39, 48
Мазепа Иван Степанович (1646—1709) — гетман Малороссии 404
Майборода Аркадий Иванович (ок. 1800—1844) — капитан Вятского пехотного полка, член Южного общества 120, 136, 137, 177, 422, 425
Майер Николай Васильевич (1806—1846) — врач 380, 448
Макаров — майор, начальник Кавк. линейного отряда 330
Максутов Петр — кн., почтмейстер в Перми 248
Малиновская Анна Васильевна — см. Розен Анна Васильевна
Малиновская Елизавета Васильевна (1793—1829) — сестра А. В. Розен 420
Малиновская Мария Васильевна — см. Вольховская Мария Васильевна
Малиновская (урожд. Пущина) Мария Ивановна (ум. 1844) — сестра И. И. Пущина, жена И. В. Малиновского 328, 445
Малиновская (урожд. Самборская) Софья Андреевна (1772—1812) — мать А. В. Розен 102
Малиновский Алексей Федорович (1762—1840) — начальник Московского архива Министерства иностр. дел 103, 298
Малиновский Андрей Васильевич (1805—1851) — поручик гвардейской конной артиллерии 397, 421
Малиновский Василий Федорович (1765—1814) — директор Царскосельского лицея, отец А. В. Розен 89, 101—103, 420, 421
Малиновский Иван Васильевич (1796—1873) — отставной полковник л.-гв. Финляндского полка 4, 31, 56, 79, 83, 93, 105, 107, 108, 116, 208, 327, 359, 383, 395, 397, 398, 421, 440, 445, 446
Малиновский Осип (Иосиф) Васильевич (1807—1832) — брат А. В. Розен 421
Малиновский Павел Федорович (1766—1832) — действ. статский советник 89, 93, 103, 105, 112, 207, 297, 421, 443
Мальгин Тимофей Семенович (1752—1819) — писатель 30, 422
Малютин Михаил Петрович — подпоручик л.-гв. Измайловского полка 148
Мандерштерн Август Егорович — полковник л.-гв. Павловского полка 89
Мантейфель Андрей Андреевич (1762—1832) — гр., эстляндский помещик 70, 71
Мантейфель — гр., жена А. А. Мантейфеля 71
Марин Аполлон Никифорович (1789—1873) — полковник л.-гв. Финляндского полка 69, 116
Мария Васильевна — см. Вольховская Мария Васильевна
Мария Павловна (1786—1859) — вел. кн. 114
Мария Федоровна (1759—1828) — имп., жена Павла I 78, 89, 99, 102
Марков Александр Иванович (1781—1844) — капитан Гвардейской артиллерии 72
Мармон Огюст-Фредерик Людовик Внесе де, герцог Рагузский (1774—1852) — французский маршал 341
Мартос Иван Петрович (ок. 1790—1842) — писатель 206, 435
Мартынов Андрей Ефимович (1768—1826) — художник 206, 435
Мартынов Павел Петрович (1782—1838) — ген.-майор, командир 3-й Гвардейской пехотной бригады 131, 162
Маслов — полковник, начальник VII округа корпуса жандармов 309

Маслов Семен — крепостной А. А. Самборской 440
Матасси — владелец гостиницы в Тифлисе 342, 345
Медведниковы — иркутские купцы 283
Мейендорф Александр Казимирович (1798—1865) — барон, штабс-капитан Гвардейского ген. штаба 75
Мейендорф Егор Федорович (1792—1879) — барон, полковник 71, 360, 419
Мейер — см. Майер Николай Васильевич
Меншиков Александр Сергеевич (1787—1869) — кн., адмирал, ген.-лейтенант 184, 432
Мердер Карл Карлович (1788—1834) — капитан, ротный командир в 1-м Кадетском корпусе 67
Местр Жозеф Мари де (1754—1821) — гр., французский писатель и философ 265
Меттерних Клемент Венцель Лотар (1773—1859) — кн., австрийский канцлер 75, 115, 184, 190
Мешкова-Малиновская Наталья Борисовна — художник 106, 345
Микулин Василий Яковлевич (1791—1844) — полковник, л.-гв. Преображенского полка 140, 146
Милдмей Эвелин Ст.-Джон — лондонский издатель 39
Миллер — эстляндский помещик 78, 79
Миллер К. П. — подпоручик л.-гв. Измайловского полка 148
Милорадович Михаил Андреевич (1771—1825) — гр., ген. от инфантерии, петербургский ген.-губернатор 97, 111, 119, 121, 129, 130, 417, 421
Миних Бурхардт Кристоф (Христофор Антонович) (1683—1767) — гр., ген.-фельдмаршал 291, 303
Минкина (Шумская) Анастасия Федоровна — наложница А. А. Аракчеева 448
Митрофан (Михаил) (1623—1703) — воронежский епископ 325—327, 404
Митьков Михаил Фотиевич (1791—1849) — полковник л.-гв. Финляндского полка, член Северного общества 89, 90, 116, 138, 143, 161, 162, 175, 233, 242
Михаил Николаевич (1832—1909) — вел. кн. 270, 286, 298
Михаил Павлович (1798—1849) — вел. кн. 105, 120, 129, 131, 135, 144, 146, 147, 151, 198, 419, 423—427, 442
Михайла — слуга А. Е. Розена 99, 160, 164
Михайлов Михаил Николаевич — почтмейстер в Нижнем Новгороде 248
Мозалевский Александр Евтихиевич (1803—1851) — прапорщик, участник восстания Черниговского пехотного полка 137, 239, 240
Мозган Павел Дмитриевич (1801—1843) — подпоручик Пензенского пех. полка, член Общества соединенных славян 232
Моисеев — унтер-офицер л.-гв. Московского полка 423
Мокеев — читинский мещанин 437
Моллер Александр Федорович (1796—1862) — полковник л.-гв. Финляндского полка 8, 11, 12, 122, 124, 134, 139, 425
Мордвинов Александр Николаевич (1796—1869) — управляющий III Отделением 383
Мордвинов Николай Семенович (1754—1845) — гр., сенатор, член Гос. совета 100, 115, 123, 136, 184, 225, 422, 425
Мореншильд Александр Иванович — прапорщик л.-гв. Финляндского полка 206
Мортье Эдуард-Адольф-Казимир-Жозеф, герцог Тревизский (1768—1835) — французский маршал 182, 431
Мошинский Петр Игнатьевич — гр., директор Польского тайного общества 208, 270, 289, 304, 436

Музовский Николай Васильевич (ум. 1848) — священник л.-гв. Финляндского полка 18, 107
Муравьев Александр Михайлович (1802—1853) — корнет Кавалергардского полка, член Северного общества 7, 9, 22, 45, 180, 193, 208, 225, 232, 436
Муравьев I-й Александр Николаевич (1792—1863) — отставной полковник, член Союза благоденствия 248, 270, 275, 286, 287, 309, 426, 444
Муравьев Артамон Захарович (1794—1846) — полковник Ахтырского пехотного полка, член Южного общества 136, 180, 185, 194, 204, 228, 242, 261, 263, 277, 435, 437, 441, 442
Муравьев Михаил Николаевич (1796—1866) — министр государственных имуществ, член Союза благоденствия 432
Муравьев Никита Михайлович (1796—1843) — капитан Гвардейского ген. штаба, член Северного общества 29, 45, 59, 90, 180, 193, 194, 208, 225, 232-234, 416, 436, 437
Муравьев Николай Николаевич (1768—1840) — ген.-майор, основатель Училища для колонновожатых 180
Муравьев (Карский) Николай Николаевич (1794—1866) — ген. от инфантерии 267
Муравьева (урожд. Чернышева) Александра Григорьевна (1804—1832) — жена Н. М. Муравьева 222, 225—227, 243, 256, 258, 264, 268, 347, 437, 440
Муравьева Екатерина Федоровна (урожд. Колокольцова) (1771—1848) — баронесса, мать А. М. и Н. М. Муравьевых 225, 227, 445
Муравьева (урожд. Чернышева) Наталья Григорьевна (1806—1888) — гр., сестра А. Г. Муравьевой и З. Г. Чернышева 247
Муравьева (урожд. Шаховская) Прасковья Михайловна (1790—1835) — жена А. Н. Муравьева 275
Муравьев-Апостол Иван Матвеевич (1762—1851) — сенатор, отец М. И. и С. И. Муравьевых-Апостолов 422, 430
Муравьев-Апостол Ипполит Иванович (1806—1826) — прапорщик квартирмейстерской части, член Южного общества 137, 425
Муравьев-Апостол Матвей Иванович (1793—1886) — отставной подполковник, член Южного общества 27, 137, 180, 239, 325, 445
Муравьев-Апостол Сергей Иванович (1796—1826) — подполковник Черниговского пехотного полка, член Южного общества 103, 137, 165, 176, 179—181, 193, 208, 239, 325, 429—431
Муравьева-Апостол Е. И. — см. Бибикова Екатерина Ивановна
Мусин-Пушкин Иван Алексеевич (1783—1836) — гр., ген.-майор 291, 304, 305
Муханов Петр Александрович (1799—1854) — штабс-капитан л.-гв Измайловского полка, член Союза благоденствия 234, 265, 426, 442, 447
Мысловский Петр Николаевич (1777—1846) — протоиерей Казанского собора 168, 176, 179, 181, 211, 232, 428, 430, 445
Мюрат Иоахим (1767—1815) маршал Франции 376
Мясников — владелец перевозных судов на Байкале 269

Назимов Владимир Иванович (1802—1874) — полковник, родственник М. А. Назимова 317
Назимов Михаил Александрович (1801—1888) — штабс-капитан л.-гв. Конно-пионерного эскадрона, член Северного общества 31, 47—49, 52, 53, 155,

175, 180, 182, 204, 280, 291, 296, 298, 300, 305, 308, 310, 317, 318, 332, 373, 411, 416, 427, 430, 445, 446, 447
Нарышкин Кирилл Михайлович — полковник, брат М. М. Нарышкина 298
Нарышкин Михаил Михайлович (1796—1863) — полковник Тарутинского пехотного полка, член Северного общества, 31, 208, 291, 298, 300, 305, 318, 319, 326, 373, 383, 414, 443, 446
Нарышкина Е. М.— см. Голицына Евдокия Михайловна
Нарышкина (урожд. Коновницына) Елизавета Петровна (1801—1867) — жена М. М. Нарышкина 31, 222, 226, 243, 250, 256, 258, 261, 291, 299, 300, 314, 316, 318, 319 335, 409, 412, 437
Наполеон I Бонапарт (1769—1821) 63, 73, 75, 118, 177, 202, 288, 290, 415, 419, 420, 429, 431, 448
Насакин Яков Густавович — прапорщик л.-гв. Финляндского полка 123, 125
Насакины — братья, офицеры, л.-гв. Финляндского полка 116
Настасья — см. Ирина (Настасья) Качалиха
Настенька — см. Пущина Анастасия Кондратьевна
Невелев Геннадий Абрамович — историк 16, 48, 57
Нейдгардт Александр Иванович (1784—1845) — ген. от инфантерии, начальник штаба Гвардейского корпуса, командир Отдельного Кавказского корпуса 141, 351, 360
Неклюдов Николай Андрианович (1840—1896) — владелец типографии в Петербурге 41, 42
Неклюдова Варвара — свояченица В. Н. Шеншина 98
Некрасов Николай Алексеевич (1821—1877) 38, 47, 49—51, 53, 408, 440
Нестеров П. П. — подполковник, командир Кавказского линейного батальона 333, 334
Нестеровский Авим Васильевич (1780—1830) — полковник, командир 1-й Гвардейской артиллерийской бригады 128, 130, 424
Нефедьев Никита — солдат в Петропавловской крепости 428
Нечаев — урядник 442
Нечкина Милица Васильевна — историк 12, 15, 17, 422—424
Никитин Виктор Никитич (р. 1839) — публицист 42, 43
Никифор — см. Гребенник Никифор
Николаев — кап., плац-адъютант Петропавловской крепости 135, 149, 156, 161, 162, 164, 170, 172, 176, 208, 210
Николай I Павлович (1796—1855) — имп. 12, 14, 19, 21, 48, 50, 59, 60, 73, 78, 92, 99, 100, 107, 108, 119-121, 124, 135, 136, 138, 162, 182, 186, 187, 196, 216, 287, 338, 364, 375, 387, 400, 404, 417, 418, 421-427, 429-433, 437, 439, 444-447
Никон (Никита Минов) (1605—1681) — патриарх московский 252
Норов Василий Сергеевич (1793—1853) — отставной подполковник, член Южного общества 92
Ностиц Григорий Иванович (1781—1838) — гр., ген.-адъютант 373

Оберлин — пастор 386
Оболенский Евгений Петрович (1796—1865) — кн., поручик л.-гв. Финляндского полка, член Северного общества 4—10, 20, 23, 28, 33, 34, 53, 59, 121-123, 128, 129, 134, 136, 138, 153, 154, 163, 167, 171, 173, 178, 188, 189, 191, 195, 200, 202-204, 228, 232, 235, 264, 268, 416, 417, 422, 425, 428, 431, 433-435, 438, 441

Огарев Николай Платонович (1813—1877) 33, 38, 417
Одоевский Александр Иванович (1802—1839) — кн., корнет л.-гв. Конного полка, член Северного общества 29, 52, 162, 234, 258, 264, 315, 329, 332, 337, 343, 364, 366, 367, 373, 380, 422, 427, 428, 438, 441, 445—447
Одоевский Иван Сергеевич (1769—1839) — кн., ген.-майор, отец А. И. Одоевского 258
Озерский Аникита Дмитриевич — племянник Н. А. Назимова 308
Ознобишин Николай Ильич — прапорщик л.-гв. Финляндского полка 116
Окунь Семен Бенционович (1908—1972) — историк 420, 438, 442
Оленин Алексей Николаевич (1763—1843) — гос. секретарь, президент Академии художеств 59, 360
Ольшевский Марциал Матвеевич (1796—1866) — полковник штаба Отд. Кавк. корпуса 375
Опперман Александр Карлович — гр., подполковник, командир Грузинского гренадерского полка 445
Опперман Карл Иванович (1766—1831) — гр., инженер-ген. 172
Оранский, принц — см. Вильгельм, принц Оранский
Орлов Алексей Григорьевич (1737—1808) — гр., ген.-аншеф 215, 436
Орлов Алексей Федорович (1786—1861) — ген.-адъютант, шеф жандармов и главный начальник III Отделения 73, 100, 128, 135, 328, 355, 420, 431, 432, 445
Орлов Григорий Григорьевич (1734—1783) — гр., ген.-фельдцейхмейстер 202
Орлов Михаил Федорович (1788—1842)—ген.-майор, член Союза благоденствия 123, 160, 184, 194, 422, 431, 432, 435
Орлов-Денисов Василий Васильевич (1776—1843) — гр., ген.-адъютант 372
Офросимов Константин Павлович — полковник л.-гв. Финляндского полка 69

Павел I Петрович (1754—1801) — имп. 77, 101, 102, 218, 278, 293, 389, 400, 434, 436, 448
Палафокс-и-Мельси Хосе, герцог Сарагосский (1776—1847) — ген., участник освоб. войны испанского народа 321, 445
Пален (урожд. Чернышева) Вера Григорьевна (р. 1808) — гр., сестра А. Г. Муравьевой и З. Г. Чернышева 247
Пален Петр Алексеевич фон дер (1745—1826) — гр., участник дворцового переворота 1801 г. 202
Палицын Михаил Яковлевич — полковник, командир л.-гв. Финляндского полка 69, 80, 81, 93
Паллас Петр-Симон (1741—1811) — путешественник и естествоиспытатель 251, 440
Панов Николай Алексеевич (1803—1850) — поручик л.-гв. Гренадерского полка, член Северного общества 127, 423
Панютин — ген. 395
Паскаль Блез (1623—1662) — французский математик, физик, философ 211
Паскевич Иван Федорович (1782—1856) — ген.-фельдмаршал, командующий Отдельным Кавказским корпусом 78, 84, 99, 172, 359, 361, 390, 404, 446
Пауль — преподаватель Нарвского народного училища 414
Перовский Василий Алексеевич (1795—1857) — гр., полковник л.-гв. Измайловского полка, адъютант Николая I 140, 367
Перовский Лев Алексеевич (1792—1856) — министр внутренних дел и уделов, член

Союза благоденствия 198, 432
Перикл (ок. 490—429 до н. э.) — стратег Афин 214, 356
Перский Михаил Степанович (1776—1832) — ген.-майор, инспектор, директор 1-го Кадетского корп. 62, 66—69, 112, 419
Песталоцци Иоганн Генрих (1746—1827) — швейцарский педагог 224, 225, 311
Пестель Павел Иванович (1793—1826) — полковник, командир Вятского пехотного полка, член Южного общества 45, 53, 123, 136, 137, 155, 157, 165, 166, 176, 177, 181, 192-195, 200, 266, 285, 425, 429, 430
Пестов Александр Семенович (1802—1833)—подпоручик 2-й артиллерийской бригады, член Общества соединенных славян 436
Петерсон — пастор 377
Петерсон Иван Федорович (1783—1875) — ген.-лейт., начальник Омской обл. 306, 307
Петр I Алексеевич (1672—1725) — царь, имп. 73, 75, 212, 291, 303, 326
Петр III Петрович (1728—1762) — имп. 293, 303, 434
Петрашевский — см. Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич
Петров Афанасий Петрович — крестьянин 218, 284, 436
Писарро Франсиско (ок. 1471—1541) — исп. конкистадор 390
Платов Матвей Ив. (1751—1818) — атаман Донского казачьего войска 386
Плещеева (ур. Веригина) Наталья Федотовна — посаженая мать на свадьбе А. В. и А. Е. Розен 112
Плутарх (ок. 46—126) — древнегреческий писатель 344
Повало-Швейковский Иван Семенович (1790—1845) — полковник Саратовского пехотного полка, член Южного общества 194, 231, 232, 238, 242
Повало-Швейковский Христофор Христофорович (1789—1848) — тобольский гражданский губернатор 309, 444
Повало-Швейковский Александр Миронович — штабс-капитан л.-гв. Финляндского полка 116
Поджио Александр Викторович (1798—1873) — отставной подполковник, член Южного общества 223, 416, 436
Поджио Иосиф Викторович (1792—1848) — отставной штабс-капитан, член Южного общества 193, 301, 434, 442
Подобедов Петр Сергеевич — полковник л.-гв. Финляндского полка 78
Подушкин Егор Михайлович — полковник, плац-майор Петропавловской крепости 148, 176
Полевой Николай Алексеевич (1796—1846) — журналист, писатель 367
Поливанов Иван Юрьевич (1797—1826) — отставной подполковник, член Петербургской ячейки Южного общества 145
Польман Василий Петрович — капитан л.-гв. Павловского полка 173
Попов — полковник Отдельного Кавказского корпуса 93
Потапов Александр Львович (1818—1886) — ген.-адъютант, главноуправляющий III Отделения 50, 427
Потапов Алексей Николаевич (1772—1847) — ген.-лейтенант, дежурный ген. Главного штаба 152, 198, 230, 436
Потемкин — бывший полковник, монах 326
Потемкин Александр Михайлович (1790—1872) — помещик 396
Потемкин Яков Алексеевич (1778—1831) — гр., ген.-адъютант, командир л.-гв. Семеновского полка, начальник 2-й

Гвардейской дивизии 73, 74, 78, 111
Потемкин-Таврический Григорий Александрович (1739—1791) — кн., ген.-фельдмаршал 103, 396
Потемкина (урожд. Голицына) Татьяна Борисовна (1802—1869) — жена А. М. Потемкина 396
Прасковья Егоровна — см. Анненкова Полина Егоровна
Предтеченский Анатолий Васильевич (1893—1966) — историк 443
Прибель Иван Антонович — доктор хирургии 363
Принц — подполковник, командир 3-го Кавказского линейного батальона 369, 381
Протасов Иван Яковлевич — штабс-капитан л.-гв. Финляндского полка 116
Пулавский Антоний — ссыльный поляк 304
Пушкин Александр Сергеевич (1799—1837) — 262, 337, 361, 366, 367, 427, 446
Пущин Иван Иванович (1798—1859) — судья Московского надворного суда, член Северного общества 5, 6, 8, 11, 13, 14, 23, 33, 53, 59, 101, 125, 140, 172, 173, 238, 416, 426, 434, 436, 438, 445
Пущин Михаил Иванович (1800—1869) — капитан л.-гв. Коннопионерного эскадрона, участник восстания 14 декабря 1825 г. 174, 426, 436, 446
Пущин Николай Николаевич (1792—1848) — полковник л.-гв. Егерского полка 92
Пущина (урожд. Рылеева) Анастасия Кондратьевна (1820—1890) — дочь К. Ф. Рылеева 175
Пыпин Александр Николаевич (1833—1904) — историк и литературовед 40

Радекер — ректор Нарвского народного училища 62, 63, 83
Раевский—ссыльный поляк 301
Раевский — офицер л.-гв. Преображенского полка 380
Раевский Владимир Федосеевич (1795—1872) — майор 32-го егерского полка, член Союза благоденствия и Южного общества 144, 430
Раевский Николай Николаевич (1771—1829) — ген. от кавалерии, отец М. Н. Волконской 229, 422
Раевский Николай Николаевич (1801—1843) — полковник, командир Нижегородского драгунского полка 144, 147, 158, 342, 432, 445, 446
Ребиндер (урожд. Трубецкая) Александра Сергеевна (1830—1860) — дочь С. П. Трубецкого 256
Ребиндер Николай Романович (1810—1869) — кн., кяхтинский градоначальник, зять С. П. Трубецкого 256
Рейнбот Фридрих-Тимофей (1781—1837) — пастор церкви св. Анны в Петербурге 158, 168, 177, 430
Рейхардт — мастер-каретник 247, 248, 319
Реомюр Рене-Антуан (1683—1757) — французский естествоиспытатель 204, 435
Репин Николай Петрович (1796—1831) — шт.-кап. л.-гв. Финляндского полка, член Северного общества 5—12, 14, 16—18, 20, 21, 28—30, 107, 116, 121, 122, 139—141, 154, 171, 175, 208, 210, 215, 219, 236, 242, 260, 422, 438
Репнин (Репнин-Волконский) Николай Григорьевич (1778—1845) — ген.-лейт., малороссийский ген.-губернатор 404
Рихтер Борис Христофорович (ум. 1832) — ген.-майор, командир л.-гв. Финляндского полка 69, 93
Ричард I (Львиное сердце) (1157—1199) 357
Родофиникин Константин Константинович (1760—1838) — директор азиатского департа-

мента Министерства иностранных дел 420
Рожер Карл Христианович — врач в Пятигорске 369, 371, 380, 382, 384—386, 388
Розен (урожд. Витгенштейн, по первому мужу — Кривская) Александра Александровна — жена Ю. Е. Розена 325
Розен (урожд. Малиновская) Анна Васильевна (1797—1883) — баронесса, жена А. Е. Розена 4, 30, 31, 53, 83, 104, 105, 108, 160, 206, 249, 351, 420, 440
Розен Василий Андреевич (1832 — не позднее 1899) — барон, подполковник гвардейской Конной артиллерии, сын А. Е. Розена 289, 393, 412
Розен (урожд. Сталь фон Гольштейн) Варвара Элен (1768—1826) — баронесса, мать А. Е. Розена 71, 419
Розен Владимир Андреевич (1834 — не позднее 1899) — барон, сын А. Е. Розена 415, 444
Розен Владимир Евгеньевич (1786 — не позднее 1870) — барон, отставной артиллерийский полковник, брат А. Е. Розена 71, 77, 406
Розен Владимир Иванович (ум. 1790) — барон, ген.-лейтенант, отец Г. В. Розена 393
Розен Григорий Владимирович (1782—1841) — барон, граф, ген.-лейтенант, командир 1-й гвардейской дивизии, командир Отдельного Кавказского корпуса 31, 78, 216, 305, 337, 341, 350, 352, 359, 361—363, 376, 390, 391, 420, 444, 445
Розен Евгений Андреевич (1826 — не позднее 1899) — барон, штаб-ротмистр л.-гв. Уланского полка, сын А. Е. Розена 21, 234, 247, 329, 343, 382, 428, 438, 446
Розен Евгений-Октавий (1759—1834) — барон, отец А. Е. Розена 3, 419, 444
Розен Инна (Анна) Андреевна — см. Боброва Инна (Анна) Андреевна
Розен Кондратий Андреевич (1831 — не позднее 1899) — барон, штабс-капитан гвардейской артиллерии, сын А. Е. Розена 234, 261, 268, 289, 284, 386
Розен Леонид Евгеньевич — барон, внук А. Е. Розена 55, 56
Розен Михаил Карлович (1796—1873) — барон, капитан Кавалергардского полка 92
Розен Отто Евгеньевич (1785—1882) — барон, брат А. Е. Розена 62, 65, 70, 71, 77, 95, 146, 207
Розен Софья Андреевна (3.IV. 1839 — 10.IV.1839) — баронесса, дочь А. Е. Розена 384
Розен Федор Федорович (1767—1851) — барон, ген.-майор 65
Розен Юлий Евгеньевич (р. 1807) — барон, ген.-майор, брат А. Е. Розена 207, 324
Розенберг Василий Васильевич — поручик, плац-адъютант в Чите и Петровском Заводе 249
Розин Иван Петрович — курганский чиновник 292
Ростовцев Яков Иванович (1803—1860) — поручик л.-гв. Егерского полка, впоследствии начальник штаба военно-учебных заведений 99, 136, 165, 187, 188, 425, 433
Ртищевы — братья, офицеры л.-гв. Финляндского полка 116
Рукевич Михаил Иванович — член Общества военных друзей 439
Румянцев Павел Петрович — поручик л.-гв. Финляндского полка 85
Румянцев (Задунайский) Петр Александрович (1725—1796) — гр., ген.-фельдмаршал 404
Руссо Жан Жак (1712—1778) 338
Рылеев Кондратий Федорович (1795—1826) — отставной под-

поручик, член Северного общества 4—13, 17, 23, 24, 29, 30, 53, 59, 73, 121—124, 133, 136, 138, 153, 154, 165—167, 173, 175—178, 181, 194, 195, 198, 200, 206, 268, 366, 416, 422, 428—430, 434, 441, 442

Савицкий (Савицки) Людвик — ссыльный поляк 301
Сазонов Николай Гаврилович (р. 1782) — ген.-адъютант, ген.-майор 162
Сазонов Николай Иванович (1815—1862) — русский эмигрант, публицист 33
Саксен-Веймарский герцог — см. Карл-Фридрих
Сакен (Остен-Сакен) Дмитрий Ерофеевич (1789—1881) — барон, ген.-лейтенант, начальник штаба Отдельного Кавказского корпуса 361, 446
Салтыков Петр Семенович (1698—1772) — гр., ген.-фельдмаршал 103
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826—1889) 43
Самборская Анна Андреевна (1770 — не ранее 1843) — тетка А. В. Розен 93, 103, 207, 243, 328, 343, 355, 395, 440
Самборский Андрей Афанасьевич (1740—1815) — отец А. А. Самборской 89, 102, 103, 328, 421
Сангушко Роман Евстафьевич (1800—1881) — кн., корнет Кавалергардского полка, участник польского восстания 1830—1831 гг. 270, 290
Сапега Леон Людвиг (1802—1878) — первый маршалек Сейма в Галиции, после 1831 г. эмигрант 405
Саргер Иван Иванович (ум. 1828) — штабс-капитан л.-гв. Финляндского полка 70, 84, 85, 88, 116, 161
Свистунов Петр Николаевич (1803—1889) — корнет Кавалергардского полка, член Петербургской ячейки Южного общества 6, 27, 38, [illegible], 46, 198, 233, 236, 416, 421, 422, 429, 436, 439—443
Седов — почтальон 248
Сей Жан Батист (1767—1832) — франц. экономист 117
Семевский Михаил Иванович (1837—1892) — историк, редактор «Русской старины» 26, 40, 47, 52, 53, 103, 389, 416, 418, 424, 428, 441
Семенов Степан Михайлович (1789—1852) — титулярный советник, член Северного общества 193, 360
Семичев Николай Николаевич (ок. 1792 — не позднее 1830) — ротмистр Ахтырского гусарского полка, член Южного общества 445
Сент-Альдегонд де — ген., путешественник 309
Сент-Лоран де Василий Иванович — ген.-лейтенант, начальник Омской области 308
Сенявин Дмитрий Николаевич (1763—1831) — гр., ген.-адъютант, член Гос. совета 172
Серафим (Глаголевский Степан Васильевич) (1757—1843) — петербургский митрополит 130
Симборский Валентин Михайлович — полковник, военный комендант Пятигорска 69, 369, 382, 383
Сипягин Николай Мартемьянович (1785—1828) — ген.-лейтенант, нач. штаба Гвардейского корпуса 68, 111, 134
Сисмонди Жан Шарль де (1773—1843) — швейцарский экономист и теоретик 443
Скотт Вальтер (1771—1832) 206, 435
Скржинецкий Ян (1787—1860) — ген., главнокомандующий польской армией в 1830 г. 290
Смит (урожд. Шарон-Лароз, по второму мужу — Паскаль) Мария Николаевна — подруга А. В. Розен 207
Смольянинов Семен Ивано-

вич — начальник Нерчинских заводов, пристав Читинского острога 224
Соколов — фейерверкер в Петропавловской крепости 156—158, 162, 165, 169, 176, 178, 179, 180, 206, 208
Соколов — екатеринбургский купец 295
Соколовский Михаил Матвеевич (р. ок. 1756) — композитор 446
Соловьев Вениамин Николаевич (1801—1866 или 1871) — барон, штабс-капитан Черниговского пехотного полка, член Общества соединенных славян 137, 239, 240
Соловьев Михаил Петрович (1842—1901) — начальник Главного управления по делам печати 55
Софья Алексеевна (1657—1704) — царевна, правительница России 324
Сохатский Ф. П. — полковник ген штаба 388
Спафарьев Леонтий Васильевич — ген.-майор, директор службы маяков Финского залива 143
Сперанский Михаил Михайлович (1772—1839) — член Гос. совета, редактор документов Верховного уголовного суда 45, 103, 123, 136, 172, 184, 201, 203, 277, 422, 425, 434, 435, 442
Спиридов Михаил Матвеевич (1796—1854) — майор Пензенского пехотного полка, член Общества соединенных славян 436, 438
Сталь фон Гольштейн — см. Розен Варвара Элен
Старцов Иван Васильевич — купец в Красноярске 217, 218, 284, 436
Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — историк, редактор-издатель «Вестника Европы» 40, 418
Степанов — унтер-офицер л.-гв. Финляндского полка 20
Степанов Александр Петрович (1781—1837) — енисейский гражданский губернатор 248
Степанов Иван Якимович — городничий в Каинске 216, 436
Столыпин Аркадий Алексеевич (1778—1825) — сенатор 422
Стрекалов Степан Степанович (1782—1865) — ген.-адъютант, ген.-майор л.-гв. Измайловского полка 162
Строганов Григорий Александрович (1770—1857) — барон, член Гос. совета 172
Строганов Сергей Георгиевич (1794—1882) — гр., ген.-майор л.-гв. Гусарского полка 100, 420
Стюрлер Анатолий Карлович (ум. 1825)—полковник, командир л.-гв. Гренадерского полка 130
Суворов Александр Аркадьевич (1804—1882) — кн., ген. от инфантерии 354, 432
Суворов (Рымникский) Александр Васильевич (1729—1800) — кн., генералиссимус 66, 401
Сукин Александр Яковлевич (1765—1837) — ген.-адъютант, комендант Петропавловской крепости 21, 210, 260
Сулима Николай Семенович (1777—1840) — ген.-лейтенант, ген.-губернатор Западной Сибири 309
Сутгоф Александр Николаевич (1801—1872)—поручик л.-гв. Гренадерского полка, член Северного общества 15, 127, 242, 422, 423
Суханов — офицер л.-гв. Павловского полка (?) 109, 421
Сухинов Иван Иванович (1797—1828) — поручик Александрийского гусарского полка, член Общества соединенных славян 137, 205, 222, 238, 439
Сухозанет Иван Онуфриевич (1788—1861) — ген.-майор,

начальник артиллерии Гвардейского корпуса 129, 308
Сухоруков Василий Дмитриевич (ок. 1795—1841) — сотник Донского казачьего войска, историк 438
Сыроечковский Борис Евгеньевич (1881—1961) — историк 28
Талызин Михаил Иванович — преподаватель 1-го Кадетского корпуса 67
Татищев Александр Иванович (1762—1833) — гр., ген. от инфантерии, военный министр 21, 151, 156, 198, 426
Тецель Иоганн (ок. 1465—1519) — доминиканский монах 188
Тизенгаузен — гр., жительница Ревеля 71
Тизенгаузен — гр., эстляндский помещик 85
Тизенгаузен Богдан Карлович — полковник, адъютант А. А. Аракчеева, брат В. К. Тизенгаузена 402, 448
Тизенгаузен Василий Карлович (1781—1857) — полковник, командир Полтавского пех. полка, член Южного общества 136, 194, 221, 280, 437
Тимашев Александр Егорович (1818—1893) — ген.-адъютант, министр внутренних дел 41, 50
Тимковский — ротмистр 141
Тимофеев Тимофей Тимофеевич — квартальный надзиратель в Кургане 320, 325—327, 334, 335, 344, 345
Тимощук Вера Васильевна (р. 1853) — библиограф, журналистка 47, 52, 418
Титов Николай Александрович — капитан л.-гв. Преображенского полка 125, 423
Токарев Иван Алексеевич — гражданский губернатор Томской губ. 286
Толстая (урожд. Берс) Софья Андреевна (1844—1919) — жена Л. Н. Толстого 47
Толстой Владимир Сергеевич (1806—1888) — прапорщик л.-гв. Московского полка, член Московской ячейки Южного общества 25, 44, 221, 239, 416, 437, 439, 445-447
Толстой Лев Николаевич (1828—1910) 47
Толстой Петр Александрович (1769—1844) — ген. от инфантерии, член Гос. совета 172
Толь Карл Федорович (1777—1849) — барон, ген.-лейтенант, начальник Главного штаба 1-й армии 130, 143, 424
Томич — начальник конной батареи 325
Торсон Константин Петрович (ок. 1790—1851) — капитан-лейтенант, адъютант начальника Морского штаба, член Северного общества 131, 236, 243, 258, 263, 264, 269, 276, 424, 436, 438
Траскин Александр Семенович (1803—1855) — подполковник Гвардейского штаба 383, 384
Трескин Николай Иванович (1763—1842) — иркутский губернатор 281
Трофимов — солдат в Петропавловской крепости 179, 180
Трощинский Дмитрий Прокофьевич (1754—1829) — министр уделов 421
Трубецкая (урожд. Лаваль) Екатерина Ивановна (1800—1854) — кн., жена С. П. Трубецкого 47, 222, 228—230, 243, 256, 258, 260, 271, 274, 437, 438
Трубецкой Сергей Петрович (1790—1860) — кн., полковник л.-гв. Преображенского полка, член Северного общества 5, 7, 8, 14, 23, 29, 125, 144, 194, 196, 204, 228, 233, 242, 243, 256, 326, 425, 429, 435, 437, 438, 448
Тулубьев Алексей Дмитриевич — капитан л.-гв. Финляндского полка 139
Тулубьев Александр Никитич — полковник л.-гв. Финляндского полка 8, 10—12, 14, 126, 128

Тулубьева М. Ф. — жена А. Н. Тулубьева 112
Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) 47
Тургенев Николай Иванович (1789—1871) — действ статский советник, член Союза благоденствия и Северного общества 59, 184, 189—192, 196, 197, 200, 202, 302, 417, 433
Турчанинов Николай Степанович (1796—1863) — ботаник 403
Тучкова-Огарева Наталья Алексеевна (1829—1913) — жена Н. П. Огарева 38
Тышкевич—гр., гродненский помещик 81
Тэер Альбрехт Даниель (1752—1828) — немецкий ученый-агроном 305, 362
Тютчев Алексей Иванович (1800—1856) — капитан Пензенского пехотного полка, член Общества соединенных славян 233, 445
Уваров Федор Александрович (1780—1827)—полковник Кавалергардского полка, действ. статский советник 92

Уваров Федор Петрович (1773—1824) — гр., ген.-адъютант, командующий Гвардейским корпусом 76
Уварова (урожд. Лунина) Екатерина Сергеевна (р. 1791) — гр., сестра декабриста М. С. Лунина 430
Устрялов Николай Герасимович (1805—1870) — историк 135, 425
Ухтомская — княжна 383
Ухтомский Александр Иванович — кн., штабс-капитан л.-гв. Финляндского полка 69, 116

Фабер — домашний учитель 79
Фаленберг Петр Иванович (1791—1873) — подполковник квартирмейстерской части, член Южного общества 50, 55, 158, 232, 236, 427, 439, 441, 442
Фалькенберг Николай Яковлевич — ген.-майор, начальник VIII округа корпуса жандармов 309
Федоров Василий Федорович (1802—1855) — астроном 309
Фе Г. Ф — офицер штаба Отдельного Кавк. корпуса 355
Фелленберг Филипп-Эммануил (1771—1844) — швейцарский педагог 224, 311
Фервен Павел Карлович (1800—1884) — гр., поручик Кавалергардского полка 71
Филарет (Василий Михайлович Дроздов) (1783—1867) — московский митрополит 94, 120
Филипп II (1527—1598) — испанский король 324
Фишер — капельмейстер Гвардейского корпуса 72
Фонвизин Иван Александрович (1790—1835) — оставной полковник, член Союза благоденствия 445
Фонвизин Михаил Александрович (1788—1854) — ген.-майор, член Северного общества 33, 166, 193, 194, 238, 242
Фонвизина (урожд. Апухтина) Наталья Дмитриевна (1805—1869) — жена М. А. Фонвизина 222, 238, 256, 261
Фотий (Спасский Петр Никитич) (1792—1838) — архимандрит 190
Фохт Иван Федорович (1794—1842) — штабс-капитан Азовского пехотного полка, член Южного общества 31, 280, 291, 292, 298, 300, 318, 443
Франклин Вениамин (Бенджамен) (1706—1790) — американский полит. деятель 301
Фредерикс Петр Андреевич (1786—1855) — барон, ген.-майор, командир л.-гв. Московского полка 124
Фрейтаг — кадет 67
Фрейтаг Густав (1816—1895) — немецкий писатель и журналист 37, 38
Фридрих II (1712—1786) — прусский король 202, 323

Фрикен фон Федор Карлович (1780—1849) — ген.-лейт. 402
Фролов — ген., командир дивизии Отд. Кавк. корпуса 349
Фролов Александр Филиппович (1804—1885) — подпоручик Пензенского пехотного полка, член Общества соединенных славян 236, 262—264, 441
Фурман Андрей Федорович (1795—1835) — капитан Черниговского пехотного полка, член Южного общества 204, 280

Хатов Иван Иванович — капитан, ротный командир в 1-м Кадетском корпусе 67
Хвощинский Павел Кесариевич (1792—1852) — полковник л.-гв. Московского полка 124
Хеннингсен Чарлз Фредерик (1815—1877) — шведский публицист 418
Хлопицкий Гжегож Юзеф (1771—1854) — ген., польский военный и политический деятель 290
Хрущов Сергей Михайлович — капитан л.-гв. Преображенского полка 100

Цебриков Николай Романович (ок. 1800—1866) — поручик л.-гв. Финляндского полка, член Северного общества 33, 116, 182, 373, 383, 430, 431
Цейдлер Иван Богданович (1780—1853) — иркутский гражданский губ, 228, 276, 283
Циклауров, кн. 338
Цицианов Павел Дмитриевич (1754— 1806) — кн., ген. от инфантерии, военный губернатор Кавказа 390
Цукато Николай Егорович (1794—1867)—гр., полковник Отдельного Кавказского корпуса 376, 447
Цшокке Генрих Даниэль (1771—1848) — швейцарский писатель 161, 427, 437, 441

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856)—ротмистр л.-гв. Гусарского полка, член Союза благоденствия 75, 425
Чабунина (Чебунина) Пестимья Петровна — крестьянка 252
Чабунины (Чебунины) — братья, крестьяне 252, 440
Чайковский — полковник, начальник строительной части войск Кавказской линии 387
Чарторыйский Адам (Юрий) Адамович (1770—1866) — кн., тайный советник, товарищ министра иностранных дел 101
Чевкин Александр Владимирович (1803—1877) — поручик л.-гв. Конноегерского полка 426
Чевкин Константин Владимирович (1802—1875) — начальник Горного ведомства, сенатор 139, 426
Челяев Борис Гаврилович — прапорщик л.-гв. Финляндского полка 112
Черкасов Алексей Иванович (1799—1855) — барон, поручик квартирмейстерской части, член Северного и Южного обществ 221
Черминский (Череминьский) Эразм — ссыльный поляк 301
Черников Григорий — унтерофицер Чугуевского уланского полка 448
Чернышев Александр Иванович (1785—1857) — гр., ген.-адъютант 31, 152, 154—156, 158, 163, 174, 175, 198, 225, 329, 427, 444
Чернышев Захар Григорьевич (1796—1862) — гр., ротмистр Кавалергардского полка, член Петербургской ячейки Южного общества 172, 225, 342, 405, 437, 445
Чернышев-Кругликов Иван Гаврилович (1787—1847) — отставной полковник, действ. тайный советник 225, 405
Чернышева-Кругликова Софья Григорьевна (1799—1847) — гр. 225, 405

Чернявский — унтер-офицер Чугуевского уланского полка 401, 402, 449
Черняев — штабс-капитан Кавказского линейного отряда 337, 340, 368
Чингисхан (ок. 1155—1227) — 243
Чинков К. Г. — владелец типографии в Софии 55
Чистяков Дмитрий Алексеевич — знакомый семьи Малиновских 211
Чичагов Василий Яковлевич (1726—1809) — адмирал 115

Шамиль (ок. 1798—1871) — руководитель (имам) освободительного движения горцев Дагестана и Чечни 391, 445, 448
Шатобриан Франсуа Рене де (1768—1848) — французский писатель 82
Шахирев Андрей Иванович (1799—1828) — поручик Черниговского пехотного полка, член Общества соединенных славян 204, 280
Шаховская Варвара Михайловна (ум. 1836) — кн., свояченица А. Н. Муравьева, невеста П. А. Муханова 248, 270, 275, 442, 443
Шаховской Федор Петрович (1796—1829) — кн., отставной майор, член Союза благоденствия 193, 204, 280, 426, 442
Швабе — домашний учитель 79
Шварц Федор (Григорий) Ефимович (ум. 1859) — полковник, командир л.-гв. Семеновского полка 74, 75, 419
Швейковский — см. Повало-Швейковский Иван Семенович
Швыйковский — см. Повало-Швыйковский Александр Миронович
Шевич — офицер л.-гв. Гусарского полка 71
Шеншин Василий Никонорович (1784—1831) — ген.-майор, командир л.-гв. Финляндского полка, командир 1-й Гвардейской пехотной бригады 93, 98, 108, 113, 114, 116, 124, 294
Шеппинг Оттон-Густав Дмитриевич (1790—1874) — барон, полк. Гвардейского генштаба 84
Шервуд (Верный) Иван Васильевич (1798—1867) — унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка 136, 422
Шереметев Дмитрий Николаевич (1803—1871) — гр., сын Н. П. Шереметева 105, 421
Шереметев Николай Петрович (1751—1809)—гр., обер-камергер, сенатор 103, 105
Шереметева (урожд. Тютчева) Надежда Николаевна (1775—1850) — теща И. Д. Якушкина 213, 436, 445
Шибаев — солдат в Петропавловской крепости 156, 158, 162, 169, 179, 180
Шипов Сергей Павлович (1789—1851) — ген.-майор, командир л.-гв. Семеновского полка, член Союза благоденствия 127, 432
Широков — полковник, комендант Владикавказа 335
Шминдорф — петербургский книгопродавец 40
Шмит Антон Христианович — преподаватель 1-го Кадетского корпуса 67
Шницлер Иоганн-Генрих (1802—1871)—нем. историк и статистик 59, 189, 197, 417, 434
Штейнгель Владимир Иванович (1783—1862) — барон, отставной подполковник, член Северного общества 50, 166, 431, 442
Штернгельм Александр Васильевич—штабс-капитан штаба 1-го Резервного кавалерийского корпуса 90
Шувалов Петр Андреевич (1827—1889) — гр., главноуправляющий III Отделением 41
Щеголев Павел Елисеевич (1877—1931) — историк 27, 56
Щепин — см. Щепин-Ростовский Дмитрий Александрович
Щепин-Ростовский Дмитрий Александрович (1798—1859)—

кн., штабс-капитан л.-гв. Московского полка, член Северного общества 6, 8, 10, 14, 122, 124-126, 233, 422, 423
Щербатов Иван Дмитриевич (1794—1830) — кн., капитан л.-гв. Семеновского полка 419
Шукин Николай Семенович (1792—1883) — чиновник министерства внутр. дел, 15, 426

Эдуард IV (1442—1483) — английский король 206
Экардт Юлиус фон (1836—1908) — немецкий историк и публицист 25, 37, 38
Эмануэль (Эммануэль) Егор Арсеньевич (1777—1837) — ген.-лейтенант 172
Энгель Федор Иванович (ум. 1837) — сенатор 172
Энгиенский герцог, Луи Антуан Анри (1772—1804) — французский принц 75, 419
Энни — см. Розен Евгений Андреевич

Юнкео Филипп Логинович (ум. 1830) — обер-секретарь Сената 260
Юрьев — жандармский полковник 382
Юрьевич Семен Алексеевич (1798—1865) — ген.-адъютант 314, 444
Юшневская (урожд. Круликовская) Мария Казимировна (1790—1863) 249, 261, 266, 436, 440
Юшневский Алексей Петрович (1786—1844) — ген.-интендант 2-й армии, член Южного общества 166, 176, 236, 246, 266, 267

Яков II (1633—1701) — английский король 185
Яковлев — подполковник, городничий в Красноярске 279
Яковлев — фельдъегерь 21
Якубович Александр Иванович (1792—1845) — корнет л.-гв. Уланского полка, участник восстания 14 декабря 1825 г. 128, 133, 173, 185, 194, 195, 196, 204, 228, 238, 242, 250, 320, 330, 337, 424, 430, 434
Якушкин Евгений Иванович (1826—1905) — сын И. Д. Якушкина 46
Якушкин Иван Дмитриевич (1796—1857) — отставной капитан, член Северного общества 17, 18, 22, 23, 28, 29, 33, 40, 54, 59, 174, 185, 193, 212, 250, 315, 416, 417, 424, 426, 436, 438, 440, 442, 445
Якушкина (урожд. Шереметева) Анастасия Васильевна (1807—1846) — жена И. Д. Якушкина 213, 245, 436, 440, 445
Янушкевич Адольф Михайлович (1803—1857) — участник польского национально-освободительного движения 208, 436
Ярополк I Святославович (ум. 980) 433
Ясинский — полковник, полицмейстер в Дерпте 77
Яценкова Наталья — крепостная Малиновских 440
Annette — см. Розен Анна Васильевна
Barratt Glynn — американский историк 57
Bentham Jeremiya (1748—1832) — английский философ 156
Constant Benjamin de Rebecque (1767—1830) — французский политический деятель, публицист 156
Destutt de Tracy Antoine Louis Claude (1754—1836) — франц. экономист и философ 156
Janik M. — историк 444
Michel M.— см. Лунин Михаил Сергеевич

СОДЕРЖАНИЕ

Г. А. Невелев. Андрей Евгеньевич Розен и его «Записки декабриста» 3
Предисловие 58
Глава первая. Детство и молодость 62
Глава вторая. Возвращение гвардии и служба . . . 89
Глава третья. 14 декабря 1825 года 117
Глава четвертая. Следственная комиссия 138
Глава пятая. Верховный уголовный суд 165
Глава шестая. О причинах основания тайных обществ вообще и об акте обвинительном в особенности . . 189
Глава седьмая. Ссылка в читинский острог 203
Глава восьмая. Пребывание в Чите 222
Глава девятая. Тюрьма за Байкалом в Петровском железном заводе 242
Глава десятая. Переезд из Восточной Сибири в Западную 270
Глава одиннадцатая. Поселение в Кургане 291
Глава двенадцатая. От Кургана до Тифлиса . . . 320
Глава тринадцатая. Грузия в 1838 году 343
Глава четырнадцатая. Кавказские минеральные воды . 369
Комментарий 416
Список сокращений 449
Указатель имен 450

9(с) 15
Р64

Р64 Розен А. Е. Записки декабриста. — Издание подготовлено Г. А. Невелевым.— Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, 1984.— 480 с., ил.— (Серия «Полярная звезда»).

3 р. 10 к.

Записки А. Е. Розена — один из важнейших исторических памятников декабризма. Они дают широкую картину деятельности, жизни и быта декабристов.

В настоящем издании опубликована первая часть Записок, не переиздававшихся с 1907 г.

Р $\frac{0505010000—61}{М141(03)—84}$ 60—84 9(с)15

А. Е. РОЗЕН. Записки декабриста

Художник серии А. М. Муравьев
Художник А. Е. Шпирко
На обложке портрет А. Е. Розена художницы Н. П. Нератовой, барельеф — скульптора Е. Скачкова
На фронтисписе портрет А. Е. Розена, акварель Н. А. Бестужева, 1832 г.

Редактор А. В. Глюк
Художественный редактор Е. Г. Касьянов
Технический редактор А. В. Пономарева
Корректоры Г. Ф. Клешнина, В. М. Ермакова, Н. В. Бутакова

ИБ № 922

Сдано в набор 4.05.84. Подписано в печать 8.10.84. НЕ 10111. Формат бумаги 84×108 1/32. Типографская № 1. Гарнитура академическая. Высокая печать. Усл. кр.-отт. 25,78. Усл. печ. л. 25,3 (с вкл.). Уч.-изд. л. 27,54 (с вкл.). Тираж 50 000 экз. Заказ 1841. Изд. № 5871. Цена 3 р. 10 к.
Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 664000, Иркутск, Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда», 664009, Иркутск, Советская, 109.

© Восточно-Сибирское книжное издательство, 1984





3р. 10коп.

Иркутск, 1984